

102

Марко Бобров

# В Марко Вовчок

*Твори  
в семи  
томах*



ВИДАВНИЦТВО  
„Наукова думка”  
КИЇВ

# В Марко Вовчок

*Том*

*6*



ВИДАВНИЦТВО  
*„Наукова думка“*  
1966

У1  
В61

Редакційна колегія:

*О. Є. Засенко, Н. Є. Крутікова, М. Є. Сиваченко*

Упорядкування текстів і примітки

*О. О. Білявської, П. Г. Приходька, Т. М. Різниченко*

Редактори тома *М. Є. Сиваченко, В. І. Пащенко*

Переклад творів французькою мовою *М. Терещенка*



# Отдых в деревне

*Из недавнего  
прошлого*



# I

«Не печитесь об утрей, утренний бо собою печется — довлеет дневи злоба его — неприменимо к современной жизни».

*Из одного дневника*

Я не стану вам рассказывать, кто автор дневника, из которого взят вышеприведенный эпиграф, но скажу, что я совершенно с ним согласен. Особенно ясно и глубоко я почувствовал истину этого положения в один прекраснейший летний вечер, когда лучи заходящего солнца, проникая сквозь зеленую сеть плюща, оплетавшего мою террасу с колоннами, мягко освещали кипящий самовар, чайный сервиз, серебряную корзинку с хлебом и моего хорошего знакомого, Эраста Антоновича Морошкина, который, попробовав малинового варенья, сказал мне, расправляя длинными пальцами свои черные усы:

— Вы покупаете варенье у Блинова?

— Да, у Блинова,— отвечал я с легким замиранием сердца,— я чуял, что под этим простым, по-видимому, вопросом шевелится если не змея, то змееныш,— и затем со всевозможным равнодушием прибавил: — А что? Плохое?

— Нет, вовсе не плохое,— отвечал Эраст Антонович,— но не домашнего приготовления.

— А, разумеется,— сказал я.— С домашним приготовлением столько возни, что я довольствуюсь покупным.

— Вы незапасливы.

— О, нет...

— Все это сводится к той же безалаберности русского человека, о которой мы только что с вами толковали.

(Толки были именно прерваны вышеописанным замечанием моего собеседника о варенье).

— Пожалуй, что и так. Не хотите ли сливок?

— Благодарю, позвольте.

По тому, как этот человек болтает чайной ложкой в молочнике, я вижу, что у него готово другое неприятное замечание.

Так и есть!

— Сливки покупаете у Варварихи?

— У Варварихи, но я за ней строго наблюдаю и...

— А будь вы позапасливее, ведь вы бы могли давным-давно иметь свою корову!

Мучительное сознание, что действительно в моем облачении могло бы давным-давно находиться это полезное животное, еще прежде его слов отравленной стрелой вонзилось в мою душу и окончательно испортило мне вкус «Индийской Розы», которую я завариваю пополам с цветочным «Чун-чу-фу». Но я, конечно, не высказываю чувств и ограничиваюсь загадочной улыбкой, которую можете истолковать как угодно: и выражением презрения к вашему владению рогатым скотом, и выражением скорби по поводу собственного неумения извлечь сливки, откуда их извлекают другие.

— Да и вот так-то всегда! — продолжает Эраст Антонович. — Какой-нибудь Блинов, какая-нибудь Варвариха эксплуатируют нас!

Мы еще долго беседовали на эту тему, потом перешли к другой, — к теме «борьба за существование».

Уже вечерняя заря погасла, уже отражение загоревшихся в небе звезд трепетно двигалось и колебалось в быстрых струях реки, протекающей под горою, когда мой собеседник окончательно прижал меня к стене аргументом:

— Нет, позвольте, позвольте! Вы мне только скажите: если бы щука не пожирала мелкую рыбку, то мелкая рыбка не пожрала ли бы щуку? Жестокий закон, но закон!

Можно ли было не согласиться, что, действительно, закон жестокий, но закон, — а согласившись, можно ли было оставаться в хорошем расположении духа?

Когда, наконец, Эраст Антонович со мною распрощался и исчез со своим шарабанчиком за углом сосновой рощицы, я походил по террасе, потом поглядел на звезды, на окружающие тихие потемневшие поля.

Да, жестокий закон!

Эта мысль неотступно меня преследовала...

Правда, промелькнула у меня другая, лично до меня касавшаяся, а именно: почему нет у меня такого шарabanчика, как у Эраста Антоновича,— но эта была мимо-летная. Сверкнула, как молния, и пропала. Я еще молод, полон сил и если только захочу, то...

Одним словом, мысль эта сверкнула, как молния, и пропала.

Жестокий закон!

Я сел в кресло. Авдотья Степановна (моя домоправительница) внесла было лампу, но я довольно сурово заметил ей, что не следует никогда подавать огня, пока я не прикажу, и велел лампу погасить.

Не знаю, долго ли я сидел таким образом в темноте.

Мало-помалу я впал в какое-то странное состояние, которое нельзя назвать ни сном, ни бдением. Я сознавал, что я сижу в кресле, я даже слышал, как за рекою звенела на фортепиано музыкантша-соседка, девица, видевшая не одну весну, а весен десятка четыре с лишком,— я даже различал унылые ноты ее любимого «гимна природе», который она возносила непосредственно после перепалки с младшей сестрою, я улавливал глухой шум воды у мельницы, журчание струй в маленьком заливчике, я разобрал шепот благочестивой Авдотьи Степановны, которая читала как раз под террасою молитву на сон грядущий, я знал и помнил, кто я и где я, а вместе с тем меня душил какой-то кошмар. Мне представлялись Блинов и Варвариха, но не в естественном своем виде, а или в образе зубастых щук с отверстой пастью, со сверкающими, круглыми, как кольца, глазами, или в образе переполошившихся пескарей, отчаянно пытающихся юркнуть куда-нибудь в ил, в надежное местечко. То я чувствовал себя жадною, громадною, самонадеянною щукой, то смиренным, ни в чем не уверенным, маленьким пескарем.

— Письмо привезли!

— Что такое? — вскрикиваю я.— Что такое?

— Письмо привезли-с. От Анны Павловны-с.

— Дайте огня,— говорю я, сообразив, наконец, что передо мною не щука и не пескарь, а Авдотья Степановна, повязанная на сон грядущий белым платком, что, сказать кстати, никогда особенно не возвышало ее природной красоты.

Свеча принесена, и я читаю письмо.

«Милый, неоцененный друг.

Сейчас узнала, что у Капитолины Ивановны поспела шпанская и ананасная земляника и малина и спешу вас уведомить об этом с нарочным. Завтра же поезжайте к ней пораньше, а то другие непременно все перекупят. Ее ягоды всем известны и всегда нарасхват. Муж Капитолины Ивановны, я уже вам говорила, — непривлекателен, une nature mesquine<sup>1</sup>, но сама Капитолина Ивановна — милая добрая женщина, и, я знаю, вы друг друга оцените. Она тоже страдала. Пожалуйста, дорогой мой, не забудьте поехать и не опоздайте, иначе я на вас серьезно рассержусь. Полно, голубчик, жить на облаках! Надо же подумать и о земле. Зимой вы скажете мне спасибо, когда будете кушать ваши любимые блинчики с вареньем или малиновый крем. Непременно поезжайте к Капитолине Ивановне. Скажите ей, что я вас прислала и прошу ее дать вам самых крупных ягод.

У нас все то же: Мефа каждую минуту говорит мне колкости и, как только заболит у меня голова или я засну, начинает бить по фортепиано. Бог с ней!

Когда же вы нас проведаете, милый друг? Я жду вас всегда с нетерпением и с вами только отвожу душу.

А. Колесова

Р. S. Непременно поезжайте за ягодами сами. На Авдотью нельзя положиться. У меня мечта устроить вас на новом месте и окружить всем, что может успокоить вас, милый друг. Довольно вы, бедненький, пострадали, пора вам отдохнуть. Отдыхайте же, не упрямитесь, в кругу людей, которые вас умеют ценить и от души любят. Да, не говоря уже обо мне, все наши вас любят и все желают видеть настоящим хозяином».

Действительно, все они, очевидно, меня любят (отчего же меня и не любить?) и все желают видеть хозяином. Добрейшие души! Нет, не перевелись еще на свете сердечные, бескорыстные люди. Есть еще уголки на святой Руси, где вас, кто бы вы ни были, чем бы ни занимались, накормят, напоят и пригреют, — разумеется, если только вы будете смотреть не букой, не каким-нибудь Змеем-Горынычем, если ваше горе или ваша радость будут отли-

---

<sup>1</sup> Мелкая натура (франц.). Ред.

чаться не отщепенскими свойствами, а общительными... Если, одним словом, вы явитесь не сорванцом, а с известной дозой почтительности... Говоря еще яснее, если вы не станете соваться со своими уставами в чужие монастыри и если вы, хотя и будете выть по-своему, то тихонько, скромно, не мешая другим, а только приятно разнообразя и тем оживляя прочие голоса и подавая некоторую надежду запевалам, что со временем они могут присоединить вас к своему хору.

Что делать! Какой-то мудрец (кажется, мудрец, впрочем, хотя бы он и не был признан, я признаю его таковым) сказал, что снисхождение — первое условие для мирной спокойной жизни.

Когда я приехал в прекрасную местность, где теперь нахожусь, я был снисходителен... Кто вам сказал, что я когда-нибудь находил Фому Фомича красавцем или Клеопатру Гавриловну умницей? Но когда Прохор Прохорович, за неосторожное выражение откровенного мнения, пустил против вас в ход, что вы кушаете живьем младенцев, вдов и сирот, а Агния Матвеевна, летая по всем знакомым и незнакомым вам углам и закоулкам в роли очевидицы этих кровожадных трапез, пообещалась (а может, и попыталась) при встрече выцарапать вам глаза, то надо уметь сдерживать себя в искренних заявлениях насчет ума и красоты своих ближних, — если вы не безумец, жаждущий кутерьмы, а человек... дельный, взявший несколько солидных уроков у жизни.

Я могу только поздравлять самого себя с плодами благоразумия.

С тех пор, как я нанял на несколько лет каменное зданье причудливой архитектуры, представляющее нечто вроде башни с террасой, все окрестные жители (разумеется, дворянского происхождения) окружили меня вниманием, осыпали ласками, услугами, смородиной, советами, сухариками, сочувствием и проч., и проч.

Конечно, не без облачка и на моем деревенском горизонте, но облако еще не туча. Я вынужден был отступить от некоторых своих привычек, например, от привычки сидеть дома.

Всякий человек слаб. Я тоже человек и, следовательно, тоже слаб. Я никогда не мог устоять против добродушных, чистосердечных просьб приехать провести денек и, хотя со вздохом, но селся в присланную коляску или шарабан.

Я был бессилен против любезного, задушевного уведомления, что меня тогда-то посетят жаждущие со мною отвести душу гости, и встречал этих гостей рукопожатиями. Поехал к одному, нельзя не поехать к другому,— за что же обижать людей, да еще обижать за их милое внимание? Принял одного, необходимо, в силу тех же соображений, принять и другого.

И вот все дни мои наполнены, я не успеваю прочесть и странички из множества запасенных книг и утвердительно улыбаюсь всякий раз, когда кто-нибудь из наших уездных говорит заезжему из других мест: «О, мы не скучаем! У нас ведь не то, что в других уездных городах,— у нас большой круг образованных, развитых людей. У нас не копители неба, у нас за всем следят, работают над разными вопросами...»

Ванилевые сухарики, кормленные орехами индейки, малиновые кремы тоже оказывают свое действие. Когда теперь Авдотья Степановна ставит передо мной на стол классические суп и котлеты, я вынужден признаться, что произведения поварского искусства рисуются мне в ярких, соблазнительных чертах, и я невольно вздыхаю и по нескольку раз меланхолично тыкаю вилкой или болтаю ложкой ее незатейливую стряпню.

Разве это так непонятно?

Если, согретый животворными лучами летнего солнца, смягченный привольною деревенскою жизнью, я стал любовнее относиться к жизненным благам, какой кому от того вред? Что, например, предосудительного в том, что я желаю себе удобного шарбанчика, даже коляску?

— Будет ответ? — спрашивает Авдотья Степановна, выставя свой белый тюрбан из-за двери.

— Да, будет.

Я сажусь к столику и пишу добрейшей соседке ответ, в котором с должным чувством выражаю свою глубокую признательность за ее милое внимание к горькому бобылю.

Ответ написан и вручен нарочному, парню Евстигнею, который лихо переправляется в какой-то коробке через быструю реку. Я задумчиво слежу за его плаванием.

Как красивы эти брызги от весла, эта струя за челноком, этот челночок, эти берега, этот дом на горе, охваченный темною зеленью! Сам парень Евстигней, освещенный волшебным светом летней ночи, кажется совсем другим человеком. Честное слово, его теперь можно принять за рыцаря

в серебряных латах. Что он теперь думает? Уж, конечно, не ломает голову над мировыми непорядками. И благо ему!

Все кругом тихо, все заняты своими делами, у всех достигаемые цели, осуществимые желания...

Не лучше ли жить, как живут эти добрые, окружающие меня люди? Что за польза вышла мне или другим из всех моих высоких парений? «Il n'y a de bonheur que dans les voies communes»<sup>1</sup>, — сказал кто-то, и сказал верно. Не надо только понимать этого изречения в пошлом смысле. Здесь *voie commune* значит, по-моему, не заносясь, идти одним путем со своими ближними, извиняя их слабости, ценя их добрые качества, поддерживая их в испытаниях...

На душе у меня становится легче. Щуки не представляются уже мне такими алчными тварями, как прежде, пескари не кажутся особенно жалкими... и какое мне дело до борьбы за существование? Разве я ее выдумал, скажите, пожалуйста? Эта борьба — вещь ужасная, но она существует и... и все борются.

Вы, читающий эти строки, разве вы желаете, чтобы вас проглотила какая-нибудь щука?

А раз вы этого не желаете, вы стараетесь не быть пескарем!

Великий боже! Когда же, наконец, я покончу с этими докучными мыслями о борьбе, щуках и пескарях? Когда я окончательно истреблю эту привычку пытаться себя всякими неразрешимыми бесполезными задачами? О безумные мечты юности! Или я навеки отравлен?

## II

Друзья мои, друзья! Не будем прихотливы.  
Кто льстится много взять, тот часто все терял;  
Одною скромностью желаний мы счастливы!

В. Жуковский<sup>2</sup>

На другой день рано поутру я поехал по узкой проселочной дороге к Капитолине Ивановне. Утро было восхитительно ясное и свежее. С величайшим наслаждением я слушал птичек и упивался благоуханием цветов и трав.

<sup>1</sup> Счастье только на общих дорогах (франц.). Ред.

<sup>2</sup> «Цапля» (басня, из Лафонтена). Ред.

С версту дорожка прихотливо извивалась по крутому берегу, который перекидывался в чистых волнах реки со всеми своими кудрявыми березами, темными соснами и слями.

Гнедая лошадка хозяина моей дачи, разумеется, не арабской породы, но она везет очень бодро, и я с удовольствием слышу ее пофыркивание.

О ненасытный, легкомысленный, заносчивый человек, разве ты не мог бы найти себе укромный уголок и мирно начать и окончить дни свои?

Нет, ты буйно стремишься на какой-то простор! Ты довольствуешься плаванием у спокойных берегов тихоструйной речки, ты отваживаешься на своем углу челноке в беспредельное море! Сколько обломков твоей самонадеянной предприимчивости качается на свирепых волнах!

А между тем, не рвись ты на пагубный простор, ты не ведал бы битв, а с ними неизбежно связанных больных контузий и мучительных ран; сон твой был бы мирен, сердце открыто тихим радостям... Нет, ты все хочешь сокрушить ад и устроить рай на земле! А если бы ты не уповал на этот невозможный рай, ты бы устроил себе сносное помещенье, куда бы не доходило адское вытье...

Правду говорил Эраст Антонович: безалаберен русский человек и незапаслив!

Я, например, каждый раз, как беру эту лошадку, плачу хозяину от тридцати копеек до рубля, и на прошлой неделе он мне представил счет, незаметно дошедший до десяти рублей. Мой хозяин — родной брат добрейшей Анны Павловны Колесовой, по чьему совету я спешил захватить ягоды на варенье, при первой нашей встрече рекомендовался мне как *gentilhomme*<sup>1</sup>, так и сказал, шаркая уже не особенно твердыми при таких эволюциях ногами в прюнелевых ботинках: «*gentilhomme Paul de Zvéreff*»<sup>2</sup>, давая понять, что обладает благородством и великодушием этого сословия, но, в сущности, он страшный крохобор: торгует всякою всячиной, от пучка петрушки и фунта творога до оранжерейных персиков; у него можно нанять погодно, помесечно, поденно и почасно тележку с лошадыю, лодку, рыболовные снаряды, коптильню, взять

---

<sup>1</sup> Дворянин (франц.). Ред.

<sup>2</sup> Дворянин Павел Зверев (франц.). Ред.

напрокат бочку для воды, флейту, лохань для стирки, соломённые шторы, соусник, драцены и латании, кочергу и проч., и проч. Будь я позапасливее, я мог бы к этим десяти прибавить еще десять и еще десять и приобрести лошадку в собственность, что сократило бы расходы и доставило бы мне невинное, никому не мешающее удовольствие. Я мог бы ее назвать Фифи, как назвал свою буланую помещик барон Тирвальд, или Красоткой, как назвал свою гнедую помещик Полотенцев. Она бы знала меня, подходила бы по моему зову. Анна Павловна, я уверен, вышла бы на уголке чепрака мой вензель — Анна Павловна отлично вышивает, — а Мефа Павловна, хотя и зла, как старая голодная мордашка, но вовремя сказанный комплимент ее уму, характеру или выразительности физиономии (смело пускайте: «над которою время не имело решительно никакого разрушительного влияния», — поверит!) действует на нее лучше всякой мозговой кости, и она связала бы мне филейную попону из голубой шерсти с шелком.

Да, но я незапаслив! Сначала горькие обстоятельства, потом безумное увлечение разными неосуществимыми идеями...

Человек — жалкое животное и не сразу приходит в «нормальное равновесие», как выражается помещик Феррапонтов, который, по его словам, был другом корифеев сороковых годов и даже чуть с ними не породнился.

Феррапонтов вовремя пришел в нормальное равновесие, поэтому у него есть, хотя несколько грязноватые, но обширные наследственные хоромы, где он хоть каждый день может собирать десятка два гостей, толковать с ними о погибших дорогих друзьях своей юности и давать исключительно рецепт сороковых годов, значительно исправленный и дополненный, как лучше подвигать дело развития и народного образования.

Приду ли я когда-нибудь в нормальное равновесие?

Вот и село Благодатное, где жители слынут ворами и пьяницами и где, в числе других шести владельцев, живет Капитолина Ивановна Бусова, к которой я еду покупать ягоды.

Село Благодатное живописно раскинулось на противоположном берегу реки. Я приостанавливаю лошадь и люблюсь — я очень люблю природу. Как красиво перекидываются в воде сады и помещичьи усадьбы, и темные мужичьи избенки, и барышня в широкополой шляпе

итальянской соломы, с букетом полевых цветов в руке, и стадо овец, и тощая хромая лошаденка с обрывком на шее! Самый знаменитый пейзажист не отказался бы перенести этот вид на полотно.

Однако пора.

— Скажи, пожалуйста, голубчик, где переправа? — кричу я какому-то оборванному, грязному мальчишке.

— Не видишь, что ли, — отвечает мальчишка, махая рукою вниз по реке, и идет далее.

Господи, как еще дик русский народ! Правду говорит Ферапонтов, русскому народу еще недоступны самые элементарные понятия о цивилизации. Даже шапки не снял, скот! Да-с, я согласен, вполне согласен с Ферапонтовым: русскому народу еще далеко до интеллектуального развития! Пожалуй, придется согласиться и с тем, что его не следует слишком... слишком распускать. Дайте вы ножницы дикому ребенку, говорит Ферапонтов, и он выколет себе или своему брату глаза! Пустите вы необузданного младенца бегать по берегу глубокой реки, и он или сам в ней утонет, или кого-нибудь утопит! Ферапонтов очень хорошо говорит. Хотя горько, но правды некуда девать и, волей-неволей, надо прийти к заключению, что лучше всего, надежнее всего для блага народа не пускать без себя этот народ никуда... То есть, я неточно выразился: вести его под строгим присмотром по пути развития, дабы, таким образом проведенный, он мог со временем занять достойное место, — не по обширности владений, а по нравственным доблестям, — среди цивилизованных наций.

Проехав еще шагов триста, я нахожу переправу, то есть широкую старую плотину, осененную с обеих сторон кривыми растреснувшими ивами, которые издали представляются какими-то зелеными волнующимися шатрами, повертываю на эту плотину, чуть не проваливаюсь на полпути, на что равнодушно смотрит мельник с порога мельницы, благополучно достигаю другого берега и, помня данные доброжелательницею моей, Анной Павловной, инструкции, повертываю налево, мимо помещичьих резиденций, одной — с бельведером, другой — с побитыми в окна стеклами, по отлогому берегу.

Вот и пять светлых окошечек и решетчатый палисадник, густо заросший сиренью и жасмином, вот и садовая куща за уютным домиком.

Создатель! Какая тут зелень, какие благоухания цветов! Как отрадно жить в таком тенистом, свежем, тихом уголке! Разве здесь нельзя быть честным тружеником, полезным членом великой человеческой семьи? Разве здесь я бы не...

Внезапно раздался у самых моих ног яростный собачий лай, что заставило меня подпрыгнуть и прекратило мой мысленный монолог. Из конуры, скрытой за кустом, бешено рвалась цепная собака. Я счел за лучшее проворно взобраться назад в тележку и, поглядывая приветливо по сторонам, с улыбкой на устах ждать появления какого-нибудь местного защитника от свирепой твари.

Ожидать пришлось недолго.

В одном светлом окошечке мелькнула чья-то черноволосая глянцевиная голова, пытливые глаза и крупный нос, затем последовало какое-то смятение, выдававшееся быстро отворяемыми и затворяемыми дверями во внутренности жилища, а затем на крыльце появилась в новом розовом ситцевом платье замечательно худая женщина, которая поклонилась и попросила пожаловать в комнаты.

— Барыня сейчас выйдут,— прибавила она.— Прикажете отпрячь лошадку?

— Нет, нет, милая, я ненадолго.

— Слушаю-с. Пожалуйте.

Она распахнула дверь, и я вошел в чистенькую переднюю, а оттуда в чистенькую гостиную с балконом в сад, где и поместился в ожидании хозяйки на маленьком диванчике у окна.

Творец небесный! Что это за скромный, маленький эдемчик! Как здесь можно сладко успокоиться от всяких тревожений, залечить все булавочные уколы, которыми наградила вас прекрасная Евпраксия или возвышенная Любовь, или светлая Надежда, залечить даже глубокие раны, нанесенные врагами, и еще глубочайшие, нанесенные друзьями! Как бы я здесь отдохнул! Как бы прояснился духом!

Я бы не желал лучшего укромного приюта, я не желал бы гостиной роскошнее этой, я бы помирился с этими желтыми стульями, со старомодными диванчиками. Мне были бы милы и это зеркало с парящей над золоченой рамкой сильфидой, и скромная столовая, часть которой я вижу в открытую дверь, и ярко-желтый баран с коричневыми рогами, выглядывающий из-за стекла буфета. Я бы...

Тихий шорох спугнул мои мечтания. Полуотворенная дверь в столовую как будто приотворилась шире. Я весь просиял приветом и с улыбкою приготовился к появлению хозяйки.

Но кто это выглянул из-за двери? Чьи это ввалившиеся глаза, испитое личико, жалкие лохмотья? Что это за иссохшая, хрупкая, как соломинка, ручка держится за окраину двери? Чьи бледные, бесцветные губы мне улыбаются?

Я зажмуриваю глаза, затем вскакиваю.

Что это? Игра расстроенного воображения, возбужденного мрачными представлениями упадка современного общества? Галлюцинация вследствие ненормальной долгой экзальтации?

Никого нет. Дверь в уютную столовую как будто плотнее притворена, но это мог сделать порыв утреннего ветерка или какая-нибудь кошка.

Так и есть! Дверь снова приотворяется, и оттуда выходит, потягиваясь и жмурясь, пестрая, ожиревшая, отяжелевшая свойственница тигра, и я ее не без удовольствия глажу по спине, когда она с мурлыканьем начинает тереться у моих ног.

Царь небесный! До чего, однако, расстроено у меня воображение!

Откуда возьмется в такой уютной столовой, так весело освещенной лучом утреннего солнца, где так хорошо цветут благоухающие цветы и прыгает резвая канарейка в клетке, неумытое, оборванное существо? Какая чушь!

В дни оны (год-два тому назад) я так много думал о современном упадке общества, о страданиях всех людей и народов, о пролетариате, что до сих пор, хотя я и начинаю уже приходить в нормальное равновесие, мне еще являются разные мрачные картинки... а картинки пробуждают ряд болезненных идей... Например, оборванная, неумытая девчонка вдруг может мне представиться олицетворением страдания...

А вот и хозяйка.

— Позвольте представиться, Капитолина Ивановна,— говорю я, расшаркиваясь,— Андриан Андреевич Поле-таев. Я бы не осмелился явиться незваным гостем, но Анна Павловна обнадежила меня...

— Очень приятно познакомиться, Андриан Андреевич,— приветливо отвечает Капитолина Ивановна,— прошу садиться. Я много слыхала о вас от Анны Павловны.

— Прекраснейшая женщина Анна Павловна!

— Ах, какая добрая, милая, приветливая!.. Не угодно ли кофе, Андриан Андреевич?

— Благодарю, Капитолина Ивановна. Умоляю вас, не беспокойтесь!

— Помилуйте, Андриан Андреевич, приятное беспокойство. Наталья! Наталья!

Вошла высокая худая женщина, которая встречала меня на крыльце, получила надлежащие инструкции и удалилась.

— Нравятся ли вам наши края, Андриан Андреевич?

— Прекрасные края, Капитолина Ивановна.

— Хорошо ли вы устроились на новом месте?

— Очень хорошо, очень... Все соседи такие любезные, такие...

Я, разумеется, в данную минуту интересуюсь больше покупкою ягод; Капитолину Ивановну, легко может быть, больше занимает вопрос о продаже произведений ее сада, но деликатность не позволяет ни мне, ни ей прямо приступить к главному предмету, и мы с полчаса толкуем о крае и о соседях.

Капитолина Ивановна весьма крупная женщина, брюнетка с черными глянцевитыми волосами и светло-серыми быстрыми глазами. Весьма вероятно, что ни одному поэту не вздумалось бы воспеть что-либо в ее лице, но лицо это обращается ко мне с такою ласковою улыбкой, что я совершенно мирюсь и с крутым лбом, и с острым подбородком. Положим, лицо есть некоторым образом зеркало души, но, во-первых, только некоторым образом, а во-вторых, разве не бывает кривых зеркал и зеркал, придающих белизну, представляющих очертания более резкими или более мягкими?

Иссохшая Наталья приставляет к окну столик, покрытый белоснежной скатертью, и ставит чашки с золотистыми ободками, испещренные яркими цветочками, стадами овец и пастушками, желтого барана с коричневыми рогами, молочник и кофейник, откуда тотчас же распространяется ароматный пар.

— Не угодно ли, Андриан Андреевич?

— Сердечно благодарю вас.

Приятно выпить хорошего кофе, когда аппетит разыгрался после утренней прогулки, особенно если к кофе поданы густые с пенками сливки, тающие во рту, сдобные лепешки, мягкие, как сердце впечатлительного юноши, булочки, сухарики с ванилью и божественного вкуса свежее масло, если душистый ветерок, проникая в открытые окна из цветущего сада, ласкает ваши щеки и вас не беспокоят неприятные призраки безумного прошлого...

— Еще чашечку, Андриан Андреевич.

— Право, я не знаю...

— Пожалуйста, кушайте! Не угодно ли еще масла?

— Благодарю... Очень благодарен... Какая у вас благодать здесь, Капитолина Ивановна! Как вы сумели устроить себе такой рай на земле?

— Ах, Андриан Андреевич, если бы вы только могли знать, сколько я горя перенесла, пока кое-как устроилась! Женщине так трудно вести деревенское хозяйство! К тому же я совершенно не так была воспитана, отец мой был богатый человек, и меня не приучали ни к каким счетам и расчетам. Здесь жил прежде наш управитель... Когда я переехала сюда, то нашла такой беспорядок, такое запустение, что и сказать вам не могу. Страшно вспомнить!

Деликатность заставляет меня положить на краешек блюда лакомый кусочек лепешки с маслом, который я намеревался препроводить в рот, и выразить свое сочувствие собеседнице поднятием бровей, легким склонением головы набок и тихим вздохом.

— Папенька тогда скончался,— продолжает Капитолина Ивановна, очевидно увлекаясь воспоминаниями,— муж был при смерти...

(А, «nature mesquine», вот он!)

— Ко всему этому имение неправильно описали... Я не знаю, как я с ума не сошла, как пережила все эти испытания! А потом какое во всем стеснение, сколько хлопот, сколько оскорблений, унижений... Да и теперь разве мы обеспечены? Мне с утра до вечера некогда свободно вздохнуть, а что из этого? Впереди одни заботы! А прежде...

По щекам Капитолины Ивановны текут слезы скорби о невозвратно утраченных благах.

Я тронут. Я понимаю этот взрыв печали. Бедная женщина! Сколько ты выказала мужества и энергии! Как твердо ты, одинокая (я готов прозакладывать голову,

что «nature mesquine» и тогда ни в чем ей не помогал!), шла по стезе разв... Нет, не то... У меня, как видите, все еще остались в голове стези и тому подобная дичь... Как твердо ты шла по скромной дороге, как неутомимо работала для человек... то есть как ты благородно умела обойтись одними своими слезами!

Я с чувством выражаю свое удивление к энергии и терпению Капитолины Ивановны.

— Если и были люди,— говорю я,— которые не сумели вас оценить (намек на «nature mesquine»), то их следует только жалеть, как неспособных понять женское совершенство.

— Ах, Андриан Андреевич, каково это мне теперь торговать ягодами, фуфайками! Я к этому не... не привыкла! Что же я теперь? Торговка!

— Помилуйте, Капитолина Ивановна, помилуйте...

Я хочу ее утешить примером поэта Горация, который сажал капусту, но мне почему-то кажется, что упомянуть о мастерстве композитора Россини в стряпне макарон будет удачнее, и я тревожу кости старого итальянца.

— Вот и вы ведь приехали ягоды покупать! — грустно проговорила Капитолина Ивановна.

— Помилуйте, Капитолина Ивановна! Я давно желал просто иметь удовольствие с вами познакомиться...

— Так вы не хотите покупать ягод? Как же, меня Анна Павловна уверила, что вы непременно купите, и я для вас нарочно оставила! Я другим отказала! Отказала и Масловым, и Трегубовым! Вы передумали?

— Нисколько, Капитолина Ивановна,— спешу я возразить,— я с величайшей готовностью, я с радостью куплю ягоды.

— Так не хотите ли пройти в огород?

— С удовольствием.

— Ах, нет, погодите! Я прежде покажу вам свои работы. Но, может быть, это скучно?

— Помилуйте...

— Ну, я сейчас вам покажу!

Капитолина Ивановна приближается к комоду и вынимает оттуда целые груды вязаных фуфаяк, чулок, носков, косынок, платков и проч. и разворачивает их перед моими глазами, которые следят за этими произведениями искусства с подобающим, лестным для артистов удивлением.

— Поглядите на эти чулочки! — говорит Капитолина Ивановна и растягивает перед моим носом какую-то паутину из тончайших ниток.

— Прелесть!

— Это заказные. Это Мефа Павловна заказала.

— Мефа Павловна?

— Да, она... Она любит, чтобы у нее чулки были самые тонкие, решетчатые... Выходит, знаете, точно кружево!

— А, чрезвычайно красиво! — отвечаю я, представляя себе, как из-за этого кружева будут темнеть старые дылчьи лапки заказчицы.

— А вот шарф для осени. Попробуйте, какой теплый и мягкий.

— Это тоже на заказ?

— Нет.

— Вы позволите мне его приобрести?

— Я буду очень рада, что он вам достанется... Я его отложу. Однако пойдете же в огород. Вот сюда, через балкон.

Мы сходим с балкона, направляемся по цветущему тенистому саду и достигаем в конце его огорода, окруженного особым частоколом, с калиткою на замке.

— Сюда, Андриан Андреевич, — говорит Капитолина Ивановна, вынимая из кармана ключ и отмыкая калитку.

Ангелы и серафимы! Что за огород? Ни на одной вывеске фруктовых магазинов вы не увидите таких крупных ягод! Ни один «опытный садовод», жаждущий вам внушить мысль покупать у него семена и отводки, не налитграфирует до того отягченных плодами кустов!

— Вам ананасной и шпанской, Андриан Андреевич?

— Сделайте одолжение, Капитолина Ивановна!

— Черной смородины тоже? И красной?

— Сделайте одолжение...

— И скороспелого крыжовника?

— Вы меня премного обяжете!

— Попробуйте... Как находите?

— Отменно... Отменные ягоды!

— Я сейчас же прикажу набрать в корзины и пошлю...

— Я могу с собою взять.

— Ах, нет, ягоды перемнутся! Их надо перенести на руках. Я вам их пришлю, не беспокойтесь.

— Право, мне совестно.

— Пожалуйста, не церемоньтесь, Андриан Андреевич, что за счеты между соседями! А, вот идет Гриша. Гриша, Гриша, поди сюда!

Высокий юноша в русской рубашке, парусиновых шароварах и высоких сапогах, смуглый, курчавый, с блестящими, как горящие четвериковые свечки, глазами, подошел к частоколу, ограждавшему огород, и подошел, как мне показалось, не особенно охотно.

— Позвольте вам представить племянника моего мужа, Андриан Андреевич, Гришу Иванова.

— Очень рад! — отвечаю я с приятной улыбкой. — Весьма рад...

Гриша Иванов без особой горячности прикоснулся к моей руке, которую я ему просунул сквозь частокол, и безмолвно, без улыбки, поклонился.

Я в тот же миг догадался, что это за птица! Были и мы, батюшка, когда-то отрицателями установившихся «нелепых форм общежития». Громили и мы, сударь, «тупые предрассудки и условные приемы!» Но мы, по крайней мере, умели разбирать людей! Творец миров! До чего уморительны эти самонадеянные, безмозглые мальчишки! Они воображают, что подвинут человечество вперед, если станут неприлично держать себя!

Пока все вышеизложенное молнией промелькнуло в моем уме, Капитолина Ивановна приказала Грише Иванову позвать Наталью с корзинами, и Гриша Иванов удалился.

— Прекрасный юноша! — говорю я Капитолине Ивановне. — Прекрасный... Но как серьезен!

— Не по летам! Он очень изменился с тех пор, как поступил в медицинскую академию!

— Да?

— Узнать нельзя! Был скромный, услужливый, а теперь забрал себе в голову...

— Не огорчайтесь, Капитолина Ивановна: все это пройдет! Извините за нескромный вопрос.

— Ах, полноте, Андриан Андреевич!

— Я слышал, он влюблен в Ольгу Чудову?

— От кого вы слышали?

— Право, не припомню, кажется, от Ферапонтова... Да, именно от Ферапонтова.

Здесь я кстати замечу, что напрасно сетуют столичные

жители на отсутствие у нас местных газет,— на что нам газета? Пусть-ка попробует любая столичная газета сравниться в быстроте передавания новостей или в умении округлить данные сведения, или в искусстве поддержать друга или очернить врага! Пусть-ка попробует!

Вы скажете: «У нас все в одном роде и направлении!» Извините. У нас существует в разных родах и направлениях! Ферапонтов, например, развезет, вместе с общим известием о пленении сердца Гриши Иванова, мысль о нормальном равновесии и необходимости интеллектуального развития для народа; Заворыкин развезет, что пора отбросить все «эти глупости», эти там образования и развития,— что пора подумать о помещиках, которые разорены вконец и которых бессовестно надувают грамотные старосты.

А наши телеграммы? Никакое телеграфное международное агентство с нами не может соперничать! Всякое Гавас перед нами спасует! Наши депеши не отрывочные, в них не телеграфный стиль, а стиль, исполненный жизни и мельчайших подробностей. Вы не только из них узнаете, что у Татьяны Павловны родился сын или у Серафимы Николаевны украли серьги, но вы узнаете, что при этом подумал Семен Матвеевич, как это приняла Клавдия Михайловна, как огорчен Дмитрий Прохорович... Одним словом, вы получаете объяснения на все «кто», «где», «почему», «когда» и даже объяснения, когда, с кем, где, почему, что будет дальше.

Это превосходство понятно: в столицах работают в газетах по большей части из-за куска хлеба, а у нас работают из любви к искусству. Когда же наемник превосходил артиста?

Вы скажете, что артисты отличаются живой фантазией и склонны к неправильному взгляду на события. Разумеется, не без того. Случается, что вы едете поздравлять Серафиму Николаевну с сыном, а оказывается, что у нее родилась дочь, а то что и никто не родился,— но разве не бывает подобных недоразумений в ваших столичных газетах и телеграммах?

— Так юноша влюблен? — продолжаю я.

— Влюблен! Я только удивляюсь ей, Андриан Андреевич!

— Ольге Чудовой?

— Да.

— Почему же вы ей удивляетесь, Капитолина Ивановна? Вы находите, что ей бы следовало его удалить?

— По крайней мере, хотя бы велела ему вести себя по-людски! У нее мать преглупая женщина и такую ей волю дает, что ни на что не похоже.

— То есть как же это, Капитолина Ивановна? Ведь вы, я полагаю, не желаете видеть стеснения личности?

Тон мой ласков, но внушитель. Я стою, разумеется, не на одной доске с большинством (я начинаю сливаться с кругом Ферапонтова) и, конечно, умею, когда требуется, отстаивать свои убеждения.

— Я не говорю: стеснять ее, Андриан Андреевич, а так... только, не позволять делать глупости.

— А! Это совсем дело другое!

— Разве Ольга Ивановна не могла бы повернуть Гришу по-своему? Когда мальчик влюблен, так с ним одним взглядом можно все, что угодно, сделать!

— Да, влияние женщины велико, и оно должно...

У меня чуть не вырывается повторение слов Ферапонтова: «влияние женщины должно согреть и растапливать, подобно солнечному лучу». Я несколько конфужусь и делаю диверсию в сторону:

— Что ж, юноша ваш чересчур...

Я не кончаю фразы, потому что в огородную калитку входит, громко сморкаясь, тучный человек в белом летнем костюме.

— Позвольте познакомить, Андриан Андреевич, мой муж! (А! «Nature mesquine»!)

— Весьма приятно-с...— басит он.

— Я очень рад,— улыбаюсь я.

— Как нравятся наши края?

— Я совершенно доволен.

— Не скучаете в деревне?

— О, нисколько!

— Летом ничего, особенно, если погода хорошая.

— И зимою...

— Сегодня-то как печет!..

— Да, жарко.

— Не хотите ли погулять по саду, Андриан Андреевич? — говорит хозяйка.— Паша (к мужу), поведи Андриана Андреевича, покажи ему сад.

— С удовольствием... Угодно?

— Очень рад.

Я, предшествуемый Пашею, направляюсь за пределы частокола, но едва мы успеваем ступить на садовую дорожку, раздается голос Капитолины Ивановны:

— Паша, Паша, вернись на минутку, дай мне ключи.

Паша возвращается, а я, заметив, что вместо вручения ключей хозяйка начинает тихо и поспешно снимать какой-то допрос или давать инструкции, из деликатности направляюсь подальше вглубь сада.

### III

Of all the numerous ills that hurt  
our peace,  
That press the soul or wring the mind  
with anguish  
Beyond comparison the worst are those  
That to our folly or our guilt we owe.

*Burns*<sup>1</sup>

Очувшись после палимого солнцем огорода под тенистыми старыми грушами, я с наслаждением вздохнул полною грудью.

— Где вы? — раздался голос Паши.

Вместо ответа я, по внезапному вдохновению, поспешно скользнул в густую липовую аллею и притаился.

Что за охота мне гулять с этим Пашей, с этой «nature mesquine»? Гораздо приятней, не стесняясь поддерживанием бессодержательного разговора, тихо подвигаться по этой зеленой, чуть шелестящей аллее и без помехи наслаждаться прогулкой.

Я мог проследить, как Паша, прокричав еще несколько раз: «Где вы?» — проворчал: — «Черт бы тебя подрал!» — и быстро зашагал по обсаженной сиренью дорожке в противоположную от меня сторону.

Его: «Черт бы тебя подрал!» — разумеется, ничего во мне не возбуждает, кроме презрительной улыбки, и я с удовольствием иду дальше.

Как хорошо! Как вольно дышится!

---

<sup>1</sup> Из всех многочисленных зол, которые нарушают наш покой, угнетают душу или терзают тоскою ум, несомненно самыми худшими являются те, которые проистекают от нашего безумия или нашей вины.

Бернс (англ.) Ред.

Параллельно с аллеей тянется по пологому берегу реки ряд старых ив. Между их густыми, гибкими, купающимися в воде ветвями блестят там и сям освещенные солнцем полосы синих струй. Только в одном месте, где две огромные ивы свалились в воду, открывается вид на другой берег.

Как живописен этот другой берег! По его крутым обрывам висят разные ползучие травы. Повилика, спустив свои зеленые цепи в самую воду, по ним же опять взбирается наверх и обвивает брошенную тут лодку, которая уже до половины вросла в землю и вся зацвела от сырости. Далее за рекою, которая в этом месте суживается, темнеет опушка леса, виднеется прихотливая тропинка, исчезающая в чаще.

Я был выведен из упоения природою, столкнувшись лицом к лицу с Гришей Ивановым.

Меня, признаюсь, покорило. Я люблю молодежь, сочувствую ей, но... но понимаю и ее недостатки, и ее слабости. Вследствие этого у меня к ней теперь какое-то, как выражается Ферапонтов, двустихийное чувство,— я, при удобных случаях, защищаю ее, а вместе с тем, встречаясь с ней, болезненно раздражаюсь и как-то глупо смущаюсь.

То же случилось и теперь.

Вместо того, чтобы пройти равнодушно мимо, приподняв слегка и с достоинством шляпу, у меня совершенно невольно и нечаянно вырывается глупая фраза:

— Чудесная погода!

Гриша Иванов приостанавливается как бы машинально и взглядывает на меня как на совершенно незнакомого ему человека.

Но на его молодом, побледневшем лице видна такая забота, его пламенные черные глаза так глубоко печальны, что я вместо негодования начинаю чувствовать к нему нечто вроде нежности брата,— старшего брата,— *entendons nous*<sup>1</sup>.

— Какая красивая местность! — продолжаю я еще ласковее.

— Каково людям живется-то в этой красивой местности! — отвечает он, и из глаз его выпыхивает целый пук молний.

Эта выходка мне не по душе. К чему приплетать всюду этот вопрос: «Каково живется?» Он хорош, когда он кста-

---

<sup>1</sup> Разумеется (франц.). Ред.

ти. Все хорошо кстати. И какая польза в том, чтобы тыкать его в глаза человеку, который и сам понимает вещи не хуже прочих? Что ж прикажете мне делать? Удавиться, что ли? Или утопиться? Или застрелиться?

Все вышеприведенное мелькает у меня в уме, но я должнаю нейтральный разговор.

— Поглядите на этот камень,— говорю я,— он, кажется, держится только на оцепивших его гирляндах вьющихся растений. Какие, кажется, непрочные цепи, а держат.

Гриша Иванов пристально на меня глядит.

— Так и в жизни, Григорий?..

— Петрович.

— Так и в жизни, Григорий Петрович,— прибавляю я в пояснение,— человек, запутавшийся в какие-нибудь сети какой-нибудь повилки, может остановиться на пути, по которому стремится. Кто его осудит?

— Все осудят. Человек ведь не камень.

Создатель, что за неистовый вопль! Я хотел, собственно, намекнуть, что понимаю положение человека, который любит избранную им особу,— то есть понимаю его, Григория Иванова, положение и что не осуждаю, если этою любовью он увлекается. Я, тронутый его печалью, желал сказать ему слово поддержки. И вдруг он от этого слова вспыхивает, как сосновые стружки, краснеет, бледнеет, вытирает глаза.

Я невольно попятился.

— Вы меня не поняли, Григорий Петрович.

Но он уже в пятидесяти шагах от меня, я только могу видеть его кудрявую черную гриву, мелькающую в зеленой листве.

Это не человек, а какой-то зажигательный снаряд, и такой еще снаряд, который вспыхивает не тогда, когда вам нужно и вы берете его в руки, а в кармане ваших панталон, когда вы этого вовсе не ожидаете.

Что ж мудреного, что вы подскочите, каковы бы ни были ваше самообладание и удельный вес!

И как вам нравится это «все осудят»? Покажите мне этих «всех», ретивый Ринальдо Ринальдини! Сосчитай их, надменный мальчик! Скажешь: Феррапонтов? Сунься-ка, сунься! Ты думаешь, он за тебя или за кого-нибудь, или за что-нибудь на стену ползет? Ха-ха-ха! Он лучше меня пришел в нормальное равновесие.

В волнении чувств я начал весьма быстро шагать по аллее и скоро устал, как гончая, которая преследовала, одного за другим, семь зайцев.

Этот молокосос, этот Стенька Разин en herbe<sup>1</sup> возмутил ясное расположение моего духа и испортил мне чудеснейшую прогулку.

Я, наконец, оправился и, путаясь по дорожкам и цветникам, достиг увитого зеленью балкона гостиной, где и поместился как нельзя более уютнее в ожидании прихода хозяев.

«Охота же вам, Андриан Андреевич,— мысленно стыдил я самого себя,— горячиться и кипятиться от какого-нибудь фырканья сумасбродного, дикого мальчишки! Охота вам связываться с влюбленным щенком, который способен не узнать свой собственный хвост и залиться на него бешеным лаем! Пора бы, кажется, отец мой, нам с вами поумнеть и не соваться на всякий рожон! А все — следствие прошлого безумия. Все отголоски старой, глупой, бессмысленной песни. Вы так долго и так рьяно драли горло, распевая эту песню, что теперь не в состоянии затянуть другой без того, чтобы у вас не проскочили — и как иногда некстати — старые нотки. Вы слабый, ничтожный, неумеющий справляться с своею больною фантазией человек. Вы бесхарактерны и легкомысленны, как юная пансионерка, которая, уже убедившись на опыте, как вредны для ее желудка сомнительные леденцы, продаваемые под воротами пансиона, все-таки покупает их и обжирается ими. Вы чувствительны, как плохой поэт, и на вас «мечты юности», «золотые иллюзии», «светлые верования» и всякая дребедень действуют неотразимо.

Скажите, сделайте милость, какое вам дело до этого Григория Иванова? И до тысячи тысяч других Григориев Ивановых? Пусть себе стремятся, расшибают лбы, падают, кувыркаются и проч. Отчего вас всегда подмывает ковылять за ними и волноваться их курбетами? Вы ведь сознали, что вы безумны? Вы отреклись от этого безумия, вы желаете придти в нормальное равновесие? Да или нет? А если да, то чего же вы юлите? Отчего у вас начинает сосать под ложечкой всякий раз, как вы завидите кого-нибудь из оставленного вами стана безумцев? Почему вас мучит желание заявить этому встречному кому-нибудь, что

---

<sup>1</sup> Будущий Стенька Разин (франц.). Ред.

и вы тешили себя несбыточными мечтами, что и вы ратовали зря, выходили сражаться с мельницами и составляли целительные бальзамы? Зачем вам хочется верить, что, сделавшись умереннее, вы сделались полезнее? Стыдитесь! Перестаньте, наконец, скоморошничать и будьте настоящим мужем! Откажитесь раз навсегда от скачек с препятствиями, перестаньте прыгать через самые легкие барьеры, сидите смирно в своем уголке и, право, вы со временем принесете отчизне неизмеримо больше пользы, чем все эти мятущиеся борц...»

Что это? Опять дверь в уютную столовую как будто скрипнула и приотворилась.

Я протираю глаза... Нет, это не призрак расстроенного воображения. Это просто живая девочка... Откуда взялась эта страшная девочка? Зачем она выглядывает из двери и улыбается мне? Что за ужасный взгляд и что за ужасная улыбка!

Однако, что за малодушие! Девочка как девочка... Таких тысячи... Есть не в пример оборваннее и болезненнее.

— Подойди сюда, миленькая, не бойся... Не бойся же, подойди сюда,— говорю я.

Она робко, но с видимым удовольствием подходит ко мне, не выпуская вязания из прозрачных, точно восковых ручонков.

— Что ты тут делаешь, миленькая?

— Вяжу чулки.

Нервы мои решительно расстроены. От звука этого голоска, слабого, надтреснутого, по мне пробежали мурашки.

— Кому?

— Не знаю, заказаны барыне.

— И много их вяжешь?

— Много.

— Какие же ты вяжешь?

— Решетчатые.

— Покажи-ка.

Она протягивает мне вязание, и я рассматриваю.

Это тот самый узор, которым я уже любовался в чулках, показанных мне Капитолиной Ивановной, тот самый, который, по ее словам, «выходит на ногу, как кружево».

Глаза мои как-то невольно соскальзывают на ноги стоящей передо мной вязальщицы. Эти ноги босы и, очевидно, никогда не щеголяли в узорчатых чулках...

Что же тут, собственно, ужасного? Разве мы не знаем, что много людей ходят босые, что босота эта вошла у нас в привычку, что они ею нисколько даже не тягостятся?

Бесспорно, все это так, но бывают глупые минуты, когда самые простые, обыденные вещи представляются в самом зловещем, мрачном виде и когда вам, отроду не отнимавшему ни у кого чулок, а всегда покупавшему их на наличные деньги, вдруг, ни с того ни с сего, до того делается совестно, словно вы украли много-много чулочных пар...

— Как тебя зовут, миленькая? — спрашиваю я.

— Марфушка.

— Ты здешняя?

— Привезли.

— Откуда же тебя привезли?

— Не знаю.

— Давно?

— Давно.

— Ты, верно, сиротка? У тебя никого... нет родни?

— Никого.

— Сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Помнишь своих родных?

— Помню.

— И что ж?.. Тебе... Ты...

Язык у меня прилипает к гортани, и я не могу продолжать. Я даже не могу смотреть на это бескровное, болезненное личико с ласковыми, огромными, окруженными темной синевой глазами, хотя это личико не плачет, а улыбается.

— На тебе, Марфуша...

Она берет мелкие серебряные монетки и начинает их рассматривать.

— Ты знаешь, какие это деньги?

— Знаю.

— У тебя есть деньги?

— Нет.

— А бывали?

— Нет.

— Никогда не бывали?

— Никогда.

— Ты недавно была больна?

— Нет.

— У тебя ничего не болит?

— Голова болит.

— Давно?

— Давно.

Я желал бы сказать ей что-нибудь ласковое, приятное, что вызвало бы румянец на ее испитое личико, но ничего подходящего прибрать не могу, снова прибегаю к мелкой серебряной монете и ограничиваюсь вопросом:

— Что ты себе купишь, миленькая? Ты едешь в город?

— Я никогда не езжу. Я все тут сижу.

— В столовой, миленькая?

— Да, чтобы на глазах у барыни.

— А! Ну, когда ты поедешь потом в город...

— Я не поеду.

— Отчего ж?

— Не пускают.

— А! Ну, что ж... Это ничего... Главное, главное, что-бы... главное — хорошо работать, трудиться... Все добрые, хорошие люди трудятся... Ну, теперь поди, миленькая.

Она покорно удаляется. Я слежу за нею, заглядываю в столовую, бросаю беглый взгляд на узенькую нишу в стене, где она помещается на низенькой скамеечке, слежу несколько секунд, как ее бледные, тонкие пальчики перебирают спицами, одобрительно улыбаюсь ей, киваю головою с лукаво веселым видом, говорящим: «Увидишь, как хорошо тебе будет!» — выхожу в гостиную и плотно приворяю за собою дверь.

О сила прошлого безумия! Я совершенно сознаю, что ажитироваться тут нечего, а между тем я в агитации. Я должен вынуть платок из кармана и отереть лоб, хотя и смеюсь над своею способностью выискивать в самых простых, обыденных вещах трагические стороны. Человек, менее пропитавшийся нелепыми бреднями, спокойнее бы посмотрел на самое душегубство. И что особенно плачевного в этой девочке? Самая обыкновенная девчонка. Таких полудиоток встречаешь сотнями... тысячами. И, очевидно, смелая... подошла ко мне... Наконец, какое мне дело? Разве я за всех и за все отвечаю? Я тут в стороне. Я ни при чем. Я приехал покупать ягоды и этим, надеюсь, никому не повредил. Вот вам плоды прошлого юродства: вы не можете от него излечиться. Оно, как жестокая зараза,

вошло в кровь и плоть ваши. Последствия его губительны: оно отравило вам пищу, питье и сон. Оно...

Приход хозяйки прерывает мои размышления.

— А, вы уже здесь, Андриан Андреевич,— говорит она,— а Паша вас все ищет по саду. Как это вы разминулись?

— Не понимаю, Капитолина Ивановна, не понимаю... Я тоже долго искал Павла Петровича... У вас такой огромный, чудесный сад, что в нем нетрудно заблудиться... Позвольте мне проститься с вами, Капитолина Ивановна, и от души поблагодарить за ваш радушный, любезный прием. Верьте, я умею ценить...

— Оставайтесь обедать, Андриан Андреевич.

— Сердечно благодарю вас, Капитолина Ивановна, но, к величайшему моему сожалению, никак не могу остаться.

— Пожалуйста, оставайтесь.

— Не могу, Капитолина Ивановна, в другой раз с душевным удовольствием...

— Так приезжайте как-нибудь на этой неделе.

— С величайшим удовольствием, Капитолина Ивановна...

— Когда же?

— Когда прикажете.

— В субботу.

— С большим удовольствием...

— Да где же Паша? Он будет очень огорчен, что с вами не простился...

Капитолина Ивановна выходит на балкон и кричит:

— Паша! Паша!

— Иду, иду,— отвечает Паша, выходя из ближней беседки и направляясь к нам.

— Вот Андриан Андреевич... он уезжает...

— А я вас искал, искал, Андриан Андреевич...

— Я тоже вас искал, Павел Петрович...

— Как это мы потеряли друг друга?

— Не понимаю. Впрочем, в таком саду, как ваш, немудрено потеряться. Мое почтение!

— Мое почтение!

— Андриан Андреевич, не забудьте, что вы обещали в субботу к нам обедать!

— Помилуйте, Капитолина Ивановна, разве это возможно?!

— А вы без кучера?

- Без кучера.
- Совсем по-деревенски. Хе-хе-хе!
- Да... Хе-хе-хе!
- Мое почтение!
- Мое почтение!
- До свидания!
- До приятного свидания!

#### IV

Neglegens, ne qua populus laboret,  
 Parce privatus nimium cavere;  
 Dona praesentis cape laetus horae, et  
 Linguae severa.

*Horatius*<sup>1</sup>

Приятно войти в обширную, прекрасную залу, когда зала снабжена соответствующею мебелью, хорошо освещенную, со вкусом убранную цветами, когда в растворенную дверь балкона врываются широкие волны напоенного ароматами вечернего воздуха, когда, поместившись уютно, можно из любого уголка любоваться кротким сиянием звезд, рассуждать с благовоспитанными знакомыми о каких угодно подвигах, приятно возбуждать дух свой и в перспективе ожидать отлично сервированного чаю, ананасного мороженого и великолепного ужина.

Я чувствовал такую приятность, входя в залу Елены Дмитриевны Чудовой, от которой накануне получил приглашение провести вместе вечер, а потому не удивительно, что я вошел как-то особенно резво (хотя, смею уверить, совершенно прилично) и особенно дружественно жал руки толпившимся тут знакомым. Да, я был приятно возбужден и несколько не стыжусь в том признаться: человек есмь, и ничто человеческое мне не чуждо... Когда-то я безжалостно коверкал себя во имя идеала,— невозможного, неестественного идеала,— силился быть отщепенцем, отрекался от благ и наслаждений жизни, сидел чуть не в бочке... Шут гороховый! Что ж из всего этого самобичевания вышло, кому какая прибыль, польза или радость? Только себя

<sup>1</sup> Брось заботы все: человек ты частный; не волнуйся за народ, текущим насладися днем и его дарами — брось свои думы.  
 Гораций (лат.). Ред.

лишил нескольких сладких капель на жизненном пиру (а этих капель и так мало!) и, быть может, посократил свой век никому не нужными жертвами.

Итак, я был приятно возбужден, входя в залу Елены Дмитриевны Чудовой.

Откланявшись хозяйке, крошечной кроткой старушке с величайшими глазами и микроскопическим ротиком, которая всегда принимает радушно, постоянно изумляется: «Как это на свете-то все меняется», — и смиренно прибавляет: «Видно, воля божия», — я начал отыскивать глазами ее дочь, Ольгу Чудову.

Эта девушка начала меня интересовать с тех пор, как я узнал о состоянии ее сердца. Первые волнения девственной души меня всегда трогали. Теперь я понимаю, почему она так задумывалась, когда я ее видел в последний раз у Ферапонтовых, почему глядела как-то неопределенно, вдаль, словно рвалась куда-то, где-то парила мыслью... Да, это несомненно симптомы! И как она была мила в тот вечер! Как мягко и таинственно светились ее глубокие глаза! Но, бедная, она не может похвалиться своим сердечным выбором. Разве этот сорванец, Григорий Иванов, способен когда-нибудь оценить нежное чувство? Ему бы все рвать да драть, да по ветру развеять... Это какой-то ястребенок... Как он, например, со мной обошелся? И за что? За участие, за сочувствие...

— Здравствуйте! — вдруг раздался около меня мягчайший голос.— Ну, как же я рада, что вы приехали, наш дорогой пустынный!

— Ах, Серафима Павловна! — восклицаю я, проворно обернувшись и увидав генеральшу Болотникову, сестру добрейшей Анны Павловны.

— Да, вот, кажется, и недавно знаю вас, а точно целые годы была с вами знакома, целые века! — продолжает она с сердечною беззаветностью.

— Ах, Серафима Павловна! — восклицаю я снова.

— Вся душа с вами как-то нараспашку, что-то в вас есть родное... Я уверена, что мы с вами встречались прежде, знаете, где-нибудь, на какой-нибудь планете были знакомы. Ей-богу. Ведь, говорят, мы переходим с планеты на планету... Да, я уверена, что мы давно с вами на какой-нибудь планете были знакомы!

Хотя мне известно, что генеральша Болотникова при встрече с каждым малоизвестным ей человеком упоминает

о знакомстве с ним когда-то на планете и что, следственно, рискуешь попасть в весьма разнохарактерное общество, тем не менее я чувствую себя польщенным.

Что делать, не одна ворона заплатила за ласкающие слух речи даже заветным куском сыра, а поклоны и улыбки — естественная, никому не убыточная дань, и я ее охотно приношу на алтарь общежития.

— Ну, как же вы поживаете? Здоровы ли? — спрашивает генеральша Болотникова. — Да сядемте... Вот тут, между цветами, на балконе... Как чудно цветут азалии!

— Прелестно, прелестно!.. — вторю я, помещаясь рядом с нею на чугунном диванчике, под сенью пирамидок с цветами.

— Как милы эти диванчики *genre rustique*! <sup>1</sup> Совершенно березовые сучья. Просто и мило.

— Чрезвычайно! — восклицаю я.

— Ах, дорогой мой Андриан Андреевич, если бы мы меньше удалялись от природы, и мы были бы проще и лучше. Нам бы всем следовало отбросить всякую искусственность и принять *genre rustique*...

— Совершенно справедливо, Серафима Павловна, совершенно справедливо, — вздыхаю я, внутренне прыская со смеху при представлении зрелища, которое явила бы собою моя собеседница, приняв *genre rustique*. Вообразите гору клюквенного киселя, втиснутую в форму серого шелкового платья с буфами, бантами и белыми кружевами, в белой кружевной наkolке с лиловыми лентами, припудренную и в локонах *à la bonne maman*! <sup>2</sup>

— Да, да, мы удалились от природы... Ну, что ж, перестали вы хандрить?

— Совершенно.

— Не скучаете в нашей глуши?

— Возможно ли скучать, Серафима Павловна, когда я окружен такими милыми соседями!

— Да, да, вы ведь бежали от шума и суеты... Здесь у нас глушь, но зато здесь уж вы не встретите сердечного холода, зато здесь вы всегда найдете привет и искреннее теплое чувство.

— Поверьте, Серафима Павловна, я умею ценить...

---

<sup>1</sup> В деревенском стиле (франц.). Ред.

<sup>2</sup> В старомодных локонах (франц.). Ред.

— Да, впрочем, вас ведь нельзя и не полюбить.

— Вы так добры...

— Нет, это вы так симпатичны... А вы как будто немножко побледнели за последнее время, а?

— Побледнел?

— Да... У нас ведь прошел слух, что вы влюблены.

— Влюблен?

— Ведь вы знаете, у нас никого не оставят в покое.

В провинции всегда так, всегда какие-нибудь комеражи... Не стоит обращать на них внимания!

— Кого же произвели в предмет моей страсти?

— Ольгу Чудову!

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!

— На нее всегда нападают. Милая девушка, только, разумеется, неосторожна: посылает там какого-то мальчишку за какими-то, будто бы, книгами... Ну, мальчишка и разболтал все.

— Что же все?

— Конечно, перепутал, исказил, да ведь у нас всему верят! Говорят, будто бы перелезали там через какие-то заборы ночью, будто бы сходились в березовой роще...

— Я?

— Нет, приезжий молодой человек, ваш счастливый соперник... Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! Кто же этот приезжий молодой человек?

— Племянник Капитолины Ивановны Бусовой, студент. Знаете вы его? Уп<sup>1</sup> Марк Волохов.

— Видел, Серафима Павловна.

Я ничего к этому не прибавляю, но Серафима Павловна, с свойственной ей проницательностью в деле всяких тонов и мин, понимает, что племянник Капитолины Ивановны Бусовой не олицетворяет для меня ничего похожего на перл создания.

— Какой-то странный этот молодой человек,— говорит она,— не правда ли?

— Д-да.

— Надменный какой-то... И с чего такая надменность? Ведь не от Рюрика род свой ведет!

---

<sup>1</sup> Вроде Марка Волохова. *Ред.*

— Разумеется, не от Рюрика... Но, Серафима Павловна, мое убеждение такое, что знатность рода еще не дает права...

— Знаю, знаю, Андриан Андреевич. Конечно, все мы люди и все равны перед богом...

— Откуда бы он ни вел род свой, Серафима Павловна, надменность его забавна...

— Он вроде Алеши Викулова... Помните? Вместе бы им мир переделывать... Хе-хе-хе!

— Хе-хе-хе!

— Все эти «новые идеи». Вообразите, недавно приезжаю я к Настеньке Крамовой,— я ей крестная мать, ну, и люди они бедные, так я помогаю им понемножку,— и вижу: сидит вся взъерошенная,— ни воротничка, ни галстучка, корсаж застегнут набок,— и пишет. Спрашиваю: что пишешь? «Ничего, ничего». Пошла она за детьми в сад, я и посмотрела, что такое она строчила,— ведь я ей не чужая,— вижу на тетради: «Что делать?» Я села и тут же написала на полях: «Учить Сашеньку молитвам и музыке, не пускать Лиденьку бегать по солнцу, наблюдать за домашним хозяйством, за порядком в доме — вот что делать».

— Гм... Ну, и что ж она?

— Обиделась. «Какое вы,— говорит,— имеете право?» Слышите, я-то какое имею право! Я видела ее младенцем, я всегда ей помогала и вдруг, какое я имею право?

— Молодость, Серафима Павловна, юношеский пыл...

— Неблагодарность, милый Андриан Андреевич, вот что грустно! И мы были молоды, но мы чттили близких людей, помнили добро...

— Я уверен, Серафима Павловна, и она не могла забыть...

— Ах, дорогой мой, вы, как и я, все хотите перетолковать в хорошую сторону! К несчастью, это не всегда возможно. Вообразите, недавно была седьмая годовщина моему Ираклию, и она не приехала. Это после всех печений-то наших! Бог с ней! Не в первый раз уже люди так платят мне за все, что я для них делала. Да вот, недалеко искать — смотрите, входит Бородинская. Знаете ее?

Генеральша Болотникова движением напудренного подбородка указывает мне на входящую даму высокого роста, стройную, с правильным спокойным лицом, не обремененную ни оборочками, ни бантиками, ни украшениями.

— Я ее встречал уже,— отвечаю я.— Англичанка по происхождению, кажется?

— Да... Ведь была у меня гувернанткой. Мы ее приютили, знаете, пригрели... Поступила к нам—ни платья порядочного, ни белья... Я ей и то, и другое, и третье... Обращались с ней, знаете, просто, по-дружески. Бывало, хоть и вижу, что не так—промолчу. Бог с ней, с бедненькой, думаю, она на чужой стороне, зачем ее огорчать... Мои Эльвира и Темира таки были понятливые девочки, что их почти и учить было не надо: языки они знали, можно сказать, с пеленок... Она у меня почти ничего не делала,— не трудилась, а отдыхала. И что ж вышло, как вы думаете?

— Не знаю, Серафима Павловна,— улыбаюсь я.

— Влюбилась в моего покойного брата!

— Вот как!

— Я и тут к ней не изменилась... Вы не подумайте, дорогой Андриан Андреевич, что я сколько-нибудь пристрастна к знатности, к чинам или к богатству,— о, нет! У меня родной племянник был влюблен в простую крестьянку, и я ему говорила: «Ну, что ж, если ты ее любишь, и прекрасно, и женись на ней!» Это была даже мечта моя. Но, к несчастью, девушка оказалась недостойною... Изменила ему,— ну, и разные там разности... Ведь даже и в народе есть недостойные... Горько мне было в этом убедиться, а делать нечего.

— Недостаток развития, Серафима Павловна,— замечаю я.

— Да, да... Так вот она и влюбилась в моего покойного брата, и началась трагикомедия. Все на нее, конечно, напали ужасно... Сестры мои, вы знаете, милые, добрые, но с предрассудками, особенно Нушенька... А я только сказала ей: «Кисинька!» — мы звали ее Кисинька, как она к нам поступила, мы ее сейчас и перекрестили: мисс Кет, Катерина Николаевна — все так церемонно, так холодно, мы хотели ее пригреть, ободрить. Так я ей только сказала: «Кисинька, старайтесь победить вашу любовь к моему брату, эта любовь не даст вам счастья. *Soyez courageuse, ma chère! Le sentiment d'un devoir accompli nous élève et nous transforme*<sup>1</sup>. А если вам грустно, тяжело, то выплачьте

---

<sup>1</sup> Будьте мужественной, дорогая моя! Чувство исполненного долга возвышает и преображает нас! (франц.) Ред.

свое горе вот здесь (генеральша Болотникова треплет себя по кисельной горе, покрытой буфами серой шелковой материи), у меня на груди...»

— И что ж она? — спрашиваю я, всматриваясь в строгий профиль предмета нашей беседы, поместившегося в про свете балконных дверей и с спокойной улыбкой слушающего какую-то голубую даму, которая сыплет словами, как горохом из мешка, и не без злорадства, каюсь в том, помышляя: «А, и ты, невзирая на твое британское достоинство, до того поддалась очарованию русской широкой силы, что забыла все свои островитянские предубеждения!..»

— Ну, конечно, она не из избранных натур! — вздыхает генеральша.— Бедный мой брат опомнился первый и уехал в Москву... Сколько я тут с нею возилась! Сама, бывало, смачиваю ей голову винегром<sup>1</sup>, уговариваю, убеждаю, утешаю, плачу с ней! Покою ее на груди своей!

— А говорят, англичанки так сдержанны,— замечаю я, все более и более усомнясь, чтобы рассматриваемый мною строгий профиль когда-либо прикасался к возвышающимся предо мною серым буфам.

— Мало ли что говорят, дорогой Андриан Андреевич,— отвечает генеральша Болотникова.— Неужто вы полагаете, что там у них, в Англии, ничего подобного не бывает? И там случается... qu'on jette son bonnet pardessus les moulins...<sup>2</sup> Хе-хе-хе!..

— Хе-хе-хе! Конечно, случается.

— А она — пристрастная! — продолжает генеральша Болотникова.— Вы не можете себе представить, что она выдельвала... Не можете себе представить!..

Спокойное лицо, украдкой мною разглядываемое, случайно или привлеченное моим долгим упорным взглядом, обращается в нашу сторону, и я усматриваю в нем столько нелицемерной честности, что у меня вдруг является вопрос: какое право имею я столь нагло разведывать сокровенные, личные чужие дела?

Я невольно краснею, но не решаюсь прервать мою собеседницу резким переходом к другой материи, а с подобающей деликатностью пытаюсь шутливо напомнить о снисхождении.

---

<sup>1</sup> Уксусом. Ред.

<sup>2</sup> ...Что пренебрегают правилами приличия, общественным мнением... (франц.) Ред.

— Мир прошлому! — говорю я с улыбкой.— Теперь она замужем и все...

— Да, к несчастью замужем,— перебивает меня генеральша Болотникова.— Не послушалась меня!

— Что ж, несчастлива? — спрашиваю я, проникаясь участием к островитянке.

— Ах, и не говорите! Он пренеприятный человек. Бесчувственный такой, алчный... И в лице у него *quelque chose de geroussant*...<sup>1</sup> Прорывается, знаете, наружу... Неужто вас его лицо не поразило неприятно? Ведь вы физиономист...

— Я его не видал.

— Не видали? Вы часто бываете у Нушеньки, как же это его не встречали? Он там с женой гостит уж недели три.

— Он не появлялся. Из разговора мадам Бородинской с Мефой Павловной я мог заключить, что он в отсутствии где-то по делам, в Тамбовской или Саратовской губернии, не припомню хорошенько.

— Да, да, он вчера только возвратился... Ну, сегодня увидите, он здесь, я его встретила в цветнике... Вот тоже отблагодарил нас! Мой отец взял его в дом нищим, вывел в люди... Мы отдали его в университет, содержали там... Бывало, напишет: «Умоляю вас, вышлите денег»,— и мы сейчас же шлем... И что ж? Он начинает сбивать с толку мою племянницу, дочь моей старшей сестры (девочка этакая, знаете, восторженная, энтузиастка, сумасбродка... Сестра странно ее воспитала и жестоко была за это наказана). Слава богу, один счастливый случай все нам открыл... Другие бы после этого на глаза не пустили, но мы уже если кем увлекаемся, так все на свете готовы простить и извинить... Простили мы, извинили и еще пожалели... Ей-богу, вы не можете и вообразить, до чего мы слабы! И что ж? Он начинает кружить голову другой моей племяннице. Я первая это заметила, говорю Нушеньке — не верит! Еще на меня напала,— так он сумел ее обойти! Потом, наконец, влюбляется в мою Эльвиру. Ну, Эльвира, конечно, не могла отвечать ему, и мы с нею только над ним посмеялись... Тут он видит, что его разгадали, и посватался за Екатерину Николаевну.

— И, наконец, остепенился? — улыбаюсь я.

---

<sup>1</sup> Что-то отталкивающее... (франц.) Ред.

— Вы думаете, он сделал это бескорыстно? Ах, дорогой Андриан Андреевич, как вы ошибаетесь! Он знал, что мы ее не оставим, и на это рассчитывал. Мы, конечно, дали ей приданое... то есть не приданое, не прямо, а так, как будто *cadeau de pose*...<sup>1</sup> Потом я хлопотала о нем, через графа Сергея устроила их... Граф Сергей ведь отличный человек и уж так мне предан! С детства знаем друг друга: у нас нет друг от друга тайн... Он, знаете, такая страстная натура. Я ему часто говорю: «Право, Сергей, вы опасный, вы — *mauvais sujet*<sup>2</sup>, с вами не следует ни на минуту оставлять хорошеньких женщин, иначе они пропали!..» И уверяю вас, что это так, против него ни одна не устоит, до того он умеет быть обаятельным. Устояла бы разве одна моя Темира, но ведь она уж такая у меня пуританка! Вечно дома, вечно с семьей возится, мы ее так и прозвали Пенелопой... Я вас непременно с нею познакомлю... Надеюсь, вы к нам заглянете?

— С величайшим удовольствием, Серафима Павловна.

— Уж она по моим рассказам вас любит... Не верите?

— Не смею верить, Серафима Павловна.

— Да разве вас можно не любить? Как мне жаль, как досадно, что здесь теперь нет моей Эльвиры! Вы бы с нею сошлись... Вы бы ее поняли! Как нарочно, на зло, все мои разлетелись в разные стороны. Я уж писала им: спешите, у нас теперь гостит сокровище.

— Серафима Павловна, вы меня ужасно смущаете, — улыбаюсь я, — если б я не был уверен в вашей бесконечной доброте, я бы заподозрил, что вы надо мной издеваетесь.

— Так вы думаете, вы не сокровище? — улыбается генеральша Болотникова.

— Помилуйте...

— А я думаю, что сокровище. Это мое убеждение.

— Помилуйте...

— Не спорьте, дорогой Андриан Андреевич, не спорьте. Разве вы забыли, что в наш свободный век всякий может иметь свои убеждения? Хе-хе-хе!

— Хе-хе-хе!.. Однако...

— Без всяких «однако!» Серьезно говорю, милый мой Андриан Андреевич, я от всей души вас полюбила с пер-

<sup>1</sup> Свадебный подарок... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Шалопай (франц.). Ред.

вого же раза, как только увидела. Как только на вас взглянула, так почувствовала, что тут что-то точно родное... Право, я думаю, что мы прежде где-нибудь на планете были знакомы! Я так и писала своему Коко... Он отвечает, что уж заочно вас любит.

— Боюсь, Серафима Павловна, что я не оправдаю столь лестного мнения.

— Полноте, полноте! Я ведь не Нушенька и не Мефа, те вечно разочаровываются, потому что увлекаются бог весть кем... А если и увлекутся по счастливому случаю хорошим человеком, то непременно запутают его в какую-нибудь историю и перессорятся... Они добрые, милые, благородные, но уж такое их счастье! Не наградил господь бог постоянством. Они в этом пошли в нашего старшего брата, в Кирилла: тот всю жизнь глупил... связывался с самыми недостойными людьми, с самыми отчаянными кутилами... Сколько он всем нам горя принес, так я вам и выразить не могу! Каких иногда креатур он в дом вводил! Пробовала я не раз его образумить, но только получала за это оскорбления... «Ну, бог с тобой! — сказала я ему в последний раз. — Сам потом увидишь, что я тебе добра желала, сам пожалеешь!» Теперь он и жалеет, да уж поздно: имение разорено вконец, не нынче-завтра и Каменку с аукционного торга продадут.

— Неужто?

— А вы приняли, что там у них благоденствуют? То-то и горе, что мы любим *jeter de la poudre aux yeux*!<sup>1</sup> Это наша несчастная страсть! А пора бы, кажется, уж и за ум взяться! Еще не дальше, как вчера, в Каменке был купец Матюхин и угрожал подать ко взысканию... Я тоже поспешила туда, — сердце не вытерпело: свое все-таки, кровное! «Что же ты, Кирилл, думаешь делать?» — говорю. Фыркнул в ответ. «Я прошу, — говорит, — не вмешиваться в мои дела». И опять запил горше прежнего... Ах, дорогой Андриан Андреевич, я с вами откровенно говорю о самых близких делах, не таю от вас ничего... К чему таить от вас? Вы ведь все поймете!

— Поверьте, Серафима Павловна, что я не способен злоупотреблять вашим доверием.

— Уверена, уверена, милый мой... Я рада с вами облегчить душу... А вот и Нушенька! К нам идет... Здравствуй,

---

<sup>1</sup> Пускать пыль в глаза! (франц.) Ред.

Нушенька, что ты так поздно? — обращается генеральша Болотникова к приближающейся даме.

Эта дама — моя приятельница, та самая Анна Павловна Колесова, которая пишет мне милейшие письма, заботится о моем бобылевском хозяйстве и рекомендовала Капитолине Ивановне Бусовой, — но справедливость вынуждает меня признаться, что она, одетая в светло-серое платье и развевающуюся черную мантильку, издали чрезвычайно напоминает ночную бабочку, а вблизи — мелкую хищную птичку, способную поклевать всех существующих ночных и дневных бабочек, если таковые попадутся... Но я уже, кажется, сказал, что наружность еще ничего не значит... обманчива.

— Здравствуй, Фима, милая! Здравствуйте, дорогой мой Андриан Андреевич! — приветствует нас Анна Павловна. — Вот вы как тут приютились в цветах!

Я спешу уступить ей свое место.

— Нет, нет, ни за что, голубчик, — отговаривается она, — ни за что! Я вот тут усядусь, в этом уголке.

Я настаиваю и заявляю непоколебимое намерение стоять перед нею, пока она не займет предлагаемого места.

— Ну, нечего с вами делать... Ну, хорошо, дорогой вы мой... добрый вы мой, несравненный! — сдается она, наконец. — Ну, как же вы поживаете? Как жарко сегодня! У меня голова разболелась, пока доехала.

— Да что ты так поздно, Нуша? — спрашивает генеральша Болотникова. — Смотрю, смотрю, все тебя нет.

— Ждала Мефу, — отвечает Анна Павловна, — ты ведь знаешь ее сборы!

— Еще бы! — улыбается генеральша Болотникова. — Да где ж она?

— Да я так и не дождалась: приехал Ферапонтов, и она повела его смотреть своих попугаев.

— Что ж она, не будет?

— Может быть, вместе с Ферапонтовым придет.

— А знаешь, Евгений Ферапонтов здесь с утра.

— Здесь? Ну, бог с ним!

— Спрашивал о тебе, — продолжает генеральша Болотникова и, обращаясь ко мне, говорит:

— Это кузен Геннадия Ферапонтова, который вам так нравится... Верно, вы уже о нем слышали?

— Да, — отвечал я, — слышал, что весьма ученый, образованный человек.

— Таких ученых следовало бы в кунсткамеру сажать! — смеется Анна Павловна, причем ее бледно-голубые глаза поблескивают, словно из них выскакивают тоненькие иголки.

Я любезно недоумеваю.

— Чудак-то он чудак, греха девать некуда, — улыбается генеральша Болотникова. — Un peu toqué!..<sup>1</sup>

— Неужто? — восклицаю я.

— Фима очень добра, — перебивает Анна Павловна, — поэтому извиняет всякие безобразия, но я не могу не сказать, что чувствую... Я не поклонница Ферапонтова... Я предоставляю это Мефе... Il fait toujours l'important...<sup>2</sup> Вечно какие-то проповеди и свысока... Я когда-нибудь скажу Геннадию, что я в проповедниках не нуждаюсь и что лучше проповедей всякому смотреть за собою... Помнишь, Фима, что выделял Евгений Ферапонтов, когда был влюблен в Мефу?

— А помнишь, что за чудеса он говорил, когда был влюблен в Воеводину?

— А когда таял по Пороховниковой?

— А когда млел у ног Арбузовой?

— Да это, вероятно, не тот Ферапонтов! — говорю я с искренним недоумением. — Это не тот ученый, серьезный человек, благородный уездный деятель, анахорет!<sup>3</sup>

— Анахорет! — со смехом восклицает генеральша Болотникова.

— Анахорет! — со смехом восклицает Анна Павловна.

— Ах, дорогой Андриан Андреевич, — шутит генеральша Болотникова, — разве вы не знаете, не помните пословицу: «Quand le diable devient vieux, il se fait ermite»<sup>4</sup>.

— Помню, Серафима Павловна, — отвечаю я с улыбкой, — но я не прилагал этой пословицы в данном случае.

— Он у нас ужасный ферлакур<sup>5</sup>. Ведь мы его с детства знаем, вместе росли. Он был очень недурен собою, носил волосы до плеч, и его все звали Владимиром Ленским... За него сестры Птицыны раз подрались... Помнишь, Нуша? А помнишь, как он из-за Красноярской чуть не застрелился?

---

<sup>1</sup> Немного чудак!.. (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Он всегда высокомерен... (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Отшельник, пустынный. Ред.

<sup>4</sup> Когда дьявол стареет, он становится отшельником (франц.). Ред.

<sup>5</sup> Волокита, соблазнитель. Ред.

— Да, да,— подхватывает Анна Павловна, обращаясь ко мне,— вообразите, голубчик, является с пистолетом и говорит Красноярской: «Любите вы меня?» Та перепугалась. «Я люблю моего мужа!» — отвечает.— «А, если так, так я сейчас выстрелю себе в живот!» Et quelle idée! <sup>1</sup>— стрелять в живот! Вечный комедиант!

— И ведь выстрелил в живот! — прибавляет генеральша Болотникова. И смех так начинает ее всю колебать, что я готов опасаться, как бы она не выхлынула из своего шелкового платья, как кисель из сосуда, и не затопила бы балкона.— Выстрелил!

— Однако, уж это не комедия! — замечаю я.

— Ах, мой дорогой, все комедия,— восклицает Анна Павловна,— он ведь так выстрелил, что ничего опасного быть не могло... Просто интересничал... Но Красноярская умная женщина и прогнала его... А теперь с толку сбил, погубил несчастную девочку.

— Да, да, бедная Надя, жаль ее! — говорит генеральша Болотникова.— Это наша родственница,— поясняет она мне,— совсем еще ребенок.

— Совсем ребенок! — подхватывает Анна Павловна.— И какая была милая, добрая. Вызвался ее учить и вдруг ей говорит: «Можно вас любить?» — Каково это? Мать ничего не подозревает, и вдруг, как только ей исполнилось шестнадцать лет, она выходит за него замуж! Какой удар для бедной матери!

— Но, значит, девушка его любит? — замечаю я, в виде скромного предположения.

— Какое любит! Теперь сама изнывает с тоски!

— Он мучит ее ревностью,— прибавляет генеральша Болотникова,— прячет ото всех! Даже к родным никуда не пускает.

— Первую жену уморил,— перебивает Анна Павловна,— и эту уморит... Он меня ненавидит за то, что я почти прямо сказала ему: «Не грех вам жениться в ваши лета, с вашими болезнями?» — Вы только вообразите, дорогой мой, Андриан Андреевич, что он даже в июле месяце не может поутру ходить без чепца с ушками!

— Да, да,— смеется генеральша Болотникова,— в последний раз приезжаю к ним, а он в чепце сидит, точно наша старая Анфиса...

---

<sup>1</sup> И что за мысль! (франц.) Ред.

— Ну, уж и Геннадий тоже позер! Приехал к нам, жалуется, что хворает, что доктор велит за границу. «Отчего же вы, Геннадий, не едете?» — спрашиваю. «Собираюсь,— говорит,— да теперь уж не на что, все деньги, какие были, раздал мужичкам... Увидал,— говорит,— что мужички в оспе домой едут из Питера, побоялся, что заразят все деревни, жаль стало, я и пристроил их полечиться».

— А Мефа, я думаю, так и присядет от восхищения? — улыбается генеральша Болотникова.

— Уж разумеется...

— Однако,— замечаю я,— это все-таки ему делает честь. Во имя доброго дела простите ему, медам, маленькую слабость.

— Я сомневаюсь в этих добрых делах, милый Андриан Андреевич,— возражает Анна Павловна.— А ты, Фима, веришь?

— Грешный человек, не совсем... Геннадий всегда любил попозировать... А вот и он! Легок на помине... Где же Мефа? Геннадий! Геннадий! Здравствуйте!

Геннадий Ферапонтов направляется в нашу сторону и нас приветствует. Геннадий Ферапонтов высокий, чернозубый человек, с желто-пепельными седоватыми косичками на висках, с желто-пепельным цветом лица, жидковолосый, жидкобородый, небрежно одетый и неумытый. Голос его необыкновенно мягкий, какой-то ободряющий, словно он видит кругом нищету как духовную, так и материальную, но возвращается среди нищенствующих милосердно, с христианским смирением и кротостью. Общий вид его почему-то всегда мне приводит на память вылинявшие пейзажи в запыленных рамках, стершиеся образы, потухшие очаги, выдохшиеся флаконы... А между тем, как он красно-речив!

— Где вы девали Мефу? — спрашивает его генеральша Болотникова.

— Она здесь,— отвечает Геннадий Ферапонтов,— осталась в цветнике с Евгением.

— Ну, присядьте около нас, Геннадий,— продолжает генеральша Болотникова,— сюда, поближе... Что вас так редко видно? Все сушите себя над книгами, над философией? Вот удивительный человек, Андриан Андреевич,— обращается она ко мне,— век свой все думает о других! Помню, бывало, в юности другие веселятся, танцуют, а его не вытянешь из-за письменного стола,— все читает

да философствует. Другие, бывало, покупают разные пу-  
тяги — ружья, брелоки, а он все отдает бедным.

— Полноте вам, Серафима, перебирать мои кости,—  
говорит Геннадий Ферапонтов, но так ласково, что эта пе-  
реборка костей ему, очевидно, не досадна,—они и без  
того у меня ноют.

Он при случае подсмеивался над легковверными людьми,  
подпадающими под очарование льстивых слов, но, между  
нами будь сказано, я всегда был уверен, что из его жел-  
тых слабых клыков сыр гораздо легче выпадает, чем из  
моего зубастого рта.

— А отчего за границу не едете? — с укором говорит  
Анна Павловна.— Грех так не беречь себя!

— Хоть бы для друзей себя поберегли, Геннадий! —  
вздыхает генеральша Болотникова.

— Совсем было собрался,— отвечает Геннадий Фера-  
понтов,— да не удалось, подошли из Питера мужички, за-  
раженные оспой, так уж не до границ. Надо было их  
приютить, полечить, а то ведь они бы занесли заразу по  
всем окружным деревням... Ну, и не поехал за границу...

— Вот он всегда так, наш добрый Геннадий! — воскли-  
цает генеральша Болотникова.

— Добрый, добрый Геннадий! — вторит ей Анна Пав-  
ловна, бросив мне знаменательный взгляд.— Но все-таки  
надо и о себе подумать, не правда ли, Андриан Андреевич?

— Конечно, конечно,— соглашаюсь я, и вместо того,  
чтобы потешаться, к бешенству своему чувствую, что во  
мне начинает разгораться негодование.

Все это, видите, старая отравка действует. Я проникнут  
ею и начинаю серьезно сомневаться, вылечусь ли когда-  
нибудь.

Ну, какое мне дело до этих двух старушенций, до их  
болтовни и сплетен, до Геннадия Ферапонтова и до его доб-  
рых дел? А между тем я волнуюсь, мне душно, я готов сор-  
вать наколку с Анны Павловны, опрокинуть горшок родо-  
дендронов на генеральшу Болотникову, сказать дерзость  
Геннадию Ферапонтову. Разумеется, я себя сдерживаю...

— Теперь уж таких людей, как вы, Геннадий, нет,—  
продолжает генеральша Болотникова.— Вы настоящий хри-  
стианин. Недаром вас называют апостолом, недаром вас...

— Да, угомонитесь же, Серафима! — перебивает Генна-  
дий Ферапонтов.— Лучше расскажите, о чем вы тут тол-  
ковали...

— А вот я говорила Андриану Андреевичу, что мы верно были с ним знакомы прежде, на какой-нибудь планете встречались...

— Кто ж осмелится положительно утверждать противное? — спрашивает Геннадий Ферапонтов. — Отрицатели неосязаемых явлений, современные Фомы неверные, не могут представить никаких данных, которые бы убеждали нас в невозможности существования этих...

— Что с вами, милый Андриан Андреевич? — вдруг восклицает Анна Павловна.

— Головокружение, — отвечаю я, поспешно вставая.

— Ах, боже мой!

— Солей бы поскорей...

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь... я подвержен головокружениям... Это пустяки! — спешу я уверить. — Стоит только походить немного по саду, и я оправлюсь...

— Да солей бы! — поет вслед мне генеральша Болотникова.

— Ах, не бережете вы себя, — укоряет Анна Павловна.

Я спасаюсь вглубь сада, в густую липовую аллею, тут свободно вздыхаю и вслед затем радостно ахаю: в нескольких шагах от меня, на дерновой скамье сидит Ольга Чудова.

Ко мне мгновенно возвращается хорошее расположение духа.

«Бежал от трех старых грибов, — говорю я себе с улыбкою, — и неожиданно попал на прелестнейший цветок».

Но Ольга меня не замечает. Как она задумчива! Бедная! О чем эти думы?

Я подхожу к ней и приветствую. Она слегка вздрагивает, потом рассеянно мне улыбается и рассеянно спрашивает, как я поживаю.

— А вы как? — спрашиваю я в свою очередь, садясь около нее на дерновой скамье.

— Ничего... как всегда, — отвечает она.

В аллее зеленая тьма, и, может быть, вследствие этого она кажется такою бледною, а глаза ее такими темными и блестящими.

— Я нарушил ваше уединение? Помешал вашим думам? — говорю я.

— Ничего, — отвечает она.

— Если б я посмел, я бы спросил: о чем эти думы?

— О многом... Например, о том, неужто я целый век

свой буду только сидеть да раздумывать? О том, где, в чем настоящая правда, настоящее добро, настоящая жизнь? О том, что здесь душно...

Я тотчас же соображаю, откуда ветер дует!

— Вы еще не решили этих вопросов, Ольга Алексеевна? — спрашиваю я. — О, будьте осмотрительны при решении! Мы часто пленяемся миражами и затем горько раскаиваемся, дорого за это платим. Мы часто увлекаемся неосуществимыми мечтами...

Она пристально на меня глядит, как бы очнувшись, как бы только в эту минуту увидав, кто перед нею, и, проговорив: «Извините, меня ждут», — исчезает прежде, чем я успеваю опомниться.

Повторяю: я жалкий, несчастный человек! Какое мне, казалось бы, дело до этой глупенькой девочки, а я сам не свой! Я не могу переварить ее пренебрежения, я трясусь, как в жестокой лихорадке и строю тысячи планов, как ей убедительней доказать, что я не таков, как она полагает, не похож на тех, от кого ей душно...

Я, разумеется, мало-помалу успокаиваюсь, но благо-растворение воздуха, аромат цветов, веселое общество, ужин — все для меня испорчено, все отравлено...

Я успокаиваюсь, но не в силах отказаться от попытки объясниться с Ольгой и отправляюсь ее отыскивать...

## V

.....  
Нет, нет! Разумный муж идет путем иным,  
И, снисходительный к дурачествам людским,  
Не выставляет их, но сносит благоправно;  
Он не пытается, уверенный забавно  
Во всемогуществе болтанья своего,  
Им в людях изменить людское естество.  
Из нас, я думаю, не скажет ни единый  
Осине: «Дубом будь!» — Иль дубу: «Будь осиной!»  
Меж тем, как странны мы! Меж тем, любой из нас  
Переиначить свет задумывал не раз!

*Е. Баратынский*<sup>1</sup>

Избегав верст пять по саду в напрасном ожидании встретить Ольгу, я, наконец, приседаю под тенью старой липы и повторяю вышеприведенные стихи нашего давно

<sup>1</sup> Стихотворение «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры». *Ред.*

почившего поэта. Но, повторяя мудрые поэтические изречения, я далек от того философско-безмятежного состояния, в каком, по всей вероятности, находился поэт, начертывая их, — очень далек!

Нетерпение поймать Ольгу и объяснить ей, что я вовсе не таков, каким она меня предполагает, начинает терзать меня, как разбаливающийся зуб, и никакие философские компрессы этому несносному мучению не помогают. Я изгрызываю около сотни листочков с осеняющей меня липы, доказывая себе, как уморительно дорожить мнением какой-нибудь деревенской барышни, как безумно из-за этого мнения волноваться, но с тоскою начинаю убеждаться, что, обчисть я все нижние ветви прекрасного дерева, в этом занятии я все-таки не слажу с своими волнением и безумием.

Вдруг вдали, среди зелени, мелькает женское платье.

Ольга, Ольга! Непременно она! Ее светлое легкое платьице, ее длинный черный пояс, так грациозно обхватывающий гибкий стройный стан...

По мне пробегает радостный трепет, и я чуть не кричу на весь сад: ура! Я начинаю быстро соображать, как мне к ней обратиться, с чего завязать прерванный разговор, как улыбнуться, как вздохнуть, я стараюсь не глядеть в сторону узенькой тропинки, по которой она приближается, чуть виднеясь из-за прихотливо разросшейся жимолости, я тшусь принять задумчивый вид...

Только тот, кого постигло нечто подобное, может себе представить мои чувства, когда, вместо чаемой Ольги, из-за цветущих кустарников появляется Анна Павловна.

— Ну, что, дорогой вы мой, лучше вам? — говорит она, подсаживаясь ко мне на скамью и заглядывая мне в лицо; в ее глазах светится самое трогательное участие, но никогда еще меня так неприятно не поражило ее сходство с мелким проголодавшимся ястребком. — Что ваша бедная головка?

Я благодарю за участие, улыбаюсь и внутренно бешусь, как я мог принять эту хищную фигурку в крылатой мантильке за прекрасную фигуру Ольги, зачем вовремя не бежал, не скрылся в кустах терновника, не кинулся в крапиву...

— Ну, слава богу! — продолжает Анна Павловна. — А я так беспокоилась! Феропонтов и Фима болтают о звездах, а я все думаю: что-то он, бедненький мой

Андриан Андреевич? Не утерпела, бросила их и пошла вас отыскивать...

— Как вы добры, Анна Павловна...

— Полноте, милый вы мой! Как же быть равнодушной, когда друзья страдают? Да еще такие бесценные друзья. Я с вами только и отвожу душу. Вам все поверяю, все высказываю... В последний раз, как мы виделись, побеседовала с вами — помните? — и легче стало... Вам Фима говорила, что нашу Каменку угрожают продать с аукционного торга?

— Право, не припомню...

— Полноте, милый вы мой, я уж знаю, что она не утерпит, чтобы не сказать... Да я этого и не скрываю... Если я буду разорена, то не по своей вине.. Я доверилась брату Кириллу... Я его не осуждаю — бог с ним. Он сам теперь в отчаянии... Ах, друг мой, если б я осталась в своем костромском имении, я была бы спокойна! Но пожалела брата, все продала, все отдала ему и вот теперь мучусь как виноватая. В благодарность за мои жертвы Кирилл на меня вот уже две недели дуется... О Мефе я и не говорю... Да, дорогой вы мой, тяжело мне!

Она начинает плакать, проворно подхватывая слезы платком, чтобы они не упали на шелк мантильи.

— Будем надеяться, дорогая Анна Павловна, что все устроится, — говорю я.

— Мне не так себя жаль, милый Андриан Андреевич, как бедную Мефу, — как бы она со мной ни обращалась, все-таки родная сестра, — ведь она тоже будет разорена. Она все свои деньги отдала Кириллу взаймы и теперь уж больше году сидит без копейки... Грустно, голубчик, подумать, что все мы под старость должны терпеть лишения. Вот Фима просит помочь ей, а я не могу.

— Серафима Павловна?

— А вы думали, у нее золотые горы! — смеется Анна Павловна; слезы ее иссыкают и в прищурившихся от смеха глазах появляется блеск. — Да она прежде всех все промотала! Ей негде голову преклонить! Только у нее и осталось, что пенсия... Вы видели, она вышивает по атласу булавочные подушечки? Это ведь она возит в Петербург и там продает в гостином дворе... Пока живет в Петербурге, обедает поочередно у знакомых, — у нее везде гибель знакомых, — а когда уж нельзя, так питается, знаете, этими ужасными пирогами с брусничным вареньем, которые

продаются в мелочных лавчонках... Вас удивляет, что там у нее дочь, и ей не поможет? Дочь и сама дома одни брусничные пироги ест. И если бы вы, дорогой мой, знали, что это за дочь! Самая развращенная женщина на свете! Бросила мужа, уехала с юнкером... Мы рады, что от нее избавились и не слышим каждый день новых скандалов... Когда в нашем городе стоял полк, так стыдно сказывать, что происходило! То и дело летят к ней в деревню тройки с офицерами... Попойки за попойками... Наконец, дошло до того, что офицеры хотели ее прибить! Да вы, верно, слышали все эти истории?

— Нет, Анна Павловна, не слышал,— отвечаю я, томимый желанием ускользнуть от собеседницы.

— Неужто не слышали? Она прославилась на всю губернию, и о ней везде говорят. Мужа разорила и теперь у матери выманивает последнее... Знаете, как она живет в Петербурге? Наймет одну квартиру и не платит, ее сгоняют, она нанимает другую и тоже не платит, и тоже сгоняют... И так бесконечно! Возлюбленный юнкер ее, вообразите, бьет. Да, да, мой друг, бьет! Хлыстом, палкой, чем попало! Каков пример для бедных детишек, особенно для дочки,— у нее ведь трое детей. И дурак муж поручил их ей! Тоже безобразник! Знаете, Фима сама немножко виновата во всем; она престранно воспитывала своих детей, особенно эту Эльвиру... Другая дочь у нее урод, а эта была недурненькая и любимица... Фима воображала, что уж прекраснее ее Эльвиры не может быть на свете... Тогда еще были кое-какие крохи, и Фима безумно тратилась на ее туалеты... «Эльвира, Эльвира, моя Эльвира!» — только, бывало, и слышишь... Что бы Эльвира не набезобразничала, все мило, все превосходно. Раз слышу: «Ах, Эльвира больна! Бедная Эльвира больна!» Я еду проведать, и можете ли вы себе, дорогой мой, представить, что я нахожу? Эльвира лежит в кресле на террасе, почти обнаженная, в одном батистовом белье, с розами в распущенных волосах, а около нее стоит молодой человек, сын полковника Рябинина, известный своею безнравственностью, и держит ее за руку. Я просто сгорела со стыда. А Фима стоит тут же и улыбается. «Помилуй, Фима,— говорю ей,— на что ж это похоже?» — «А что ж такое, Нуша?» — отвечает она. — Этот молодой человек — магнетизер ignogé<sup>1</sup>; когда он берет

<sup>1</sup> Неизвестный, непризнанный (франц.). Ред.

Эльвиру за руку, ее припадок утихает, она перестает стонать и кричать...» И вы только представьте себе, голубчик, что Фима сама, своими руками, усаживала ее в кресло, прикалывала бантики к белью, разметывала волосы и запутывала в них розы! И только восхищалась: «Как хороша Эльвира! Как хороша!» И что же вышло? Эльвира в пятнадцать лет чуть не убежала на Кавказ!

— На Кавказ? — повторяю я с поддельным интересом.

— Да, на Кавказ! У нас был проездом сын Шамиля, она увидела его, влюбилась и побежала на Кавказ!

— То есть он ее увез?

— Вовсе нет! Он уехал, — славный такой был юноша! И когда ей это сказали, она побежала за ним на Кавказ! *Quelle pudeur*, а? <sup>1</sup> Ее поймали уж около какого-то городка в другом уезде... Потом начались приключения еще лучше...

— Серафима Павловна, кажется, ожидает ее сюда? — говорю я, пытаюсь отклонить повествование о последующих приключениях Эльвиры.

— Да, к несчастью, она приедет. Мы уж давно ее не принимаем, но все-таки неприятно такое соседство... Я знаю, Фима непременно хочет вас с нею познакомиться; но я прошу вас, милый вы мой, не знакомьтесь. Ни за что не знакомьтесь! Это такая ужасная женщина, что она завертит вас.

— О, я застрахован, Анна Павловна, я не боюсь.

— Я знаю, что вы милый, хороший, благородный, умница, но ведь она пренаглая! С вашей деликатностью вы пропадете! Конечно, ей не удастся сбить вас с толку, но она может вас запутать в какую-нибудь уголовную историю! Ведь прошлого года она подожгла свой винокуренный завод! Нечем было платить, имение разорено вконец, она пошла ночью и подожгла! Производилось следствие, и если бы граф Сергей не сжалился над Фимой, так ее бы засудили. Только граф Сергей мог потушить это дело... Фима поскакала в Петербург, почти бросилась к его ногам... Какое ей, бедной, унижение! Ах, милый вы мой, ни за что не знакомьтесь с этою прославленною Эльвирой! Обещайте мне это.

— Но я уже дал слово Серафиме Павловне.

— Можно отговориться... Она сама поймет... Я берусь

---

<sup>1</sup> Какова стыдливость, а? (франц.) Ред.

это устроить... И с Коко не знакомьтесь: это общество не по вас. Он глупый, грубый, настоящий brute<sup>1</sup>. Ему на-толковали, что он красавец, и он поверил, но никакой красоты нет, ничего тонкого, приятного, просто бык. И в глазах что-то скотское... И ужасно развращен... Вообразите, он вздумал было ухаживать даже за моею покойною Полиной! И Фима этому потакала! Она иногда бывает совершенно ослеплена... Все, что ни угодно ее Эльвире или Коко,— позволительно... Но я без церемонии его прогнала. Моя Полина была иначе воспитана и сама пришла, пожаловалась на эти бессовестные преследования... Она всегда над ним смеялась и называла его brute, не иначе... Вообще, милый друг, старайтесь быть подальше от всех их... И от старшего Фиминого сына... Его тоже сюда ждут... Тоже развращенный, тоже мот и никакого благородства, никакого point d'honneur!<sup>2</sup> Непременно займет у вас денег и уж, конечно, никогда не отдаст! Фима воображает, что это тоже феникс: «Мой Алеко! Мой Алеко!»

— Алеко,— улыбаюсь я.

— Да, его из Александра перекрестили в Алеко, он считает себя поэтическим, носит длинные волосы, завивается, надушен, в черном бархате и без галстука, à l'enfant<sup>3</sup>. И шеища толще этой липы,— противно смотреть! Вечно закатывает глаза, читает стихи и занимает деньги... Вечно разъезжает по гостям, а несчастная жена сидит дома с семерыми детьми... У него никакого чувства чести, никакой деликатности. После смерти моей Полины у меня было дело в Варшаве, но куда ж мне самой ехать в этот вертеп, вести переговоры с этими чудовищами, родными ее мужа? Алеко вызвался: «Положитесь на меня, тетя, я вам предан, я для вас готов на все, я поеду!» Я поверила... Я ведь, глупая, ужасно доверчива, да и совестно было отказать: он просто умолял позволить ему служить мне... И что ж? Он выманил у меня тысячу рублей и прокутил их в Варшаве, ничего не сделал! И потом, как ни в чем не бывало, приезжает обедать, рассказывает, как милы варшавянки! Как вы это находите?

— Станным, весьма странным,— отвечаю я.

— Ведь проезд от нас до Варшавы всего рублей сто, ну, положим, для обжоры, как он, двести,— где же осталь-

<sup>1</sup> Зверь, скотина (переносно) (франц.). Ред.

<sup>2</sup> Чувства чести (франц.). Ред.

<sup>3</sup> По-детски (франц.). Ред.

ные деньги? А он еще тайком от меня у Мефы занял... Она тогда только что продала свой последний клочок земли... И уверил Мефу, что ее деньги тоже пошли на хлопоты по моему делу... Мефу ведь во всем можно уверить... Она готова увлечься каким угодно безобразием. И уж как раз увлечется, ничего не видит, ничего не понимает.

— Способность увлекаться — счастливая способность, дорогая Анна Павловна, — замечаю я, снова делая попытку перевести беседу с частных проступков и ошибок на общие рассуждения. — Увлекающийся человек живет в ином мире, где все ему кажется прекрасно... Положим, в действительности оно не так, но что нужды? Подобное самообольщение...

— Да, да, у нее вечные самообольщения! — прерывает меня Анна Павловна. — Оттого она и в девушках осталась. Ведь у нее были женихи, но она весь свой век чудила... Кокетничала, прыгала и вот осталась, как стрекоза... Знаете, в басне Крылова? В двоих она сама была страстно влюблена, но непременно, хотела разыгрывать какую-то необыкновенную героиню... Только о том и думала, чтобы ее называли «прекрасным хамелеоном»... чтобы у ее ног изнывали... Знаете, как она отказала одному жениху? «Я не могу выйти за вас замуж, потому что у вас простужен нос!» Не верите? Ей-богу! У него, правда, был хронический насморк, но разве так отказывают? Потом она сама несколько недель рыдала до истерики, но уж было поздно! Она была ужасно самонадеянна и думала, что поклонники никогда не переведутся... И осталась старою девой!

— Конечно, семейное счастье одна из главных задач нашей жизни, — замечаю я, — но ведь оно не всякому дается, дорогая Анна Павловна. Это, простите за вульгарное сравнение, та же лотерея, и не всякому попадается выигрышный билет.

— О, конечно, конечно, милый друг... Но Мефа не может до сих пор примириться с своим положением... Вообразите, голубчик, она до сих пор увлекается, до сих пор у нее кружится голова от всякой смазливой рожицы! Она ведь до сих пор не может смотреть на Ферапонтовых иначе, как на поклонников. Вы только заметьте, как она с ними говорит: все мины, все жантильесы...<sup>1</sup> Не поверите,

---

<sup>1</sup> Жеманство, кокетство. Ред.

кем она теперь увлечена? Племянником Бусовой, Гришей Ивановым, этим неприличным болваном! Un Марк Во-  
лохов.

— Гришей Ивановым! — восклицаю я, невольно встrepенувшись. — Не может быть!

— Я сама не верила, но делать нечего, убедилась... «Какие, — говорит, — у него милые глаза!» Пригласила его против моего желанья в дом, ухаживает за ним, как за архиереем: пить он захочет — она сама бежит за водою, курить захочет — она схватывает спички... Меня это просто возмущало до глубины души!

— Этот Гриша Иванов, — замечаю я без всяких признаков внутреннего волнения, — недалекий мальчик, сколько я могу судить по одному свиданию, но безобидный.

— Ах, друг мой, это ужасный наглец, которого бы не следовало пускать на порог порядочного дома! Бедная Капитолина Ивановна сама это сознает, но что ж ей делать, это племянник мужа и у него под опекой! У ее мужа вся родня безобразная... Да и то она решила, что выгонит его, как только окончится срок опекунству... Но ведь нам он чужой, и нам нечего с ним церемониться! Мы можем его поучить, как себя вести в порядочном доме!

— Он, кажется, несколько резок в словах? — замечаю я с прежним самообладанием.

— Вы не можете себе представить, милый мой, что это такое! Является к нам обедать в измятой ситцевой рубашке, в дегтярных сапожищах и первый садится за стол. Какое блюдо не подадут, он берет себе лучшие куски, потом требует во второй раз, даже в третий... Наконец захватывает все пирожное! А Мефа только жантильничает. Я ей говорю: «Помилуй, Мефа, что ж это такое за манеры?» А она еще на меня накинулась: «У нас всегда по порциям! У нас всегда мало пирожного!» Я ей прямо сказала: «Я не ожидала, что мы посадим за стол un porc!»<sup>1</sup> Ужасно разобиделась и до сих пор пускает мне шпильки.

— И долго он у вас пробыл, этот Гриша Иванов?

— Целый день! После обеда развалился на диване с ногами, космами прямо на шитую подушку... Я не выдержала: «Позвольте, — говорю, — вы испачкаете!» Он вдруг мне отвечает: «Охота вам так прыгать из-за подобной дря-

---

<sup>1</sup> Свинью (франц.). Ред.

ни!» Я, наконец, потеряла терпение и говорю ему: «Я много слышала о вашей грубости и ожидала многого, но вы превзошли мои ожидания!» Вообразите, какой медный лоб: даже не смутился! «Что ж дурного сказать, что думаешь?» — спрашивает меня и ухмыляется. «Лучше молчать, чем говорить глупости!» — отвечаю я. Je frémissais d'indignation!<sup>1</sup> «Какая глупость, находить шитые подушки дрянью? Всякая, никуда не годная, никому не полезная вещь — дрянь», — и пошел, и пошел! Никак остановить нельзя! И до того уж поработил Мефу, что она свои пальцы задвинула в угол... Беспорочно бегают к нему в Благодатное... Хоть бы вы, друг мой, поговорили с ней, — так издали, будто нечаянно, завели бы о нем разговор и разочаровали бы ее.

— Что ж я могу тут сделать, дорогая Анна Павловна?

— Мефа очень уважает вас, знает, как вы благородны, как умны... Ваше мнение много для нее значит... Он сегодня здесь будет...

— Иванов?

— Да... Ведь Ольга тоже обворожена этим героем, а она вертит своей матерью, как ей угодно... Да, мы, наверно, будем иметь удовольствие наслаждаться сегодня его обществом! Эти бестолковые Феррапонтовы тоже ему покровительствуют. Я говорю Геннадию: «Как вам не стыдно, Геннадий, что вы не проучите этого наглого мальчишку!» А он улыбается: «Зачем крутые меры, Нуша, мы его и так образумим... Надо действовать убеждением». А это все потому, что ему хочется проповедовать... Эти Феррапонтовы рады рассуждать хоть с пнями... Кажется, кто-то к нам идет?

— Да, кажется, — отвечаю я, напрягая зрение и слух.

Не Ольга ли? Не он ли, не герой ли Гриша Иванов?

— Какой сегодня день-то, Геннадий! — раздается дребезжащий, как разбитая банка, голос. — Небо голубое, голубое! И всего на нем два маленьких, маленьких облачка...

— Это Мефа с Феррапонтовым! — шепчет мне Анна Павловна. — Увидит вас со мною и рассердится...

— Помилуйте, дорогая Анна Павловна, за что же?

— О, она ужасно ревнива! Она всех ко мне ревнует... Даже мою покойную Полину старалась у меня отбить,

---

<sup>1</sup> Я дрожала от негодования! (франц.) Ред.

родную дочь! Непременно рассердится! Вы не боитесь, голубчик?

— Вы меня обижаете, дорогая Анна Павловна! Я вовсе не желаю скрывать от кого бы то ни было тех чувств уважения и преданности, которые к вам питаю... и я надеюсь, что Мефа Павловна скорее одобрит это, чем осудит...

(Вид Мефы меня раздражает; я чувствую, что во мне поднимается нечто враждебное к этой старой шутихе, способной увлекаться бог весть кем...)

— Ах, вы мой милый, умный, несравненный друг! Смотрите, она нас заметила.

Я почти с ненавистью смотрю на приближающуюся деву, внутренне издеваясь над ее припрыжками и припархиваниями на ходу,— когда-то, в те дни, когда сватался за нее жених с простуженным носом и ее звали прекрасным хамелеоном, это, может статься, и была грация, но теперь походка ее напоминает передвижение окалеченной сороки. И к чему надевать белое прозрачное платье, когда в нем имеешь вид засушенного грибного корешка в кисейном мешочке? К чему складывать губы бутончиком, когда они уже выцвели и над ними усы? К чему уж теперь эти беспрестанные оглядывания по сторонам, точно в ожидании поднесения букета или нескромного преследования влюбленных глаз, когда и букеты, и влюбленные взоры давно миновали и должны бы потонуть в Лете!

— Мое почтение, Мефа Павловна,— говорю я, отвешивая низкий, почтительный, но далеко не восторженный поклон.— Как ваше здоровье?

Прежде я всегда вклеивал в свое приветствие что-нибудь о природе, но в эту минуту я скорее бы позволил себе вывинтить руку из плеча, чем угодить ей прочувствованным восклицанием о красоте облаков или теней листвы.

Но она этого не замечает, безумная дева, и, пожимая мою руку костлявыми пальцами, показывает мне ряд зубов-инвалидов, лишившихся чуть не половины своих товарищей, и, игриво пришепывая, восклицает:

— Какое небо-то голубое! И всего на нем два маленьких, маленьких облачка! И какой тихий, кроткий вечер наступает!

— Для меня, старика, такие вечера чрезвычайно приятны,— говорю я.— Я их люблю...

— Ах, кто ж их не любит! — снова восклицает легкомысленная старуха.

— Я люблю их,—продолжаю я,— за то, что они не опасны для моего ревматизма...

(Я столько же страдаю ревматизмом, сколько любой огурец или редька в огороде, но с удовольствием клеплю на свое здоровье, чтобы пустить отравленную стрелку в ее сердце...)

— Мефа, не свежо ли тебе? — невинно спрашивает Анна Павловна.

— Нисколько, нисколько! Пожалуйста, Нуша, не беспокойся обо мне...

— Но ты так мало думаешь о своем здоровье, Мефа!

— Уж меня не исправишь, Нуша; ты ведь знаешь, какой у меня гадкий, упрямый характер...

И Нуша и Мефа ведут перепалку шутливым тоном, улыбаются, но у обеих глаза уж горят, как у тетеревов, готовых вцепиться друг другу в хохлы.

Четверка приблизившихся дам, посыпавших приветственными ахами, дает мне возможность прилично ускользнуть.

Наконец, я снова один, смотрю то в тот, то в другой конец аллеи, колеблясь, куда направиться искать Ольгу — к дому или к пруду.

— Ах, милый Андриан Андреевич,— вдруг пищит знакомый дребезжащий голос,— вы здесь!

И Мефа с легкостью старой крысы продирается между кустами справа и овладевает мною.

— Как я рада, что могу с вами поговорить, милый Андриан Андреевич! (Она вместо «милый» произносит «минный» и препротивно произносит). Я при Нуше не смею...

— Почему же, Мефа Павловна?

— Она вас приревнует ко мне и на вас рассердится...

— Вы, вероятно, шутите, любезная Мефа Павловна?

— О, нет,— вздыхает она,— не шучу... Ну, да не будем об этом говорить... Я злая, я нехорошая... забудьте, что я вам сказала...

— Однако...

— Забудьте! Забудьте!

Снова глубокий вздох. Мы идем несколько секунд молча (я повернул к дому); она мечтательно перебирает лепестки жасмина, потом протягивает мне веточку и поет:

— Посмотрите, как милы эти белые цветочки! Какие у них прелестные чашечки!

«О, сентиментальное, безголовое творение!» — восклицаю я мысленно и отвечаю вслух:

— Прелестные! Прелестные!

— А ведь цветы лучше людей, милый Андриан Андреевич? — шепелявит она, игриво сбочив свою облысевшую головку, прикрытую кружевным бантом, и выделывая лиловыми губами эволюции, позволительные только для губ розовых.

— На чей вкус, Мефа Павловна...

— О, лучше, лучше! Согласитесь с этим, милый Андриан Андреевич! Цветы — славные! Они не знают коварства, злобы, они не изменяют, не обманывают, не знают мелких расчетов...

— С этим я согласен...

— Вот видите!

Мы проходим пол-аллеи, превознося честность, бесхитростность и бескорыстие цветов.

Вдруг Мефа Павловна останавливается и с пленительной доверчивостью (старая перепелка!) говорит мне:

— А я вам открою одну свою тайну!

— Тайну?

— Да, тайну! Вы меня не выдадите?

— Вы обижаете меня, Мефа Павловна!

— Ну, простите, простите, милый Андриан Андреевич! Я пошутила, я верю вам вполне... Я никому еще этого не говорила, даже Геннадию Ферапонтову, которому все говорю... Я вам вполне верю... Ну, слушайте: я хочу заниматься математикой!

— Математикой?

— Да!

Меня вдруг одолевает нестерпимое желание схватить ее и зашвырнуть в репейник.

Я, разумеется, ничего подобного не делаю и с наружным спокойствием спрашиваю:

— Откуда взялась у вас эта мысль, любезная Мефа Павловна?

— Ах, милый Андриан Андреевич, все теперь говорят о математике... И, может быть, с нею в самом деле лучше на свете живется! — отвечает мне юродивая глупышка. — Я не хочу вышивать по канве... Что мне дали эти вышивания?

— А что вам даст математика?

Этот вопрос ставит ее в тупик.

— Как что? — наконец, говорит она. — Это серьезная наука...

— Да, и не легкая!

— Но я буду прилежна!

Великие боги! Я чувствую, что у меня разливается желчь, и уверен, что, взглянув в зеркало, увижу вместо своего лица спелый померанец.

— Но к чему же это поведет, любезная Мефа Павловна? — продолжаю я.

— К чему? О, зачем заглядывать в будущее! Право, это огромное милосердие, что оно от нас сокрыто.

Я чувствую, что со мной сделается удар, если я еще хоть пять минут потолкую с этим умовредным созданием.

Я ускоряю шаги.

— Что ж, вы не советуете? — пристает она.

— Не смею советовать, Мефа Павловна.

— Смейте! Смейте!

И она притопывает ногой, как извинительно ей было бы притопнуть лет двадцать назад.

— Ну, так я позволю себе не посоветовать.

— Отчего? Отчего?

Но мы уже подле самого дома. У окна гостиной, обращенного на сосновую рощицу, через которую вьется дорожка в село Благодатное, стоит Ольга...

## VI

Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,  
Средь бурь пустых томится юность наша,  
И быстро злобы яд ее мрачит...

*М. Лермонтов*<sup>1</sup>

Она до того была поглощена, что не заметила нас даже и тогда, когда мы очутились под самым окном. Я, разумеется, тотчас же соображаю, что ее так поглощает, и меня кидает в жар, словно от ужала осы.

Грубые твари, подобно Григорию Иванову, побеждают невинные сердца, заставляют их томиться ожиданием.

На меня вдруг нападает несвойственная мне удалая развязность, и я, с шутовским лукавством улыбаясь Ольге, говорю:

<sup>1</sup> «Монолог». Ред.

— А что, если я угадываю, куда стремятся ваши мысли, Ольга Алексеевна?

Я надеялся поразить, заставить встрепенуться, вспыхнуть, но не достигаю ничего подобного: губы ее остаются сжатыми, глаза озабочены и обращаются на меня с тем выражением, с каким могли бы обратиться на божью коровку, ползущую по песку цветниковой дорожки, на воронье гнездо, на куст бузины или на ступеньку террасы. Откуда взялось у нее это хладнокровие, эта выдержанность? Неужто прелестная стыдливая девушка уже заразилась до такой степени учением дикого безобразного пропагандиста? Я не хочу признать себя побежденным и еще с более шутовским удальством повторяю:

— А что, если я угадываю, куда стремятся ваши мысли, Ольга Алексеевна?

Вдруг Ольга бледнеет, глаза ее сверкают, как зарница, и голосом, в котором не звучит ни единой обычной мягкой нотки, она запальчиво меня спрашивает:

— Что вы точно дразните меня своим угадыванием? Почему вы полагаете, что меня ваше угадывание должно смутить? И с какого права вы обращаетесь ко мне с какими-то лукавыми усмешками? Разве я подала вам какой-нибудь повод к этому? Разве я когда-нибудь так к вам обращалась?

Царь небесный! Если бы все зеленые кадки с померанцевыми деревьями, украшающими террасу, одновременно свалились на мою голову, я и тогда не был бы более ошеломлен и уничтожен.

— Ольга Алексеевна! — лепечу я. — Ольга Алексеевна! Помилуйте, Ольга Алексеевна, как вы могли предположить... Ради бога, Ольга Алексеевна, не принимайте так моих слов... Клянусь, я не заслуживаю вашего гнева... Боже мой, мог ли я ожидать, чтобы простая шутка... Как можете вы, Ольга Алексеевна, истолковывать подобным, обидным для меня образом простые слова... Как можете допускать, чтобы я позволил себе... О, Ольга Алексеевна...

— С какого права меня все преследуют этими лукавыми усмешками? — продолжает она, все более и более бледнея. — С какого права все пристают ко мне с какими-то намеками? Я надеялась, что хоть вы меня от этого избавите... что вы на других не похожи...

— Ольга Алексеевна! Клянусь вам всем священным,

вы меня не поняли! Как могли вы меня заподозрить!..  
Меня... О Ольга Алексеевна!

Я пытаюсь принять вид оскорбленного благородства, но чувствую, что это у меня не выходит, что я представляю жалкую, скверную фигуру. Я чуть не голошу от стыда и бешенства, голова у меня кружится, в глазах темнеет и начинают прыгать какие-то красные шарики.

«Глупее всего теряться! — ободряю я себя. — Да и чего мне теряться? Ведь для ее же пользы я хлопочу».

И я снова лепечу:

— Ольга Алексеевна, неужто вы мне не верите?  
Неужто?

И мучительно ожидаю ответа.

Но ответа нет.

— Вечер-то какой славный, тихий, кроткий! — вдруг запекает старая Мефа с теми пошлыми ужимками, какими отличаются люди, желающие дать понять, что они по своей тонкой деликатности стараются замять чью-нибудь неуместную фразу, затушевать неловкую выходку.

Бестактный сморчок!

— Не правда ли, Ольга, какой славный вечер? — обращается она к Ольге.

— Да, славный, — отвечает Ольга.

— Пойду посмотрю на белые розы! — шепелявит безжалостная мартышка, даря меня пригласительной улыбкой. Но я, отдавая тоже улыбкой, решительно отступаю и предоставляю ей в одиночку отправиться любоваться белыми розами.

— Ах, милые белые розы! — дребезжит она, скрываясь со всеми своими костями за шпалерами.

— Христа ради, простите меня, Ольга Алексеевна! — говорю я. — Я виноват без вины... виноват только тем, что слова мои показались вам повторением каких-то глупых намеков... Не сердитесь... Поверьте...

— Я не сержусь, — перебивает меня Ольга. — Вы, пожалуйста, извините, что я так резко вам ответила.

— Полноте, Ольга Алексеевна! — восклицаю я, оживая. — Простите только вы, что я, хоть невольно, причинил вам неприятность... что у меня нет чутья... Протяните мне руку в знак примирения.

Она протягивает мне руку из окна, и я крепко сжимаю ее нежные пальцы. Как они холодны!

Мое смятение не мешает мне зорко наблюдать. Я вижу, что налетевшая гроза пронеслась: исчез гневный блеск из глубоких глаз, уступив место обычной мягкости, свежие губы готовы улыбнуться, краска смущения разлита по милому лицу.

Бедное дитя! Она, очевидно, стыдится своей ребяческой вспышки. Благодарение небу, роковая любовь еще не заглушила в ней чувства стыдливости, пагубное влияние не могло искоренить женственной прелести.

Я растроган, я умилен.

Значит, зло еще не так непоправимо, как я себе вообразил, значит, есть надежда остановить ее на краю пропасти. Только энергии, больше энергии, и она спасена!

И я даю мысленно клятву быть энергичным.

Но сколько необходима энергия, столько же необходима и осмотрительность, осторожность: милое дитя чувствительно, как *mimosa pudica*<sup>1</sup>, и главное — щадить эту сенситивность<sup>2</sup>. Надо пользоваться такими минутами, как теперь, когда она кротко взволнована, и тут подвести таким образом, чтобы она сама заговорила, сама бы позволила заглянуть в свою смущенную, мятущуюся душу. Подобные минуты сохрани боже терять. Надо подводить ее на откровенное сердечное излияние.

Я, однако, не подвожу. Я остаюсь в этом отношении беспомощен, как окунь, выброшенный из родной ему стихии на горячий песок... и могу только раззевать рот, стоя под окном.

Проходит несколько минут молчания; на террасе, на балконе, в цветнике, по аллеям мелькают и жужжат гости, того и гляди кто-нибудь, еще не пивший в этот день моей крови, заметит меня и накинется с приветствиями, того и гляди налетит Анна Павловна или наплывет генеральша Болотникова. Я слышу, что умовредная Мефа дребезжит опять где-то вблизи, а все-таки безмолвствую, словно у меня вместо языка деревяшка.

— Как вы напугали меня, Ольга Алексеевна! — начинаю я, наконец, и, еще произнося эту фразу, уже шлю себе проклятие за глупое начало.

— Чем я вас напугала? — спрашивает Ольга, но без улыбки (а я, тетерев, непременно ожидал улыбки!), как-то рассеянно.

<sup>1</sup> Стыдливая мимоза (лат.). Ред.

<sup>2</sup> Чувствительность. Ред.

Глаза ее обращены на меня, но мысли, несомненно, опять далеко.

— Меня напугало ваше подозрение... что вы подозреваете меня в сообщничестве с пошлыми людьми,— поясняя я, мысленно крича вслед каждому своему слову: «Глупо! Глупо! Глупо! Бессмысленно! Мелко! Бестактно! Безобразно! Скверно!»

Ольга смотрит на меня, точно желая припомнить, о каких людях и о каком подозрении я завожу речь.

— Разве вы не заподозрили меня в пошлом умысле дразнить вас? — продолжаю я.

— Еще раз прошу, извините меня,— прерывает Ольга.

Она опять вспыхивает, но теперь уже, кажется, не от смущения, а как будто от подавляемого неудовольствия.

— Ольга Алексеевна! — восклицаю я. — Разве я говорю все это для того, чтобы вы извинялись? Неужто вы составили обо мне мнение, как о мелочном глупце? Я просто сказал вам то, что есть на самом деле... Я хотел с вами побеседовать и боюсь... Не знаю, с чего начать... Точно я виноватый... точно я в самом деле что недоброе против вас замышляю... А ведь в сущности-то я ничего... ничего, кроме желания вам всего лучшего... всего, что стоит желания в жизни... ничего, кроме самого бескорыстного, самого горячего участия... сочувствия... уважения... Но я понимаю, что бывают минуты, когда самое преданное слово может быть тягостно, несносно.

Я зарапортовался, что называется, я это чувствую. Я подобен человеку, кинувшемуся перебираться вброд к заветному берегу, вдруг свихнувшемуся в омутки и попавшему в засасывающую тину,— жалкий горемыка выбивается из сил, захлебывается и все-таки бодрится, хотя видит, что у него только два исхода: или выбраться на заветный берег покрытому грязью, или потонуть.

Я выбираюсь на берег.

— Я очень вам благодарна за доброе расположение... О чем же вы хотели со мной побеседовать? — спрашивает Ольга, но как спрашивает, милосердные боги! Подступи ко мне сибирская зима со всеми своими лютыми морозами и вьюгами, и тогда бы на меня не повеяло таким холодом.

Я все-таки пробую юлить, все-таки улыбаюсь и вздыхаю.

— Нет, Ольга Алексеевна, боюсь! Лучше отложу беседу до другого раза... А теперь боюсь!

— Полноте шутить, Андриан Андреевич,— говорит она, все более и более леденея с каждым словом.

— Ольга Алексеевна, помните вы последний наш разговор? — спрашиваю я.

— Кажется, помню,— отвечает она,— мы говорили о Шекспире.

О Шекспире! Беспамятная, бессердечная девочка! Мы, кроме того, и гораздо больше и горячее, говорили о вечной правде, о добре, о душе, о счастье, о том, где и как его искать... О Шекспире!..

— Да,— продолжаю я,— мы, между прочим, говорили и о Шекспире, но...

— Я до сих пор не исполнила вашего совета,— прерывает она,— до сих пор не прочла ни строки из «Короля Лира»... Ведь вы, кажется, «Короля Лира» мне советовали прочесть?

— Да, но...

— И смотреть восход солнца с Кривухиной горы тоже не ходила... и не хочется идти...

Боги, боги! Каким это внутренним злым смехом она вся так и искрится? Не она ли первая, всего назад тому каких-нибудь две недели, сказала мне, что восход солнца с Кривухиной горы бесподобен? Не она ли с прелестным увлечением описывала мне сверкающую реку и изумрудный луг, выступающий из-под золотистого тумана, и темный сосновый бор, и осветившуюся в нем тропинку? Я, безобразный простофиля, на другой день после этого разговора вскочил до полуночи, переполошил бестолковую Авдотью Степановну, которая вообразила, что дверь отпирают воры, и на всех парах полетел на Кривухину гору... А оттуда, прогуляв там до солнечного припека, понесся в Чудовку благодарить указавшую мне такую чудесную картину природы... И тогда мне показалось, что она встретила меня как-то странно, слушала так, как будто я ей говорил о китайских мандаринах... «Вы до сих пор ничего не кушали? Вы, должно быть, умираете с голоду. Вы даже побледнели...» — вот все, что я от нее получил! Коварная девушка! Она понимает, что иногда можно увлечься до забвения всего! Не о ней ли рассказывала ее мать, что она с малых лет отличалась неумеренностью увлечений? Не она ли, когда в детстве задумывала идти за ягодами или за грибами, то не спала перед этим всю ночь, а если засыпала, то бредила полными-полными корзинками зем-

ляники или с плачем пробуждалась, крича: «Рассыпала! Всю рассыпала в яму!» Не она ли, еще бывши вся с узлов, так пристрастилась к катанью с горы на салазках, что кидалась в снег лицом, когда ее вели домой обедать, и до крови царапала ручонки, цепляясь за обледенелую землю? Не она ли, еще в начале нынешнего лета, пожелав читать того же самого Шекспира, чуть не падала в обморок от нетерпения всякий раз, когда я приезжал с почты с пустыми руками? (Конечно, я вызвался выписать произведения великого поэта из Петербурга, я строчил бессовестным книгопродавцам десятки писем в неделю, я портил себе кровь... глупый баран!) Чего ж после всего этого она поднимает меня на смех? А что она на смех меня поднимает, в этом нет сомнения: это упоминание о Кривухиной горе, очевидно, намек на одну мою фразу... положим, глупую фразу... да даже и не глупую, а так себе... О женщины!

Я ничего ей не отвечаю и только на нее гляжу... Гляжу без гнева, кротко.

— Знаете, что я вам скажу, Андриан Андреевич,— продолжает она,— хотя мне и стыдно, но я все-таки скажу: вы так добры, что не станете меня осуждать, и потом я не люблю, чтобы меня считали лучше, чем я на самом деле... Если вы и осудите меня...

— Я? Ольга Алексеевна, вы этого не думаете! Не можете думать! — восклицаю я.— Вы знаете, что никто в мире не выслушает вас с таким преданным участием, никто так вас не поймет... Говорите, Ольга Алексеевна, говорите!..

Я мгновенно прощаю ее насмешливость,— да и была ли это насмешливость? Я мнителен, я сознаю это, и мне часто мерещатся небывалые, дикие вещи... Я и трепещу, и замираю, и жадно навостряю уши, и вытягиваю шею, как голодный петух, которому показали горсть яровой пшеницы...

— Я убедилась, что я не стою внимания, с которым вы...

— Ольга Алексеевна!

— С которым вы и Геннадий Владимирович Ферапонтов следите за моим развитием...

— Зачем вы ставите нас рядом, Ольга Алексеевна?

— Затем, что ведь и Ферапонтов старается меня развить... Да, я не стою, и все ваши труды пропадают даром. Не в коня корм, Андриан Андреевич.

— Я не совсем вас понимаю, Ольга Алексеевна...

— Я хочу вас просить: не затрудняйте себя больше ни прямыми, ни косвенными уроками...

— Косвенными уроками, Ольга Алексеевна?..

— Учиться по-испански мне надоело, играть сонаты Бетховена тоже, а лучшие средства найти счастье и довольство в жизни, о которых вы толкуете, не по мне... Да и возможно ли найти счастье и довольство по указке? Вы обещали быть снисходительным и все понять,— значит, вы меня поняли и не сердитесь...

— Я, Ольга Алексеевна, далек от...

— И простите меня, что я вас немножко задержала под окном... Чай уже, верно, подан,— видите, все направляются из сада и с террасы в столовую... Я пойду посмотрю, есть ли на столе ваши любимые сухарики...

И она исчезает.

Опамятовавшись после этого погрома, я вспыхиваю неописанным негодованием. Мало-помалу негодование уступает место презрению к неблагодарной ветренице и сожалению о ней, потому что все-таки жаль видеть молодую девушку, какова бы ни была она, безумно устремляющуюся по пути гибели. И следует ли эту молодую девушку чересчур строго судить? Она ли первая имела несчастье сделать пагубный выбор? Сколько чудеснейших, благороднейших созданий сделали то же и потом целую жизнь горько каялись. Пагубный выбор и есть корень зла: она желает находить в любимом человеке все совершенства и находит их. Это общеженская черта. И чем женщина лучше, чище, выше, тем она упорнее украшает свой безобразный идол цветами фантазии. Бедная Ольга! Как она упорно и слепо закрывает глаза и зажимает уши... Но, к счастью, кроме способности к упрямой, беззаветной преданности, в женщине всегда живо то женское чутье, которое рано или поздно таки заставит их признаться себе в безобразии кумира,— рано или поздно завеса с их глаз неминуемо падает... Этому-то чутью и надо помогать... но помогать терпеливо, не пугаясь женских вспышек, не огорчаясь женскими оскорблениями...

Пошагав в дальнем уголке цветника, где разные цветущие кустарники помогают мне благополучно ускользать от любопытных глаз, я окончательно побеждаю все личные мятежные чувства и приинимаю твердое решение служить

Ольге, невзирая ни на какие с ее стороны несправедливости, гнев и обиды.

Я не скажу, что такое решение меня развеселяет, но оно меня значительно облегчает, и я пока доволен.

Я направляюсь в столовую.

На первом же шагу к террасе меня перехватывает Мефа, дает мне понюхать белую розу и спрашивает, почему я ей не советую заниматься математикой.

Пристань она ко мне опять с этим вопросом полчаса тому назад, я бы, по всем вероятностям, отделался от нее несколькими словами, но теперь вступаю в продолжительные рассуждения, куда вклеиваю и звезды, и сердце, и цветы. В эти последние полчаса Мефа не получила для меня никакого нового интереса,— пусть себе старая шутиха хоть затанцует на канате,— но я знаю, кто вбил в ее куриную голову мысль заниматься математикой, и в моих выгодах (то есть в выгодах бедной Ольги) везде уничтожать влияние, разрушать prestige<sup>1</sup> вредного самохвала, отрезывать ему все пути, травить его, как бешеного волчонка...

Не легко мне толковать со старым сентиментальным недоумком, но, верный своему обету служить во что бы то ни стало благому делу, я пою соловьем,— я щебечу о дорогих воспоминаниях, щелкаю о горьких разочарованиях, выделяю трели о самопожертвовании, заливаюсь о неразгаданных высоких душах и об их одиноком страдальческом, но великом уделе... Я даже декламирую стихи графини Евдокии Растопчиной (черт знает, когда и каким образом эта дребедень залезла мне в голову), затем принимаюсь за Лермонтова, затем за великих немецких поэтов, которыми, я заметил, весьма удачно действует Ферапонтов...

— Да, это, может быть, правда, что математика — не женская наука,— томно отвечает мне бестолковый гриб,— и что она сушит всю поэзию... но... но я не в силах противиться желанию ей учиться! Что же я теперь? Вы знаете, что я теперь бедная... очень бедная... О, не будем никого осуждать! Бог с ними!

— Вы полагаете, любезная Мефа Павловна, что изучение математики даст вам лучшие средства к жизни? — спрашиваю я с улыбкою и с внутренним скрежетом зубов.

---

<sup>1</sup> Престиж, авторитет (франц.). Ред.

— О, да,— шепелявит она, нюхая белую розу.

— Что ж, вы думаете давать уроки?

— Может быть... Отчего ж не давать уроков, милый Андриан Андреевич, а? Ведь это не стыдно, в этом нет ничего дурного, преступного — брать деньги за уроки, жить своим трудом? Разве это дурно, скажите?

— Прекрасно, любезная Мефа Павловна, прекрасно... Но кому же вы будете давать здесь уроки? Или вы хотите покинуть Каменку? Вы когда-то говорили, что не в силах покинуть мест, с которыми связаны ваши самые лучшие, самые святые воспоминания...

— О, нет, нет! Я не покину Каменку совсем... Я буду на лето приезжать... то есть я буду приезжать к весне... Весною здесь так хорошо! Знаете, когда все зацветет и заблагоухает! Вы не думайте тоже, что я покину сельскую школу... О, нет, я ее не покину! Летом буду учить в школе, а зимою...

— Но ведь трудно, дорогая Мефа Павловна, найти таким образом уроки... Но, положим, что вы и найдете, как желаете, все-таки это не даст вам средств к жизни...

— О, мне немного надо, милый Андриан Андреевич, я давно во всем привыкла себе отказывать!

— А у вас других средств не будет? Извините за нескромный вопрос, но он внушен участием...

— О милый Андриан Андреевич, я даю вам *carte blanche*<sup>1</sup> спрашивать меня обо всем, о чем хотите...

— Так у вас не будет других средств к жизни, дорогая Мефа Павловна?

— Мне должны девять тысяч... Но не будем говорить об этом...

— А *carte blanche*, дорогая Мефа Павловна? Ведь мною руководит не праздное любопытство! Вам должны девять тысяч...

— Да... я живу в Каменке не даром... за все плачу... Моя мечта была купить себе кусок земли, среди леса, выстроить там домик и жить одной, не расставаясь с Каменкой...

— Вы не уверены, когда получите эти девять тысяч?

— О милый Андриан Андреевич, как тяжело об этом говорить!

---

<sup>1</sup> Свободу действий (франц.). Ред.

— Или вы надеетесь?

— Нет, не надеюсь... О, вы не думайте дурно о брате Кирилле, он это сделал, не желая... Обещаете не думать о нем дурно?

— С удовольствием, дорогая Мефа Павловна... Но в таком случае одни уроки не дадут вам средств к жизни...

— Отчего? Мне так немного надо! Я поселюсь в маленькой комнатке и буду себе во всем отказывать... Мне только бы мой рояль, да мои птички, да мои собачки, да мои цветочки...

— Но, дорогая Мефа Павловна, ваш прекрасный рояль не устоит в маленькой комнатке! А это будет огромное лишение и для вас, и для тех, кто понимает Бетховена! Если вы даже решитесь отказаться от инструмента, с которым у вас связано столько милых воспоминаний, где же вы найдете в маленькой комнатке место для ваших чудесных цветов? Вы будете вынуждены срезать верхушки с бедных тропических деревьев!.. Куда вы поместите ваш птичий домик, где теперь так весело порхают пернатые певцы? Где поместите клетки бедных египетских голубков и капризного попочки? Я уже не говорю о помещении Амиши, Сувенира, Воляжа и Камей,— несчастные собачки задохнутся в непривычной тесноте... Я вижу, вы об этом не подумали...

— Ах, нет! Я никогда не умела рассчитывать копейки! Нуша всегда за это надо мной смеялась!

— Рассчитывать копейки весьма неприятно, дорогая Мефа Павловна, но, переменив образ жизни, вы неминуемо должны будете это сделать.

— Ах, как жаль, Андриан Андреевич, что у нас не устроено богаделен для животных! Вот я бы теперь отдала туда своих собачек и птичек... Мне бы это было грустно, но я бы все-таки знала, что их кормят... Вы не находите, что следовало бы что-нибудь такое устроить для животных? Ведь они тоже могут страдать, и жестоко оставлять их на произвол судьбы.

— Конечно, жестоко, Мефа Павловна, но пока у нас ничего подобного не заведено...

— Я как-нибудь все улажу,— прерывает она,— я попрошу, чтобы кто-нибудь взял их к себе...

— Вы оставите их у Анны Павловны? — спрашиваю я.

Я знаю, как Анна Павловна ежедневно провинчивает ее за «собачничество».

— О, нет, нет! Я попрошу кузину Бетси... Она добрая... любит все живущее на свете и возьмет их к себе...

— Так вы непоколебимо решились, дорогая Мефа Павловна?

— Решилась, милый Андриан Андреевич! Вы не сердитесь? Что ж теперь, какая моя жизнь? А тогда...

— Что ж тогда, дорогая Мефа Павловна?

— Ах, не знаю что, милый Андриан Андреевич, но чего-то жду! О, я чего-то жду! Я верю...

Но в эту минуту перед нами на повороте тропинки появляется Кирилл Зверев.

— Андриан Андреевич, а я вас давно ищущу! — восклицает он, протягивая мне обе руки и начиная меня трясти.

— Ах, Кирилл, здравствуй! — лепечет Мефа.

— Здравствуй, — отвечает Кирилл без всякой горячности.

Кирилл Зверев — старый холостяк, болтун с воспаленными белками, к тому же от него так несет спиртом, как будто этот продукт выкуривается не на его заводе, а в нем самом, но я все-таки благословляю его появление, потому что от беседы с Мефой у меня уже выступил холодный пот на висках.

— Ну, как же вы поживаете, Андриан Андреевич? — продолжает Кирилл Зверев. — А мы вот тут ходили с Кузнецовым, рассматривали, как бог чудно сотворил цветики... Кузнецов, где же ты? Не прячься, братец, это Андриан Андреевич, хороший человек, не обидит!

Он схватывает за руку и выставляет вперед рослого белокурого мальчика лет десяти, который, очевидно, не знает, как ему быть в бархатном пиджачке, голубом галстучке и лакированных ботинках; краснея до ушей, мальчик кланяется.

— Это, видите, из моих учеников, — поясняет мне Кирилл Зверев, — без ума любит историю и географию... Я взял его к себе в Каменку на лето, — пусть отдохнет. Думаю еще и несколько других взять, — что ж им идти в деревню? У родителей-то невеселое житье! Я как приеду в класс, они сейчас и начинают приставать: «Кирилл Павлович, возьмите нас к себе!» Их медом не корми, только

возьми в Каменку... Они ведь меня знают, что я их не обижу... Так, что ли, Кузнецов? — обращается он к мальчику, хлопая его по спине.

— Так-с,— отвечает мальчик, глядя в землю и как будто желая туда провалиться.

— Ну, теперь поди бегай, а я вот побеседую с Андрианом Андреевичем.

Мальчик кидается по дорожке и, как выпущенный заяц, исчезает в кустах.

— Так хорошо поживаете, Андриан Андреевич? — говорит Кирилл Зверев, подхватывая меня под руку, что заставляет Мефу от нас отстать.

— Прекрасно, Кирилл Павлович.

— Что ж вы, батюшка, не приехали в среду обедать? А мы вас ждали! Как же это, мы празднуем годовщину школы, а вас нет!

— Чрезвычайно жалел, Кирилл Павлович, но решительно не мог.

— Ну, смотрите, хоть на годовщину моего попечительства приезжайте.

— О, непременно!

— То-то же!

— Непременно!

— Вы знаете, что Пушкарский тоже явился на обед? Ну, мы его, батюшка, встретили! Будет помнить! Я с ним во весь обед не сказал ни слова... Разговариваю с Синельниковым и прямо, во всеуслышание: я крепостников презираю! Он покраснел, как вареный рак! Ведь он ужасные дела делал во время крепостного права! Вдруг приезжает ко мне: «Вы,— говорит,— как думаете наделить мужиков?» Я говорю: «Разумеется, так, чтобы им все лучшее!» Вздвинулся и уехал... Я ему и руки не подал...

— Что ж, он сильно обидел крестьян? — спрашиваю я, незаметно направляя своего спутника к террасе.

— По миру пустил! А я своих созвал, угостил их водкою, сдобными лепешками и сказал им: «Ну, братцы, теперь вы вольные, и я этому еще больше, чем вы, рад» — дал им все, чего они ни пожелали.

— Немногие так поступают, как вы поступили, Кирилл Павлович,— замечаю я.— А, кажется, уж все за чаем? Поспешимте и мы...

— Поспешимте, поспешимте, мне хочется чаю...

«Рому!» — поправляю я мысленно.

— Да-с, так я покончил тем с мужиками, что наделил их всем, чего они желали...

На последнем слове Кирилл Зверев спотыкается на ступеньках террасы. Я его поддерживаю и ввожу в столовую.

Громадный стол оцеплен почти непрерывною цепью гостей. Хозяйка дома хлопотливо возится с чашками.

— Андриан Андреевич, я вам приберегла местечко вот тут,— говорит Анна Павловна, указывая мне на стул возле себя.

— Ах, я вам чрезвычайно благодарен,— отвечаю я, притворяясь, что не замечаю знаков генеральши Болотниковой, кивающей на стул рядом с нею.

Дело в том, что, поместившись около Анны Павловны, я нахожусь как раз против Ольги.

— Что ж вы мне изменили, Андриан Андреевич? — хрипит с своего места Кирилл Зверев, отыскивая глазами ром.— Я думал, вы подле меня сядете... я думал...

Он находит ром и умолкает.

— Вот ваши любимые сухарики, Андриан Андреевич,— раздается голос, который заставляет меня обжечься отведываемым чаем.

— Весьма вам благодарен, Ольга Алексеевна,— отвечаю я сдержанно и начинаю разговор с своей соседкой.

Но, разговаривая с соседкой, я не упускаю из вида Ольги. Она точно это угадывает и пьет свой чай с простотой и беззаботностью ничем не волнуемой души.

Вдруг одни двери столовой, притворенные во избежание сквозного ветра, со стуком распахиваются, и встрепетавшееся общество видит на пороге Григория Иванова.

## VII

Циник:

Друг любезный,

Откинь-ка ноги! Мне присесть  
Ведь как-нибудь, лишь бы поесть.

*А. Майков*

Но циник, фигурирующий в «Двух мирах», лирической драме А. Майкова, все-таки менее антипатичен и ведет себя пристойнее русского исчадия XIX столетия.

При появлении Григория Иванова над чайным столом словно проносится рой пчел.

— Ах, ах! Это Иванов! Это племянник Бусовой! Это он? Это тот! — слышится под сурдиной со всех концов.

Я взглядываю на Ольгу.

Ее напускная беззаботность исчезла, — она алеет, как розовая вишня на солнце, как будто недоумевает, как будто колеблется... Яркий румянец сбегает с ее лица, затем снова вспыхивает ярче прежнего... Она порывисто встает и громко произносит:

— Здравствуйте, Григорий Петрович! Идите сюда... Садитесь вот тут... около меня...

Грубое двуногое, едва кивнув хозяйке дома, никому не кланяясь, даже не бросив ни на кого взгляда, нагло стуча сапожищами, валит к столу, небрежно пожимает ей руку, усаживаясь с ней рядом, встряхивает головой, откидывает назад свою черную гриву и закуривает папиросу.

— Я сейчас вам чаю... сейчас...

С пылающими щеками она бежит к самовару, выхватывая у матери из рук чайник и, кидая во все стороны вызывающие взгляды, чуть не опрокидывает его в стакан.

— Оленька! Оленька! Разольешь, Оленька! Тише, Оленька! — бормочет мать. Злополучная старушка совсем оторопела, и в бедных круглых глазах ее такое выражение, словно она повисла над бездной. — Оленька! Обожжешься! Оленька! Обожжешь Никанора Платоновича... Ах, Оленька!

Никанор Платонович — старый осел в светло-лиловых панталонах и с нафабранными усами — вскакивает, словно ужаленный... Все глаза впиваются, как клещи, в Ольгу...

Невзирая на все мое пламенное желание быть снисходительным, я чувствую, что во мне закипает желчь и что я готов забыть обет быть осторожным...

— Смотрите, голубчик, смотрите!.. Видите, дорогой, видите? — шепчет мне в правое ухо Анна Павловна.

Я с улыбкою наклоняю голову в знак того, что смотрю и вижу...

О, как смотрю и как вижу!

— Такое нахальство, — это уж слишком! Даже хозяйке дома едва кивнул! *Quelle infamie!*<sup>1</sup> Несчастливая мать!..

<sup>1</sup> Какая гнусность! (франц.) Ред.

И эти сапожищи! И эта рубашища! Он отравил весь воздух дегтем! Точно конюшня здесь! И неужто никто, никто не прочит этого Григория Иванова!

— Дорогая Анна Павловна,— отвечаю я, делая вид, что расправляю усы, но в сущности прикрываюсь рукою из опасения быть услышанным диким грубияном, который бесцеремонно посылает нам в физиономии клубы зловонного дыма,— мы можем дать ему урок вежливости только...

— Дайте, милый, дайте! О, вы благородный, хороший, умный! Vous êtes un noble coeur!..<sup>1</sup> И сейчас же? Здесь же, за чайным столом?

— ...только удвоив нашу вежливость,— доканчиваю я.

— Что, милый вы мой?.. Как же это?.. Я не понимаю... Ну, да я знаю, что вы что ни задумаете, все умно, все чудесно... И сейчас?

Я делаю утвердительный знак и поправляю галстук...

Я не трус... я в этом совершенно уверен, я, наконец, имею неопровержимые тому доказательства в своем многострадальном прошлом, а между тем в эту минуту я чувствую — руки у меня холодеют, сердце замирает и по нем точно бегают мурашки... Я откашливаюсь, как певица, которая знает, что у нее не хватит голоса на самом эффектном месте арии, и предвидит град свистков от безжалостной публики...

Пока я давлюсь, прилетает Ольга со стаканом чаю.

— Вот вам чай, Григорий Петрович,— говорит она, задыхаясь.— Ах, да! Вы ведь не любите сладко?

— Все равно, выпью,— отвечает безобразный невежа, прихлебывая из поданного стакана.

— А сухарей хотите? А сливок? Или дать вам лимон? — продолжает Ольга, лихорадочно сдвигая перед ним все предлагаемое и не замечая, что машет рукавами по глазам соседей.

— Ах, Ольга Алексеевна! — вскрикивает голубая дама, не позволивительно курносое, не позволивительно белобрысое существо в прическе à la grecque<sup>2</sup>.

— Что вы? — спрашивает Ольга, быстро повертываясь, точно ее укололи иглой.

— Ах, вы меня задели!... О, это ничего, mon ange!<sup>3</sup>

<sup>1</sup> У вас благородное сердце!.. (франц.) Ред.

<sup>2</sup> По-гречески (франц.). Ред.

<sup>3</sup> Мой ангел (франц.). Ред.

— Извините, пожалуйста,— говорит Ольга таким резким тоном, что извинение скорее походит на вызов, и вспыхивая так, что даже ее нежная шея вся розовеет.

— Ничего, топ анге, ничего...— повторяет голубая дама, отодвигаясь как можно дальше.

Я опять поправляю галстук, опять откашливаюсь... Глаза мои встречаются с глазами Ольги.

Каким взглядом она меня дарит!

Но я уже владею собою: я крепко затянул себе поводья и крепко их держу. Стрела, посланная ее глазами, оставляет меня неуязвимым и не мешает мне с приятностью прикусывать сухарик, которым меня столь язвительно угостили.

Ольга садится на свое место и складывает руки, как человек, отрезавший себе всякое отступление и неуклонно решившийся на бой.

— Отчего вы так поздно пришли? — спрашивает она.

— Я раньше и не собирался,— отвечает Григорий Иванов.

Вандал! Он даже лица к ней не поворачивает и не отрывается от стакана, как дорвавшийся до пойла бык.

Она умолкает, и глаза ее снова встречаются с моими глазами... И снова я по наружности столь же безмятежен, как и возвышающаяся за моим затылком стена, и молнии, сыплющиеся из темных зрачков, по-видимому, действуют на меня не более, чем на шоколадные обои, покрывающие помянутую стену.

— А что, если нас теперь накажут за поздний приход и не дадут нам чаю? — вдруг дребезжит Мефа, шаловливо заглядывая с террасы в окно столовой.— Геннадий! Идите скорее просить прощения...

Она вприпрыжку вбегает в столовую, как малолеток, обвивает костлявой рукой шею хозяйки и игриво шепелявит:

— Простите, что загулялись? Вечер такой чудный. Дадите нам чаю?

— Ах, Мефа Павловна, сейчас, сию минуту,— отвечает хозяйка.

— Геннадий,— кричит Мефа вошедшему вслед за нею Ферапонтову,— чаю нам дадут.

— Я никогда не сомневался в милосердии Елены Дмитриевны,— говорит Геннадий Ферапонтов,— и был уверен, что она, как христианка, отпустит прегрешение ближнего.

— Ах, вы не виноваты! — жантильничает Мефа. — Грешница я! Я утащила вас в березовую рощицу... Ах, как хороша теперь березовая рощица! А где же мы сядем? Ах, вот тут, около Андриана Андреевича есть местечко! Геннадий, идите сюда... Ах, здравствуйте, Григорий Петрович! Здравствуйте! Здравствуйте!

Старая мартышка подлетает к Григорию Иванову, трясет его за руку и начинает что-то нашептывать ему на ухо.

Я готов пустить в нее стаканом.

— Ça n'a pas de pot! <sup>1</sup> — обращается ко мне Анна Павловна с негодованием. — Я за нее краснею... Теперь сами видите, голубчик!

— Все это пустяки, Мефа Павловна, — вдруг грубо прерывает ее Григорий Иванов.

— Как пустяки? Как пустяки? — восклицает она и безбровый ее лоб багровеет. — Нет, не пустяки! Я вам после расскажу... вы увидите!.. Геннадий! Где же вы девались?

— Я его взяла в плен на несколько минут, Мефа, — отвечает с другого конца стола генеральша Болотникова, — только передам ему одну тайну и отпущу...

— Смотрите, дорогой мой, смотрите! — шепчет мне Анна Павловна. — После явной непростительной дерзости она все-таки усаживается около него! Она совсем помешалась!

— Ах, Андриан Андреевич, — обращается ко мне Мефа, — как мы славно гуляли!

— Да? — отвечаю я с надлежащей любезностью.

При звуке моего голоса Григорий Иванов на меня взглядывает вскользь, как на предмет, хотя незнакомый, но нимало не занимательный.

Неужели он меня не узнает? Я готов прозакладывать голову, что узнает отлично... Погоди, фанфарон, ты узнаешь меня!

— Ах, славно, славно гуляли! — продолжает Мефа. — И Евгений с нами ходил... Он так и застрял в березовой рощице! Ах, он там нашел разоренное гнездышко, — знаете, буря сломала дерево, и оно упало, и вместе с ним упало гнездышко... и в траве маленькие-маленькие птенчики... и мать вьется над ними и так жалобно чиликает!.. Он опять устроил гнездышко на другом деревце и уложил

---

<sup>1</sup> Этому нет названия! (франц.) Ред.

в него птенчиков, и остался ждать, пока мать решится сесть к деткам... Лег там под деревцом и ждет, пока она решится...

— Но, я думаю, это лучшее средство помешать ее решению! — говорю я.

— О, нет, Евгения птицы не боятся! Вы не верите? Ей-богу, не боятся! У него какой-то особенный дар их привлекать! Вы знаете, у него теперь есть тетерка дома, которая так к нему привыкла, что на воле, а все остается... Гулять с ним ходит... И все понимает, что он ей ни скажет... Он при мне ей сказал: «Тетеренька! Посмотри-ка, какое небо, какое солнышко!» — И она смотрит! Ей-богу! «Хорош божий мир, тетеренька?» — и она точно кивает головкой! Он говорит, что любит с ней разговаривать... что она не уступит людям в уме, только добрее их...

— Геннадий! — обращается она к приблизившемуся Ферапонтову. — Я рассказываю про Евгениеву тетерочку, — ведь правда, что она милая?

— Славная тетерочка, — отвечает Геннадий Ферапонтов.

— Садитесь вот здесь...

— А, Григорий Петрович, здравствуйте! Все ли живы-здоровы? — говорит Ферапонтов.

Григорий Иванов небрежно прикасается к протянутой ему руке и морщится, как после приема неприятного лекарства.

— Что же вы к нам не приехали? — продолжает Ферапонтов. — Мы вас ждали...

— Незачем было, и не приехал, — отвечает Григорий Иванов.

— Вот вы и ошибаетесь: было зачем! — возражает Ферапонтов.

— Это зачем же?

— После объясню вам, на свободе...

Я готов растерзать уездного Гегеля! Старый шут просто подлащивается к этому непозволительному мальчишке!

— Ах, Григорий Петрович, — восклицает Мефа, — знаете ли, кого сюда ждут?

— Не знаю, — отвечает Григорий Иванов.

— Кузину Геннадия, мадам Швамм!

— Ну?

— Вы с ней познакомитесь... Она замечательная жен-

щина!.. Она была невестой Белинского! Благодарите меня заранее!

— Это за что же мне благодарить?

— Как за что? Ах, неблагодарный! Я хочу его познакомиться с замечательной женщиной...

— Чем же она замечательная-то? Тем, что ль, что Белинский раздумал на ней жениться?

— Ах, ах!.. Что вы, что вы! Она сама ему отказала!.. Он страдал ужасно долго... Она сама отказала и вышла за Швамма.

— Так, значит, замечательна тем, что господина Швамма предпочла Белинскому?

Каков змееныш! Я взглядываю на Ольгу: она сияет победой.

— Ах, полноте! — восклицает Мефа. — Зачем же так толковать...

— А как же?

— Вы все того мнения, — начинает Геннадий Ферапонтов, — что женщина должна отдать свою любовь только человеку, удовлетворяющему требованиям ее ума?

— Того самого, — отвечает Григорий Иванов.

— Ну, уж позвольте с вами не согласиться!

— Сколько угодно.

— Ум заявляет свои требования, — продолжает Ферапонтов, — а сердце — свои... Вы требования-то сердца признаете?

— Нет.

— Но, позвольте, однако!.. Ведь сердце-то у нас есть, об этом свидетельствует даже ваша медицина... анатомия... А раз, как есть сердце...

— Да волк его ешь, это сердце! — прерывает Григорий Иванов. — Что оно вам далось? Стоит ли толковать?

— Ну, не будем о нем толковать, если это вас так сердит, — усмехается Ферапонтов, как бы не только снисходя к капризу забавной низшей твари, но даже потешаясь этим капризом, а в сущности чуть не плача от огорчения.

Поделом бы старому комедианту; при других обстоятельствах я благословлял бы каждый щелчок, попадающий на его нос, но ведь в данном случае всякий его провал только возвышает бродягу в глазах Ольги!

— Ах, Григорий Петрович, какой вы сегодня злой! — восклицает Мефа. — Отчего вы такой сегодня злой! И на меня злы? Ну, говорите, говорите! Ну, я буду спра-

шивать, как в фантах: довольны вы вашей соседкой?.. Соседкой слева?..

— Что это вы все юлите, Мефа Павловна,— отвечает Григорий Иванов,— пора бы вам понабраться солидности: не молоденькая!

— Уйду от вас, уйду поскорее! — вскрикивает Мефа, зеленея от злости и стараясь затушевать ее смехом.— Уйду, уйду! Геннадий! Хотите опять гулять? Ах, вот и Евгений! Ну, что, Евгений, мать таки решилась и прилетела к птенчикам?

— Прилетела,— отвечает Евгений Ферапонтов.— Трепетала, трепетала крылышками в воздухе и, наконец, опустилась на гнездышко..

Евгений Ферапонтов так же высок ростом, так же чернозуб, так же жидковолос и весь расштан, как и Геннадий; короткий нос, точно рваные ноздри и губы, напоминающие формою отчасти поблеклый махровый мак, отчасти иссера-лиловые наросты на гнилых пнях, мало искупают эти изъяны и, по-моему, тот чепец с наушниками, который он, по словам Анны Павловны, носит дома, должен более ему приличествовать, чем длинные, как истрепанные мочала, космы, теперь падающие ему на виски.

— Опустилась на гнездышко? — вздыхает Мефа.— Милая! Что ж, Геннадий, идем в сад? А вы, Евгений?

— Я хочу чаю,— отвечает Евгений Ферапонтов и, увидя Григория Иванова, обращается к нему:

— Ба! Мой почтеннейший противник, Григорий Петрович! А я вас сегодня окончательно припру к стене! Я вам приведу в доказательство моего положения..

— Это вы опять хотите приняться за отвлеченное в неотвлеченном? — прерывает Григорий Иванов.— Ну, я не намерен переливать из пустого в порожнее!

— Ага! Отступаете, отступаете!

— Да чего ж воду-то толочь? И без меня на это много работников!..

— Отрицатель! Отрицать — дело самое дешевое..

— Вот у вас, сказывала Мефа Павловна, есть тетерка какая-то, с которой вы разговариваете,— прерывает снова Григорий Иванов,— та не отрицает... И будьте тем довольны..

Евгений Ферапонтов чуть не падает в обморок.

Воцаряется тишина; слышны только отрывочные потчivanja все более и более теряющейся хозяйки да причмоки-

вания Кирилла Зверева, начинающего цепенеть перед опустошенным графинчиком рома.

— А знаете, что я вам скажу, Григорий Петрович? — наконец выговаривает Евгений Ферапонтов. — Ведь с тетеркой-то, пожалуй, больше толку беседовать, чем с вами...

— Ну и беседуйте на здоровье, — отвечает Григорий Иванов.

— Вы ведь не обижаетесь, что я высказал свое мнение, Григорий Петрович? Ведь вы «церемоний» не признаете?

— Чего ж обижаться?

— То-то!

Евгений Ферапонтов отходит с непринужденным смехом. Почти все поднимаются из-за стола, собираются группами, и раздается опять жужжание.

— Нет, я не могу этого выносить! — шепчет мне Анна Павловна и тоже вскакивает с своего места...

Мы остаемся втроем.

— Здравствуйте, Григорий Петрович, — говорю я наиболее приветливым образом и слегка наклоняясь через разделяющий нас стол.

Ирокез любезнее бы отнесся к этому приветствию! Вопросительный взгляд самоеда был бы вежливее!

— Вы не узнали меня, Григорий Петрович! — продолжаю я, улыбаясь. — А мы недавно с вами виделись... Я имел удовольствие познакомиться с вами у вашей тетушки, Капитолины Ивановны...

— Это вы, что ль, приезжали малину и всякую ягоду покупать? — не то спрашивает, не то глумится безмозглый молокосос.

— Я... Вспоминаете теперь меня?

— Вспоминаю...

Я человек цивилизованный, но при этом «вспоминаю» и при сопровождающем его взгляде в упор во мне просыпаются все кровожадные инстинкты древних скифов, и я чувствую, что могут быть минуты, когда самый безукоризненный гуманист готов выколоть пару бесстыжих, сверкающих перед ним черных буркал...

— Что до меня касается, — продолжаю я, по-прежнему улыбаясь, — то мне очень приятно снова с вами встретиться... возобновить знакомство... и упрочить его.

Анафема ни слова не отвечает, и черные буркалы по-прежнему глядят на меня в упор!

— Я редко с кем схожусь, Григорий Петрович,— все-таки продолжаю я,— я человек, что называется, травленный, многое видал, во многое утратил веру, во многом горько обманулся, но во мне не умерло сочувствие ко всему живому, свежему... и не умрет... сочувствие самое искреннее, самое глубокое... Я, быть может, строг... Меня не подкупит никакая мишура, как бы она показна ни была, но я умею понять, умею оценить всякое честное стремление... Я дорожу, как неоцененным сокровищем, молодыми силами... На них наша единственная надежда, в них я вижу наше единственное спасение от тлетворного склада общества... Что вы на меня так смотрите, Григорий Петрович?

Этот вопрос — глупейший промах с моей стороны, но есть ли какая-нибудь возможность не прорваться с этим нахальным пузырем?

— Да вот смотрю, на что вы все это говорите,— отвечает он, пуская густую струю дыма и пренебрежительно оттопыривая свои красные, как у вампира, губы.

— То есть как на что говорю? — улыбаюсь я, дрожа от бешенства.

— Да так, на что?

— Вы, Григорий Петрович, меня, право, смущаете,— продолжаю я шутливо,— вы как-то странно принимаете мои слова... ошибочно их анализируете... А я говорю вам, что приходит в голову... что чувствую...

— Да ведь вы этого совсем не чувствуете,— перебивает меня гнусный мальчишка.

— То есть как же это я не чувствую, Григорий Петрович?

— Да так, не чувствуете.

— Знаете, Григорий Петрович, у вас преоригинальная манера отвечать... манера, которою другой бы на моем месте, пожалуй, оскорбился... Я, конечно, не оскорбляюсь...

— Чего же вам оскорбляться за то, что я не хочу врать; это дело вкуса — одному нравится, а другому нет.

Я взглядываю на Ольгу,— во все продолжение этого разговора я на нее не глядел,— взглядываю почти с уверенностью увидеть на ее лице смущение и беспокойство, уловить в глазах просьбу быть снисходительным, замать без последствий глупое, неприличное препиратель-

ство... и встречаю два глаза, блистающих, как глаза орлицы, следящей за охотником, который подкрадывается к ее гнезду.

Безумная девушка! Или она действительно ставит меня на одну доску с Ферапонтовым?!

Отчаяние внушает мне последнюю попытку.

— Еще раз убеждаюсь, что старые пословицы не всегда справедливы,— говорю я, добродушно улыбаясь,— сердце сердцу не всегда весть подает... Я вот почувствовал к вам влечение с первой же встречи, а вы — напротив... И что за мудреная вещь — сердце, Григорий Петрович; после того, как вы дали мне понять, что взаимности от вас нет, я почувствовал это влечение вдвое сильнее... Именно за то, что вы прямо, пренебрегая условными законами общежития, сказали мне правду.

— Вы... ко мне влечение! — бормочет он, поднимая нос и показывая свои белые и крепкие, как у волка, зубы.

— Да, я к вам, Григорий Петрович. Что ж это так вас удивляет? — продолжаю я.— Ведь вы меня не знаете, не знаете, следовательно, и моих вкусов... Очень может быть, что именно к таким людям, как вы, я и должен чувствовать влечение... что именно таких людей я и ищу... Я ведь не объявлял своих предпочтений, а угадывая их, можно легко ошибиться.

Он опять поднимает нос, опять показывает зубы, но слегка краснеет и кидает на меня быстрый, но уже не небрежный, а жадный, тревожный взгляд, каким ленивые дети пытаются пронзить аккуратно завязанный сверток, недоумевая, что в нем им дарится — желаемые сласти или опротивевшие раскрашенные рассказы о благонравной Маше и послушном Пете.

— В жизни, Григорий Петрович,— продолжаю я несколько ироническим, несколько печальным тоном,— иногда бывает то же, что и в пылу кровожадного сражения: чересчур скорые люди, как и чересчур азартные бойцы, иногда, не замечая, кидаются на своего брата и вместо вражьей груди попадают в ту, в которой бьется вовсе не вражеское сердце... Вы не осудите, что выражаюсь так высокопарно,— по-моему, высокопарный слог приличествует в аллегориях... Да, Григорий Петрович, бывает, что встретишь человека, отвернешься от него, а потом и узнаешь, что напрасно так поступил.

— Всяко бывает,— бормочет он еще храбро, но краска вдвое гуще разливается по его лицу и взгляд становится еще беспокойнее и несравненно мягче.

— ...И пожалеешь, за что обидел напрасно человека? Поставишь себя на его место и поймешь, как тяжело могло ему быть.

Он хмурит брови, он опускает глаза и уж до того краснеет, что пушок, покрывающий его щеки, чернеет точно на пламени.

Я обращаю печальные глаза на Ольгу.

На лице ее самый прелестнейший пожар, и я как нельзя яснее на нем читаю: «Господи! Неужто мы понапрасну его оскорбили?»

— Что ж вы хотите всем этим сказать? — спрашивает вдруг Григорий Иванов усиленно резко, но не глядя на меня.

— Я больше ничего не желаю сказать, Григорий Петрович,— отвечаю я гордо, как предательски раненный,— я умею и молчать!

— Вы можете повторить,— снова начинает Григорий Иванов,— что вы... что я... что мы с вами за одно стоим?

— Да, я могу это повторить,— отвечаю я прежним тоном.

— Можете?

— Могу.

Он облакачивается на стол и впивается в меня глазами. Мне становится неловко. Но мысль, что все это делается для блага Ольги, меня поддерживает.

— Можете? — повторяет он еще раз.

— Могу.

Невыносимые буркалы! Я чувствую, что начинаю сам краснеть и скорее ухватываюсь за благородное негодование.

— Однако подобный допрос неуместен, я полагаю, Григорий Петрович,— говорю я с достоинством.

— Ну, не сердитесь... простите.

И Григорий Иванов протягивает мне через стол руку.

— Давно бы так,— отвечаю я, крепко ее пожимая.

Я чувствую, что Ольга ждет, ищет моего взгляда, но я не имею духа к ней обернуться.

Я торжествую, наконец,— правда, торжество мое несколько отравлено, я то и дело призываю на помощь

блаженной памяти Игнатия Лойолу,— но я все-таки торжествую.

— Вы надолго тут поселились? — спрашивает меня Григорий Иванов.

Глаза его вдруг сделались ласковы, как у ребенка, узнавшего под чужою одеждой знакомого человека, и приводят мне на память глаза моей давно умершей сестренки, они такие же мягкие, ясные и смелые. Бедная сестренка! Она считала меня непогрешимым... каким-то рыцарем без страха и упрека!..

Но все-таки я торжествую. И к тому же все это для блага Ольги.

— Не знаю, надолго ли,— отвечаю я,— посмотрю... Это зависит от некоторых обстоятельств, которые еще не выяснились... недостаточно выяснились, хочу я сказать.

— Но с месяц-то все-таки пробудете?

— Да, с месяц-то, наверно, пробуду,— отвечаю я и мысленно добавляю: «И окончательно затру тебя, самонадеянный и легковверный юнец!»

— Ну, так мы еще, значит, увидимся. Я к вам приду.

— Я очень рад, Григорий Петрович, если вы вздумаете меня посетить.

— Завтра вы будете дома?

— Да, целый день.

— Так я завтра же к вам и приду.

— Милости просим, Григорий Петрович,— говорю я, вставая и удаляясь.

Как, однако, невероятно легко попадают на удочку эти всеотрицатели, эти скороспелые мудрецы! Ей-ей, они наивнее всякого караса, скромно обитающего в любом теннисном пруду.

## VIII

Our doubts are traitors  
And make us lose the good we oft might win  
By earning its attempt.

*W. Shakespeare*<sup>1</sup>

Я удаляюсь несколько поспешно, Григорий Иванов посылает мне вслед: «Погодите-ка!» Но я притворяюсь, что не принимаю этого зова на свой счет: я сообразил, что мне

<sup>1</sup> Наши сомнения выдают нас и заставляют нас терять то, что мы могли бы приобрести.

теперь всего выгоднее сдержанность, и приближаюсь к хозяйке, которая одиноко возвышается и втихомолку мечется перед блестящим, почти с себя ростом самоваром; все гости отхлынули от чайного стола и рассыпались в разные стороны, только Кирилл Зверев, отяжелевший после рома, как напитавшаяся губка, кивает, вздрагивает, вскидывает воспаленными белками и снова кивает на стуле перед опустошенным графинчиком розового богемского хрусталя.

— Какой прекрасный сегодня вечер, Елена Дмитриевна! — говорю я, садясь около хозяйки и любезно улыбаясь.

— Ах, прекрасный вечер, прекрасный вечер, Андриан Андреевич! — отвечает мне бедная старушка; добрые круглые глаза ее все сохраняют выражение, как будто она повисла над бездной, бровки высоко подняты, ротик сжат в точку и полуоткрыт, — прекрасный вечер!

— И какое приятное общество, Елена Дмитриевна, — продолжаю я.

— Ах, какое приятное, приятное, Андриан Андреевич... Очень, очень приятное.

В эту минуту Ольга и Григорий Иванов, оставшиеся на противоположном конце стола, поднимаются с своих мест, направляются через террасу в темнеющий сад и скрываются из вида.

Из всех углов летят аффективно подавленные восклицания, разносится как бы сдерживаемый не то смех, не то ропот. Елена Дмитриевна приподнимается, взмахивает своими пухлыми локотками, как беспомощная курочка, у которой ястреб похищает птенца, крыльями, и снова опускается в кресло.

Не церемонясь более с безобидным созданием, я прямо приступаю к цели:

— Но Ольга Алексеевна, кажется, не любит общества?

— Оленька! — восклицает она в величайшем смятении. — Оленька не любит?

— Да, Ольга Алексеевна, кажется, чуждается.

— Ах, нет, нет, Андриан Андреевич, не чуждается... Нисколько не чуждается!.. Ей-богу нет, Андриан Андреевич!.. Клянусь вам, не чуждается!

— Однако, дорогая Елена Дмитриевна, я замечаю...

— Клянусь вам, Андриан Андреевич, что не чуждается!.. Если вам что-нибудь показалось, так это одно ре-

бьячество. Оленька моя не такая... Оленька предобрая девочка... только иногда она сама не знает, что говорит... что делает... Дитя еще она, Андриан Андреевич, неопытна... многого не понимает... Станешь ей говорить — не слушается, еще меня начнет стыдить, как это я не вижу, где черно, где бело... сердится.

— Сердится, когда вы ей начинаете доказывать?

— Нет, не сердится, Андриан Андреевич, не сердится, а так... не верит мне... Она ужасно ко мне почтительна... никогда меня не огорчает... только утешает... Она — мое единственное утешение, Андриан Андреевич... Единственное истинное утешение.

— Я в этом не сомневаюсь, дорогая Елена Дмитриевна.

— Не сомневайтесь, Андриан Андреевич, не сомневайтесь! Она у меня славная девочка... почтительная, добрая... только неопытна... Ну, что ж делать: дитя еще, не понимает... Что может ребенок понимать? Ребенка и осуждать-то нельзя... ребенка грех осуждать... Ведь ребенок если что и наколбродит, так по глупости, по резвости... Грех и осуждать!

— Неужто вы, дорогая Елена Дмитриевна, можете предположить, что я когда-нибудь стал бы осуждать Ольгу Алексеевну?

— Нет, нет, не предполагаю, Андриан Андреевич! Нет, я знаю, что вы хороший человек... знаю, что к Оленьке расположены.

— Всем сердцем, дорогая Елена Дмитриевна, всю душу... бескорыстно расположен, глубоко предан.

— Спасибо вам, родной, спасибо! Я это вижу... Вы никогда на нее взгляда косо не кинули... Вы понимаете, что она еще ребенок, ну и извиняете ей... Я сколько раз думала: вот он уж никогда не станет мою Оленьку чернить!.. Никогда! Дай ему бог за это здоровья!.. Пошли ему господь всякую радость... всякое счастье.

У нее быстро навертываются и быстро скатываются по побледневшим пухлым щечкам две крупные слезы, которые она старается скрыть, наклоняясь к чайному подносу и начиная судорожно перемывать и перетирать чашки и стаканы.

— Я рад, дорогая Елена Дмитриевна,— говорю я с чувством,— я несказанно рад тому, что вы видите мое

расположение к Ольге Алексеевне... мое истинное расположение... что вы видите мою преданность...

— Вижу... вижу...— чуть слышно лепечет она, гремя чайной посудой,— вижу...

— Что вы не сомневаетесь в моем искреннем горячем желании видеть ее довольной и счастливой...

— Не сомневаюсь!.. Не сомневаюсь!.. И пусть господь пошлет и вам за это всякую радость... всякое счастье...

— Потому что, веря в бескорыстие и глубину моей приязни, вы позволите мне откровенно с вами переговорить... Не примете моих слов за нескромную навязчивость... Вы ведь позволите мне откровенно переговорить с вами, дорогая Елена Дмитриевна?

— Ах, Андриан Андреевич, да я очень рада!.. Очень, очень рада!..

— Вы позволите мне высказать вам все мои опасения за Ольгу Алексеевну?

— За Оленьку? Господи, что случилось? Чего вы опасаетесь?

— Не пугайтесь, дорогая Елена Дмитриевна, прошу вас, быть может, опасения мои не совсем основательны, но вы знаете, когда дело идет о дорогих нам существах, то мы становимся мнительны... И потом, лучше излишняя предусмотрительность, чем беззаботность...

— Родной, не томите уж меня, скажите прямо, что такое случилось!..

— Успокойтесь, дорогая Елена Дмитриевна, успокойтесь!..

— Уж не томите, родной!.. Ведь она у меня одна!.. Одно утешение!.. Не томите!

— Дорогая Елена Дмитриевна, мне кажется, нам удобнее будет беседовать не здесь. Я не желал бы, чтобы наша беседа долетала до постороннего слуха... Кругом посторонние люди...

Она с тоскливым испугом оглядывается и лепечет:

— Да, да!.. Да, кругом посторонние люди!..

— Не хотите ли пройти в сад, дорогая Елена Дмитриевна?

— Пойдемте!.. Пойдемте!.. В сад!.. В сад! — лепечет она, вскакивая и машинально, по хозяйскому инстинкту, проворно замыкая сахарницу.— В сад!.. В сад!..

Но я, подавая ей руку, замечаю с одной стороны улыбку Анны Павловны, с другой — улыбку Серафимы Пав-

ловны, которые впились в нас глазами, как пара очковых змей, и готовы ринуться наперерез нашего пути, через террасу в сад, и круто повертываю в диванную.

— И в саду могут помешать нашей беседе,— поясняя я своей спутнице,— не лучше ли нам выбрать где-нибудь уголок...

— Ко мне в спальную пойдете... ко мне в спальную... в спальную,— отвечает она, быстро перебирая своими коротенькими ножками,— вот сюда... сюда... Ах, свечу бы сюда, на лесенку... Экий народ какой, вечно забудут!.. Извините, пожалуйста, Андриан Андреевич... Теперь такой народ, что никакого с ними сладу нет... Что ни прикажешь, все забудут... Вот моя спальная... Садитесь вот тут, на диванчике...

Я сажусь около нее на диванчик.

Я отроду не видал комнаты, выразительнее свидетельствующей о спокойствии совести обитающего в ней существа, его мирных наклонностях, хозяйливости, кропотливой заботливости о раз заведенном порядке и неусыпной энергии в поддержании этого порядка. Канарейка, прыгающая в лакированной клетке перед окном, аккуратно подстриженные и выправленные на зеленых палочках померанцевое деревцо и китайские розы, ровно горящая серебряная лампадка перед чистенькой кивоткой с образами, лики святых в блистающих окладах — все точно говорит: «У нас тут всегда так, иначе никто не видал и не увидит, потому что иначе у нас не бывает».

— Дорогая Елена Дмитриевна,— начинаю я,— вы не можете себе представить, как я рад, что могу вам откровенно высказать все, что у меня лежит гнетом на душе...

— Да что ж такое, Андриан Андреевич? Господи, что ж такое? — прерывает она.

— Вы, вероятно, замечаете, дорогая Елена Дмитриевна, что с некоторого времени Ольга Алексеевна немножко изменилась?

— Чем Оленька изменилась? Ничем она не изменилась, Андриан Андреевич. Ни капли не изменилась!

— Изменилась, дорогая Елена Дмитриевна... Я удивляюсь, как эта перемена могла ускользнуть от ваших глаз.

— Да чем же изменилась, Андриан Андреевич?.. Что она, случается, иногда неразговорчива или там крошечку задумается, то это так себе... Все молодые девушки такие... на всех каприз находит... Да и не каприз даже, а так...

Я сама, как была молодой девушкой, бывало, по несколько часов хожу, как немая, или примусь задумываться... И потом все это как рукой снимет.

— Дорогая Елена Дмитриевна, неразговорчивость и задумчивость Ольги Алексеевны совсем другого рода... Да не в разговорчивости, не в задумчивости дело... Все бы это ничего... Дело в том, что Ольга Алексеевна увлекается...

— Ничем она не увлекается, Андриан Андреевич... Клянусь вам, ничем не увлекается!..

— Не я один это замечаю, дорогая Елена Дмитриевна... Но для других это только забава, а для меня... для меня истинное горе... Не могу вам выразить, как возмущают, как терзают меня все эти глупые улыбки, глупые взгляды, намеки... Вот об этом-то я и желал с вами откровенно поговорить... Ведь вы сами знаете, дорогая Елена Дмитриевна, как люди злы, как они всегда придираются ко всему, что хоть самую малость несогласно с их понятиями... Вы сами знаете, как мало щадят доброе имя молодой девушки...

— Знаю, знаю! У нас рады ни за что ни про что очернить... вот как бедную Глафиреньку Травникову!.. Напали тогда... совсем заклевали!.. А потом вдруг видят, что все это одни выдумки! Ах, это меня за Глафиреньку теперь бог наказывает! Я тогда поверила и тоже ее чернила всячески... Вот теперь бог и наказывает... и наказывает...

Слезы посыпались по ее лицу мелким частым дождиком.

— Ради бога, успокойтесь, дорогая Елена Дмитриевна...

Я беру ее крохотную, мягкую, как сливочное масло, ручку и с чувством пожимаю точно туго перевязанные в нескольких местах шелковинками пальчики.

— И наказывает бог... и наказывает...— твердит она, тихонько всхлипывая.— Теперь вот и на мою Олю плетут... и мою Олю клюют!..

— Ради бога, не волнуйтесь так, дорогая Елена Дмитриевна, и постараемся беседовать спокойнее... постараемся обсудить, как помочь беде...

— Теперь уже не сможешь!

— Помилуйте, дорогая Елена Дмитриевна, все эти глупые толки падут сами собою, если...

— Нет, уж не падут!.. Уж как пошло, так и конец!.. Теперь хоть умри, а будут клевать!.. Ах, боже мой! Боже мой!

— Дорогая Елена Дмитриевна, уверяю вас, что все толки прекратятся, как только вы удалите к ним повод...

— Повод? Какой повод?

— Этот молодой человек.. этот Иванов...— поясняя я.— Когда вы его удалите, не будет пищи злым языкам.

— Да как же я его удалю? — почти вскрикивает в беспомощной тоске бесхарактерный старый шарик.— Оленька и слышать об этом не хочет!

— А! Вы уж об этом говорили с Ольгой Алексеевной?

— Каждый день говорю, каждый день упрашиваю!

— И что ж Ольга Алексеевна вам отвечает?

— И слышать не хочет!

— Но какие же резоны она приводит?

— Ах, у нее все свои резоны!

— Но какие же, дорогая Елена Дмитриевна?

— Это,— говорит,— неблагоприятно отказать ему от дома потому только, что дураки вздумали сплетничать... Это,— говорит,— просто было бы низко... И если бы,— говорит,— вы это могли сделать, так я бы разлюбила вас, вы бы мне хуже чужой стали... Я бы,— говорит,— убежала от вас... Лучше вы,— говорит,— меня утопите...

— Но вы, с своей стороны, конечно, приводили доказательства...

— Ах, приводила, все приводила! Что ты в нем нашла, Оленька? — говорю.— Охота тебе допускать такого в дом! Ведь на него стыдно смотреть! — «Вовсе не стыдно! — спорит.— Он хороший человек, добрый, честный».— Неприличный он, Оленька,— говорю,— совсем неприличный! Одет всегда неприлично! — «А! — сердится.— Полотенцеву можно в русской рубашке приезжать и Пальчикову можно, а ему нельзя! Где ж у вас справедливость, мама?» — Ах, Оленька,— говорю,— Полотенцев и Пальчиков всегда в канаусовых рубашках или в вышитых из голландского полотна... Это,— говорю,— уж совсем другое, Оленька, это приятно... Это показывает любовь к России, к родине... а ведь он придет чуть не в дерюге, не знаешь куда глаза девать, стыдно на него взглянуть! — «Ах, мама, мама! — укоряет.— И вам это не совестно так говорить? Он любит Россию больше всех ваших отвратительных франтов! Он не станет бросать денег на канаусы, не станет

кокетничать вышивками, когда кругом люди с голоду мрут!» И пойдет, и пойдет... и совсем с толку собьет!..

— Вы шутите, дорогая Елена Дмитриевна! Возможно ли, чтобы вас сбивали с толку такие детские возражения! Ведь это чистое детство...

— Я знаю, что детство, а она не верит! Да ты только подумай, Оленька,— говорю ей,— какой он грубый, как дерзко со всеми обращается! Что ж это, по-твоему, хорошо? — «А чем же уж так дурно, мама? — спрашивает.— Дурно притворяться, лгать, подлаживаться, подличать, а он не притворяется, не лжет, не подлаживается, не подличает... Вон другие знакомые точно,— говорит,— насквозь медом пропитаны, а ни одному их слову нельзя верить, всякое их слово — ложь, обман... Что ж, мама, это лучше, по-вашему?» — спрашивает.— И пристала, пристала... — Полно, Оленька,— говорю.— «Нет, нет,— кричит,— я не отойду, пока вы не скажете, что лучше, что святее: правда или неправда! Говорите же, говорите!» — Разумеется,— говорю,— правда лучше и святее... — «А если так, мама, так и он, значит, лучше и святее!»

— Вы позволите себя забрасывать словами, дорогая Елена Дмитриевна!

— Да разве с ней сладишь, Андриан Андреевич? Оленька, Оленька! — говорю.— Кого это ты святым-то называешь? — стыжу ее.— Да ведь он безбожник, Оленька! Помнишь, Ферапонтов при тебе рассказывал, как он не принимает евангелия и даже не понимает его!.. Как вспыхнет она! — «Он в тысячу раз лучше Ферапонтова понимает евангелие! В миллионы, в триллионы раз лучше понимает! Евангелие учит не болтать, а возвещать истину... Да, да! Вот чему учит евангелие!» И вижу: сама уж вся дрожит, и слезы чуть-чуть не катятся из глаз...

— И вы ничего на это не возразили?

— Что ж я ей на это возражу? — отвечает безголовая пышка.

— Ничего не возразили?..

— Грех,— говорю,— тебе, Оленька, с матерью спорить, мать огорчать! — «Это вы меня огорчаете!» — спорит.— На кого ты,— говорю,— Оленька, родную мать меняешь? На какого-то грубияна! — «Это вы,— спорит,— меня меняете на отвратительных обманщиков и лжецов!» — Ты послушай-ка, Оленька, что про него рассказывают! — говорю.— «И про первых христиан,— спорит,— рассказы-

вали!» — Да христиане-то, Оленька, были святые люди, и никто не верил. — «Если бы, — спорит, — не верили, так их бы не мучили, не распинали». — Да ведь это только язычники распинали, Оленька, — говорю. — «И наши соседи, — спорит, — язычники»... — Какие же они язычники, бог с тобой, Оленька! — «Русские язычники!» — Помилуй, Оленька, — говорю, — да они православные, в церковь ходят! — «И те, — спорит, — в свои храмы ходили, а что они делали?»... И начала рассказывать, что они делали... И таких страстей насказала...

— И вы ничего не нашли для возражения?

— Нашла, да она не слушает! Грех тебе, — говорю, — Оленька, великий грех!.. Не слушает! Она и маленькая такая была... уж как, бывало, что-нибудь заберет себе в голову, так конец: хоть целый фунт конфет давай, хоть в угол ставь — ничего не поможет! Топчет ножками и только... или точно окаменеет и стоит, как каменная... Раз принесла ее няня в залу, а в зале на полу этакий кружочек от солнышка, — знаете, солнышко играет, — непременно ее туда посадите! Ну, как же можно это, ребенка посадить на голый пол? Я не позволила. Как залыется она, господи! Я думала, задушится слезами!.. И с тех пор, как ее ни вынесут в залу, так и тянет няню к этому местечку. Говорить еще не умела, так пальчиком показывает: «Туда меня посади»... А то раз вздумала огонь ловить, так пальчиком пламя на свечке схватывать, — была у нас тогда глупая одна девчонка и показала ей эту игру... И уж как я ни уговаривала: Оленька, пережжешь ручки, больно будет! — ничего не боится; как только завидела зажженную свечку, сейчас к ней и хватить!.. Ну, и пережгла ручки, на одном пальчике огромный волдырь вскочил... Вот видишь, — говорю, — Оленька, что значит маму не слушаться! Вот теперь как больно! — «А все-таки, — говорит, — я огонь поймала! Все-таки поймала!..» — А у самой еще глазки не обсохли и щечки в слезных капельках!.. Нет, уж она такая с малолетства...

— Но, дорогая Елена Дмитриевна, пока дело шло о пламени свечи, пока она рисковала только обжечь пальчик, это еще не представляло ничего непоправимого... Теперь дело идет о более серьезных вещах... Каково вам будет, если увлечение Ольги Алексеевны обратится...

— Да никакого увлечения нет, Андриан Андреевич! Клянусь вам, что никакого нет!

— ...Обратится в любовь, в страсть?

— Что вы, что вы! Да как это вы можете думать, чтобы моя Оленька... Не верьте вы сплетням... это все сплетни... Оленька моя не такая... И что ж в том за преступление, в самом деле, что она с ним слово скажет? Ведь он, в самом деле, не вор, не душегубец... Вон и Феррапонтовы с ним разговаривают и к себе зовут... Вон Мефа Павловна Зверева как сегодня его перевозносила: «Милый,— говорит,— я ему,— говорит,— непременно сочинения Альфонса Карра подарю, и у него нет портсигара, я ему портсигар вышью»... А у нас как уж нападут на кого, так уж клюют без разбора. Уж как не залюбят кого, так и меры нет... так уж и совсем со свету рады сжить... Ну, глуп мальчик,— все мальчики глупы: вон Сережа Полотенцев сестрины изумрудные серьги проиграл, а стала сестра упрекать,— он ее всю искусал. Ну, а потом все это прошло... И теперь стал умнеть...

— Позвольте, дорогая Елена Дмитриевна,— с улыбкою останавливаю я бестолковую пуговицу, я в эту минуту убеждаюсь, что в природе ничего безвредного нет, что даже сидящий передо мной комочек жира и мяса в чепчике с темно-малиновым бантиком, и тот может произвести страшный вред,— позвольте: я вижу, что мы с вами до сих пор не понимали друг друга... Если я вам говорил о моих опасениях, то потому только, что не знал, как вы смотрите на этого молодого человека... на этого Иванова. Если б я мог думать, что вы видите в нем желательную партию для Ольги Алексеевны...

— Что вы, что вы! — вскрикивает жалкая коротышка, в ужасе всплескивая ручками.— Чтоб я для Оленьки! Чтоб я такую партию!.. Да пусть меня лучше в гроб положат!.. Пусть лучше меня живую в землю закопают. Чтобы моя Оленька когда-нибудь подумала, чтоб моя Оленька помыслила!

Частые слезки опять заросили ее личико. Всплескивая ручками, она нечаянно задевает рукавом листок белой бумаги, на котором правильными четверугольничками расположены какие-то семечки для просушки, и кидается подбирать рассыпанное.

— Позвольте, Елена Дмитриевна,— говорю я, наклоняясь и щупая по полу,— позвольте мне это сделать.

— Ах, нет, нет, Андриан Андреевич, не беспокойтесь! Я сама подберу. Это у меня тут разные семечки. У меня

тут настурция, почти темная... и махровый горошек... львиная пасть... и турецкий салат... редкий. Я достала у Травниковой. И мак синий от Платоновой... она уверяла, что синий. И теперь вот все я рассыпала! И все перемешалось! Да моя Оленька никогда и не помыслит выходить за него замуж! Да ей этого и в голову никогда не придет! Чтобы моя Оленька пошла за него замуж!

— Все уж подобрано, Елена Дмитриевна.

— Ах, нет, нет! Вот сюда еще закатились семечки... Вот, под комод.

— Ну, теперь все!

— Ах, да не беспокойтесь, Андриан Андреевич... Вот сюда... сюда на бумажку ссыпьте. Ах, боже мой! Все перемешались! Ах, жалость какая!

— Можно разобрать, Елена Дмитриевна.

— Я разберу, разберу...— отвечает она, проворно смаргивая слезинки и проворно свертывая из бумаги тюрик и завертывая туда собранные семечки.

— Что касается до меня, дорогая Елена Дмитриевна,— начинаю я, то, по-моему, этот молодой человек... этот Иванов вовсе не такой пропащий, как о нем все думают. И если только Ольга Алексеевна его полюбит...

— Не полюбит Оленька! Никогда, никогда не полюбит!

— Но если полюбит, то я бы на вашем месте, дорогая Елена Дмитриевна, не стал противиться их счастью.

— Чтоб я отдала за него Оленьку?! Да я скорей в гроб лягу! Вы и меня, и Оленьку мою обижаете такими словами, Андриан Андреевич! Что ж это за шутки такие!

И крошечный дутик выпрямился передо мной во весь свой двадцативершковый рост...

— Я далек от шуток, дорогая Елена Дмитриевна, весьма, весьма далек! Вы слушайте меня внимательно, спокойно. Не забывайте, что с вами беседует преданный, бескорыстный друг. Скажите, сколько вы лет прожили на свете?

— Как сколько лет прожила? Мне пятьдесят скоро...

— Вы в своей жизни, разумеется, видали немало молодых людей — мужчин и девушек?

— Видала.

— Ну, и когда любые из этих молодых людей и девушек начинали между собою часто беседовать, отдаляться от других, встречаться беспрестанно на прогулках, чем это всегда кончалось?

— Чем кончалось?

— Да, чем? Ведь всегда неизменно кончалось любовью? Ведь так?

— Оленька моя не такая, Андриан Андреевич! — чуть шепчет она в перепуге.

— Ах, дорогая Елена Дмитриевна, всякое молодое сердце ищет любви! Это давно известно! Так спокон веку ведется!.. Да в этом и нет ничего предосудительного... Вспомните свою молодость! Я скажу более: чем лучше девушка, тем легче ей ошибиться... В ее невинности ей все кажется прекрасным, как она сама прекрасна... Согласны вы со мною, дорогая Елена Дмитриевна?

— Пресвятая заступница! Что ж мне делать? Как мне быть? — вскрикивает она в недоумевающем отчаянии.

— Позвольте мне, как преданному другу, дать вам совет?

— Дайте, родной, дайте!.. Ах, боже мой милостивый!

— Если вы можете примириться с мыслью, что Ольга Алексеевна будет женою этого молодого человека...

— Никогда, никогда! Скорей в гроб лягу!

— Ведь не в богатстве и не в знатности счастье, Елена Дмитриевна!

— Да разве моя Оленька хуже всех, чтоб я ее за Бузовского племянника отдала? Ах, боже мой! Боже мой!

— Конечно, Ольга Алексеевна всегда могла бы составить самую блестящую партию... Но ведь и этот молодой человек со временем остепенится... Вы справедливо сказали, что на слухи не стоит обращать внимания.

— Как же не обращать внимания, Андриан Андреевич? Легко ли это, как везде судят да смеются! Да этак жизнь не в жизнь!

— Итак, дорогая Елена Дмитриевна, если вы можете примириться...

— Никогда, никогда!

— ...То предоставьте Ольге Алексеевне свободно с ним видеться, гулять, разговаривать...

— Ах, боже мой! боже мой!

— ...А если не можете примириться, то самое благоразумное — как можно скорее прекратить эти прогулки и разговоры.

— Да как же я прекращу-то? Оленька ничего слушать не хочет!

— Если вы не надеетесь иметь достаточно твердости, дорогая Елена Дмитриевна...

— Да что ж моя твердость, когда она и слушать не хочет!

О бессмысленный пупырышек!

— В таком случае, дорогая Елена Дмитриевна, вам надо действовать иначе... вам надо действовать политически...

— Как политически?

— Ну, предпринять какое-нибудь маленькое путешествие... на время удалиться отсюда Ольгу Алексеевну...

— Да она как узнает, что я ее собираюсь отсюда увезти, так скажет: «Не хочу, не хочу!»

— Но ведь вы ей не скажете, что собираетесь ее увезти, дорогая Елена Дмитриевна. Вы просто предложите ей с вами поехать дня на два, на три...

— Ну, а воротимся, и опять...

— А потом вас что-нибудь задержит...

— Что ж задержит?

— Вы найдете какой-нибудь предлог и отложите поездку... Будете откладывать ее до тех пор, пока будете считать ее полезною...

— Ах, это обманом ее задержать?

— Дорогая Елена Дмитриевна, никто сильнее меня не питает отвращения к обману... но в некоторых случаях обман, к несчастью, необходим... спасителен.

— Разумеется, необходим, разумеется, необходим!

— Вам, я понимаю, тяжело будет отказаться на время от полной откровенности с Ольгой Алексеевной...

— Ничего мне не тяжело, только бы удалось, бог дал!

— Самое лучшее средство лечить больных детей — это не называть лекарства лекарством...

— Да, да!.. Только куда ж бы мне с нею поехать?

— Вы говорите, что у вас сестрица в Н-ском уезде... и братец ваш тоже, кажется, живет неподалеку от ее деревни?

— Да, да, поеду к сестре... Кстати, и ее именины скоро... Только Оленька теперь не стала любить именин, так я ей скажу, что надо к сестре по делам имения. А как приедем туда, так я и притворюсь, что заболела... начну липовый цвет пить... Так и прогостим там... И Оленька развеселится и все это позабудет. У сестры очень весело: соседство большое, каждый день кавалькады, танцы... Полковая музыка бывает...

— Прекрасно, дорогая Елена Дмитриевна, прекрасно! Дай вам бог успеха! Только помните: все пропало, если

Ольга Алексеевна догадается! Не проговоритесь как-нибудь, не измените себе...

— Нет, нет, ни за что на свете! Как можно!

— Еще одна просьба, дорогая Елена Дмитриевна: если вам понадобится преданный человек,— ведь все может быть! — так вспомните обо мне и черкните мне одно слово: я приеду к вам так скоро, как только позволят пути сообщения.

— Спасибо, родной, спасибо! Никогда не забуду вашего расположения! Воскресли вы меня! Я уж совсем не знала, что делать мне и как быть...

— Итак, завтра вы скажете Ольге Алексеевне о предполагаемой поездке? Издалека...

— Ну, да, да, издалека, разумеется. Знаешь, Оленька, скажу, очень я что-то скучаю по сестре Вареньке... и нехорошо ее во сне вижу — все в каких-то цветах, и даже рада, что необходимость заставляет нас скоро к ней ехать... Ну, и тут начну про дела по имению, что крайне необходимо посоветоваться...

— Вы послезавтра позволите мне навестить вас?

— Ах, родной! Как одолжите-то меня этим!

— А теперь, дорогая Елена Дмитриевна, поспешимте в гостиную: гости уж, вероятно, поглядывают, где вы...

— Ах, да, да! А глаза-то у меня заплаканы! Заметно?

— Нет... Я уйду первый, чтобы не давать лишней работы языкам... Еще раз: дай бог вам успеха, дорогая Елена Дмитриевна,— заключаю я, прикладываясь к ее дутым пальчикам.

— Спасибо, родной, спасибо! — отвечает она, быстро чмокая меня мягкими, как теплый мякиш, губками.— Я сейчас же за вами... только вот холодной воды к глазам приложу...

Я осторожно спускаюсь с лесенки, как тать, прокрадываюсь через несколько комнат, выскользываю на террасу и оттуда, умышленно зацепив за дверь и тем обратив на свое появление внимание, вхожу в гостиную.

— Где это вы, голубчик, пропадали? — спрашивает меня Анна Павловна, на первых же шагах перерезывая мне путь.

— Гулял, Анна Павловна,— отвечаю я непринужденно.— Прелестнейший вечер!

— Да... я и не запомню такого... Ах, дорогой вы мой, откуда это у вас мел на рукаве?

— Мел? — говорю я. — Вот странно! Откуда мог взяться этот мел?

Я знаю, откуда: споткнувшись на темной лесенке, я попал плечом в стену.

— Может, в саду как-нибудь, милый?

— Но где же в саду мел? Не понимаю...

— Ну, да бог с ним, голубчик! Стоит ли об этом толковать! — останавливает она меня успокоительным тоном, мило улыбаясь и пронизывая глазами. — Лучше скажите мне, удалось ли ваше варенье?

— Удалось, Анна Павловна, превосходно удалось... И все благодаря вам... вашим милостям к горькому бобылю...

— Полноте, друг мой, полноте! Пора уж вам знать, что я вас всею душой люблю и что заботиться о вас — отрада... Да что это вы как будто опять нездоровы, голубчик?

— Да, опять нездоровится...

— Бедненький вы страдалец! Не опять ли головокружение?

— Да...

— Ах, боже мой! Не дать ли воды?

— Благодарю, благодарю, добрейшая Анна Павловна... Я перейду поближе к окну, — свежий воздух лучше всего помогает...

— Перейдите, перейдите, мой друг!..

Я перехожу к окну.

Ни Ольги, ни Григория Иванова нет в гостиной. Мне видна вся зала и терраса, — и в зале их нет, нет и на террасе.

На дворе уже стемнело, уж везде зажжены свечи и лампы.

Является хозяйка и начинает рассказывать генеральше Болотниковой, как она сейчас засорила себе правый глаз.

— И не знаю, откуда взялась эта порошок! — раздается ее приятный голосок. — Вот неожиданно какая беда! И теперь еще все, как будто этак неловко глядеть... как будто что застилает зрение.

Глядя, как она показывает свой круглый глазок и так естественно примаргивает, я с тайным изумлением и отрадою убеждаюсь, что эта простодушная катышечка не совсем лишена искусства отводить глаза. Место моих сомнений насчет устройства поездки к сестре Вареньке начинает занимать надежда.

А Ольги и Григория Иванова все нет!

Пока я борюсь с желанием идти их отыскивать, ко мне подбегает Мефа и начинает дребезжать о звездах, о лучшем мире. Проспавшийся в столовой Кирилл Зверев перебивает ее своим любимым рассказом о сдобных лепешках, которые он пек в день объявления крестьянам о их свободе; подходит Геннадий Ферапонтов, знакомит меня с Евгением Ферапонтовым, и оба подсаживаются и принимаются разбирать, что такое душа.

А их все нет!

Однако должны же они когда-нибудь прийти! Я решаюсь ждать еще час, а по прошествии этого часа отправиться на розыски. Приняв это решение, я становлюсь спокойнее, равнодушно отдаю себя на пытку собеседникам, съедаю блюдечко ананасного мороженого, улыбаюсь, киваю головой, привожу в опровержение Евгения Ферапонтова два-три изречения древнего мудреца.

Наконец-то!

Но Григория Иванова нет, Ольга одна. Какая она бледная и как блестят у нее глаза! Ошибаюсь я, или точно она ищет моего взгляда? Как будто зовет меня? Неужто зовет?

Но понять или не понять этот зов? Я порешил, что сдержанность выгоднее всего,— она же и послужит отмщением за небрежность и насмешки... Но быть сдержанным не значит быть неучтивым и не обязывает представляться дураком, не смыслящим языка глаз. А сдержанным я могу быть, и подойдя к ней,— даже еще несравненно рельефнее могу тогда явить эту сдержанность.

Пока эти мысли еще роятся в моей голове, я уже изыскиваю средства вырваться из беседы и перелететь на другой конец комнаты, где она сидит в отдалении от всех.

Но легче вырваться из львиной пасти, из медвежьих лап, из тисков — из чего угодно, — чем от безжалостных Ферапонтовых, когда они заведены. Этих старых шарманок ничто не остановит: бледнейте вы, багровейте, впадайте в конвульсии, они все будут зудить свои «Лучинушки» и «Прощаюсь, ангел мой, с тобой!»

Я пробую томно прикладывать ладонь ко лбу, нервно вздрагивать, закатывать глаза, как бы от нестерпимой боли, я морщусь, корчусь, я являю на лице выражение, перед которым сам образ Лаокоона показался бы только

терпеливым плаксой, а два гнусливых голоса с тем же адским невниманием продолжают декламировать!

— Материальные глаза человека могут устремляться только на одну точку божьего мира,— гнусит Евгений Ферапонтов,— а устремляясь на одну точку, они не могут обнять всего,— следственно от них ускользают другие многочисленные и полные значения точки,— следственно, взгляд их узок, беден, скуден, близорук... Будь мы одарены одними нашими материальными, земными глазами, мы были бы жалкие слепцы...

— Но мы одарены другим, высшим зрением,— перебивает его Геннадий Ферапонтов,— зрением духовным. Это высшее духовное зрение позволяет нам проникать в невидимое, как в видимое, осязать неосязаемое, как осязаемое.

— Ах, да! Ах, да! — дребезжит Мефа.

— Это духовное зрение — наше истинное сокровище,— не останавливается Евгений Ферапонтов,— оно позволяет нам группировать в стройном порядке все явления жизни.

— Сосредоточивать бесконечные миры в своей душе,— не запинаясь Геннадий Ферапонтов,— усматривать целый мир в каждом малом атоме.

Видя, что нет исхода, я работаю правой ногой, с риском вывихнуть все пальцы, и валю столик, на котором стоят блюдечки от мороженого. Дамы взвизгивают, как вырвавшийся пар из паровоза, все вскакивают. Я извиняюсь, молю скороговоркой о прощении, плачусь на свою неловкость и головокружение и спасаюсь.

Наконец, я возле Ольги.

Она встречает меня какой-то робкою улыбкой, глаза ее мягки и глубоки, как ясное весеннее небо, и так же прелестны.

— Мне показалось, что я должен к вам подойти... что вы зовете меня,— говорю я с холодной почтительностью, помахивая шляпой, в знак того, что я не забочусь о продолении свидания.

— Да, звала,— отвечает она тихо.— Андриан Андреевич, простите меня.

— Ольга Алексеевна..— лепечу я.

— Простите, простите меня! Я теперь знаю, что вы хороший, честный человек... Я вам все скажу, что меня мучит... Я вас оскорбила... Простите, простите!.. Придете вы завтра? Или, хотите, я к вам приду?

Она схватывает меня за руку, на глазах у нее, кажется, дрожат слезы.

Пол вертится у меня под ногами, потолок, чудится, касается моего темени. Я сознаю одно — свою мытарскую ложь и пламенно желаю одного — провалиться сквозь землю.

— Вы уходите? — говорит она. — Прощаете меня?

— Ольга Алексеевна, — бормочу я, — как могли вы предположить, что я сержусь?

— Так до завтра?

— До завтра... до завтра...

Я выбегаю из гостиной, как полуудушанный в склепе выбегает на чистый воздух.

## IX

De tous les animaux qui s'élèvent dans  
l'air,  
Qui marchent sur la terre, ou nagent  
dans la mer  
De Paris au Pérou du Japon jusqu'à  
Rome  
Le plus sot animal, à mon avis, c'est  
l'homme.  
. . . . .  
Son coeur toujours flottant entre mille  
embarras  
Ne sait ni ce qu'il veut, ni ce qu'il ne  
veut pas,  
Ce qu'un jour il abhorre, en l'autre il  
le souhaite.

*Nicolas Boileau*<sup>1</sup>

Выбежав из гостиной, я надергиваю на себя пальто, быстрее спугнутой серны прыгиваю с террасы и несусь, подобно перекаати-полю, гонимому вихрем, из гостеприимной усадьбы с какою-то бессмысленною надеждой прийти в нормальное расположение духа тотчас же, как только перешагну за черту чудовских аллей и рощиц; в пять,

<sup>1</sup> Из всех животных, которые поднимаются в воздух, ходят по земле или плавают в море от Парижа до Перу, от Японии до Рима, наиболее глупым животным, по моему мнению, является человек... Его сердце всегда колеблется между тысячью затруднений, неизвестно, чего он хочет и чего не хочет, то, что он ненавидит в этот день, он желает на другой.

Николя Буало (франц.). Ред.

десять минут я перелетаю пространство, на которое, при обыкновенном настроении, мне требуется, по крайней мере, полчаса скорой ходьбы, и останавливаюсь на старом каменном мостике, откуда начинаются владения проприетера<sup>1</sup> моей дачи, Павла Павловича Зверева; тут, как мне кажется, я опоминаюсь, привожу в порядок перепутавшиеся мысли, надеваю на голову шляпу, которую все время мял в руке, снова снимаю ее и, громко проговорив: «Как благодетельно действует свежий воздух!» — облакачиваюсь на проросшие мягкой травкой перила, улыбаюсь, вспомнив, с каким пафосом проприетер повествует о постройке этого мостика предками, сравнивая их с древними римлянами; затем вспоминаю, что помянутый проприетер поклоняется Генриху IV, почившему королю французов, находя большое сходство между собою и этою царственною особой (в соседстве его так и называют Генрихом IV), опять улыбаюсь и принимаюсь смотреть на катящийся ручей; я с напряженным вниманием смотрю на зыбь темных, тихо журчащих волн, на мигающее в них отражение золотых звезд и стараюсь себя уверить, что все это пустяки, что дело отлично подвигается и что мне только остается благодарить судьбу.

Однако я судьбу не благодарю!.. И все это мутит и мутит меня!

О сила прошлого безумия! О отравы, вошедшая в плоть и кровь!

Что же такое это все? Какая-то глупая тревога, какой-то нелепый стыд! Что такое я сделал ужасного? Какое преступление на мне тяготеет? Всякий мало-мальски основательный человек найдет, что я поступаю как следует, что хитрость вполне позволительна, когда выходишь против врага, когда защищаешь даже не себя, а ближнего, и что, следовательно, совесть моя чиста, чище снега на Альпийских вершинах... Основательный человек ведь пожмет плечами, если я ему признаюсь, что краснею хуже проворовавшегося школьника, как только представлю себе милое взволнованное лицо, озаренное мягкими блестящими глазами, полными слез и мольбы, и тихий, полный раскаяния голос, шепчущий мне: «Простите меня! Я вам верю! Я теперь знаю, что вы хороший, честный!»

Что ж, разве я не хороший, не честный? Не в педантски-

---

<sup>1</sup> Владельца. Ред.

идеальном, разумеется, смысле, но в том, в каком обыкновенно понимают эти слова,— в разумном?.. Что вполне, я полагаю, удовлетворительно... Стремись я к положительному идеалу (недостижимому), я превратился бы в сумасбродного ригориста, вроде той полоумной праведницы в романе Вальтер Скотта, которая не решается исказить истину, даже когда это требуется для спасения от смерти любимой сестры.

Нет, задача — не ригоризм, задача — добро, польза, которые мы приносим ближнему... А сколько случаев, когда приходится или отказаться от помощи ближнему, или прибегать к маскированию! Разве я задумался бы солгать или, солгав, стал бы этим терзаться, если бы придорожный разбойник обратился ко мне за указанием, какой дорогой ему короче и лучше пробраться, чтобы ограбить или зарезать свою жертву? Какая же разница между разбойником с ломом, кистенем и ножом и разбойником, покушающимся похитить мир душевный, веру в будущее, стремящимся отравить вам все в жизни, зарезать вас нравственно? Только та, что последний не в пример бесчеловечнее.

С этой стороны не может быть сомнений и недоумений, и их нет. Конечно, неприятно, скверно, когда подстерегаемый вами враг с легкомысленною доверчивостью протягивает вам руку, как стороннику, и сам себя выдает с головою. Но когда же какие добрые дела, какие-либо подвиги совершались без неприятностей, усилий и различных страданий? Это неизбежное условие всякого подвижничества, и с этим уж необходимо примириться. И всякий, у кого есть толк, примиряется... и я примиряюсь. Повторяю: конечно, неприятно, скверно... но в уныние впадать еще не стоит... мутиться этим нечего. Да меня это и не мутит.

Что ж меня, жалкого безумца, мутит?

Напрасно я бессильно бешусь, стараюсь заглушить мысли, давно признанные мною ни к чему не применимыми, ни на что не годными, нелепыми,— они поднимаются в моей голове неискоренимо, они лезут мне в глаза, они точат, сосут, как змеи, пилят, колесуют меня! Я опять,— в который раз! — перебираю по ниточке весь моток своих воззрений, опять копаюсь в тайниках своего я, опять вытягиваю улегшиеся сомнения, успокоившиеся угрызения, уснувшую мнительность.

Я более часа провожу в этом плодотворном занятии, колыхаясь из стороны в сторону, как бабье коромысло, по-

ка, наконец, в результате получается вывод, что Григорий Иванов, быть может, в сущности, и не разбойник, а только мечтатель, какими были многие из нас, сумасброд, надеющийся сокрушить лбом каменную стену, самонадеянный недоумок, стремящийся к недостижимому в наше время... легкомысленный утопист. А подобные люди также вредны, также пагубны. Какой выигрыш в том, если молодую жизнь Ольги отравит не развращенный пройдоха, а тупоумный фанатик? Жизнь-то будет ведь все-таки отравлена! Следовательно, я все-таки должен охранять Ольгу и буду ее охранять!

Разбитый мучительным самопрепираательством, точно по мне, как по незрелым снопам ржи, гуляло около полусотни цепов, я плетусь домой, уныло повторяя себе вопрос Понтия Пилата: «Что такое истина?» — и втайне грустно завидуя этому сановнику, как это он так быстро разделался: спросил, не разрешил и умыл руки... и зажил опять подобра-поздорову, а тут никак не розвяжешься, ничем не отбояришься.

А ночь тиха и ароматна, звезды таинственно мерцают. Вы, умеющие наслаждаться, наслаждайтесь!

Меланхолически пробираюсь я мимо дома моего проприетера — в окне у него свет и сквозь опущенную штору я различаю его фигуру в кресле перед столом: верно, он чистит свой любимый шахматный ящичек из слоновой кости или перебирает свои редкие камешки и раковинки, или рассматривает какой-нибудь иллюстрированный роман, и счастлив! Отворяю калитку в сад и уже ступаю на узенькую, прикрытую зеленью нависших деревьев тропинку, ведущую к нанимаемому мной павильону в виде башенки, как вдруг кто-то выскакивает из-за куста и вцепляется в меня обеими руками с пронзительным криком:

— А, вор! А! Пойман на месте преступления! Отговорки не помогут! На месте преступления схвачен!

— Что за чепуха! — в свою очередь вскрикиваю я, опомнившись и пытаюсь высвободиться.

— На месте преступления! На месте преступления! — злорадно орет напавший на меня болван и при каждом восклицании щиплет меня, точно клешнями. — Митродора! Митродора! Сюда! Огня, огня!

— Павел Павлович, придите в себя, это я! — кричу я, узнав Генриха IV, своего проприетера... — Это я, я, ваш дачник!

— Молчать, скотина! — еще бешенее орет проприетер.— Митродора! Огня, огня!

— Павел Павлович! — воплю я.

— А! Ты еще толкаться! Погоди, погоди!

— Павел Павлович! Au nom du ciel, ne me pincez pas!<sup>1</sup> — взвизгиваю я, начиная брыкаться.

Французская фраза оказывает магическое действие; проприетер мгновенно выпускает меня из своих клешней и бормочет:

— Est-ce possible?! Comment, c'est vous?!<sup>2</sup>

Прибывшая с фонарем Митродора (стареющая Габриэль д'Эстре, лошадиного роста, с лошадиными глазами, с какими-то грязно-алыми пятнами на увядших щеках, с растрепанными воронными волосами, в измятой засаленной распашонке и босиком) освещает его гладко выбритую, желтую, востроносую, с усами кустиком и точно прилизанными волосками на висках, растерянную физиономию, на которой бледность злорадства сменяется краской изумления, и костюм, состоящий из какого-то зеленого с разводами шушуна на вате и шитых гарусом спальных сапог.

— Уйди, уйди! — машет ей рукою Генрих IV.

— Вот идол! — посылает ему в ответ Габриэль д'Эстре, делая крутой поворот, как осаженное дитя табунов, и удаляясь с фонарем.— Затеял кутерьму ополночи!

— Объясните, пожалуйста, Павел Павлович,— начинаю я.

— Mille pardons! Mille pardons! — прерывает Генрих IV.— C'est un malentendu... Un malentendu des plus déplorables!<sup>3</sup> Я испугал вас?

— Еще бы! И исщипали!

— Mille pardons! Mille pardons! Je suis au desespoir!..<sup>4</sup>

— Но объясните мне...

— Прошу вас, зайдите ко мне... После этого потрясения вам необходимо выпить стакан вина.

— Весьма вам благодарен, Павел Павлович.

— И там я вам все объясню... Ne me refusez pas!<sup>5</sup>

Он хватается за меня своими клешнями и под руку

<sup>1</sup> Ради бога, не дергайте меня! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Возможно ли? Как, это вы?! (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Тысяча извинений! Тысяча извинений... Это недоразумение...

Одно из самых плачевных недоразумений! (франц.) Ред.

<sup>4</sup> Тысяча извинений! Тысяча извинений! Я в отчаянии! (франц.) Ред.

<sup>5</sup> Не отказывайте мне! (франц.) Ред.

тащит к балкону, увитому диким виноградом, приговаривая:

— Ne me refusez pas! Ne me refusez pas!

Я, спотыкаясь, прыгаю за ним по ступенькам, наталкиваюсь в темной зале и темной гостиной на углы какой-то мебели и, наконец, достигаю освещенной комнаты.

— Prenez place, je vous prie, prenez place! — суется Генрих IV.— Otez votre paletot... Permettez... Permettez...<sup>1</sup>

— Не беспокойтесь, Павел Павлович,— говорю я,— пальто мне не мешает.

— Mais ôtez votre paletot! <sup>2</sup> Снимите, снимите...

— Пальто не мешает.

— Mais ôtez donc! Снимите, снимите... Отчего ж вы не хотите снять? Mais ôtez donc! Permettez je vous prie,— пристает он, танцуя около меня и дергая меня то за тот, то за другой рукав.— Mais ôtez donc!<sup>3</sup>

Желая поскорее отделаться от неотвязного маниака, я сбрасываю пальто, которое он мгновенно подхватывает, как коршун добычу, и уносит во внутренние покои, крича мне на бегу:

— Je vais vous servir! <sup>4</sup> Я сейчас вам вина...

Проводив его мысленным проклятием, я с досадой опускаюсь на диван, брезгливым взглядом окидываю стену, увешанную грошевой пачкотней в позолоченных рамах, изображающей преимущественно одевающихся, раздевающихся и купающихся дам и заходящие и восходящие солнца над неаполитанскими, генуэзскими, мексиканскими и другими заливами, шкафчики, этажерки и столики, фарфоровые куколки и деревянные фигурки, птичьи чучела и вдруг подскакиваю: у стола в кресле примощено, наподобие читающего человека, какое-то пугало, сделанное из разного тряпья и обернутое в знакомый мне малиновый халат, в котором проприетер по утрам поливает цветы в саду и нарезывает букеты для отсылки соседкам.

«Кажется, мой Генрих IV окончательно спятил! — говорю я себе, вставая и подходя поближе к тряпичному чучелу.— К чему он смастерил это пугало и поместил против

---

<sup>1</sup> Садитесь, прошу вас, садитесь... Снимите ваше пальто... Позвольте... Позвольте... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Но снимите же ваше пальто! (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Снимите же!... Снимите же! Позвольте, прошу вас!.. Снимите же! (франц.) Ред.

<sup>4</sup> Я к вашим услугам! (франц.) Ред.

света? Очевидно, с тем умыслом, чтоб его видели со двора и принимали за проприетерскую особу? Он окончательно спятил, это несомненно! С ним, пожалуй, недалеко до беды! Куда он запропастился? Зачем унес мое пальто?»

— Павел Павлович! — кричу я, обертываясь в ту сторону, откуда в отдалении слышно какое-то движение.— Пожалуйста, не беспокойтесь и позвольте мне уйти,— завтра мы побеседуем.

— Вот сейчас нашел ключи... сейчас вам вина...— отвечает он, бесшумно, как старая ящерица, вбегая в своих спальных сапогах.— Вот сейчас, сейчас...

И вдруг как-то припрыдывает на месте, словно его стегнули по икрам крапивой, и принужденно смеется.

— Видели, видели? — спрашивает он, кивая острым, как шило, подбородком на тряпичное чучело.

— Видел, Павел Павлович,— отвечаю я, улыбаясь.

— И что ж, удивились? Очень удивились? Vous ne savez point à quoi vous en tenir? <sup>1</sup>

— Признаюсь, Павел Павлович, я ничего не понимаю...

— И не стоит, и не стоит! Cela ne vaut pas la peine! <sup>2</sup>

— Однако...

Вот я вам сейчас вина... сейчас...

Он кидается к одному из шкафчиков, отмыкает его, достает бутылку и какой-то фигурный серебристый кубок и наливает мне темной жидкости, от которой мгновенно распространяется кислый, ничуть не аппетитный запах.

— Вы напрасно беспокоитесь, Павел Павлович,— говорю я, нерешительно принимая фигурный кубок,— вы знаете, я страдаю головными болями, и всякое вино нехорошо на меня действует... Доктор строго запретил мне...

— Это вино вам не повредит: оно настоено на целебных специях.

— Но все-таки это вино, Павел Павлович! — пробую я защищаться.

— Не бойтесь, не бойтесь... Faites-moi plaisir... <sup>3</sup>

Делать нечего! Я проглатываю жидкость, которую можно причислить к напиткам, известным под названием:

---

<sup>1</sup> Вы не знаете, как к этому отнестись? (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Это не стоит труда! (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Доставьте мне удовольствие... (франц.) Ред.

«квасок — выверни глазок», и наотрез отказываюсь от второго кубка.

— Объясните же мне, Павел Павлович,— говорю я,— что такое случилось? Кого вы ловили? За кого меня приняли?

— Un malentendu... un malentendu des plus déplorables! <sup>1</sup>— отвечает он, ставя бутылку и кубок на место и замыкая шкафчик.

— Да кого ж вы ловили, Павел Павлович?

— Вора-с! — отвечает он с внезапно прорвавшейся злобой.

— Какого вора?

— Вора-с, который крадет у меня цветы и ягоды!.. Который уничтожает у меня плоды в зародыше! Который осмеливается даже проникать в мою оранжерею и портить там персиковые деревья!

На углах его тонких серых губ сердечком показывается пена.

— И что ж, вы кого-нибудь подозреваете? — спрашиваю я.

— Я подозреваю многих-с,— отвечает он с таким язвительным ударением на слове многих, что мне приходит в голову, уж не подозревает ли полоумный старикашка и меня в том числе.

— Как же вы до сих пор не открыли виновного? — говорю я.— Давно продолжают эти похищения?

— С начала лета-с...

— И вор так ловок, что до сих пор вы не могли его захватить? Даже узнать не могли?

— Не мог... но я его узнаю-с! Vous pouvez en être sûr et certain! Я его узнаю-с! Эта кукла мне более не нужна (он подскакивает к тряпичному болвану, растерзывает его и кидает тряпье и палки на пол). Я приму другие, более действительные меры! Да-с, меры более действительные! Je mettrai la main sur lui, sans, qu'il s'en doute! Я подстерегу иначе! Je vous en donne ma parole de gentilhomme! <sup>2</sup>

Он улыбается, но пена уж чуть не брызжет с его губ.

— Вы напрасно разорили этого болвана,— говорю я,

---

<sup>1</sup> Недоразумение... одно из самых плачевных недоразумений! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Можете быть в этом совершенно уверены!.. Я его поймаю на месте, тогда, когда он и подозревать не будет!.. Даю вам в этом слово дворянина! (франц.) Ред.

указывая на разметанные по полу рогульки и тряпки,— он мог отлично обмануть вора, если бы вор захотел узнать, не подстерегаете ли вы его в какой-нибудь засаде в саду... Глядя со двора сквозь штору, нельзя заподозрить, что это не живой человек сидит... Я, проходя мимо, принял, что это сидите вы...

— Проходя? — подпрыгивает он. — Откуда проходя? Откуда проходя?

— Я возвращался от Елены Дмитриевны Чудовой, — произношу я с некоторой запинкой; весь проведенный там вечер воскресает в моей памяти, и я вспыхиваю от этого воспоминания.

— А! Так это вы возвращались от Чудовой, когда я принял вас... *Mille pardons!.. Je suis au désespoir...*<sup>1</sup>

— Да, от Чудовой, — отвечаю я спокойнее.

— От Чудовой? — повторяет он.

— Да, да! — отвечаю я, вдруг теряя терпение. — Однако уж поздно... Позвольте с вами проститься, Павел Павлович...

— *C'est étrange pourtant! Très étrange!*<sup>2</sup> — бормочет он. — Очень, очень странно!

— Что странно, Павел Павлович?

— *Je vous crois au logis...*<sup>3</sup> Я был уверен, что вы дома.

— Почему вы были уверены, Павел Павлович? — спрашиваю я, все более и более раздражаясь его ужимками.

— *En me promenant, j'ai cru apercevoir de la lumière chez vous...*<sup>4</sup> Окно ваше, казалось мне, было освещено...

Он впиается в меня, точно ожидает уловить смущение на моем лице.

— Вы, по всей вероятности, ошиблись, Павел Павлович, — отвечаю я.

— Но, может быть, прислуга распорядилась осветить ваш кабинет? — улыбается назойливая тварь, как бы давая мне этим предположением возможность выпутаться из беды и схоронить концы какого-то проступка.

— Прислуга никогда не освещает кабинета без моего распоряжения, — отвечаю я холодно, — вы просто ошиблись...

<sup>1</sup> Тысяча извинений... Я в отчаянии... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Однако это странно! Очень странно! (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Я думал, что вы дома... (франц.) Ред.

<sup>4</sup> Прогуливаясь, я заметил у вас свет... (франц.) Ред.

— Весьма может быть, весьма может быть... Ах, извините великодушно... Я сейчас...

Он летит в темную залу, через несколько секунд возвращается оттуда с красным шелковым носовым платком в руке и, улыбаясь, поясняет:

— Забыл платок.

— Мое почтение, Павел Павлович,— говорю я.

— Мое почтение, Андриан Андреевич, мое почтение... Mille pardons... Croyez en mes regrets les plus sincères... Etes vous bien sûr qu'il n'y avait pas de lumière chez vous? <sup>1</sup> Вы можете это утверждать?

— Конечно, могу,— отвечаю я, не скрывая более досады,— но я не понимаю, Павел Павлович, почему этот вопрос так вас занимает!

— Не особенно... не особенно... Une fantaisie, voilà tout... Je vais vous reconduire, n'est-ce pas? <sup>2</sup>

— Помилуйте, Павел Павлович, зачем же вам беспокоиться?

— Нет, нет, я вас провожу... Я непременно вас провожу... Вы ищете ваше пальто? Le voilà! Le voilà! <sup>3</sup>

Он снова юркает в темные двери и выносит мне пальто, надевая которое, я замечаю, что один боковой карман вывернут наизнанку, и поправляю его.

Эта, по-видимому, простая вещь заставляет старого юрода заплясать на месте.

— Cette mode des grandes poches est très commode,— бормочет он,— oui, très commode... J'aime les poches, quand elles sont bien amples <sup>4</sup>.

— Мое почтение, Павел Павлович,— говорю я, направляясь к дверям.

Он подбирает свой зеленый шушун и бежит за мною.

— Quelle belle nuit, n'est-ce pas! Propice aux amoureux, comme aux voleurs, eh? <sup>5</sup> — хихикает он.

— А знаете, что мне приходит в голову? — говорю, не

---

<sup>1</sup> Тысяча извинений. Поверьте моим самым искренним сожалениям... Вы вполне уверены, что у вас не было света? (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Фантазия, вот и все... Я вас провожу, не правда ли? (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Вот оно! Вот! (франц.) Ред.

<sup>4</sup> Эти модные большие карманы очень удобны, да, очень удобны... я люблю карманы, которые очень просторны (франц.). Ред.

<sup>5</sup> Какая прекрасная ночь, не правда ли? Благоприятная для влюбленных, как и для воров, э? (франц.) Ред.

без удовольствия приготавливаясь щелкнуть наглый, не отстающий от меня старый репей.

— Что такое? Что такое?

— А то, что в ваш сад прокрадывается не вор, а влюбленный.

— *Quelle idée!*<sup>1</sup> — вскрикивает он и умолкает.

Я тоже ничего больше не прибавляю к высказанному мною предположению.

Минуты две-три мы безмолвно шагаем по дорожке к моему павильону.

— *Quelle idée!* — повторяет он, в волнении распахивая и запахивая свой зеленый шушун. — Вы шутите! *N'est ce pas? Avouez, que c'est une idée baroque!*<sup>2</sup>

— Я не выдаю свою мысль за верную, — отвечаю я, — но и не шучу: отчего же непременно вор, а не влюбленный?

— *C'est une idée baroque, je vous dis!*<sup>3</sup> Какой тут влюбленный, откуда? Влюбленный, который обрывает ягоды!

— Отчего ж влюбленному не обрывать ягод, Павел Павлович? — возражаю я. — Он может этим заниматься, чтобы сократить томительное время ожидания... Ведь есть люди, которые, даже в минуты сильнейших душевных движений, не забывают пользоваться всеми удобствами, какие попадают под руку... Наконец, влюбленный может еще обрывать ваши ягоды и из расчета отвратить подозрение.

— Но в кого же у меня влюбиться? *Pensez un peu!*<sup>4</sup> Не в кого, решительно не в кого!.. Ну, в кого же?

— А уж этого я не знаю, Павел Павлович.

— Но предполагаете? *Vous supposez que... Vous croyez... Vous avez quelques soupçons?*<sup>5</sup>

— Я решительно ничего не предполагаю и никого не подозреваю, Павел Павлович, — отвечаю я, начиная опасаться, как бы легкомысленными словами не навлечь неприятностей Габриэли д'Эстре, и в то же время невольно потешаясь тревожением уездного Генриха IV, — притом

---

<sup>1</sup> Что за мысль! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Что за идея!.. Не правда ли? Признайтесь, что это очень странная мысль! (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Это странная мысль, говорю вам! (франц.) Ред.

<sup>4</sup> Подумайте хоть немного! (франц.) Ред.

<sup>5</sup> Вы предполагаете, что... Вы думаете... У вас есть какие-нибудь подозрения? (франц.) Ред.

же я того мнения, что тайны чужих чувств должны быть неприкосновенны...

— Non, non, c'est impossible! <sup>1</sup>— бормочет он и опять распахивает, запахивает, дергает вверх и вниз свой зеленый шушун.

Я не могу удержаться от злостного подшучивания и вздыхаю.

— Все возможно, Павел Павлович!

Он подпрыдывает, словно наступил на ежа, но ничего не возражает.

Несколько минут мы снова идем в безмолвии.

Вдруг он взвизгивает:

— Посмотрите! Посмотрите! Освещено!

Я поднимаю голову в указанном направлении и не без удивления вижу сквозь сеть ветвей свет в окне павильона.

— Eh bien? Eh bien? — начинает он лепетать.— Avez-je raison? <sup>2</sup> Видите?

— Да, вижу, и очень удивлен,— отвечаю я.

— C'est bien drôle, n'est ce pas? <sup>3</sup> Как же это вы объясняете?

— Небывалым капризом моей Авдотьи Степановны,— отвечаю я.

— Elle a donc des caprices, votre <sup>4</sup> Авдотья Степановна? — хихикает он.

— Comme tous les vieux fous <sup>5</sup>,— отвечаю я.— Мое почтение, Павел Павлович! Чрезвычайно признателен вам за любезную компанию...

И, оставив глупого филина у крыльца, я проворно взбираюсь по лесенке во второй этаж, готовый осыпать градом упреков бесшабашную Авдотью Степановну... Что за безобразие: то наклеит бисквитных коробочек из моего дневника, то распоряжается у меня, как в кухне... Порывисто распахиваю дверь моего кабинета и столбенею на пороге, как перед головой Медузы...

В моем кресле, облокотившись на письменный стол и подперев руками кудрявую голову, сидел Григорий Иванов, погруженный в чтение!

---

<sup>1</sup> Нет, нет, это невозможно! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Ну что? Ну что? Не прав ли я был? (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Это очень забавно, не правда ли? (франц.) Ред.

<sup>4</sup> У нее есть капризы, у вашей... (франц.) Ред.

<sup>5</sup> Как у всех старых сумасбродов (франц.) Ред.

## Х

Il n'est pas dit qu'en temps et lieu  
il ne soit permis de nous prévaloir de  
la sottise de nos ennemis, comme nous  
faisons de leur lâcheté.

*Michel de Montaigne*<sup>1</sup>

При моем появлении Григорий Иванов спокойно принимает лицо и говорит с улыбкой:

— А что, не ожидали меня?

— Признаюсь, не ожидал... — лепечу я. — Никак не ожидал... но очень рад... очень рад...

— А я подумал: зачем откладывать до завтра благое дело? — продолжал он. — Пойду-ка сегодня же! Да прямо из Чудовки и повернул сюда.

— Конечно, конечно! И прекрасно сделали! И прекрасно сделали! — восклицаю я развязно. — Я очень рад... Не хотите ли чаю? Я сейчас разбуду свою Авдотью Степановну.

— Нет, не будите, не надо: мне не хочется чаю...

— Так папирос не хотите ли? У меня отличные.

— Пожалуй, давайте, — соглашается он, берет папиросу и закуривает.

Я следуя его примеру, но так порывисто, что спаливаю себе правую бровь на свече и, улыбаясь, спрашиваю:

— Как это моя Авдотья Степановна пропустила вас сюда? Ведь она у меня настоящий дракон!.. И на каждого гостя, являющегося в мое отсутствие, смотрит, как на своего лютейшего врага...

— Ничего, — отвечает он, — сначала поломалась, а потом пропустила...

— А знаете, Григорий Петрович, я все-таки велю поставить самовар, — говорю я, — да, велю... Мне хочется чаю... Вот я сейчас распоряжусь...

Я лечу вниз по лесенке, врываюсь в кухню, где Авдо-

---

<sup>1</sup> Нельзя оспаривать нашего права при известных условиях времени и места пользоваться своим превосходством над глупостью наших врагов, как мы законно пользуемся своим превосходством над их подлостью.

тя Степановна спит, как сурок, бужу ее энергическим встряхиванием за плечи, приказываю как возможно скорее поставить самовар, снова выскакиваю на лесенку и тут в смятении оглядываюсь, как бы ожидая, не выищется ли откуда-нибудь какая помощь... Но смятение мое продолжается недолго. Я вдруг овладеваю собой, усмехаюсь, пожимаю плечами и медленными, решительными шагами начинаю взбираться обратно по лесенке.

Чего это я всполошился? Чем скорее, тем лучше! Я могу только радоваться... Я мог ребячиться, замечтавшись над струями ручья, но теперь, когда я лицом к лицу с вредоносным мальчишкой, ребячеству уже нет места! Нет, нет! Теперь все мои сомнения, все мои колебания исчезли, как меловая надпись на доске, по которой махнули влажной губкой... И в эту минуту я даже не понимаю, как могли у меня явиться какие-нибудь сомнения, какие-нибудь колебания! Да будь моя воля и сила, я бы сейчас же с величайшим наслаждением засадил этого легкомысленного зверька в железную клетку!.. А, Григорий Иванов! Вы поспешили ко мне пожаловать! Милости просим! Вы вломились ко мне а'la Марк Волохов<sup>1</sup> (что значит великий-то талант: несколько мастерских штрихов и все эти жалкие герошки заклеямы навеки),— прекрасно! Милости просим, милости просим!

Я решительными шагами поднимаюсь на лесенку и вхожу в кабинет.

Сердце мое тревожно бьется, но это уже не мучительная тревога недоумевающего, колеблющегося человека, а тревога охотника, запопавшего желанного зверя и соображающего впопыхах, как всего удобнее с ним расправиться.

— Ну, чай сейчас будет,— говорю я и сажусь против Григория Иванова,— а в ожидании мы можем побеседовать... Что скажете хорошенького, Григорий Петрович?

(Я считаю за самое лучшее принять тон беззаботный и небрежный).

— Да я больше за тем и поспешил к вам, чтобы сказать «хорошенькое»,— отвечает Григорий Иванов.

— А! — протягиваю я, смахивая ногтем мизинца пепел с папиросы.

---

<sup>1</sup> Подобно Марку Волохову. *Ред.*

— Дело, видите, в том, чтобы выручить из беды несчастного беспомощного человека,— продолжает Григорий Иванов.

(Ну, так и есть! Сейчас какая-нибудь бессмысленная конспирация или какие-нибудь несчастные беспомощные люди! И сейчас с волоховскою бесцеремонностью в ваш карман! Это тот же тип, мастерски очерченный талантливим художником, тот же Марк Волохов, только modifié<sup>1</sup>...)

— Несчастливого и беспомощного человека? — повторяю я, взглянув в глаза своему собеседнику.

— Да.

— Что же для этого надо? Денег?

Последнее слово вырывается у меня невольно; я пугаюсь, не выдал ли себя как-нибудь интонацией, и спешу прибавить с жаром:

— Что ж, я очень рад... Нужны деньги? Я с величайшей готовностью... Всякий, у кого есть лишний грош, обязан поделиться с теми, у кого его нет... Я...

— Деньги уже у нас имеются,— перебивает меня Григорий Иванов.

— Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, Григорий Петрович... Я очень рад... Пожалуйста, не стесняйтесь...— настаиваю я.

— Чего ж бы я стал стесняться,— отвечает Григорий Иванов,— говорю вам: деньги уже есть. Вот они!

Он вынимает из кармана шаровар истрепанную записную книжку, открывает ее и показывает в боковом мешочке пук ассигнаций, рублей около ста, сколько я могу заключить по виду.

— Если деньги не нужны, то что же я могу сделать для этого беспомощного человека? — спрашиваю я, предвидя впереди вещи несравненно более неприятные, чем денежное пожертвование, и мною овладевает смутное опасение чего-то весьма хлопотливого и могущего иметь самые нежелательные для меня последствия.— Как я могу оказать ему помощь?

— Придется, видите, увозить.

Если б я не сдержал себя, я бы подпрыгнул до потолка.

— Увозить? — повторяю я.— То есть как же это увозить? Вы подразумеваете: увозить тайно?

---

<sup>1</sup> Видоизмененный (франц.). Ред.

— Уж, конечно, не явно,— отвечает беспардонный разбойник.

— Кого же это, Григорий Петрович, надо увозить? Кто этот беспомощный человек?.. Ведь вы мне его еще не назвали,— говорю я, напрягая все свои силы, чтобы казаться спокойным.— Я никогда не видал этого человека? Не слышал о нем?

— Видели...

— Видел? — перебиваю я с трепетом, который тшусь замаскировать улыбкой.— Значит, человек знакомый. Назовите его... назовите...

— Вы ведь знаете, что моя тетка Бусова морит медленной смертью больную девочку?

— Нет, не знаю,— отвечаю я.

(В моей памяти мгновенно воскресают изможденное личико и тоненькие, как соломинки, пальчики, быстро перебирающие вязальными спицами... Боги! Неужто он вздумал увозить эту девочку?)

— Как не знаете? — возражает Григорий Иванов.— Вы ведь ее видели, вы ведь говорили с ней, дали денег...

— Я точно видал какую-то девочку, которая мне показалась очень болезненной,— отвечаю я,— и точно сказал с ней несколько слов... Она вам передала наш разговор?

— Да.

И тут он! Последние колебания, если у меня еще они оставались, исчезают; я весь — жажда посрамить, уничтожить, стереть с земли безмозглого Дон-Кихотишку!

— Так вы думаете увозить эту девочку? — спрашиваю я.

— Да, придется увезти,— отвечает мне юное гнездилище всех сумасбродств,— лучше ничего не придумаешь.

— Извините, Григорий Петрович, но, мне кажется, вы избрали самое неудобоисполнимое средство выручить девочку из беды.

— Отчего неудобоисполнимое? Ведь вы же сами говорили Марфуше, что ей нечего тут сидеть, что ей лучше ехать.

— Я?! Марфуше?! Какой Марфуше?!

— Девочку Марфушей зовут...

— Ах, да, да... Я это говорил ей?.. Ах, да, да... Я говорил, но не то... не совсем то...

Творец миров! Что за чашу ты мне посылаешь!

— Я, признаюсь, тогда подумал: потешился барин болтовней, сказал полдесятка жалких слов, дал рублевик мелочью да и был таков!.. Кто же вас знал! На вид вы со всем здешним зверьем в больших ладах, я так и посчитал, что вы одного с ним поля ягода. Кто же вас знал! Не намеки вы мне на Решеткинскую историю, я бы до сих пор считал вас дрянью!

Решеткинская история? Что за Решеткинская история? Может, тут дело о краже со взломом? Может, еще хуже?

— Я, кажется, на Решеткинскую историю не намекал,— замечаю я с улыбкой.

— Как же! Вы почти прямо сказали!

— Что же я прямо сказал?

— А насчет того, что за непроницательность можно дорого поплатиться.

— А... Так вы решили увезти Марфушу?

— Да, и надо бы поскорее все это обработать,— отвечает безумный мальчишка так же спокойно, как будто речь идет о прогулке по своему собственному саду,— кабы завтра успеть...

— Завтра? — прерываю я.— Это невозможно!

— Отчего невозможно?

— Не успеем...

— Отчего не успеть? Успеем. Вы завтра, как начнет вечереть, ступайте к Бусовой.

— Я? К Бусовой?

— Да, и заговаривайте ей зубы, а я тем временем постараюсь через окно пробраться к Марфуше, возьму ее и к Головищу; там переправимся на лодке, а по ту сторону будет ждать Ольга Алексеевна в кабриолете.

— Ольга Алексеевна? Неужто она решится? — замечаю я с сомнением.

— Отчего же не решится? — отвечает он с горячностью.— Вы ее не знаете! Она славный человек.

— Это приятно слышать... значит, и кучер в заговоре?

— Нет, она приедет одна.

— Одна?

— Да, она вот уже несколько дней ездит одна кататься, приучает домашних.

— А!.. Прекрасно, прекрасно... Так это решено окончательно?

— Разумеется, окончательно! Вы только смотрите, уведите Бусову в огород или в рощу... или уж сидите с ней на балконе, чаю, что ли, попросите... Только бы обойти эту живоделку!

— А что, она разве имеет какие-нибудь подозрения?

— Насчет увоза-то подозрений не имеет, но если я попадусь ей на глаза, так она сейчас же уцепится за Марфушу.

— Как, если вы попадетесь ей на глаза, Григорий Петрович? Но ведь вы живете в ее доме?

— Жил, а теперь изгнан.

— Изгнаны? Но когда же?

— А в тот самый день, когда вы приезжали якобы покупать ягоды. Мы ведь теперь только сообразили, что вы прослышали про Марфушу и ездили смотреть, правда ли...

— Но за что же изгнаны?

— А вот за Марфушу.

— У вас, значит, было объяснение насчет Марфуши?

— Как же!

(Боги! Боги!)

— Скажите, Григорий Петрович, кто такая эта Марфуша? Откуда она? Есть ли у нее какие-нибудь родные?

— Она круглая сирота, что называется, без роду, без племени. Бусова получила ее в подарок от своей сестры, которая живет где-то в Курской губернии, в какой-то деревне Зубовке.

— Полноте! Теперь у нас подобных подарков нельзя делать!

— Значит, можно!

— Так или иначе, во всяком случае, Бусова, вероятно, имеет какую-нибудь бумагу... вид на жительство, выданный девочке из местной волости?

— Не знаю: вернее, что и бумаги никакой нет.

— Сколько девочке лет?

— Она сама хорошенько не знает. Должно быть, лет пятнадцать-шестнадцать, потому что она помнит пожар, который случился у сестры Бусовой.

— Помилуйте, Григорий Петрович, какие ей пятнадцать-шестнадцать лет. По росту и виду она совершенный ребенок.

— У нее рахитизм, обеднение крови, сухотка, чего хочешь, того просишь! Так уж тут какой же рост и вид.

— Но если девочка пришла к сознанию, что ей невыносимо у Бусовой, то ведь она сама может протестовать... обратиться к местным властям...

— Где ей протестовать! Она боится слово сказать, пошевелиться боится!

— Однако, если она пришла к сознанию, ей легко внушить, что бояться нечего. Среди местных властей есть люди, которые...

— Которые что? — с горечью прерывает меня Григорий Иванов.

— Которые горячо заступятся... которые не допустят несправедливостей, притеснений...

— Где же это вы видали таких заступников?

— Да вот Феофил Николаевич Богатырев... Это человек, который...

— Был я у него, у этого человека, который!..

— Были?

— Был вчера.

— Ну, и что же? Вы говорили с ним об этом деле?

— Говорил.

— И что же он?

— Перепугался и умыл руки.

— Неужели?

— «Положительных,— говорит,— улики не имеется, ясных доказательств притеснения нет!» А работа с утра до вечера,— говорю ему,— одиночное заключение в комнате почти по двенадцати часов в сутки — не улики, не доказательство? — «Конечно,— говорит,— это тяжело, но это еще не истязания,— возьмите наши фабрики, какая там работа!» Еще расчувствовался: «Как это грустно, что так плачевны условия, в которые поставлен бедный человек, но что же делать? Будем надеяться на светлое будущее, а я ничего не могу. Подними я бездоказательное дело, так я только лишу себя возможности приносить пользу, служа обществу; кроме того, у меня семейство, на мне лежат обязанности относительно моего семейства». И пошел на тему: «Жена, дети! Дрова, свечи!» Потом принялся было давать мне отеческие советы: «Поберегите,— дескать,— себя, молодой человек, впереди вам предстоит еще много доброго, быть может, даже великого совершить. Утешьтесь этим. Конечно, грустно за эту девочку, но таков закон жизни,

что все не могут быть благополучны, что непременно кто-нибудь где-нибудь да страдает. Успокойтесь,— говорит,— молодой человек, и выпьем кофейку!..»

Он передает это с сардонической усмешкою, развалился в кресле и пуская кольца папиросного дыма, но при последних словах вдруг бледнеет, как платок, швыряет папироску, встает и начинает ходить.

Я слежу за ним глазами и начинаю сомневаться в возможности благополучно с ним развязаться: человек, который внезапно бледнеет от бешенства при воспоминании о том, что ему поперечили, и который при этом не признает никаких резонов, кроме своих, небезопасен и, того гляди, введет в беду.

— Так что же, согласны вы завтра? — спрашивает он, останавливаясь и обращая на меня свои сверкающие буркалы, как будто увлажненные.

— Согласен,— отвечаю я,— но...

— Что «но»?

— Пожалуйста, Григорий Петрович, вы не примите, что я желаю только отделаться, как Богатырев,— говорю я,— нет, вовсе нет!.. Я, повторяю, на все согласен, но не лучше ли попробовать устроить дело иначе?

— Как же иначе?

— Обратившись, например, через посредство вашего дяди к Бусовой и дав ей понять, какие неприятные последствия могут иметь ее притеснения. Ведь дядя ваш, кажется, добрый человек?

(Я говорю эту чепуху, чтобы выгадать время и собраться сколько-нибудь с мыслями):

— Не брыкается: животное домашнее и выдрессированное!

— И так как Бусова, я слышал, до безумия влюблена в мужа, то его слова...

— Влюблена, но за супротивные слова сажает в темный чулан.

— Вы шутите?

— Я не шучу.

— А как вы думаете, меня Бусова не выслушает? Я не могу на нее подействовать?

— Об этом и думать не стоит. Бесполезно возиться с этою живодеркой. Гораздо проще увезти. Так что ж, завтра?

— Ольга Алексеевна, говорите вы, будет вас ждать по ту сторону в кабриолете?

— Да, я ее сегодня же уведомяю.

(Сегодня! Во втором часу пополудни).

— Хорошо. А потом?

— А потом прямо на станцию и в Петербург.

— И Ольга Алексеевна?

— Нет, у нее еще есть тут дела, она после приедет.

— Прекрасно... прекрасно... только не завтра, Григорий Петрович, завтра я никак не могу... У меня есть дело не менее важное, могу вас в том уверить... Дело, от которого зависит многое... очень многое... не мое дело, не личное... не частное...

— По Решеткинской истории?

— Да... оно имеет некоторое отношение и к Решеткинской истории... А вот через два дня я свободен... и вот тогда... Если бы не такое дело, безотлагательное, понимаете? Так я бы ни минуты не колебался... Вы в этом, надеюсь, не сомневаетесь?.. Два дня не бог знает что такое... а между тем это даст нам время лучше обдумать наше предприятие... Так через два дня?

— Обдумывать нечего, но коли нельзя раньше, так через два дня,— отвечает он.— А пока прощайте.

— Вы уже уходите? А сейчас самовар... Слышите, Авдотья Степановна уже чашками гремит на лестнице?

— Нет, уж прощайте.

— Вы... домой?

— Домой.

— А Ольгу Алексеевну не уведомите?

— О чем же уведомлять-то? Коли дело отложено на два дня, так я еще успею.

— Правда, правда... А где же вы теперь живете?

— Там же, в Благодатном.

— Но ведь вы говорили, что изгнаны?

— Изгнан только из апартаментов, с дозволением помещаться в старой бане.

— Где же эта старая баня?

— Как раз за садом.

— Если бы мне понадобилось вас видеть, то можно пройти в эту баню каким-нибудь таким путем, чтобы никому не попасться на глаза?.. Иначе ведь рискуешь возбудить подозрение... а это значит, рискуешь погубить дело...

— Пройдите к Головищу и там переправьтесь, а потом зайдете от лесу, будет проулок к саду; в конце этого проулка и баня. Прощайте.

— До свидания, Григорий Петрович, до свидания... Я вам посвечу...

— Не надо.

— Нет, лесенка неисправна у меня...

Я схватываю свечу и гляжу, как он, не оглядываясь, спускается вниз и исчезает во мраке сада, затем возвращаюсь в кабинет.

Силы небесные! Что же это такое? Что выйдет из всего этого невероятного сумбура? Чем окончится все это неслыханное безумие? Что предпринять? Не бежать ли самому отсюда? Непредвиденные обстоятельства зовут... ну, хоть в Крым, например,— и конец! И избавлюсь я от всех переполохов и треволений!

Но нет! Я не могу, не должен бросать бедную Ольгу на жертву этому дикому человеку... Что ж делать? Что предпринять?

Мысли мучительно роятся у меня в голове; планы воздвигаются и валяются, как карточные домики; перед моим умственным взором мелькают образы то Елены Дмитриевны Чудовой, то Капитолины Ивановны Бусовой, то исправника Таранельки, седого маленького отставного майора с большою головою, с черными, точно под лак, глазами и усами, в тугом мундире, застегнутом доверху, в блестящих лаковых сапожках, как я его видел на именинном обеде у Зверевых, и каждый из этих образов словно манит к себе... особенно образ исправника Таранельки; он точно манит меня, точно говорит: «Желаю отличиться! Рад отличиться! Могу быстро и ловко»... Но нет, это не годится... Исправник Таранелька... Да и что ж бы это такое было? Нечто вроде доноса! Создатель! У меня ум за разум заходит!

Что ж, неужто увозить эту девочку Марфушу? Ведь это черт знает чем пахнет! И зачем, спрашивается, он помчит эту горемычную девчонку в Петербург?

Но, умчав Марфушу, он и сам умчится... Ольга, говорит, еще должна остаться с месяц здесь (таково распоряжается Григорий Иванов) и кто знает... Да пусть его себе мчится в Петербург с Марфушей, это самый лучший для меня исход... Не мешать мне этому следует, а помогать! Да, помогать... Действуя осмотрительно, я не на-

влеку на себя никакого подозрения в участии... Но если Григорий Иванов проболтается?.. Что ж такое, пусть проболтается: я усмехнусь и пожму плечами... Репутация моя здесь установилась. Напрасно я отложил увоз на два дня! Завтра же пойду в старую баню и предложу ему поспешить.

Появление Авдотьи Степановны с чайным прибором прерывает мои смятенные размышления.

— Не надо, не надо, Авдотья Степановна,— говорю я, махая рукой.

— Как не надо? — возражает Авдотья Степановна.— Ведь приказали...

— Да, да... а теперь не надо, не хочу... Уберите все это и ложитесь спать. У меня голова разболелась.

— Так как же? Так и не будете пить? — пристает глупая старуха.

— Нет, нет и нет! — отвечаю я резко.

— Кабы знала, не дула бы целый час,— ворчит она, убирая чашки.

Эта претензия меня взрывает, и я еще резче вскрикиваю:

— Велика беда, что вы дули! Что вам от того сделалось? Бывают и не такие неприятности с людьми, да они и не ворчат!

— Да что ж вы, Андриан Андреевич, чего вы? — с изумлением глядя на меня, допрашивает несносная женщина.— Ведь я только так сказала... Я не то, чтобы...

Ее прерывают пронзительные визги из сада.

Мы оба вздрагиваем и бросаемся к окну: я его распахиваю настежь, но ничего не вижу, кроме неподвижных темных садовых кущ, кидаюсь вниз по лесенке и через три секунды, запыхавшись, останавливаюсь на месте действия, на лужайке около крытой аллейки, где недавно вцепился в меня, приняв за вора, мой проприетер.

— Что такое, что такое? — восклицаю я, оглядываясь по сторонам.

— Царица небесная! Что за беда? — восклицает Авдотья Степановна, подбегая вслед за мной.

Проприетер мой лежит закинутый среди кустов роз и пионов, как смятая картонная коробка, и, задыхаясь от бешенства, что-то бессвязно лепечет; вправо, по дорожке к выходу из сада, слышны спокойно удаляющиеся твердые шаги.

— Что такое, Павел Павлович? — повторяю я, подходя к нему и желая помочь ему привстать. — Что с вами случилось?

— Ничего, ничего! — отвечает он, приподнимаясь, схватывая дубинку, откатившуюся в сторону и запахивая свой шушун. — Oh, rien du tout! Ничего, кроме разбоя в собственном саду! По вашим новым законам ведь это допускается? Vos juges de paix admettent ce procédé! Nous verrons, nous verrons!..<sup>1</sup>

Он захлебывается. Авдотья Степановна ахает и зовет к Николаю-чудотворцу.

— Вы опять ошиблись, Павел Павлович, — начинаю я, — приняв за вора...

— Я ошибся, а? Я ошибся!

Он хочет захохотать, но только взвизгивает и начинает судорожно икать.

— Согласитесь, Павел Павлович, что вцепляться в людей, принимая их, без всяких оснований, за грабителей...

— Très bien, très bien!..<sup>2</sup>

— Что это еще такое, господи боже мой! — восклицает Митродора, выбегая на лужайку в наскоро накинутах одеждах.

При виде Митродоры проприетером овладевает дикая ярость.

— Ты зачем сюда? — вскрикивает он, подступая к ней. — Зачем, зачем, а? Прочь! Домой! Сию минуту!

Он замахивается на нее дубинкой, но трясущаяся от бешенства рука не в силах управлять тяжелым орудием: дубинка вырывается, летит назад и чуть не опрокидывает его самого.

Митродора с глухими проклятиями спешит скрыться.

— Павел Павлович!... — говорю я.

— Je vous salue, je vous salue! — прерывает он. — До свиданья-с! Nous nous reverrons, nous nous reverrons!<sup>3</sup> И старый шут, шатаясь и спотыкаясь, бежит к своему балкону.

---

<sup>1</sup> О, ничего!.. Ваши мировые судьи допускают этот образ действия! Увидим, увидим!.. (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Очень хорошо, очень хорошо!.. (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Приветствую вас, приветствую вас!.. Мы еще увидимся, мы увидимся... (франц.) Ред.



глаз обнять и пронзить, как буравцом, и меня, и всякую щелочку в моем обиталище.

— Да, дорогая Анна Павловна, бессонница, несносная бессонница. Вот уже скоро два года, как я не могу от нее избавиться...

— Бедненький, бедненький! Вы бы попробовали принимать на ночь валерьяновые капли... Мне помогает... Ах, знаю я эту бессонницу!.. Я вам сегодня же пришлю этих капель, голубчик...

— Чрезвычайно вам благодарен, дорогая Анна Павловна...

— Полноте, полноте, недобрый! Вы все со мной церемонитесь, как чужой... Грех вам!.. А я вчера смотрю, вас уже нет. Спрашиваю у Ольги, где вы. Ушел домой, говорит. Я на нее ужасно напала, зачем она вас отпустила больного пешком...

— Ведь тут так близко... Не что иное, как приятная прогулка...

— Да уж я знаю, какой вы терпеливый, голубчик! *Vous avez, je crois, le courage, de vous brûler à petit feu...*<sup>1</sup> Я уверена, что вы вчера ужасно утомились... Ночь была такая душная!

— Напротив, дорогая Анна Павловна, эта прогулка была мне очень приятна... и полезна... значительно облегчила мою головную боль... Я после нее почувствовал себя гораздо бодрее... несравненно бодрее...

— И поэтому, милый, мучились целую ночь бессонницей? — улыбается она с милой шутливостью.

— Но, дорогая Анна Павловна, мою бессонницу ведь можно назвать хронической, — возражаю я, не выказывая смущения, — и от нее сразу не излечишься... даже при самых благоприятных условиях спокойной деревенской жизни, какую я теперь наслаждаюсь...

— Правда, правда, милый: расстроить здоровье легко, а воротить трудно... А что, вы по-прежнему довольны своим укромненьким уголком?

— О, совершенно доволен!

— Ну, и слава богу, милый... Слава богу... У вас тут в самом деле премило! *Un petit ermitage*<sup>2</sup>... Вы совсем

---

<sup>1</sup> Я уверена, что вы способны гореть на медленном огне... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Одинокий сельский домик... (франц.) Ред.

скрыты между деревьями, утопаете в зелени... и как сюда доносится запах роз из цветников!

Ее глаза словно отдыхают на колыхающейся листве садовых деревьев, остренький носик с отрадою нюхает воздух, улавливая струи аромата, доносящегося с цветников роз, и она, по-видимому, совершенно предана чистому наслаждению прекрасным утром, но какой-то тайный голос нашептывает мне, что с моей стороны всего благоразумнее будет сейчас же поверить ей и вчерашнюю неожиданную сцену с Павлом Павловичем, и посещение Григория Иванова... разумеется, процензуровав, как следует, последнее...

— А знаете, дорогая Анна Павловна,— начинаю я, улыбаясь,— какие вчера со мной были происшествия!

— Что, милый?.. Простите, я задумалась... Вспомнилось прошлое...

И глаза ее так быстро и легко переполняются слезами, как будто кран от слезоема находится у нее в руках, спрятанный под черной шелковой митенкой, и ей стоит только его повернуть, чтобы наполнить какой угодно резервуар.

Я умолкаю и вздохом выражаю свое сочувствие к воспоминаниям о прошлом.

— Что вы хотели сказать, милый? — спрашивает она.

— Пустяки, дорогая Анна Павловна!

— Скажите, милый, скажите, меня все интересует, что до вас касается, вы это знаете...

— Но вы так грустно настроены, дорогая Анна Павловна...

— Ничего, ничего, голубчик... это пройдет. Рана моя, вы знаете, не заживает и никогда не заживет!.. Но ничего, ничего... говорите, милый, говорите!

Я еще колеблюсь, а пока происходит это колебание, она так же быстро и легко завертывает слезный кран, как перед тем его отвернула, платочком с вышитой короной в уголке уничтожает влагу на щеках и повторяет:

— Да говорите, милый, я вас слушаю. Ну, начинайте!

— Я хотел вам рассказать,— начинаю я,— что за удивительные приключения были со мной вчера...

И я ей рассказываю о нечаянном для меня нападении Павла Павловича, и, не желая пока идти далее, распространяюсь о тряпичном болване, о похитителе ягод и о вине, настоянном на целебных специях.

— Ах, голубчик,— вдруг прерывает она меня,— я уже

все это знаю. Я только не хотела вам об этом говорить, боялась, что это вас расстроит, огорчит...

— Знали? — невольно восклицаю я.— Но когда же вы узнали? От кого?

— Сегодня чем свет прибежала к нам Митродора в отчаянии, в слезах, и почти следом за ней явился и Поль, tout bouleversé, tout tremblant...<sup>1</sup> Не обращайтесь на это внимания, милый, и не расстраивайтесь... Я не хотела его слушать и прямо ему сказала, что он городит чепуху.... Не огорчайтесь же, милый, прошу вас...

— Я не огорчаюсь, дорогая Анна Павловна,— отвечаю я.— Чем же мне огорчаться? Я ведь тут совершенно постороннее лицо...

— Конечно, конечно, голубчик! Я-то в этом уверена..., уверена вполне... Но Поль ведь престранный. Il est fou!<sup>2</sup> Он бог знает в чем вас подозревает!

— Неужто в похищении ягод? — шучу я.

— Вообразите, голубчик, да! — восклицает она, всплескивая руками.

Этого я никак не ожидал и несколько ошеломлен.

— Не огорчайтесь только, милый,— начинает она убеждать,— стоит ли огорчаться из-за каких-нибудь нелепых бредней...

— Я не огорчаюсь, дорогая Анна Павловна,— отвечаю я с улыбкою,— но, признаюсь, удивлен... крайне удивлен...

— Еще бы вам не удивляться, голубчик! Я в такое негодование пришла, что и выразить не могу. Я прямо ему сказала: Mais vous êtes fou, Paul! Comment osez vous avancer ces horreurs?»<sup>3</sup> Я его чуть не выгнала, голубчик! Я так взволновалась, в такое пришла негодование!

— Помилуйте, дорогая Анна Павловна,— смеюсь я,— волноваться, приходите в негодование от подобных нелепиц! Подобными нелепицами можно только позабавиться!

— Ах, милый, не могу равнодушно слышать, когда осмеливаются чернить моих друзей. Cela est plus fort que moi!<sup>4</sup> Да еще чернить такого дорогого, милого, умного, не-

---

<sup>1</sup> Потрясенный, дрожащий... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Он сумасброд! (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Ты безумец, Поль! Как ты смеешь говорить эти ужасы? (франц.) Ред.

<sup>4</sup> Это сильнее меня! (франц.) Ред.

сравненного... Беденький вы мой! И тут вам нет покоя!  
И тут вас мучат!

Она схватывает меня ладонями за голову и в сердечном  
благородном увлечении целует в макушку, восклицая:

— Беденький, беденький! Никто вас не понимает!  
Oh, c'est affreux! C'est affreux! Pauvre, cher ami!<sup>1</sup>

В знак признательности за горячее участие я целую  
обе ее черные шелковые митенки, но во мне начинается поше-  
веливаться какое-то неприятное чувство.

— Успокойтесь, дорогая Анна Павловна! — говорю я  
тем спокойно авторитетным тоном и с тою ласковою само-  
уверенною улыбкою, какими отличается речь благоразум-  
ного человека, тронутого испугом любящего младенца и  
убеждающего, что его, благоразумного человека, волк  
не может съесть, как съел бабушку «Красной Шапоч-  
ки». — Меня подобные буффонады искренно забав-  
ляют!

— Нет, нет, милый, вы слишком добры, слишком тер-  
пеливы! Оттого вы и страдаете! Я не могу этого равно-  
душно переносить! Tenez, mes mains sont froides... И сердце  
ужасно бьется... Paul est mon frère, mais dans ce moment  
je l'abhorre...<sup>2</sup> Вы не знаете, он выдумал целую историю!  
И какую историю!..

— Целую историю? — улыбаюсь я по-прежнему.

— Да, да, милый, и какую историю! Oh je l'abhorre!

— Расскажите же, дорогая Анна Павловна, эту исто-  
рию: она, должно быть, прелюбопытная.

— Oh, cher ami, je n'ose pas! C'est une si vilaine his-  
toire!<sup>3</sup> Невероятные выдумки, милый!

— Чем невероятней, тем интересней, дорогая Анна  
Павловна, — настаиваю я, — я люблю игру фантазии...

— Vous l'exigez<sup>4</sup>, милый?

— Прошу вас...

— Но дайте мне слово, что сохраните в тайне все, что  
я вам скажу... Даете, милый?

— С удовольствием, дорогая Анна Павловна.

---

<sup>1</sup> О, это ужасно! Это ужасно! Бедный, дорогой друг! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Попробуйте, как холодны мои руки... Поль мой брат, но сейчас  
я его ненавижу... (франц.) Ред.

<sup>3</sup> О дорогой друг, я не смею! Это такая гадкая история!  
(франц.) Ред.

<sup>4</sup> Вы этого требуете... (франц.) Ред.

— Du reste il vaut peut être mieux que vous soyez averti...<sup>1</sup> Только вы, голубчик, не огорчайтесь!

— Помилуйте, Анна Павловна, разве возможно тут огорчаться!

— Вообразите, милый, он хочет писать к губернатору... знаете, вроде жалобы на вас... «Я,— начал меня уверять,— имею доказательства! Я представляю доказательства!»

— Ха-ха-ха!

— Vous êtes fou, Paul,— говорю я с негодованием,— какие доказательства, что за глупости! Taisez vous! C'est honteux! C'est vilain!<sup>2</sup> «У меня есть несомненные доказательства»,— твердит и показывает мне листик...

— Какой листик? Ха-ха-ха!

— Вишневый листик, голубчик... листик с вишневого деревца... Вообразите, милый, он клянется, будто нашел его у вас в кармане!

— У меня в кармане? Ха-ха-ха! Прелесть, прелесть!

— Ах, милый, il est si perfide! Он вас ведь нарочно звал к себе, и когда вы, бедный, ничего не подозревали, обыскал ваше пальто! C'est un monstre!<sup>3</sup>

(Я вдруг припоминаю, как полоумный старикашка убежал с моим пальто во внутренние покои и как завертелся, увидев, что я поправляю вывороченный карман, которого он впопыхах, вероятно, не успел привести в порядок после обыска).

— Ха-ха-ха! — прерываю я своего друга.— Я теперь припоминаю, что Павел Павлович чуть не со слезами молил меня снять пальто и убежал с ним... и потом, когда я уходил, я заметил, что карман у меня вывернут и что Павел Павлович как будто этим сконфузился. Но я тогда не обратил на это внимания... Кто же мог предполагать? Ха-ха-ха! Прелесть!

— Я тоже посмеялась, милый. Je lui dis: что ты можешь доказать своим вишневым листиком? Finissez vos bêtises. Начинает спорить, что у него есть еще другие доказательства... Что будто бы вы, милый, отводите ему глаза, что будто нарочно освещаете свой кабинет, чтобы обмануть его, будто вы дома... Потом уверяете, что у вас не было и нет света в окне... А он будто побежал в гостиную и уви-

<sup>1</sup> Впрочем, может быть, лучше, что вы будете предупреждены... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Ты безумец, Поль... Замолчи!.. Это бесчестно! Это гадко! (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Он так коварен!.. Это чудовище! (франц.) Ред.

дал, что у вас в окне свет... У него в гостиной есть где-то такой уголок, откуда видно ваше окно *et il s'est arrangé un observatoire dans ce coin*<sup>1</sup>.

— Припоминаю, припоминаю! — продолжаю я смеяться.— Так вот зачем он вдруг бросился в гостиную! Ха-ха-ха! Да это русский Видок!

— И потом будто он нарочно пошел вас провожать, чтобы еще раз уличить — *quelle petitesse!*<sup>2</sup> И будто уличил... будто вы не нашлись, что ответить, и начали все сваливать на кухарку, что она без вашего позволения осветила кабинет...

— Прелесть, прелесть!.. Ха-ха-ха!

— Я просто вся дрожала от негодования, милый. И знаете еще что выдумал?

— Не могу себе представить ничего выше слышанного, дорогая Анна Павловна, решительно не могу!

— Он уверяет, что вы... *que vous êtes amoureux de Митродора... que vous voulez la séduire...*<sup>3</sup>

Я перестаю смеяться, и меня вдруг взрывает.

— Однако, это уж слишком! — говорю я сдержанно, но невольно вспыхиваю от гнева.— Это уже переходит всякие пределы!

— *Oh, c'est ignoble!* — восклицает Анна Павловна.— Он воображает, что его Митродора сокровище. *Et cette créature vous accuse aussi*<sup>4</sup>.

— Как? — восклицаю я, привскакивая в кресле.— Она меня обвиняет? В чем?

— Прибежала к нашей Анфисе с рыданиями, с воплями — ведь наша Анфиса ей тетка...

— Но в чем же она меня обвиняет?

— Вы ей будто бы всегда кланяетесь... заговариваете... намекаете... Уж, право, не знаю, милый, я ведь, конечно, ее не расспрашивала... Будто она всегда оставалась к вам холодна, вы рассердились за эту холодность и наговорили Полю, что она променяла его на дьячка Савелья... *Un tas d'abominables mensonges, cher ami...*<sup>5</sup> Я не хочу вам пересказывать...

<sup>1</sup> Я ему говорю:... прекрати свои глупости... и он устроился наблюдателем в этом углу (*франц.*) Ред.

<sup>2</sup> Какая низость! (*франц.*) Ред.

<sup>3</sup> Что вы влюблены в Митродору... что вы хотите ее обольстить... (*франц.*) Ред.

<sup>4</sup> О, это гнусно!.. И эта тварь тоже вас обвиняет (*франц.*) Ред.

<sup>5</sup> Клубок омерзительной лжи, друг мой... (*франц.*) Ред.

Я чувствую, что последнее хладнокровие меня покидает; в ушах у меня начинается какой-то шум и звон, сердце принимается стучать.

— И вообразите, милый,— продолжает Анна Павловна,— до чего доходит безумие Поля: он теперь стережет каждый ваш шаг... Он везде расставил свою стражу... Кондрашка, крестник Митродоры, подстерегает вас по дороге в Чудовку, где-то в березняке, скотник Пахом по дороге к нам... садовник поставлен в кустах около Головищенского леса, а староста сидит во ржи, караулит, не вздумаете ли вы в город или к Краснопевцевым, или к Морошкину... Одним словом, милый, вас стерегут со всех сторон... сторожат каждый ваш шаг.

Мысленно благословляя проклинаемый перед тем сон, нечаянно помешавший мне отправиться на рассвете в старую баню к Григорию Иванову, я овладеваю своими чувствами и говорю Анне Павловне:

— Я полагаю, дорогая Анна Павловна, что мне следует пойти и объясниться с Павлом Павловичем.

— Что вы! Милый, что вы! Боже сохрани! — восклицает она с тревогой.— Ради бога не делайте этого!.. Умоляю вас, голубчик!.. И с какой стати вы пойдете с ним объясняться? Ведь он вам ничего не говорил. Он открыл это мне, как сестре, под секретом, и не люби я вас до такой степени, я бы вам ни за что на свете не сказала. Ради бога, милый! Вы ведь дали мне слово сохранить в тайне, что я вам скажу... *J'ai votre parole...*<sup>1</sup>

— Но, дорогая Анна Павловна,— возражаю я,— вы, надеюсь, сами захотите освободить меня от этого данного вам слова; вы понимаете, в каком... в каком странном положении я теперь очутился.

— Ах, все это уладится, милый, все уладится! — с жаром убеждает она.— Только вы не расстраивайтесь... Не показывайте виду, что вы что-нибудь подозреваете, что-нибудь знаете... я уломаю Поля... *Je saurai le ramener à la raison...*<sup>2</sup> Положитесь на меня, голубчик... только положитесь на меня, на вашего друга, который о вас больше думает и заботится, чем о самой себе...

— Однако, дорогая Анна Павловна...

— Положитесь на меня, милый,— прерывает она,— по-

---

<sup>1</sup> Вы дали мне слово... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Я его образумлю... (франц.) Ред.

ложитесь на меня! Я сегодня же пойду к Полю, сегодня же уломаю его... Не волнуйтесь, голубчик. Я сегодня же... Тс! Кто-то, кажется, идет к вам... Слышите?.. Je compte sur votre parole, cher ami... <sup>1</sup> Кто бы это?

Меня бросает в жар: уж не Григорий ли Иванов вздумал снова пожаловать? Интересная беседа приняла такое направление, что я мог совершенно естественно забыть о вчерашнем ночном госте, и Анна Павловна, если она уже провела и об этом приключении, не могла претендовать на меня за скрытность... А может быть, она еще и не провела: неизвестно, узнал ли старый полоумный селадон лицо, швырнувшее его в кусты... и вот теперь треклятый нахал явится, и еще новая скандальная история на шею!

— Не понимаю, кто может посетить меня в такую раннюю пору,— говорю я, поворачиваясь с тайным замираньем к дверям, между тем как вышеизложенные мысли проносятся в моей голове...

— Слышите? Спрашивают что-то у Авдотьи...— шепчет Анна Павловна, вытянув шею, подняв вверх тонкие бровки и сжав в ниточку губы,— поднимаются по лестнице... Je compte sur votre parole...

— Дома? Принимают? — раздается дружеский шуточный голос, и на пороге показывается генеральша Болотникова в белом капоте с буфами, в чепце с зелеными лентами, с палевым зонтиком в руках, разбухшая, покрасневшая под теплыми лучами утреннего солнца и вся усеянная, как блестками, капельками пота.

Никогда появление ее не было для меня приятнее!

— Ах, Серафима Павловна, как 'я вам благодарен! Как вы добры! — восклицаю я, вскакивая, пожимая ей руки и спеша подкатить кресло.— Садитесь, дорогая Серафима Павловна... Вы устали?.. Не прикажете ли воды с вишневым морсом? Вот, благодаря добрейшей Анне Павловне, у меня превосходный вишневый морс...

Я спешу прибавить благодарность Анне Павловне, потому что при появлении сестры по лицу ее как будто пробегае облако, а из глаз вылетает молнийка — и облако и молнийка, правда, мгновенно исчезают, и она приветствует прибывшую столь крепким сердечным объятием и поцелуем, что у той на массе, прикрытой белым капотом с буфами, и на пухлых губах на несколько секунд остаются,

---

<sup>1</sup> Я полагаюсь на ваше слово, дорогой друг... (франц.) Ред.

как на рыхлом тесте, углубления, но я уже достаточно постиг политику N-ского уезда и знаю, что лишняя любезность никогда повредить не может, а самое малейшее упущение по этой части грозит всякими невыгодами.

— Merci, merci, несравненный вы мой Андриан Андреевич,— отвечает генеральша Болотникова,— merci! <sup>1</sup> Здравствуй, Нуша! А я к тебе заходила, думала вместе совершить пелеринаж сюда...

— Ах, милая, как жаль, что я не знала! — восклицает Анна Павловна.— Я бы тебя подождала!

— Merci, merci,— повторяет мне генеральша, опускаясь в подкаченное мною кресло, тяжело дыша и отирая лицо и шею носовым платком.

— А воды с вишневым морсом? — напоминаю я.

— Ну, хорошо, дайте,— соглашается генеральша.— Quelle chaleur, mon dieu! C'est à étouffer! <sup>2</sup>

Я кидаюсь к графину с водой, хватаю бутылку с вишневым морсом и начинаю готовить прохладительное питье.

— Так ты заходила к нам, Фима? — спрашивает Анна Павловна.

— Заходила,— отвечает генеральша Болотникова.— Ты сегодня вместе с Авророй поднялась! Спрашиваю Анфису: «Где Анна Павловна?» — «Еще в седьмом часу изволили уйти», — говорит.

— Да, да, я сегодня рано поднялась... Так ты никого у нас не видала?

— Видела и Кирилла, и Мефу, да они в таких ажитациях, что меня почти не заметили! У вас там суета страшная: целый воз мальчишек привезли из школы...

— Ah, ne m'en parle pas, ma chère! <sup>3</sup> — вздыхает Анна Павловна.

— Да, пожалела тебя, бедную! — продолжает генеральша Болотникова.— Ну, думаю, таки не избежать, видно, Нуше этой чаши! Все двери в доме настежь, люди суетятся, как угорелые, Кирилл и Мефа красные, как вареные раки, летают по двору с глобусами, сами таскают скамейки... Чуть ли не сами вывели избу для ненаглядных гостей. И в такой, кажется, теперь неразрывной дружбе...

---

<sup>1</sup> Благодарю, благодарю (франц.). Ред.

<sup>2</sup> Какая жара, боже! Можно задохнуться! (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Ах, не говори мне об этом, моя дорогая! (франц.) Ред.

Как скоро! Думаю, еще вчера в Чудовке за ужином едва не затеяли ссоры, а сегодня уж вместе избу метут!.. Мерсі, мерсі, несравненный вы мой!

Последняя фраза относится ко мне, преподносящему стакан воды с вишневым морсом.

— Слышите, голубчик,— обращается ко мне Анна Павловна,— к нам, в Каменку, целая орда нахлынула! Одно у меня утешение — тихий уголок, да и того не суждено! Теперь мне там покою не будет!

— Какие это мальчики? — спрашиваю я.

Я очень хорошо знаю, что эти мальчики из городской школы, директором и наставником-любителем которой состоит Кирилл Зверев, но, с одной стороны, намерение Кирилла Зверева потешить своих учеников, по моему убеждению, похвально, а с другой стороны, я не желаю никоим образом возражать Анне Павловне и потому предлагаю вышеприведенный уклончивый вопрос.

— Да все те же, cher ami,— отвечает генеральша Болотникова,— из Кирилловой школы. Ведь мы теперь влюблены в эту школу, боготворим каждого школьного замарашку...

— Но я полагаю, эти мальчики ведь ненадолго приехали в Каменку? — замечаю я.

— Ах, голубчик, верно, на целое лето! — вздыхает Анна Павловна.

— Без сомнения на целое лето,— подтверждает генеральша Болотникова.— Уж мы как начнем чудодействовать, так чудодействуем вволю, досыта! Nous nous en donnons à soeur joie... Но наши чудодейства не новость... tout ça, c'est vieux...<sup>1</sup> А вот вы, проказник, расскажите-ка свои приключения! — обращается она ко мне, лукаво примаргивая своими голубыми, как незабудки, заплавленными жиром глазками.— Расскажите-ка ваши prouesses!<sup>2</sup> Хе-хе-хе!

— Мои приключения, Серафима Павловна? — улыбаюсь я. Что ж мне остается, как не улыбаться, хотя внутренно я чуть не лезу на стену от злости.

— Да ваши, ваши, проказник! Хе-хе-хе!

— Вы, любезная Серафима Павловна, кажется, знаете о них больше моего,— отшучиваюсь я.

---

<sup>1</sup> Мы этим наслаждаемся вволю... все это старо... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Подвиги (франц.). Ред.

— Как же, как же! Сегодня мы все еще покоились в объятиях Морфея, как вдруг прибегает жертва вашего коварства, *qui jette feu et flamme...* Каков, думаю, мой скромник Андриан Андреевич! Каков мой пустынный! *Il désole les amoureux, il ravage les jardins, il enlève les belles!* Поди, верь после этого вашему смиренню! После этого полагайся на ваше чистосердечие! Что же это вы наделали, безжалостный вы этакий! *Comment avez-vous le courage de désunir ces deux coeurs?* Ah, *homme sans entrailles!*<sup>1</sup> Как же вы решились посягнуть на такое старое голубиное гнездо? Как у вас хватило духа...

— Не шути, Фима,— прерывает Анна Павловна,— его, бедного, огорчает эта глупая история!

— Огорчает? *Le repente?*<sup>2</sup> Хе-хе-хе!

— Прежде всего изумляет,— начинаю я.

— Огорчает, огорчает,— перебивает меня Анна Павловна.— Побрани-ка его хорошенько, Фима, скажи, что подобными вещами не стоит волноваться... Меня он не слушает... Вообрази, хотел идти объясняться с Полем! Насилу я удержала.

— Что вы, что вы, *cher ami!* — говорит генеральша Болотникова.— Неужто вы в самом деле это приняли так к сердцу? *Allons, pas de folies*<sup>3</sup>, иначе я подумаю, что вы и точно обуреваемы страстью...

— Извините, любезная Серафима Павловна,— отвечаю я,— и вы, любезная Анна Павловна, но я с вами в этом случае не могу согласиться: я полагаю, что мне следует непременно объясниться с Павлом Павловичем...

— О, нет, нет, голубчик! — прерывает Анна Павловна.

— *Un duel?*<sup>4</sup> — хихикает генеральша Болотникова.— Ах вы, крокодил! Отняли у него любовь бесценной Дульцинеи и еще хотите отнять жизнь!

— Я со вчерашнего вечера смотрю на Павла Павловича как на.. как на больного,— продолжаю я, подавляя дикое, но страстное желание пустить бутылкой вишневого морса в колышущуюся передо мной от хихиканья жиреху.—

---

<sup>1</sup> ...Которая извергает огонь и пламя... Он приводит в отчаяние любовников, он опустошает сады, он похищает красавиц!.. Как у вас хватило смелости разлучить эти два сердца? Ах, черствый человек! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Огорчает его? (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Полноте, без дурачеств (франц.). Ред.

<sup>4</sup> Дуэль? (франц.) Ред.

И потому вы можете быть совершенно спокойны, объяснение мое не будет иметь характера воинственного... я хочу только ему...

— Нет, нет! — снова прерывает Анна Павловна. — Ни за что на свете. Нет, нет, голубчик! *J'ai votre parole!*<sup>1</sup> И как вы начнете с ним объясняться, милый? Ведь он вам ничего не говорил... он мне сказал под секретом... верно, и тебе тоже под секретом, Фима?

— Под строжайшим! — отвечает генеральша Болотникова.

— И охота вам, дорогой вы мой, чтобы все это разнеслось по уезду, — продолжает Анна Павловна, — чтобы глупые сплетники повсюду о вас трубили!

— Но, Анна Павловна...

— Положитесь на нас с Фимой, милый, мы все это уладим, потушим!.. Правда, Фима?

— Конечно, конечно, — благосклонно отвечает генеральша Болотникова.

— Я уже приказала Анфисе никому ни слова об этом, — на нее можно положиться, милый, *elle m'est très dévouée*<sup>2</sup> и припугнула Митродору, чтобы не смела болтать... Ты ведь, Фима, уже предупредила своих, чтобы не болтали? — обращается она к генеральше Болотниковой.

— Конечно, конечно, — отвечает генеральша Болотникова. — Да никто и не слышал, кроме Александры Никаноровны... Знаете, этой бедной капитанши, которую мы приютили, а она не выдаст: *elle m'est très dévouée aussi!*<sup>3</sup>

— А сегодня же ввечеру мы с Фимой отправимся к Полю, милый, и вместе образумим его, — продолжает Анна Павловна, — правда, Фима?

— Конечно, конечно, *cher ami*, — говорит генеральша Болотникова. — Мы его усмирим, бесценный вы наш Андриан Андреевич, будьте покойны, и все это затихнет... забудется... Выручим... выручим...

Старый барабан говорит это таким тоном, словно дело идет не о безобразно, чудовищно оклеветанном человеке, а о попавшемся впросак кутиле, которого ей, по своей неизреченной доброте, угодно «выручать!»

---

<sup>1</sup> Вы дали мне слово!.. (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Она мне очень предана (франц.). Ред.

<sup>3</sup> Она мне тоже очень предана... (франц.) Ред.

— C'est entendu, c'est entendu,— прибавляет Анна Павловна.— Успокойтесь же, милый, и больше не думайте об этом, не расстраивайте себя... Tout s'arrangera<sup>1</sup>.

И у этой гарпии точно такой же тон!

— Я вам чрезвычайно признателен, дорогая Анна Павловна,— отвечаю я с улыбкой,— и вам, дорогая Серафима Павловна, но я прошу у вас, как милости, не утруждать себя никакими хлопотами обо мне... Я уездных сплетен не боюсь...

— Ах, милый, вы опять за свое! — с упреком восклицает Анна Павловна.

— Pas de folies, pas de folies!<sup>2</sup>— тоже восклицает, и тоже с упреком, генеральша Болотникова и при этом мило грозит мне жирным, гладким и мягким, как дождевой червь, пальцем.

— Право, любезная Серафима Павловна,— замечаю я шутливо,— вы говорите это таким тоном, как будто и сами считаете меня виновным и в похищении ягод, и в посягательстве на сердце прекрасной Митродоры.

— О, я снисходительна,— отвечает она,— je ne fais que passer l'éponge sur les fautes de mes amis<sup>3</sup>.

— Перестань шутить, Фима! — восклицает Анна Павловна.— Твои шутки его расстраивают... погляди, даже в лице, бедненький, изменился!..

— Бесценный вы мой, Андриан Андреевич, что это? Да вы в самом деле волнуетесь? — говорит генеральша Болотникова.— Полноте, полноте!

— Знаешь что, Фима? — говорит Анна Павловна.— Его ни за что нельзя теперь оставлять одного, ни за что! Уведем его с собой в Каменку... Ведь ты сегодня у нас обедаешь?

— У вас, у вас,— отвечает генеральша Болотникова и обращается ко мне: — Позвольте вас похитить?

— С величайшим бы удовольствием отправился в Каменку,— отвечаю я,— но, к сожалению, сегодня никак не могу.

— Отчего не можете, милый? — восклицает Анна Павловна.

---

<sup>1</sup> Решено, решено... Все уладится (франц.). Ред.

<sup>2</sup> Без глупостей, без глупостей! (франц.). Ред.

<sup>3</sup> Я прощаю ошибки моих друзей (франц.). Ред.

— Не могу, дорогая Анна Павловна...

— Вы куда-нибудь собираетесь, милый? — спрашивает она.

— Нет, нет, никуда не собираюсь...

— Ожидаете кого-нибудь? — спрашивает генеральша Болотникова.

— Никого не ожидаю...

— Так что же вам мешает? — восклицают они в один голос.

— Я должен ответить на некоторые письма, — лгу я, не сморгнув, — на деловые письма...

— Завтра напишете, что значит один день? — говорит генеральша Болотникова.

— Я уже и то долго откладывал, — продолжал я лгать, — дольше невозможно...

— Ну, пишите свои письма, милый, — говорит Анна Павловна, — а мы вас подождем... Мы вам мешать не будем... мы пока погуляем по саду... А когда вы окончите писать, вы выйдете к нам в сад... Фима, оставим его писать, — обращается она к генеральше Болотниковой, — пойдем в зеленую беседку посидим... Пишите, милый, пишите!..

Она поспешно расправляет свои черные шелковые митенки, торопливо обдергивает мантильку и устремляется к дверям, повторяя:

— Пойдем, Фима, пойдем... не будем ему мешать...

— Хорошо, хорошо, — отвечает генеральша Болотникова, приподнимаясь с кресла и протягивая руки к палевому зонтику.

— Анна Павловна, Серафима Павловна, за что же вы хотите меня лишить своего общества? Да я лучше брошу всякие письма... Бог с ними, говоря по правде, я и не чувствую сегодня расположения писать... Меня тянет в Каменку...

(Меня так же туда тянет, как на рожон, но все же предпочтительней быть гостем в Каменке, чем заключить себя в собственном жилище, которое оцепляют два неусыпных аргуса, и куда того и гляди может пожаловать Григорий Иванов и обрушить на вашу голову новый нестерпимый скандал).

— И прекрасно! — одобряет генеральша Болотникова.

— Давно бы так, милый! — восклицает Анна Павловна.

Спустя несколько минут я схожу боком с своей узенькой лесенки, подавая правую руку быстроногой Анне Павловне, которую пропускаю вперед, а левою поддерживаю грузную генеральшу Болотникову, которая спускается за мной.

— Кушать дома не будете? — спрашивает меня Авдотья Степановна, слышавшая наши шаги и выглядывающая из своей каморки около кухни.

— Не будет, не будет, — отвечает ей за меня Анна Павловна.

Мы направляемся по саду, по аллее, ведущей к выходу на лесную дорогу в Каменку.

— Смотрите, смотрите! — говорит мне генеральша Болотникова, примаргивая на балкон и окно моего проприетера. — Спустил все маркизы и шторы! Ведь это, чтобы оградить прекрасную изменницу от огня ваших победоносных взоров! Хе-хе-хе!

— Он теперь сидит у которого-нибудь окна в засаде и подстерегает, — говорит Анна Павловна. — *Quelle bassesse!*<sup>1</sup> И как он разгневется на нас с тобой, Фима, когда увидит нас вместе с нашим другом!

— *Ah, je m'en moque!*<sup>2</sup> — отвечает генеральша Болотникова.

— Может гневаться сколько угодно! — продолжает Анна Павловна. — Он меня очень мало знает, если воображает, что я могу когда-нибудь измениться к своим друзьям!.. Дайте мне руку, милый! — прибавляет она с благородным мужеством и негодованием. — Пусть его смотрит, как мы с вами идем!

Она схватывает меня под руку.

— Да, да, пусть его смотрит! — повторяет генеральша Болотникова и схватывает меня под другую руку.

Я выражаю обеим чувство признательности, и мы тройкой проходим мимо пустого балкона со спущенными маркизами и окон, закрытых вплотную шторами.

Утро великолепное, лес благоухает, звенит пением, чирканьем, жужжанием, лесная дорога испещрена чуть-чуть движущимся золотом солнечных лучей, проникающих сквозь едва шелестящую листву темно-зеленых ветвей.

---

<sup>1</sup> Какая низость! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Ах, мне это безразлично! (франц.) Ред.

Но во мне кипит желчь, и ликование равнодушной природы только возбуждает во мне мрачное раздражение.

Покорный своей злополучной участи, маскируя душевные муки любезными улыбками и неустанным сочувственным вниманием в выслушивании излияний по поводу людской низости вообще и некоторых знакомых в частности, я веду своих истязательниц в Каменку, тайно обдумывая, под каким предлогом мне оттуда вырваться тотчас после обеда, — вырваться и устремиться в Чудовку.

Я решил, что мне всенепременно следует поспешить в Чудовку. Голос благоразумия шепчет мне: не лучше ли, при настоящих обстоятельствах, пообождать, обсудить план действий на досуге?.. Но я голосу благоразумия не внимаю... не хочу внимать.

## XII

От гласа въздыхания моего прилеп-  
кость моя плоти моей.

Уподобихся неясноте пустыней, бых  
яко ношнй вран на нырищи.

Бдех и бых яко птица особящаяся на  
зде. Весь день поношаху мя врази  
мои и хвалящй мя мною кляняхуся.  
Зане пепел яко хлеб едах и питье  
мое с плачем растворях.

*СII псалом Давида*

— Вот мы и добрались! — говорит Анна Павловна, когда мы, наконец, достигаем тенистого каменского сада.

— Ah, dieu merci! — отдувается генеральша Болотникова. — J'etouffe! <sup>1</sup>

— А вы очень устали, милый? — обращается ко мне Анна Павловна. — Бедненький, какое у вас измученное лицо! Что головка ваша дорогая, не разболелась опять от этой несносной жары?

— Нет, дорогая Анна Павловна, — спешу я ответить, — нет... я чувствую себя очень хорошо.

(Очень хорошо, не говоря уже о том, что я свинтил себе шею, повертывая во все продолжение пути лицо то к спутнице на правой руке, то к спутнице на левой, что от

---

<sup>1</sup> Ах, благодарение богу! Я задыхаюсь! (франц.) Ред.

любезных улыбок им обеим у меня онемели челюсти, я еще должен был, по выходе из леса, волочить их с полверсты под палящим солнцем, причем генеральша раскисла, как черт знает что, начала спотыкаться, тянуть меня назад, словно горящая лавина жирного теста, между тем как Анне Павловне томительный зной придавал прыти, и она дергала меня вперед... Очень хорошо!)

— Я вас проведу боковой аллею,— говорит Анна Павловна, оставляя мою руку и сворачивая с главной аллеи, ведущей к балкону, на дорожку между стриженными акациями,— тут мы никого не встретим и спокойно пройдем ко мне, а там всегда по утрам гуляет Бородинская... Она никогда не удаляется от главной аллеи, elle n'aime pas la nature...<sup>1</sup>

— О, поэзия не для нее придумана! — прибавляет генеральша Болотникова.

(Она чуть переставляет ноги, глаза ее закрыты, пухлые губы свернуты в трубочку, и из них вылетает, вместо обыкновенного человеческого дыхания, нечто среднее между шипением и свистом, она совершенно повисла на моей руке и чуть не до земли пригнетает меня своим горячим жирным боком).

— О, да! — отвечает Анна Павловна, идя вперед.— А ты знаешь, он приехал.

— Приехал? — повторяет генеральша Болотникова.

— Да, вчера поздно вечером, — отвечает Анна Павловна.— Вот вы его увидите, милый, сегодня за обедом,— обращается она ко мне.

— Бородинского? — спрашиваю я.

— Да... и скажете нам, как он вам понравился.

— Ах, Нуша! — возражает генеральша Болотникова.— Как будто ему может понравиться Бородинский, такой сухой неприятный эгоист! Il n'a rien pour lui, ni manières, ni figure, ni esprit!<sup>2</sup> Надо быть Екатериной Николаевной, чтобы не утопиться, живя с подобным мужем! Да и Екатерина Николаевна, и та им тяготится!

— Да, он не в ее вкусе: уж совсем не аристократ! — говорит Анна Павловна.— Знаете, голубчик, — обращается она ко мне, — она заклятая аристократка!

— Неужели? — слабо произношу я.

<sup>1</sup> Она не любит природы... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> У него нет ничего: ни манер, ни внешности, ни ума! (франц.) Ред.

— Во время Крымской войны и во время французской она только и делала, что все сокрушалась, сколько погибает из знатных фамилий... Помнишь, Фима?

— Чего ж ты от нее хотела? — отвечает генеральша Болотникова. — *Се n'est pas une femme, c'est une machine!*<sup>1</sup>

— Знаете, милый... — начинает Анна Павловна.

Но ее прерывает звонкий прелестный детский смех и резвый топот маленьких ножек.

— Это ее Соня! — шепчет Анна Павловна, оборачиваясь к нам. — *C'est elle!*<sup>2</sup>

— Ай, ай, ай! — весело вскрикивает детский голос.

Мы делаем еще несколько шагов, и направо, на зеленой лужайке, глазам нашим представляется Бородинская, у которой в руках бьется кудрявая белокурая девочка.

— *Elle gate sa fille!*<sup>3</sup> — шепчет мне Анна Павловна. — Она позволяет ей все на свете!

Увидав нас, Бородинская выпускает из рук девочку, оправляет платье и поднимает с травы зонтик.

— Нет, ты все-таки не поймала, не поймала, не поймала! — кричит девочка, перебегая через лужайку и скрываясь за кустами. — *Лови! Лови! Лови!*

— *Encore bonjour, chère ami!*<sup>4</sup> — приветствует Анна Павловна Бородинскую. — А мы из Зверевки пешком! Умираем от усталости!

— *Bonjour, Кисинька!* — говорит генеральша Болотникова. — *Quelle chaleur!* Пойдемте с нами пить кофе... как когда-то, *au bon vieux temps!*<sup>5</sup>

— Да, да, пойдемте, милая, — говорит Анна Павловна.

— Благодарю, я уже пила кофе, — отвечает Бородинская, обмениваясь со мною поклоном.

— Ну, не хотите кофе пить, посидите так с нами, — настаивает генеральша Болотникова. — *Je ne vous vois presque pas!*<sup>6</sup>

— Пойдемте, пойдемте, милая! — говорит Анна Павловна. — Я вас не отпущу...

---

<sup>1</sup> Это не женщина, это машина! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Это она! (франц.) Ред.

<sup>3</sup> Она балует свою дочь! (франц.) Ред.

<sup>4</sup> Еще раз здравствуйте, дорогой друг (франц.) Ред.

<sup>5</sup> Здравствуйте... Какая жара!.. в доброе старое время! (франц.) Ред.

<sup>6</sup> Я почти вас не вижу! (франц.) Ред.

Рука в черной шелковой митенке проскальзывает, как уж, под руку Бородинской и увлекает ее за собой.

Наконец, мы в гостиной, и я благословляю архитектора, устроившего ее таким высоким, обширным, прохладным покоем, с громадными дверями и окнами.

Генеральша Болотникова сваливается на кушетку и указывает мне место возле себя. Я повинуюсь и придвигаю свое кресло.

Анна Павловна усаживает Бородинскую и помещается около меня по другую сторону, так что я снова между двух огней.

— Ah! quelle chaleur! <sup>1</sup>— вздыхает генеральша Болотникова, закрывая глаза и откидывая голову на подушку кушетки.

— Да, ужасная жара! — говорит Анна Павловна, стаскивая свои черные шелковые митенки и звоня в бронзовый колокольчик.

Ее желтое лицо все в красных пятнах, жидкие темные косички прилипли к вискам, но движения так же юрки, из глаз вылетают по-прежнему молнии.

— Вы выбрали неудобное время для такой дальней прогулки, — замечает Бородинская, вынимая из кармана рукав полотняной детской рубашечки и начиная шить.

Я с отрадой и вместе с завистью гляжу на эту женщину: она так спокойна, так свежа, точно только что вышла из быстрой студеной речки.

«Счастливица! — думаю я. — Ты не испытываешь невыносимого раздражения, у тебя не кружится голова, не горят, как огонь, подошвы, не пересохло в горле, тебе мир божий не представляется мучительным чистилищем!»

На звон бронзового колокольчика появляется Анфиса, приближенная и доверенная Анны Павловны, высокая, крепкая, как железо, старуха, в желтом платье, черном переднике и прическе так называемой «корзинкой», с пытливыми, смышленными глазами, плотоядным ртом и вкрадчивым голосом; она оглядывает всех присутствующих взглядом искоса и низко мне кланяется.

— Анфиса, — говорит Анна Павловна, — скорее кофе...

— Слушаю-с, — отвечает Анфиса.

— И ягод со сливками...

— Слушаю-с...

---

<sup>1</sup> Ах, какая жара! (франц.) Ред.

— Где Кирилл Павлович и Мефа Павловна?

— Кирилл Павлович с Костюшкой фонарики лепят, а Мефа Павловна ушли с мальчиками в Малышевский лес гулять.

— Ça commence! <sup>1</sup>— вздыхает Анна Павловна, обращаясь к нам со страдальческой покорностью судьбе.

— Кирилл Павлович изволили спрашивать два фунта крахмала аглицкого,— продолжает Анфиса.

— Два фунта? — вырывается у Анны Павловны.— Ну?

— Я дала простого фунт, больше, говорю,— нету.

— На что это?

— А вот все эти фонарики лепить... Мефа Павловна требовала сахарных сухарей корзинку и два белых хлеба, так я сказала, что сухари все вышли, а хлеба только к чаю остается,— свежие еще не успели,— продолжает Анфиса, стоя со сложенными под ложечкой руками.

— Ну, давай скорее кофе,— приказывает Анна Павловна.— А где Варенька?

— В детской-с, в куклы играет.

— Так скорее кофе... и масла, и яиц...

Анфиса скрывается.

— Я уж боялась, не увела ли она и Вареньку с мальчишками в Малышевский лес! — говорит Анна Павловна.— Я уверена, что она пробовала ее увести, но Варенька, слава богу, славная девочка. Как Мефа ни старается сбить ее с толку, а на нее это не действует...

(Варенька — восьмилетняя воспитанница Анны Павловны, бесприютная девочка. Анна Павловна еще во второе наше свидание рассказала мне с мельчайшими подробностями историю своей питомицы: это побочная дочь какого-то кузена, который отличается неслыханным бесчувствием и тщеславием, воображает о себе бог весть что и не заплатил Анне Павловне ни за сиги, которые она уступила ему из выписанной из Петербурга провизии, ни за кирпичи, хотя и покупал их у нее на честное слово).

— Еще новость! — говорит генеральша Болотникова.— Давно ли это Мефа стала заниматься Варенькой? Прежде она этого ребенка видеть не могла!

— Да вот последние две недели не оставляет ее в покое! — отвечает Анна Павловна.— Конфет ей накупила,

<sup>1</sup> Начинается! (франц.) Ред.

поминутно зовет к себе в комнату... это только, чтобы мне насолить! А уж, кажется, я делаю все, чтобы ей угодить!.. Как она обращается со мной даже при посторонних! Вчера в Чудовке я просто не знала, куда мне деваться со стыда, так она мне ответила! Я и это сношу, никому не жалуюсь, только вот с близкими, в ком, как в себе, уверена, отведу иногда душу...

— Ах, Нуша, как это ты до сих пор не привыкнешь к Мефиным сумасбродствам! — замечает генеральша Болотникова.

— Ах, Фима! Хорошо тебе, что у тебя такой счастливый характер, — вздыхает Анна Павловна, — а я не могу, мне все это тяжело, больно... и как бы она со мной ни обращалась, все-таки она мне ведь не чужая... и я не могу равнодушно видеть, как она глупит и позволяет всякому водить себя за нос! Вот вчера, в Чудовке за ужином Ферапонтовы натолковали, что надо учить крестьянских мальчиков понимать природу et les beaux arts et elle a pris le mors aux dents <sup>1</sup> и вот уже полетела с ними в Малышевский лес! Хоть бы вы, милая, ее останавливали, — обращается она к Бородинской, — она ведь к вам благоволит!

— Если б я и решилась это сделать, — отвечает Бородинская, продолжая спокойно шить полотняный рукавичек, — так она бы меня не послушала.

В тоне ее нет резкости, но слышится что-то такое, что заставляет Анну Павловну завозиться в кресле, словно там очутилось вдруг несколько муравьев.

— Да, ваша правда, милая, — отвечает она, — Мефа никогда никого не слушает! Elle n'en fait qu'à sa tête...<sup>2</sup> А если кого слушает, так это таких людей, что с ними и говорить то стыдно!..

Я ожидаю, что она сейчас же вклеит Григория Иванова, но она начинает припоминать какого-то немца и каких-то акробатов, которые когда-то поработили было совсем Мефу. О Григории Иванове ни слова. Отчего это? Отчего она ни разу не упомянула его имени? Ни она, ни генеральша Болотникова? Что это, умышленно или случайно?

Анна Павловна прерывает мои догадки.

— Что это, милый, — обращается она ко мне, — какой

---

<sup>1</sup> И изящные искусства, и она закусила удила... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Она поступает по-своему... (франц.) Ред.

сильный запах от этих жасминов. Не заболела бы у вас голова?..

— О, нет,— спешу я уверить,— я очень люблю запах жасминов...

— Нет, нет,— перебивает она,— лучше их вынести в столовую... Давайте-ка мы их с вами вынесем...

В эту самую минуту в гостиную вбегают маленькая Соня с криками:

— Мама! Мама! Иди скорее, папа тебя зовет! Скорее! Скорее! Будем в лодке кататься. У папы два новых весла! Скорее! Скорее!

Бородинская прячет работу и встает.

— Да посидите, ma chère<sup>1</sup>, сейчас подадут кофе! — говорит Анна Павловна.

— Я кофе пила, merci,— отвечает Бородинская, которую дочка уже ухватила обеими ручонками за руку и тянет к дверям.

— Нечего и просить,— кисло замечает генеральша Болотникова вслед уходящей Бородинской.— Уж если зовет супруг, то супруга должна повиноваться! Он терпеть не может, когда Кисинька с нами,— прибавляет она, обращаясь ко мне.

— Отчего же? — спрашиваю я.

— Вероятно, боится, что будет жаловаться нам, расскажет какие-нибудь его шашни... C'est un homme qui n'a ni foi, ni loi...<sup>2</sup>

— Девочка у них прелестная,— замечаю я.

— Смазливенькая, только вся в отца: дерзкая, неблагодарная, холодная...

— И невыносимо избалована,— прибавляет Анна Павловна,— я Вареньке приказала быть от нее подальше... Ну, что ж, голубчик, вынесем жасмины в столовую?

Я спешу взять один горшок с жасминами, Анна Павловна схватывает другой.

— Послушайте, милый,— говорит она мне торопливым шепотом, как только мы выходим из гостиной,— мне надо с вами поговорить... Очень важное дело... Мне тяжело вам это передавать... но необходимо вас предупредить... необходимо, чтобы вас не захватили врасплох, милый...

— Говорите, дорогая Анна Павловна,— отвечаю я, не

---

<sup>1</sup> Дорогая (франц.). Ред.

<sup>2</sup> Это человек без стыда, без совести... (франц.) Ред.

понижая голоса и замирая в ожидании, что еще готовит мне судьба.

— Тс! Тс! Тише, голубчик! Фима услышит!.. Она милая, добрая, но она болтлива.

— У меня тайн нет, Анна Павловна, я ничего не скрываю, мне нечего таить...

— Бога ради тише, голубчик! Вы сами потом пожалеете... Вернемтесь в гостиную, а то Фима заподозрит.

Она, как ящерица, юркает обратно в гостиную, где уже подали кофе, генеральша Болотникова сидит с набитым сухарями ртом, а около стола стоит воспитанница Варенька — высокая, худенькая, бледная девочка, гладко причесанная, в длинном, почти вровень с платьем, белом переднике, с темными, мягкими, чересчур мягкими глазами, с благонаправленным выражением лица и с благонаправленными манерами.

— Кажется, Кирилл окончил свои фонарики,— говорит генеральша Болотникова, проглатывая сухари,— я слышала, как он к себе прошел.

— Наклеили шестьдесят кругленьких и сорок звездочкой, еще брали полфунта крахмала,— кротко и ласково замечает Варенька,— а тетя Мефа просила сахарных сухарей для мальчишек и ушла с ними в Малышевский лес. Она меня звала, только я не хотела и не пошла. Я ждала свою милую маму.

Варенька с этими последними словами обхватывает своими тоненькими ручками сутуловатую талию Анны Павловны, прижимается к ней и целует ее в грудь, в ответ на что Анна Павловна ласково треплет ее по бесцветной щечке.

— Что твои куколки? — спрашивает она.

— Легли спать,— отвечает Варенька младенческим лепетом.— Я им новый положек устроила!

«Что такое она хочет мне сказать? — мучусь я, принимаясь за предложенный мне кофе.— Что еще меня ожидает?»

— Анна Павловна! — докладывает, появляясь на пороге Анфиса.— Кирилл Павлович требует муки на пироги мальчишкам.

— Что, что? — вскрикивает Анна Павловна, словно ужаленная.

— Муки на пироги...

— Хорошо, хорошо, я иду... я сама иду,— говорит Ан-

на Павловна, оставив недопитый кофе и устремляясь во внутренние покои.

— Варенька, дружок, — обращается генеральша Болотникова к воспитаннице, — поди поищи в диванной мой платок.

— Вот платок, — отвечает Варенька, указывая на пространство между боком генеральши Болотниковой и подушкой кушетки.

— Не этот, другой, — настаивает с неудовольствием генеральша Болотникова, — косыночку мою...

— В диванной нет, — отвечает так же кротко и ласково Варенька, — вы ведь туда не ходили. Я здесь поищу.

И начинает шарить, не удаляясь от кушетки.

— Ну, не надо, не надо! Сядь на место, не вертись перед глазами! — с пущим неудовольствием и резко говорит генеральша Болотникова.

Варенька послушно садится в кресло рядом со мной.

— Отойди дальше! Дети никогда не должны слушать, что говорят между собой старшие!

Варенька послушно оставляет кресло, которое рядом со мной, и помещается в другом, на другом конце комнаты.

— *Quelle peste!*<sup>1</sup> — говорит, понижая голос и наклоняясь ко мне, генеральша Болотникова. — Так и шпионит!.. Слушайте, дорогой вы мой, мне надо с вами переговорить... Дело идет о вашей чести, которую хотят замарать... я не хотела говорить при Нуше, она милая, добрая, но, знаете, такая, что непременно разболтает.

Я преисполняюсь яростью и едва могу вымолвить:

— Серафима Павловна, вы меня чрезвычайно изумляете... К чему тут тайна?.. Я за свою честь не боюсь...

— Тс! Тс! Нуша идет!.. А где же это шпионка Варенька?

Я машинально оглядываюсь, Вареньки нет в кресле, где она так послушно уселась. Я ищу ее глазами и открываю за зеленой кадкой с тропическим растением, у окна, в каких-нибудь двух аршинах расстояния от нас; она кротко и ласково глядит оттуда на меня своими мягкими темными глазами, грациозно перебирая передник.

— *Voyez la petite vipère!*<sup>2</sup> — восклицает генеральша Болотникова.

---

<sup>1</sup> Какая вредная! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Посмотрите на этого змееныша! (франц.) Ред.

Варенька также кротко и ласково переводит с меня свои мягкие глаза на генеральшу.

— Сил нет! — в волнении произносит Анна Павловна, возвращаясь в гостиную. — Никаких сил нет! Кирилл перевертывает весь дом вверх дном!

Она опускается в кресло и дрожащими руками управляет воротничок и волосы.

— Что такое? — спрашивает генеральша Болотникова.

— Вздумал среди дня пироги печь, и чтобы непременно пек повар! Помилуй, — говорю, — Кирилл, повар занят! Этак он у нас жить не захочет, если на него навалить печенье пирогов для мальчишек! Пускай для мальчишек Акулина печет... Il commence à jurer, à frapper les pieds...<sup>1</sup> За все, что я для него вынесла, за все, что я терплю, он обращается со мной как с экономкой!..

У нее начинают капать слезы.

— Говорила я тогда тебе, Нуша, — вздыхает генеральша Болотникова, — не продавай своего Вознесенского! Жила бы ты теперь спокойно, полной хозяйкой, а то вот продала, отдала деньги и связала себя по рукам и по ногам... Как будто ты не знала Кирилла!

— Я никогда не думала о себе, а только о других, вот мое несчастье! — плачет Анна Павловна.

— Как Кирилл тогда клялся, что Каменка будет твоя, что он тебе ее сейчас же передаст, а вот уже сколько времени с тех пор прошло, и он все не передает... Что же из того, что он сделал духовное завещание в твою пользу, когда Каменку того и гляди продадут с аукциона!

— Бог с ним! Бог с ним! — плачет Анна Павловна.

Варенька подходит к ней и обнимает ее; Анна Павловна схватывает девочку в свои объятия, прижимает к груди и, глядя на меня, всхлипывает:

— Раувге retitel!<sup>2</sup> Ей меня жаль!.. Да, если б я не продавала своего Вознесенского, — прибавляет она, — я была бы теперь покойна! Но я виновата только в том, что никогда не думаю о себе...

— Уж это у нас с тобой общий недостаток, — говорит генеральша Болотникова, — мы вечно готовы положить душу за других... и как потом дорого платим за свои увле-

<sup>1</sup> Он начинает браниться, топтать ногами... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Бедная малютка! (франц.) Ред.

чения! И все никак не научимся быть благоразумными, все наше бедное сердце нас подводит!

Я должен бы сказать слово сочувствия, но я остаюсь нем и неподвижен, как снулый окунь.

— Однако мы и на вас тоску наведем, голубчик,— мило улыбается мне Анна Павловна, отирая глаза.

— Помилуйте,— говорю я,— прошу вас, не стесняйтесь.

Есть минуты, в которые мне так же трудно принудить себя сказать любезность, как самому себе отпилить руку или ногу, а эта одна из таких минут.

— Да, да, не будем его печалить,— говорит генеральша Болотникова, сморкаясь.— *Du courage!*<sup>1</sup> Вот если бы нам с тобой, Нуша, признаться холодности у Бородинской, нам бы лучше жилось на свете! Или если бы Мефа нам уделила частичку своей ветрености и беспечности!.. Как она легко все это переносит! Вот полетела с мальчиками в Малышевский лес и все напасти забыла! Помнишь, как она прошлого года и не ахнула...

— Да, вообразите, голубчик,— обращается ко мне Анна Павловна,— прошлого года...

Начинается вперебивку рассказ о беспечности и эгоизме Мефы, затем о пороках Бородинского, затем снова об эгоизме Мефы, сюда же припутывается скандальная история о помещике Семиградском, о помещице Вороновой, о страхе Певцовых.

«Уйду! — думаю я.— Сейчас встану решительно и уйду!»

Но куда я пойду? К Оле? Там надо играть роль доброжелателя Григория Иванова, выслушивать ее признания в том, что я считаю безумием и пагубою, и выражать сочувствие, решать похищение Марфуши... В данную минуту я не чувствую в себе сил для подобных испытаний... Нет, лучше подождать, что откроют мне Анна Павловна и генеральша Болотникова,— что-то шепчет мне, что их тайна имеет отношение к ночному посещению Григория Иванова,— и тогда к Ольге, передать ей, что возбуждено подозрение, представить неудобство при таких обстоятельствах вмешиваться в историю Марфуши... Но послушает ли меня Ольга?! Временем мне приходит мысль бежать в свой павильон, уложиться,— даже не укладываться, поручить это Авдотье Степановне, а захватить только бумаги и без оглядки спастись из N-ского уезда.

<sup>1</sup> Смелей! (франц.) Ред.

Но как же это? Бежать, точно я виноватый, точно в самом деле похищал вишни из сада проприетера, замышляя обольстить Митродору! Эта чепуха, разумеется, не стоит заботы, но Ольга! Неужто я оставляю Ольгу в трудную для нее минуту под влиянием такого человека, как Григорий Иванов?

Голос Кирилла Зверева, недовольным тоном спрашивающего: «Что же, будем мы сегодня обедать?» — прерывает чуть ли не сороковое извлечение из уездной хроники скандалов, которыми потчуют меня наперерыв Анна Павловна и генеральша Болотникова...

— Слышите, что за тон? — шепчет Анна Павловна. — И я должна сносить!.. Я теперь ожидаю только того, что они с Мефой посадят всех этих мальчишек вместе с нами за стол!

— Ну, нет, — возражает генеральша Болотникова, — *serait trop fort!*<sup>1</sup>

— Да ведь Костюшку Кузнецова уже посадили!

— Как, разве он с вами за столом обедает?

— Да, да... и Кирилл ему свои рубашки, свой бархатный пиджак...

Входит нахмуренный Кирилл Зверев, а за ним в бархатном пиджаке и в воротничках голландского полотна, не поднимая глаз, робко ступая и как бы стараясь схорониться за его дряблую фигуру, следует Костюшка Кузнецов, тот самый мальчик, которого он мне рекомендовал накануне в чудовском саду как страстного любителя географии.

— Что ж, будем мы сегодня обедать? — раздражительно повторяет Кирилл Зверев, но, увидав меня, вдруг проясняется и, протягивая мне обе руки, восклицает:

— А, дражайший Андриан Андреевич! Я не знал, что вы здесь! Что же вы не пришли ко мне? Ну, батюшка, каких мы фонариков наклеили, — роскошь! Совершенно в русском вкусе! Кузнецов говорит: «Да это, — говорит, — совсем как наши полотенца!» Кузнецов, где ты? Что ж ты не садишься? Садись, братец.

Кузнецов садится в кресло, словно на горячую сковороду.

— Посмотрите-ка, каким он молодцом! — продолжает Кирилл Зверев, кивая на Кузнецова. — Я ему велел переделать из своего пиджака, и вышло очень мило... Фера-

---

<sup>1</sup> Это было бы слишком! (франц.) Ред.

понтов затеял со мной спор, что не следует-де наряжать в немецкий костюм... Почему не следует? Я, слава богу, не славянофил! Всеми образованными людьми признано, что европейский костюм удобнее... Я ж его, батюшка, и срезал: помилуйте, говорю, Геннадий, да вы славянофил!

— Если русский костюм так ему дорог, отчего же он сам не нарядится в поддевку? — вмешивается генеральша Болотникова. — Так бы в поддевке и к губернатору, и к предводителю дворянства на обед... Хе-хе-хе!

— Да, да, я так ему и сказал! Это и были мои подлинные слова! — восклицает Кирилл Зверев так самодовольно, словно и в самом деле это были его подлинные, а не в этот момент присвоенные им слова. — Ну, и срезал окончательно!

— Уж после того, как ты его срезал прошлым летом на обеде у Краснопевцевых, я бы на его месте и не вступала с тобой в споры! — говорит генеральша Болотникова.

— Да, да, прошлого года я его уничтожил, батюшка! — подхватывает Кирилл Зверев. — Дело было на обеде у Краснопевцевых, на Петра и Павла... Кажется, на Петра и Павла, Фима? — обращается он благосклонно к генеральше Болотниковой, которую при входе едва удостоил кивка.

— На Петра и Павла, в именины Петра Петровича, — отвечает генеральша Болотникова, — я никогда не забуду Геннадиева поражения!

— Да, да... садимся мы за обед, — начинает Кирилл Зверев, — Ферапонтов наискось против меня...

«Фима всегда умеет подладиться! — говорят мне глаза Анны Павловны. — Я не умею, да и не хочу этого умения...»

— И вдруг Ферапонтов заводит спор о ботанике, — продолжает Кирилл Зверев, — и начинает вдруг доказывать...

Раздается колокол, призывающий к обеду, Анна Павловна встает и голосом несчастной жертвы произносит:

— Парфен звонит, кушать подано.

— Пойдем обедать, — говорит Кирилл Зверев, беря меня под руку. — Кузнецов, иди же, братец!

Кузнецов спешит за нами и чуть не сталкивается с Варенькой (которая все время слушала, присев за этажеркой, и гораздо внимательней, чем я, извлечения из уездной скандальной хроники), Варенька охает и отпрыгивает от мальчика, точно подставили раскаленное железо.

— Иди рядом со мной, милая, — говорит ей Анна Павловна, — дай мне ручку.

В столовой мы находим Бородинскую с дочкой и мужем,

с которым Зверев меня знакомит. Это высокий, еще молодой человек с энергичной физиономией. Лицо его ничего не говорит о гнездящихся будто бы в нем пороках, но ум, живой, веселый, пронизательный, так и брызжет из его глаз, улыбки, из каждой черты.

Генеральша встречает его с должной вежливостью великосветской дамы, которой тонкое знание приличий мешает кого-либо третировать пренебрежительно, — что его, кажется, нисколько не огорчает.

— Как ваше здоровье? — цедит она сквозь зубы.

— Как нельзя лучше, — отвечает Бородинский с такою же изысканною великосветскостью, — позвольте узнать, как ваше?

— Около меня, Андриан Андреевич, около меня! — кричит Кирилл Зверев. — Вот тут, около меня, садитесь! Я вам сейчас доскажу про Ферапонтова... Кузнецов, где ж ты! Садись вот тут!

Я помещаюсь около Кирилла Зверева и, пользуясь тем, что мне последнему придвигают судок с четырьмя сортами водки, незаметно вынимаю один графинчик и как бы случайно его придвигаю к своему соседу, замаскировав от зорких взоров Анны Павловны графином с водою. Это — коварство, но в нем одна моя надежда избавиться от рассказа о Ферапонтове, за которым, я знаю, последуют рассказы об освобождении крестьян и о сдобных лепешках.

Кирилл Зверев истолковывает мои мотивы иначе, по-своему, и как без слов понимающий собрат, с своей стороны к маскирующему графину с водою приставляет маскирующий стакан и веселей прежнего принимается за рассказ о Ферапонтове.

Ко второму блюду является Мефа, запыхавшаяся и красная, как перележалая клюква.

— Ах, какую прогулку мы сделали! — восклицает она нараспев. — Я сяду подле Андриана Андреевича... Костюшка, пусти меня, дружок, а сам садись вот туда...

Она усаживается рядом со мной, а злополучный Костюшка перемещается под непосредственный яд взглядов Анны Павловны.

— Вы знаете, — начинает Мефа, — мы ходили с нашими мальчишками в Малышевский лес, рассматривали букашек, собирали цветы...

Всему на свете бывает конец, пришел конец и обеду. Я знаю очень хорошо, что в N-ском уезде уйти из гостей тотчас после того, как поднимутся из-за обеденного стола, равняется краже со взломом, но я приведен уж в такое состояние, что решусь, пожалуй, махнуть рукой и на большее. Благодаря Анну Павловну за обед, я тут же твердым голосом приношу извинение, что вынужден ей немедленно откланяться, и откланиваюсь.

— Что вы, милый, что вы! — восклицает она. — Как можно!

— Весьма сожалею, Анна Павловна, но должен отказаться от удовольствия дольше с вами остаться, — отвечаю я любезно, но непоколебимо.

— Нет, нет, я вас не пушу, — бормочет посоловельй Кирилл Зверев, но делает только движение бородой и остается на месте.

— Нет, нет, не отпускайте его, — говорит генеральша Болотникова.

— Ах, не уезжайте, Андриан Андреевич! — шепелявит Мефа.

— Весьма сожалею, — повторяю я с прежней любезностью и непоколебимостью и хочу направиться к дверям.

— Постойте, постойте! — кричат Анна Павловна, генеральша Болотникова и Мефа.

— Постойте! — диким голосом бессознательно буркает Кирилл Зверев.

— Весьма сожалею, но должен! — снова повторяю я, почти не приостанавливаясь,

Генеральша Болотникова отяжелела после обеда и временно лишена возможности двигаться, но Анна Павловна и Мефа бегут за мной.

— Да куда же вы, голубчик? — пристает Анна Павловна, ловя меня за рукав. — Ну, куда? В Чудовку?

— Да, в Чудовку, — отвечаю я, едва владея собою, — и непременно должен сейчас же идти...

— Хорошо, хорошо, голубчик, идите, идите... я сама туда приду... Вот только распоряжусь по хозяйству... До свидания, милый, идите, а я поспешу распорядиться, — прибавляет она, уходя в комнаты.

— А я с вами отправлюсь, — решает старая Мефа,

точно я ее ридикуль.— Вы ведь позволяете себя сопровождать? — жантильничает она.— Да?

— Помилуйте! — бормочу я чуть не со скрежетом.

— Ну, полноте! Ну, куда идти! — лепечет генеральша Болотникова, хлопая слипающимися глазами.

— Так подождите только минутку, одну минутку,— говорит Мефа.— Я только немножко отряхну с себя пыль... Одну минутку! Подождете, да?

— Извольте...

Жеманная обезьяна легкой иноходью, которая и двадцать лет тому назад не была грациозна, удаляется стряхивать с себя пыль, а я падаю в кресло у дверей.

Я в эту минуту завидую грубому, наглому Григорию Иванову, не признающему общественных законов приличия, отвергающему деликатность в отношении с людьми; он бы на моем месте объявил прямо: «Не надо мне вас, вы мне надоели, опротивели, отстаньте!» — и разом отчистил бы от себя все эти старые репы, а я, человек безукоризненный относительно общепринятой деликатности, я ставлю себя в положение самого злополучного раба, я повседневно влачу цепи, мною безнаказанно помыкают сплетницы-старухи! Ведь когда-то, года два тому назад, когда я несколько походил на Григория Иванова (только несколько, я так безобразен никогда не бывал), мне жилось лучше... Я тогда никому не говорил любезностей, меня никто тогда не считал за перл обходительности, но я был свободен... У меня не имелось столько прекрасно угощающих знакомых, но зато я никогда не отплевывался, возвращаясь домой из гостей того времени... Да, я готов завидовать Григорию Иванову!.. Господи, творец миров! Я, наконец, дохожу до того, что готов завидовать Григорию Иванову, чуть не жалею о прошлом безумии, за которое так дорого заплатил! О, проклятые старухи, до чего вы меня, кровопийцы, довели!..

Я поднимаю голову — Кирилл Зверев окончательно оцепенел, Кузнецов на цыпочках пробирается к дверям в прихожую, генеральша Болотникова дремлет с легким свистом; в столовой только Бородинский, и я встречаю его взгляд. Взгляд этот кажется мне дерзок, он смущает меня, мне чудится, что он читает мои мысли... Я принимаю вид, достойный человека, живущего в благовоспитанном обществе, и обращаюсь к нему:

— Не правда ли, как живописна Каменка?

А сам думаю: «Если ты теперь мысленно издеваешься над горемыкой, то скажи, зачем тебя самого принесла нелегкая в этот курятник? Ты давно знал, что это курятник, и прибыл сюда гостить. Ты не имеешь оправданий, ты ведал, куда шел!»

— Да, местность живописная и здоровая,— отвечает он.

— Ну, и общество приятно,— продолжаю я,— общество старых знакомых... Вы ведь, если не ошибаюсь, давно уже знакомы с Каменкой?

— Да, я жил здесь, когда был учителем покойного сына Анны Павловны...

— Со старыми знакомыми всегда приятно свидеться,— говорю я, вкладывая в фразу, сколько позволяет благовоспитанность, язвительности.

— Я бы еще нашел силы отказать себе в этом удовольствии,— отвечает он,— но у меня здесь в окружности дела, и это заставило меня нанять помещение в Каменке.

У меня чуть не вырывается: нанять! Но я вовремя успеваю удержаться и только прокашливаюсь. Я вспоминаю, как горько сетовала Анна Павловна на его приезд со всей семьей в такое трудное время, когда Каменке грозит аукцион, и как на мои патетические речи о неделикатности подобного стеснения она с чувством отвечала: «Ах, милый! Не все такие, как вы! Не все так тонко понимают!»

— Вы здесь до осени, вероятно, пробудете? — спрашиваю я.

Но он уже успел уловить на моем лице промелькнувшее изумление и, как будто потешаясь им, отвечает с улыбкой:

— Я заплатил до конца августа, но еще не знаю, доживу ли...

— Вот и я! — восклицает Мефа, вбегая.— Пойдемте, милый Андриан Андреевич! А вы, Александр Федорович, с нами?

— Нет,— отвечает Бородинский,— извините...

— Ну, оставайтесь, недобрый! Пойдемте, милый Андриан Андреевич! Я и мальчиков беру: они такие милые! Вот они ждут нас около крыльца...

### XIII

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse  
requiris.

Nescio: sed fieri sentio et excrucior.

*Catullus*<sup>1</sup>

Бородинский провожает меня, как мне кажется, тем насмешливо-сострадательным взглядом, каким провожают умеющие отстаивать свое благоденствие, тех, кто добровольно, без всякой нужды и выгоды, единственно по своей слабости или по глупости, попадают в тиски.

Этот взгляд меня несказанно раздражает (я терпеть не могу, когда замечают мои промахи и неудачи), заставляет надернуть маску веселой любезности и предупредительно предложить руку старой Мефе, которая тотчас же на ней повисает, как мешок с костями, и начинает пищать, шепелявить, оскаляться и вздыхать.

— Мы ведь пойдем лесом, милый Андриан Андреевич, не правда ли? Ах, лес так хорош! Так отрадно под его зелеными деревьями! Знаете, милый Андриан Андреевич, когда наступает печальная осень или когда зима начинает все леденить, я всегда думаю: что теперь чувствуют бедные деревья? Я уверена, что они чувствуют...

Я улыбаюсь (мне хочется ударить ее кулаком по голове!) и отвечаю:

— Может быть... Очень может быть...

— А где же наши спутники? — спохватывается она. — А, вот они! Вот они! Пойдемте! Пойдемте!

Кучка крестьянских мальчишек, наряженных в парусиновые блузы и фуражки, отодвинувшаяся было за балюстраду балкона, выступает.

— Вот этот, самый высокий — Горюнов, — показывает мне Мефа, — а вот этот, самый маленький — Рыбочкин... А вот этот, с голубыми глазами — Щербачев, а вот этот, кудрявый — Кисельников... Правда, все они славные? — заключает юридическое старое создание.

— Правда, правда, — отвечаю я.

— Ах, вы не идите позади! — обращается она к мальчишкам. — Вы идите с нами рядом! Андриан Андреевич

<sup>1</sup> Ненавижу и люблю. Зачем это делаю, ты спросишь, быть может.

Не знаю, но чувствую, что это так, и мучусь.

Катулл (лат.). Ред.

добрый, милый, хороший, вы его не бойтесь... Идите с нами рядом. Ах, дорожка узка!.. Ну, идите вперед! Идите, идите вперед!

Мальчишки, спотыкаясь и толкаясь, повинуются и, перешептываясь, предшествуют нам по дорожке к лесу той неестественной походкой существ, чувствующих себя под неприятно стесняющим наблюдением или ожидающих удара хлыстом в спину. (Смею полагать, что каждый из них с величайшим удовольствием принял бы самый закатыстый удар хлыстом, лишь бы затем позволено было юркнуть в кусты и скрыться от умильных глаз Мефы). Высокий Горюнов горбатится, маленький Рыбочкин ежится, и всех остальных кособочит и корчит на разные лады.

— Вы не можете себе представить, какие они милые! — шепелявит Мефа. — Желают учиться по-французски! Сегодня в лесу, когда мы гуляли, все спрашивали меня, как называется по-французски цветочек, как называется птичка... Я буду им давать уроки французского языка! Пусть развиваются как можно больше, да?

— Да!.. Разумеется, да, — отвечаю я.

— Я уже пробовала заставлять их произносить некоторые слова, и какой у них недурной выговор. А знаете, какие они хорошие, деликатные. (Она понижает голос и ближе склоняет ко мне лысую голову). *Très délicats!*<sup>1</sup> Нам встретился в лесу ручеек, и я не могла его перейти; — они сейчас же притащили камешков, веточек и устроили мне мостик! А Горюнов так даже предлагал меня перенести на руках! Мне так отрадна их привязанность! Да, я буду их учить, развивать... Знаете, у них очень много чувства прекрасного! Я говорю им: поглядите, как хорошо это голубое небо, поглядите, как хороши эти деревца! Правда, хороши? И все: «Хороши, хороши!» Я им показывала свой альбом неаполитанских видов и рассказывала, как чудесно в Италии, какие там картины, цветы, статуи, и они так слушали! Кто знает, может быть, они когда-нибудь и сами будут путешествовать по Италии! Окончат нашу школу, а потом, Кирилл говорит, в гимназию поступят, а потом в университет... Может быть, они сделаются когда-нибудь великими людьми, да?

— Может быть... Весьма может быть, — отвечаю я.

— И попутешествуют по Италии, да? О, как бы я за

---

<sup>1</sup> Очень деликатные! (франц.) Ред.

них порадовалась! Ведь, может быть, и попутешествуют, да?

— Разумеется... если вы дадите им средства окончить гимназию и университет и попутешествовать...

— Ах, все эти гадкие деньги! Зачем я не богата! Я ужасно завидую Ротшильду! Ах, если б я была умнее, я была бы богата! Но я ничего не смыслю в расчетах, а другие обо мне не позаботились! Всякий думал только о себе... Ах, я завидую иногда Нуше и Фиме, что они так умеют устраивать свои дела! Особенно Нуша... Правда, папенька выделил ей лучшую часть: она всегда умела ему угодить и была любимица... И потом, после смерти папеньки, ей тоже досталась часть... что-то недополученное в приданое, она говорила... И она умела выбрать самое лучшее имение... И другие все тоже умели выбрать... Только я не умела! Я сказала: делайте, как хотите! Покойный Помпей, Фимин муж, взялся за меня говорить и выбирать и выбрал мне Подзайское! Подзайское, в котором ничего не было, кроме мужиков и земли,— ни дома, ни сада — ничего! Голое, гадкое место... которое я насилу потом продала... Говорили: «Ты будешь отличные доходы получать! Отличные доходы получать!» А я в два года только получила горшок масла, да пять талек<sup>1</sup>. Старосту присоветовали такого, что все обманывал... Ах, да бог с ними! Бог с ними! Не хочу об этом говорить! Я злая, гадкая... да?

— Вы рассказываете, что было,— отвечаю я.

— Да, да, но все-таки это нехорошо... Бог с ними! Я не хочу никого осуждать... А где же дети?

Пока она увлекалась повествованием, мальчишки воровским образом шмыгнули в кусты; первый решился маленький Рыбочкин, юркий и живой, как мышонок, за ним остальные; один высокий и медленный в движениях Горюнов еще виднелся у придорожного дубка.

— Горюнов, где же они?

— А вот тут,— отвечает Горюнов, указывая неопределенно в лес.

— Ах, зачем же они убежали,— вместе веселее! — говорит Мефа и начинает визжать: — Рыбочкин! Кисельников! Щербачев! Касаткин!

Ответа нет.

---

<sup>1</sup> Моток ниток. *Ред.*

РУССКАЯ  
**МЫСЛЬ.**

---

ГОДЪ ДВАДЦАТЫЙ.

---

ЯНВАРЬ.



МОСКВА.

Типо-литогр. Товарищества М. Н. Кушнерева и К<sup>о</sup>, Пимен. ул., собств. домъ.

1899.

Титульна сторінка журналу «Русская мысль», в якому був надрукований роман Марка Вовчка «Отдых в деревне».

— Щербачев! Ау, Ау! — надсаживается старое здание.

— Я пойду их покличу,— предлагает Горюнов и, получив на это разрешение, кидается в чашу, словно вырвавшись из пламени.

— Подождем их немножко,— говорит Мефа, останавливаясь.— Как памятна мне эта дорожка! Здесь когда-то..

Она угощает меня историей происходивших когда-то на этой дорожке встреч, потом историей встреч, происходивших на других дорожках в Каменке, в окрестностях Каменки, а мальчишек все нет. Я беру смелость заметить, что мы поздно доберемся до Чудовки, если будем еще ожидать.

— Ах, как же быть, милый Андриан Андреевич? Как же мы их покинем? Я их покличу...

И начинает пищать:

— Рыбочкин! Касаткин! Горюнов!

— Это бесполезно,— замечаю я,— они, очевидно, не хотят отвечать...

— Ах, как вы можете это думать! Они такие милые!

Не отвечая сентиментальной шутихе, я гаркаю во всю свою мочь:

— Идите сейчас сюда! Не заставляйте нас ждать!

Мой зов, исполненный внушительности, производит действие. Слышится шум раздвигаемых веток, и мальчишки, один за другим, показываются из-за куста.

— Ах, куда же вы ушли? — с мягким укором шепелявит Мефа.— Я вас кликала!

Мальчишки безмолвно выстраиваются попарно и двигаются вперед по дорожке.

— Разве вы не слышали моего голоса? — пристает к ним Мефа.

Мальчишки в том же безмолвии продолжают шествие.

— Разве вы не слышали моего голоса? — повторяет Мефа.— Горюнов, отчего ты так долго не возвращался?

— Искал,— отвечает Горюнов,— они далеко ушли...

— Ах, вы, шалуны, шалуны! Смотрите, если вы будете очень шалить, я перестану вас любить и тогда уж не надейтесь учиться по-французски! Слышишь, Рыбочкин? Тогда, как ни проси, не упросишь меня! Что тогда будешь делать, а? Ну, отвечай же! Погляди-ка сюда, погляди!

(Все это она шепелявит, стянув губы бутончиком и тем

тоном, каким обращаются к болонкам, канарейкам и другим забавным животным).

— Погляди-ка сюда, погляди!

Рыбочкин обертывается и без особого удовольствия глядит на нее.

— Смотри, берегись, шалун! Берегись! — грозит она сухим, как стручок прошлогоднего гороха, пальцем, улыбаясь и кивая. — На этот раз так уж и быть, бог с тобой! Ну, а как называется небо по-французски? Забыл?

— Съель, — отвечает Рыбочкин и вдруг останавливается, как бы, наконец, озаренный мыслью, которую долго выискивал.

— Что ты так смотришь? Ну, говори, что хочешь сказать.

— Пустите нас, мы вам цветочков нарвем, — вкрадчиво говорит Рыбочкин. — Тут много таких, как рвали в Малышевском лесу...

— Так это вы убегали мне цветы рвать? — восклицает Мефа.

— Да, — отвечает без запинки коварный малолетний обманщик.

Бедная простофиля растрогивается и лепечет:

— Спасибо! Спасибо!

— Так мы пойдем нарвем вам цветочков? — продолжает Рыбочкин. — Мы тут недалечко, около самой дорожки будем...

— Хорошо! Хорошо! Спасибо! Спасибо!

Мальчишки радостно бросаются с дорожки в лесную чашу; высокий Горюнов на бегу любовно хлопает по плечу Рыбочкина, как бы желая сказать: «Вот душа-то парень! Хоть из каких тисков выручит!»

— Ну, видите, какие они милые! — обращается ко мне Мефа. — И вообразите, Нуша их терпеть не может! Она все боится, что они испортят паркет... Ну, пусть и испортят, разве нельзя поправить? Я уверена, что она их будет на каждом шагу преследовать! Как все это грустно, милый Андриан Андреевич! Хочется видеть кругом все хорошее, а видишь только... нехорошее! Ах, я опять осуждаю! Вы удивляетесь, какая я злая? Признайтесь, признайтесь!

Я признаюсь, что ничего подобного не полагаю. Она принимается болтать о своем больном сердце, о душе, о разочарованиях, обманутых надеждах и грусти. Я иду и думаю, за что я отдаю себя в эту пытку, — зачем, за какие

грехи я влеку эту старую болтуню, когда мог бы теперь идти один и на свободе предаться своим мыслям и грызущей меня тоске.

— Ах, посмотрите, навстречу нам Григорий Петрович! — вдруг восклицает Мефа, прерывая рассказ о том, как Нуша заедала свою покойную дочь за пятно на новом платье и как она, Мефа, по этому случаю страдала.

Я поднимаю голову и вижу приближающегося Григория Иванова. Он шагает чуть не косыми саженьями и при виде нас не показывает удовольствия. Лицо его озабочено и мрачнее обыкновенного.

— Ну, сейчас он выдаст меня с головой этой дуре Мефе! — мелькает у меня мысль.

— Здравствуйте, Григорий Петрович! Здравствуйте! — кричит ему Мефа. — А мы вот направляемся в Чудовку... и наши школьники нам сопутствуют... Горюнов! Рыбочкин! — взвизгивает она, как испорченная дверная петля. — Подите-ка скорей сюда, поглядите, кого мы встретили! Ведь они вас помнят, Григорий Петрович, как вы были у них в школе и вместе делали гимнастику! Они спрашивали меня еще сегодня: «Где тот, что так хорошо прыгает?..» Горюнов! Рыбочкин!

Григорий Иванов, пожимая мне руку, замечает, что мальчишек звать незачем, что ему некогда тут останавливаться.

— Ах, нет, нет, надо вам их показать, какие они славные! — перебивает его Мефа. — Я хочу, чтобы вы на них посмотрели! Я их сейчас, сейчас позову!

И она, как искалеченная куропатка, подпрыгивая и натываясь на ветки, бежит в чащу, визгливо призывая мальчишек.

— Ну, что? — спрашиваю я Григория Иванова.

Я не намерен был ни о чем его спрашивать, я даже, увидав его, быстро порешил в уме держаться так, как будто он и не дарил меня ночным посещением, но вопрос вырвался у меня неудержимо, как кашель у поперхнувшегося человека.

— Заболела и дня через три, четыре, вероятно, отправится в Елисейские, — отвечает он угрюмо.

— Что-о? — восклицаю я чуть не на весь лес. — Что вы говорите? Так внезапно?

— Как внезапно! — прерывает он. — На ней давно уже

живого лица не было. Она, верно, захворала с того самого дня, как попала в когти Бусовой.

— Но все-таки она ходила... даже работала,— говорю я.— И неужто безнадежно?

(Я соображаю, что захворала не Ольга, а Марфуша, и мое замершее сердце начинает снова биться вольнее. Разумеется, жалко и Марфушу, но она, может быть, еще выздоровеет,— какое основание, какое право имеет этот недоучившийся костолом решать, когда кто отправится в Елисейские? Что может он смыслить в этом деле?)

— По-моему, безнадежна,— отвечает он.

— Жаль... Как жаль бедную девочку! — говорю.— Но я все еще не хочу отчаиваться в ее спасении... Кто знает, счастливый перелом и дело выиграно! Какого рода страдание...

Я вдруг умолкаю, заметив, что бледное лицо его — очень бледное — подергивается, как перед сдерживаемыми слезами, и губы вздрагивают; он глядит в землю, словно веки у него налиты свинцом, и судорожно винтит свою дубинкой ямку на дорожке. Он то хмурится, то поднимает свои густые черные брови, говорит отрывистее и небрежнее, чем когда-либо, и этим еще резче выдает свое душевное расстройство. Неужто одна болезнь Марфуши могла его так расстроить? Уж не случилось ли чего? Уж не разрыв ли с Ольгой? А почему ж и не случиться этому разрыву? Ведь не все же одни только несчастья и напасти валяются, бывает, что выпадет и благодать.

— Прощайте! — говорит он, почувствовав, что я его наблюдаю.

— Постойте, Григорий Петрович, постойте, удерживаю я и даже схватываю его за рукав,— не уходите, ничего не сказав мне.

— Что ж я скажу?

— Ну, как же... ну, насчет Марфуши... значит, наше предприятие... Вернитесь с нами в Чудовку, мы там выберем время и переговорим.

— Нет, я в Чудовку не пойду, мне некогда,— отвечает он, снова порываясь уйти.

«А! Ты не хочешь в Чудовку?» — мысленно восклицаю я в ликование. Предчувствие не обмануло меня: у него вышла с Ольгой какая-то крупная неприятность!

— Погодите, погодите, Григорий Петрович,— настаиваю я.— Ну, секунду! Одну секунду!

В эту самую минуту из-за кустов на дорожку выскакивает Горюнов со словами:

— Здравствуйте, Григорий Петрович! Я уже умею руками-то!

При этом он, показывая два ряда белых, крепких, как жернова, зубов, с наслаждением описывает кистями рук цифру восемь.

— Ведь так? Нешто не так? — спрашивает он.

— Так, так, — отвечает Григорий Иванов.

— А Щербачев-то не горазд! — не переставая с тем же наслаждением вертеть руками, продолжает Горюнов. — Хотел это поднять ногу, да как грохнется!

Горюнов фыркнул, но вдруг, взглянув на меня и как бы спохватившись, принял благодный вид, выпрямился, вытер ладонью губы и стал, как в школьном фронте; но его голубые добродушные глаза все еще весело поблескивают, обращаясь на Григория Иванова.

— Ну, так прощайте, — говорит мне Григорий Иванов.

— Куда же вы? — с разочарованием вскрикнул Горюнов, снова забывая обо мне и теряя благодный вид. — Вы бы с нами, Григорий Петрович! Рыбочкин-то дошел, как завязывать морской узел! И что он выдумал! Я, говорит, сделаю такую тележку, что как ее затопить, так равно как железная дорога запыхтит и помчит... без лошадей, говорит... Ей-богу, говорит, сделаю!.. Уж я ее, говорит, словно как сделал, так, говорит, она вся, как есть, передо мною.

Григорий Иванов стоял все так же угрюмо, понурился голову, без улыбки, без ободряющих и одобряющих взглядов, но это Горюнова нимало не смущало, — если его что и смущало, так это моя персона, на которую он время от времени скидывал глаза, как бы думая:

«Эх, кабы тебя вихрем вынесло, вольнее бы было!»

— Ольга Алексеевна знает о болезни Марфуши? — шепчу я Григорию Иванову, впиваясь в него глазами. — Вы виделись сегодня с Ольгой Алексеевной?

— Видите, из Чудовки иду! — отвечает он как будто с досадою и не понижая голоса.

«Ссора, разрыв! Непременно разрыв!» — так и запело во мне.

— Я бы очень желал потолковать с Ольгой Алексеевной насчет ее поездки в Петербург, — говорю я, следуя за двинувшимся Григорием Ивановым. — Она когда думает ехать? Я для того хотел бы это знать...

— Вот и мы! Вот и мы! — взвизгивает Мефа, сопровождаемая мальчишками, выпрыгивая из чащи, взъерошенная, красная и потная.— Они ужасно обрадовались, когда услышали, что вы нам встретились! Только я сказала: «Григорий Петрович на дорожке!» — они сейчас пустились к вам бежать! Ну, что же вы не скажете, что вы ему рады? — обращается она к мальчишкам, которые быстро окружили Григория Иванова и с удовольствием на него поглядывали.— Знаете, Григорий Петрович, они желают учиться по-французски! Уж несколько слов заучили. Рыбочкин! Как по-французски небо?.. Ах, куда же вы, куда же вы? Нет, мы вас не пустим!

— Мне некогда,— резко говорит Григорий Иванов, отстраняясь от забегающей ему вперед Мефы.

— Вот он как стал к нам равнодушен! — жантильно укоряет Мефа, кивая мальчишкам головой на Григория Иванова и все-таки забегая вперед.— Даже не похвалит, что мы желаем учиться по-французски! Послушайте, не бегите от нас!

Григорий Иванов быстро останавливается; мне кажется, что он намерен хлопнуть этот старый липкий пластырь дубинкой.

— Полноте жеманиться, Мефа Павловна,— отрезывает он грубее всякого сапожника,— как вам не стыдно на старости лет?

— Что? Что? Что вы? — лепечет Мефа, из желтой делясь зеленой.— Чего вы сердитесь?

— Я не сержусь, а мне противно! — перебивает Григорий Иванов, вдруг озлобясь и затрясаясь всем телом.— Противно! Противно! Противно!

— Однако послушайте, Григорий Петрович, вы... вы...

Она теряется от беспомощной ярости и обращает на меня засветившиеся, как у кошки, глаза:

— Андриан Андреевич, я не понимаю!.. Я, право, не понимаю...

— Успокойтесь, Мефа Павловна,— говорю я,— тут, вероятно, недоразумение.

— Чего вы мычите с собой этих ребят,— продолжает Григорий Иванов с возрастающе свирепостью (ребята с любопытством слушают).— Что вы себе за игрушку нашли из живых людей? Охота играть, играйте с своими попугайчиками или в куклы! Ведь вы им жизнь отравляете! Вы им надоели хуже горькой редьки! (Между ребятами движение,

какое бывает между слушателями, когда оратор удачно выразит общее настроение). Посовеститесь и оставьте их в покое!

— Однако... однако... — лепечет Мефа, — как вы можете это говорить! Я не понимаю! Оскорблять женщину!.. Я очень в вас ошиблась!

— Преследовать французским языком!..

— Я не преследую! — перебивает с жаром Мефа, переходя из зеленого цвета в красный и из красного опять в зеленый. — Они хотят учиться и будут учиться! Они верят мне и вас слушать не станут!

— Верят вам? — ядовито хохочет Григорий Иванов. — Да они вас почитают за умовредную! Спросите-ка у любого по сости, всякий за умовредную почитает!

Мальчишки вдруг пятятся назад.

— Спросите, спросите по сости! — настаивает Григорий Иванов. — Поглядите только на них!

Горюнов вспыхивает, словно зарево, и быстро понуряет голову, как девица, трепетавшая быть узнанной и с которой вдруг неожиданно сдернули вуаль; все отступают друг за дружку; застенчивый, совестливый кудрявый Кисельников даже приседает: только маленький Рыбочкин не выказывает смущения и глядит на Григория Иванова своими соколиными глазами, словно и не понимает, что такое это он говорит.

— Пойдемте, пойдемте! — наконец, усиливается вымолвить Мефа, толкая мальчишек от Григория Иванова.

Григорий Иванов со злобным хохотом удаляется.

«Да, ссора, разрыв! — думаю я. — Григорий Иванов потрясен... глубоко потрясен! В обыкновенном своем состоянии он бы так яростно не напустился на Мефу, не затрясся бы от того, что она хочет учить мальчишек французскому языку или мичет их с собою, — он бы посмеялся, поиронизировал, и только. Разве в первый раз Мефе измышлять глупые вещи? Разве он еще месяц тому назад не знал о предположении привезти этих ребятишек в Каменку и «развивать»? Мало того, что он знал, он сам посоветовал Мефе заняться «полезной деятельностью», он набил в голову бедной шутихе, что ей следует приняться за математические науки. Нет, нет, он смертельно ранен и, как раненый зверь, кидается на всякого встречного».

— Идите же, идите, — бормочет Мефа мальчишкам.

Мальчишки двигаются вперед, она следует за ними, не глядя на меня и уже не пытаюсь повиснуть на моей руке.

— Не понимаю, что это с Григорием Петровичем сегодня? — говорю я. — Но не стоит этим так расстраиваться, Мефа Павловна: он, очевидно, сам не свой, и, опомнившись, вероятно, будет сожалеть о своей выходке и просить у вас прощения...

Мефу всю задержало, точно каждый ее член держится на ниточке, как у картонного полишинеля.

— Оскорбить женщину! — лепечет она. — Оскорбить женщину! Это низко, низко! И какая наглая ложь! Какая клевета! Он хотел поселить во мне недоверие к детям, но этого не будет! Я знаю, что мальчики меня любят! Знаю, знаю! Я вижу, что все, что о нем говорили, правда! Мне не хотелось верить, но теперь я верю! Сколько я за него вытерпела от Нуши, от всех, и вот он мне отплатил! Если бы я была мужчина, он бы не осмелился так оскорбить меня, но я женщина и была беззащитна против его дерзостей... За меня некому было заступиться, и он меня оскорбил! Это низко! Бесчестно, бесчестно!

Она долго изливает свою желчь, не замечая, что я все прибавляю шагу, почти бежит бегом.

Наконец, вот и чудовская терраса.

— Погуляйте пока в саду, дети,— обращается Мефа к мальчишкам, оправляясь и принимая вид, требуемый для входа в гостиную.

Входя на первые ступени террасы, я слышу взволнованный голос Ольги; она говорит громко, с негодованием и огорчением... Да, перелом произошел!

Я вступаю в гостиную, замирая, преисполненный тем чувством нежной жалости и благодарного удовольствия, какое мы испытываем, входя в комнату драгоценного нам существа, страдающего после выдержанной спасительной операции, я представляю себе ее лицо, я ищу ее глазами, но вижу только мелькнувшее в дверях светлое платье и концы черного пояса, и нас встречает одна Елена Дмитриевна, красная, как из горячей бани, и сконфуженная, словно ее врасплох в этой бане застали нечаянные гости.

— Ах, здравствуйте, здравствуйте,— говорит Елена Дмитриевна, пожимая руки Мефы и мне, как будто наше посещение и нивесть как ее утешило.— Ах, как я рада, ах, как я благодарна, что вы меня вспомнили! А я только что думала: вот если бы Мефа Павловна с Андрианом Андреевичем вздумали проведать. Ах, садитесь, садитесь! Вот сюда... сюда! А у меня, кстати, свежее варенье... Се-

годня утром варила... Ах, как я благодарна, как рада!

— Уж я очень часто к вам, Елена Дмитриевна,— говорит Мефа, желчь в ней еще кипит ключом, и она вдруг пожелтела, словно ее густо вымазали охрой, стараясь скрыть свое расстройство и любезничая.— Но вы такая добрая, избаловали меня и теперь уж пеняйте на себя!

— Ах, Мефа Павловна, что это вы говорите! Вы меня обижаете!..

— Я к вам с детьми, с нашими школьниками... Мы их в Каменку взяли на лето.

— Ах!.. Это прекрасно, прекрасно!

— Такие славные ребятишки!.. Я им сказала в саду погулять.

— Да не дать ли им чего-нибудь? Меду не дать ли им? У меня сегодня соты вырезали.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, Елена Дмитриевна... Это после... после...

— А Анна Павловна? Хорошо ли вчера доехала?

— Да. Она тоже собиралась к вам...

— Ах, как приятно, как приятно! В такой прекрасный вечер грех дома сидеть! — обращается она ко мне.

— Совершенно справедливо, Елена Дмитриевна,— отвечаю я.— А Ольга Алексеевна, верно, гуляет?

Я жажду расспросить, что за разговор был у ней с дочерью, быть может, решен вопрос о поездке к сестре в N-скую губернию,— быть может, убитая разрывом с Григорием Ивановым, Ольга согласилась ехать... но присутствие Мефы не позволяет мне завести об этом речь и, предав навязчивую мартышку анафеме, я решаюсь идти отыскивать Ольгу... Быть может, ей теперь тяжело видеть кого бы то ни было, и деликатнее с моей стороны подождать, пока уляжется первый порыв горя, но... но ведь ей неизвестно, что я догадываюсь о разрыве, и она сочтет мое появление неделикатным, а я между тем облегчу свою душу, уверюсь в своем предположении.

— Да... гуляет... верно, гуляет...— отвечает Елена Дмитриевна, вспыхивая и снова кидая быстрый, встревоженный взгляд на дверь, куда при нашем появлении скользнула Ольга, она все время кидала такие взгляды на эту дверь.— Она, верно, сейчас придет к нам... Как узнает, что у нас такие дорогие гости, так и поспешит... Ах, что ж это я не потчую вас вареньем! Похвалилась, да и забыла! Ах, какая я! Аграфена! Аграфена! Что ж это ее не докли-

чешься? Ах, из ума вон, что она ягоды чистит! У нас теперь много хлопот с ягодами! Такие нынешний год слабые ягоды. Как собрали, так сейчас же надо чистить и варить, а то все распадутся. Вчера почти ночью варили белую малину... Нет, уж я пойду сама, принесу... Ах, Капитолина Ивановна, как я рада! — восклицает она, слышав шаги на террасе, кидаясь туда и начиная целоваться. — Ах, Павел Петрович, как я рада! Как я рада!

— Ах, Мефа Павловна! Вы здесь, вот приятная встреча! — говорит Капитолина Ивановна Бусова, входя в гостиную в сопровождении *nature mesquine*, как называет Анна Павловна ее мужа, Павла Петровича Бусова, и целуясь с Мефой. — Ах, Андриан Андреевич! А мы с Пашей все ждем да ждем. Вы недобрый! Ну, что ваше варенье? Довольны ли вы моими ягодами?

— Прекраснейшие ягоды, Капитолина Ивановна, прекраснейшие! — отвечаю я, раскланиваясь.

— Садитесь, садитесь, — суетится Елена Дмитриевна. — На диван, Капитолина Ивановна, вот сюда... Вы пешком? Верно, устали? Ведь от вас ко мне все на гору идти.

— Да, — говорит Бусов, отдуваясь и отирая свое сытое лицо носовым платком, — все на гору...

Он одет с тою особою тщательностью, с какою одевают мужей строгие, заботливые жены: пробор на голове прям, словно пробранный по линейке, бант голубого полосатого галстука, очевидно, приколот несколькими булавками, и симметрично распускает концы вправо и влево, — даже затейливая часовая цепочка с медальончиком и малахитовым топориком как-то так искусно и прочно укреплена в жилетной петле, что и медальончик, и топорик держатся показной стороной к зрителям. Он с удовольствием опускается в кресло, но вдруг спохватывается, привскакивает и, кинув тревожный взгляд на жену, бережно расправляет мастерски выглаженный, лоснящийся, как шелк, желтый парусиновый пиджак.

— Я нисколько не устала, — говорит Капитолина Ивановна, приглаживая крупной в золотых кольцах рукой свои черные, как вороново крыло, волосы, разделенные косым рядом и прогоняя с лица облако, набежавшее при виде небрежного обращения мужа с пиджаком (куда бы она ни глядела, она всегда видит каждое движение мужа). — С чего тут устать, и двух верст не будет!

— Что же вы вчера-то не были, Капитолина Иванов-

на,— говорит хозяйка.— Я так жалела, так жалела! Все поджидала вас до самого ужина. Что это, думаю, нет Капитолины Ивановны?

— Ах, не могла, никак не могла, Елена Дмитриевна! Вчера в городе была у Четкина, заказы от него получила на вязания и на вышивки... Я ведь при моих обстоятельствах не могу ему манкировать.

— Что же, много заказов получили?

— Да, заказов много, да вот теперь новое горе: Марфушка у меня заболела. Не знаю, как и быть! Я с Натальей не успею без нее к сроку.

— Ах, какая жалость! Ну, да выздоровеет, бог даст, и успеете.

— Очень ведь заболела! И так быстро, в один день.

— Да чем же?

— И сама не разберу! Совсем на ногах не может держаться. Спрашиваю, что болит? Все! Ведь она, вы знаете, совершенная дура, и ничего от нее не добьешься, ничего не умеет объяснить.

— Теперь, слышно, по деревням горячки ходят.

— Нет, не похоже на горячку, так какая-то странная слабость... Ничего даже есть не может; Наталья говорит, что другой день не ест... Ах, тяжело, тяжело! Все неудачи, все беспокойства, неприятности! Вот и перед вами останусь виновата, Мефа Павловна,— обращается она к Мефе.— Чулки ваши не будут готовы к сроку! Полдюжины пришлю, а другую полдюжину... простите и подождите!

— Ах, полноте, милая Капитолина Ивановна,— вскрикивает Мефа,— вы, пожалуйста, обо мне не думайте, я могу ждать, сколько хотите...

— Так это все тяжело, Мефа Павловна!

— Ах, в жизни мало веселого милая Капитолина Ивановна!

— Как вспомню я свое прежнее время... Боже мой! Боже мой! Того ли я ожидала, когда был жив покойный папенька! Как вспомню, сердце так и обольется кровью!

— Ах, воспоминания прошлого только растрavляют душу! Вы знаете, Ламартин сказал: «Le souvenir du bonheur n'est plus un bonheur, mais le souvenir du malheur est encore un malheur!»<sup>1</sup> — восклицает Мефа, забывая, что Капитолина Ивановна не знает французского языка.

<sup>1</sup> Воспоминание о счастье — это уже не прежнее счастье, но воспоминание о несчастье — еще большее горе! (франц.) Ред.

— Да, да,— отвечает со вздохом Капитолина Ивановна.

— Полноте печалиться, Капитолина Ивановна,— говорит хозяйка.— Марфушка ваша скоро поправится... Ну, пошлите за Сергеем Ардалионовичем, он ей что-нибудь пропишет...

— Завтра надо будет послать... А я как выгодно шерсть купила... и радовалась! Прелесть, какая шерсть! Только что получена у Кондакова в магазине. Знаете, этакий нежный, нежный розовый цвет и густой... Вот, думала, премилая будет косыночка! Чететкин заказал, чтобы больше розовых с темно-серым, поле чтобы розовое, а по нем темно-серые шишечки и решетка кругом темно-серая, а бахромка опять розовая...

Я вдруг поднимаюсь с места и, прежде чем кто-нибудь из присутствующих успевает моргнуть глазом, выскальзываю из гостиной в первую дверь поближе, в диванную, а из диванной попадаю в коридорчик, который приводит меня к дверям комнаты, где я давно не был... где месяца два тому назад говорил о Шекспире... к дверям любимого Ольгинова уголка в доме... Ах, Ольга, Ольга, как бы хорошо могло быть в этом уголке и тебе, и другим, если бы ты не поддалась так безумно злополучному увлечению!

Все тихо. Ольги, очевидно, здесь нет, но я все-таки желаю сюда заглянуть, тихонько отворяю дверь и,— меня обдает жаром и холодом,— я вижу Ольгу, остановившуюся посреди комнаты, как останавливаются люди после порыва горя, как будто истощив весь его запас, теряясь вдруг, цепenea и тупо спрашивая себя: так это так? Это точно так? Но как же могло это быть?

При звуке отворяемой двери она слегка вздрагивает, обращает ко мне орошенное слезами лицо и вдруг вскрикивает, как бы ожив при моем появлении:

— Ну, что?

— Ольга Алексеевна! — бормочу я, не зная как понять это: «Ну, что?» — и несколько теряясь.

— Хуже ей?

— Кому?

— Да ей, Марфуше! Вы ведь знаете!

— Да, она захворала, но я полагаю, опасность не так серьезна,— отвечаю я, а сам думаю: «И она тоже хочет сваливать свое расстройство на Марфушину болезнь!»

— Нет, нет, ей не встать! — перебивает Ольга.— У нее на лице смерть... Я в первый раз это видела, но я пони-

маю, что это смерть! Господи! Какой взгляд, какая улыбка! И тоненькие, тоненькие, совсем бессильные ужасные ручки!

Слезы брызгают у нее из глаз, и она закрывается руками, точно еще видит перед собою эти тоненькие, ужасные ручки.

— Вы когда ее видели, Ольга Алексеевна? — спрашиваю я.

— Сегодня... Сегодня рано утром... Господи, как это ужасно!

А, значит, она была сегодня утром в Благодатном! И уж несомненно не у одной Марфуши!

— А я здесь стою и ничего не могу сделать, ничем не могу помочь! — вскрикивает Ольга с отчаянием. — И нельзя теперь уж помочь! Уж никто теперь не поможет, уже поздно! Как же это так умирают люди, и я никогда об этом не думала! О, если бы я могла что-нибудь для нее сделать! Я не могу забыть, как она лежит там в углу, на лавке, такая маленькая, такая беззащитная, так страшно улыбается и умирает!

Ольга зарыдала.

Я хочу сказать несколько слов успокоения, но не нахожу их. Передо мной проносится личико Марфуши, как я видел его — маленькое, прозрачное, бескровное личико с тупою улыбкою на белых губах, и мне становится самому как-то жутко... Однако я стою на своем: не одна болезнь беспомощной Марфуши доводит до подобного отчаяния Ольгу. Быть может, эта болезнь послужила только последней посторонней каплей, переполнившей свою собственную горькую чашу; иногда, я видал, хоронят самое дорогое существо покойно, с сухими глазами и вслед затем заливаются слезами и безумно рыдают, если разбивается какой-нибудь флакон, подаренный на память, или попадает на вид картинка мрачного содержания... Марфуша тут заменяет такой флакон или такую картинку...

— Ольга Алексеевна, — говорю я и дальше опять не нахожу слов.

Но Ольга меня не слушает.

— Такая беззащитная, такая беззащитная! — повторяет она, рыдая. — Такая ни в чем не виноватая и беззащитная!

Вдруг раздается легкий стук в дверь. Я быстро обертываюсь и в полуотворе вижу ястребиные глаза Анны Павловны.

— Можно мне войти, милый? — мягко спрашивает она. — Не помешаю? Я на минуточку...

## XIV

Mich fasst ein längst entwohnter Schauer,  
Der Menschheit ganzen Jammer fasst  
mich an.

Cöthe<sup>1</sup>

Человеческое воображение слишком слабо, чтобы представить всю едкость моего огорчения и всю бездну моей ярости при появлении Анны Павловны.

Я взглядываю на Ольгу.

— Кто там? — спрашивает меня Ольга, приподнимая голову.

— Это я, душенька, я,— отвечает Анна Павловна, скользнув по-змеиному в комнату и проворно обняв Ольгу.— Здравствуйте, милая! А я не знала, что Андриан Андреевич тут... и очень рада, что его, наконец, нахожу. Я шла, к вам, душечка, спросить, не знаете ли вы, где он...

— Что вам угодно, Анна Павловна? — спрашиваю я, вдруг совершенно отбросив любезные манеры и чуть не скрежеща зубами.

— Ах голубчик,— отвечает Анна Павловна, как бы не замечая ни малейшей перемены в моем обхождении,— мне необходимо вам передать... Разве вы забыли? Ах милый, на вас донесли исправнику, что вы... Позвольте мне, душенька, сесть,— усаживаясь, обращается она к Ольге.— Я ужасно устала и чуть дышу от колики... Я приехала на тряской тележке, и в боку колет... Я не хотела дожидаться коляски... испугалась за него (кивая на меня), за нашего дорогого друга...

— Какой донос? Что такое? — спрашивает Ольга, встrepенувшись и меняясь в лице.

— Вероятно, какое-нибудь глупое недоразумение,— бормочу я.

— На кого донос? Какой донос? — повторяет Ольга.

— Ах душенька, донос на него... на него! — сокрушенно вздыхает Анна Павловна.— Я так...

— Да на кого на него? — перебивает Ольга.

— На нашего дорогого Андриана Андреевича!

— На вас? — обращается ко мне Ольга.

---

<sup>1</sup> Меня охватывает страх, от которого я давно отвык, меня охватывает величие боли человечества.

— О, это какое-нибудь глупое недоразумение, Ольга Алексеевна,— отвечаю я,— и нимало меня не тревожит...

— Но какой же донос? — добивается Ольга.

— Ах душенька, это такая низость! Будто бы он развращает всех... будто бы у него по ночам тайные сборища... будто бы он заодно с Ивановым, и они каждую ночь устраивают оргии, богохульствуют и составляют планы, как истребить помещиков... Я пришла в негодование, когда услышала эту клевету!.. Я просто вскрикнула: какая низость, какая клевета! Я ручаюсь за него головой!

— Но ведь Григорий Петрович вчера в первый раз... — начинает Ольга.

Я ее перебиваю:

— Позвольте спросить вас, Анна Павловна, если это не нескромность, откуда вы это узнали?

— Что узнала, голубчик?

— О доносе, что будто бы на меня донос...

— От самого исправника, милый, от Таранельки! Я это предчувствовала, я еще сегодня утром хотела вас предупредить... Я с этим и пошла к вам, но у меня долго не хватало духа сказать, огорчить вас, бедненького! А потом явилась Фима, и я уже не хотела вводить ее в это дело: вы знаете, голубчик, Фима милая, добрая, но она не мастерица хранить тайны... Уж и так начали бог знает что болтать! Сегодня собираюсь к вам, приходит Поликсена Васильевна,— знаете, дочь отца Василия, она шла за грибами с племянницей — и зашла спросить, не хочу ли я вместе с ними... и первое ее слово: «Знаете, Анна Павловна, что, говорят, у нас делается? Слышали?» И начинает... Ничего, говорю, я не слыхала и вам не советую слушать, все это ложь, низкая клевета... Поликсена отличная девушка и мне предана, она послушается меня и будет молчать, но с другими ведь не сладишь.

— Вы напрасно беспокоились, Анна Павловна, советовать Поликсене Васильевне молчать,— говорю,— по-моему, как ей, так и другим следует предоставить удовольствие посплетничать...

— Что вы, что вы, милый! К чему вам наклепать на себя неприятность! Вы не шутите с этими вещами, голубчик... Ольга, душечка, скажите ему, чтоб он себя поберег, если не для себя, то хоть для нас — его друзей, которые его так любят... Да вы не тревожьтесь так, душенька, посмотрите, на вас лица нет! Бог даст, туча пронесется мимо... Я уже

похлопотала и, надеюсь, все устрою... Я, как узнала от Поликсены об этих глупых толках, сейчас написала исправнику записочку и послала с нарочным... Он ведь премилый, преобязательный человек. Я просила его, не медля ни минуты, ни секунды приехать ко мне по очень важному делу и ждала его к обеду, тут я и хотела свести его с нашим дорогим Андрианом Андреевичем, и чтобы они переговорили... Но к обеду он не поспел и приехал только теперь, у него там какое-то мертвое тело было, и я его привезла сюда... Пойдемте, милый,— обращается она ко мне,— переговорите с ним поскорее!.. С нами приехала и Фима,— никак не могла от нее убежать,— но я ее как-нибудь отвлеку, как-нибудь займу, пока вы объяснитесь... Пойдемте же, милый, переговорите скорее!

— Извините, Анна Павловна,— отвечаю я холодно,— я решительно не вижу в этом необходимости... считаю это излишним... странным, себя недостойным...

— Ах душенька! Убедите хоть вы его! — восклицает Анна Павловна, обращаясь к Ольге.— Он вас послушается!

— Андриан Андреевич сам лучше может решить, что ему надо делать,— говорит Ольга.

Она, видимо, в большом беспокойстве: замерло глубокое огорчение, высохли мгновенно слезы, и, как она ни старается принять спокойный вид, каждая ее черта дышит тревогой... Из-за чего ж эта большая тревога? Ведь не из-за того же, что на меня бессмысленный донос, о котором исправник Таранелька обязательно готов со мной переговорить?..

— Пойдемте, пойдемте, милый! — пристает ко мне Анна Павловна.

— Нет, Анна Павловна,— отвечаю я решительно,— я не пойду!

— Ах милый! Поберегите себя!.. Ольга, душенька, просите его!

— Отчего вы не хотите? — спрашивает меня Ольга.

— Но, Ольга Алексеевна, с какой же стати мне идти объясняться с господином Таранелькой, когда я не знаю за собой никаких проступков, подлежащих его власти,— говорю я,— с какой стати просить его заступничества, когда я не признаю за собой ничего такого, что бы...

— Вы от него лучше все узнаете, в чем дело,— прерывает меня Ольга.

И глаза ее устремляются на меня с таким выражением, что я более ни слова не возражаю и как будто начинаю колебаться и раздумывать, не лучше ли действительно объясниться с Таранелькой, между тем как меня поглощает одно: почему Ольга так встревожена этим доносом? Теперь уже я нимало не сомневаюсь в том, что она встревожена: она не выдержала роли непричастной посторонней и высказала, хотя не прямо, желание, чтоб я узнал, в чем дело.

— Ах милый! — восклицает Анна Павловна. — Послушайтесь, пойдете!

— Но, любезная Анна Павловна, — возражаю я для соблюдения аппарансов<sup>1</sup> и подпуская теплоты в тон своих слов, — я, право, не понимаю, к чему...

— Ах милый, послушайтесь!

— Если вы непременно этого желаете, я, извольте, пойду, — сдаюсь я, наконец.

— Пойдете, пойдете! — вскакивает Анна Павловна. — Ах душенька! Как я вам благодарна, что вы его убедили! — обращается она к Ольге.

— Вы можете сказать, что вы убедили, любезная Анна Павловна, — поправляю я, заметив, что Ольга вспыхнула.

(Чего она вспыхнула? Не от смущения, а как будто от страха, что дала заметить свою тревогу по поводу этого дела...)

— Ну хорошо, хорошо, cher ami... Ну, я убедила, я... я... — знаменательно улыбается Анна Павловна. — Только пойдете же скорее! Ольга, душенька, ведь вы тоже с нами?

— Да... да... — отвечает Ольга с сдержанным волнением.

— Ах, как вы милы, душенька!.. Пойдете! Пойдете!

Но едва мы успеваем выйти за двери и сделать несколько шагов, путь нам заграждает плывущая навстречу генеральша Болотникова.

— А, вот и вы! — улыбается она. — Bonjour, Ольга! Toujours belle et charmante! Я, вот видите, к вам в гости, ma chère. Je voulais me reposer un peu dans votre joli petit nid. Но я не хочу вас задерживать. Non, non, je ne veux pas!<sup>2</sup> Пойдете вместе в гостиную...

<sup>1</sup> Видимости. Ред.

<sup>2</sup> Здравствуйтесь, Ольга! Всегда красива и очаровательна... Моя дорогая... Я хотела немного отдохнуть в вашем милом маленьком гнездышке... Нет, нет, я не хочу! (франц.) Ред.

— А что, драгоценный Андриан Андреевич,— обращается ко мне эта лавина жира,— бегство вам не помогло: вы от нас бежите, а мы вас преследуем и ловим... как это говорится? На месте преступления... Хе-хе-хе! Donnez moi votre bras...<sup>1</sup>

И она повисает у меня на руке, как пятипудовый осетр!

Анна Павловна, которую при появлении сестрицы всю передернуло, тотчас же подхватывает меня под другую руку.

С каким бы невыразимым наслаждением я отдернул от себя этих старых клещей и швырнул их в пространство, ты ведаешь, творец всесильный! Но я веду их.

Предшествуемые Ольгой, мы вступаем в гостиную, где Капитолина Ивановна Бусова встречает Ольгу приветственным восклицанием, приподнимается с дивана, приготавливаясь заключить ее в объятия и уже оттопыривает для поцелуя широкие губы, имеющие подобие большой прорехи, сделанной наудачу небрежным размахом топора.

Ольга еще больше бледнеет и не только не спешит принять лобзания любезной гостии, но, к ужасу вспыхнувшей при ее появлении матери и на всеобщий скандал, этой любезной гостье даже не кланяется и быстро, как от неизбежного гада, отходит на другой конец комнаты, не заметив ловкого военного поклона исправника Таранельки, занимающего одно из кресел около гостинного стола.

Исправник Таранелька, пока сидит в кресле, представляется большим человеком, но, когда вскакивает, оказывается ростом немного повыше волшебника Черномора и с своей грудью колесом, огромными усами à la Luis Napolèon<sup>2</sup>, крупным орлиным носом, крупными черными, точно лакированными, глазами и узкими лаковыми сапожками, блестящими не хуже глаз, напоминает фигурки на крышках старинных фаянсовых кувшинов, которые фабриковали, не задаваясь соразмерностью частей.

— Ах, зачем Ольга так резка! — шепчет мне Анна Павловна в одно ухо.— Mais c'est un noble coeur:<sup>3</sup> всегда правдива.

— Très originale! — бормочет генеральша в другое.— Je pardonne tout à, la jeunesse, moi...<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Дайте мне вашу руку... (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Как у Луи Наполеона (франц.). Ред.

<sup>3</sup> Но это благородное сердце (франц.). Ред.

<sup>4</sup> Очень оригинально!.. Я все прощаю ее молодости... (франц.) Ред.

Обе останавливаются и останавливают меня в некотором отдалении от разместившихся вокруг круглого стола, точно приготавливаясь смотреть на фокусы.

Мефа ехидно сжимает свои трубообразные губы, Бусов даже вскакивает с места и отступает в угол.

Только исправник Таранелька не высказывает душевного движения и, сохраняя улыбку на устах, все так же блестит лакированными глазами.

Озадаченная Капитолина Ивановна неловко оправляется, снова усаживается на диван и с усмешкой шепчет по-змеиному, обращаясь к хозяйке:

— Ольга Алексеевна такая стала рассеянная... Точно не узнала меня...

— Как это можно! Как это можно! — лепечет, пылая стыдом за дочь, бедная Елена Дмитриевна.— Она только не заметила... Знаете, близорука... в отца близорука... Оленька, Оленька! — слабо возвышает она голосок, взывая к дочери.

— Что, мама? — отвечает Ольга, приближаясь.

— Да вот, Оленька... вот, Капитолина Ивановна... Ты так близко прошла, дружочек... — путает горемычная старушка, очевидно, ужаснувшись приближения дочери и ожидая нового скандала.

Ольга безмолвно обращает потемневшие глаза на Бусову; губы у нее начинают дрожать.

— Ах, зачем было беспокоить Ольгу Алексеевну! — говорит язвительно Бусова.— Я только хотела сказать, что очень жалела, что не успела повидаться с нею сегодня поутру: я поздно узнала, что она у меня в Благодатном... Я ведь так рано не встаю... Уж извините, Ольга Алексеевна, что я вас не приняла, как следует гостью, но такое раннее время...

— Я не к вам приходила,— говорит Ольга, начиная вся дрожать,— я приходила...

— Да, да, я вот тоже никак не могу рано встать,— перебивает ее, чуть не плача, мать, которая обыкновенно встает с петухами,— никак не могу!

Капитолина Ивановна ядовито усмехается, замечая, без особенной надобности зачем же вставать до света.

Ольга овладевает собою и, к облегчению матери, отходит от круглого стола к кушетке в углу. При этом исправник Таранелька с почтительною любезностью спрашивает

ее о здоровье, на что получает в ответ благодарность и что она совершенно здорова.

— Да, да,— продолжает лепетать старушка Чудова,— никак не могу рано встать. Оленька и меня с собой сегодня звала,— вдруг лжет она.— Будила меня... Два раза будила. А я поленилась...

— Поленились? — повторяет ядовито Бусова.

— Да, да... поленилась...— запинаясь Чудова, чувствуя всю едкую иронию этого повторения.

— Напрасно ленитесь, та bonne<sup>1</sup> Елена Дмитриевна,— говорит генеральша Болотникова, делая шаг к круглому столу и буксируя меня туда же,— нет ничего полезнее раннего вставания!.. Восходящее солнце — c'est un si beau spectacle!<sup>2</sup> А главное — полезно. Есть даже пословица какая-то о том, как полезно рано вставать,— не могу только ее припомнить...

— Ранняя птичка носок уже прочищает, а поздняя только глазки продирает? — цитирует, в виде скромного предположения, исправник Таранелька.

— Нет, другая, что-то насчет сохранности.

— Кто рано встает, того бог бережет? — спрашивает Мефа.

— Да, вроде этого...

— Ах, но это не всегда справедливо. Не всех бог...

— Андриан Андреевич,— перебивает ее генеральша Болотникова, шуточно обращаясь ко мне,— вы ведь, кажется, имеете некоторое понятие вот об этом милейшем господине (кивая на исправника), Иване Аввакумовиче Таранельке, нашем драгоценном блюстителе порядка?

— Я давно заочно вас знакомила,— вставляет Анна Павловна.

— Как же-с, я имел честь и удовольствие неоднократно встречаться,— улыбается Иван Аввакумович Таранелька, приподнимаясь, словно на пружине, быстро шаркая лаковыми сапожками и протягивая мне белую, как молоко, изумительно длиннопалую руку с блестящим рубиновым перстнем на указательном пальце.— Всегда чрезвычайно приятно вновь встретиться.

— Чрезвычайно приятно,— заявляю я.

---

<sup>1</sup> Моя хорошая (франц.). Ред.

<sup>2</sup> Это такое прекрасное зрелище! (франц.) Ред.

— Ну, садитесь, милый, около него, садитесь,— тянут меня вперебивку Анна Павловна и генеральша Болотникова.— Ну, потолкуйте хорошенько, подружитесь!..— обращаются они ко мне и к исправнику.

— Это мой завет вам! — говорит генеральша Болотникова.

— Это мое сердечное желание! — говорит Анна Павловна.

Мы, я и Таранелька, усажены рядом. Генеральша Болотникова и Анна Павловна отходят и начинают занимать разговором остальных гостей.

— А какие прекрасные дни и вечера у нас стоят нынешнее лето! — говорит Иван Аввакумович Таранелька, слегка наклоняя ко мне распомаженную голову и покручивая своими белыми пальцами склеенный кончик уса.

— Прекрасные дни и вечера...

— В прошлую пятницу мне пришлось ехать на следствие в Ивановское... изволите знать село Ивановское?

— Да, кажется, проезжал,— это по дороге в имение Краснопевцевых?

— Точно так-с,— с изысканной, какой-то, если можно так выразиться, одобрительною любезностью наклоняет голову Иван Аввакумович Таранелька.— Местоположение замечательным образом живописное.— Как вы находите-с?

— Очень живописное...

Иван Аввакумович снова наклоняет голову с тою же одобрительною любезностью.

— Так в прошлую пятницу,— продолжает он,— мне пришлось ехать туда на следствие, и я все время был в восторге: лучи заходящего солнца бросали свой прощальный привет на землю, и окружающие леса и горы покоились в лучезарном сиянии, мало-помалу, как бы с сожалением, погружаясь в таинственный мрак... А затем всплыла бледная луна и посеребрила все своим томным, очаровательным светом... Самый очаровательный свет в природе-с — это лунный, не правда ли?

— Д-да,— отвечаю я.

Исправник еще с более одобрительно-любезною улыбкой наклоняет голову и как будто хочет сказать:

«Ну, ты отвечаешь удовлетворительно, теперь я ничего не имею против того, чтобы ты тоже предложил какой-нибудь вопрос».

— Я слышал, Иван Аввакумович,— начинаю я, понизив несколько голос.

Он ко мне в упор поворачивает свой крупный орлиный нос и ласково блестит мне в глаза своими лакированными глазами.

— Я слышал вещи, крайне меня удивившие,— продолжаю я.

— Покажите, покажите! — раздаются восклицания Анны Павловны и генеральши Болотниковой.

— Я тоже хочу чистить свои кружева,— говорит Анна Павловна.

— И я тоже,— говорит генеральша Болотникова.

И они поднимаются с кресел вместе с хозяйкой и Капитолиной Ивановной Бусовой.

— Вы ведь зубчики на булавочках распяливаете? — спрашивает Капитолина Ивановна.— А решетки...

— Это новый способ чистить, душенька,— перебивает ее Анна Павловна,— это так и моется на полотне.

— Messieurs<sup>1</sup>,— обращается ко мне и к исправнику Таранельке генеральша Болотникова,— дамы вас на несколько минут покинут.

— Да, да... извините, пожалуйста,— бормочет хозяйка.

Исправник Таранелька вскакивает и шаркает с видом готовности подчиниться всяким дамским распоряжениям и, выгибая грациозно шею, объявляет, что дамское желание — закон. Я тоже шаркаю.

— Впрочем, мы одного кавалера уведем,— говорит генеральша Болотникова.— Павел Павлович,— обращается она к Бусову,— вы с нами, смотреть, как кружева чистят... Вы ведь женатый человек, и вам это не мешает...

— Очень приятно,— отвечает Павел Павлович, вставая и выходя из уголка.

— Мефа, а ты разве не идешь? — спрашивает Анна Павловна.— Ведь тебе тоже надо чистить свою белую ротонду.

— Ах, да! — спохватывается Мефа и направляется вместе с другими к дверям.

— Да,— снова начинаю я,— я слышал вещи, крайне меня удивившие... которым я даже отказываюсь верить, Иван Аввакумович...

---

<sup>1</sup> Господа (франц.). Ред.

— А! — произносит исправник Таранелька, все более и более одобрительно и любезно.

— Я слышал...

Я встречаю исполненный тревоги взгляд Ольги, которая все это время неподвижно стояла на другом конце гостиной, делая вид, что перелистывает какой-то альбом,— и слегка запинаясь. Ольга бросает перелистывать альбом и уходит через балконные двери.

— Я слышал,— повторяю я,— что на меня поступил донос, Иван Аввакумович?

— А! — снова произносит исправник Таранелька.

— Меня, разумеется, это нисколько не тревожит,— продолжаю я,— потому что я чист, как слеза младенца...

Таранелька как-то кокетливо улыбается, точно давно искусившаяся красавица, когда самонадеянный поклонник расставляет ей неискusstvennye сети, в которые она, бог весть, уже сколько времени не попадает, но тем не менее не лишает надежды, что может попасться.

— Тут какое-нибудь недоразумение, которое разрешится, вероятно, как-нибудь комически,— продолжаю я,— знаете, вроде того, как в водевилях, когда, например, ревнивый муж лезет на стену, напав на след женой измены, а в заключение оказывается, что никакой измены и в помине не было... что вместо любовной переписки жена прячет от него какую-то безделушку, которую готовит ему в сюрприз на его именины...

— А! Это прекрасно, прекрасно! Пр-р-рекр-р-расно! — заливается Таранелька тоненьким смехом.

— Что прекрасно? — спрашиваю я.

— водевиль-с... Пр-р-рекр-р-расно! — заливается он снова смехом и затем с кокетливою угрозой прибавляет: — Но не все водевили-с: бывают и драматические пьесы!

— Что вы хотите этим сказать, Иван Аввакумович? — спрашиваю я холодно.

— К слову-с, Андриан Андреевич, к слову пришлось,— улыбается он приветливо и успокоительно.

— Я позволял себе надеяться, Иван Аввакумович, что вы будете столь обязательны, объясните мне, откуда взялся этот нелепый донос,— говорю я с достоинством.

— Я в чрезвычайном затруднении, Андриан Андреевич,— кокетничает он,— я не могу выдавать своих... своих клиентов..., не должен-с... Вы хотите меня заставить отступить от моих правил...

— Подобное отступление от правил не может тревожить вашу совесть, Иван Аввакумович,— пробую я шутить,— а напротив...

— О, отступать от правил ни под каким видом не должно-с! — продолжает он кокетничать.

— Но, любезнейший Иван Аввакумович, это даже и не отступление от правил. Ведь вы не считаете этот донос основательным? Вы, смею надеяться, не считаете меня за сумасбродного мальчишку...

— О, помилуйте, помилуйте!

— Следовательно, мы можем вместе посмеяться над этою глупою сплетней... и над ее оборотом... Не правда ли? — прибавляю я, не дождавшись другого ответа, кроме приветливой улыбки.

— Конечно, конечно...

— Так посмеемся же, любезнейший Иван Аввакумович.

— Чрезвычайно бы рад, уважаемый Андриан Андреевич, чрезвычайно бы рад, но... но дело это в высшей степени щекотливое, в высшей степени щекотливое... Мне это весьма прискорбно, весьма, но я не могу этого от вас скрыть... В высшей степени щекотливое дело-с!

— То есть в каком же смысле? Для кого?

— Во всяком смысле-с... и для всех... Движимый сердечным участием, я позволю себе заметить, что поступки... неосторожные часто оказывают неотвратимо пагубное влияние на течение нашей жизни...

— На какие поступки вы намекаете, Иван Аввакумович? — спрашиваю я.— И что вы подразумеваете под словом «неосторожные»?

— Неосмотрительность,— поясняет он мягко,— неосмотрительность.

— Вы хотите сказать, что я был неосмотрителен? Неосторожен? Прекрасно. Хотя я не признаю этого за собой, но положим... В чем же состоит моя неосторожность, любезнейший Иван Аввакумович, объясните?

— О, помилуйте, объяснять такому образованному человеку, как вы, я себе никогда не позволю.

— Однако, если я вас об этом убедительнейше прошу, Иван Аввакумович?

— О, помилуйте, Андриан Андреевич, вы сами так прекрасно можете все рассудить.

— Я вас убедительнейше прошу объяснить мне, Иван Аввакумович, убедительнейше прошу...

— Ничего не могу, многоуважаемый Андриан Андреевич,— к прискорбию моему, ничего не могу...

— Но я вас прошу только дать мне понятие...

— Дают понятие в высших сферах, многоуважаемый Андриан Андреевич, а я только могу препроводить...

— Что препроводить? Куда?

— Полученные сведения и свое мнение о них... в высшие сферы...

— Что вы подразумеваете под высшими сферами?

— Его превосходительство начальник губернии желает самолично вникать во все сколько-нибудь смутное, и я имею приказ прямо и непосредственно препровождать к нему всякое сведение, касающееся вольнодумства...

— Так вы, значит, препроводили?

— Что же оставалось мне делать? — спрашивает он меня со вздохом и пожимая плечами.

— Препроводили?

— Препроводил-с.

— А!.. Но я до сих пор полагал, что вы препровождаете только сведения, на чем-нибудь основанные... чем-нибудь оправдываемые... Одним словом, сведения, хотя сколько-нибудь фундаментальные... а не пустые слухи... не уездные сплетни...

— Кто же может решить, где фундаментально и где нет? — отвечает он с ласковым укором.— Относительно дела столь ответственного...

В эту самую минуту в гостиную мелкой рысцой вбегает Анна Павловна.

— Ну, что, вы поладили? — шутиливо говорит она нам.

— О, совершенно! — отвечает Таранелька, улыбаясь.

— О, совершенно! — повторяю я.— Господин исправник был так любезен, сообщил мне, что донос, сделанный на меня, препровожден им в высшие сферы, т. е. к начальнику губернии...

— Ах боже мой! К Никите Николаевичу? — восклицает Анна Павловна.— Ах Иван Аввакумович, а я вас так просила!

— Весьма прискорбно, Анна Павловна,— вздыхает Таранелька,— весьма прискорбно, но долг мой...

— Да нет, это он нас только пугает! — обращается ко мне Анна Павловна.— Нет, нет, он у нас добрый! Он пожурит нас и простит. Ведь так, милый Иван Аввакумович?

— Сердечно рад служить, Анна Павловна,— отвечает Таранелька, прижимая свои молочные пальцы к левой стороне груди,— но есть обстоятельства, когда я могу только соболезновать...

— Насилу вырвалась! — шепотом восклицает генеральша Болотникова, вторгаясь стремительно в двери и кидая недовольный взгляд на предупредившую ее Анну Павловну.— Ну, что? Сговорились? — обращается она ко мне и Таранельке.

— Ах Фима! Иван Аввакумович недобрый! Он нас пугает! — отвечает Анна Павловна.

— Чем же это он пугает? — спрашивает генеральша Болотникова.

— Помилуйте,— говорит Таранелька, любезно улыбаясь и склоняясь наперед корпусом,— помилуйте!

— Он уверяет, что уже донесено Никите Николаевичу!

— Ну, что ж такое, что донесено Никите Николаевичу? — говорит генеральша Болотникова.— Je lui écrigai un mot et il m'arrangera tout cela <sup>1</sup>.

— Уж не знаю,— вздыхает Анна Павловна с видом сокрушающего сомнения.

— Я знаю, ma chère! — несколько раздраженно отвечает генеральша Болотникова.

— Ах, ma chère! Ты так легко во все веришь! — снова вздыхает Анна Павловна, как бы не замечая неприятного оттенка в тоне «Я знаю».

— А ты иногда желаешь все видеть в мрачном цвете, ma chère, и очень мнительна...

— Ах, лучше быть мнительной, ma chère, чем слишком доверчивой!

— Ах, ma chère! Il vous plait de la dire! Не беспокойтесь, драгоценный Андриан Андреевич,— обращается она ко мне,— я сегодня же напишу Никите Николаевичу, и мы все уладим! Il m'est très dévoué <sup>2</sup>, Никита Николаевич... И к тому же он теперь в большой радости: Доминика Францевна подарила его наследником! Я только вчера получила от него письмо...

— Вчера? — произносит Анна Павловна, слегка прищуриваясь.

---

<sup>1</sup> Я ему напишу одно слово, и он мне уладит все это (франц.).  
*Ред.*

<sup>2</sup> Вы любите это говорить!.. Он мне очень предан (франц.). *Ред.*

— Да, вчера! — отвечает генеральша Болотникова с силою невинности. — Il m'écrit qu'il a deux anges! «Я, — пишет, — так счастлив, так счастлив, что теперь только недостает вас для моего полного благополучия»... Советуется, как назвать новорожденного... C'est un si brave homme, se cher<sup>1</sup> Никита Николаевич! Я ему сегодня же напишу... С этого следовало и начать! Но вы сами виноваты, дражайший мой Андриан Андреевич!

— Чем же, Серафима Павловна? — спрашиваю я.

— Да слишком уж много у вас ревнителей, а знаете пословицу: у семи нянек дитя без глазу... Ты, Нуша, пожалуйста, не прими на свой счет... Но, согласись, если бы ты от меня почему-то не скрывала, что ты хлопочешь об этом деле, мы бы все посоветовались и все бы сразу обсудили...

— Ах Фима, разве я могу распорядиться чужой тайной? — возражает Анна Павловна. — Ты ведь тоже хлопотала, а мне ничего не говорила. И я за это...

— Ну, не будем уж считаться, ma chère! — прерывает ее генеральша Болотникова и обращается к Таранельке: — А я все-таки на вас сердита, Иван Аввакумович!

— Чем мог я навлечь на себя ваше неудовольствие, Серафима Павловна? — спрашивает Таранелька, все время сидевший с улыбкой и со склоненным вперед корпусом, словно замер в полупоклоне.

— Зачем вы так поспешили написать Никите Николаевичу? Я ведь просила вас подождать немножко. Хоть это не беда, но отчего было не подождать?

— Не мог, Серафима Павловна, — отвечает Таранелька, — к прискорбию моему, никак не мог! Во всех других случаях готов исполнять вашу волю, но тут мой долг...

— Ну, добро! Добро! Я вам отомщу за это! Погодите! Таранелька наклоняет голову говоря:

— В вашей власти казнить и миловать, Серафима Павловна!

— Не помилую! Не помилую! Не стойте... Итак, милейший Андриан Андреевич, вы теперь удостоиваете меня вашего полного доверия и предоставляете мне устроить это дело? Не бойтесь, как Нуша, что тут помешает моя излишняя доверчивость?

---

<sup>1</sup> Он мне пишет, что у него два ангела... Это такой добрый человек, этот дорогой Никита Николаевич! (франц.) Ред.

— Ах Фима! У тебя особенный талант толковать мои слова! — отзывается Анна Павловна, начинающая приходить в заметную ажитацию.

— Так вверяетесь мне, милый Андриан Андреевич? Предоставляете устроить это дело?

— Душевно вам признателен, Серафима Павловна, — отвечаю я, — но я нахожусь в невероятном положении...

— Это как? В каком положении?

— Я не имею понятия, в чем состоит это дело, по-видимому, для меня столь важное...

— Ну, полноте, как не знаете!

— Даю вам слово! Я слышу, что на меня донос, что я обвинен в каких-то ночных сходках и оргиях, в распространении безнравственных начал, но это до такой степени нелепо, что я решительно отказываюсь этому верить! Быть может, в уезде существует мой двойник, который совершает взводимые на меня проделки, но ведь до меня это не касается...

— Ну, полноте волноваться, милейший Андриан Андреевич, — прерывает меня генеральша Болотникова, — все это пустяки... Я напишу Никите Николаевичу! Я поручусь за вас своей головой — довольны вы? Et tout sera arrangé<sup>1</sup>. Тсс... идут!..

Хозяйка, возвратившаяся в сопровождении Мефы и Бусовых, приглашает нас перейти на террасу, куда принесут подносы с вареньями и ягодами и где генеральша Болотникова, навалив себе на тарелку фунта полтора земляники, завязывает общий разговор, начав с опасения о здоровье губернаторши, которая подарила мужа наследником.

— Она очень себя нежит, — говорит Капитолина Ивановна Бусова, придвигая мужу вазу с ягодами и делая ему бровями знак, чтоб он не зевал.

— Ах, нет, она у меня слабенькая! — с заботой возражает генеральша Болотникова, видевшая раза два в своей жизни слабенькую губернаторшу.

— Потому, что очень себя нежит, — настаивает Бусова, снова делая мужу знак бровями, чтоб он запасся ягодами из другой вазы. — Я была воспитана, может быть, деликатнее, чем она, а вот теперь ко всему привыкла, все переносу...

---

<sup>1</sup> И все будет улажено (франц.). Ред.

— Ах, нет, нет, она у меня очень слабенькая, — твердит генеральша Болотникова, истребляя так быстро землянику, словно она ее с ложки не в рот кладет, а кидает за плечо.

— Но ты так давно не видала Доминику Францевну, Фима, — мягко замечает Анна Павловна, — что она могла успеть за это время окрепнуть и совершенно поправиться...

— Дай бог! Дай бог! *C'est une si charmante personne!*<sup>1</sup> — отвечает генеральша Болотникова, игнорируя иронию сестриного замечания. — Я, быть может, в самом деле мнительна, когда дело идет о моих друзьях... Но я уже неисправима в этом отношении. Завидую иногда холодным натурам, но себя пересоздать не в силах...

— Ах, Фима, ты слишком добра, *ma chère*: ты иногда считаешь друзьями, с кем и двух слов не сказала!.. Кто и твоего имени не припомнит, если с тобой встретится... — вздыхает Анна Павловна.

— Ах Нуша, *ma chère*, ты точно завидуешь, что у меня много друзей!.. Да, так я говорила, что Никита Николаевич утопает теперь в блаженстве! «Это такой мне подарок, — пишет мне, — что я не знаю, как за него благодарить судьбу!..»

— Это, так сказать, подарок всей нашей губернии, — говорит исправник Таранелька, грациозно спуская с ложки варенье в рот. — Никита Николаевич столь всеми любим и чтим, что каждый счастлив разделить его радость.

— Да, да, — вставляет хозяйка, беспрестанно оглядываясь, словно ждет выстрела из ружья.

— Богатые и знатные всегда любимы и чтимы, — замечает Бусова, — и с ними всегда все рады разделить. Я помню, как при покойном папеньке нас на руках носили, а вот теперь так многие едва узнают...

— О, возможно ли? — учтиво восклицает Таранелька.

— Как вам не грех это говорить, душенька! — укоряет Анна Павловна. — Тех, у кого благородное сердце, ваше несчастье заставляет еще более любить вас!

— Да, да! — поддакивает хозяйка.

— Нет, Анна Павловна, нет! Теперь не то! — вздыхает Бусова. — Я ведь вижу...

— Ах, люди так низки! — вдруг выпаливает Мефа, и белесые глаза ее окидывают меня таким злобным взглядом, что я невольно устремляю на нее свой... Жест, с которым она

<sup>1</sup> Это такая очаровательная особа! (франц.) Ред.

отвертывает от меня свою изношенную физиономию, убеждает меня, что камень был кинут в мой огород. С чего полоумная дева на меня вдруг озлилась?

Я не дал бы выеденного яйца за расположение старой шутихи, но в эту минуту ее подлый укол приводит меня в ярость, в какую может привести измученного до бессилия больного лезущая ему в глаза муха, когда он говорит себе: «Даже от мухи не могу защититься!»

И зачем меня занесла нелегкая в этот проклятый N-ский уезд? Зачем я не вырвался из этого болота до сих пор? Я сам, своими руками, закинул себе петлю на шею и сам ее покрепче затягивал! Чем кончится вся эта история? Разумеется, рано или поздно разъяснится, что донос этот — чепуха, но пока разъяснится, сколько передрыг могут меня постигнуть! Мое безумное прошлое, вероятно, неизвестно Никите Николаевичу и теперь это непременно отзовется! И единому господу богу ведомо, как я выпутаюсь... о Ольга, Ольга!

Воспоминание об ее испуге и волнении при известии о доносе пронзает меня стрелой. Отчего такой испуг и такое волнение? Кто знает, что наколобродил тут этот безобразный Григорий Иванов? Кто может поручиться, что действительно не было где-нибудь — хоть в той же старой бане, которую он теперь избрал своей резиденцией, — и ночных сборищ, и тысячи тысяч нелепостей и безобразий? О Ольга, Ольга! И ты могла сочувствовать всему этому паясничеству! И ты могла предпочесть хвастливого мальчишку человеку, который... мог бы дать серьезное счастье...

Да, что было нечто безобразное, в этом нет ни малейшего сомнения. Невозможно же, в самом деле, составить донос из ничего. Да это так и похоже на Григория Иванова с братиею! И, кто знает? Быть может, они нарочно меня хотели впутать, внезапная доверчивость Григория Иванова подозрительна... Положим, все эти скороспелки-прогрессисты недальноумны, но тут уже он выказал слишком большую наивность... Наивен-то был я! О простофиля, простофиля! И неужто Ольга участвовала в этой низости? А что же тут удивительного? Чего не сделает влюбленная женщина по слову своего предмета! Боги милосердные! Неужто мне вечно суждено попадать из одних тисков в другие! И сам, сам всегда в них залезу с самонадеянною улыбкой, с уверенностью, что тут-то и получишь всякие блага! И вот теперь, быть может, выпрыгал себе какую-нибудь Колу или

Архангельск, или даже не столь отдаленные места... Никита Николаевич не грешит нерешительностью, а еще менее поблажкою или долгим разбирательством (и хорошо делает, когда это касается виновных), — разве не отправил он моего старинного приятеля Погорельцева в известную страну, где козам рога правят, за то только, что нашлась у одной личности его записка о присылке тюфяка? «Пришли, сделай милость, обещанный тюфяк, — писал Погорельцев, — а то смерть бока протер! Он у меня будет в сохранности и через две недели препровожден к тебе». Я знаю, что Погорельцев под тюфяком подразумевал тюфяк — простой, линиялый, общипанный тюфяк, который я не раз своими глазами видел, потому что он нередко лежал без простыни на столе, служа ложем засидевшемуся товарищу, но Никита Николаевич был уверен, что подразумевался вреднейший отщепенец, которого Погорельцев предлагал приютить у себя с целью вместе проповедовать безнравственные начала, и махнул Погорельцева, уже тогда отца семейства и пристрастившегося к разведению артишоков, в страну, где козам рога правят! А я сам разве не ознакомился с ужасным северным городом, где меня большая часть туземцев почитала за делателя фальшивой монеты, пятижена, где губернаторша заставляла меня клеить коробочки и декалькомонировать<sup>1</sup>, где я нажил неизлечимый катар и просидел три года, как в мешке, из-за того только... из-за вещей вроде Погорельцевского тюфяка! И после того, как я заплатил лучшими тремя годами жизни за науку быть умнее, я опять, как слепой осел, совался в яму! О Ольга, Ольга!

Мною вдруг овладевает свирепая злость на эту бесхарактерную, тупоумную девчонку. И что я такое находил в ней? Из чего я бился?

Но все кончено... Мне нет более дела ни до ее гибели, ни до ее спасения... Бежать, бежать, бежать от нее и от всех кикимор N-ского уезда! Кончено! Кончено!

— Что так задумались, голубчик? — шепчет мне Анна Павловна. — Конечно, можно опасаться, когда Фима взялась за это дело... но...

— Я думаю о том, — отвечаю я ей, не понижая голоса, — что я слишком загостился в N-ском уезде и что мне пора с ним расстаться.

— Что вы! Что вы! — раздается со всех сторон, даже

---

<sup>1</sup> Наносить на предмет «переводные картинки». Ред.

Бусов, начинившийся до тошноты ягодами и вареньем и совсем посоловелый, считает себя обязанным присоединиться к хору и произносит: «Что вы! Что вы!» Одна Мефа молчит и только зеленеет, взглядывая на меня.

— Да кто же вас пустит! — говорит генеральша Болотникова. — И вам не совестно задумывать такие вещи?

— Что делать! — отвечаю я. — Я человек смиренный и робкий и боюсь доносов.

Генеральша Болотникова и Анна Павловна делают мне знаки, чтобы я замолчал, но я не внимаю, — я хочу им показать, что нисколько не забочусь о тайне и в сущности только смеюсь над доносом.

— Вы имеете намерение покинуть наш уезд? — спрашивает меня Таранелька, и в его лаковых глазах сверкает что-то такое, словно он про себя посмеивается: «А вот я погляжу, как-то ты его покинешь!»

— Да, — отвечаю я.

— И для каких же мест вы хотите нам изменить? — спрашивает он с тем же сверканием в глазах.

— Сначала для очень близких, — отвечаю я несколько небрежно, — я прежде всего отправлюсь к начальнику губернии.

— Ах милый! — восклицает Анна Павловна.

— Полноте, полноте! — почти строго говорит генеральша Болотникова.

Таранелька слегка щурится и гладит усы своими молочными пальцами, как бы говоря: «Знаю, знаю! Это недурно придумано, но мы и не такие ухищрения видывали».

— Что ж такое случилось? — жадно спрашивает Бусова, наострившая уши при первых моих словах, очевидно надеясь выведать новую подробность несомненно известной уже ей истории.

— Ничего, душенька, пустяки... — отвечает ей Анна Павловна.

— Зачем делать тайну из такой забавной истории, — говорю я и, обращаясь к Бусовой, передаю ей, что на меня сделан донос и в чем этот донос, по слухам, заключается.

— Ах боже мой! — восклицает хозяйка.

— Ах царь небесный! Ах царь небесный! — крестится Бусова.

Мефа вдруг встает и начинает прощаться.

— Куда же, Мефа Павловна? Куда так рано? — удерживает ее хозяйка.

— Нет, нет, пора,— отвечает злющая обезьяна, надеясь, кажется, уязвить меня своим игнорированием касающихся меня дел,— я еще погуляю с мальчиками, они меня уже заждались.

— Ах, как жаль! Ах, как жаль! Ах, я и забыла меду-то мальчикам.

— О, не надо, не надо, нам пора!

Старая тварь делает общий приветливый поклон, но так, что я для всех заметным образом из этого прощального приветствия исключен, и уходит.

— Что у вас вышло с Мефой, милый? — шепчет мне Анна Павловна.

— Ничего,— отвечаю я.

— Она ужасно оскорблена, как только мы пошли смотреть кружева, она на меня набросилась: «Вот твои друзья! Вот твои друзья!»

— Чем же она оскорблена?

— Говорит, что вы трус, что вы ее не защитили... что ей при вас Григорий Иванов наговорил дерзостей.

— Да кто же этот донос-то сделал? — спрашивает меня Бусова.

— Не имею удовольствия знать имя этой почтенной особы,— улыбаюсь я.

Таранелька, встречаясь со мной глазами, тоже улыбается.

В самом деле, кто сделал донос? Может быть, мой пустоголовый проприетер, подозревающий меня в похищении вишен из его сада, может быть, совершенно неизвестный мне блюститель уездной нравственности,— может быть, даже мой нежный друг Анна Павловна или учащий о мировой и человеческой душах Ферапонтов.

Но что до этого за дело, кто,— донос принят и сопровожден, и я могу через двадцать четыре часа катить по дороге в страну, где козам рога правят.

— Так неужели вы не узнали? — удивляется Бусова.— Уж я бы на вашем месте непременно узнала!.. Уж умерла бы, а узнала! И вы даже ни на кого не думаете, не догадываетесь?

— Нет, уважаемая Капитолина Ивановна,— отвечаю я с улыбкой,— не догадываюсь!

— Ах, забудем об этом! — восклицает Анна Павловна.— Бог даст, все окончится благополучно. Я готова вся-

кому своей головой поручиться, что наш милый Андриан Андреевич просто жертва клеветы.

— А вы как думаете, Анна Павловна, кто бы это мог? — добивается Бусова.

— Не знаю, душенька, не знаю! — так поспешно заявляет Анна Павловна, что я с уверенностью говорю себе: «Она знает!»

— Откуда ж это узнать? — с такою невинностью отзывается генеральша Болотникова, что я мысленно повторяю: «И эта знает!»

— Господи, господи! — тихо произносит хозяйка. — Все беды да беды!

— Ведь вы-то уж знаете, Иван Аввакумович, — обращается Бусова к Таранельке заискивающим голосом, — отчего бы нам не сказать?

— О, на какие вещи вы меня подвигаете! — отвечает Таранелька с любезною шутливостью.

— Ах, он прескритный! — начинает жаловаться Анна Павловна. — Он ничего не скажет, как ни проси! Это даже обидно, что он нам так не доверяет...

— Ах боже мой! — вдруг вскрикивает она. — Ах боже мой! Что это значит?

— Что, что такое? — раздается общее восклицание.

— Смотрите! Смотрите! Григорий Петрович с Марфушкой на руках!

— Что? — взрывается, как дикий бык, Бусова, вскакивая и чуть не опрокидывая стол.

— Смотрите! Смотрите! — кричит Анна Павловна.

Хозяйка приподнимается с кресла, как будто намереваясь что-то предпринять, но только беспомощно всплескивает ручками. Таранелька проворно встает и мгновенно словно молодеет двадцатью годами.

— *Quel coup de théâtre!*<sup>1</sup> — говорит генеральша Болотникова.

«О, безобразный паяц! О, отвратительный комедиант!» — мысленно восклицаю я.

Несколько секунд мы в безмолвии наблюдаем, как Григорий Иванов, сокрушая на пути левкой, резеду и жасмины, несетя по цветнику с Марфушкой на руках, направляясь к балконным дверям в комнату Ольги... Он бледен, как полотно, и, очевидно, измучен своей ношей; он тяжело

---

<sup>1</sup> Какой театральный эффект! (франц.) Ред.

дышит, и пот сыплется с его лба. Обернутая в какие-то лохмотья девочка безжизненно лежит головой на его плече, и ее свесившаяся прозрачная, бесцветная ручка напоминает руки миниатюрных восковых распятий, какие иногда встречаются в бедных католических церквях.

Что-то среднее между лаем, ревом и визгом, вылетающее из груди Капитолины Ивановны Бусовой, заставляет его бросить взгляд в нашу сторону, но вид наш нисколько его не останавливает и не возбуждает в нем ничего, кроме угрюмого отвращения.

К Бусовой, наконец, возвращается дар слова.

— Чего же ты стоишь? — напускается она на мужа. — Иди, останови, гони!

Бусов перепуганно кидается за Григорием Ивановым.

— Ах, ma bonne chère<sup>1</sup> Елена Дмитриевна! — тихо говорит, качая головою, генеральша Болотникова хозяйке.

— Ах вы моя бедная! — восклицает с участливым соболезнованием Анна Павловна.

Таранелька пристально смотрит на хозяйку с ласковым выжиданием.

— Нет, нет, уже этого я не позволю! — вдруг вскрикивает не своим голоском жалкая старушка. — Нет, нет!

Она, пошатываясь и спотыкаясь, тоже бежит вслед Григорию Иванову; мы все стремимся за нею.

— Не подходите ко мне, слышите? Не подходите! — рычит, как зверь, Григорий Иванов с исказившимся от злобы лицом. — Слышите, не подходите!

— Гриша, Гриша! — лепечет Бусов, не решаясь ни отступить, ни приблизиться и мучительно балансируя на месте. — Я тебе приказываю, Гриша! Я — дядя! Я — опекун!

— Не подходите! — еще злобнее рычит Григорий Иванов, окидывая всех угрожающим взглядом.

В эту минуту к нему подбегает хозяйка с криком:

— Как вы смели? Как вы смели?

Больше она не в состоянии выговорить и, вся дрожа, только глядит на него.

— Что как я смел? — грубо спрашивает Григорий Иванов.

---

<sup>1</sup> Моя добрая, дорогая (франц.). Ред.

— В мой дом... в моем доме...

— Mon dieu! Mon dieu! <sup>1</sup> — восклицает Анна Павловна.

— Quelle imprudence! <sup>2</sup> — восклицает генеральша Болотникова.

Таранелька все молодеет, все более и более исполняется каким-то внутренним огнем и зорко за всем следит.

— Что ваш дом? Что в вашем доме? — спрашивает Григорий Иванов, перебегая глазами по всем окружающим его лицам, как волк, увидавший облаву.

— Что ж ты? Что ж ты? — снова накидывается исступленная Бусова на мужа, но едва тот делает шаг к Григорию Иванову, как она схватывает его обеими руками и откидывает назад, крича:

— Не подходи к нему, не подходи! Это разбойник! Он убьет! Елена Дмитриевна, вы здесь хозяйка! Позовите людей! Прикажите отнять у него девочку! Прикажите его выгнать! Вытолкать! Связать!

— Я позову людей! — дребезжит голосок Елены Дмитриевны.

— А, до последней, значит, минуты хотите ее заедать! — говорит Григорий Иванов с такой усмешкой, что все быстро пьются от него. — Ну, что же, ваша воля! Кто хочет ее взять? Подходи, бери!

Никто не двигается с места.

— Сейчас оставь ее! — задыхаясь, едва внятно произносит Бусова. — Иван Аввакумович, заступитесь за меня! Что же это такое?

Таранелька просит ее успокоиться и гладит усы. Ему теперь на вид двадцать лет.

Григорий Иванов быстро подходит к балкону, изнеможенный садится на ступеньке с своей ношей.

Я тотчас же узнаю большие впалые глаза, окаймленные широкими темными кругами, и бессмысленную улыбку на белых губах. О, ужасные глаза и ужасная улыбка! Они сохраняют свое прежнее выражение, но вместе с тем приняли и другое... то, какое бывает у человека, несомненно, отходящего от жизни, когда он, видимо, угасает и не то сознает это угасание, не то нет, не то беспомощно его пугается, не то ему рад, не то совершенно к нему равнодушен, как и к покидаемой жизни.

---

<sup>1</sup> Боже мой! Боже мой! (франц.) Ред.

<sup>2</sup> Какое неблагоприятие! (франц.) Ред.

— Зачем вы сюда ее принесли? — спрашивает дрожащая, как листок, Елена Дмитриевна.

— Затем, что она уцепилась за меня и кричала, чтобы я ее куда-нибудь унес! Затем, что ей там, в избенном углу, все мерещатся спицы и чулки и представляется, что они душат ее и колят ей глаза! Затем, что надо же ей хоть несколько часов, хоть перед смертью...

Голос у него внезапно прерывается; лицо судорожно подергивается; он стискивает зубы и опускает глаза.

— Но зачем же было ее нести в мой дом? — лепечет Елена Дмитриевна.— Зачем же в мой дом? Можно было позвать доктора... доктор поможет!

Григорий Иванов не растискивает зубов и не поднимает глаз.

— Нельзя же так в дом...— начинает генеральша Болотникова, но не оканчивает.

— Все это только комедия! Бедную больную девочку схватывать с постели! Так только уморить можно! — шепчет мне Анна Павловна.

— Марфуша, поедem домой! — приказывает, но, не смотря на свое исступление, мягко, Бусова.

Умиравшая девочка, до сих пор как бы не сознававшая, что вокруг происходит, при звуке хозяйского голоса вздрагивает, как от электрического удара, делает движение прижаться к Григорию Иванову, тихо стонет и зажмуривается.

Бусова опять обращается к исправнику.

— Иван Аввакумович, да заступитесь же за меня!

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, Капитолина Ивановна,— отвечает Таранелька, пригладивший, как утюгом, усы пальцами и потирая ладони,— только не беспокойтесь...

— Ее надо домой, ее надо домой! — лепечет Елена Дмитриевна.— Я сейчас прикажу запретить лошадей... я прикажу заложить шарабан.

— Да, прикажите, прикажите! — хором восклицают Анна Павловна и генеральша Болотникова.

— Где вы шатаетесь? — грубо кричит Григорий Иванов.

Я быстро обертываюсь и вижу подбегающую Ольгу.

— Вот она там в вонючем углу металась,— говорит он, кивая на девочку,— и кричала, чтоб я ее куда-нибудь унес. Я послушался и принес к вам. Но вашей матери не хочется, чтобы она хоть перед смертью вольней вздохнула, и она грозит мне, что позовет людей!

— Оленька, Оленька! Ты ведь сама можешь это понять! — едва выговаривает Елена Дмитриевна. — Ей надо домой, там позовут доктора, там ей лучше!.. Я прикажу заложить шарабанчик, и ее прекрасно довезут... Да где же это люди? Господи!.. Павел Петрович, сделайте одолжение, поκληчьте!

Бусов с радостью кидается бежать.

— Поскорее, поскорее! — кричит ему вслед жена.

— Да, коли так, так уж лучше поспешить! — злобно смеется Григорий Иванов. — Гнать, так гнать!

Ольга обращает к матери белое, как мел, лицо.

— Если вы ее выгоните, — говорит она глухим, точно чужим голосом, — я сейчас же уйду от вас! Я минуты у вас не останусь! Если вы меня запрете, я разобью себе голову! Я вас возненавижу! Я ее не дам! Вы ее у меня только тогда вырвете, когда меня убьете! Несите ее в мою комнату! — вдруг вскрикивает она, бросаясь к дверям и распахивая их настежь. — Несите, несите!

— Нет, нет! — кричит Елена Дмитриевна, растопыривая ручки и становясь перед Григорием Ивановым, но он отстраняет ее, как тюлевый вуаль, и входит с своей ношей в Ольгину комнату.

— Оленька, помилуй, Оленька, Оленька!..

Старушка шатается и готова упасть. Ее подхватывает Анна Павловна и генеральша Болотникова и в два голоса жужжат ей:

— Будьте тверды, будьте тверды!

— Если б я тут хозяйка! Если б я на вашем месте! — восклицает Бусова.

— Угодно, чтобы я немедленно употребил вверенную мне власть? — спрашивает Таранелька с таким видом, словно предлагает букет цветов.

— Ах боже ты мой! Боже! — в беспомощном отчаянии шепчет старушка.

— Разумеется, разумеется! — восклицает Анна Павловна. — Пора уж это прекратить.

— Да, да, — поддакивает Болотникова.

На меня вдруг находит безумный стих.

— Чего вы так отчаиваетесь, Елена Дмитриевна? — говорю я, взяв ее похолодевшую ручку. — Вы должны не отчаиваться, а радоваться, что можете дать хоть несколько минут отрады и отдыха несчастному, забитому, беззащитному, умирающему существу. Вы должны не плакаться на

свою дочь, а гордиться ею! Где беда? Какое преступление сделал Иванов? Зброшенная, одинокая и умирающая девочка мечется в вонючем углу и молит куда-нибудь ее унести. Он не может устоять против этой мольбы и несет ее туда, где, знает, ее приютят... Разве в этом есть что-нибудь бесчеловечное или бесчестное? Вы только вообразите себе жизнь девочки,— жизнь, которая не была никогда согрета лаской, которая ничего, ничего ей не дала, кроме безустанной работы, доведшей ее до идиотизма! Я не говорю, что это делалось умышленно, но часто совершаются неумышленно и незаметно непохвальные вещи! Что бы вы сказали, если бы с малолетства взяли вашу дочь на вязание решетчатых чулок и шарфов и продержали бы на этой работе несколько лет и погубили бы ее здоровье, и довели бы ее до идиотизма! Ее бы не истязали, не били, но она не знала бы ни одной детской игры, ни одной радости, она не знала бы, что такое ласка, что такое чья-нибудь любовь... даже что такое отдых... И умирала бы в вонючем углу и стала бы молить, чтобы ее оттуда куда-нибудь унесли...

— Перестаньте, перестаньте! — шепчет старушка, мотая головой и заливаясь слезами.

— Не слушайте никого, пойдите к вашей дочери и скажите ей, что вы не прогоните это несчастное умирающее создание.

Она беспрекословно за мной следует. У дверей я оставаюсь и, обращаясь к остающимся за нами отверстым глазам,— только рот Таранельки крепко сжат,— прибавляю:

— Если б я мог думать, что кто-нибудь решится терзать умирающую, я сам бы стал защищать эту дверь! Это было бы зверское убийство, о котором я был бы готов написать донос!

С этими словами я пропускаю вперед Елену Дмитриевну и притворяю за нами дверь.

При нашем появлении Ольга, стоявшая, припав лицом к подушке, на коленях у своей кровати, на которой уже лежала Марфуша, и Григорий Иванов, забившийся в угол, как раненый зверь в чашу, поднимают головы. Ольга быстро встает, делает шаг к матери и резко спрашивает:

— Зачем вы пришли? Если вы пришли...

— Оленька, Оленька! — шепчет старушка, подходя к ней и с робкой лаской притрагиваясь к ее плечу своими дрожащими пальчиками.— Я тебе не мешаю. Пусть она

остается... Мы вот за доктором пошлем и ее полечим...  
А ты так не огорчайся...

— Мама, моя милая, хорошая, дорогая мама! — вскрикивает Ольга, с рыданиями схватывая и прижимая к себе мать. — Моя милая, милая мама!

Я выскальзываю в боковую дверь и, добравшись до диванной, приседаю на оттоманке, уткнув голову в подушки...

## XV.

Горькое мое дело воронье: от ворон отстала, к павам не пристала,— кружусь да долблю носом на перепутье.

*(Сказка о неудачной вороне)*

Редко бывал я в настроении, более невыносимом, чем в утро, следовавшее за вышеизложенным. Только что успел я открыть глаза после тяжелого, беспокойного, не освежившего меня сна, как на меня точно вдруг навалили целую гору свинца. Мысли, одна другой безотраднее, опасения, одно другого мрачнее, начали одолевать.

К чему я выскочил вчера с этим спичем? Положим, я имел основание, но ведь старушка Чудова и без моего спича непременно бы сдалась... И мне лучше бы поудержаться! Неужто я никогда не научусь владеть хоть своим языком? В таком случае мне надо сидеть взаперти... О создатель! Отчего я не могу погрузиться в какую-нибудь науку,— в геологию, например... Как бы спокойно! А между тем и польза человечеству... Или всецело предаться мечте об исследовании какой-нибудь неизвестной губы или необитаемого островка. Не бежать ли мне в Крым, где побезлюднее, поселиться у моря и начать вести созерцательную жизнь? Там я, быть может, даже что-нибудь придумаю такое, за что меня поблагодарят другие, а здесь, в круговороте непримиримых столкновений, я только путаюсь, страдаю и глуплю...

— Андриан Андреевич, а Андриан Андреевич,— обращается ко мне Авдотья Степановна, уже несколько минут снующая по комнате.

— Что такое? — спрашиваю я.

— Выезжать, что ль, отсюда будете?

— А что?

— Да вот Митродора Сергеевна нынче говорила, что вам, говорила, велено отсюда уезжать, потому вас, говорила, будут судить... Уж она нынче и на ледник меня не пустила молоко поставить. Вы, говорит, лучше приготовьтесь к суду-то... Такой вам суд будет, что...

— Митродора Сергеевна — дура! — прерываю я.

— Дура, нет ли, а все-таки благородным-то нельзя, чтобы про них такое славили! — с упреком замечает Авдотья Степановна.

— Вам чего от меня надо, Авдотья Степановна? — спрашиваю я, мгновенно обозлившись. — Я вас обидел или обманул?

— Да нет, нет... Я ничего... Я довольна... — смущаясь, говорит Авдотья Степановна, — а вот только нехорошо, что такое славят.

— Что же мне прикажете делать, если бы на вас вдруг выдумали, что вы церковь обокрали и стали бы славить об этом, а?

— Господи сохрани и помилуй! — крестится уже совсем смущенная Авдотья Степановна. — И что это вы, батюшка, так уж очень беспокоитесь? Ну, наплевать на них, да и только! Не подать ли вам кофе-то? Уж давно готов...

Она идет за кофе, но поспешно возвращается и тревожным шепотом докладывает:

— Исправник!.. Непременно, говорит, желаю сейчас видеть.

— Просите, — отвечаю я.

Является улыбающийся, шаркающий Таранелька.

— Извините, что так рано побеспокоил.

— О, это ничего... Прошу садиться...

— Я по делу...

— А!..

Перед моим умственным взором расстилается дорога в страну, где козам рога правят.

— Вы, если не ошибаюсь, вчерашний день выразили желание представиться его превосходительству, начальнику губернии?..

— Да, — отвечаю я, чувствуя, что у меня по спине пробегают мурашки, — да... но так как в настоящее время супруга его не так здорова... и притом такое радостное событие в семействе...

— О, его превосходительство ни в каких случаях жизни не имеет обыкновения negliжировать<sup>1</sup> делами вверенной ему губернии,— успокоительно говорит Таранелька.— Я сегодня получил эстафету...

— Тем лучше,— прерываю я,— я отправлюсь сегодня же... если успею... Надеюсь, что я успею...

— Без всякого сомнения! При благодетельном устройстве железных дорог сообщение нисколько не затруднительно... От нас поезд отходит в шесть часов и двадцать минут, а теперь (он вынимает часы и смотрит) только десять...

— Так я непременно с шестичасовым...

— С вечерним?.. Это самый удобный поезд. Есть еще шестичасовой утренний, но на нем ездит больше чернь... А теперь позвольте мне пожелать вам всего наилучшего! Прошу верить, что я сохраню наиприятнейшее воспоминание о нашем знакомстве...

И после многократных расшаркиваний и улыбок он удаляется.

Я опускаюсь в кресло и потираю себе лоб.

О ты, попадавшийся нечаянно в западню и испытывший скверную уверенность, что невинность твоя в этом случае ни к чему тебе не послужит и что все зависит единственно от накрывшей тебя руки, ты меня поймешь!

Вдруг меня, как солнце, озаряет и оживляет воспоминание о встрече перед отъездом в N-ский уезд с некоей Поликсеной Николаевной фон Брум, которая взяла с меня слово побывать у ее кузена, Никиты Николаевича, укорить его от ее имени за леность в переписке с ней и написать ей, как я с ним сойдуся.

«Я предупрежу его, что от меня явится посол,— говорила Поликсена Николаевна,— и вас примут à bras ouverts»<sup>2</sup>.

Но мало ли что может наобещать праздная, болтливая женщина, когда природа одарила ее физиономией, при виде которой лают собаки, отпрядывают лошади и, как от огня, бежит всякое лицо мужского пола, не связанное брачными узами!

Однако хорошо и то, что я могу упомянуть ее имя,— это некоторым образом все-таки если не сблизит меня с Ни-

---

<sup>1</sup> Пренебрегать. *Ред.*

<sup>2</sup> С распростертыми объятиями (*франц.*). *Ред.*

китой Николаевичем, то хотя несколько поднимет меня в его глазах, хотя несколько растопит лед встречи...

Я призываю Авдотью Степановну и объявляю ей, что уезжаю в губернский город.

— Вы тоже не долго тут останетесь,— присовокупляю я.— Я завтра же уведомяу вас, когда и куда выезжать... А вы пока все уложите. За дачу заплачено, и мы имеем право занимать ее еще два месяца, в случае каких-нибудь придинок вы так и скажите...

— Слушаю, батюшка... А что же, ведь он, кажись, ничего?

— Кто он?

— Да исправник-то! Никакого гнева не показал, весело так шаркал и улыбался!

— Разумеется, ничего...

— Ну, и слава богу! Только бы господь сохранил, а то и получше здешних местов найдем! Что тут за места такие, что за невидальщина! Здешние люди-то совсем изуверские! Среди зимы льда не выпросишь! Уговор ведь был, чтобы вволю дров давать, а эта скареда Митродорка так над кажным поленцем трясется... Уж вы и собираетесь, батюшка?

— Да, пойду проститься, Авдотья Степановна, с добрыми людьми...

— Это к Колесихе, к Анне Павловне?

— Нет.

— И не ходи к ней, батюшка! Она вон грозитя, что придешь, так собаками велит травить... Они все трое, все три сестры, нынче чем свет к нашему хозяину прибежали, и уж тут прядали, прядали — все тебя честили! Плюнь на них! Я так и сказала Митродорке: ему на них наплевать!

— И сказали правду, милая Авдотья Степановна, отвечаю я, отправляясь в Чудовку.

С самого начала пути я начинаю рассуждать, что визит этот лучше бы не делать,— чего я еще хочу, чего еще мне надо? — но рассуждения только заставляют меня ускорить шаг, и вот я в чудовском цветнике, где встречаю Елену Дмитриевну, печально срезающую ножницами цветы для букета.

— Ах, Андриан Андреевич! — говорит.— Вот спасибо, что пришли! А у нас напасть за напастью! Сегодня полу-

чаю от Анны Павловны письмо, что она прекращает со мной знакомство, что я допустила выгнать ее из моего дома, а вслед за письмом Анны Павловны приносят письмо от Серафимы Павловны, а потом от Бусовой — все оскорблены, все от меня отрекаются!

— Этому я на вашем месте только бы порадовался,— отвечаю я.

— А уж какое горе с этой бедной Марфушей! Сердце разрывается на все глядя! Целую ночь напролет все металась да бредила! И это правда, что все ей представляются спицы да чулки, будто они ее душат и колят... И так жалобно начнет кричать и плакать, что не знаешь, куда деваться... Сегодня утром увидала на столе белье, и померещись ей, что это чулки, задрожала вся: «Унесите! Унесите! Спрячьте меня!» Насилу мы ее уняли... А увидала цветы в вазе, так и вздрогнула... протянула к ним руки: «Дайте, дайте!» Оленька дала ей, а она так вдруг засмеялась, что перепугала меня,— так, знаете, радостно... так эти цветы и до сих пор лежат около нее... А теперь Оленька просит еще цветов, говорит: «Мама, подите вы погулять и кстати цветов принесете»... Оленька-то совсем измучилась: не спит, не ест, того и гляди, захворает...

— А что Григорий Петрович? Я надеюсь, он не имел никаких неприятностей от тетки?

— Да он все время у нас был и ночевал у нас, только вот незадолго до вашего прихода ушел. Знаете, Андриан Андреевич, он точно добрый мальчик,— сердечный такой! Целую ночь он с нами за Марфушей ухаживал, только уж на заре, когда она забылась, мы его услали спать,— и то насилу уговорили! И так у него, у бедняжки, все по-сиротски! Моя Прасковья, говорит, видела, как он обувался, и носочков нет! А белье худенькое-прехуденькое... Горькая доля сиротская! А он этим и не печалится: «Я, говорит, еще богач...»

— А я пришел с вами проститься, Елена Дмитриевна.

— Куда же вы, Андриан Андреевич? Ах боже мой, и посоветоваться не с кем будет!

— Я еду к губернатору.

И вкратце передал ей посещение исправника.

— Ах господи,— вздыхает она,— пошли теперь еще эти доносы! Чует мое сердце, что и нас припутают!

— Каким же образом могут вас припутать? Это невероятно,— успокаиваю я.

— Ах Андриан Андреевич, ведь я еще не все вам сказала! Ведь у Оленьки есть жених! Уж решено... и бог с ней, я не хочу, чтоб она на меня пеняла, не мешаю...

— Григорий Петрович? — спрашиваю я, овладев собою.

— Какое Григорий Петрович, это мы только ошибались.

— Но кто же? — почти вскрикиваю я.

— Кудрявцев!

— Какой Кудрявцев?

— Товарищ Григория Петровича. Вы вот удивляетесь, а уж я-то как удивилась, просто язык отнялся!

— Где же Ольга Алексеевна с ним познакомилась, когда?

— Да он позапрошлым летом приезжал на летнюю кондизию к Краснопевцевым, тут они и познакомились. Теперь-то я уж вспоминаю, как мне еще тогда Анна Павловна все намекала, что Оленька интересуется краснопевцевским учителем, и Серафима Павловна тоже, только я ничего не замечала и думала, просто это они любят всякого шпигать. А потом он уехал, и все это забылось. А теперь Оленька призналась, что они еще тогда дали слово друг другу и с тех пор в переписке. А мне и в голову ничего такого не приходило. Ну, и Григорий Петрович был их поверенным, и нынешним летом они порешили, что уже мне скажут. Оленька все не решалась, боялась меня огорчить и хотела исподволь приготовить. Поэтому-то она так и испугалась доноса, что вот начнут всего доискиваться и откроют, что Кудрявцев прячется у Григория Петровича, и меня это поразит... Мне жаль было тебя огорчать, мама, говорит...

— Так Кудрявцев здесь, вы его уже видели?

— Видела,— отвечает она со вздохом.— Он теперь с Оленькой около Марфуши. Он со вчерашнего вечера уже у нас. Как Оленька мне во всем призналась, так Григорий Петрович и привел его... Он ничего, приятный,— прибавляет она с новым вздохом,— только неразговорчивый и такой бледный, точно болезненный... Оленька говорит, что это будто от того, что много работает...

— Он давно уже приехал?

— Всего другой день. Он было написал Оленьке, что не придет в этом месяце, а потом вдруг приехал неожиданно... Ах Андриан Андреевич, болит, болит моя душа, как подумую я об этой свадьбе!

— А свадьба скоро?

— Да не знаю еще. Они не спешат... думают отложить... И на дальний срок, года на два... Мало они похожи на жениха с невестой... Разговоров таких, знаете, влюбленных, не слышно. Уголков, чтоб наедине побыть, не ищут... Разговоры у них все больше про разную бедность... про какие-то его работы... Как-то веселья мало... Все помнят про всякие беды и напасти... чужие... Меня утешает, что не спешат венчаться... Может, еще и передумают, а?

— Очень может быть...

— Правда, правда,— оживляется она и, приближая ко мне свое, заметно похудевшее и побледневшее со вчерашнего дня личико, конфиденциально шепчет,— я так почти поручиться готова, что передумают!

Выразив надежду, что все устроится по ее желанию и прекрасно, я говорю, что мне пора и что я желал бы проститься с Ольгой Алексеевной.

— Пойдемте, пойдемте! Оленька будет вам рада! Она вас очень любит, еще сегодня говорила, какой хороший вы человек... Вы, Андриан Андреевич, друг мой, посмотрите на него хорошенько и скажите мне, как он вам покажется,— потихоньку прибавляет она, приостанавливаясь у дверей,— и уж вы по правде мне скажите, не утаивайте от меня ничего... Уж как он вам покажется, так мне и скажите...

Вдруг дверь отворяется изнутри, и мы сталкиваемся с Ольгой.

— Умерла! — говорит Ольга.

— Ну, что же делать, Оленька! — кое-как оправившись, начинает утешать Елена Дмитриевна.— Может, ей лучше, что господь ее прибрал... Да, может, опять, как ночью, только обморок?... Я вот ей виски спиртом помочу... Только ты, Оленька, не ходи за мной, побудь в цветнике, хоть дохни свежим воздухом! Вот Андриан Андреевич пришел с тобой проститься!..

Ольга крепко сжимает мою руку и тихо говорит, как будто про себя:

— Какая это страшная вещь — смерть! Холодеть, холодеть, уходить от воздуха, от света...

Она вдруг задрожала, зашаталась и истерически зарыдала.

— Оленька, Оленька! Ох, что с ней? — закричала Елена Дмитриевна.— Поддержите! Поддержите! Она падает! Ах, она умирает!

— Не беспокойтесь, это просто нервный припадок,— раздается незнакомый мне голос, и рядом со мною над Ольгой наклоняется смуглое бледное лицо.

Я ловлю выражение этого лица, впиваюсь глазами в каждую его черту, но никак не могу получить определенного впечатления.

— Ах Николай Гаврилович, уж вы прямо скажите мне, что с ней! — молит со слезами Елена Дмитриевна.

— Нервный припадок,— отвечает Николай Гаврилович, скользнув по мне своими черными, без блеска, глазами, и слегка мне поклонившись,— нисколько не опасный. В этом случае необходимо только спокойствие.

— Не принести ли гофманских капель?

— Пожалуй,— отвечает он.

Старушка спешит за каплями, я кидаю последний взгляд на Ольгу, раскланиваюсь с Николаем Гавриловичем, получаю ответный поклон, догоняю Елену Дмитриевну и прощаюсь.

— Ну, что? Ну, что, как он вам показался? — шепчет она.— Всю мне правду, всю правду скажите!

— Я его так мало видел,— отвечаю я.

— Ах боже мой, я и забыла вас представить друг другу! Ах, надо вас познакомить!

— К сожалению, я не имею времени...

— Уж я вижу, что он вам не понравился!

— Напротив...

— Нет, нет, уж я вижу!

— Уверяю вас, что вы ошибаетесь... Но вас ждут с гофманскими каплями...

— Ах, да, да! Прощайте, друг мой! Я предаю все воле божьей! А может быть, за два года Оленька и передумает.



Около шести часов вечера я подъезжаю к уездному дебаркадеру, и первая знакомая физиономия, которую я вижу в глубине пролета,— физиономия исправника Таранельки. С ним стоит Геннадий Ферাপонтов, но при моем приближении друг покойных Грановского и Белинского стушевывается. Я, впрочем, только тогда понимаю смысл этой стушевки, когда трое других помещиков, обыкновенно при каждой встрече заговаривавших меня до полусмерти,

тоже вдруг словно сквозь землю передо мной проваливаются, и когда до меня долетают недовольные слова какого-то разглядывающего меня отставного ротмистра: «Что ж, говорили,— повезут с конвоем и со всеми помпами, а он сам себе едет, все равно, как на ярмарку!»

Таранелька встречает меня комплиментами.

— Какая примерная аккуратность! — улыбается он.— Аккуратность — это друг успеха и даже здоровья... Я чрезвычайно почитаю аккуратных людей...

Он провожает меня до вагона, когда кондуктор захлопывает за мной дверцы, потирает ладони, еще раз желает мне всех благ и удаляется на другой конец платформы, откуда он, развлекаясь встречами, может наблюдать мое окно.

При втором звонке к вагонному окну кидается, точно сорвавшийся с цепи, Кирилл Зверев и мгновенно заражает воздух спиртным запахом.

— Куда это вы? — орет он, цепляясь руками за оконный борт и моргая воспаленными глазами.— Ферাপонтов уверяет, что вас требует губернатор и не миновать вам кунштিকা! Вздор! Мы вас не выдадим! Мы сделаем вам овадию, обед в честь вашу! Завтра будут свежие стерляди! Что нам губернатор? Вздор! Пусть берет таких, как Григорий Отрепьев...

— Иванов, хотите вы сказать?

— Ну, все равно Иванов, я его Отрепьевым называю! Этого хорошо, что приструнили! А вас не выдадим!

— Скажите, пожалуйста, вам что же известно об Иванове? — спрашиваю я.

И странное чувство испытываю я при имени этого упраздненного теперь из жизни Ольги пугала; это как будто нечто вроде чувства бедняка, роптавшего на горькие лишения и вдруг окончательно обнищавшего и со вздохом думающего: «Нет, тогда еще было хорошо, тогда еще хоть что-нибудь да было у меня».

— Все знаю! — отвечает Кирилл Зверев.— Его уж — тью-тью! Еще вчера, в пятом часу утра, схватили прямо с постели и умчали!

— Помилуйте, Кирилл Павлович, я его видел вчера в восемь часов вечера!

— Говорю вам: умчали!

И вытягивая губы, причем я чуть не чихаю, как перед откупоренным в упор винным бочонком, он шепчет:

— К плетям приговорен и потом на Кавказ, в первую вылазку против Шамиля!

— Помилуйте, какой теперь Шамиль! — начинаю я, но, спохватившись, умолкаю.

— А вас мы не выдадим! — с тем же азартом продолжает Кирилл Зверев.— Что нам губернатор? Вздор! Он известный крепостник! Когда настало освобождение крестьян, он такие строил козни, что я его прямо уличил! Не подал ему руки на обеде. Я призвал своих мужичков и сказал им: братья, я больше вас рад вашему освобождению из-под ига! Выставил им пятнадцать ведер водки и сдобных лепешек.

Раздается третий звонок.

— Господа, не угодно ли отходить! — провозглашает кондуктор.— Господа, запрещено после третьего звонка оставаться у вагонов!

— А где же Сысой Матвеевич? — вдруг спохватывается Кирилл Зверев.— Ведь я ему поручаю стерлядей привезти! Где же он?

— Вон в том вагоне,— указываю я на самый дальний вагон, не имея ни малейшего понятия, кто таков и где находится этот Сысой Матвеевич.

Кирилл Зверев зигзагами бежит к указанному вагону, но в это время поезд двигается, и я вижу, как какой-то дюжий мужчина берет его в охапку и откидывает от рельсов.

---

Я радуюсь, что мне посчастливилось сидеть одному в вагоне, и собираюсь на свободе обдумать предстоящее свидание с Никитой Николаевичем и как следует к нему подготовиться. Но это мне не удастся. Все время переезда передо мной мелькает смуглое, бледное лицо с черными, без блеска, глазами — лицо, явившееся так негаданно на месте того, на которое был обращен весь запас моих враждебных чувств, и так негаданно оказавшееся виновником моего окончательного обнищания.

Это лицо продолжает поглощать меня и тогда, когда я подхожу к львам, украшающим подъезд начальника губернии, даже когда я, проследовав за лакеем-немцем, вхожу в губернаторскую приемную. Только при появлении самого Никиты Николаевича, поражающего обнаженнейшим черепом и нахмуреннейшими бровями, я стряхиваю все праздные мысли и спешу занять позицию.

— Я давно желал представиться вашему превосходительству,— дроблю я без запинки,— тем более, что имею поручение от Поликсены Николаевны фон Брум...

— От Поликсены? — недоверчиво спрашивает его превосходительство.

— Да-с,— отвечаю я, сделав поклон и шаркнув.— Я имел удовольствие часто встречать Поликсену Николаевну у своих хороших знакомых.

— У кого?

— У Переметовых, у Тирвальд...

— А, прекрасные люди! Я теперь припоминаю, что Поликсена даже мне писала... Да, писала... Но прежде объясните мне, пожалуйста, что это там у вас за история... *Un malentendu*...<sup>1</sup>

Голос его все еще внушителен, но я чувствую, что уж имею лазейку в его сердце, и, действуя осмотрительно, могу начать созерцательную жизнь на южном берегу Крыма или отправиться исследовать малоизвестную губу на севере, что мне будет угодно.

### З а к л ю ч е н и е

Я не ошибся. «*Un malentendu*» закончилось прекрасным обедом у Никиты Николаевича, на котором я должен был рассказывать о Поликсене, о Тирвальд и о Переметовых... За обедом Никита Николаевич припомнил один остроумный анекдот, причем брови его, обыкновенно наводящие трепет на просителей и подчиненных, важно моргали... Я заканчиваю свой дневник под окном, осененным благоухающими белыми акациями, откуда открывается великолепный вид на прелестную долину... Но я завез сюда какой-то, если можно так выразиться, скверный вкус, которого не могут поправить ни крымские персики, ни перечитываемые мною очаровательные «Крымские сонеты» Мицкевича и Пушкина, ни ласковая природа...

Подумываю в Америку. Только тайный голос шепчет мне, что этот скверный вкус поплывет со мной и за моря...

---

<sup>1</sup> Недоразумение (франц.). Ред.

# Казки і ПОВІСТЬ





## ЧОРТОВА ПРИГОДА

(Т. Г. ШЕВЧЕНКУ)

Доводите ви мені, що про чорта тільки по́славка, а ніхто того чорта зроду не бачив? Не ручіться, заждіть трохи,— бо я його бачив. Еге ж! Бачив на свої власні очі, оце як вас бачу.

Не ймете віри? Може, думаєте: поязичився Свирид Костомаха! Коли така ваша, братики, думка, то дуже ви помиляєтесь. Що й казати, на божому світі усього досхочу — не бракує теж і молодців-брехунців, що збрехати їм за превеликі ласощі, а забожитись — як Сірку муху з'їсти. Знав я і таких, що в живії очі тобі бреше, як шовком шиє,— хоч би моргнув, вражий син! Та Свирид Костомаха не того тіста книш. Мій батько — хай над ним земля пером! — не брехав і синові не звелів. Та й скажіть мені, будь ласка, яке там добро з тієї брехні? Чували, може, й ви, що брехнею світ перейдеш, та назад не вернешся. А йди правдою, то скрізь тобі шляшок битий — чи тудою, чи сюдою, чи на схід сонця, чи на захід. Я, щоб ви знали, провідав того світу — був, як то кажуть, у бувальцях. Чого-то я не чув, чого-то я не бачив? Чого не траплялось, чого не доводилось! Й не сказати, й не змалювати! Що вам оце в дивовижу, то мені в обідень, що вам чудно та дивно, то мені воно так, як в борщі сало або улітечку травиця, а на водохрещі мороз. Приміром кажучи, якби вам той чорт пострічався, то у вас з переляку, мабуть, очкур би луснув, а я стрів, то мені й за ухом не засвербіло: чортяка, то нехай і чортяка, страшний, то нехай і страшний... Не в такому горщику наварювали, та дякувати богу — ошамненько видали.

Еге ж, бачив я його добре — не назирком, а так, як оцю чарку, що передо мною. Якби приміг малювати, то намалював би вам і ріжка, і копитце.

Щоб то мені його не розгледіти, попліч з ним сидючи та слухаючи, як він на своє лихо нарікає... І добре я його бачив і дізнав, яка йому сталася пригода. Може б, йому й раду дав, якби не дурна його голова.

Та, мабуть, нікуди вже дітись, треба усе з зачала і до ладу вам розказати. Слухайте ж, як було діло.

Може, чули ви, як позаторік весною я у неділю вранці опинивсь в проваллі попід греблею?

Під тую неділю я присмерком гуляв коло своєї хати. Гапка, бачте, заходилась хату білити та: «Не лізь,— каже,— попід руки, гуляй отутечки, поки впораюсь». Я гуляв. Отак гулянка, та ще як чоловікові на думку яка-небудь прикрость навертається, не розважає. Покружив я, покружив коло хати та й натрапив на стежку до греблі: одвідаю кума Демка Пелипаса.

Гапка, мабуть, плескала вам, ніби я нишком втік, так се її жіноча брехенька. Звісно, жінка: як нема, чого їй треба, то видума та й каже: «Ось воно є!» І не втікав я, і, як вона кликала, не вдавав глухого, а побрався собі спокійненько.

Сонечко вже запало за гору, річка ледве блисоче, віє весняний благий вітрець, а я йду та думаю, чи дома кум Демко, чи, може, подався до дядини. У дядини були колеса на продаж, і хвалився Демко, роздивлюсь, мовляв, і, як вподобаю та буде поцінно, то треба неодмінне ті колеса купити.

Кум Демко — хай царствує — був мій давній, трохи не з повиточку, приятель, то він до мене, а я до його й на пораду й на розвагу. Приходжу. Кум дома — рад, вітає: «А, Свириде, друже!» Вітає й кумова жінка — вітає, а кирпонець вгору. Не конешне вона влюбляла, як до чоловіка трапиться гість: такий чепурі в жадібку попащикувать та побарашкувать, а поважна розмова їй смакує, як кошениці редька.

— А чув, Свириде,— каже Демко,— що у Глушка ко-ней викрали? Та не вночі, а вранці... А ти, Одарко — господине (до жінки то), чого стоїш, як мальованя? Ворушись та справляйся, бо послав нам бог любого гостя і треба його гарненько почастувати. Чуєш?

— Та чую ж, чую,— одвертає.

Зараз заходилась опоряджати стола, застилає скатеркою, становить чарочки... Може, й не рада, та мусить, бо хоч Демко був плохенький, жіночим витребсенькам потурав, і жінка у його в хаті верховодила, а проте, як припаде при-

ятеля почастувать, то літай, як муха, коли не хочеш, щоб очіпок злетів.

А Демко знов до мене:

— Чи ж не диво: ще по світанню той бідолаха Глушко бачив, стояли коні, а зійшло сонечко...

— Де там він їх бачив, як звечора до самого ранку під коморою безпритомний лежав! — озвалась Демчиха. — Не пив би горілки, не проворонив би коней!

— Оце жіночий розум! — сміється Демко. — Начебто у тверезих коней не крадено? Хіба у тверезих шкоди не бува... Еге-ге! аби здорова на плечах голова! Хто його й зна, в кого більш шкоди лучається, чи у п'яних, чи у тверезих...

— Ні, куме, — кажу, — що правда, то правда: горілка до добра не доведе!

(А сам поглядаю на Демчиху).

— Авжеж не доведе, — згоджується Демко. — Треба, бач, міру знати.

— Еге ж, міру! — почала, начебто кепкуючи, Демчиха.

Та не доказала, бо Демко вже достав царягрядку, — така була в його не з малих пляшечка жбанком, — од якогось турчина, чи що, собі придбав, — і дає їй у руки: «Оковито мені, та хутенько!»

Вона метнулась до шинку, а ми, дожидаючи, знов дивуємо та міркуємо, звідки навернулись ті сквапні молодці, що глушкових коней запопали.

Коли ось і Демчиха з оковитою...

— Ой, жінко, — стріча Демко, — тебе б по смерть посилать, то б нажився чоловік...

— А мені здається, що господа наче на крилах обернулась, — кажу.

(Не те що всміхнулась — і не поглянула на мене).

А Демко бере пляшку і частує мене:

— Вип'ємо, куме, по повній, бо наш вік недовгий!

Я, бачите, не дуже ласий на ту горілку, то трохи й осталось у мене в чарці, а Демко зараз підповня:

— Пий, куме, до дна, бо на дні молодії дні!

Нікуди дітись, випиваю, бо як тебе частують, то треба ж не по-песьки, а по-чеськи... Випиваю, а проте таки доводжу, що та горілка — невірна дівка.

— А невірна, — знов згоджується Демко.

Та до жінки:

— Не покуштуєш, Одарцю? Добра!

— Дякувати! — одвертає.

Сіла оддалік, руки склала, сидить нерухома та пасе нас очима... Аж мені ніяково...

А кумові байдуже,— одну випиває, другу наливає...

— Не покуштуєш, Одарцю? То бог з тобою, серденятко. Пішла, як то кажуть, баба пішки, не буде замішки... До тебе, Свириде...

А тим часом розмова точиться та точиться. Обміркували глушкову шкоду, згадали, як торік у ярмарку баба скочила на чужий віз та за Буг утікала — запопали її аж по тім боці на березі...

І каже Демко:

— А славно там поза Бугом! Якби-то спроможність! Якби-то кудою схотів, тудою й полетів! Давно б я поза Бугом гуляв. Неспроможність гіркая! А таки я за Буг виберусь!

Треба вам знати, що кум Демко, аби запорошив трохи око, зараз ладиться у мандрівку. Пам'ятаючи таке, я з ним дуже не змагаюсь, а тільки звичайненько ніби питаю:

— Чи ти бридиш, куме? Оце б ти мав кидати жінку, хазяйствечко?

— А на біса мені та жінка? — одказує.— На біса те хазяйствечко? Одна морока!

Тут Демчиху, мабуть, допекло до щирця, бо аж засичала:

— Авжеж! На біса жінка... Як він розумний, то й сам потягне за Буг, а як ще забере з собою кума Свирида, то буде така пара, що й поза Буг не стидко!

(Се так на мене закида гадючку, а я... наче мені не втямки).

— Що мені той Буг? — править Демко.— Хіба в бога один Буг? З-за Буга я й далі... кудою схочу, тудою й потягну... Еге, Свириде?

— Тягніть, тягніть на здоров'я! — глузує Демчиха.— Аби Гапка не потягнула когось на розправу...

(Знов гадючку на мене закидала, а я знов, ніби мені не втямки).

А Демко вже заходжується аж у Палестини.

— Чув я,— каже,— за тії Палестини. Оце ж до тих Палестинів і посуну!

І що йому міцніш у голову уступає, то він далі посува. Вже й поза тії Палестини, хвалиться, втопчу стежку, а з-за Палестинів...

— Може, й під лаву, поруч з кумом Свиридом? — перехоплює Демчиха.

(«А Свирид таки тебе не зачепить, гаспидова дочко!» — думаю). Йй наче не чув, озиваюсь до Демка:

— Як на мене, куме, то я б зроду не залишив своєї господи...

— У Палестини! — править.— У Палестини! І геть-геть за Палестини!

В голові йому вже добре бринить... Частує: «До тебе, куме, до тебе, Свириде!» — а усе сам спожива... А далі, що було остатнє у пляшці, вижлуктав без чарки, нахильцем... І не вгава: у Палестини! у Палестини!

Мені аж бридко стало...

— Які там, куме, Палестини,— кажу.— Нащо вони нам здались?

— Оце ж несогласний Свирид у Палестини,— знов вв'язується Демчиха.— В Свирида така думка, щоб найперш Панамарчука одвідать...

(Себто шинкаря — тоді у шинку сидів Панамарчук Петро).

Я знов ніби не чую, а вона таки цокотить:

— Несогласний Свирид у Палестини, несогласний... Поведе тебе до Панамарчука... не пустить до Палестинів.

А Демко як гримне:

— Не пустить?! Хто не пустить?

Трохи припекло вже й мені.

— Годі вже, куме, з тими Палестинами! — кажу.— Чи ж припада добрим хазяйнам по світі блукати? Нехай дурні по дорогах тиняються, а доброму,— доводжу,— хазяїну не блукать, а придбать...

А він на мене:

— Зась!

— Як-то,— питаю,— зась?

— Зась! зась! — репетує.— Не дам у кашу собі дмухать!

— Таке? — кажу.

— А мабуть, «таке»! — сміється Демчиха.

Зуби блискотять, з очей аж іскра скаче... Рада, іродова дочка! Одкинула двері, держить на стежі та примовляє:

— Ой Свириде, не баріться та додому поспішайтеся! Чи забули, що Гапка у ярмарку новий собі макогін купила, та такий, як з заліза... І коцюба в її справна... Ой, не баріться...

А Демко таки не вгава:

— Зась! зась! Не дам собі в кашу дмухать!

Хоче знятись з лави, та несила — наче прикипів...  
А Демчиха аж танцює:

— Беріться додому, Свириде, беріться додому! Ой, беріться, бо макогін у Гапки срібний, а коцюба золота.

Горобець маленький, а сердечко має... І не те що горобець, і святий часом скривиться... Надозолила мені катова дзундзуриха.

— А пожди,— кажу,— дам я тобі й макогона, і коцюби!

Та впрост до неї...

А вона скок до дверей та з хати... А я за нею, та якось трохи зачепивсь на порозі,— бо до ката було там в неї усячини понастановлено,— а вона в мене попід рукою дзиг знов у хату, та на дзигу шторх мене у плечі, та хатнії двері за собою на защипку... Я й не схаменувсь, як випхався...

Постояв, постояв, полапав трохи двері — двері в їх славнії — дубовії — та й повернув на греблю: хай тобі риба й озеро!

Іду та гадаю: нащо-то господь милосердний натворив оцю жіноту? Нащо вона здалася? Тільки спокушає доброго чоловіка та світ йому зав'язує!

Ось і гребля. А зоряно так, що, здається, зорями в вічі сипле. Коли зирк: він сидить, саме де вирва, та такий невеселий, наче всі шляхи загубив. У воду дивиться.

— А що,— кажу,— бісику, чого се такеньки зажурився? Зітхає важенько.

Питаю:

— Гірко, бісику?

— І-і! — одказує.

Та й посувається трохи, ніби навздогад: «Сідай коло мене». А що, думаю, сяду я, посиджу, бо таки добре спізнався, а дома Гапка дожидає... Виглядала-виглядала, а далі вже годі... Сидить на лавці, очі втопила в землю й кипить... Тихесенько потягну я двері... Га! чого се так раненько вертаєшся, господарю? Чому ще хоч трохи не погуляв? Та як візьметься з мене воду варить, то варитиме, варитиме... Пізно прийду — не помилує, й раніш прийду — не помилує, то нехай вже прийду пізно.

Сів я коло його. Посиділи. Він усе дивиться у воду, а я дивлюсь на його. І такий він, сіромаха, смутненький. Скорчився, зморщився, аж ріжки ніби прив'яли,— у такий

скрусі, що мені жалко стало. А до того ще й цікавий я, що то його, бісика, такеньки сильне зажурило. І знов питаю:

— Гірко, бісику?

А він знов:

— І-і-і!

— А хіба ви вчора народились,— кажу,— не знаєте, що на світі більш смутку, як радості... Не з вас воно началось, не вами воно й скінчиться... А ви таки не вдавайтесь у тугу, киньте лихом об землю. Журба сорочки не дає. Не все ж і хмариться та сонечко заступа — колись і виясниться.

— Не виясниться! — каже.

— Чому так? Нема,— доводжу,— не переходячого на божому світі, нема повсічасного, навічного — або перейде, або привикнеш. Он, славлють, що як обсвідчуться, то живуть і в самому пеклі, хоч у кип'ячій смолі не велика придоба.

— Що те ваше пекло? — сумує.— Що та ваша кип'яча смола! Жарти...

Та зітха так, що старі височенні верби до землі на греблі похиляються.

— Як підкладати угілля,— кажу,— та піджарювати, то, може, воно й жартушки, а як у смолі кипіти, то вже не іграшка.

— Та ваша пекельна смола — ласощі. Я не в такій киплю од вечора до ранку, од ранку до вечора! Га!

Та як гакне, то аж зорі на небі заворушилися.

А я йому:

— Панич ви, бачу, і чи не паничівські у вас примхи? Траплялись мені такі, що пучку на тернинку поколе та й реве до бога, яке його страшенне лихо спостигло. Коли така ваша напасть, я без знахаря ліки знаю.

Аж підскочив:

— Які?

— А ось які: забрать би вас на роботу, на щиру крест'янську, щоб ви й попоорали і поборонили, а до того попобідувалися, що нічим засіяти, та пішли, горуючи, додому, а вдома нічим голодну душу поживити...

Махнув лапкою, ніби: «Нікчемні твої ліки!» Та й буркнув:

— І не такої вона мені завдавала!

Наче мене у тім'я стукнуло: «вона!»

— Що ж то за «вона?» — питаю.

— Жінка. За жінкою пропадаю! — признається.

— Еге! се вже непереливки! — Згадалося, знаєте, яка та сіль в оці, ті жінки...

— Жінка? — перепитую.

— Не любить! Не вгоджу! Не дам собі ради! Пропадаю!

— Оце,— кажу,— щоб то з жінкою та не дати собі ради! Нехай жінка буде, як кропива жижкая, а в здатнього чоловіка у тиждень стане м'якенька, як шовкова.

— Як ваша Гапка? — всміхнувся, та так, наче вкусив. (Сказано, бісик, то добре зна, де торкнуться!)

— Що та моя Гапка,— кажу,— як ввіряться мені Гапчині примхи, так, бувайте певні, в один мент запобіжу тому лиху.

— Хвастик з вас! — і знов всміхається.— А проте напоумте... Скажіть, будь ласка, як би ви моему лиху запобігли?

(Відома річ, кого огнем пече, тому скрізь вода мріється, а хто топиться, той і за зіллиночку хопиться).

— Що ж,— згоджуюся,— може, я вам і стану у пригоді. Ви розкажіть мені, з чого і як скоїлось ваше лихо, нехай я усю подрібницю втямлю. То, може, й добру пораду дам.

Він важенько зітхнув і почав:

— Впала вона мені добре в око, ледве я її назорив,— тільки я того не вжахнувся, бо не першина було мені цяцькаться з жінотою. Траплялось, що одна вдряпне, друга забере трохи глибше, третя ніби й за живе зашморгне, то все те, як з гуски вода. Щоб з нею одружитись або вік коротати, того я і в помислі не мав. Думка така була: погуляю та поласую, щоб мене брати мої знали, що і я не в пні живу. Доки схочу, доти жартую, а докучить — далі помандрую... Жартуючи, почав до неї вчащати... вчащаю та жартую, а далі вже без неї мені якось і нудно, і трудно, де вона — там мої й очі, там мої й мислі, а зійдуся — не надивлюся, не наговорюся... Ой, та й година ж була! Як згадаю, то аж...

Та й умився сльозами.

— Самий мед? — питаю.

— Мед! — плаче.— Мед! Ой, мед! Такий... такий... мед... такий...

— Та годі вже,— впиняю (бо не впини закоханця, то

він і поки світу сонця той мед смакуватиме у споминку).— Шкода, що вража ласощ кисне... а то б її і не вціновать. Скис і ваш мед, еге?

Затуливсь лапками, та тільки ріжки тріпотять.

— Чи ж припада жвавому бісеняті отакечки побивається? — соромлю його.— І сорому немає!

— А я ж її годив! — плаче.— А я ж на своїй шиї скрізь по світі її возив! А я ж переривавсь, як вона того хотіла!

— Як-то,— питаю,— ви на своїй шиї її возили? Як-то ви переривались? Розкажіть швиденько, бо незабаром вже на світання благословиться, то й не встигну я поради вам дати. Годі вже вам ридать — чихніть та розкажіть.

Вгамував він сльози, схиливсь на праву лапку головою та й знов розкажує:

— Забачала вона,— розкажує,— світу провідать. Ніжки, каже, в мене маленькі, то шкода їх втомлювати, а коли ти такий на все здатний, як хвалишся, і мене дуже кохаєш, то впоряди так, щоб ти мене на шиї возив, та скрізь, де мені любля, та щоб скоком з гори і на гору...

Вона ще каже, а я вже долі лежу й шию наставив: «Сідай, моє золото, мостись, моє серце»... І повіз на шиї... І возив... І по горах, і по долинах, по всіх українках... Возив і в сльоту, і в мороз, і в спеку. Часом духу вже в мене не хвата, от-от впаду, а трохи вона скривиться, то де та сила візьметься — знов порхну так, що аж залускотить. Возив, поки її надокучило. «Обридла мені та гулянка, зсади мене швиденько!» Я поспішавсь, а був дуже зморений, аж в очах мені зеленіло, і хоч не впав, а не вдержався, трохи похитнувся і схитнув її злегенька...

Та знов у плач.

— Що ж вона? — питаю.

— Розгнівалась. «Зателепа! — гнівається.— Плюгаш безмозкий... Бецман... вайло дурне!»

Пригадує та вилічує, як вона його шанувала, та з жалю аж труситься.

— А ви ж що її на те?

— Я прошу: серце, вибач мені...

— Та й моторяка ж з вас! — сміюся.— «Вибач, серце!» Коли б мене, я б перед нею не замружив ока, я б таку дзундзуриху добре приборкав!

— Як свою Гапку?

Отаке бісеня, здається, спантеличився з скорботи, а не забува, що й Гапка не щодня свята...

— Що вам та Гапка на заваді? — кажу. — Не за Гапку річ, а за вашу кралю... Так оце кажете ви їй «вбач, серце», а вона?

— Одвертається та кепкує: «Зателепа, вайло, потрошив мені усі кісточки». А далі вже й не озивається. Прохав, плакав гіркими, благав та, благаючи, й кажу: «Рад би для тебе надвоє перерваться». А вона тоді: «Ану, перервись надвоє!» Я трохи не до неба підскочив, що хоч промовила до мене, і в один черк так перервався, що половина мене коло її ніжок, а половина геть на одшибі опинилась.

— Вжахнулась? — питаю.

— Не вжахнулась! — зітха важенько. — «Оце і всього того дива? — кепкує. — Що то перерваться надвоє! Дурниця, пустяковина... Коли б начетверо!» Я зараз начетверо...

— Вдовольнили кралю?

— Не вдовольнив... «Чому, — каже, — не навосьмеро?»...

— Ви навосьмеро?

— Я навосьмеро...

— Догодили-таки?

— Подивилась й зморщила носок... «Що то таке? Якісь мотлохи, чи що? Локшина якась! тьху! Яке ж погане! Нехай мої оченята й не дивляться»... Пішла і... заспівала...

Далі вже й не промовить — попридушив його жаль, як зашморгом.

Посиділи мовчки, — він, смакуючи своє лихо, а я — роздумуючи та розгадуючи... Боже, боже! що та жінка може! І котра ж найущипливій стає сіллю в очі, найуїдливій колючкою в серці, чи бісівська, чи хрестьянська. Хрестьянин, хвалить бога, не пекельного роду, не приділяно йому господом, щоб він надвоє чи начетверо переривався, а проте інколи і хрестьянину трапляється така краля, що йому на мотлохи пошматкує серце, на дрізочки поб'є душу... Роздумався я отакечки, розгадався та, трохи позітхавши, почав всміхатись: не всі дома — всміхаюсь, у сього бісеняти, що коло мене бідкається, та й ми, хрестьяне, незгірші: у які-то ми, поздоров нас, боже, пишемось непроторенні дурні! Часом нікчемнійш ми від того витороплюватого бісика...

А бісик як гримне на мене:

— Ану ж, чого зубами блискочеш, хвастуку, ставай у пригоді! Запобігай лиху! Рятуй!

Я зирк на його, а він наче разом сказивсь, і така з його іскра сипле, що аж у вирві сичить. Я хутенько посунувся далі — бо сиділи ж рядком,— та й на його:

— А чого се ти, навіжене чортеня, гримаєш на мене, як на свого чортового батька?

— Бо хвастик з тебе! Хвастик! хвастик! — скиглить, наче його завійна ухопила.

— А от,— кажу,— як попаду я тебе за твої бісові ріжки, то поти вони й стриміли...

І таки б я його повчив, так не охота, бачте, поганитись...

— Зажди,— кажу,— зажди, дам я тобі...

І не чує, так розпалився, та все:

— Хвастик! хвастик!

— Як ти,— кажу,— дурне бісеня, за мою добрість, що я тебе пожалів, отак на мене визвірився, то пропадай ти із твоєю гаспидською жінкою. Яке наварив, таке й поживай: не буде тобі від мене ніякої ради ані поради.

— Давай раду! — верещить.— Давай, бо хваливсь, що даси... давай, хвастик.

До того ще почав лаятись, та так погано, що й москаль, здається, його б не перемиг, та так клене, що й найязиката перекупка мусила б схватись під лаву. А сам так і сикається в вічі, як оса... Спом'янув і Гапчин макогін: нехай тобі (нібито мені) довіку Гапчин макогін голову товче, а ти щоб похилявся та тільки белькотав: «Гапуню, серце! Гапуню, рибко»...

«А бодай ти скис!» — думаю, а тим часом потрохи все далі й далі від його посуваюсь... бо вже й надокучило мені каляться з нечистою силою... та й до того ще й така думка: чи не доведеться мені за цю пекельну кумпанію возить попа в решеті?.. Та й кажу:

— Не дурно,— кажу,— в нас говориться, що як хочеш позбутись приятеля, то нагодуй його голодного або пожалуй та запоможи його лиху. Мабуть, і у вас, бісів, такий самий звичай... Отака твоя дяка за мою ласку?.. за мою добрість?..

Він ніби трохи засоромився — покинув лаятись і схопив у лапки свою дурну голову, наче вона йому розпадається з туги. А я, вважаючи, що він втихомиривсь, зразу гонів на двоє геть від його. Так постерегло кляте чортеня.

— Га! ізраднику! втікати!

Та до мене, а я між старі верби, та скоком на пеньок,

та з пенька черк на вербу, та з верби й захрестився на-  
окоури.

Як він заскавучить, як заскиглить, боже мій! світе мій!  
І тудою звивається, і сюдою — хоче до мене присікатися,  
та ба! — нічого не вдіє — захрещено... Тільки дурно мор-  
дується...

Та й мордувалося ж скажене бісеня! І скаче, і тупоче,  
і по землі качається, і вгору пнеться, копитцями і толо-  
чить, і рие, ріжками і довбає, і креше, зубами ляска, аж  
поза річкою лунає, очима вже помотлошив мене і пожер...  
Крутиться, вертиться, скавучить, скиглить, свергоче, виє,  
стогне... А з самого таке полум'я приска, неначе стонадцять  
кіп смоляного віхтя палає.

А я уместивсь собі на вербі й байдуже мені: нехай,  
думаю, турецький син мордується! Я спокійненько та гар-  
ненько пересиджу, поки на світ благословиться, — а заспі-  
вають півні, нечиста сила слизне, тоді поберусь додому...  
бо таки вже час...

Посидів я трохи, подивився, потішивсь... далі й надо-  
кучило мені. Одно — невелика честь на гіллі стреміти,  
а друге і те, що треба ж і стерегтись трохи, бо нечиста сила  
каверзна: часом таке тобі утне, що й довіку чмихатимеш...  
І що далі, то все мені гірш та гірш надозолює... До того  
ще й жалкувати ні на кого, тільки на свій дурний розум:  
надало змилюватись над тим навіженим пекельником!  
Я, бачте, такий чоловік — м'якушка, що нехай де яка  
пригода, або журба, або смуток, то зараз там мої й жало-  
щі... Одже ж і пожалував, бодай його хрінова мати жало-  
увала!

А час хоч не стоїть, та й не летить крилами. На небі  
зорі аж скачуть і такого їх, наче хто раз у раз з кошиків  
підсипа; молодик ніби все ще вгору підбивається, соло-  
вейко не вгава — щебече... Коли ще на те світання благо-  
словиться!

І така на себе досада мене допікає, що якби се не я,  
а хтось інший, то б до ладу його вичубив. Зітхаю важенько  
та думаю: «Гриць наварив, Гриць і поживай!»

Тільки що я собі тее промовив, мене наче вхопило:  
годі панькатися з тією принукою! Удостачу тієї підгнети!  
Не хочу! не буду! Раз мати родила!

Обхрестивсь, та й беркиць з верби впрост на гаспидові  
ріжки... Несамовито загарчав гаспид... Земля наче лусну-  
ла... застугоніла... Загуло, завихтирило... Усе пішло оберт-

нем... Та як черкне мене вгору, то я фуркнув, як з лука... І понесло мене, наче степові пухи... Несе-несе-несе... та все околіями, аж геть поза Трощанські гаї, поза Сорочий Брод, поза Гайворонський степ, та поза якісь кручі, та яруги, та бескиди... Та як бехнуло, то аж трохи не на три цілі у землю мене втрощило... Схаменуєсь помалу, підводжусь, роздивляюсь.. Се ж я у проваллі поза млином! День вже такий, як бик, тичба людей гомонить коло греблі, а Гапка надо мною молитвочку вичитує... Сказано, жінка: тут би дякувати господеві, що визволив чоловіка з напасті, а вона нарікати, та гудити, та кепкувати... І що ж ви думаєте, досі не йме віри! «П'яницям,— наполягає,— кат зна що верзеться»... Себто я п'яниця... Та до того як візьметься свої докладки докладать та вигадки вигадувать — бодай і не снилось! То я вже і не змагаюсь, а як той побідаш, що сіяв ячмінь, а жінка йому: «Гречка!» — згоджуюся й я: «Нехай буде гречка!»

## ЯК ХАПКО СОЛОДУ ВІДРІКСЯ

Коли вже ви так просите, то нехай воно буде по-вашому — розкажу вам, як Хапко солоду відрікся... Чому не розказать... Тільки умова така: не вередувати і не перебендювати. Не знаю, як хто, а я не люблю, як беруть мене на решето та починають сіяти та пересіювати на всі боки: «А се, дядьку, щось не припада, а те якось не приступа, а сього зроду-віку, мабуть, не бувало, а того ніколи, здається, не трапляється, та чи ви, дядьку, не помилились, та чи ви не передали куті меду, та чи не з крилами ваше слово»... Може, я й помилюсь або й поязичусь, не до складу — не до ладу, може, де переборщу, а де не дотну, може, такого набазікаю, що і в шапку не забрати, а далі почну у пересипку, та й кінця не зв'яжу — дарма! Послухачі нехай умову пам'ятають і голову мені не морочать. Згода? Як згода, то слухайте.

Колись прилучилось у пеклі, що підстарший чорт тяжко занедужав: наївся, як дурень, в кума на обіді, а до того ще ковтнув якогось заморського з кригою трунку. (Їх, пекельників, і наші пани не переважать: у пана на бенкеті ласощ з-за моря,— і пекельник дихати не хоче без заморської). «Ой лихо! давай, куме, ще чарку, чи не відпустить!» Ковтнув ще чарку... Тут вже так його вхопило, що всилу додому дочвалав. Крутиться бідолаха, як посолений в'юн, а стогне так, що аж поза пеклом лунає. Жінка у крик, у плач — звісно, жінота; чи в селі, чи в пеклі — скрізь вона однаковісінька — найперш збила бучу, а далі до знахаря — рятуй!

Прибіг знахар. Тудою, сюдою, віхтем, деркачем, клепадлом, довбнею, сморовидлом,— нічого не вдіє! А до того ще й не розбере, що воно за хвороба — чи пристріт, чи підвій, чи перерва, чи завійниця. Оце завійниця, чи там що,

ніби відпустить, то тут би бідаку легенько зітхнути та відпочити, а він сплесне лапками та заскиглить так, наче з вірною дружиною навіки розлучається.

А знахар той, славили, такий був здатний, що всяку хворобу здіймав з недужого, як паутину з стінки. До того, був він з тих, що за сім миль занюхує ковбасу в борщі, а за вісім догадується, кому на котрій нозі чобіт мулить. Порався він, порався, поки добре чуприну нагрів, а далі покинув клепадро й сморовидло, пильно подививсь на бідолаху та й пита:

— А чого се вас за ухо бере?

(А того, бачте, аж у два кия взяло: одно, що кумові вареники та ліквори тиснуть, а друге — пече думка, що саме мав він на полювання поспішатись, мав, як йому приділено, уловляти по світі грішні душі та за справну роботу таку-сяку гарнесеньку цяцечку собі придбати, а він оце мусить лежать, як гнила колода. Вхоплять його ліквори — йому вже не до цяцечок, а відпустять ліквори, закипа жаль: оце ж придбаю цяцечку! Оце ж натішуся, як пес у студні!)

Мовчить, тільки стогне.

— Кажіть, годі соромиться, — наполяга знахар.

Зітхнув, та так-то важенько — якби в лісі, то стрепенув би старі дуби — та й признається.

— Так і так, — признається, — мав я грішні душі вловляти, за справну роботу цяцечки собі сподівався...

Знахар зараз раду дав.

(Давненько вже у пеклі знахарував — знав, де яка хвіртка і на яку стежку).

— Ви, — каже, — підстарший у старшого, то, мабуть, усюди годящий — і в коло, і в м'яло, еге?

— То що? — скавучить.

— А ви, підстарший, орудуйте попідстаршим — ви його в коло і в м'яло!

(Що ж ви думаєте: пекельна нечисть не согласна, щоб і тут добрі люди пережили! Так само і в пеклі собі упорядкували: і старші в їх, і підстарші, і попідстарші, і менші, і цяцечки, і уряди, і шпиги, і десятники — все у хринових дітей, як у нас!)

— Та я, бачте, боюсь, бо присягався... як дознаються...

Знахар тільки очі примружив.

— Ваше діло. Не те що цяцьку втеряти, — вільно й пропасти. Пропадайте, коли занудилось лиха!

Неборак поскавучав-поскавучав та й гукнув:

— Хапко!

А Хапко вже тут і наввипинку. Швидкий, як мотиль,— і ріжки, і копитця говорять.

— Хапко, гайда на землю вловляти грішні душі. Та гляди, щоб я, пославши тебе, не скаявся... Чуєш?

— Чую, ваша вельможність.

— Торік я тебе брав на те полювання, то ти мусив бачити, як я справлявся... Пам'ятаєш?

(Якби з села який простець Іван, то б зараз бовкнув: «Ще б то мені не пам'ятати, як я ноги повідбігав, поки ви мед-вино кружляли!» Ну, а Хапко — не дурно ж у попідстарші постановили — бісик з освітою,— зна, кому яка одповідь годиться).

— Пам'ятаю, ваша вельможність.

— Гляди ж мені, справляйся. Бо я вас, молодь, знаю — недбальці ви... За що візьметесь, все в вас так, як мокре горить... Буде твоя робота справна, то і похвалять, а може, і цяпечки якої діждеш... Не давай собі потолі — берешся за діло, то берись обіруч, широко... Занедбай гулянку... Навіть здоров'я не шануй...

— Сказано: мусиш поводитись око в око як той, що тебе випроводжає,— примовля знахар.

— Гайда!

Хапко — круть-верть і вже в нашому повіті, під Маківцями.

Діло було літом — от не згадаю, у середу чи в четвер — саме як закотилось сонечко та зійшла вечірняя зіронька. Спочила вже, награвшись, дівтора, не пурхає й не озивається голосливе птаство, не гомонять потомлені люди, стихає село... Тільки щебече соловейко та чутно — десь далеченько співає дівчина. І такий господь вечір дав, що і безталанному недосилку ніби легшає, а тому, на кого лихо ще тільки здалека кива, наче крила виростають, і здається, от-от запопаде він собі таке щастячко, якого ще ніхто у божому світі не зазнав...

Хоч Хапко змалечку у пеклі звик, а проте Маківці вподобав: усі хатки у розквітчаних садках, як у білих вінках, славно, соловейко щебече, солодко пахне очеремха.

Справний бісик любує садками, прислуха соловейка, принохує очеремхи, а своє діло добре пам'ятає. Никає тудою й сюдою, визира, придивляється, прислухається...

Поникав яку там коротесеньку годинку, і буде з його: зна вже, в якому садочку хто кого дїждав, а в якому хто кого сподївається, кому під вишнею рай, а кому під другою очиці слїзеньками ізіходять, хто ремствує, хто вірненько кохає, хто зраду обмишля — усе перед гаспидовою дитинкою як на долоньці.

Подумав, поміркував та аж вдарив гопки: не помилився, радується, скочивши навпростець у Маківці. Женихання тут та любощі, а де любощі, там заздрість, зрада, жалощі — саме полювать на грїшні душі!

— Низатиму їх, — радується, — як бублики — в'язками!

Клятий бісик як в око вліпив, бо справді те женихання, любощі та жалощі... От я, здається, нічого собі чоловічок, за гроші мене не показують, а як залицявся до Пушкарєнкової Мотрі, то у два тижні такого наброїв, набрехав, наремствував, наліхословив, нашкодив, що доброму чоловіку на цілий би довгий вік удостачу. Батька і матір зневажив, дядька Йвана піддурював, з братом трохи не бився, приятелів так зненавидів, що приміг би — з світу згладив, у старої тітки Оксани украв чобіт та закинув у ставок — нехай стара сидить у неділю дома та не шкандибає дозирать, де я Мотрю перестріну... А в любї Мотрі сьогондї головка чогось болить, а завтра їй чогось нудно, а позавтрьому на серденьку трудно. Вона ще вчора надумала, що з нашого закохання нічого не буде — ні щастя, ні вжитку, бо позавчора негарний сон їй снівся... Впадаю коло любки: «Та не бійся! Та не журися! Та ти ж моє серденько! Та ти рибонько... зоренька ясна!»

Що я часу згаяв! А що втратився! Траплялися нам чудові воли — Ярема Неділька продавав, — а батько нездужали. «Ось тобі, сину, гроші, — кажуть мені, — та поспішайся, бо тих волів аж рвуть — не барися!» А тут чутка, що Мотря з Семеном Гайдученком вечір стояла, що Мотря важить на іншого... на того Гайдученка... Там з ним розмовляла, те йому сказала... Га! Коли Мотря така, нехай воли поздихають! Трохи і грошей не загубив... Бодай і не згадувати!

Як сподївався Хапко, так воно й сталося: низав-низав він ті грїшні душі, лічив-лічив низки, та й годі сказав. Якби скласти докупи та міряти на хрестьянську міру, то мав би собі гарнесенький стожок... Похвалити мусять, а може, цяцечкою пошанують — яку-небудь гарнесеньку на рїжок або на шию, а то й на копитце!

(Подумать, яка-то сила в тих цяцечках! Ну, біс — він,

скажемо, на цей бік дурненький, а наші — такі вже розумні, наче всі розуми поїли,— чи ж тими цяпечками не хапаються? Ніби й насмівається: «Що ся,— каже,— цяпечка? Дурниця, нічев'я, тьху... а проте — ке її сюди, приклади лишень мені до грудей... Дурничка.., а таки мушу... Залетів межі ворони, то кракай, як і вони!»

Та що! Не вам кажучи, бачив я, як за ту цяпечку дехто рідного братика віджалував, рідну країну занехав... Чи така вже наша доля, чи то божа воля?..)

— По добрій праці,— розмислив Хапко,— можна й відпочити. Та не сором і погуляти.

Відпочине і погуляє.

Озирнувся. Ясенько сходить сонечко, роситься травиця, а зеленим яром шляшок до міста.

— Піду погуляю в місті. Не був там ще ніколи, то треба подивитись на міський звичай.

Вдарив копитцями об землю і скинувся таким галанцем, що хоч найвельможну сватай: ніжки тоненькі, постать чепурненька, личко, як калина, очиці зашморгом... Підкрутив вусика і до міста.

Виступа, а самого наче угору здіймає,— здається, ось зараз птахом зніметься і полетить.

(Око в око наш брат Хвалько, як небитий вертається з служби та тішиться з себе, який-то він здатний в бога вродився: і пану догодив, і собі межі не переорав).

Легесенько наче дотанцював до міста.

— Еге! Та як же тут славно!

Звісно, як таке в тобі грає, то скрізь показується славно, а місто як місто — улиці та заулки, будинки та крамниці, ідуть і їдуть, гомонять, стукотять, грукотять... Де потягне крамарською цвіллю, а де вигнилкою, де сипне та засліпить очі порохнею.

Проте ранок був такий в бога веселий, наче сміявся. Тільки ти примірівся скривитися, згадавши своє уквітчане та тихе село, а тут пахне на тебе теплий, а свіжий вітрець і хто його зна, звідки принесе гайові пахощі — наче скаже: не кривись, ось тобі — маєш...

— Чим би мені тут побавитись? — міркує Хапко.

Коли саме навпроти його крамниця — двері такі, що хоть возиком в'їдь, а на дверях намальований отілий турчин — сидить, склавши ноги калачем, і палить люльку; сам пикатий, витрішкуватий, у червоних шароварах, жупанчик зелений з жовтогарячою габою.

— Чудна в його люлька! — дивує Хапко. — Настромлена на ломаку! Не дуже-то, здається, придобна: таку не ковтнеш нашвидку!

А в їх пеклі на той час мусили уживати люлечки, як наперсточки, бо у найстаршого пекельника, у самого верховода, була жінка така виніжена, що й не сказати. «Нехай, — каже, — мені тільки болиголов пахне, а занюхаю тютюну — умлію!» Як сказала — в один мет по пеклі наказ: «В дрізочки люльки! На смітник тютюну!» А по тім наказі хто нишком закурить — нехай і сам верховода — то зачує, ніби щось шелеснуло, зараз люльку ковть! і ковтне. Бісові то не вадить, а до того ще й то, що не маєш, де його краще сховати. Оце Хапку і в див та турецька люлька з цибухом.

Ще, бачте, молоде, то хоч воно з пекла, а таки ще недоук, не все зна. Шануючи вас, ми, грішні люди, вік свій навчаємось, а проте і ми не до краю розумні кладемося у домовину. От я вже й посивів трохи, а тільки торік прочув від байракського паламаря — голова з освітою! — що й турки не такі вже непроторенні дурні, як нам здається, — знають вони, нащо ті довгі цибухи собі придбали: вони, бачте, вдома сидять долі, склавши ноги калачем, та курять — невідомо, казав байракський паламар, чи так їм від господа приділяно, чи з якої причини повелося, — а турецька жінота, неначе наша, неслухняна і до того дуже проворна, — де вже отілому добродію, та ще сидячи калачем, запопасти таку дзигу та по надобі на добрий розум її повернути; а як той його цибух у руці, то часом він і гарненько влучить... І те казати, треба ж і турчину якось запобігати тому лиху...

Ганить Хапко турецьку люльку, а проте кортить його: а нехай би з такої потягнути разок. Чому ні? От уступлю у крамницю, покажу крамарю коповик...

А тут хтось шторх його злегенька.

Озирнувся. Якийсь чи русявий, чи рудявий, на плечах шарпанінка, на грудях гудзики, кива на його і сміється.

— Ге, Микито! Голубе мій! Ось і ти!

Хоч підтоптаний, а басуватенький, пика голена, вус стрижений, ніздрі неначе обценьками повихвачувані, очі свердлом так тебе і прошивають.

— Як же там у вас, чи живі, чи здорові? Чи усе гаразд? А я дивлюсь та так зрадів: ось, думаю, й Микита... діддав-таки я Микиту... Та чого ж ти на мене визираєшся, наче не пізнав?

Бреше, мабуть, не вперше: язик обертається, як човник у ткацького майстра.

Та і Хапко не мимрач, придивився та й пита:

— А ви ж, дядьку, хто будете? Чи не Шелевило?

Заметушивсь трохи, та зараз і знов, як умитий.

— Так ти не Микита? А я думав, Микита,— каже,— та й дивую, що не пізнаєш давнього приятеля... Ну, помилка за фальш не йде... Я, бачиш, здалека... а теперки обертаюсь тут у місті... Володимир я... Дядько Володько... може, чув? А ти ж хто такий? Звідкіль? Як тебе звать?

— Хай вже буду Микита,— сміється Хапко.

— Та й годі вже жартувать! Я зразу не розгледів,— хіба ж сього не лучається?.. Який ти Микита! Микита — простець, мужик, а в тебе постать, як у паняти... Дівчат, мабуть, позанапастив, як мух, та ще незчисленне їх на те сподівається... Еге! Оце дивлюсь я на тебе, і згадується мені один пан... Такий був вояка, погляд орлій, похода важка, вельможна, білий, як сметана, пухкий, як пампук... Гарнюк такий, що не списати ані змалювати... Дивовижа мені, як ти в того пана вдався! Наче не ти, а він перед очима — тільки одмолодів та ще покращав...

«Бач, якої співа! — дума Хапко.— Лестками закида! Закидай, закидай, тільки шкода заходу! Не охитрувати!»

Ніби насміва, а сам аж очі мружить, так прислуха, і ті йому лестки — наче солодкий мед плине по кісточках.

(Та й сила — ті, мовляв, лестки! От, наприклад кажучи, ви добре знаєте, що ніби трохи руденькі, ліве ваше око не хоче тудою дивитися, кудою дивиться праве, кріпточку і голомозенькі (та й жінка нагадує, щоб часом не забули: «Рудий шершень! Зизоока звірюка! Голомоза мацапура!» Звісно, жінка, то вже до ладу прикладе...). А нехай-но полехтає: «Ой, дядьку, та який же з вас красень! Там-то брови чорні! Там-то чуб кучерявий, а погляд орлій?!» — то ви допадатимете до тих лесток, як ужака до молока, що як жлукче, то хоч рукою його бери...)

А той дядько Володимир таки не відступається:

— Тепер я роздивився, то добре бачу, що ти не з села, еге?

— З села,— дурить Хапко.

— З якого?

— З далекого.

— Годі вже! Не одуриш! Паничик? Чи попенятко? Чи, може, з міщан? Еге, з міщан?

— З міщан...

— А як тебе звать?

— Та ви ж вгадали — Микита.

— Бачу я, Микито, що ти тут у місті, як у темному гаю, та ти сим не турбуйся, бо ти за мною, як за кам'яною горою: нехай-но хто вирветься до тебе з піддур'ю або з ошуком, то він у мене за дев'ятьми ворітьми гавкне... Еге ж... чогось улюбив я тебе... Трапляється часом, що іншого якось не приймає серце, відвертається від нього, до іншого так зразу приляже, як до рідної матери... Чи ж мало тут в мене приятелів! І до Києва, мабуть, не перевішати... А я їх всеньких за півдарма віддам, аби з тобою побрататись та товаришувати... Отаке... Улюбив я тебе, та й годі... Так тебе улюбив, що вже іншим нічого і не зосталося... От як ті дурненькі дівчата по селах співають:

Хоч натраплю, хоч зазнаю, та вже не такого.

Не приляже моє серце ніколи до його.

Чого всміхаєшся, ніби віри не ймеш? Хіба того не прилучається? Або ти не варт, щоб до тебе серце прилягло?

«Цей Шелевило — брехунець,— дума Хапко,— а проте... Тями йому не бракує: зна, що личко, що ремінець... Не помилиться, одразу розбере, де ворона, де сокіл... Нехай трохи підбріхує, а розумає... Та не заспліш він і бреше, хіба ж я справді не варт, щоб до мене серце прилягло?.. Ні, нема на що нарікати — пощастило мені таку голову стрінути... З таким товаришем не занудиш світом... Чоловічок має в собі приємність...»

А той, що приємність в собі має, завітує:

— От тут недалеко пивничка... Воно не пивничка, а так сквапний чоловічок ніби то тим, то сим крамарює... Труночок там такий, що тільки ковтай та бровами підкидай... Ходім, постановлю тобі пляшечку, щоб ти знав дядька Володька та його добрість... Звертаймо цим заулочком, то й зараз натрапимо. Згода?

— Згода.

Звертають у заулочок, а тут другі двері й у ту, мовляв, пивничку, де сквапний чоловічок то тим, то сим ніби крамарює.

Увіходять.

Хата давненько не біляна, та відколи вже й не метена, по стінках колочки, а по колочках той, мабуть, крам — нова

сива смушева шапка, якась червоненька спідничка, синя корсеточка, аж три халяви, вишиваний рушничок; де причеплена пила, де хомут висить, де чемерка, а поруч славно хазяйська пуга і прехороша свитина; тут юхтові чоботи, а там з драної торби сторчить долото й просувається свердел. І не злічити того, мовляв, краму. На одшибі, в кутку, кривенький стіл; на столі пляшка, скляночки й чарочки, а поза столом сидить на лаві і тягне люльку сам сквапний чоловічок — вже давненько не юнак, відколи вже й квіт з його опав, та ще й не трухляк: сивоусий, пикатий, броватий, очима, як списом, пройма.

Загледів дядько Володька і, не так, щоб ласкаво, гукнув: — Га, шпачок приленув... Сподіваєшся знов дві кварти ушахровати? Колись матиму часинку, то я тебе трохи навчу! Знатимеш, як-то гуляти, а погулявши, втікати! Зажди-но, шпачок!

Та й устає... А барчистий, височенний, аж стелі достає, кремезний, кріпкий, як дуб...

А шпачок скік за Хапка, та з-поза Хапка:

— Що се ви... що се ви, Охрїме друже? Що се ви... Хіба мене не пізнали? Чи жартуєте?

— Жартую? — одgrimнув Охрїм...— А ти, єретичний сину, позавчора не втік? Гукаю, а він...

— То що, що втік, Охрїме? — виговорюється.— Втік, а ось прийшов і все до шеляга заплачу.

Та до Хапка:

— Плати, Микито, бо в мене катма дрібнотки... А ми з тобою опісля порахуємось.

Хапко зараз витяга карбованця. Охрїм, приймаючи, вмет уласкавився, та моргаючи Хапкові:

— Плати, плати, крутивусику, а він певно порахується — хіба що рак не свисне... Еге, Володько?

Володько часом трохи не дочува...

— Берїть за ваші дві кварти, Охрїме,— каже,— а всеньку рештку приділено на вистоялочку<sup>1</sup>. Ставте, Охрїме, та насипайте, коли ласка.

— Розумне слово добре й почути,— одказує Охрїм.

Швиденько подався у другий куток та, трохи відсунувши якусь скриньку, підняв лядку, витяг з якогось темничка барильце,— ставить скляночки, сипле...

---

<sup>1</sup> Горілка, що вистояють рік, а то й два, часом закопуючи в землю.

Дух такий, що круторогі б спинились...

Насипав та й каже:

— Такого,— каже,— ведмедика<sup>1</sup> і в протопопа не піймаєш!

Випили. Посиділи.

А як трохи відпустило, Охрім примружує око на Хапка та й каже:

— А ти, крутивусику на тоненьких ніжках, жвавого роду: пустив ведмедика начебто гаразд протореною стечкою...

Не бракло, здається, Охримові ані розваги, ані прозору, а проте не розчухав, що цей крутивусик і залізо ковтатиме, як ми з вами черешню чи оковиту,— не завадить йому, а хіба попользує.

— Ге! — хвалиться дядько Володько.— Се в мене такий кришталь, що другого такого у цілісінькому світі не надібаєш! Оце, Охрїме, побратавсь я з ним, та й обридли мені усі давні приятелі,— бо чи ж до його їх прирівняти? Ти споглянь на його...

— Та годі вже, дядьку,— спиня Хапко.

А сам зирк та зирк зукоса на Охрїма: здається бісєняті, що той Охрім так якось мружить око, начеб тут не дуже дорогий кришталь...

— Кажу тобі, Охрїме,— править Володько,— споглянь на його: се такий кришталь, такий...

— Не передавай куті меду, Володько,— радить Охрім,— засоромив крутивусика... Може, по другій?

Володько согласний:

— То і по другій? Еге, Микито?

Согласний і Микита.

— Напиймося тут, бо в небі не дадуть,— приказує Охрім.— А може, по третій, щоб дома не журились?

Випили по третій.

А далі Охрім і згадує:

— А вчора,— згадує,— приходив аж двічі твій давній приятель Прохорець і питав за тебе. Де, каже, запроторилась та московська ступайка, що ніяк оце не надібаю. Та вже якось мушу запопасти. А як, каже, запопаду, то буде шелесту... Дуже йому, Прохорцю, мабуть, пильно... Ге, Володько?

---

<sup>1</sup> Палюча, як вогонь, горілка з пахощами. Якийсь, славляють, протопоп 7 років обмишляв, поки її обмислив.

— Чого там йому пильно! — стрепехнувсь Володько.—  
Не знаю...

Не зна, а наструнив уха й позиркує на двері.

— Казав вчора Прохорець: коли завтра та ступайка  
надійде, то нехай мене підожде...

А ступайка вже в картузі.

— Підождав би,— каже,— якби час мав, та не маю.  
Дайте, Охріме, що там нам належить, у пляшку та бувайте  
здорові... Ходім, Микито!

Та у двері, та швиденько з заулочка в заулочок.

— А чого се ми втікаємо, дядьку? — пита Хапко.

— Хто втікає? — відпитує на бігці дядько.— Я, бач, по-  
спішаюся до куми,— бо єсть у мене кума... А на дорозі ще  
треба забігти у пекарню. Ось уступимо у пекарню та дечого  
там купимо — папушника, чи що. Пекарка продає й те, що  
до папушника годиться — усякі наїдки... Пекарня чудова,  
і пекарка знакома, удівонька. Красота така — на всю око-  
лію. Сам побачиш. Ось і пекарня...

Пекарня і справді чудова: тут і паляниці, і книші, і па-  
пушники, буханці, вергуни, калачі, пампухи, балабушки,  
а до того сало, ковбаси, драглі, смажена рибка, в'ялена риб-  
ка, маківники — усякі наїдки і присмаки!

За прилавою препишна чорнява кирпатенька молодиця  
у червоному очіпку. Як зобачила дядька Володька, зірва-  
лась з місця, наче її полум'я обхопило:

— Перевіро! Шибеник! Злодюга!

А дядько Володько зумився, аж рота роззявив, хоч во-  
зом в'їдь.

— Та на кого ж се ви гніваєтесь, голубонько? З ким  
сваритесь? — пита.— Та хто ж се вас угнівив? Та ви ска-  
жіть мені, то я того псотника чи псотничку... Та не турбуй-  
теся, моє золото...

А золото трохи не удушується з гніву.

— Ти, безчельнику... ти, проява... Які мені коралі на-  
раяв? Завіряв: грапиня спродає... Зроду б не продала,  
якби не визволяти грапа... а вони... а ті коралі розпадають-  
ся... трощатья, як скло... Щекачу клятий!

Дядько Володько аж руки до господи здійма.

— Господи милостивий! Чи я ж таке провидів! Я ж на  
ту злиденну грапиню покладав надію, як на рідну ма-  
му! Та я до неї піду! Я її поспитаю! Я їй не подарую!  
Нехай грапська челядь мені голову одітне, а не по-  
дарую!

— Ти, продай-душе! ти... Геть з пекарні! Щоб ти тут і не пах! Геть!

— А я, голубонько, до вас...

— Геть-геть-геть!

— ...бо мій товариш репетує: «Як зблизька не побачу ту удівоньку — себто вас,— то або води завідую, або петлі на шию... Ось він стоїть. Спогляньте на його, голубонько...

А голубонька вже споглянула. У гніву, зопалу не завважила, що коло дверей стоїть такий галанець — хоч маляу, хоч цілуй!

— Верзете не знать що! — промовила, разом втихаючи.

І, здається, нічого не вдіяла, тільки на півкрочка посунулась поза лавою, та взявши рушничок, злегенька його струсила, а виявила, наче вималювала, які в неї рученьки білі, який стан гнучкий, яка постать пишна.

— А нехай же скаже, що брешу! — править Володько.— Нехай скаже!

Та до Хапка.

— Ти присягавсь, що як удівонька загордує, то або втоплюся, або в камінь розіб'юся? Присягавсь чи ні?

— Та годі вже, пустаче! — ніби свариться удівонька (а хмару з чола наче вітрець гонить. От-от вже й всміхнеться, та зирк позирк на Хапка).— У вас на вербі груші. Та ще й рясно їх...

А Хапка підстрікує вусики та світить вирлами.

— Нехай тому комарі виїдять очі, хто бреше,— вигукує дядько Володько, нібито вже й сердячись, що так його кривдять.— Хіба мені треба в ту вашу пекарню заглядати або того вашого папушника купувати? А що робитиму, як він клещаком в мене заклещився: «Нехай же хоч подивлюсь зблизька на кралю, нехай же хоч гляну!» Змусив мене. А що, думаю, раз літо родить — нехай ужива світу, поки літа... І погодивсь: дивись на свою кралю, а я вже мушу папушником чи там чим іншим піклуватись.

Розказує, а сам з-під поли торбу та у торбу.

— До папушника можна і ковбаски — от ся, здається, добра, з часничком... Візьмемо... І калача можна... і смаженої рибки... як на твою думку, Микито? Підходь ближче — годі вже соромиться! Та не світи такеньки очима, щоб часом нам стелі не спалить... от тут і драглі... підходь лишень та подивись. Можна й шматочок сала, еге?

— А можна,— згожається Хапка, підходячи близенько та викладаючи перед удівонькою карбованця.

— Беріть от сього папушничка,— радить Хапкові удівонька,— може, мені спасибі скажете... За ковбаску з часничком теж, сподіваюся, не налаєте. А бублички не до смаку? А пампухи з медом? Солодкі...

А у самої усміх солодший від того пампуха солодкого...  
Голосом пестить, оцентами голубить...

«Таких і в нас у пеклі не густо!» — дума Хапко.

Та трохи нахилиючись, наче йому вгодило у серденько, стихенька перепитує:

— Солодкі?..

— А як солодкі, то кидайте мені в торбу,— озивається дядько Володько.

(Поки що він у ту торбу понахапав і такого, що удівонька, виграваючи очима, й не постерегла).

— І я ласий до солодкого,— жартує,— сказано: кожна душа не з лопуцька, того ж хоче, що й людська.

Та ніби, схаменувшись, вжахнувся.

— Забарився з тим закоханцем, а в мене такого діла, що аж голова в очевидь сивіє. Бувайте ж здоровенькі, голубонько, а я завтра раненько або пропаду, або видеру у тої злиденної грапині ваші гроші... Се так певно, як сонечко сходить і заходить. Видеру й вам до ручок... Може, товаришем перешлю. Не забороните товаришу вас одвідати? Не бороніть, галонько, бо товариш сухот достане або щось собі заподіє.

— Чого ж маю бороніть,— одказує удівонька, як свята,— у пекарню кожному двері відчинені... кому треба, той і уступай.

— То й добре, галонько, він не забариться. Еге, Микито? А ви його, серденько, прикрильте, бо кажу вам, се трохи не панська дитина, роду доброго, заможного... я і батька його, і дідуся, і прадіда знав. Може, господь його вам, голубко, приділя...

— Та одкосніться! Вже й так заробили на потиск,— знов впиня удівонька, чи сварячись чи потураючи.

Та до Хапка, всміхаючись любенько:

— Завтра в мене булочки свіженькі, тепленькі... усякому на здоров'ячко...

А Хапко, виграваючи вирлами:

— Та вже як такі ручки та пучки орудують, то певно не попсують...

А вдівонька, голівку схиляючи, вії шовкові долі при-спускаючи:

— Та візьміть одчепного...

— Час нам, Микито, час,— нагадує дядько Володько.

А тут у двері якийсь десятник:

— Давай, бабо, дві паляниці, та повертайсь, бо начальство дождатъ не согласно.

А за десятником якісь москалі:

— Давай, тьотка, калачиків, да проворно! живо!

А за москалями якийсь дяк, за дяком мельник, за мельником дві перекупки, оболонник, грабар, стара пані з двома песиками на червоних віжках — та й кінця нема. Затуркали удівоньку — мусила нашвидку попрощатись.

— Ой, та впав же ти їй в око! — сміється дядько Володько, виходячи з пекарні.

Сміється й Хапко; ще б то не впасти!

— Пропала красоха!

— А нехай!

— Тепер ходімо до куми. Там у куми я собі притулочок маю. Там, хоч пізенько, а так чи сяк пообідаємо,— каже дядько Володько.

Тим часом, минувши будинки, добігли до вбогеньких хаток, геть поза крамницями, вже таки далеченько від міського розгласу і туркоту.

— Он кумина хата,— показує дядько Володько,— он-он,— там, де стара груша та купка бузку...

Хаточка на одшибі, малесенька, низесенька, біліє з-під старої груші, немов з-під зеленого намету: з-за бузка блискотить проти сонця віконечко.

Ще до загородки не доступили, а вже хатні двері відчиняються — стріча кума на порозі... Бачиться, давно дожидала.

Хапко аж поточивсь — молодиця, як зоря!

А зраділа! збіліла й почервоніла і знов збіліла... Втопила очі в кума,— Хапка чи бачить, чи не бачить... голосок дзвенить.

— А я,— каже,— почула, догадалася, що се ви... Мабуть, втомилися. Може, голодні? А я сьогодні й не топила! Чим прийматиму?

— Не журись, оце тобі міх добра,— хвалиться дядько Володько, показуючи торбу.— Бери лишень та гарненько подякуй. Чого задивилась! Веди у хату та вибирай з торби.

Та, киваючи на Хапка:

— От я закликав товариша у гостину, чи ж не красень?

Такого, мабуть, зроду не бачила? еге? Вітай його, бо він мені рідніш рідного братика. Побратались ми з ним.

Іде, як господар, до хати — вбогенька хатка, а як у віночку — і зараз почина порядкувать:

— Ану, Ганно, швиденько! Оце став тут, а то посунь... а се покрай, та дрібненько... А де ж той ніж? Гляди пляшки... Ну, Микито, сідаймо обідати. Ганно, чого задумалась — шануй гостя дорогого. Край, насипай, частуй!

Слуха: крає, насипає, частує, а як вліпила оченятка у ту, мовляв, ступайку, то й одвести несила — на його тільки дивиться, його тільки бачить... А ступайка і не спогляне на безталанночку — упада коло Хапка.

(Збіга мені на думку, з чого-то береться часом, чим держиться та, мовляв, уподоба, чи любва? Давненько вже блукаю по божому світі, придивляюсь, прислухаюсь, а досі того не второпаю. Нехай би хилило чоловіка щось добре, розумне, щире,— так ні... Часом улюбить таку кралю, що, здається, маючи хоч кріпку тями, мусив би на сім миль від неї відбігти, а вам чи мені,— любочко, рибочко, пташенятко... і орудує нами, як віхтем, ота пташка аж до сивої скроні...

Ми з Лавром Самодійчиком та з Данилом Черевиком, сидячи якось у Гершка в корчмі, довгенько міркували, в чім тут сила — саме тоді Василь Чорняк повісився, й славили, що бідолаху жінка з світу згладила,— то Лавро й каже:

— Такі, як покійничок — хай над ним земля пером! — самі трохи завинили: не питаючи броду, та сунулись у воду. Коли в мене на плечах не макітра, то в цьому ділі мушу я так ступати, як переходячи глибиню у позимку, пам'ятаючи, що лід, як шкло, а шурхнеш під лід, то сухого не витягти. Бачу, як інші на льоду обломилась, маю пересторогу, то, як то кажуть, з чужого злого вчуся свого. Мушу роздивлятися, уха межи люди далеко пускати та раз у раз завертати до голови по розум. Боже борони хапатись — мушу повагом, з оглядом... То й оберу собі таку, що й добра й тиха, а до того й гарна, як ясочка... так-то воно буває, як на плечах голова, а не макітра.

Славно розказав Лавро, аж мило слухати, а в самого така ясочка, що як вигляне у вікно, то три дні собаки брешуть, та сердита, як рарах, та язиката, та уїдлива.

А Данило Черевко додає:

— Розважний чоловік зроду б не повісився: коли вже так пішлося, що придбав собі верещуху, що проти тебе не мовчить, то навчи, щоб мовчала.

І Данило ніби до ладу розумкує: тільки як завершить його жінка: «Долі! долі!» — він не відмагається, зараз присіда додолу, а вона його тоді за чуба... Бо Данило високий, як лугова тополя, а та занозячка така, як вузлик, та й не хоче підскакувати, а хились, каже, щоб способно тебе відчухрати.

Отак ми, розумаки, ставимось, як орли, а прийдеться до діла...

А що вже дівчата та молодиці, то бодай і не згадувати. Укохає собі якусь, мовляв, ступайку,— а бува сама і добра і прехороша — і не надивиться, не налюбєє. Нехай та ступайка щодня, щогодини серце їй крає, нехай раз у раз душу з неї виймає — байдуже! Хто його розбере, що то за попуст у бога!

— Ще чарочку, Микито! — частує та частує дядько Володько Хапка.

— Та вже довольний, дядьку, дякувати.

— Пивце нічого, добре... я на сьому знаюся... Бо сам трохи не пивоварник. Га! зварив би я пивце... тільки що треба багато заходу, та щоб повно побрязкачів у кишені... Ой, зварив би я пивце!

А Хапка:

— То зваримо, дядьку!

— Таке пивце!

— То зваримо!

— З таким духом, що за дев'ять миль чути!

— То зваримо!

І так бісеняті аж закипіло того пива варити.

— А побрязкачі? — пита дядько.

— Оце знайшли, чим турбуватись. Побрязкачі будуть. Побрязкачів досхочу...

Звісно, дідькове кодро, як ті великі пани, не турбується втратою, бо теж гроші не зароблені ручками та пучками, не кривавії, а ласкавії.

— Було і в мене тих побрязкачів досхочу,— зітха дядечко,— та, бач, чоловік я дуже добрий... такий добрий, що аж сором: аби побачив людське безталання, аби вбожество, то радий і сорочку з себе віддати. Оце вчора бачу: сидить вбога людина, а до неї двойко діток туляться, простяга руки: «Змилуйтесь! Будьте милосердні!» То я зараз: «Ось, небого!» — та все чисто й віджалував... я, щоб ти знав...

— То зваримо ж пиво! — перехопля Хапка.

— Воно б можна, та багато заходу.

— Прошу я вас, дядечку!

Нарешті, дядечко ніби власкавився.

— Що маю з тобою робити! Нехай вже постараюсь тобі на втіху. Тільки умова така — моя майстерська праця, а твої гроші, бо казав же я тобі, що вчора...

— Та добре, дядьку, добре...

— То згода?

— А згода, згода... Зараз і заходимось... еге?

— Ти, бачу, з вітрогонів, братику. Хіба у такому ділі припада хапатись? Нехай хапається попівна заміж, а тут треба братись, добре розміркувавши.

— А чого маємо міркувати? — кинув Хапко. — Зараз усього накупимо та й заходимось варити. Ось беріть гроші...

— Велике діло твої гроші! Пхе! — угинається дядько, нібито він по самі вуха у грошах сидів, сидить і довіку сидітиме. — Сила не в твоїх грошах, а в майстерстві... Розумієш?

А Хапко:

— То бувайте здорові!

Та до дверей.

— Куди? Стій! Микито! Товаришу!

Та обіруч до Хапка.

— Хіба ж я відмовляюся? Обібравсь грибом, то вже нікуди, як у кошик... Ну, давай гроші... Давай карбованець... Ні, два, та ще з копою... бо теперки за солод правлять, як за рідного батька... Давай ще три копи... та ще трохи... Міркуй, що солоду нам не абиякого... нам треба виборного... дорогий, кат його не взяв, та нічого не вдіяти — як треба, то треба... Побіжу до знакомого пивоварника, чи не позичить діжечки... та хто його зна, чи позичить, бо жмикрут страшений... хіба золотого йому в зуби?

— Як маємо позичати, то, може, лучче купимо, — каже Хапко.

— А лучче... безпечніш... Давай на діжечку... Та підкидай і на пахоці, бо моє пиво з пахоцями... І пахоці в мене не абиякі, а з виборних найвиборніші... Ще підкидай... дві копи... та ще копу... Сип, сип, — буде рештка, то принесу, а як забракує мені у крамниці, то вже не гаразд. Ге, скажуть, се, мабуть, шеляговий купило! Шкода й показувати йому виборного краму — йому і вибірки го-

дяться... Ну, давай ще хоч карбованчика... як заходжуватись, то заходжуватись...

— Кумасю! (то вже до куми).

Кума тим часом стоїть та прислуха. Невтямки, мабуть, їй, яке з того кумового пива буде диво, а не озивається і не пита.

— Слухай, кумасю, ти мені гарненько усе опоряди... усе, що треба... пильнуй, щоб рощини... чого очі в мене встромила?... не бачила, чи що?

— Та ні... та я зараз...

— Я швиденько подамся до грека по пахощі, а ти, Микито, бери в куми синю торбинку та поспішайся за мною. Он тут у заулочку по правім боці на ріжку той грек крамарює... Та не барись, бо я дождатиму, а мені пильно... ще маємо того солоду запопасти.

Та у двері, та й нема його.

Хапко до куми:

— Даєте синю торбинку?

— Синю торбинку? Яка ж то синя? Не здумаю!.. шука-тиму... зараз знайду.

Метнулась шукати.

— Та не турбуйтеся,— спиня Хапко,— йому аж пече бігти,— обійдемося, куплю якусь.

І льотом стрепенув до грека, що в заулочку близенько по правім боці, на ріжку пахощі продає.

Коли ж ріжок не з правого, а з лівого боку й не близенько, і грека на ріжку нема. Продає тут маківники якась огрядна молодиця у синій корсетці, зав'язана чорною хусткою з червоною габою. Непривітна. Напустила брови, як пущик. Погляда зукоса.

— А тут мав бути грек... де ж той грек? — пита Хапко.

А молодиця, як у дзвін:

— Якого тобі грека? Вирла, як у теляти, а не бачать... сліпі, чи що?

Хапко зараз маком розсипався.

— Я, крамарочко, хотів спитати... Може, ви мене направите, де той грек, що німецькі пахощі продає?

— Оце заробиш ти в мене німецького пахоща, та ще потиск на придаток! Бач, викрутень! З третьої, мабуть, гіллі зірвався!

Та як задзвонить:

— Десятнику Овдію! Десятнику Овдію!

Хапко дременує далі.

Надибав на ріжок, от і другий, п'ятий — катма грека. Мало не все місто вибігав та вишукав. Хоч ніжки бісячі, а гудуть.

«А може, він все покупив та й до куми подався і там вже орудує?»

Потер-потер ніжки і мерщій до куминої хати.

— Нема?

— Ще нема,— одказує кума,— сідайте, відпочиньте, поки надійде. Втомились, аж задихались. От свіжа водичка...

Напивсь Хапко свіжої водички та й пита:

— А де ж той грек, що його не знайти?

Спахнула, як іскра:

— Який грек?

— Що недалечко, казав дядько, на ріжку пахощі продає?

— Не знаю... я, бачте, пахощів не купую, то де ж мені і знати...

А сама наче провинила.

— Кудюю ж той кум подався? Де його шукати? — аж викіпає Хапко.

— Може, й хутенько надійде...

— Оце щоб я його дожидав та виглядав.

— Не звикли? — всміхнулась.

Та так-то вже смутненько... От як той, що вже добре навчився і дождати, і виглядати — добре зна, що то переплакані ночі та перемучені дні, і вже відколи їх не вилічує.

— Та й звикати не хочу! Піду знов шукати! Казав зараз варити, а коли ще то буде! От лихо! От напасть! От безголов'я!

І так бісеняті того пива варити, та зараз, та притьмом... аж казиться...

Нащо воно йому? До чого?

Та що бісеня,— нехай собі дідькове насіння й казиться,— лихо, як хрещеному таке заподіється. Хіба ж не лучається, що ніби й розумний і розважний зразу наче збожеволіє — пропада за якою-небудь дурницею, що вона йому ні до чого,— і гонить за нею, наче його з мосту пхнуто...

Та вже признаюсь за себе.

Торік повертався я з Деркачівського ярмарку, і так мені тим разом пощастилося, що я і своє добро спродав, і покупив, що мені треба, поцінно. Правда, посварився був з Іваном Лемішкою, та сварка та не зашкодила, бо

не дурно кажуть: не бити кума, не пити пива... Так-от, повертаюсь з того ярмарку, поганяю по рівному і, наче в колісці, розкошую... Дрімаючи, доколисався до Лучок, а в Лучках собаки кляті — мухи не пропустять і умерляка піднімуть — мусив прокинутись. А тут якраз на дорозі два півні деруться, аж пір'я летить, і рябий посіда червоного. І чогось мені той рябий в око впав: куплю його! Нехай у нас у дворі рябі півні кукурікують. А тут вибіга молодиця, хапа того рябого. Я до молодиці: «Продай мені того півня, молодице!» Не хоче — звісно, жінка, то й норівниця... Я, не вам хвалячись, як почув, що не продасть, то трохи не взридав... Продай, хрінова дочко! «Не продам, не продам, не продам!» Як зацокотіла, як засвіготала, заверещала, світе мій! Таку збила бучу, що сусіди позбігалися... у гук, у крик... А тут собаки ті кляті, як не розірвуться, гавкають... Я ніби трохи схаменувсь: будь ти неладна, дармосварко! Погнав воли... Приїхав додому, а вдома гості, та ще милі гості — давній мій приятель Корній Чубатенький. Розказую йому, як за рябого півня з лучанською молодницею посварився. Сміється Корній, сміється й жінка. Було, мабуть, у головці, каже...

Сміюсь і я, а проте не йде мені з думки той півень! Треба мені того півня... Так треба, як дихати... Випроваджуючи Корнія, хвалюся йому: а я таки того півня, хвалюсь, добуду. «А навіщо тобі той півень здався? — пита Корній (той Корній такий, що хоч чуприна трохи й куриться, а річ розсудлива). — Якби земля, або віл, або кінь — нехай кабанець, а то півень! Начхай на того півня, друже!» Я за таку раду дибки — наче хто мене в серце списом пройняв. «Як-то?» — гримаю. І посварився б добре, та той Корній такий догадливий в бога чоловік, що скажіть йому: «А я тобі, Корнію, голову одітну!», то він повідмагається й погодиться: «Одітни, друже!» Зараз він мене втихомирив: «Коли вже так тобі приступило, друже, то добувай того півня. Після нас не буде нас... уживаймо, що мога...»

— Добуду півня! — хвалюсь жінці.

А жінка свариться: оце розносився з тим півнем, як з писаною торбою.

— Таки добуду! — наполягаю.

— І добувай, а поки що лягай спати!

Тим словом трохи мене не вмертвила...

— Спати? — кажу, — спати?

Проте ліг спати.

Що ж ви думаєте? Аби заплющив очі — вражий півень, як живий — тільки не дзюбне! Прокинувся — в уха кукурікає.

Чи спав, чи не спав, удосвіта скочив на коняку та по-смиком у Лучки...

Ранок свіженький та росистий, вітрець повівний.

Ніби трохи мене відпустило... Чи не повернуть додому? Тим часом таки простую до лучковської корчми.

А в корчмі бондар Назар Попелуха п'є горілочку і перекоряється з Гершком за якісь обручі на діжку. Побачив мене: «Га! слихом слихати, видом видати! Здорові були, дядьку! А будемо воювати?» — сміється, і той ластатий дурисвіт Гершко сміється. «А чого мені з тобою воювати?» — питаю. «Та не зо мною, а з Варкою Бандурихою — рябого півня забули?» А тут Гершко дзиг-дзиг-дзигує: «Ну, ну, послухайте ви моєї ради, постановіть йому (Назарку-то) квартиру, то він вам того півня добуде». «Як-то?» — питаю. «Бо він таке слово має», — сміється ластатий. «Добудеш?» — питаю Назарка. «А добуду, — впевняє, — станови квартиру». — «Матиму в руці півня, — кажу, — то й поставлю».

Бере шапку: «То ходім до Варки».

Пішли до Варки... Іду, і так вже мені в серці, згадуючи, як образила мене та катова дочка, так вже, що аж руки чешуться... А до того не дуже-то і вповаю, чи згодиться вона, чи знов зіб'є бучу...

Уступаємо в хату...

То я аж вжахнувся: не та баба, не та Варка.

Вона, кат її не взяв, препишна молодиця, гладка така, що й миш не одержиться, смуглява, рум'яна, як промінь вечірній, очі огневі, та тільки гордувата, чванькувата — носочка й коцюбою не дістати — дивиться, наче зараз тебе з'їсть, не соливши, словами й січе, і руба, ані приступити... а тут бачу таке лелечко — носок долі, очиці якомсь пригаслі, всміхається любесенько, голосок приятельський — хоч до якої пекучої рани її прикладати...

— Як вас господь милує, Назаре? Чи здоровенькі? — вітає бондаря.

А бондар, хрінів син, до неї, як голуб до голубки.

Тоді вже згадав я, що той Назарко на цілу округу жіночий воркіт і такий на це діло здатний, що, не вам кажучи, вранці вдовуленька слізеньками вмивається, згадуючи свого покійничка, а покивав та поморгав Назарко, та сплакана

бідолашка того ж таки вечора вже у червоний очіпок причепурилась.

— Ми з товаришем до вас, рибонько, за великим ділом притупали,— почина до неї прикочуватись Назарко.— Пізнали мого товариша?

— Аякже, пізнала.

І до мене приятненька!

Що ж ви думаєте? Умет оборудував діло Назарко. І півня продала, і навіть торбинку на його позичила.

Іду додому, везу півня... І не так-то вже дуже радію... Чогось ніяково мені...

А що далі, то гірш та гірш надозолює мені те придбане добро, бо вража птиця безперестанку так стрепехається у торбинці, що конячка наструнчує вуха. Ану, думаю, зв'яжу я його краще, бо та Варка, прислухаючи та приглядаючи свого залищайку, кат зна як зв'язала.

Спинив конячку, витяг того невірного півня з торби, прибравсь міцніше притягнути мотузок, коли бісів півень фурх! та у степ... будь воно тричі німцеве! Я за ним... і крила, і ноги в його спутані, а нічого не вдію: — підстрибує та підлетує, мов скажений. Спинюсь я, спиниться й він — роззявить дзюба і визирається, наче очі йому зараз вискочать, аби я поворошивсь — він стриб далі у степ. Добре нагрів чуба, поки його зляпав...

Привіз додому, пустив у дворі. Жінка тільки в долоні сплеснула.

— Оце,— кажу,— я таки докупився...

А сам раки печу, аж в очах зеленіє.

Бодай і не згадувати!

Так от побігло дурне бісеня шукати того дядька Володька.

Відома річ, який у бісового кодла нюх і чух, а проте тільки на другий день вишукав жвавого дядька аж за сім миль від міста — у Хрещатках ярмаркує.

Ярмарок аж кипів. Вироюваються і гомонять люди, ржуть коні, реве бидло, риплять вози, гагакають гуси, цокотять перекупки, божаться цигани, лаються кацапи, шваргоцуть жиди... гвар, стук, гук, розголос...

А в самому натовпі звивається дядько Володько, трусить якоюсь свитиною та вигукує: «Люди добрі! Люди добрі! Оце свитина над свитинами! Нова! Чудова! Коштує сім карбованців з копою, а віддаю за два! Таке лучилось! Поспішайтеся! Купуйте, не баріться! Два карбованці! Хіба

се великі гроші? Два карбованці! Коштує дев'ять! А вам за два! Нова! Чудова! Два карбованці!

— Дядько Володько! Дядько Володько! — гука Хапко.

Не дочува дядько. Хапко метнувся був у самий натовп, а народу, що й києм не проторкнеш. Але, звісно, бісеня скрізь пролізе, і вже Хапко коло дядька, коли ж тут якийсь велетень хап бісеня за галанці та як порожню макітру відкинув геть у бік на плечі двом добродіям. Добродії у крик, а баби коло них у писк... А велетень до дядька Володька: «Га, таки застукав невірну ступайку!» А дядько Володько: «Прохорець! Прохорець! Друже! Брате!» (Еге, дума Хапко, се такий Прохорець!) та як вигукне: «Ой, смерть моя!» Та й повис, як неживий, на Прохорцевих руках.

— Удає! — гукнув хтось з натовпу. — Я його знаю: шпаками годований!

— А я ось навчу, як удавати! — каже Прохорець.

А проте трохи ніби втихомирився і вже поклав дядька Володька на землю ошамненько.

«Як його визволити?» — дума Хапко.

В пеклі, щоб ви знали, як побратаються, то вже за побратима, як рідного батька, не те що в нас — при добрій годині побратим, а при лихій — мерщій за шапку, та бувай собі здоров, побратиме...

— А визволю!

## ГАЙДАМАКИ

### I

Давно те діялось...

Мій батько був крепак, родом з панського села Черностава.

Колись чорноставське панство далеко знали. Склалася й по́славка: бенкетує, як чорноставський владир.

Щиро розкошував нашого пана батько, не постив і син, то удвох вони таки гарненько порозпорошували дідизну і великі добра з димом та з вітром по воді пустили.

А проте на бенкети чимало ще зоставалося — ще зоставалися села й хутори, поля і степи, гаї і пущі, до того гута, крохмальня, цегельня, риболовні, browарня, отари, гурти, табуни і крепацькі хрестьянські душі. Спродавай, що тобі любля, та бенкетуй досчочу.

Найкращі панські пущі, чорноставська та дровичовська, буявили, сливе, поруч: гоней, може, у три від села чорноставська, поза нею трохи на одшибі у глибокім роздолі бурчак, а по тамтім боці дровичовська.

Чудові були пущі. Тепер таких і не надibaеш, бо таких вже нема.

Мій батько — звали його Лавро Несвітайло — служив за чорноставського лісника. Серед пущі стояла наша хатка.

Вже і знаку від тієї хатки нема — не зосталося ані звалсочка, ані опадлинки. Темний чорноставський гай як огнем пожерло, вже й сам я у землю увіходжу, а наче вчора виглядав з того хатнього, на схід, віконця та мружив очі проти блискучого сонечка, що променіло крізь зелену просіку; наче вчора шуміли мені понад головою старі дуби та берести, а я, дурний та веселий, біг у яр купатись... Біжу, що дух у тілі — вже пахне мені та свіжа та прозора глибина — на бігці усе з себе зриваю та з кручі шубовств в озерце... Аж вода ізорне, а птаство в березі пурх-пурх...

Усе проминуло... Усе наче полум'я згладило, а в споминку живесеньке, аж сяє..

Нас у батька було двойко, я, хлопчик восьмиліток, та моя сестра Катря, вже таки доросла дівчина — у 16, мабуть, рочок уступала.

Мати наша вмерла молодою. Я зостався у сповиточку, і випестила мене батькова сестра, а моя тітка, стара Мокрина.

Була та тітка Мокрина удова, свою єдиначку давно поховала і хазяйнувала в нас, щиро пильнуючи кожнісеньку нашу трісочку, а мене й Катрю доглядала і жалувала, як своїх рідних діток.

Жили ми у пуші в затишку і самотньо. Батько сливе не заглядав у село, бо пан не дозволяв і на годинку кидати лісу, а підпанки пильнували, щоб лісник шанував панського розказу. Не дуже вчашала у село і тітка Мокрина, а коли було наважиться одвідати родини, то вдосвіта, як на селі ще тільки прокидаються люди, або присмерком, як вже змрок почина опадати на землю, та не прямує, а біжить яром, геть-геть обминаючи панську садибу.

Спершу тітка інколи брала з собою Катрю, а далі батько заборонив:

— Не води у село, сестро, коли не хочеш, щоб вона на виспі опинилась.

Була, бачте, така виспа у Чорноставі, роблена... Оце як почав я, старий, те давнє згадувати, то й не потовплю споминок — вируюваються та вируюваються, та одна попереджає та одна одну заступає. І наперед забігаю, і убік звертаю, і назад поступаюсь... Хай вибачають старому...

Так була, кажу, попід панським садом, на великому ставу, роблена виспа. Два роки аж три села поралось, поки висипало високу, сказав би, могилу; на тій могилі викохали дібровку, а в дібровці вибудували башточку — віконця грінджасті, мережені та мальовані, як писанка, дашок спичастенький, а на дашку якесь кам'яне чи янгелятко, чи так хлопчик з крильцями, голісінський, як робачок, стоїть на одній нозі, наче: «Ось летітиму!» — і держить у руці червоне знаменце. У ту башточку вкидали сільських дівчат і там замикали чи на два тижні, чи на два роки — то вже як пан приділить. Так і звалась та виспа — дівоча<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Остатки подобной дівоч[ої] виспи автор видел в с. Каченовке, в имении, только что перешедшем от умершего дяди к В. В. Тарновскому. При последнем дівоча виспа была только памятником минувшего.

Як пан приділив батька за лісника і перегнав нас з села у пушу, Катря вже подругувала з сільськими дівчатками, і веснянок вмiла співати, і мережити лиштви, а мене взято немовлям, і рідний свій Чорностав я знав тільки по послу-ху. Було тітка Мокрина, сидячи за шитвом чи за прядивом, частенько пригадує та розказує, як у тому Чорноставі ко-лись ми жили, яка та сільська наша хатка була придобна, а у дворі криничка, а вода з неї чиста, як сльоза; як одного року уплодило в садочку вишення, яка копаночка там сла-вна — каченятка було й на став не хочуть: гиля-гиля, а їх з копаночки не викишкати... А закомірочок, як скринька... Сусідочки приятненькі, родина недалечко — незабаром і раду знайдеш, і пораду...

Як почне було пригадувати, то й кінця нема.

— І все те мусили покинути! — зітха.— Хоч ми й тут лісову хатку опорядкували собі гарненько — є в нас і кри-ничка глибоченька, маємо і городчик, і пашні трохи, а за ко-паночку нам аж ціле озеро — усе гаразд, усе добре, та не батьківщина, що там родилась і хрестилась, молодою співа-ла, увійшовши у розум, горювала...

Отак, згадуючи, розквильється було старенька, та зараз і схаменеться.

— Ви, діточки (до мене та до Катрі), не слухайте, що стара буркоче. Се я, грішна душа, перебендюю. Хоч господь простить та гіршим не карає. А нам ще можна жити і бога хвалити...

А по сьому — знов згадувати батьківщину, то утулочок придобний, то стежечку до ставка...

Отак, прислухаючи, закортіло мені подивитись зблизька на той, мовляв, рідний Чорностав — здалека я вже до його добре придивився: в кiнець гаю на окрайку стояв дуб-дов-говік, і як злізти на саму верховину, то геть-геть видно... Зараз заблискочуть великі вікна на панському будинку, що красувався на узгорку, висáдою на нашу пушу, замережать по саду квітники та стежечки, кущовинки, намети; за будин-ком розкинеться широкий панський двір — безперестанку тут рух, бігачка, проводять коней, щось несуть, щось везуть, крутяться, вертяться, звиваються... А геть за панським двором наче з жмені пущено в ту долинку хатками та сад-ками.

Дивлюсь було та вишукую, де та наша колишня бать-ківщина і ті стежечки й заулучки, що тітка Мокрина наче мені намалювала словами.

І став я просити:

— Нехай же я, тіточко, того Чорностава зблизька побачу!

Хоч добряща була і плохенька, і був я в неї, як кажуть, мазунчик, а не послухала і разу.

— Ой, дитино, що ти надумав! Там пани, там панські хорти! Розірвуть тебе на мотлошки!

— Та то мені, тіточко, байдуже,— наполягаю.

Хоч малий, а знав вже я трохи, що то пани, а що панські хорти, та цікавий, бачте, вродився, а до того дитяча сподіванка, що напасть ніби не моя часть — якось-то так оборудується, що я і з лиха вибавлюсь, і свого покоштую. І чіпляюсь: «Візьміть та візьміть у село».

— Мій ти єдиночку, не можна! Ти ж маленький. От як трохи підбільшаєш, то поберемось і у село, і у ярмарок — скрізь погуляємо... Ось тобі коржики... Ось тобі горішки... Не можна! Не можна!

Як чого забажає цікава дитина, то дарма їй казати: «Не можна!», бо вона того «не можна» зроду-віку не прийме, а ще гірш розпалиться. Пече мене хоч зазирнути у Чорностав...

Одного разу кинув я об землю горіхи і сиджу, як хмара, на порозі, коли надходить батько з лісу та й пита:

— А чого се, тітчин підбічнику, сидиш, як у розсолі?

— Він журиться, що не беруть у село,— одказує Катря.— Відкупались тітка горіхами — не хоче й горіхів, так журиться.

— Нехай собі трохи пожуриться,— каже батько,— без журби не прожить у світі.

Постояв трохи та до Катрі.

— Ти, дочко, на тому тижні була у Чорноставі? Пізньоко? ввечері?

— Була, тату... одвідала Орисю...

А сама стрепенулась і спажнула, як іскра.

— Щоб ти більш у село не заглядала. Чуєш, дочко?

— Чую, тату. Більше не підю.

Батько знов побравсь у ліс, а Катря задумалась.

— А що,— дратую,— і тобі у Чорностав не можна?

Вона наче не почула.

— Катре! Катре! — гукаю.— І тобі у Чорностав не можна? Еге?

— І мені не можна,— одказала.

— Мене не беруть, та й ти не підеш, еге?

І я не піду.

Словами одказує, а мислоньками, здається, десь далеко залинула.

От наче ще стоїть мені перед очима та сестра моя Катря, як тоді присмерком стояла вона в задумі коло нашої гаєвої хатки,— молоденька, як калинова квітка, трохи схмуривши чорні брови, стиснувши уста, втопивши карі очі у землю...

А далі, примічаю, і тітка Мокрина наче забува свою стежечку чорноставським яром.

«Мабуть, і тітці заборонив батько!» — думаю.

Та й питаю:

— Тітко, чому се ви не одвідаєте родини?

А батько чує.

— Часу не маю, мій голубе!

— А перш то ви мали час? — чіпляюсь.

Оззався батько:

— Бач, сестро, як твій підбічничок бере тебе на решето. А я так думаю: коли вже йому кортить погуляти у Чорноставі, то ти не впиняй,— нехай тудою простує. Як не порвуть хорти, то, може, так він там присмачить, що зостанеться у панському дворі, і сквапний з його дворак випеститься...

А тітка перехоплює:

— Якого іще там дворака видумали! Та боронь боже... Оце напались на дитину! Дитина тільки спитала. Хіба вже не можна спитати? Навіщо йому той Чорностав здався? Він зна, що нам тут, у лісі, в затишку, краще... Хоч людей не густо і трохи ніби самотненько, та спокій в нас... А пташок у лісі! А зимничок! Правда, Матвійку? (Се вже до мене). В нас у гаю і малина, і суніці, і полуниці... Схочемо, то зловимо собі зайчика... спорядимо гойдалку...

— А я так думаю, нехай він свою волю волить,— править батько.

— Та я туди вже й не хочу,— кажу,— байдуже мені той Чорностав... Се я тільки пожартував...

Любив я свого батька і шанував. Був він маломовний і ніби похмурий, хоч від нього ніхто урази не дознавав, але нікого він і не голубив, а проте одно його абияке

слово переважувало наймильші тітчині пещоти<sup>1</sup> і ласощі. Коли було часом трапиться мені спокутувати, то його поглумка гірш не те лайки — бійки, а як він до мене озветься, дещо спита, попожартує або дечому навчає, то вже я величаюсь, як Мошко на хрестинах. Аби йому догодити, чого б то я не занедбав, чого б не віджалував!

Так і занедбав я Чорностава.

Ріс я в лісі на самоті і бавився, як сам собі знав. Товариша однолітка не було. Сільські діти давненько перестали заглядати у пушу, бо хто колись заглянув, то так добре пам'ятав панську кару, що й другим наказав тудою заглядати. До того дівчорі спиняли старші, бо, караючи сміливу дитину, теж і батька її і матір карали. Не минала кара і недбалого лісника, що не приміг впильнувати малого злочинця.

Пан частенько оглядав свої добра і проїздив пушею. Сидить у повозі ще не старий, тільки дуже отілий — очі гострі, хижі, недобрі, усе їх мружив і уса підгортав. За повозом зап'ятники, а поруч верховні. Було повоза ще не видно, ледве чутно, як торохтить, а вже тітка Мокрина вполохана, аж труситься, ховає Катрю у комору... Мені шепоче, щоб тихо сидів десь поза кущами...

Прилучалося, що у пушу приїздила з ним сестра його — він вже давненько удовів. Пані його була — славили — здалека, з чужої країни взята, і добра, милосердна до людей, — може, того, що сама щастя не зазнала: хуленько по шлюбі зненавидів її пан і так знущався без милості, безперестанку, що вона ходила, як з хреста знята. Терпіла, поки була на руках дитинка, а вмерла дитинка, втекла. Приїхав ніби одвідати її брат та вночі її викрав. Пан як з гіллі зірвався — за нею: «Вертайся!» Та не вернулась, а незабаром невдашечка і вмерла. Після покійнички вселилась сестра, вже таки підтоптана пані, здорова, як лось, гладка, що й миш не одержиться. Вже пасок, мабуть, із сорок із'їла, а вбиралася у цвітні атласи. Пика така, що й решетом не накрити, а на голові дрібушечки та кучері — сидить, як під димком, попід якимсь завивалком, а з-попід завивалка братові хижі вирла світять...

Чимало йшло й їхало шляхом, що біг по узбоч пуші, а у пушу ніхто сливе не завертав, бо кожне знало, що як тебе там застукає якийсь панський доглядач, то наберешся добрий кош лиха.

<sup>1</sup> Пестоші. Ред.

Пам'ятаю, як одного разу запопали того старого Гершка римаря під дубами... був той Гершко такий старий, як світ, римарював та тяжко бідував, бо обсіли його дрібні унуки, а за розкоші мав він тільки чорну, як торішній стрючок, козу. Їхав сам пан і вгледів бідолаху.

— Ти, жиду, пощо тут?

— Я, милостивий пане,— каже Гершко,— відпочити трохи.

— Відпочити?

— Еге, милостивий пане, славно тут потомленому відпочити — наче під зеленими наметами.

— Кохаєшся у зелених наметах?

— Еге ж, милостивий пане,— каже Гершко.

А сам і сміється, і ніби плакати хоче.

— Добре,— каже пан.

Та як гримне:

— Беріть його, та он на того дуба, на саме верховіття!

Вмент і козачки, і возниця, і верхові — до Гершка, вхопили і на височенного дуба настромили. Посипалась травиця, що бідолаха своїй козі урвав — всього там було із жменьку тої травиці...

Спершу кричав і плакав старий, а далі ні пари з уст. Вхопивсь за гілля і дивиться звідти, зеншку... Наче умерляк страшний, а сльози по зморшкам, а сльози по зморшкам... Висів там аж до змроку, поки пан по пущі гуляв, а як зняли його, то мусили держати, бо не стоїть, пада. Вивели його на шлях і поклали на шляху під вербою...

Проте інколи і в нашу хату уступали гості, то родичі, то давні батькові приятелі.

Невеселі були ті гості. Одвідували вони нас, як тітка Мокрина чорноставську родину, покриему. Приходили пізно, як вже змок обійме землю, та тим тільки й хвалились, яке в них у селі знов коїться або скоїлось лихо. Сього добра і по сей час досхочу у божому світі, а тоді сипалось воно на крепацьку голову, як спілі грушки з дерева — одна ще пада, а друга вже попереджує, одно лихо ще душить, а друге вже в пазури бере.

Вже всі вони, ті батькові друзі, давненько по тім боці, а не забув я ані одного. Так добре пам'ятаю, наче ще дивлюсь на них та їх слухаю.

Не дуже вони гомоніли. Кожен потомлений, засмучений, кожен понуро оповідає або про гірку ганьбу, або про пекучу згризоту. Той хвалиться, яку щоденну, щогодинну

муку терпить, другий міркує, якої напасті назавтра діждеться. Ніхто на краще не сподівається. Не радяться, бо нема ради. Зійдуться та тугу розділяють, біду свою тішать.

Одного разу довелось мені почути й жарти, та бодай такого й не чувати.

Якось дуже пізно увечері уступа до нас Дашко Хижняк — був чоловік розквітлого віку, тільки б йому жити та бога хвалити — уступає та, всміхаючись, каже (а сам білий, як стінка на великдень): «Оце я з катовні та навпростець до вас. Одвідаю, подумав, та похвалюсь, як мене виборно катували — чи не дві копи батогів на мене віджалували! А таки мусили мене покинути, бо я не шкляний — їм на злість не розбився».

Ніхто на той жарт не озвався. Посиділи мовчки і попрощались.

З того вечора Дашка Хижняка як вода умила. Покинув жінку і маленьку дитинку. Дуже впадав справник, як би його вишукати, бо пан казав: «Подарую сивого коня, як вишукаєш», — а справник саме тоді добирав до своїх сивих, чи що — та не вишукав. Нема, загинув чоловік. «Де він, безпритульний? Хоч би мені знати? Чи живий він, чи мертвий», — було плаче жінка. А дитинка на руках веселенька сміється, ще гірш жалю завдає.

Мабуть, у крепацькому серці ще змалечку заляга той сумний жаль, та пекуча згризота, що, невгаваючи, шарпає його від молодих літ до сивої скроні і з ним у домовину моститься, бо з упливом часу всі ті давні урази й кривди, що вони, хлоп'ятка, не дуже-то, здається, і піклували, не тамуються, а гірш заятрівують, а проте господь милосердний і крепацькій дитині не боронить зазнати дитячої втіхи: скрізь вбожество, лихо, скорбота, сум, а дитина метелики, пташок гонить, скрізь кривавії ллються, а дитина, аби заповпала яку цяцьку, бавиться та тішиться.

Господь милосердний і мені приділив крипочку того дитячого щастячка. Хоч було часом стисне і дитяче серце жаль, — стисне аж до плачу, а на вернулась яка іграшка, той мій жаль як вітром знесло. Бува ще по личку сльоза ростить, а я вже наввипередки з птаством щебечу.

Отак я ріс і увійшов у літа. І випив свою добру повну...

Відколи вже все те перегоріло, перетліло, а й досі, як інше згадаєш, то за плечима й морозом, і вогнем висипне.

Одного вечора напровесні... Ти, мій господє! Наче воно ще тут, біля мене, наче все те я ще бачу, чую... Наче оце проходжаю по тому Чорноставському лісі... От той ліс... Птаство ще не повернулось з вирію, дерево ще без листу, ані шелесту, ані голосу — тихо й глухо. Ще скрізь сніг біліє, а весняна теплина вже орудує: зрана на землі на гіллях приморозь, а зійде та вигріє сонечко — закапле з стріхи, одвільжають і залисняться стежечки.

Так от певного, кажу, вечора напровесні сталася мені пригода, і повертався я з гуляння додому дуже невеселий.

Того року батько спорядив мені прехороші гринджольці, а до того я сам, щиро помайструвавши із тиждень коло шпильочка над озерцем, таке спорядив собі урвисько, що шургав з його, як з печі, трохи не до другого берега — аж в очах зеленіло.

Як посадив одного разу коло себе Сірка та з ним отакечки шургнув, то після такої забавки хитрий собака, аби заглядів, що я йду по гринджольці, схопиться, наче хто його кип'ячом сипнув, і втіка, кудюю втрапить.

І не сказати, як спершу кохався я у своїх гринджольцях. Було як скочу зрана до того шпильочка над озерцем, то ввечері треба мене додому, як чуже теля, загонити, а далі трохи вже відпустило, а ще далі ніби трохи й докучати стало, а там вже й добре надокучило. І зовсім занедбав би я ті гринджольці, якби тітка Мокрина не почала надозолювати: «Ой дитино, не слухаєш та все ходиш на озеро, а там вже лід такий тонесенький, як шкло!» «А ти, мабуть, знов з гринджолами, Матвійку! Ой голубе мій, не ходи на озеро!» «Ой, знов не слухаєш мене! Журиш мене! Що ж мені з тобою робити! Чи ж таки зачинити у коморі? І зачиню, бо неслухняний... Втопиться хлопець! Чує мое серце!»

Не дурно, мабуть, кажуть, що заборона — то подмух вогнику... Тільки що отак мене пострахала добра душа, мене як з мосту пхає на озеро.

«Що ті старі баби тямлють! — думаю. — Старі баби усього жахаються. Хіба я сам не знаю, що лід тоненький? Нехай тоненький, то що з того, як хлопцеві не бракує розуму? Як хлопець здатний і доглядний. А мені того добра не позичати — маю досить».

Оце повечоріє, калюжки постужавіють, а хоч молодик не дуже світить, та хто зна усяку повороточку в березі, той, замруживши очі, втрапить кудюю треба та й катне так, що аж дух захопить...

Оце ж я й катнув і дух захопило: хруснув лід, а я з гринджолами у воду...

Виграмолився мокрий, як хлющ, по самісенький пояс. Попало теж і за комір, і в рукави.

Все б то можна викрепить — чого на світі не трапляється! — якби сам знав свою пригоду і нікому не хвалився. Так треба ж у хату, а уявись у хаті, то і тітка, і Катря сплеснуть руками, наче ти тричі потурчився: «А я ж казала! А я ж знала! Та де, та як, та коли, та боже ж мій, та скрухо ж моя, та лишечко ж мені»... Хіба ж їм втямки, що як спостигла кого пригода, то не сикайся, як оса, йому в вічі, а дай йому покій — сам собі спокутує...

От так роздумуючи та розважаючи, іду і на ході все зупиняюсь та зорі вилічую. Стежка від озерця до хати неначе надвое покоротшала. Здається, от-от тільки що видряпався з води, а вже ось і хатня одвірка.

Спинився я коло віконця і подививсь у хату. Каганець палає, батько струже лопату, тітка прядиво розмотує, а Катря мережить руками. І тітка ніби прислухає — мабуть, вже турбується, що я забарився дуже.

Постояв я, постояв, а таки у хату мушу. Зітхнув востаннє і вже руку до хвіртки простягаю, коли поміж деревами щось замарило. Придивляюсь — хтось височенний простує до нашого дворку. Я хутенько убіг за старого дуба і дожидаю. Він ближче, зростом і статтю око-в-око Максим Коренчук, — його й похода легка, а могутня, — той Максим хоч вже пожив на світі, вже й сивизною його трохи сипнуло, добре він знав, почім ківш лиха, а не втеряв міцного здоров'я й сили. І неначе Максимова висока шапка. Так Максим був у нас позавчора, а вчаштати не має часу. Та й стежка з села не тудюю — цей прямує наче з пуші, від глибокого яру або від Козачої Лучки. Придивляюсь пильно, а він вже близенько. Максим!

Так мене й підкинуло: мабуть, вже взято Орісію на випу!

Максимова дочка Оріся, хоч дуже рідко, а таки одвідувала нашу Катрю — така була славна, ясноока щебетушечка...

Позавчора Максим, уступивши у хату, похвалився: «Оце наша Оріся на черзі». Здається, неабиякі слова, не страхота, не скарга, і промовив він ніби спокійно, а сумно стало, аж дух захопило.

Ой, та й пам'ятливі мені ті доби вечірні, як увійде нещасливий та похвалиться своєю гіркою напастю, і тихо стане у хаті, наче усі замруть...

Батько спитав:

— Взяли?

— Завтра зрана поведуть,— одказав Максим.

Тітка сплеснула руками:

— Боже мій милостивий!

Катря не озвалась.

З тим Максим попрощався, а ось він знов до нас поспішається. Може, Оріся втопилася, як торік Ковалева Настя? Може, втікла світ за очі, як Приходькова Домаха?

Він не зогледів, що я тут, коло хатніх дверей ховаюся поза дубом, а мені вже байдуже, що я по пояс мокрий,— я за ним у хату.

Тітка Мокрина і Катря стрепенулись, аж не дихають, дожидають, що він скаже. Сам батько, що по йому не дуже-то пізнати, чи йому холодно, чи тепло, і той ніби трохи блисконув очима.

А Максим поздрастувався, усіда на лавці та й каже:

— Оце уступив до вас трохи відпочити.

І такий якийсь він... не походить на того, що сидів тут позавчора, білий та понурий, схиливши голову; наче світ йому угору піднявся...

— Далеко був? — пита батько.

— Був у Гайворонщині,— каже.

Від Чорностава до Гайворонщини не так, щоб дуже близьенько — верстви неміряні,— а поїхавши зрання та доброго коня добре поганяючи, встигнеш туди опівдня.

— А як же ви Переплавку перебрали? — пита тітка Мокрина.— Мабуть, крига вже скресла, а там така бистря, що боже...

— Ще держить,— одказує,— хоч вода вже поверх дзюрчить, перебрів якось.

За Орісю ані словечка.

Тітка Мокрина розмотує своє прядиво та раз у раз спогляда на його та зітха, сама аж по комір почервоніла,— кортить поспитати за Орісю. Кортить, мабуть, і Катрі, тільки Катря сидить, як мальована, та вишива свої квіточ-

ки. Катря трохи в батька вдалася — коли вже наважила: не ворухнись, то не ворухнешься, хоч її запали.

Стара таки не викріпила, спитала:

— А що ж, Максиме?

— А що? — пита Максим. Наче забув!

— Узяли Орисю?

— Взяли та зараз і вернули додому. То вели, то несли. Тяжко занедужала.

— Тяжко занедужала? Голубонько моя! Може, з переляку? Або засумувала дуже? — журиться тітка Мокрина.

— Може.

— Дякувати господеві! — зітха тітка. — Хвороба минеться, а тим часом, може, пречиста заступить, забудуть. Дякувати господеві!

— Дякує й вона. Спасибі богу та спасибі богу, тільки й чути.

— А ми ще часом журимось! — додає батько. — Бува, що й нам господь спосила, чого нам треба.

— А бува, — згоджується Максим.

— Чого се ви надумали у Гайворонщину? — пита тітка Мокрина.

— Карпо Семиренко привозив у двір лист від свого пана та переказав мені, що Грицько Березовий давно мене вигляда, а не так, може, вас, каже, як свої грошенята, бо йому тепер шостак за копу стає. Відколи вже я йому винен, та все не спромогався віддати. Оце я й надумав одвідати.

Тітка зараз розпитувать, що там, в Гайворонщині, чутно, та чи там якусь Устю свекруха жалує, та чи дума якийсь Левко узяти восени якусь Химку, та ще кого там бачив, та що чув.

— Там тепер чималий переляк і розрух, — одказує Максим.

— А що там таке? Що таке? — перехоплює тітка.

Цікава була старенька.

— Та десь там недалеко в гаях розбійники, кажуть, уявились, чи що.

— Ой лишенько! — вжахується тітка. — Багато людей вбито? Смутку ж мій! Недалечко й до нас... А ми самі в лісі... Мати божа...

— Та заждіть трохи, Мокрино, не жахайтеся, — впиня Максим, — нікого ще, дякувати, не вбито. Чутка йде, що ті розбійники людей не займають, а ніби трохи лякають панів. На тому тижні заскочили, славлють, кривчуковського пана

і крипочку налякали. Справник і досі сидить у Кривчуках.

А тітка Мокрина:

— Мати божа, мати божа! Піймав?

— Ще.

— Піймає! Піймає! — метушиться тітка. — Пильнесенько, мабуть, шукає?

— А пильнесенько... і широко... От як інколи ви голку,— всміхається Максим.— У кривчуковському лісі, кажуть, наче ярмарок,— гук, огром, тупотить, грукотить... Усі вовки у ноги — кудою який втрапив. Кривчуковський пан двораків узброїв — такі лицарі, що й не сказати — сам на коні виграває, атаманує... А по сій мові, буваймо здорові — час додому.— Та до батька: — Може, трохи проведете мене, Лавро?

— Чому не провести,— каже батько,— мені треба на-зирнути в Велику Яругу. Позавчора трохи не застукав там двох з Панасовки. То по дорозі.

І батькові невеселі очі якось блисконули.

З сим словом виходять з хати.

Я б за ними слідком випурхнув, коли ж тітка Мокрина кинулась засувати двері і вхопила мене за рукави.

— Куди се, дитино? Хіба ж не чув, що скрізь розбишаки?

Та, зглянувши на мене, об поли руками:

— Матвійко! Се ж ти, мабуть, в озеро шургнув? Пропала свитина! Така прехороша. Горенько мені з тобою! Змок, як вовчєня, певно, заохолодився навіки! Казала ж я, що колись втопиться хлопець, так воно й буде! Ой мати божа милосердна!

А я прошуся.

— Та я вже, тіточко, обсох, та і свитинка не попсоується. Та я вже на озеро більш не піду... та я з батьком піду...

— Скидай свитинку... Ой, горе мені з тобою — неслухняною дитиною! Ось моя кожушаночка — одягнись... Змерз, мабуть... Ой лишенько!

Одягаюся у кожушаночку, а в думці: кудою батько подався — чи мені до Великого Яру, чи до Дякового Кута бігти?

— Чуєте, тітко,— кажу,— батько кличе...

Та й відсуваю двері.

— Де там кличе? Не відсувай! Не відсувай!

А я вже за дверима та й дременував до Великого Яру.

Дременув, та разом і скаменів...

Батько з Максимом недалеко подались — сидять на колі коло тину. І чую — Максим ніби батька запевняє:  
— Що б то не пізнати Дашка! Він самий з ними...  
І жартує, казав Микита, е, жартує...

Батько загледів мене та й пита:

— А куди се ти вибрався, хлопче?

— Та я б, тато, з вами, — кажу, — до Великого Яру.

— На сей раз ти лучче берись до хати, сину, бач, нахмарило, і дощ накрапає. Та й пізно вже — самий час спати.

Мусив я до хати.

І такий невеселий, розтурбований, що тітка Мокрина тільки двічі чи тричі заклопотала милостивую мати божу зглянутись, якого я старій тітці жалю завдаю, а далі вже любенько спитала, чи я не голодний.

— Може, ти злякався? — пита. — Може, боїшся тих, мовляв, розбишаків? Не бійся, голубенятко, се так тільки славляють... Може, де вони й туляться, та до нас ніколи в світі їм не доступити... А може, в тебе що болить? Чи так роздрімався? Лягай спатки, та щоб мені добренько спав...

Поклала мені свою подушечку, помостила гарненько, вкрила мене, обгорнула. Побачила, що я очі заплющив, перехрестила і дала покій...

Хоч заплющив я очі, а сон мене не змагає — і думу в мене, думу, як на морі шуму... Дашко з ними — з ким? Наш Дашко? Пізнали його... Чую, тітка Мокрина бере своє прядиво й пита:

— Катрусю, любко, що ж се ти задумалася?

— Я, тіточко, мережу.

— Ти не бійся, серце... Де б то ті розбишаки взялися.

— Ви, тіточко, самі, здається, забоялись, — одказує, ніби всміхаючись, Катря.

— Та се я так зразу... бо таке несподіване, а далі я вже розмислила, що нас не заскочуть... А ти, голубко, не заходь далеко... Оце по той хмиз берешся аж геть за озеро, у той байрак, у саму гушавину... Не треба того хмизу... Обійдемося, чуеш, Катре? Не заходь далеченько!

— Добре, тіточко.

— Казав Максим, вони людей не напастують, тільки панів ніби трохи лякають... І не вбивають нікого, еге?

— Так він казав, тіточко, не вбивають.

— Гайдамаки вони, чи що? Тільки гайдамаки вбивали. Ох, вбивали! Я, дитино, бачила тих гайдамаків, на власні очі бачила. Була ще маленька, а пам'ятаю, добре пам'ятаю... Моя старша сестра покійничка — нехай царствує в бога! — надумала у гостину до дядини і дуже журилась... Відколи журилась, надумала, а й досі не вибралась, та хто його зна, чи коли й виберусь (дядина жили далеченько на хуторі). Коли одного ранку покійничок батько — хай над ним земля пером! — кажуть: «Мушу з возом до містечка, дівчата, сідайте та їдьте до дядини, підвезу вас аж до Сорочого Броду, а там вже не забаритесь перебігти до хутора». Покійничка сестра зраділа, хутенько вбралася і мене вбрала — як ми всиротіли, то вона була мені ніби за маму, — як кози, скочили до воза, доїхали до Сорочого Броду і побралися пішки. Ідемо весело. Сестра розказує, як у гостині погуляємо, навчає, як мені, малій, треба, поводитись, як дядину любенько вітати. Я хоч вже і притомилася, та не признаюся, — тупаю...

— А чого се поперед нами такого вороння летить? — каже сестра.

Спогляну — летить воно та летить, одно одного попереджає.

— Може, і вони до дядини у гостину, — кажу.

— Бач яка вигадничка — що вигадала! — сміється сестра.

Дочапали ми вже до Холодної гори і зазеленіла нам глибока долина — та Холодна гора височенна, а схил до долини повільний і рівенький.

— Перебіжимо долину та за тогочною кручею зараз і хутір, — каже сестра.

Коли дивлюсь, неначе щось чорне по долині розкидано, а хижептаство понад нею колесом, колесом... Ми далі до схилку, ближче — аж то лежать люди... неживі... замордовані... Пізнали Мошку лимаря, а коло нього якесь кучерявеньке жиденятко... Боже мій! Світе мій! Повернули ми — та втікати...

Біжимо, біжимо... Упадемо, підведемось та знов біжимо... Коли чуємо, щось ніби гукає: «Дівчатка, шкода втікати». Оглянемось — аж їздець чвалує, а за ним ціла зграя. Доскочили, переймають; ми устеч. З переляку збожеволіли ми. Вже наочно, що не втекти, а таки втікаємо... А той, що попереду, знов гукає: «Дівчатка, не втікайте! Дурно свої ніженьки не втомлювайте!» Спобігли нас...

«Звідки ви, дівчатка, кудюю простуєте? А чого ж се ви так злякалися? — каже той, що попереду доскочив, атаман їх, чи що.— Хіба хто б скривдив таких гарних дівчаток? Та за таку кривду земля б його пожерла. Правда, товариші?.. Як тебе зовуть, крале?» А сестра покійничка була красавиця. «Мене зовуть Одарка,— одказує сестра,— а се моя менша сестра, Мокрина».— «Ось тобі, Одарцю, на пам'ятку.— І дає їй два дукача.— Носи на здоров'ячко. Мабуть, ти вже й одлюблена? Еге? А таки згадай колись мене, гайдамаку. Бувай здорова, ясочко! І ти, маленькая (так до мене). Щастя вас боже!» І побігли чвалом... А ми так і пали при дорозі...

Прислухаю я — бо й не сказати, який я був цікавий про старовину, про гайдамаків слухати,— прислухаю, а з думки не іде Дашко. Стоїть перед очима, як стояв того останнього вечора, хвалячись, що виборно його катували, жартуючи, що нешкляний він і на злість катові не розбивсь. Вже і на сон клонить, а все думки буяють, все мигтить мені його обличчя — біле, як крейда, і очі палючі, і той усміх незабутній, що обгорнув тоді й мене, дитину, сумом.

### III

Весна того року була рання й дружня. Вранці сніжок береться, а вже опівдні попід дубами наче обручки з темного оксамиту, а по тих обручках де-не-де, наче зелені голочки, стріляє травиця, а на другий день вже та травиця тут полойчиками. Сьогодні прислухається, чи се не пташка десь озвалась, а назавтра вже й тут, і там, і скрізь черкають крильця, а позавтрому вже цілісенький гай співа, щебече, цвігоче і вицвіркує, грухає, сокоче, турчить і квилить. Засинілось озеро, гурчить вода по ярах, струменем лється з узгорок, шумує по тіснинках, гуде просмиками, дзвонить рівчаками. По полянках висипався ряст, по кущах виповняються розпуковочки, бростються дерева, гудуть чмелі, звиваються білі метелики... Скрізь оживчий вітрець провіває теплим подихом. А сонечко наче сміється та гонить: «Скоренько! боржій! мерщій! Поспішайся, поживай світу!» І не оглянувся, вже зазеленіли гаї, розквітли садочки.

І дорослій притопканій людині немов легше дихати, а дурненька дівтора і поготів празникує.

Празникував і я.

У роздолі межі чорноставською і дроздиловською пущею, у самій тіснинці збігав широкий та глибокий бурчак, а в березі, в кущах та в очереті, присмачали дикі качки і усякі водолубки й водоплавки. Вишукав я тут качине гніздечко і дуже пильнував, щоб не втекли моїх рук каченятка, бо вони аби ледвечко вилупились — ще скорупочки на хвостиках,— а вже урозсип зараз в очеретяний плав приснуть та поти їх і бачив.

Треба було пильнувати ошамненько. Я не згірший мисливець, знав, що качка птиця вередлива: боронь боже її полахать, коли хочеш, щоб вивела діти, бо сполохнеш, то вона і гнізда віддурається. Замислив я охитрувати вередуху і упридобив собі трохи оддалік схованку у калинових кущах, що звідти мені качине гніздо як на долоньці, та щодня, чи ранком, чи ввечері, а то і ранком і ввечері там уховаюсь і назираю.

Отакечки одного разу тулюсь я у тому калиновому кущі та люблю, як моя качка то дрімає, то прислухає, то стихенька кублиться та обгортається, коли наче мене хто шторхнув: «Глянь у цей бік!» Глянув — аж близьенько з очерету на мене блискотять чорні, як терен, очі і білі зуби... І чую, сміється:

— А чия тепер качка буде?

З цим словом вислизнув, як вуж, з очерету і опинився поспліч. Височенький, не дуже вмитий, босий хлопчик, чорнявий і кучерявий.

— А ти звідки? Ти хто такий? — питаю.

— А я Романець,— каже.— Солодкий.

— А не можна по панській пущі гуляти.

— А я ось гуляю,— сміється.

— А тебе зловлюють! — страхаю.

— А поки що я нагуляюся.

— Качка моя! — згадав я.

(Був так зтропився, що й за качку забув).

— Відкупив у бога? — пита.

— Хоч не відкупив... я перш знайшов,— доводжу.

— А може, я?

— Я перш! — гомоню.

— А заплач,— кепкує,— та дуже!

Загомонів я, та й зразу й занімів: злякався, що сполохнув качку, бо щось немов шелеснуло.

— Стрепенула! — розпачую.

— Тут вона сидить, як врита,— запевня Романець.—  
Придивись лишень, сорочий дядько!

Придивився я — тут! Причаїлась, наче її нема, й чуйно прислуха.

Дихнув я вільніш...

— Почуває! — каже Романець.— Тікаймо швиденько,  
щоб наш дух її не пах!

І відбіга геть у гущавину. Я за ним і знов наполягаю:

— Моя качка! Я перш знайшов.

— А ти коли знайшов? — пита.

— Аж на тому тижні,— правлю,— у четвер.

— А я, може, в середу, га? — сміється.— Та дарма:  
діждемо каченят, то якомсь поділимо.

— Я зараз піду додому,— лякаю,— та як скажу татові,  
що ти по пущі гуляєш... то...

— То зловите мене, та хутенько за мотузок, та зашмор-  
гом мене за шию, та навпростець до панського двору, еге?  
Ой, та й битимуть! Аж геть залунає! Чого ж став, як пень-  
чок? Не барись, бо втечу!

А я барюсь...

— Поспішайся, панський доглядачу,— кепкує,— а я  
поки що шургну у бурчак та поплаваю.

І шургнув. Плаває, розкошує...

І так якомсь прилучилось, що й я скочив до його у той  
бурчак...

Дізнав я уперше, що то за добро веселий товариш.

Показав він мені, як линь по дну іде, як шука карася  
ловить. І хоч плив я за карася і добре мене шарпано, а зро-  
ду такої втіхи не зазнавав<sup>1</sup>.

Накупавшись, добували чмелиного меду, опорядили чу-  
дову вершу на жабенят, ставили сідла.

— Чому ти досі не приходив? — питаю.

— А може, я й приходив,— сміється.

— А знов прийдеш?

— Може, й прийду.

— А коли?

— Коли мене побачиш.

Та й зник у гущавині.

Я за ним. Де там! Як здимів.

Такий мене жаль узяв, що якби на дівчину, то б слізьми  
вмилася.

<sup>1</sup> Тут на полі оригіналу приписано: «Хоч весна була як літечко,  
по піймах воду сонечко прогрівало, а такі зарані...» Ред.

Але як нема ради, то мусиш, хоч і не рад, перетривати та сподіватись на краще.

«Прийде! — впевняю себе.— Прийде! Може, й завтра прийде, бо зна, що качки треба пильнувати. І сам казав, що за ніч у вершу налазить такого жабенят, що й не полічити, а в сідлах трепехатиметься як не журавель, то бусля... Прийде!»

А тим часом вже добре повечоріло, і галушки давненько закликали у хату.

— Ой дитино, як же ти спізнився! — каже тітка Мокрина.— І Катрі виглядаю: відколи пішла і досі нема.

А Катря увиходить.

— Ось і я,— каже.

— Вечеряйте, дітки; батько побравсь у дровичовську пушу, то, певно, забариться.

Катря не вечеряла. «Трохи,— казала,— голова болить».

— Та ти біла, як хустка! — затурбувалася тітка Мокрина.

— От піду, сяду на провівку, та й минеться.

Сіла на ослінчику, коло хати, обняла голову і немов замерла.

А тітка Мокрина упада.

— Дуже, мабуть, головка болить!

— Ні, не дуже, тіточко... Вже й полегшало... Нехай ще трохи посиджу на провівку. А я, вечеряючи, думаю: «Чи сказати за Романця, чи потаїти?»

Потаїв.

Назавтра, ще на світ не благословилося, зібравсь з лавки та до бурчака,— може, Романець вже тут дожидає.

Нема.

Дожидаю. Вже порожевіло на сході, вже пташки почали пурхати, а інші й заспівали, а все Романця нема. Чи ж буде? І так я того Романця виглядав, що трохи за свою качку забув.

— А може, той Романець насміявся — видрав качине гніздо, та й шукай тепер вітра в полі.

Метнувсь до калинового куща, ні, качка тут.

Та якось наче вже й байдуже мені за ту улюблену качку.

Заглянув у вершу, озирнув сідла, та абияк, не показяйськи — поналазило жабенят — нехай і поналазило, нема журавля ані буслі — нехай і нема...

Блукаю, наче всі шляхи погубив, та ізмишляю, як би мені хоч почути за того Романця.

— Матвійку, чого се ти такий невеселий? — пита тітка Мокрина.— Може, що болить? І Катря кволиться. Горе мені з вами, дітки! Нездужаєш, чи що, голубчику?

Запевняю, що здоровий.

— А чому такий невеселий? Веселися, дитино, поки мога... Бач, яка весна в господа, як славно у нас у гаю.

— У гаю краще, ніж у селі? — питаю.

— Краще, мій голубе, краще; пахощі тут, пташки... Ти мені не смутуй, мій єдиночку, ти мені щебечи...

— А ви ж, тіточко, правили, що нема кращого над батьківщину,— кажу.— Хіба забули батьківщину?

— То давнє, синочку... то минулося...

— А ви усіх людей у селі знаєте?

— Ще б то мені не знати!..

— А який там Романець живе?

— Романець? Який же то Романець, дитино? Хоч у шимки голову — не згадаю!

— А живе ж там Романець... Солодкий — чи що.

— А я питаю, який Романець? Петра Солодкого хлопчик! Що то старе: того не згадає, друге забуває... Та ті Солодкі були колись наші сусіди близькі. Два хлопчики в їх. Меншенький Романець, а старшенький — Дорош. Такі жваві, славні хлопчики. Я зазнала їх, як ще були такі, як вузлики, а позаторік стріла Дороша у сестри — вона йому хресна мати,— то й не пізнала — парубок, як орел! А Романцьові, мабуть, на десятій рочок береться, а то й на одинадцятий... Жили вони, як і інші люди — не приділив господь нам розкошувати,— та вкупі-таки, у своїй хатинці. Коли ж несподіване лихо: якось пан перестрів Петра і дуже його вполюбав — був Петро такий вродливий, що й не сказати — високий, стрункий, гнучкий, укладний. Не дурно сказала його теща, як він сватав дочку: «Ой, сей ріс у великому лісі, та ще й при воді!»...

— То пан дуже його вполюбав? — перехоплюю, бо мені не до тещиної розмови.

— Вполюбав, вполюбав... «Ти що за один?» — пита. «Я — Солодкий, пане, Петро». — «У двір Солодкого Петра, до коней»... Взяли їх у двір,— і яке було хазяйствечко, мусили вони занедбать. Років ізо дві керував Петро панські коні, та й докерувався, що його копитами на смерть потоптано. Скоро по йому занепала і жінка — дуже засумувала, чи що,— далі стала вона якась непритомна та неза-

баром і вмерла, а всиротілі діти zostалися у дворі. Така-то їх доля гіркая.

— Хіба ж дворак на прикові? — кажу.— Хіба йому не вільно інколи погуляти?

— Ой дитино, бодай ніхто не зазнав такого гуляння! Немає гірше так нікому, як тим нещасливим, мовляв, попи-хачам: тудою біжи, сюдою поспішай, сьому подай, тому принеси; один лає, другий нарікає, третій карає... А по-жалувати нікому! Сказано: пригладь голівки не знайдеться, хіба пробий голівки... Такий-то жаль бере, як згадаю тих сиріток... Так би, здається, і пригорнула голуб'яток... Не-давно, кажуть, взято Дорошка до панських покоїв — врод-ливий, в батька вдався,— то й зовсім вже бідолахам світ зав'язали: було важко, було гірко, а таки удвозі...

— Заждїть, тіточко: Романець до нас прийде!

— Як-то прийде? — питає.— Ми ж у лісі...

— Та що, що в лісі,— кажу.— Він прийде...

— Ой дитино, що це ти видумуєш! Хіба ж не знаєш, що...

— А він таки прийде! — правлю.

— Крий боже! Хай господь боронить! Ще застукають.

— А ви його сховаєте?

— Ой дитино...

— Сховаєте? Сховаєте! Сховаєте!

— Та годі вже, пустаче...

— Сховаєте! сховаєте!

Обхопив стару обіруч — хоч певен вже, що сховає, а ще заглядаю у пригаслі ласкаві очі.

А вона чи відсува, чи прихила мене, стихенька кажучи:

— Бач, свавольничку, трохи не звалив стару тітку...

Та додає:

— Як се ти прочув про того Романця?

Чи ж признаться?

Та ніби у жарт, ніби у правду кажу:

— Я його бачив... Гулявся з ним...

— Оце так мене піддурюєш, синочку? Чи ж годиться?

— Гулявся з ним!

І все так, що ніби й правду кажу, й ніби жартую.

— Бач, вимислівчику! — сміється стара (а проте трохи й неспокійна).— Та добре, що розвеселивсь трохи... Біжи та бався, серце. Та щоб ти мені більш не смутував... Ой дітки, дітки! горенько мені з вами. Примогла б, серця вколупнула та дала, а нічого не вдію, несила моя... Оце

Катря кволиться та кволиться — відколи вже голоса її не чуто, занепала, а яка була повновида, співоча... Була швиденька, як вітрець у полі, а стала тиха, наче зстаріла...

А я своє:

— Тіточко, по надобі ми Романця сховаємо на горищі, еге?

— Та годі ж пустувати, Матвійку!

— Він, мабуть, завтра прийде...

— Журиш, хлопчику, стареньку тітку!

— Тіточко-любочко, а ми ж його сховаємо?

— Тікай, бо зараз бити буду! — удає тітка.

А я вже певен, що по надобі старенька сховає Романця і не заборонить нам гуляти. Аби приходив!

#### IV

Проте минають дні, а Романця нема. Спершу я журився, а далі став привикати, а ще далі й забувати.

Минуло, може, тижнів із два, а то й більше.

Одного вечора, вже на смерку, надумав я за озеро. За озером, на проліску, поза старими яворами, росла чудова ліщина. По ту ліщину я й брався, бо назавтра вдосвіта замислив наловити риби. Робаків же накопав цілісеньку торбинку, до того мав аж три гапличка з тітчиної корсетки, а такі, що й сома б вдержали. Не бракувало мені й дроту — хоч він трохи взявся іржею, а був ще такий уробний, що я з його гачки майстрував, наче млинці пік. А як до того добра конешне треба гонкої, а рівненької ліски, то хоч і далеченько, а мусив до проліска по ліщину.

Спізвився я, пораючись коло свого ножика. Як в батька порепалась на шматки стара коса, то я змайстрував собі славний, довгенький, кінчастенький, а держальце з липини. Треба було так його насталити, щоб не те гілки, щоб волочок перетинав.

Поки насталив, і зорі почали висипатись. Іду стежкою. Місяць на уповні і така ясна посвіта, що на стежинці хоч голки збирати. І тиша — наче кожнісенький листочок, кожнісенька билиночка спочива.

Коли враз — шелесть, шелесть... Щось попередо мною з гушавини на стежку чи випало, чи вилинуло і повіялось, як на крилах...

Аж поточивсь я... а схаменувшись, у тропи...

Та зникло воно, наче й не виявлялось. Спинивсь я та вже і не зважуся, чи йти по ліщину, чи не йти. Збігло мені на думку, чи не лісовничку я вгледів, бо здалося мені, що віялась попереду мною неначе дівоча постать — гнучка та висока — і миготіло щось біле, а знав я, що лісовнички огортаються біленькими плахточками, самі холодні та біленькі, як сніг, тільки коси зелені.

Постояв, дожидаючи, може, знов уявиться, та не діждавши, побрався додому. Іду стиха, зупиняючись та оглядаючись. Знаю, що лісовничка не зла личина — аби ти її не займав, то вона тебе зроду не зачепить... А проте серце тенькає.

Тиша і пусто.

Хоч іду стихенька, а таки йду, і ось вже наша загорода, коли скаменувсь, що ножика загубив,— мабуть, як пустивсь за лісовничкою, бо, ішовши по ліщину, мав його в руці. Повертаю назад і теж не дуже поспішаюся, бо серце таки невгаває, тенькає. Не дійшовши того місця, звідки зірвався на довідку, бачу здалека блискотить на стежці мій ніж.

Коли знов шелесть-шелесть...

Скаменів я і очам своїм віри не йму — устріч мені Катря!  
— Катре, се ти?

Спинилась.

— Я,— каже.— Не пізнав?

— Де ти ходила?

— А я,— каже,— недалечко. Загубила намисто вранці, як ходила до озера прати... то все шукала.

І Катря — й наче не вона: очі якось запали і такі великі-великі... А біла! Коли б не брови темною смугою на чолі, сказав би, не жива істота, а з крейди.

— Знайшла? — питаю.

— Знайшла,— одказує, беручись за намисто,— ось... А ти де ходив? — пита.

— Я брався по ліщину, тудою поза старі явори, на пролісок, та мене щось дуже налякало.

Розказую, яке мені учуялось... Слуха, не озиваючись. Питаю, чи коли бачила лісовничку. Ні, ніколи не бачила.

Як вже доходимо нашого дворку, вона мені каже:

— Не нагадуй тітці за намисто... Нема чого... бо знайшлося.

— Добре,— одказую,— не буду нагадувати. Хіба тітка сваритиметься?

— Ні... а таки не нагадуй.

— Не буду.

Тітка, упоравшись, сидить на хатньому порозі.

— Славно погуляли, дітки? — питає.

— А славно,— одказує Катря.

— Головка не болить, Катрусю?

— Не болить... Тільки втомилась я дуже... спати хочу...

— Та й час вже, голубко. Ти ж цілісенький день то полола, то сапала... Ще б то не втомитись! Ти як візьмешся працювати, то й рук не покладаєш, здоров'я свого не шануєш! Де твої, дитино, рум'янці? Ти ж в мене була рум'яного личка, а тепер як хустонька біла...

— Се так вам здається, тіточко... се від посвіти... дуже місяць світить.

— Ой голубко, шануй здоров'ячко! Бо, не шанувавши, сама змалю собі віку...

Полягали спати.

Того року господь таке тепло дав, що ми трохи не від великодня спали, як то кажуть, вітерком оплетені, а небом укриті. Недалечко хати була така чималенька, а придобна устронь, що липина обросла їй, наче устінню. Дуже любив я тут ночувати. Засипаю, а понадо мною розискрюється зоряна Дорога, блискоче Віз, сяє Чепіга. Пахне вітрець, дихає, і думки усякі, і гадки. І заснеш, наче хто тебе заколише. Але того вечора чогось мені не спалось, тільки дрімалося. Роздрімаюся, та разом і прокинуся і знов дрімаю, а не засну, хоч зшивай очі.

Отак лежав я, мабуть, довгенько, коли щось мені почулося — якийсь ледве чутний чи порух, чи подих. Насторожився, прислухаю. А така ясна посвіта, що темна липина аж сяє. Знов чується. Підводжусь — чи не лісовничка?

А се Катря — заросилась сльозами, зчепила рученята та наче умліває з жалю.

А де вона ходила? Шукала, каже, намиста на кладці. Понад кладкою старий явор, як намет — хоч ясна посвіта, там темно. І похвалялася тітці, що славно ми нагулялися, нібито вона зо мною... і наказала говорити тітці за намисто.

— Катре! чого се ти?

Стрепенулась і шептом промовила:

— Тихо, Матвійку, тихо, не збуди тітку... Се я того, що в мене голова болить. Спи, братику, і я спатиму...

— Катре! — покликав.

— Дай мені покій, Матвійчику,— одказала,— я дуже спати хочу.

«Що тій Катрі сталося? — думаю.— Нехай тяжко голова болить, а таки дорослій дівчині плакати такими ревними сльозами не припада. Не виніжена вона: як торік, колючи тріски, зікла собі руку, що кров аж ревнула, то більш вжахалася й охала тітка Мокрина, а вона її вговоряла та жартувала: «Дарма, тіточко, хоч воно трохи й болить, та на розум мене наставляє. Знатиму, що сокира не прийма іграшок — як нею орудувати, то треба дивитись у дві очі»... І непередлива вона: як нездужала — нездужала важко, всенька горіла, як вогонь, стала тоненька, як ниточка,— а і разу не застогнала...»

Начудувавшись, вже став я й засипати, коли заграла труба по лісі. А трубою панські посланці викликали батька. Чого ж се його викликають опівночі?

Зірвалась тітка, бачу, й Катря схопилась. Чую, скачуть і спиняють коней коло нашої хати. Тітка обхопила мене, не пускає. Таки я вибрався — на коні Іван Жменя, старий дворак, панський улюбленець, а за ним ще четверо двораків кінних.

— Гей, лісник! — зіпає Жменя.

— Іду,— озивається, надходячи, батько.

— Шукаємо Солодкого Дороша — не бачив?

Серце як не розбило мені грудей — мого Романця старший брат!

— Не бачив,— одказує батько.

— Втік вчора на смерку. Бачили його недалеко, коло пуші. Певно, тут десь ховається. Шукаймо...

— Ти, Микито,— приказує парубкові,— зоставайся тут, коло хати, пильнуй коней. Та щоб мені не дрімав! Чув, що пан казав?

— Чув.

— Пам'ятай добре!

Тим часом прискочило ще трое у дворацьких чемерках. з дубцями, з мотузами,— дохожалий дворак і двоє молодших.

— Шукаймо! — загадує Жменя.

— Шукаймо,— одказує батько.

Та й розсипались по пуші.

Вже світає, а в пуші ще змрок. Чи вишукають?

— Ходім, тіточко, у хату,— каже Катря,— зарані обід зваримо...

Глянув я на ню: Катря як повсідень Катря,— може, трохи бліденька — пораяється в хаті, звивається по надвір'ю, біжить до криниці по воду...

— Оздоровіла головка? — питаю.

— Оздоровіла,— каже.

Тітка, не дочувши, та до мене.

— Чого питаєш, Матвійко?

— Пустує,— відказує за мене Катря,— щось давнє згадує.

Тітка, що все шептала, благаючи милостиву пречисту, трохи насмілилась.

— Здоров, Микиточку! — підходячи до парубка та сідаючи коло його на ослінчику.— Чи давно тебе взято у двір, голубе? — пита.

— Вже третій місяць у дворі,— одказує Микита.

Такий здоровий, гарний парубок, тільки дуже невеселий.

— Не звик ще? Сумуєш?

Наче недочув.

— А мати давно бачив?

— Давно.

— Усе нездужає?

— Нездужає.

— Горенько наше! так вже, мабуть, господь приділив... От нещасливий той Дорош... Як се його лихо спіткало? Розкажи, серце...

Він і розказав.

— Не вгодив Кучеренковій Оксані, що тепер господарює на дівочій виспі,— розказує.— Позавчора приніс їй від пана якісь ласощі та й кинув, як собаці, а вона у плач. Дізнався пан: «Як ти насмілився, мурло? Перепроси!» Не перепросив... Вранці його покарали і не так, щоб сильне, а він підвівся та й знов упав... Спіжарний Юхим казав: «Нехай трохи облежиться під стайнею у холодку»... Лежав там аж до панського обіду. Кличуть його до покоїв — він при панськім обіді вів липовим гіллям понад столом — не йде, шукають — нема. Спіжарний вже послав Дмитра Панченка. Пан наче не завважив: були гості, й обідали, й вечеряли. А Дороша все нема. Як випровадили гостей та дознався пан, що не знайшли Дороша, то наче сказився: «Щоб достали його живого чи мертвого».

— Достануть,— промовила тітка Мокрина.— Як йому, нещасливому, схватись! Знала я його ще отаким узлич-

ком... Було прибїжить до нас: «Де Катря?» Пам'ятаєш, Катрису?

— Пам'ятаю, тіточко,— одказує.

Впоралась і тихенько сидить собі трохи оддалік.

— Молоденька та Оксана, а як вже згадючила,— править тітка Мокрина.— Скарає її господь... Давно ж її взято?

— Тижнів, може, два, а то й більш.

— А Тесленкову Варку вже викинуто?

— Ні, і Варка на виспі, і Бондаренкова Ївга. Там їх аж три...

Розпитує тітка Мокрина, розказує Микита, а всі прислухаємо. Тихо в тій темній пуші і, здається, ось-ось звідтіль почується голос і гомін... Вже й зоряється — тихо. Вже й на день благословилося. Ранок в господа ясний та веселий, наче сміється. От, здається, шмер... от ніби зашорошило... от-от, здається, тут вони... Ні... Знов прислухаємо. Чи то лист, чи то... Та й ізводило ж те прислухання!

Тихо. Тільки птаство пурхає, співа та щебече, та поранній вітрець ледве шелестить листом.

Минає й ранок... Вже й по півдні...

— Ідуть! — промовив Микита.

Чуємо... Ближче та ближче... От Жменя, от його помічники, от батько...

Не знайшли! Не піймали!

— На коней! — гримнув Жменя. Зизнув пугою та до батька:

— Ти за нами слідком!

Попростували до панського двору. Батько побравсь за ними.

Тітка, що почала хреститися, дякуючи пречисту, і хреста не звела: не минеться ліснику, що пушею втікають!

— Ви, діточки, не бійтесь... не журіться,— ледве з жалю промовляє, а нас тішить,— може, пан і змилується, може, подума: як його лісникові знати, як вглядіти... Пуща велика... Хіба ж так не бува, що якось... Мати пречиста заступить...

А сама незчувається, що сльози старе її обличчя росуть.

— Мати пречиста милосердна... А якщо спостигне кара, то перетерпимо... Перетерпимо, діточки, бо хіба ж ми тільки терпимо? Усі... скрізь... Усі... скрізь...

— Годі вже, тіточко,— промовила Катря.

Вона, Катря, не плакала. Сиділа нерухомо у куточку.

А я побрався до того старого дуба, що стояв на околиці, та з верхівки дивлюсь на панську садибу. Може, його вже карають, думаю, а може, ще тільки ведуть, а може, він стоїть перед ганком, дожидає, поки пан прокинеться, бо пани вчора бенкетували, а по бенкетах вони часом всипляють аж до вечора... І уявляю собі, як виходить пан, як гримає, як батька ведуть...

Коли йде він... іде батько.

— Тато,— кричу,— тато!

Нічого не питаю, тільки дивлюсь йому в вічі.

Він зняв мене з дуба.

— Мабуть, давненько виглядаєш батька,— каже,— аж з лиця спав.

А я все дивлюсь у вічі.

— Ні, синку, не катували. Тільки дурно продержали,— каже.

А тут надходить Катря — теж недалеко, мабуть, була.

— Поки що усе гаразд, дітки,— хвалиться батько,— панові не до мене: іменинник він сьогодні, то празникує свого святого та гостей вітає. Там такого гостей, що й не злічити.

— Пречиста мати заступила! — хреститься тітка Мокрина.— Дякувати господеві!

## V

Пани бенкетували та бенкетували. По батька не приходять.

Минає тиждень, минається й на другий.

— Забули! Заступа пречиста! — тішиться тітка Мокрина.

Одно, що тітка впова на пречисту, а друге й те, що людина, кажуть, і в пеклі звикає, а звикне, то не метушиться. Немов заспокоювалися і ми.

Розляглася чутка, що пан свата чи вже висватав якусь генеральську дочку. Пан вже давненько удовів — покійна пані була, славили, тиха і плохенька, а таки не викрепила, мусила від його втекти і десь на чужині вмерла; при йому жила і хазяйнувала його старша сестра, теж удова. Була та його сестра вже підтоптана — пасок, мабуть, із сорок з'їла, а проте здорова, як лось, пиката, боката, шати дорогі, на пучках, на грудях золото, вирла блискучі, а голос... Як колись приїздила в пушу з гостійками панночками

по проліски та послала за п'ятника привести тітку Мокрину і питала, де найкращі квітки ростуть, то тітка довгенько іздрігались, згадуючи той її голос...

Забули на той час і за Максимову Орісю. Навідала вона Катрю, то їй не пізнати веселу щебетушечку — очиці якось пригасли, устоники зблідли.

— Зстаріла ти, голубко,— каже їй тітка Мокрина.— Мабуть, ще не оздоровіла?

— Оздоровіла,— одказує,— та живу наче в божій карі — все боюся, що знов візьмуть.

— Ти ж давно засватана — повинчатись би вам.

— Як його повинчатись, коли боїмось за себе нагадати та тільки дурно смажу собі голову. Приходили до нас чорниці на церкву збирати... міркую та міркую... то я вже подумала: піду у чорниці! та все не зважаюсь — жалко дуже... — та й вмилася сльозами...

— Зажди, голубко,— каже тітка Мокрина,— от, славлють, пан висватав собі панночку, оженився, то, може, жінка...

— Та що, що оженився. Хіба не було в його жінки, як узяли на випсу Омельченкову Мотрю, і Самусеву Настю, і Коваленкову Одарку, і Горленкову Ївгу? Так, кажуть, по двох і брали.

— Еге ж, по двох... Тоді й пані втекла... плохенька була... Може, ся не така буде... А ти, дитино, такеньки не смутуй... Може, пречиста й заступить...

Та й зупинилась стара: огунули дівчину сльози та такі, мабуть, пекучі...

Отак, виглядаючи чужої і своєї напасті, діждали ми зелених святок. Я вже нагледів славні виростки на клечання і такі дві улюбував, такі дві...

— Завтра, як трохи звечоріє,— каже мені тітка Мокрина,— то ми поберемось з Матвійком по зілля. Поберемось аж за Холодний Яр — там такий славний чебрець, повний та пахучий, що й не сказати. Там недалечко і аюр... А ти, Катрися, назбираєш у городі повнячків, м'ятки, васильків тощо... ти з нами не йди, не втомляйся — бач, ти така, як з хреста знята...

Спершу не вважав я на той тітчин клопіт, бо стара трохи звикла клопотатись та турбуватись, а далі і я укмічаю, що їй справді не та вже наша Катря, що була. І спокійна, і привітна, і робоча, та не та. Скаже тітка: «І голосочка твого не чутно, і не всміхнешся ти», то вона й всміхнеться,

і заспіва, та не той усміх, не той голос. Щось таке їй сталося, а що — не второпаю. Все вона, здається, в думках та в гадках. Дивиться, а наче не бачить; озвися до неї, не чує, а почує, то наче не розбере; все немов прислуха; аби десь не те грукнуло, шелеснуло,— стрепехнеться, як сполонхнута пташка; біжить по воду або там по що-небудь, та разом і забуде, кудюю й пощо поспішається. І змарніла дуже. Завважав, мабуть, і батько. Якось пита:

— Нездужаєш, дочко?

Не признається.

— Я, тату, здорова.

І на сей раз не призналася. Тітка Мокрина каже: «Ти, дитино, як з хреста спущена, не йди», а вона:

— Піду, тіточко, піду... Що се ви... Да я здорова, як та риба на глибині... Що б то мені не йти по зіллячка! Таки без мене і не знайдете, де найкраще росте...

От так розмовляємо, сидячи коло хати у затінку,— а день парний, дрімливий, сонечко парить, наче з-за туману. Перед очима гаєві дороги, то понад ними немов куриться, і скрізь такі гаєві пахощі, що аж на голову важко... Коли дивимось, щось зачорніло на дорозі з Степових Хуторів. Ніби хтось до нас простує. Ближче — чорниця, і до нас завертає. Затурбувалась тітка Мокрина — звісно, в кріпацькій статі усе страхає, усього боїшся.

— Вкрий, пречиста! Чого се вона до нас береться?

А вона вже коло хати.

Похода легка й бистра; сама висока, хоч би й парубку, а так у чорні завивала позамотувана, що тільки зористі іскрави очі блищать.

— Спаси, господи!

Голос тихий, немов придушений. Тітка Мокрина вітає, просить до хати:

— Мабуть, втомилися дуже? — пита.— День господь дав скварний такий...

— Ледве дихаю,— промовляє чорниця.

Та до Катрі:

— Дівчино, дай мені водиці напитись.

— Катре, витягни свіженької. Та хуленько, дитино! — Впада тітка Мокрина.— В нас водичка славна.

Катря до криниці, а чорниця за Катрею услідок.

— Треба їй сприяти,— клопочеться тітка Мокрина,— чим її шанувати? Чорниця-то постує, а риби, як на горі, нема...

А чорниця п'є не нап'ється.

— Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила,— кажу,— та все цмулить.

— Чи тобі жалко божої водиці, Матвійко,— уріка тітка Мокрина.— Хай собі п'є на здоров'ячко. Є в нас трохи медку, то оджалуємо їй медку, а паляничка свіжа.

Дістала тітка Мокрина з скрині калиточку, відлічила десятку, ставить мед на стіл, несе паляниці, та дарма заходу — чорниця, досхочу напившись водиці, подякувала і ні до чого не доторкнулась: дуже, каже, поспішаюся — спізналася, бач, а дорога несвідома. Йде з-за Опанасовки у монастир.

— Та вам було з Степових Хуторів звертати на Кривчуки. Дурно ніженьки притомили,— жалкує тітка Мокрина.— Вам би у Степових Хуторах розпитаться дороги.

Вона, каже, розпитувалась, та якось, мабуть, помилилась. Казали звернути через лощинку, а вона якось лощинку тую проминула. І просить:

— Будьте ласкаві, скажіть дівчині, нехай мене проведе на окрай пущі, щоб мені знов не блукати. А може, яка ближня стежина є? — пита.

— А є така стежина,— каже тітка Мокрина,— а там знов стежиною, поуз Криву Балку... устронна... Проведи, Катре, та добре розкажи, дитино...

А в Катрі по личику, як жар, очі світяться.

— Добре, тіточко.

А чорниця:

— Ой не барися, дівчино, не барися! Проводь. Хутенько, бо дуже я поспішаюся...

І зникла з Катрею поза зеленими купами.

— Не встигне до змроку,— каже тітка Мокрина,— чорничка, добре, як пізенько доправиться, бо монастир той далеченько, а дорога несвідома... стежками... З Глуховки там знов аж тричі звертати... А сонечко усе нижче та нижче... Час би й нам братися — зарані б зілля набрали... Коли б же той двірський посланець не дуже барився та забрав те панське зілля. Здається, гарненько я його перетрусила — самісінька найкраща травичка, казав Жменя, як найдуться корінці або яке сміттячко, то не подякує... Ой, не подякує... Здається, травичка немов шовкова, м'якенька, свіженька, а хто його зна... — знов почала перегледувать ту панську травичку.

— Ой, коли б же той посланець не барився,— зітхає.— Здохати б мені ту травцю, а то раз у раз заглядаю та мацаю,— а чи м'якенька, а чи зелененька... Трохи й обридло...

— А як у двір візьмуть та не вподобають,— кажу.

— То нехай... я тим часом трохи відпочину... Дякувати господеві,— чи се не посланець простує? Еге ж! Данилко Кальниченко!

— А ми тебе, Данильчику, виглядаємо, як рідного батька.

— Ось я й тут,— каже Данилко — такий був жвавий, чорнявий та кучерявий парубок.

— Що ж там у дворі, Данилочку? Чого сподіваєтесь?

— А хто його зна,— одказує,— що буде, то буде. Більш копи лиха не буде — нехай з копу.

— Не чутно за Дороша?

— Ні, наче у воду впав. Казав справник: «Таки вишукаю», та ще не вишукав.

— То всі ви там живенькі?

— А поки що живенькі, що буде далі, побачимо. А щось, мабуть, буде, бо десь подівся Грицько Очеретний, а з ним і Бондаренко Савко.

— Боже мій! — сплеснула руками тітка Мокрина.— Втекли?

— Позавчора пан послав Грицька у містечко до Янкеля по рушницю і по той возок — по ту штучну панову бідку, а його і досі нема. Питали Янкеля. Забрав рушницю, запрягся у бідку та й побравсь, каже Янкель. І бачив, каже, як він за дібровкою зник,— бо як Янкель в кінець містечка живе і йому далеко по дорозі видно... А Савко як поніс грайворонському пану лист, то й досі несе... Справник запевняє усіх, запевняє: «Вишукаю і на залізній мотузочці приведу. От,— казав,— тільки справлюся у Кривчуках та й за ваших візьмуся». А в Кривчуках щось таке дуже чудне діється,— якісь розбишаки уявилися і панський двір зруйнували, чи що... Бувайте ж здорові, бо Жменя не любить, як хто де забариться.

— Щасливо!

— Мати божа милостива! — журиться тітка Мокрина.— Заступнице! Втекли. А кудю втікати? Скрізь однакова напасть!

— Хіба не можуть так добре заховатись, що й не знайти? — кажу.

— Ти, маленький нерозсудо! Тобі ще й очима не досягнуть хрест'янського лиха...

Та й згадала:

— Онде сонечко. Чи не час нам по зілля? Та чого се Катря так бариться? Гукни, Матвійко.

Гукнув — не відгукується.

— Біжи, Матвійку, та поклич. Мабуть, та чорничка: проведи та проведи далій, а вона й слуха...

Я льотом долетів до гайового краю — нема. І по стежині аж до Холодного шпилья — не видко. «Оце нуда, думаю: треба аж на шпиль махнути».

І вже стрепенувся я залускотити, коли чую, щось жебонить недалечко, праворуч. Прислухаю — жебонить щось поза спорохнялим деревом, де поп'ялась усяка чепиця. Я тудою. Чорничка з Катрею стоять... і так тісенько стоять і за руки держаться. І добре я розгледів чорничку (трохи вона розхристалась, і чорниче завивало посунулось з чола): уста, як вогонь, червоні, і над устами, як бува у чорнявих дівчат, темною смужкою пушок, очі, як свічі... і такі мені ті очі знайомі...

Сполохнув неначе: чорничка метнулася межі чепицею — хміль, дерезу, терен, павутиння як ножем проняла і зникла. Дивлюсь на Катрю. Чи вона сміялася, чи плакала, чи злякалась, чи зраділа. По личку, як полум'я, і не вільно їй, здається, дихати.

— Тітка кличе,— кажу.

— То ходім скоренько,— відказує.

— А чого вона досі стояла? — питаю, ідучи.

— Хто? — пита.

— Тая чорниця. Так поспішалася, а тут...

— Втомилася дуже...

— А чого тебе за руку держала?

— За руку? — немов дивує.

— Авжеж...

— Се тобі виснило, братику...

— Бачив! — наполягаю.

— Оце реп'яшком узявся! — жартує.

— А я таки бачив! — наполягаю.— Добре бачив!

— Нехай і бачив, реп'яшок ти мій любенький. Хіба ж тобі те шкодить?

І стихенька обійма мене за шию рукою.

— Хіба тобі те шкодить? — перепитує.

— Мені нічого те не шкодить,— одказую.

— То й покинь за те думати...

І знов мене любенько притуля до себе...

А тітка Мокрина вже устріч вийшла.

— Як же ти забарилася, дитино! — каже. — Мабуть, далеко проводила?

— То поскорімось по зілля, — одказує Катря, — сонечко вже низенько.

— Ти б, Катрися, так далеко не бралася, — знов починає тітка Мокрина, — втомишся, голубко.

— Та я, тіточко, така здорова, як тур у горах! — жартує Катря.

— Де вже там! — зітха тітка Мокрина. — Ти така, як...

Глянула та вже не сказала: «Як з хреста спущена», бо дівчина стояла, немов повна рожка в променю — може, й хмари купчаться близенько, може, й помороз недалечко, а вона поки що пишається. І така вона пахуча та розкішна.

Проте спинила:

— Не хвалися, дитино, бо не гаразд хвалитись. Скажи: «Дякувати господеві, трохи ніби ульжило», а хвалитись не треба... бо як в недобру годину похвалитись, то можна й спокаятись...

— Я, тіточко, не врічлива...

— Не жартуй тим, серце... Ходім вже, коли йти...

Як все те давнє устає перед очима! Й той давній тодішній вітерець на мене дихає, й той промінь тодішній мене гріє... Не копа вже років минула, як я йшов тою рідною пущею, збігав у той яр, у яровий змрок зелений, — лиснилося криничовіни, а холодок, пахучий та ласкавий, наче жалував.

Назбирали зілля, нарубав я клечання. Та чи зілля збираю, чи рубаю клечання, не забуваю чорницю і очі її огневі... З думки не йде...

І спати полягали, і послули усі, а я все смажу собі голову: де я тії очі іскристі бачив?

## VI

Скоро по зелених святах перечули ми через Максима, що з двору втекло ще двоє — молодий парубок Івко Бартош і Кривохижка Влас, вже підтоптаний дохожалий чоловік, покинув недужу жінку.

— Господи милостивий! — жахається тітка Мокрина.— Куди він, старий, подрався? Хіба де лучче знайде? Чи ще не гірш буде!..

— А може, так думав: хоч гірше, аби інше,— догадується Максим.

— Що та бідна жінка перетерпіла! Покинув.

— Еге. В його жінка добра — сама, славлють, йому на-  
раяла: «Тікай, друже, щоб мені на твою муку не дивитись та легше помирати».

— Та, здається, його ж ще коли карано,— згадує тітка Мокрина,— ще, мабуть, на пущення, й не втікав, ніби й не замірявсь,— бо я його якось бачила — приходив до Левка по обіддя. Піклувався, що жінка нездужає, казав, неодмінно треба йому собі кобеняк справити... за лихо й не нагадував.

— А трапляється так часом, що за давнене лихо чоловік не нагадує, гне обіддя, приміряється кобеняк справляти, та зразу і втече... наче його вихрем винесе,— чи жартує, чи кепкує Максим.

Він тоді саме косив у нас в лісі — були такі в пана улюблені сиві коні, що нібито мусили вони житися гаєвою травицею. Не дурно ж кажуть, що пани, як дурні,— що схоплять, то й роблять — то в нас він днював і ночував і, примічаю, усе він ніби з батьком радиться. Оце по вечері як посідають де-небудь оддалік, то зорі висиплюються і попригаснуть, а вони все розмовляють. Ми спати полягаємо, а розмова все точиться. Батько свого доводить звичайно спокійненько, а Максим як почне — упевняє, вговоряє, чи що, то часом зопалу аж крикне.

А мої цікаві вуха трохи не розпадаються, так наструнчую, та ба! Не приймають мене до кумпанії,— аби я підсунувся, став прислухати, зараз: «Іди, Матвійку, по те або погляди там або тут». Я незабаром второпав, що мене поки що не завітають, вже не наближався і, своєю уразкою не хвалячись, потлумив жаль.

А проте я таки дещо почув... деякі летючі слова поперехоплював...

— Оце улеву — дощу сподівалися,— каже Максим батькові,— а та градова хмара обминула нас далеко.

«Нащо йому та хмара,— думаю. Бо ж добре я чув якось, як він казав батькові: «Якби нахмарило».

Того дня, що Максим впорався з сіном і мусив братись додому, трохи зарані ми сіли вечеряти. А ніч видна така —

у хаті всі кугки світяться. Коли грюк — аж у двері Мелася Чубатка, Овдія Чубатого, дровичовського лісника, чепурненька жінка — молодиця вручна, кругленька, як цибулька, бистренька, як метелик... Вона не дуже до нас вчашала, а як вже коли одвідає, то, певно, цілісенський глек брехеньки розіб'є. А свіготка! а лепетлива! а дроботуня!

— Здоровенькі були, повечерявши,— вітає.— Я до вас на хвилиночку, бо дуже поспішаюся додому — там в мене такого діла, що аж голова біла; та ще й не знаю, як його поночі йти... Казала чоловікові: гляди ж, неодмінно прийди до зовиці — я, бачте, зовицю Стеху одвідувала,— та проведеш мене додому, а він не прийшов... горе мені з ним! То вже до вас забігла... Біжу, та так боюсь, так боюсь... Боже!

А батько й каже:

— Хіба вас яке вовчєня налякало?

— Ой, не кажіть! Ви тут сидите у своїй пуці і нічого не чуєте, а там таке робиться, мати божа! Не знаєте, що діється у Кривчуках? Боже свідче!

Та аж рученьками сплеснула.

А тітка Мокрина зараз допитуватись:

— А що ж там у Кривчуках, Меласю?

— Ой, і спом'янути страхаюсь... Та вже від вас не питаю. Ой боже ж мій милий! Боже ж мій добрий!

— Та розкажіть вже, серце, розкажіть,— просить тітка Мокрина.— Що там таке? Яка напасть?

— Ой, напасть, напасть... У п'ятницю кажу я чоловікові: надумалася, кажу, у Кривчуки одвідати куму Зозулиху. То що, одказує, як надумала одвідать, то й одвідай. Я ранесенько і побралась. Кума так мені рада, що господи... Заночуй, просить, кумцю, бо мені самотненько,— її чоловік, знаєте, мабуть, як восени втік, то й досі нема,— я й заночувала. Се позавчора, а вчора вранці заходжуюсь додому, коли гульк у хату кумина сестра Оришка, панська покоївка, та така, матінко, вилякана, аж труситься. Бачу, хоче щось оповістити і варується. Не бійсь, любко, вговорюю, кажи усе чисто, бо зо мною поговориш, то як у піч укинеш... Тоді вже вона усе чисто розказала... Ой мати божа! І розказувати боязно! Та вже від вас не питаю, а ви ж нікому в світі... Оце ж у ту-таки п'ятінку, що я до куми вибралась, панство опівночі повечеряли. Пан книжку став читати, а пані сіла проти дзеркала і загадала Оришці кучері їй у папірчики завивати. Округи тиша — звісно, опівночі... Коли щось близьенько як затупотить, як затупотить... «Що се тупо-

тять,— каже пан,— наче хто конем у двір в'їхав». Та до вікна, дивиться. А пані йому: «Ти не жив, як не вимислиш абияку дурницю! Хто б то мав уночі приїхати?» А тут як загуркотіло, затуркотіло, загримало, загаласувало по покоях — боже світе! Та у двері гості! Та аж семеро, матінко. А за ними ще семеро, та ще, та ще... Безліч... та усі, як орли, та усі, серденько, узброєні аж по вуха... Списи такі страшенні, шаблюки, рушниці, самопали... а ножі, а сокири...

— Се вже Оришка передала, мабуть, куті меду — щось засолодке! — каже Максим.

— То ви такий неймовірний,— трохи усердилась Мелашка,— на свої очі бачитимете, то й то віри не доймете.

А тітка:

— Та ну ж бо, Меласю, розкажіть, розкажіть.

— Вхопили пана й пані, скрутили, кинули долі та як почали господарювати, як почали... Боже світе!

— Вбито? — скрикнула тітка Мокрина.

— Ой, трошечки, трошечки що не вбито... трошечки... і покойових дівчат поскручували, і всеньку челядь... Один скручує Оришку та приказує: «Гляди ж, чорноброва, лежи мені тихо, бо як поворухнешся, то вже не кажи: моя мамо,— я тебе замордую!» Приказує та приморгує, серце, та сміється, а погляд, як блискавиця. А вуси такі страшенно довгі, що як нахилився її в'язати, то вони по чолі лоскочуть... За-в'язує їй уста та ще наче жартує: «Чи дихаєш? — пита.— Бо шкода таку співочу душити»... бо вона, та Оришка така, що оце слізьми вмитьється, а вийшла з покоїв — і заспівала... А він, матінко, і те зна, бо характерник... Він ще їй щось приказував, та не признається вона,— почала та й зупинилася. Тільки наминула, та й годі. А я таки допитаюся... Умисне піду до куми.

А тітка Мокрина промовляє:

— Мати божа! Мати божа!

— Позабирали золото, срібло, перли, оксамити, атласи — усе чисто, та й зникли, наче їх не було... Зникли, серце, як мара... А панство лежить скручене — бо теж, не жартуючи скрутили... як залізом. Відспівали опівночі півні, співають вже й на світання... Пан не рухне, лежить, як галушка, а пані як почала репетувати, як почала... ревла, як тур... Хіба не знаєте, яка? Там така, що кам'яну гору пересіче! То покотом, то поповзом, то підскоком таки якось доп'ялась до порога, та головою, любочко, у двері, та головою — аж двері заспівали, та знов гукати, та знов

покотом, та знов підскоком до другого порогу. А сонечко вже у всі вікна променіє — та знов репетувати: «Оришко! Ганно! Параско! Іване! Грицько!» А ті ані пари з уст — поскручувані! Репетувала б вона хто його зна поки, коли б не холодківський Омелько Шпак... Несе той Омелько Шпак лист від свого пана і в див йому, що вже сонечко геть-геть підбилося, а в дворі, наче серед степу: ані голосу людського, аніякого руху. Загляда у стайню, а там, любочко, возниця той, Іван Дейнека,— наче у сповиточку! Шпак його визволяти — та обоє до кухаря, до челяді, та усі тлумом у покої рятувати панів. Пан дуже, мабуть, перелякався — і голосу в його нема, а пані б'ється, а пані кричить — аж синя. Підвели, розкрутили... як зірветься вона, як затупотить на челядь: «Де ви були? Де були?» — Скручені, кажуть, уста нам позатулені... Не второпає, що їй кажуть, кидається, як несамовита, по покоях: «Я вам! Я вас! Знатимете! Пам'ятатимете! Зараз по справника. Біжи! Лети!» Скочили по справника, хто його зна, що й буде! Там тепер уся челядь, як нежива. «А дівчатам,— хвалилась пані,— таку кару завдам, таку кару»... І хто його зна, що буде! Хоч з мосту та в воду!.. А пани наїздять та наїздять — із Лучки, із Махночки, із Красноборовки, із Журавки,— та все радяться, як тих гайдамаків запопасти. І звідки ті гайдамаки взялися? І куди вони зникли? Зникли, як здиміли! Чи ж таки їх не знайдуть? Як на мою думку, то їх таки застукують, хоч вони, може, й характерники.

Оце спитайте мене, що діялось позаторік, то, може, й не згадаю — навіть забуваю і сьогорічне, а те стародавнє немов перед очима. Коли яка пташка кудою пурхнула, де який вітрець повіяв, хто яке слово промовив — усе, як викуте, в серці... Давненько та лепетлива Мелася Чубатка по тім березі, а ось вона тут, блискотить очима та дроботить... Бачив я її і стареньку, та старенька згадується мені, наче крізь туман, а стоїть жива в очах та давня чорнява білозубочка у червоному очіпку, швидка, як мотиль, а вертка, як дзига, невгамуша, як вода в лотоках...

— А в Зарубинцях не чути за тих гайдамаків, Максиме? — пита тітка Мокрина.

— Може, я й чув,— одказує,— та вже й забув, що там плескали.

Мелашка перехоплює:

— Як-то? Як-то? Я питала Гершкову небогу, що шинок держить у Зарубинцях, то, каже, такий там розрух, що

батько сина, а чоловік жінку забувають, як звати... Недалечко там, десь коло попової греблі хтось вже бачив тих гайдамаків,— так, кажуть, вигравають кіньми, і хвалилися: «Усіх,— хвалилися,— порубаємо!» Моя година! Доскочуть вони, серце, і до нашої пуші і до вашої... Певно...

— А поки що час мені пушу оглянути,— каже батько.

— Та мені час додому,— додає Максим.

Та до Чубатки:

— Може, проведемо вас, як ви такі налякані дуже?

— Ой, проведіть, проведіть, голубе, бо поспішаюся, так поспішаюся, а боюся... Ходім, ходім...

Та, спинившись на порозі:

— Застукають вони нас, тітко Мокрино, застукають, любко, як пити дадуть... А там такі вони, славлють, немилосердні, такі немилосердні... Замордують! Ой, застукають...

— Поспішаймося трохи,— знов каже Максим,— щоб часом нас не застукали от тут у лісника на хатньому порозі.

— Ой, не лякайте мене, Максиме, бо й так серце колотиться, не вгаваючи... Ходім, ходім хутенько, бо чоловік давненько, мабуть, виглядає...

— А що,— кажу,— як ті гайдамаки та справді заскочуть?

Тітка Мокрина, хоч в самої, може, тенькає серце, заспокоювати та вговоряти:

— Хай бог милує, дитино! Не лякайся, голубе, бо та Чубатка часом набазикає, що на вербі груші... Катре, любко! Що се ти в задумі?

Катря наче прокинулась і знов узялася за свої мережки.

— Ти не бійся, серце. Що бог навине, того ніхто не мине.

— Я, тіточко, не боюся.

— Часом правди на ноготок, а приложиться на локоток, доню...

— Авжеж, тіточко.

— Як божа воля, діточки, то, кажуть, вирнеш і з моря, то вповаймо на господа. На віку, мовляв, як на довгій ниві, усяке трапляється; часом здається, що дожився вже до самого краю — тільки й ходу, що з моста та в воду, а господь і визволить. От хоч би й я: чого-то я не знала в світі — бачилось усе, зналось усе... А ось дожила до

сивої скроні, та ще господь і здоров'ячка дає на потрібну роботу. То не турбуймося, голуб'ятка... Вповаймо на престисту.

— А як таки заскочуть? — кажу.

— Щоб ти мені і думати про се покинув, Матвійко! — ніби гримнула тітка Мокрина.— Чуеш? Ти от лучче послухай, як колись твоя стара тітка та ведмедя вилякала. Прилучилося те давненько, ще як я дівувала і червоним маком квітчалася... Того року суніць і полуниць така сила зародила, що й не сказати — по лісі, по полянах скрізь як кармазином вкрито. І так нам, дівчатам, ті суніці аж пахнуть. А в чорноставську пушу ми і тоді за старого пана боялися заглядать. Що його робить! Коли Настя Несвітайлова і надумала; то то ж була вигадчиця, то то ж була замислівка! А вже як чого сильне забажа, то ніхто не переконає — свого докаже. А бистра, як блискавиця, а весела! Велося, як і іншим — горенько знала, — а ніколи не журилася, не смутовала. «Нехай і так, — було каже, — а я таки веселюся... Хоч плач, хоч танцюй, — каже, — лихо буде — нумо ж танцювати». Хто б то сказав, що така їй доля судиться! Втопилася! Заручилась вона з Яковом Поліщуком, а того негадано віддано у москалі: старий пан, як і теперішній, був маркотний дуже і дражливий. Як угнівається, то знічев'я людину не те що упосліднить, а й занастить навіки... Щось він спитав, а Яков ніби не до ладу відказав, розпалився, осатанів: «У москалі дармобита!» Не дали і попрощатись з зарученицею. А вона тільки здалека подивилась услід, а далі тихенько пішла, посиділа в березі, розплела косу, як на дівоч-вечір, та кинулась в саму бистрю, в глибину... Молоденька — у 17-й рік уступала, а гарна, як іскра... Отаке-то, дітки, на світі діється... Матвійку, ти чого насторожився? Ти лучче слухай, що я розкажую... Так оце ж Настя й надумала: «Гайда у Чорну Дібровку! Хоч далеченько, та вже там улакомимось, усолодимось донехочу — лісник там старий, як світ, не поженеться. Гайда у Чорну Дібровку!» Ми відмовлятися, змагатися, та вона усіх переконала. Побралися ми яром. Яр превеликий, іде заломами — густо поріс дубиною, стежинка кручена. Ми собі весело йдемо, жартуємо... Коли невеличка тіснинка, а в тіснинці...

Та й не доказала, скрикнула не своїм голосом, бо десь розлігся такий виляск, що аж за озером одлунало... Скрикнула не своїм голосом, кинулась до мене, до Катрі, схопила,

притулила... Збіліла, як хустка, хоче щось промовити — не здола.

— Се десь пугою виляснуло,— каже Катря. Та, вислязнувши з тітчиних рук, до дверей: — Подивлюсь, чи не з панського двора до нас їдуть,— і зникла.

А я за Катрею... А тітка Мокрина за мною, вхопила, не пуска.

— Катре! Катре! — гукає.

— Та чого ви так налякалися того виляску! — кажу (хоч почувши, сам трохи іздригнувсь).— Се хтось їде та пугою виляснув.

Не слухає та все гука:

— Катре! Катре! Де вона поділася?

— Ось я,— одгукується Катря і вийшла з гушавини.

— Се десь далеко,— каже.— Округи тихо і нікого нема...

І справді, округи тихо і нікого нема.

— Проте наче зблизька виляснуло,— кажу.

— Се нам так почулося,— упевняє.

## VII

Минув тиждень.

— Впевняла Чубатка, що ті гайдамаки не забаряться,— кажу тітці,— а вони й забарились...

— От се молодиця! От се вітролетка! — свариться тітка.— Ти послухай, то вона тобі розкаже і прикаже! Вимислила гайдамаків! Які там у господи гайдамаки. Верзе молодичка не знать що...

— А вони заскочили забродську пані та змусили, щоб покойовим дівчатам коси заплела... та щоб гарно...— кажу.

— От дурниця! Аби плескати! Ти мені не доймай віри, не вважай на ті байки...

— А з Бобриків знов поголосок... погромили там панську пасіку...

— То все брехенька, мій голубе...

— А ви ж самі вчора казали батькові...

— То що, що казала? От, казала, яке базікають.

— Ні, ви казали: ой лишенько...

— Ой дитино, який же ти морочливий! Не слухаєш мене, журиш мене... Кажу, не турбуйся... І ти, Катрусо (до Катрі), не турбуйся.

— Я, тіточко, не турбуюсь,— одказує Катря.

— А чому раз у раз вибігаєш з хати? — глузую.— Та прислухаєш, та виглядаєш? Мабуть, неправда?

— Тобі, мабуть, виснило, братику...

— Ти не ходи далеко, голубко,— приказує тітка Катрі.

Я зараз чіплятись:

— А ви ж запевняєте, що гайдамаків нема, то чому не ходити?

— Ой Матвійку, Матвійку, журиш ти мене! — зітха тітка.— Чого б то вони мали по лісі блукати? Вона вишиватиме... Правда, Катре?

— Вишиватиму, тіточко...

— Ой Матвійку! Якби ти такий слухняний, як Катря...

А мене наче душить в хаті — тільки я дихаю, як вивруся у пушу. Хоч оглядаюся, а часом і добренько стрепенусь, сполохнусь, а таки никаю та никаю, та все наче чогось сподіваюся...

Минув і другий тиждень. Скрізь тихо, усе гаразд: пан усе залицяється та сватається, то з панського двору жодної новини — лихо поки що спить, Катря оздоровіла — тепер вже і тітка не пита, чи здужа, бо дівчина літа, як на крилах, робить, співаючи, а очі як різдвяні зорі... Настигли суниці, почали червоніть полуниці, розвеселяючи тітку — аби часинка — вона вже й з кошиком, назбирає і ягоди, і листя, та в'яже у пучечки, та сипле на загнітку, сушить і в'ялить і на згагу, і на хрипоту, і на гризь, і на захолоду, і на вареники, та любує: «Ой, та й рясні! Ой, да виборні!» До того і годинка в бога,— ані хмарочки. Ясненько сходить сонечко, ясно і заходить; ніч спаде,— то тиха...

Того останнього тижня якось разом почали до нас люди учащати. Під нашою пущею саме одбували косовицю і, сподіваючись молодика, дуже поспішалися, щоб заблаговрем'я у стоги вкидати. Ще на світ не займається, а вже коси крешуть, як блискавиці, не вгавають косарі і до вечора. Смеркне, то їм би додому, охолодить смажні уста, дати відпочинок змореному тілу, а вони ідуть до батька. А батько наче забув панський загад — прийма усіх. Посідають де-небудь оддалік хати і чи радяться, чи що... А далі почали вчащати поруч з нашими чорноставськими і чужесільні люди: то з Кривчуків, то з Зарубинець, приходять і з Книшівки, і з Очеретного. Став одвідувати й Овдій Чубатий, що, мовляла його жінка Мелася, наче прикипів у своїй дроциловській пуші. Кремезний був, наче з щирого заліза, си-

увату голову мусить трохи хилити, бо стелі достає, очі огневі, огнеметні. Як списом проймають... Голос, як дзвін, хоч слово не хапливе, а розважне. Чую, каже батькові,— найпридобріш буде оборудувати на Ляховому шпилю — побачать в Кривчуках і в Шатрищах; а з Кривчуковської кручі дамо гасло аж у Водолаги.

— А ми з Степової погаслуємо у Розкопанці,— каже Максим...

Степова — то висока, спичаста могила за Чорноставом, а Ляхів шпиль висився понад усією округою в кінець дроциловської пущі.

Когось дожидають. Чи ж тих, мовляв, гайдамаків?

Хоч я й смажив собі голову, безскутешне мізкую. Чи що собі замишляють старші, і в чім тут сила, а проте у своїх дитячих забавах кохався. Втоплюся у розвагу, а наввернеться бавильце, то й забув.

Нагледів я старого прегарного пугача і довгенько морочився, поки його таки витропив аж у вовчім яру коло самої вовковні.

Колись побавився пан, ловлячи вовків, занедбав тую ловитву, і зосталась велика глибоченна яма, як яр глибокий. А навкруги позаросло так, що й не проглянути, та тернина, та повзунка, та дереза, та чепиця. Як я тудою уперше продряпався, то пика в мене стала, як писанка.

Хоч витропив я того пугача, а гнізда його не знайшов — тільки дурно подрав штани, лазячи по тому дуплавому дереву та, впавши з дуба, гарненько забив потилицю і трохи не повидовбував очі на спички. Та все б те нічого, якби вскурав.

Треба ж таки мені того невірного пугача конешне дістати. Узброївся, як треба, узяв ніж, забрав шворку і зарані потяг до тієї вовковні, бо думка така, що до смерку він ховатиметься, то я, може, застукаю його у дуплі. Поскоряюся та роздумую, як здатно орудуватиму,— в думці пугач вже в мене в руці,— коли разом я зупинився: що се, наче десь близько люльку палять. «Оце приснилось», думаю і знов поспішаюся. Тихо у яру, а таки заходень з гори легенько тягне — от потягло і знов чую: палять люльку... Наче мене холодом обвіяло, а таки йду до своєї наміченої стежечки, так, не стежиночка, а сказати, нитиночка. Ступаю, розгортаючи терен, та й каменію: серед вовковні збатовано двоє коней, а на колоді хтось сидить і курить люльку... Дремував я з яру, наче мене з луку спрягло.

Спинив, перестрівши, батько.

— Чого се, синку, так гониш? — пита.

— Тату! — кажу, — тату!

Та й не вимовлю зразу, бо дух захопило.

— Тату, там у вовчій яру у вовковні двоє коней збахтажено, а хтось сидить на колоді і курить люльку.

— Дуже злякався? — пита.

— Злякався, тату...

— Слухай, сину: ти нічого того не бачив. Чуєш?

— Чую, тату, не признаюсь.

Він нічого більше не приказав, а я нічого не питавав, а не признався б, хоч би мене на капусту сікли, на локшину кришили, змололи на дрібочки. Ідемо поруч.

— Голова в тебе, синку, як стріха, — каже.

Та простяга руку і погладив мене по голівці. І так мені серце взрушалось, наче питима мати пригорнула... Ніби радію і плакати хочу.

— А тітка щодня загадує причепурятись.

А моє серце так розмилювалось, що зразу і слова не промовлю. А далі питаю:

— Тату! — питаю. — Чи ті гайдамаки заскочуть?

— А ти, мабуть, хутко їх сподіваєшся, бо гарно приховав свої маєтки?

А я, викопавши чималеньку ямку, склав туди гринджолки, вершу, нову пугу, волошок, свистачку та ще деяке хлоп'яче добро, прикидав камінцями, притрусив земелькою і зіллячком і певний, що зроду-віку ніхто тієї схованки не вишукає.

— Як се ви, тату, вишукали? — дивуюся.

— Може б, і не вишукав, та з угорка бачив, як ти порався, ховаючи.

— А гайдамаки як прискочуть, тату, то людей рубатимуть?

— Ні, сину.

— А я трохи боявся.

— Не бійся.

Я у той мент і послухав — от наче він згадав мені води принести, або що...

— Вже не боюсь, тату.

— І добре, синку.

— А тітка, — кажу, — бачила гайдамаків колись давно, то хвалилась, так дуже злякалась.

Та й розказую йому, що чув. А він слуха. Ідемо пан-

ським шляхом — широкий шлях, крізь пушу від краю до краю, звався панський, бо ним пан їздив гуляти, коли з убочної просіки Максим, а за ним якийсь незнайомий кремез. Максим високий, а той і Максима переріс, голова руда, як щире золото, а сам чорнявий.

— Усе гаразд,— каже Максим.

Той незнайомий кремез нічого не каже, та очі його говорять, що все гаразд...

— На тому тижні? — пита батько.

— Еге, у середу або в п'ятницю. Завістимо у вівторок,— одказує рудий кремез.— А ви не забаритесь?

— Не забаримось,— каже батько.

А тут надходить Овдій, з ним ще якісь чужесільні двоє, а слідом ще двоє, ще троє... ще і ще...

— Товариші з Звенячки, з Кринишного, з Негребовки, з Красниці,— каже Овдій

І Овдій і всі вони такі, що аби крила, то знімуться, як один, і полетять. І батько мій не такий, як повсідень. Був він ще не старий, саме на порі, а ходив притопканий, а тут, сказав би, наче випростався, і невеселі його очі якось йому проясніли.

— Іди собі, синку, додому,— каже мені.— Ти нічого не бачив і не чув?

— Еге, тату, нічого не бачив і не чув.

Не дуже хотілося мені додому, а проте пішов жваво... І мені тільки б крила бракували, а то б полетів...

— Нагулявся, синочку? — пита тітка Мокрина.— Може, їстки хочеш?

Сиділа самотненько на хатньому порозі, схиливши на руку смутну голову. Досі я не завважав, а тут постеріг, що стара якось разом змарніла.

— Тіточко! — скричав.— Та чого ж се ви так зразу змарніли? Нездужаєте?

— Ні, дитино, дякувати господеві... А ти, мабуть, далеко гуляв?

— Що се ви, тіточко! та я тут... близесенько.

— А чого ж так запихався? Мабуть, все з тим невірним пугачем короводився.

— Та ні, тіточко! кажу ж вам, що близесенько! <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> На цьому рукопис уривається. Ред.



Т  
В О Р И  
Ф Р А Н Ц У З Ь К О Ю  
М О В О Ю





## DURE-ÉPINE ET BONNE-ROSE

Il y avait une maison, dans laquelle demeurait une femme et puis sa fille.

La mère ne valait rien, et la fille pas davantage. Tout le monde les détestait à dix lieues à la ronde et c'était à qui les éviterait.

Dans le voisinage, demeurait un brave homme qui vivait à grand'peine de son travail dans une pauvre cabane. C'était un bûcheron.

Il arriva un matin qu'un arbre de la forêt tomba sur lui dans une tempête et l'écrasa.

Le pauvre bûcheron laissait une fille qui, après avoir pleuré son père, se trouva si dénuée de tout, qu'elle fut obligée d'aller demander à la méchante veuve qui était sa tante, et à son orgueilleuse cousine, de la prendre, fût-ce en qualité de domestique. Elle ne demandait pas de gages, mais seulement du pain et de l'eau: "moyennant quoi, dit-elle, je serais tout entière à votre service".

Le marché fut conclu. Pendant le premier jour, tout alla bien, et la pauvre Rose fit le serment sur le livre de prières de son père, qu'elle ne quitterait jamais, quoi qu'il advînt, les parents qui l'avaient sauvée de la misère.

Mais, dès le lendemain, elle connut son malheur.

La mère et la fille la prirent immédiatement dans une telle aversion, que son sort, malgré sa douceur, lui parut intolérable.

Pourquoi cette haine, il faut bien le dire, Dure-Épine, la fille de sa maîtresse, était, comme son nom l'indiquait, dure et méchante, et cela se voyait si bien sur sa figure que, quoi qu'elle eût d'assez beaux traits, tout le monde la détestait.

La pauvre Rose, au contraire, avait une de ces figures d'ange qui révèlent toutes les qualités du coeur, et elle était à peine dans la maison, que bien des gens, au lieu de passer tout droit devant

la porte, s'arrêtaient pour causer avec elle ou lui sourire, ou lui dire quelques bonnes paroles.

La mère et la fille devinrent jalouses de la préférence accordée à Rose, et se promirent de s'en venger.

La pauvre Bonne-Rose était obligée de faire tous les travaux, tous les ouvrages dans la maison, tandis que Dure-Épine n'était occupée que de parures et restait toujours oisive.

Bonne-Rose travaillait de tout son coeur, souffrait avec patience et endurait tous les méchants traitements de sa cruelle tante et toutes les injures affligeantes de Dure-Épine sans se plaindre ni s'emporter. Elle aimait malgré tout sa tante et sa cousine, parce que c'était tout ce qui lui restait de son père, et elle aurait payé bien cher le moyen de se faire aimer aussi! Quelquefois elle passait ses tristes nuits en réfléchissant quelle douce existence ce serait, si l'on s'aimait dans la maison et si l'on se dévouait mutuellement. Espérant beaucoup de l'avenir, se sentant isolée dans le présent, elle réchauffait son coeur anxieux par sa propre affection méconnue qui veillait toujours et ne s'assoupissait jamais.

Le temps filait, mais les choses étaient loin de s'améliorer. Au contraire, de jour en jour, sa tante et sa cousine devenaient plus méchantes. Elles cherchaient visiblement le moyen de la faire périr. Elles la battaient, elles la faisaient presque mourir de faim. Bonne-Rose ne se plaignait pas, elle s'efforçait de les attendrir; Bonne-Rose elle était et elle restait, devenant seulement plus épanouie et plus belle chaque jour, malgré ses chagrins.

Un matin, c'était au beau milieu de l'hiver, Dure-Épine eut envie d'avoir des violettes.

— Va donc, Bonne-Rose, — dit-elle, — apporte-moi un bouquet de violettes de bois! Je veux mettre ces petites fleurs gentilles à ma ceinture, je veux en orner mes cheveux, je veux ainsi respirer leur parfum!

— Ah! mon Dieu! quelle idée, chère cousine! Je n'ai jamais entendu dire que les violettes épanouissaient sous la neige! — répondit la pauvre Rose.

— Tu oses me contredire quand j'ordonne, vilaine créature! — s'écria la méchante Dure-Épine. — Mais si tu ne vas de ce pas dans la forêt, et si tu ne m'apportes pas des violettes, je te battraï jusqu'à la mort!

Tandis que la méchante Dure-Épine menaçait Bonne-Rose, sa tante l'ayant saisie par les épaules, la jeta hors de la maison et ferma la porte sur elle.

En pleurant à chaudes larmes, Bonne-Rose alla au bois. La neige épaisse couvrait le sol, nulle part on ne voyait de traces humaines. La pauvre fille erra longtemps. Elle ressentait le froid et la faim, son abandon et son malheur, et plusieurs fois elle désira de reposer dans la tombe plutôt que de souffrir ainsi dans le monde.

Tout à coup elle aperçut un feu qui brillait au loin. Elle s'achemina vers cette lumière et grimpa sur le sommet d'une haute montagne. Là, elle vit un spectacle imposant et étrange: sur le sommet flamboyait un énorme bûcher et autour de ce feu étaient placés en cercle sur douze pierres formidables douze géants.

Trois d'entre eux étaient vieux tout à fait, avec de longues barbes blanches, trois autres un peu moins âgés; trois autres encore étaient d'un âge mûr, et enfin, les trois derniers étaient jeunes et florissants.

Ils se tenaient en silence et regardaient d'un air rêveur le feu pétillant. C'étaient les douze mois de l'année.

Le mois Glacial était placé à la tête de tous; ses cheveux et sa barbe étaient aussi blancs que la neige; il tenait dans ses mains un sceptre.

Quelques instants Bonne-Rose, qui n'avait jamais ouï — dire que les mois puissent être des personnes, resta interdite de ce qu'elle voyait, mais elle rassembla ses esprits et, s'approchant plus près, elle dit à voix basse et suppliante:

— Bons messieurs, permettez-moi de me chauffer un peu près de votre feu. Je suis transie de froid!

Le Glacial lui fit un signe de tête amical et l'invita à se réchauffer.

— Comment es-tu venue ici, petite fille? — demanda le Glacial. — Et que cherches-tu?

— Je cherche des violettes, — répondit Bonne-Rose.

— Ce n'est pas le temps de chercher des violettes, — dit le Glacial. — Partout règne l'hiver, partout la neige s'amoncelle!

— Hélas! je le sais bien, — répondit tristement Bonne-Rose, — mais ma tante et ma cousine m'ont ordonné de leur apporter des violettes. Si je ne les leur apporte pas, elles vont me tuer. Bons messieurs! je vous supplie! je vous supplie de me dire, si vous le savez, si je ne pourrais pas trouver quelque part des violettes.

Alors le Glacial se leva, s'approcha du plus jeune mois, le Doux, lui donna son sceptre et lui dit:

— Frère Mars! Prends la première place!

Mars prit la place à la tête de tous et secoua légèrement son sceptre. Au même instant les flammes dansèrent plus vives et plus chaudes, la neige commença à fondre, sur les branches se montrèrent les bourgeons, sous les arbres verdirent les herbes et les gazons, les fleurs poussèrent sur leurs tiges s'allongeant à vue d'œil.

Et le printemps arriva et embauma l'air. Entre les arbrisseaux s'épanouirent les violettes. Elles étaient si nombreuses, si nombreuses, qu'on aurait dit qu'une main invisible étendait un tapis bleu.

— Vite, Bonne-Rose, vite! — dit Mars,— vite, ma belle enfant. Dépêche-toi de cueillir ton bouquet!

Bonne-Rose, le cœur rempli de joie, cueillit un gros bouquet, remercia avec effusion les douze mois qui lui sourirent et se hâta de retourner à la maison.

Combien s'étonnèrent la méchante tante et Dure-Epine! Quelle ne fût pas leur surprise quand Bonne-Rose parut avec ce bouquet de violettes! Quand elle entra, quelle délicieuse senteur se répandit dans toute la maison!

— Où as-tu trouvé ces violettes-là? — lui demanda Dure-Épine avec colère.

— Sur une haute montagne où elles s'épanouissent en profusion.

Dure-Epine prit les fleurs, en mit à sa ceinture, en orna ses cheveux, respira leur parfum délicat et présenta le bouquet à sa mère pour qu'elle le respirât à son tour, mais pas une fois elle ne dit à sa soeur: — "Veux-tu le respirer aussi?"

Quelque temps après, le froid était encore plus rigoureux, Dure-Épine eut envie de manger des fraises et elle envoya Bonne-Rose lui en chercher, et sa mère l'aida à donner cet ordre déraisonnable.

Bonne-Rose alla tout droit près des douze mois, reçut le même accueil bienveillant et leur confia le nouveau son embarras et sa peine.

En apprenant la chose, le Glacial qui tenait toujours le sceptre, se leva, s'approcha du jeune et beau mois qui était placé en face de lui, lui donna son sceptre et lui dit:

— Frère Juin l'Émaillé! Prends la première place!

Le bel Émaillé prit la première place à la tête de tous, secoua le sceptre. Au même instant la flamme devint ardente, la neige fondit rapidement, la terre se couvrit d'herbe verdoyante, les arbres s'enveloppèrent de feuillage, les oiseaux commencèrent

à gazouiller et à chanter, mille et mille fleurs s'épanouirent dans la forêt, et l'été arriva tous fleuri et tout triomphant. Dans l'herbe se montrèrent les petites étoiles blanches, puis, sous le regard de Bonne-Rose ravie, ces étoiles blanches se transformèrent en fraises rondelettes qui mûrirent en un clin-d'oeil. Bonne-Rose n'eût pas le temps de s'écrier, que les fraises parsemaient le sol fleuri de tous côtés. Bonne-Rose cueillit une quantité de fraises pour les porter à sa cousine. Combien Bonne-Rose remercia ses braves et généreux amis et combien tout le long du chemin, après qu'elle les eut quittés, elle caressa leur souvenir les larmes aux yeux, cela va sans dire.

Dure-Épine fut étonnée grandement en apercevant les fraises et sa mère aussi.

— Où les as-tu trouvées? — demanda-t-elle d'un ton bourru.

— Sur une haute montagne où elles mûrissent en profusion, — répondit Bonne-Rose.

Dure-Épine mangea des fraises, en donna à sa mère, mais pas une fois elle ne dit à sa cousine: "Manges-en donc, cousin!"

Quelques jours se passèrent encore et Dure-Épine eut cette fois envie de manger des pommes rouges, et elle fit ordonner durement par sa mère, à la pauvre Bonne-Rose, d'aller à la recherche des fruits désirés.

Bonne-Rose traversa péniblement le chemin encombré de neige glacée, jusqu'à ce qu'elle eût atteint le sommet de la montagne, et elle se réjouit en revoyant ses chers amis et en épanchant son cœur dans le leur.

Le Glacial se leva encore de sa place et la donna, ainsi que le sceptre, au mois Feuillu.

— Frère Septembre le Feuillu! Prends la première place!

Le Feuillu prit place et sceptre; et voilà le feu qui pétille vivement, la neige docile qui disparaît encore, et bientôt la nature prend l'aspect triste de l'automne. Les fleurs tombent et un vent frais et pénétrant les chasse de côté, les vieux aussi bien que les jeunes. Bonne-Rose ne vit donc pas cette fois de fleurs épanouies, mais elle trouva un pommier chargé de fruits succulents.

— Vite, Bonne-Rose, vite! — lui dit le Feuillu.— Dépêche-toi et secoue une branche!

Suave-Rose secoua une branche et une belle pomme rouge en tomba sur la mousse; elle secoua encore, une autre belle pomme rouge tomba, plus grosse et plus lourde encore que la première. Bonne-Rose les ramassa l'une et l'autre et se hâta de retourner à la maison, en bénissant ses amis dont la précieuse

amitié la secourait dans ses misères. Elle apporta les deux pommes à la maison. Dure-Épine étonnée ne put cacher sa mauvaise humeur et sa mère laissa échapper un geste de fureur.

— Où as-tu cueilli ces pommes? — demanda Dure-Épine en lui jetant un regard farouche.

— Sur la haute montagne où elles surchargeaient tellement les branches d'un splendide pommier qu'elles les faisaient plier comme des joncs flexibles, — répondit Jolie-Rose.

— Pourquoi donc n'en as-tu apporté que deux? — s'écria Dure-Épine irritée. — Bien sûr, tu en as mangé d'autres pendant la route!

— Ah, chère cousine! Je n'en ai pas même goûté! — répondit Bonne-Rose. — J'ai secoué le pommier et une pomme est tombée; je l'ai secoué encore et une autre pomme est tombée. J'aurais craint d'être indiscrete en demandant plus qu'il ne fallait...

— Que n'es-tu morte là, petite sottel! — dit Dure-Épine, et elle voulut battre sa cousine. La pauvrete fondit en larmes et se sauva dans un coin pour cacher sa peine.

Dure-Épine mordit dans la pomme et la pomme lui parut d'un goût exquis. Elle l'avait mangée et elle dit à sa mère:

— Donne-moi ma pelisse, maman! J'irai moi-même dans la forêt, je ne veux pas y renvoyer cette détestable fille, elle mangerait encore une fois les plus belles. J'irai donc moi-même! Je prendrai toutes les pommes et nous aurons du moins de quoi nous régaler comme il faut!

Ceci dit, elle jeta la pelisse sur ses épaules, s'enveloppa en outre d'un grand châle et sortit.

La neige épaisse couvrait la terre et longtemps elle erra jusqu'à ce que, guidée enfin par la lumière du feu qui lui apparut au sortir du bois sombre, elle atteignit le sommet de la haute montagne, et aperçut les douze mois assis en cercle à leur place ordinaire.

Sans se gêner plus que ne le ferait le chat de la maison, Dure-Épine s'approcha du feu et là, sans dire bonjour, sans en demander permission, elle se mit sans façon à réchauffer ses mains près du feu.

— Que cherches-tu ici? Pourquoi viens-tu dans notre demeure? — lui demanda sévèrement le Glacial.

— Qu'as-tu besoin de savoir où je vais, vieux monstre? — répondit grossièrement Dure-Épine.

Puis elle s'achemina vers la forêt.

Le Glacial fronça les sourcils et leva son sceptre. Au même

instant le feu diminue, le chaleur baisse, la flamme disparaît, le ciel s'obscurcit, la neige tombe en flocons si épais que, n'était le froid humide, on eût cru qu'il tombait du ciel des nuages de duvet, un vent âpre et engourdissant siffla dans le forêt. L'orgueilleuse Dure-Épine ne voyait plus à un pas devant elle. Elle s'enfonçait à chaque enjambée dans la neige, de plus en plus épaisse, elle maudissait Bonne-Rose, elle accusait sa mère qui l'avait laissée sortir, et s'en prenait à la nature elle-même de ses rigueurs. Peu à peu ses jambes se froidissaient, et ses pieds se glaçaient.

Pendant ce temps sa mère, impatiente, regardait toujours par la fenêtre. Quelquefois elle courait à la porte, tendait l'oreille, mais les heures passaient et Dure-Épine ne revenait pas.

«Les pommes l'auront séduite par leur goût délicieux, — se dit enfin sa mère.—Dure-Épine en aura trop mangé, elle en aura fait une si grosse provision qu'elle plie sous la charge et ne peut se décider à les abandonner. Je vais voir moi-même, de mes propres yeux, ce qui en est, et courir à son aide».

Elle mit sa pelisse, son grand mouchoir, et s'en alla en courant à la recherche de sa fille. Le froid était terrible, insupportable, mais les pensées qui l'envahirent étaient bien plus terribles encore. Elle courait essayant de braver les piquûres de la bise, mais en proie surtout aux morsures du désespoir et des pointes aiguës de son tardif repentir.

Cependant le temps passait, passait toujours. Bonne-Rose prépara le diner, mit ordre à toute la maison; mais sa tante ni sa cousine ne revenaient.

“Que peuvent-elles faire?” — pensait Bonne-Rose, et elle se mit à son rouet, le coeur inquiet, pour faire passer le temps.

Voilà une grosse bobine de laine filée. La soirée est très avancée. Mais elles ne reviennent pas!

“Ah! mon Dieu! que sont-elles devenues?” — se dit Bonne-Rose voyant la nuit venir.

Elle regarda avec anxiété par la fenêtre. Le ciel étincelait d'étoiles brillantes, la terre étincelait de neige diamantée, mais aussi loin qu'elle put porter les yeux, elle ne vit rien.

“Sortons, — dit-elle, — allons au-devant d'elles. — Dussé-je mourir, je les sauverai”. Mais sortir ne lui était pas possible.

Sa tante en partant l'avait enfermée. Bonne-Rose passa presque toute la nuit en prières, pleurant celles qui l'avaient fait tant souffrir, demandant à dieu leur pardon.

L'aube naissante la trouva à genoux, les mains jointes, et endormie, — le sommeil l'avait surprise priant encore.

Le lendemain arriva et elle attendit encore en vain. Puis le surlendemain arriva et elle attendit encore en vain! En vain, en vain toujours, car ses deux tyrans étaient toutes deux mortes et ensevelies sous les monceaux de neige au fond de la grande forêt, à côté de leur pommier vide.

Que serait devenue Bonne-Rose, enfermée dans la maison dont les provisions s'épuisaient, si son frère, qui était à l'armée et qu'elle avait cru mort dans la bataille, n'était revenu au village pour la rendre à la vie et au bonheur!

On lui indiqua la demeure de Bonne-Rose, qui fut ainsi délivrée. Ah! que l'air pur lui parut bon! Son frère ramenait un camarade, grand travailleur et beau garçon qui devint le mari de Bonne-Rose.

## ЗЛА КОЛЮЧКА І ДОБРА ТРОЯНДА

Була собі оселя, в якій жила вдова з дочкою.

Мати була нікчемна, дочка ще гірша. Всі люди за десять верстов навколо ненавиділи і уникали їх.

По сусідству у бідній хатині жив своєю працею моторний чоловік. Це був дроворуб.

Одного ранку під час бурі дерево в лісі упало й роздушило його.

Бідний дроворуб залишив після себе дочку, яка, оплакавши свого батька, опинилась у такій скруті, що змушена була піти служницею до злої вдови, яка доводилась їй тіткою і яка жила з своєю пихатою дочкою, двоюрідною сестрою бідної дівчини. Вона не брала ніякої плати, а робила в неї за хліб і воду: «За це я й буду вам служити», — казала дівчина.

Домовилися. Першого дня все було добре, і бідна Троянда, як називали сироту, присяглася на молитовнику свого батька, що ніколи не покине, що б не трапилось, родичів, які врятували її від злиднів.

Та на другий день вона вже зазнала лиха.

Мати й дочка одразу відчули до неї таку неприязнь, що їй доля, незважаючи на доброту дівчини, здавалась їй нестерпною. Спитаєте, може, чому її так не злюбили? Зла Колючка, дочка господині, була, як це свідчило її прозвище, жорстока і зла, і це так ясно відбивалось на її обличчі, що хоч воно було вродливе, усі мали огиду до неї.

У Добрій Троянди, навпаки, було ангельське обличчя, на якому відбивалась сердечна доброта дівчини, і коли вона бувала дома, то люди, замість того щоб іти далі, спинялись перед дверима погомоніти з нею, або всміхнутися їй, чи просто сказати кілька добрих слів.

Мати й дочка дуже заздрили, коли хтось звертав увагу на Троянду, і вони поклали собі помститися їй.

Нещасна Добра Троянда весь час багато працювала, вона справляла всю роботу в хаті, тоді як Зла Колючка тільки цікавилась прикрасами і завжди гуляла без роботи.

Добра Троянда працювала від щирого серця, страждала і терпіла суворе поводження з нею жорстокої тітки і всі несправедливі образи Злої Колючки, не нарікаючи і не скаржачись. Незважаючи на все, вона любила свою тітку й двоюрідну сестру, адже це було все, що залишалось від її батька, і вона багато б чого віддала, щоб її любили так само! Іноді вона сумними ночами мріяла про те, яке б це було чудове життя, якби всі щиро любилися в цій оселі і якби це почуття було взаємне. Вельми сподіваючись на майбутнє, почувавши себе самотньою нині, вона зогривала своє тривожне серце невизнаним прихильним почуттям, яке весь час жевріло й ніколи не вгасало.

Час минав, та взаємини й далі не кращали. Навпаки, з дня на день її тітка й двоюрідна сестра ставали ще лютішими. Вони одверто шукали способу, як її зовсім згубити. Вони її били, вони її мучили голодом. Та Добра Троянда не скаржилась, вона намагалася розчулити їх. Дівчина залишалась такою, як була, тільки більше розквітла, і хоч журилася, та ставала все кращою.

Одного холодного ранку,— це було саме серед зими,— Зла Колючка забажала дістати фіалок.

— Піди, Добра Трояндо,— сказала вона,— принеси букет лісових фіалок! Я хочу ці маленькі й ніжні квіти заткнути за пояс, хочу прикрасити ними волосся, хочу дихати їхніми пахощами!

— О боже, і скажеш таке, люба сестро! Я ніколи не чула, щоб фіалки розпускались під снігом! — відповіла бідна Троянда.

— Ти смієш мені суперечити, коли я наказую, гидка тварюко! — закричала Зла Колючка.— Та якщо ти не підеш зараз у ліс і якщо ти не принесеш мені фіалок, я поб'ю тебе до смерті!

Поки Зла Колючка погрожувала Добрій Троянді, тітка, схопивши її за плечі, виштовхала дівчину з хати й зачинила за нею двері.

Плачучи гіркими сльозами, Добра Троянда пішла в ліс. Густий сніг вкривав землю, на ньому не було видно ніякого сліду людського. Бідна дівчина довго блукала в лісі. Вона

відчувала холод і голод, свою самотність і своє нещастя і вже не раз хотіла краще спочити навіки в могилі, аніж гірко мучитись у світі.

Аж ось вона помітила, що вдалині засяяв вогник. Дівчина пішла навпрошки до світла і вибралась на верхів'я високої гори. Вона побачила там величне і дивне видиво: на верхів'ї палало велике багаття, і навколо того вогню сиділи в колі на дванадцяти величезних каменях дванадцять велетнів.

Троє з-поміж них були дуже старі, з довгими сивими бородами, троє інших — трохи молодші, ще троє — в зрілих літах, і нарешті останні троє були молоді й квітучі.

Усі вони мовчали й дивилися в задумі на сяючий вогонь. Це були дванадцять місяців року.

Крижаний місяць сидів на чолі всіх, його чуб і борода були білі як сніг, у руках він тримав скіпетр.

Спочатку Добра Троянда, яка ніколи не чула, щоб місяці могли бути живими істотами, була дуже здивована тим, що побачила. Та вона набралася духу і, підійшовши ближче, тихенько й жалісно сказала:

— Люди добрі, дозвольте мені трохи погрітись біля вашого вогню. Я залякла від холоду!

Січень дружньо кивнув головою і запросив її погрітись.

— Як ти опинилась тут, дівчинко? — спитав він. — І що ти шукаєш?

— Я шукаю фіалок, — відповіла Добра Троянда.

— Ще не час шукати фіалок, — сказав Січень. — Всюди лютує зима, скрізь повно снігу.

— Я сама знаю це, — сумно відповіла Добра Троянда, — та моя тітка і двоюрідна сестра наказали мені принести фіалок. Якщо я їм не принесу, то вони мене уб'ють. Люди добрі! Я вас благаю, я вас прошу сказати мені, якщо ви знаєте, чи не зможу я де-небудь знайти кілька квіточок фіалок.

Тоді Крижаний підвівся, підійшов до наймолодшого з місяців, до Тепловія, дав йому свій скіпетр і сказав:

— Брате Березень, займи чільне місце.

Березень сів на чолі всіх і легенько махнув скіпетром. Ту ж мить швидше й тепліше затанцювало полум'я, почав танути сніг, на вітах з'явилися бруньки, під деревами зазеленіла трава і кущі, стеблинки квітів потяглися вгору.

І ось прийшла весна і пройняла пахощами повітря. Серед кущів розпустилися фіалки. Їх було так багато,

так багато, наче якась невидима рука прослала синій килим.

— Швидше, Добра Троянда, швидше! — сказав Березень.— Швидше, моя люба дитино. Поспішай нарвати собі букет!

Добра Троянда, з серцем, сповненим радістю, нарвала великий букет, щиро подякувала дванадцяти місяцям, що всміхалися їй, і поспішила додому.

Як же здивувалися жорстока тітка і Зла Колючка! Яка була для них несподіванка, коли Добра Троянда з'явилася з букетом фіалок! Коли вона ввійшла, який ніжний запах розлився по всій хаті!

— Де ти знайшла ці фіалки? — гнівно спитала Зла Колючка.

— На високій горі, де їх росте безліч.

Зла Колючка взяла квіти, заткнула їх за пояс, прикрасила ними волосся, подихала їхніми ніжними пахощами і піднесла букет своїй матері, щоб та теж понюхала, і ні разу не сказала своїй сестрі: «Чи не хочеш і ти понюхати?»

Через деякий час, коли настали ще жорстокіші морози, Злій Колючці закортіло суніць, і вона послала Добру Троянду дістати їх, а її мати підтримала цей нерозсудливий наказ.

Добра Троянда одразу пішла до дванадцяти місяців, де її знову зустріли вельми прихильно, і вона повіла там про свої нові труднощі й горе.

Дізнавшись про це, Крижаний місяць, що тримав у руці скіпетр, встав і, підійшовши до наймолодшого і найкрасивішого місяця, що був навпроти, передав йому скіпетр і сказав:

— Брате Червень Променистий, займи чільне місце!

Прекрасний Червень сів на чолі всіх і махнув скіпетром. Ту ж мить спалахнув палкий вогонь, негайно розтав сніг, земля вкрилася зеленою травою, дерева прибрались листям, пташки почали щебетати й співати, тисячі квіток запахи в лісі,— настало квітуче й радісне літо. В траві з'явилися маленькі білі зірочки, згодом перед очима Доброї Троянди ці білі зірочки перетворилися на кругленькі ягідки суніці, які достигли миттю. Не встигла Добра Троянда навіть скрикнути від здивування, як суніці всіяли квітучу землю з усіх боків. Дівчина нарвала їх для своєї сестри чимало. Добра Троянда щиро дякувала славним і благородним

друзям і протягом усієї дороги, як тільки покинула їх, вмивалася слізьми при згадці про них.

Зла Колючка та її мати були дуже здивовані, побачивши суниці.

— Де ти їх знайшла? — спитала вона сердито.

— На високій горі, де їх росте багато, — відповіла Добра Троянда.

Зла Колючка їла суниці, давала своїй матері, та ні разу не сказала своїй двоюрідній сестрі: «Попробуй, сестрице!»

Минуло ще кілька днів, і Злій Колючці на цей раз забажалося поїсти червоних яблук. Підтримана своєю матір'ю, вона наказала Добрій Троянді піти й дістати бажаних яблук.

Добра Троянда ледве пройшла дорогу, занесену крижаним снігом, поки досягла верхів'я гори, і широко зраділа, побачивши дорогих друзів, і повіла їм про своє горе.

Крижаний підвівся і передав свій скіпетр місяцеві Ряснолистому.

— Брате Вересень Ряснолистий, займи чільне місце!

Ряснолистий сів на чільне місце і взяв скіпетр — і от вогонь запалав яскравіше, покірний сніг швидко зник, і ту ж мить природа прибрала сумного осіннього вигляду. Квіти почали опадати, свіжий і пронизливий вітер гнув їх набік, прив'ялі й зовсім свіжі. Добра Троянда цього разу не бачила барвистих квіток, зате знайшла вона яблуню, віти якоїгнулись від соковитих плодів.

— Швидше, Добра Трояндо, швидше! — сказав їй Ряснолистий. — Поспішай натрусити яблук!

Добра Троянда потрясла гілку, і на мох упало прекрасне червонобоке яблуко. Вона потрусила ще, і впало друге яблуко, ще більше і важче. Добра Троянда взяла яблука і поспішила додому, благословляючи своїх друзів, чия щира приязнь допомогла в її нещасті.

Дівчина принесла яблука додому. Здивована Зла Колючка не могла приховати своєї злої досади, а її мати навіть руками сплеснула від люті.

— Де ти нарвала цих яблук? — спитала Зла Колючка і кинула на неї суворий погляд.

— На високій горі, де вони так рясно виснуть на гілках чудової яблуні і кожна з них згинається, мов гнучкий очерет, — відповіла Добра Троянда.

— Чому ж ти принесла тільки двоє яблук? — закричала Зла Колючка. — Я певна, що інші ти з'їла по дорозі!

— Люба сестро! Я навіть їх не покуштувала,— відповіла Добра Троянда.— Я потрусила яблуню, і впало одно яблуко; я потрусила ще, і впало друге яблуко. Я боялася бути нескромною, вимагаючи більше, ніж можна...

— Щоб ти здохла, дурепо! — сказала Зла Колючка і замахнулася, щоб ударити двоюрідну сестру. Бідна дівчина залилась слізьми і кинулась в свій куток, щоб затамувати біль!

Зла Колючка вкусила яблуко, і воно здалося їй чудовим. Вона з'їла його і сказала матері:

— Мамо, дай мені кожух! Я сама піду в ліс, я не хочу посилати туди це противне дівчисько, вона ще пожере всі кращі яблука. Я сама піду туди! Я заберу всі яблука, і ми тоді посмакуємо досхочу!

Кажучи це, вона накинула кожух на плечі, загорнулася поверх нього у велику шалю і вийшла з хати.

Сніг густо вкрив землю, і вона довго блукала, поки, побачивши, нарешті, вогонь, який показував їй дорогу з темного лісу, зійшла на верхів'я гори і помітила там дванадцять місяців, що сиділи в колі на своїх звичайних місцях.

Незважаючи ні на що, наче та хатня кішечка, Зла Колючка наблизилась до вогню і, не поздоровкавшись і не спитавши дозволу, зухвало підійшла погріти руки біля вогню.

— Що шукаєш ти тут? Чого ти прийшла в нашу оселю? — суворо спитав Крижаний.

— Нащо тобі знати, куди я йду, стара потворо? — грубо відповіла Зла Колючка.

Потім вона пішла до лісу.

Крижаний нахмурив брови і підняв свій скіпетр. Ту ж мить вогонь пригас, тепло зменшилось, полум'я зникло, небо затьмарилось, почав падати такий лапатий сніг, що, незважаючи на лютий холод, можна було подумати, що з неба падають хмари пуху, а в лісі подує суворий і різкий вітер. Пихата Зла Колючка нічого не бачила перед собою. Вона щокроку вгрузала в сніг, все глибший і глибший, вона проклінала Добру Троянду, обвинувачувала свою матір, що їй дозволила піти, вона дорікала природі за її жорстокість. Помалу її литки заніміли, а ноги замерзли.

Тим часом її мати нетерпляче виглядала у вікно. Не раз вона бігла до дверей, уважно прислухалася, та минали години, а Зла Колючка не верталася.

«Яблука спокусили її своїм приємним смаком,— сказала сама собі мати,— дочка, мабуть, надто їх з'їла, вона набрала їх так багато, що згинається під ними, проте не може й покинути їх. Треба глянути на власні очі, що там таке, і мерщій бігти їй на поміч».

Вона одягла кожух, велику хустку і побігла шукати дочку. Холод був страшний, нестерпний, але думки, що поїняли її, були ще страшніші. Вона бігла супроти північного вітру, але її терзав і гіркий біль відчаю і гострий напад запізнілого каяття.

А час минав і минав. Добра Троянда приготувала обід, прибрала в хаті, та тітка й сестра не поверталися.

«Що з ними могло статися?» — думала Добра Троянда і сіла, схвильована, за прядку, щоб швидше минав час.

Аж ось кінчився великий кужіль вовни. Уже й вечір. Та вони не повертаються!..

«Боже мій! Що з ними скоїлося?» — сама собі сказала Добра Троянда, побачивши, що настає ніч.

Вона подивилася з тривогою у вікно. Небо іскрилось блискучими зірками, земля блищала сніжними самоцвітами, та як вона не вдивлялась у далечінь, не бачила там нічого.

— Пора! — сказала вона.— Піду назустріч їм. Хай сама загину, а врятую їх!

Але вийти не було змоги. Тітка, як ішла, замкнула двері. Добра Троянда майже цілу ніч молилася, оплакуючи тих, що завдали їй стільки страждань, благала бога простити їм.

Світанок застав її на колінах, сонною, але зі складеними в благанні руками. Зійшло сонце, а вона ще молилася.

Настав день, та вона чекала марно. Настав ще один день, та вона чекала знов марно! Що не день, то й марно,— адже обидві її лиходійки померли в дорозі, засипані сніговими заметами в глибині лісу, біля голої яблуні.

Що було б з Доброю Трояндою, замкнутою в хаті, коли в неї не стало харчів, якби її брат, що був в армії і, як їй здавалось, загинув у бою, не вернувся в село, щоб зажить там у щасті!

Йому показали оселю Доброї Троянди, яку негайно ж визволили. Яким чудовим їй здалося чисте повітря! Її брат привів з собою товариша, доброго робітника і гарного парубка, що й став чоловіком Доброї Троянди.

## MADemoiselle MOI

Il y avait une petite fille qui était douée du plus triste caractère qu'on puisse imaginer. Personne ne pouvait l'approcher sans avoir à en souffrir cruellement.

Non pas que la petite fille fût toujours méchante: elle jouait volontiers quand la chose lui convenait, et riait très-haut quand cela lui était agréable; mais ce qu'elle en faisait n'était jamais que pour elle. C'était l'égoïsme incarné. Sa pensée n'avait qu'elle seule pour objet, et elle ne voyait rien au delà de son propre amusement et de son propre contentement. Offrait-on des gâteaux, elle commençait par en prendre un de chaque main, et les plus gros, sans se soucier s'il en restait assez pour les autres et ne regrettant que de ne pas avoir une douzaine de mains pour pouvoir en prendre davantage.

Voilà comme elle était en toutes choses, et avec cela elle prétendait être admirée, fêtée, comblée d'égards et d'attentions. Au moindre refus, à la moindre résistance, elle s'emportait comme un ouragan, battait des mains, tapait des pieds et criait à faire fendre les murs de la maison:

— Moi! moi! moi!

Ce que voulait dire: "Je suis la première, la seule! A moi tout bien, tout honneur, tout plaisir et au besoin tout respect! On me doit tout, et moi je ne dois rien aux autres".

Mais la colère de la petite fille était si furieuse qu'elle lui coupait les paroles et ne lui laissait plus à préférer que ce seul mot: *moi!* Il est vrai qu'on ne le comprenait que trop et qu'il suffisait bien pour affliger profondément ses proches et ses amis. Tous restaient comme anéantis, tandis que la petite fille tournoyait dans sa frénésie, ayant plus l'air d'un petit épervier que d'une créature humaine. Au milieu de ces tempêtes, sa très-grande beauté disparaissait dans les convulsions de son visage, et elle était vraiment à faire-peur.

Les mois et les années s'écoulaient, la petite fille grandissait, mais elle ne devenait pas meilleure. Loin de là, elle se montrait chaque jour plus égoïste et plus arrogante. Ses parents en souffraient au point qu'ils en avaient perdu la gaieté et même le sourire, et qu'ils n'osaient plus espérer de la voir jamais corrigée. Cette grande tristesse de leur vie était leur unique sujet de conversation avec leurs amis. "Que voulez-vous! leur répondait-on, il n'y a point de rosés sans épines". C'était bientôt dit, mais quand les épines sont de tous les instants et les roses si fugitives, on ne s'y fait pas si facilement.

Il arrivait parfois cependant que quelques-uns des intimes de la famille disaient à M-lle *Moi* des vérités assez dures, mais trop méritées. C'était en pure perte. Elle faisait fi des observations les plus justes et des réprimandes les plus sensées, et n'en criait que plus haut ses moi! moi! moi! insupportables, qui semblaient dans sa bouche gros comme des montagnes.

Un jour pourtant ils ne suffirent plus à son bonheur. Elle se sentit toute mal à l'aise sans savoir pourquoi. La matinée était belle et sereine; les oiseaux gazouillaient, les fleurs embaumaient; tout avait un air de fête, tout respirait la douceur et l'enjouement depuis les touffes rosées des pommiers jusqu'au feuillage sombre et murmurant des vieux chênes, depuis la petite alouette s'élançant dans l'air bleu jusqu'à la grosse oie blanche qui tournait et virait sur le lac, comme si elle eût eu à présenter tour à tour ses compliments empressés à chaque rive, depuis le rayon d'or du soleil jusqu'à l'onde moirée et scintillante. Seule, M-lle *Moi* ne partageait pas la satisfaction générale. Il y avait en elle quelque chose qui n'allait pas, qui la mécontentait. Quoi? elle ne pouvait se l'expliquer. Elle se fâcha tout rouge et résolut, coûte qui coûte, de mettre fin à une situation de coeur et d'esprit si extraordinaire pour elle et si pénible.

Elle s'y prit comme à son ordinaire, c'est-à-dire qu'elle chercha son plaisir et sa consolation uniquement dans le mal. Elle s'en alla devant elle, écrasant les fleurs, brisant les jeunes pousses des arbres, effrayant par ses cris les oiseaux qu'elle ne pouvait attendre et attristant tous les gens qui la rencontraient. Enfin, il n'y eut jamais petite fille au monde qui fit un pareil vacarme et qui produisit tant de dégât et de misère.

Avec tout cela elle ne se sentit nullement soulagée. Ce malaise intérieur qui l'indignait ne la lâcha pas un instant; il continuait, quoi qu'elle fît, à la ronger sourdement et obstinément. C'était comme si toutes ses épines s'étaient retournées

contre elles et lui étaient entrées lentement, mais toujours plus profondément dans le coeur.

Ainsi tourmentée et exaspérée, elle se mit à courir comme une petite folle, espérant que son ennui ne pourrait la suivre dans cette course effrénée. Elle courut, courut, tant qu'elle arriva dans une grande forêt. Elle s'enfonça au milieu des arbres épais, et la petite insensée ne se préoccupa même pas une minute des loups et des ours qui pouvaient aussi y avoir leurs repaires.

Elle continua à courir, à sauter en chantant à tue-tête et s'efforçant de rire et de se réjouir comme si son coeur eût débordé de joie et de bien-être et n'eût pas eu le plus léger reproche à lui adresser. Mais elle avait beau faire; il y a dans la conscience des sensations et des idées qui s'attachent à nous en dépit de nous-mêmes. C'est en vain qu'on se dit: «Chassons-les et soyons joyeux», il faut les subir en être accablé.

Tout le mouvement que la petite fille s'était donné ne l'avait menée à rien, si ce n'est à s'égarer dans le fourré et à ne plus savoir par où s'en retourner. Elle remarqua alors que là forêt s'était obscurcie et avait pris un aspect lugubre, comme la figure d'un homme qui, saisi par une triste pensée, verrait désormais pour lui la vie sans espérance. La petite fille contemplait avec stupeur ces ombres croissantes qui l'enveloppaient. Elle en était comme pénétrée et chacun des bruits sauvages qui s'y dégageaient avait dans son âme un écho lamentable.

Absorbée par les réflexions que suscitaient en elle cette solitude et cette désolation, elle ne prenait plus garde comment elle se dirigeait. Tout à coup elle se sentit prise dans un lacis inextricable de branches et de broussailles. Surprise, effrayée, elle regarda en avant, en arrière, à droite, à gauche, et ne découvrit rien qui pût la rassurer et lui servir à s'orienter.

La forêt était vaste, touffue, et avait réellement quelque chose de farouche et de formidable. Partout le regard n'y rencontrait que de grands troncs noirâtres, des masses de feuillages impénétrables, un sol âpre et hérissé. Il fallait s'y démêler à travers les branches qui vous battaient, les buissons épineux qui vous égratignaient, les ronces et les églantiers qui s'accrochaient après vous. Puis il y avait des arbres renversés qui vous barraient le passage, tandis que les viornes, les houblons et les autres plantes rampantes s'entortillaient à vos pieds comme des chaînes ou des serpents, et vous tiraient en arrière. Et tout cela, d'un air de menace, semblait vous demander: Que venez-vous faire ici? Que voulez-vous?

Jamais certainement, sans l'état d'aveugle irritation où elle se trouvait, la petite fille n'aurait eu la force de s'avancer jusque-là. A présent, vaincue par la fatigue, elle se sentait incapable de s'en retirer. Elle se laissa tomber sur la terre jonchée de débris de bois mort, et, la tête dans ses mains, se mit à sangloter avec violence.

Or, il arriva qu'un petit garçon, qui était venu dans le bois couper des tiges d'épine noire pour en faire des cannes, passa, en s'en retournant, par cette partie de la forêt. Comme il s'en allait, le chapeau sur l'oreille, sa récolte sous un bras, et de satisfaction sifflant et faisant siffler aussi dans l'air une baguette flexible qu'il tenait à la main, il entendit tout à coup le bruit des sanglots. C'était un brave petit homme, il n'eut pas peur, mais son cœur fut ému, et, guidé par les gémissements, il pénétra jusqu'à l'endroit où était arrêtée M-lle Moi.

— Qui t'a fait du mal, petite fille? — lui demanda-t-il en offrant au milieu du feuillage sa bonne figure ronde, rayée en tous sens comme une carte géographique par les nombreuses égratignures que lui avait values son empressement à traverser le fourré.

A la place de la petite fille, vous auriez eu hâte bien sûr de profiter de ce secours inattendu qui vous serait arrivé, mais la pauvre enfant s'était fait de son *moi* une telle habitude que, bien que désespérée et hors d'état de s'aider elle-même, elle ne trouva, pour répondre à la question compatissante du petit garçon d'autre parole que ce même *moi*; et elle le cria avec une telle fureur que le petit garçon crut avoir rencontré la plus méchante petite sorcière de la terre, et se sauva au plus vite.

Voilà M-lle Moi toute seule de nouveau. Son chagrin et sa frayeur redoublèrent, et elle sanglota avec plus de violence encore qu'auparavant. Et les heures passaient, passaient toujours, et la forêt fronçait de plus en plus ses sourcils touffus et ténébreux.

Vers le soir, il arriva qu'un bonhomme, attardé à ramasser des simples et des plantes aromatiques, passa et entendit les sanglots de l'enfant. Il se débarassa de ses paquets d'herbes, et avec mille et mille peines, il pénétra jusqu'auprès de la petite fille.

— Qui te fait mal, petite fille? — lui demanda le bonhomme en montrant au milieu du feuillage sa vieille figure où se peignait la plus sincère commisération.

— Moil moil — cria la malheureuse enfant, ne retrouvant encore cette fois que son triste mot accoutumé, quoiqu'elle eût

bien souhaité se faire comprendre par de meilleures paroles. Le bonhomme, tout étonné, la regarda avec méfiance.

— Qui te fait mal, petite fille? — répéta-t-il d'une voix plus haute.

— Moil moil moil!

Ce fut tout ce que put faire entendre la pauvre désespérée à bout de forces et l'esprit égaré par la douleur.

Le viellard resta quelques instants à la contempler d'un air de doute; puis il s'éloigna en hochant la tête. Que pouvait-il penser, sinon que cette petite fille devait être d'un caractère bien méchant, bien vilain, pour crier ainsi et déranger les pauvres gens de leurs occupations, quand elle ne pouvait dire que personne lui eût fait du mal, excepté elle-même?

Encore une fois M-lle Moi se retrouva seule. Dans son épuisement, la voix même lui manquait pour sangloter. Elle se laissa tomber la face contre terre, et il lui sembla que son coeur se brisait dans sa poitrine.

Le jour cependant avait achevé de s'effacer. La forêt était devenue noire, si noire que celui qui l'aurait traversée eût pu croire qu'on lui avait enfoncé tout à coup son chapeau jusque sur les yeux. On ne voyait rien absolument que les ténèbres profondes; on n'entendait rien non plus, si ce n'est les vagues chuchotements des feuillages et parfois le craquement de quelque branche morte tombant du haut d'un arbre, après lequel le silence reprenait plus morne et plus effrayant.

La petite Moi avait fini par se relever. En se trouvant ainsi enveloppée par la nuit, elle fut saisie au coeur d'une angoisse si vive et si poignante qu'elle se mit de nouveau à pousser des cris et des gémissements; mais c'était toujours ce fatal *moi* que la douleur amenait à ses lèvres et qui se faisait seul entendre.

— Moil moil moil! — criait-elle en versant des torrents de larmes.

Tout à coup sa voix s'éteignit, et elle resta comme foudroyée quand de tous côtés, de loin comme de près, retentit à ses oreilles, un million de fois répété comme par des voix étranges et ironiques, ce *moi* sauvage dont elle avait si souvent accablé les autres. Jamais son de parole ne lui avait paru si terrible que celui-ci, jamais elle n'avait imaginé rien qui approchât de l'épouvante que lui causait son mot favori ainsi multiplié et rejeté à celle qui en avait si singulièrement abusé.

Elle était tombée à genoux. Les mains serrées, muette et palpitante, elle restait là. Les *moi* retentissaient toujours. Il sem-

blait que toute la nature se fût mise d'accord pour se renvoyer ce mot. Pendant que les endroits plus proches rentraient déjà dans le silence, les endroits plus éloignés faisaient encore circuler leur *moi* à travers la forêt, en mille et mille tons différents, tous lugubres. La pauvre petite Moi entendit comme une cloche tinter dans ses oreilles; des éclairs rouges volèrent devant ses yeux, et elle perdit enfin toute connaissance.

Elle n'a jamais su combien de temps dura cet évanouissement, mais quand elle reprit ses sens, tout était redevenu calme et tout était doux et frais, quoique la nuit régnât toujours. Avec un ineffable délice, elle respira le parfum d'une violette des bois qui avait près de là son petit lit dans la mousse. Les roses sauvages y joignirent leur doux arôme qu'elles conservent même en dormant. Ces senteurs délicates étaient pour la petite fille comme des voix amies, comme des paroles caressantes qui la ranimaient et l'encourageaient. Son cœur s'attendrissait et se serrait en même temps, et elle se mit non pas à crier, mais à pleurer enfin, oui, et ces larmes-là ne ressemblaient pas aux premières: elles étaient aussi douces, aussi bienfaisantes que les autres avaient été amères et pénibles.

La petite fille passa ainsi plusieurs heures, sentant toujours son cœur s'adoucir de plus en plus et s'ouvrir au bonheur comme une petite fleur des prés sous la tiède haleine du mois de mai. Il n'était pas encore trois heures du matin que l'éclosion était achevée et la transformation complète: pas un méchant pli ne subsistait, pas un pétale, pas une fibre n'étaient restés inertes et rebelles. Alors la petite fille se coucha sur l'herbe et s'endormit auprès de la violette de bois.

Elle fut réveillée comme chacun le serait dans la forêt quand une belle matinée rose vient l'éclairer, elle fut réveillée par un rayon de soleil; mais il n'est pas donné à tout le monde de rencontrer le rayon du soleil avec un si heureux sourire à son réveil. La forêt elle-même n'était pas moins charmée, à ce qu'il paraît, car elle répondit au sourire de la petite fille par un sourire qui égaya tous les objets environnants; et quand la petite fille, dans son enchantement, se mit à rire d'un rire frais et vermeil, la forêt y fit gracieusement écho, quoique avec une certaine retenue, comme une grave et majestueuse forêt qu'elle était. Alors un frémissement joyeux courut à travers les buissons, serpenta dans tous les détours du feuillage, remplit les airs et la verdure et y réveilla en foule les chants, les gazouillements et toutes les notes sonores ou déliées dont se compose le beau concert du printemps.

C'était étrange comme la traversée du bois semblait maintenant chose aimable et plaisante. Ce n'était pas pourtant sans quelque peine qu'elle s'accomplissait. Il fallait souvent s'y reprendre à plus d'une fois pour se frayer un passage, mais on était si bien sous ces grandes voûtes flottantes, entre ces vertes murailles animées et sympathiques! Les branches vous caressaient plutôt qu'elles ne vous heurtaient. Les épines même ne vous piquaient que pour vous faire retourner gaiment et rire de bon cœur à leur petite malice.

Et la vraie cause de tout ce grand changement, vous la devinez: c'est que la petite fille s'était débarrassée de son vilain *moi*; c'est qu'elle l'avait chassé à tout jamais, c'est qu'elle avait cessé de s'indigner et de s'exaspérer aux plus légères contrariétés, ce qui a pour effet infailible de les grossir et de les multiplier sans fin. Tout en cheminant, elle pensait, et ce n'était point, comme naguère, à elle seule qu'elle pensait. Ah! se disait-elle, si un certain petit frère était ici, ce cher trésor qui a tant de fois dansé au caprice d'une autre, comme il danserait bien maintenant pour son propre compte! Et comme je danserais bien aussi pour lui faire plaisir! Oui, et quel bonheur ce serait de voir sourire alors toutes les chères figures que j'ai tant contristées! Je voudrais que tous ceux dont j'ai fait le tourment fussent ici réunis, je leur dirais... je ne sais pas ce que je leur dirais, mais ils me comprendraient bien vite; ils seraient sûrs enfin que jamais plus je ne voudrais leur faire de peine, et tous ensemble nous serions contents et tranquilles. Mais peut-être cependant y aurait-il quelqu'un qui aurait eu tant de chagrin qu'il ne pourrait se réjouir...

A cette dernière pensée la petite fille tressaillit. Elle sentit que le reproche d'un regard qui s'arrêterait sur elle avec tristesse lui serait maintenant pire que tous les maux. Un instant elle s'arrêta saisie de crainte et d'anxiété. Mais quand on est rentré sincèrement et résolument dans la route du bien, on a beaucoup de courage et on ne faiblit pas longtemps devant les épreuves qui doivent attester votre repentir. La petite fille avait repris sa marche d'un pas ferme. Bientôt arrivée à la lisière, elle dit un adieu reconnaissant à la grande forêt à qui elle devait tant, puis se retournant, elle salua allégrement les champs de blé fleuris qui s'étendaient devant elle.

Tout d'un trait son regard se porta vers une maisonnette qui s'élevait à l'extrémité de ces champs. Avec quelle avidité elle en contemplait les fenêtres brillant aux rayons du matin, et comme, en s'approchant de la demeure natale, elle s'en retraçait

les moindres particularités: les fleurs et les arbrisseaux du jardin, le grand arbre enlacé de lierre avec un banc de gazon au pied, la margelle du puits toute veloutée de mousse, le vieux jasmin serpentant sur les piliers de la porte, et sur cette porte, des zigzags de charbon tracés un jour par la main du bon petit frère, fantasques hiéroglyphes où, dans son idée, devaient se lire ces mots: «Chère soeur!»

Aurait-elle jamais crue, la petite repentie, quand elle n'était que M-lle Moi, que tous ces petits riens devinssent jamais pour elle si grands et si précieux, et que toutes ces choses qui lui semblaient si indignifiantes parleraient si vivement à son coeur? Ah! c'est que ce coeur était fermé, et il s'était ouvert, et elle avait maintenant des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.

Humblement, doucement elle entra dans la maison. L'intérieur en était silencieux comme tous ceux où le chagrin est si immense, si accablant qu'il ne vous laisse plus de force pour en parler. Le petit frère lui-même, blotti dans un petit coin, restait abimé en de douloureuses réflexions, les yeux gonflés et son visage ne formant plus qu'un entre-croisement de petites rides roses. Ses jeux, ses courses, ses chants, ses joies sans fin, il avait tout oublié pour ne penser qu'à sa petite soeur perdue, de même qu'en l'apercevant il oublia tout chagrin et tout triste pensée.

— La voici! — cria-t-il en se jetant à son cou,— la voici! Elle est retrouvée! elle ne s'en ira plus!

La mère ne fit qu'un bond de la chambre voisine où, depuis la veille au soir, elle attendait en proie à une morne désolation. Presque au même instant le père, qui, fou de douleur, avait couru tous les environs pour retrouver son enfant, rentrait pour voir si elle n'était pas revenue et ressortir ensuite de nouveau. Heureusement il n'en fut pas besoin, et ce furent alors des embrassements, des étreintes, une explosion de baisers, de douces larmes, de doux reproches, une de ces scènes enfin qu'on ne pourrait jamais décrire.

Depuis ce moment le bonheur fut grand dans la maisonnette. La petite fille était revenue, mais tout ce qu'il y avait eu de mauvais en elle, on s'en aperçut bien vite, n'était pas revenu avec elle. Elle avait laissé au loin l'arrogance, les emportements, les exigences absurdes, tout son égoïsme. Il n'y avait plus de M-lle *Moi*, mais une bonne petite fille, douce, soumise, complaisante, faisant son unique bonheur du bonheur des autres. Le pas-

sé était bien passé, personne n'en parla jamais. A quoi eût-il servi de le rappeler?

Sans doute le souvenir de l'ancienne peine ne put être tout de suite complètement effacé. Quelque temps encore une secrète appréhension subsista, et il en résultait qu'involontairement les regards parfois se voilaient de tristesse et que des soupirs s'échappaient des coeurs trop longtemps affligés.

Ce fut là une épreuve bien poignante pour la petite fille, mais elle sentit que c'était trop juste et que c'était bien le moins qu'elle eût mérité. Les regrets et le repentir ne suffisent pas pour laver les fautes, il faut encore que l'expiation s'y joigne. C'est ce qu'elle avait compris. Aussi, loin de se plaindre et de se décourager, elle redoubla de patience et d'efforts et elle vit bientôt arriver le jour où une confiance entière mit le sceau au pardon qui lui avait été octroyé.

## ПАНЯНКА Я

Це була дівчинка такої сумної вдачі, яку тільки можна собі уявити. Хто бував з нею, одразу зазнавав жорстокої муки.

Дівчинка не тільки була завсігди зла,— вона охоче бавилася, коли їй щось подобалось, і голосно сміялась, коли це їй було приємно,— але що б вона не робила, то тільки для самої себе. Це був справжнісінький егоїзм. Вона думала тільки про саму себе і бажала розваг і втіх тільки для себе. Коли приносили тістечка, вона їх брала обома руками, до того ж найбільші, не гадаючи про те, чи залишиться для інших, і шкодуючи, що не має дюжини рук, щоб узяти якомога більше

Ось яка вона була, і разом з тим вона вважала себе чарівною і славною, гідною пошани й уваги. За найменшої відмови, за найменшого опору вона вибухала, мов ураган, махала руками, тупала ногами і кричала так, що аж тріскали стіни:

— Я! Я! Я!

Тобто вона хотіла сказати: «Я перша, я єдина! Для мене все прекрасне, всі почесті, вся радість, а коли треба, й уся пошана! Мені всі винні, я ж не винна нікому».

Гнів цієї дівчинки був такий шалений, що їй відбирало мову, і вона вигукувала тільки єдине слово: *Я!* Правда, вона не розуміла, що цього досить, щоб глибоко засмутити її ближніх і друзів. Всі були мов прибиті, тоді як дівчинка без краю шаленіла, маючи вигляд скорше малого яструба, ніж людського створіння. В розпалі такої бурі її чарівна краса геть зникала від корчів обличчя, і вона справді була жахливою.

Минали місяці й літа, дівчинка підросла, та вдача її не кращала. Щододалі вона ставала все більш егоїстич-

ною й зневажливою. Її батьки дуже мучилися від того, втратили свою веселість, і не всміхалися більше, і вже не сподівались, що вона коли-небудь зміниться на краще. Ця велика трагедія життя була єдиною темою їхніх розмов з друзями. «Що вдієш! — відповідали їм. — Та не буває троянд без колючок». Це тільки кажуть так, та якщо колючки трапляються вам кожен мить, а троянди в житті скороминучі, то від цього не стає легше.

Інколи дехто з близьких друзів сім'ї казав панянці Я досить сувору, але заслужену правду. Та це було даремно. Вона тільки пхекала на правдиві зауваження й тверезі осуди і тільки голосно вигукувала свої нестерпні «Я! Я! Я!», які зривалися з її уст грубим камінням.

Та одного дня вони, на її щастя, не зривалися більше. Вона не знала чому почувала себе якось ніяково. Ранок був чудовий і ясний. Пташки щебетали, квіти пахтіли. Все мало якийсь святковий вигляд, все дихало ласкою й свіжістю, починаючи від блідо-рожевого цвіту яблунь до темного шелесткового листа старих дубів, від маленького жайворонка, що звивавсь у синьому повітрі, до ситого білого гусака, що кружляв по озеру від берега до берега, наче не знав, якому дати перевагу, від золотого сонячного променя до мінливої блискучої хвилі. Та одна лише панянка Я не поділяла загального радісного настрою. Вона відчувала щось незрозуміле, що тривожило її. Що сталося з нею? — вона не могла дати собі відповідь. Дівчинка розгнівалася і, почервонівши, вирішила, що б там не було, покласти край цьому тяжкому і незвичному для неї настрою.

Вона взялася за це, як звичайно, тобто стала шукати задоволення і єдиної втіхи для себе в злі. Дівчинка побігла вперед, розтопчуючи по дорозі квітки, ламаючи молоденькі пагініці дерев, лякаючи своїм криком птахів, яких не могла спіймати, і жахаючи людей, яких вона стрічала. Ніколи ще в світі, мабуть, не було дівчинки, що здіймала б такий гамір і чинила б стільки спустошення й лиха.

До того ж усе це аж ніяк не полегшувало її настрою. Якесь внутрішнє невдоволення, що хвилювало її, не кидало ні на хвилину, а глухо й уперто точило її. Наче всі її колючки обернулися проти неї і помалу входили в її серце, все глибше впиваючись у нього.

Змучена і роздратована, дівчинка побігла, мов божевільна, сподіваючись, що її нудьга не поспіє за шаленим бігом. Вона бігла і бігла, поки не опинилась у великому лісі.

Вона бігла серед величезних дерев, і навіжена дівчинка навіть і на хвилю не подумала, що може наскочити на вовків і ведмедів, які живуть тут у своїх барлогах.

Вона бігла все далі, стрибаючи навмання і голосно співаючи та намагаючись сміятися, наче їй серце було сповнене щерть радістю і наче вона більше не відчувала в собі найменших докорів. Та все було даремно, — у свідомості є почуття й думки, які не кидають нас, хоч це й неприємно нам. Дарма ми кажемо собі: «Киньмо їх і будьмо веселі!» — доводиться терпіти їх, коли на душі сумно.

Від марного бігання дівчинки нічого не змінилося, хіба що вона заблудилася в хащі й не знала, як їй вернутися. Тоді ж вона помітила, що ліс потемнів і став похмурий, мов обличчя людини, враженої сумними думками, коли вона побачила перед собою вкрай безнадійне життя. Дівчинка в якійсь нестямі помітила, що тіні навколо все більше згущалися і наче обгортали її. Вона була пройнята ними, і кожен непевний звук відбивався в її душі скорботною луною.

Геть поринувши в роздуми, породжені самотністю й відчаєм, вона вже не звертала уваги, куди йшла далі. Та ось дівчинка опинилась у якихось заплутаних тенетах гілок і кущів. Здивована, налякана, вона глянула вперед, назад, праворуч, ліворуч і не помітила нічого, що могло б заспокоїти її і дати якийсь просвіток.

Великий густий ліс справді був якийсь суворий і грізний. Куди не кинеш оком, скрізь бачиш величезні чорнуваті стовбури, непроникливі хащі зеленого листя, кострубату й нерівну землю. Треба було пробиратися крізь гілля, що било по тобі, крізь колючі кущі, що дряпали обличчя, повз ожину й шипшину, що чіплялися за литки. Скрізь лежали повалені дерева, що закривали прохід, до того ж калина, хміль та інші в'юнкі рослини обвивалися навколо ніг, мов ланцюги або гадюки, і тягли назад. І все це, здавалось, погрозово питало: «Чого ви сюди прийшли? Що вам треба?»

До того ж у сліпому роздратуванні, в якому дівчинка перебувала нині, вона була не в силі йти далі. І тепер, знеможена від втоми, вона не мала змоги й вернутися назад. Вона впала на землю, заслану уламками сухого дерева, схопила себе за голову руками і голосно заридала.

Та сталось так, що цією лісовою ділянкою, повертаючись додому, йшов хлопчик, який шукав у лісі стебла чорної крушини, щоб робити з них ціпочки. Йдучи по галявині, в шап-

ці набакир, з гіллям під пахвою, весело посвистуючи й розмахуючи в повітрі гнучкою лозиною, він зненацька почув чиєсь голосне ридання. Бравий юнак не був боязкий, але серце його було чутливе, і, почувши жалібний стогін, він наблизився до того місця, де лежала панянка Я.

— Хто тобі, дівчинко, заподіяв зло? — спитав він, просуваючи крізь листя своє добре кругле обличчя, геть укриті, мов географічна карта, численними подряпинами, які він дістав, продираючись крізь хащі.

На місці малої дівчинки кожен поспішив би, напевне, скористатися з несподіваної підмоги, що трапилась, та бідна дитина так звикла до свого «Я», що навіть, будучи в розпачі, безпорадна допомогти собі, вона у відповідь на співчутливе запитання юнака не знайшла іншого слова, крім свого звичного «Я». І вона його прокричала з такою люттю, що хлопець вирішив, чи не зустрів він якнайзлішу в світі маленьку відьму, і негайно втік від неї.

Знову панянка Я лишилася сама. Її туга і страх подвоїлися, і вона заридала ще гірше, ніж раніш. А час минав і минав, і ліс усе більше й більше хмурих свої густі й темні брови.

Надвечір недалеко проходив чоловік, який збирав цілющі трави й ароматичні рослини, і почув дитяче ридання. Він покинув в'язку своїх трав і з великими труднощами пробрався до малої дівчинки.

— Хто тобі, дівчинко, заподіяв зло? — спитав добрий чоловік, висунувши крізь листя своє старе обличчя, на якому відбилось щире співчуття.

— Я! Я! — крикнуло нещасне дитя, вживаючи тільки це звичне для неї сумне слово, хоч їй дуже хотілося промовити найкращі слова. Добрий чоловік вельми здивувався й подивився на неї з недовірою.

— Хто тобі, дівчинко, заподіяв зло? — сказав він ще раз голосніше.

— Я! Я! Я!

Це було все, що могла промовити бідна дівчинка, безсила від розпуки й безтямна від болю.

Дідусь постояв кілька хвилин, дивлячись на неї, і пішов геть, здивовано хитаючи головою. Що він міг подумати після цього, — хіба що тільки те, що дівчинка має злий і гидкий характер, що вона тільки кричить і відриває бідних людей від роботи, коли їй ніхто не чинить зла, крім самої себе.

Знов панянка Я залишилась сама. В своєму безсиллі вона вже не могла навіть ридати. Вона припала лицем до землі, і їй здавалося, що серце розбивалося у неї в грудях.

Тим часом уже зовсім звечоріло. Ліс став чорним, таким чорним, що коли хто був у ньому, то міг подумати, чи не насунув йому хтось шапку аж на очі. Навколо залягла глибока мла, нічого не було чути, хіба що стиха шелестіло листя та іноді тріщала, падаючи з дерева, суха гілка, після чого наставала похмура й страшна тиша.

Маленька Я зрештою підвелась. Серед нічної мли її серце нило такою відчутною і нестерпною мукою, що в неї з грудей знов вирвався крик і стогін. Але це було, як завжди, те ж саме фатальне «Я», що зривалося з її уст з великою скорботою і самотньо лунало навколо.

— Я! Я! Я! — кричала вона, заливаючись гіркими сльозами.

Аж ось її голос затих. І вона спинилась, мов вражена громом, коли з усіх боків, здалеку і зблизька, розітнулося в її вухах, повторюване мільйон разів якимись дивними й зневажливими голосами, те саме дике «Я», яким вона так часто паморочила інших. Ніколи це слово не здавалось їй таким жахливим, як цього разу, ніколи вона не уявляла, що душу може охопити страх, коли так часто вигукують її улюблене слово, яким вона весь час над міру зловживала.

Вона впала на коліна. Зціпивши руки й дрібно тремтячи, лежала вона заціпилася. А «Я» гриміло навкруги. Здавалося, що вся природа перегукувалася цим словом. В той час, як поблизу воно вже зовсім замовкало, десь у гущавині лісу це слово ще лунало різними похмурими голосами. Бідній дівчинці вчувалося, ніби в її вухах гув якийсь дзвін. Червоні блискавки замиготіли перед її очима, і вона втратила свідомість.

Дівчинка, звісно, не знала, скільки часу була без пам'яті, та коли вона опритомніла, навколо було тихо, спокійно і свіжо, ніби весь час стояла лагідна ніч. З невимовною насолодою вона вдихала пахощі лісової фіалки, що знайшла собі притулок серед моху. До них приєднався й запах шипшини, який її квітки зберігають навіть і в сні. Ці ніжні пахощі здавались малій дівчинці голосами друзів, чиї слова голубили, оживляли й бадьорили її. Серце її мліло й стискалося. Дівчинка більше не кричала, та ось вона заплакала, і ці сльози не були схожі на попередні,— вони були тихі й лагідні, а не гіркі й важкі, як раніш.

Дівчинка в такому настрої була кілька годин, відчуваючи, як на серці їй стає все легше й легше і як воно тягнеться до щастя, наче та лугова квіточка під теплодайним травневим подихом. Не було ще третьої години ранку, як квітка розпустилася і сталася цілковита зміна,— жодного злого почуття, жодного нерозквітлого пелюстка чи жилки, що лишилася б непокірною й байдужою. І дівчинка лягла на траві й заснула біля лісової фіалки.

Вона прокинулась, як і кожен, хто опинився в лісі, на вранішній зорі, від сонячного проміння. Та ніхто в світі ще не зустрічав так ранковий промінь, з такою щасливою усмішкою, як вона, як тільки проснулась. Ліс, здавалося, був не менш зачарований,— він зустрів усмішку малої дівчинки такою усмішкою, що оживила собою все навколо,— і коли дівчинка в захопленні почала весело і чарівно сміятись, ліс відповів лагідною, хоч і стриманою луною, як це й личить поважному і величному лісові. Радісне тремтіння пробігло по кущах, пройнявши собою кожен листочок, відбилось у повітрі й траві, розбудило різноголосий спів і щебет, сповнило дзвінками й лагідними звуками чудовий весняний концерт.

Йти по лісу тепер було любо й легко. Хоч і не без труднощів. Доводилось часто спинятися й прокладати прохід, та під хитким гіллям і між зелених привабливих стін було так приємно! Віти скорше голубили, аніж чіпали вас. Навіть терни легко кололи вас, щоб ви повернулись і весело засміялись на їх легенький жарт.

Ви догадуєтесь про причину цієї великої зміни,— дівчинка позбулася свого гидкого «Я», вона його кинула назавжди, вона перестала дратуватися й спалахувати від найменших суперечок, які раніше дедалі ставали ще більшими й частішими. По дорозі вона багато думала, та зовсім по-іншому, ніж думала ще недавно, тільки про себе. «О,— міркувала вона,— коли б мій братик, який не раз танцював за вередливим наказом моїм, був зі мною тут,— з якою б радістю він тепер танцював за своїм власним бажанням! І з якою б радістю танцювала я, щоб тільки зробити йому приємність! А яке щастя — на власні очі бачити, як сміються дорогі мені люди, яких я так люто мучила! Я хотіла б, щоб усі, кому я завдала мук, зійшлися тут, і я б їм сказала... я не знаю, що я б сказала їм, але вони дуже швидко зрозуміли б мене. Вони б упевнилися, що я ніколи більше не заподію їм лиха, і всі ми будемо спокійні й щасливі. Хоч, можливо,

знайдуться й такі, які зазнали стільки страждань, що їх уже нічим не втішиш...»

Від цієї останньої думки дівчинка затремтіла. Вона відчула, що докірливий погляд, у смутку кинутий на неї, вразить тепер її значно більш, ніж сама смерть. На мить вона спинилась від страху і тривоги. Та коли щиро й сміливо вертаються на шлях добра, з'являється мужня сила і серце не слабне перед випробуваннями, і це свідчить про справжнє каєття. Дівчинка пішла твердим кроком. Незабаром вона спинилась на узліссі, попрощалася з лісом, якому була вельми вдячна за все, і пішла додому, весело вітаючи розквітлі поля, що простяглися перед нею.

Її гострий погляд спинився на будинку, що височів край поля. З якою жадобою вона дивилась на вікна, що блищали під ранковим сонцем, і з яким втішним почуттям, наближаючись до рідної оселі, вона пригадувала найменші подробиці: садові квіти й кущі, могутнє дерево, повите плющем, з лавкою під ним, зруб колодязя, вкритий мохом, старий кущик жасмину, що вився біля хвіртки, а на ній фантастичні ієрогліфи, які за допомогою вуглика якимось вивів братик своєю рукою і які, на його думку, треба було читати: «Люба сестричка!»

Чи могла подумати ця маленька грішниця, коли вона ще була панянкою Я, що ці непомітні дрібнички коли-небудь здадуться такими значними й дорогими і що все це, таке байдуже колись, так глибоко промовлятиме її серцю? О, це буває так, коли серце закрите, а коли воно відкрите, то й очі краще бачать і вуха краще чують.

Тихо й покійно ввійшла вона в оселю. Всюди в покоях була мовчазна тиша, наче там залягла така безкрая й гнітюча туга, що не було сили щось говорити. Її братик, що притулився у кутку, весь пірнув у сумні роздуми, очі його розпухли від сліз, а обличчя було вкрите рожевими плямами. Він забув про свої радощі, прогулянки, пісні, невпинні забави і тільки думав про свою загиблу сестру. Та як тільки помітив її, він забув про свою журбу й сумні думки.

— Нарешті! — закричав він, кинувшись їй на шию. — Нарешті! Вона вернулась! Вона більше не піде!

Мати схопилась у сусідній кімнаті, де ще звечора чекала в невтішному смутку. Майже в ту ж мить батько, який, безтямний від горя, обійшов усі околиці, аби знайти своє дитя, вернувся, щоб побачити, чи вона не прийшла часом, і щоб іти на розшуки знову. На щастя, все обійшлося, і тоді

почалися обійми, стискання, вибухи поцілунків, солодкі сльози, тихі докори, одна із сцен, якої ніколи не можна як слід змалювати.

З цієї хвили вдома настало велике щастя. Дівчинка вернулася, але все, що було погане в ній, як це скоро всі помітили, більше не вернулося до неї. Вона геть збулася пихи, запальності, вередування, всього свого егоїзму. Не було більше панянки Я, а тільки добра дівчинка, тиха, покірна, ласкава, що вбачає своє щастя тільки в щасті інших. Колишні примхи минули, ніхто про них не згадував. Нащо їх накликати знов?

Безперечно, спогади про давнє лихо не могли одразу цілком зникнути. Деякий час ще бувало так, що погляди мимоволі повивалися якимсь смутком, а гіркі зітхання, що рвалися з серця, ще довго гнітили.

Це було тяжке випробування для малої дівчинки, проте вона відчувала, що це цілком справедливо і що вона цього заслужила. Жалю й каяття було замало, щоб забути провину, потрібна була ще певна спокута. Так вона вважала. Далека від того, щоб гнітити й смутити себе, вона подвоїла своє терпіння й зусилля, і скоро настав день, коли цілковита довіра скріпила заслужене пробачення.

## LE VOYAGE EN GLAÇON

J'ai été dans mon enfance un heureux petit garçon. Nous habitons, ma famille et moi, une campagne très-reculée et très solitaire, qui n'était cependant ni triste ni silencieuse. On n'y entendait jamais de roulements de voitures, ni le tapage des passants, mais on avait à la place les grandes voix du vent, de la forêt et du fleuve, les suaves murmures des herbes et du feuillage, toutes les mystérieuses harmonies de la nature.

N'allez pas croire que je vais plaisanter, car il n'y a rien de plus vrai que ce que je vais vous dire: j'étais si simple et si naïf que je faisais la conversation avec les fleurs et les arbres; j'entendais leurs réponses, je leur souriais, je les aimais comme des êtres ayant vie et sentiment. Je jouais avec les rafales, je courais contre elles pour lutter à qui serait le plus fort, et je me mettais en bataille avec les flots de la neige comme avec des camarades, me fâchant tout rouge ou riant aux éclats suivant les chances du combat.

On me laissait libre de me promener, et j'usais largement de la permission. Chaque saison, chaque jour même amenaient pour moi de nouveaux plaisirs; chacune de mes excursions avait son charme particulier. Non, je ne saurais vous dire à quel point je fus heureux en ce temps-là, et bien que depuis ma vie ait été douce, rien n'a pu contre-balancer ces souvenirs des premières années dans mon coeur. Quand les enfants se sentent heureux, ils devraient au milieu de leur bonheur s'arrêter quelquefois pour se dire: «N'oublions pas ceci. — Je veux m'en souvenir».

L'expansion continuelle de cette joie que je ressentais ne laissait pas que de me faire beaucoup ce tort dans l'esprit des personnes de distinction qui venaient parfois nous faire visite. Je me rapelle entre autres une belle petite demoiselle tirée à quatre épingles et d'une tenue irréprochable, qui se montra choquée au possible de mes airs épanouis et des rires sans fin

auxquels je m'abandonnais à tout propos sans le moindre souci de l'étiquette.

— Eh bien,— lui demanda un des amis de la maison,— que dites-vous d'Ivan? N'est-ce pas un bon et aimable petit garçon?

— Je n'en sais rien,— répondit-elle d'un air pincé;— il peut avoir toutes sortes de belles qualités, mais il ne m'a jamais montré que ses dents. Il rit toujours.

Là-dessus je les montrai de plus belle, mes dents, et je ris encore, sans dépit ni rancune de la critique dont j'étais l'objet. Que m'importait après tout? Je savais bien que je ne faisais pas de mal.

Je continuai donc ma bienheureuse existence, travaillant aux heures voulues pour m'instruire; mais la récréation venue, dansant, chantant, gambadant comme par le passé.

Non content de mes moyens naturels pour donner cours à mes transports, je m'étudiais à imiter les chants et les cris de tous les oiseaux que j'entendais, les bruissements du vent, les grondements des eaux et jusqu'aux grincements de la glace sillonnée par les traîneaux. Quant aux langages divers de tous les animaux domestiques, chiens, chats, boeufs, moutons et surtout les jeunes poulains, ils m'étaient depuis longtemps familiers. J'y avais même acquis une véritable supériorité, je ne rougis pas de l'avouer; souvent on s'y trompait, à mon grand divertissement, et l'on disait: c'est l'âne, ou c'est le cheval, quand c'était moi. Les bêtes que j'aimais le mieux imiter s'y trompaient les premières elles accouraient à ma voix regarder de leurs grands yeux surpris, par-dessus les haies, si ce n'était pas une des leurs, qui, passant par leur chemin, leur disait un mot de bonjour tout en allant à ses affaires.

A travers toute cette félicité, j'avais bien de temps en temps à subir quelques déceptions, quelques désappointements et différents petits malheurs que je ressentais assez vivement; mais cela durait peu: la distraction arrivait bien vite, et ces contrariétés de ma vie réelle n'avaient pas plus de prise sur mon humeur que celles auxquelles j'étais exposé dans mes songes.

Il faut vous dire que j'avais toujours des rêves de saison, ainsi qu'on les appelait dans ma famille. L'été, j'y découvrais des fraises et de tramboises grosses comme des prunes et en telle abondance que je pouvais les cueillir à deux mains sans y regarder. L'hiver, je rêvais de courses en traîneau d'une rapidité foudroyante à travers des glaçons aux couleurs merveilleuses, et qui ne fondaient jamais. L'automne, c'étaient des fruits mûrs pendant de toutes les branches d'arbre jusqu'à ma bouche et de

charmants oiseaux venant à mon appel se poser sur ma main et me chanter toutes sortes de jolies chansons. Au printemps, c'étaient les papillons, les fleurs, le soleil d'or et la verdure nouvelle, me faisant fête dans mon sommeil comme lorsque j'étais éveillé.

A ces joies miraculeuses qui prolongeaient celles de mes journées, il se mêlait aussi d'étranges revers; tantôt mes fraises s'envolaient en fusées au moment où, triomphant, j'achevais d'en remplir mon panier, ou bien les branches d'arbres se relevaient malicieusement quand j'allais pour mordre aux fruits qu'elles me tendaient, ou bien encore un fringant cheval se transformait subitement en cheval de bois au milieu d'une course superbe. C'étaient là, on en conviendra, d'assez désagréables mystifications, mais je finissais toujours par m'en tirer à mon honneur ou bien je me réveillais et je me mettais à rire en voyant que j'avais simplement rêvé. Eh bien, je riais de même presque aussi promptement à tous mes ennuis réels. «Mal passé n'est que songe»: pour moi ce diction était de la plus exacte vérité.

Une année, c'était au commencement du printemps... Et qu'il est beau, qu'il est charmant, le printemps de notre pays d'Ukraine! Qu'il est toujours varié et ingénieux dans ses allures et dans les grâces dont il se décore! Tantôt doux, indécis et vaguement parfumé, ne révélant pour ainsi dire qu'un à un ses trésors de fleurs et de verdure; et tantôt hâté, prodigue de chauds effluves et de rayons éblouissants, réveillant tout à la fois sèves, couleurs, arômes, et le murmure des eaux et le gazouillement des oiseaux.

Une année donc, tout au commencement du printemps, et, à vrai dire, on ne faisait encore que pressentir sa venue, je me promenais au matin non plus sur la neige, mais dans la neige amollie et prête à fondre. J'y enfonçais parfois jusqu'au-dessus des genoux et je fus heureux de constater ainsi qu'elle n'était plus capable de porter aucun poids sérieux et que certainement elle ne tarderait pas à disparaître. Cependant, au bout d'une demi-heure de cet exercice, je me trouvai suffisamment édifié et j'eus l'idée de retourner à la maison, mais je réfléchis que la rivière était toute proche et qu'il serait bon que j'allasse en explorer un peu les bords, afin de m'assurer si la glace qui emprisonnait ses eaux ne faisait pas mine aussi de s'affaiblir. Il y avait là pour moi une tentation irrésistible. Je coupai au plus court autant qu'il m'était possible, et tout en barbotant je me dirigeai vers la rivière.

Ah! que je me les rappelle bien, ces chers rivages! Je les vois comme s'ils étaient encore devant mes yeux. Figurez-vous de vastes pentes couvertes d'arbres capricieusement jetés, dont les branches s'affaissent sous leur fardeau de givre; entre eux, dans le lit qu'elles forment, s'allonge une immense nappe de glace qui brille et s'irise sous les rayons du soleil: la brise souffle par instants, des brindilles de neige se détachent des arbres et s'éparpillent dans l'air en atomes d'argent. Et dans tout ce tableau de froid et de frimas rien de rigide ni de trop éclatant, mais quelque chose déjà d'adouci et de caressant. La brume, comme des rideaux qui s'écartent, laissait le soleil verser par bouffées sa chaleur et sa lumière. Partout dans la campagne on entendait des *ah! ah!* robustes et joyeux, comme si la terre poussait des exclamations d'allégresse en sentant la tiédeur du printemps qui allait la délivrer de ses entraves.

Le contentement que j'éprouvais moi-même fut à son comble lorsqu'en arrivant à la rivière je découvris sur la glace une sorte de petite boule sombre dans laquelle je reconnus aussitôt la petite Marie, la fille du grand garde forestier, la compagne habituelle de mes promenades et de mes jeux. Elle habitait avec son père dans la forêt, à une certaine distance de là, mais elle quittait souvent sa retraite ombreuse pour venir au bord de l'eau regarder le ciel et le soleil *en plein*, comme elle disait. Ses petits pieds avaient fini par tracer un sentier qui courait à travers les arbres depuis le bois jusqu'au rivage.

Au moment où je l'abordai avec un bonjour retentissant, la petite Marie était très occupée à enseigner les bonnes manières à deux petits chiens, de très-gentilles bêtes vraiment, qui s'appelaient, à ce que m'avait dit leur maîtresse, Grison et Follet. Je les aimais beaucoup. Ils étaient si aimables, si caressants, que, malgré tous le mal qu'ils me donnaient, je ne pouvais les reprendre et les gronder de leur peu de progrès sans les embrasser tout aussitôt sur leurs petites têtes velues.

L'ambition de Marie et la mienne était de leur enseigner à se tenir et par la suite à marcher sur leur pattes de derrière. Marie donnait particulièrement ses soins à Grison et j'étais, moi, le professeur attitré de Follet. Nous n'avions pas avec nos élèves de plus brillants succès l'un que l'autre.

Bonne petite Marie, bien qu'aujourd'hui elle soit un peu changée, il me semble la voir encore avec sa robe de gros drap brun, ses pieds enfouis dans des chaussures fourrées de peau de mouton, sa tête encapuchonnée d'un grand mouchoir rayé de noir et de rose vif qui ne laissait passer que le bout de son petit

nez légèrement rougi moins par le froid que par l'activité déployée dans son enseignement. Quelle expression de comique indignation se peignait dans ses grands yeux bruns et sur ses lèvres vermeilles quand elle se relevait après quelque nouvelle preuve de l'indocilité et de l'inaptitude de M. Grison!

Je n'ai jamais connu personne qui eût à la fois tant de douceur et tant de persévérance, tant d'aménité dans le caractère et tant de fixité dans les idées, tant de bonté et tant de patience envers les autres et tant d'empire sur elle-même que n'en montrait la petite Marie à cette âge si tendre, car elle n'avait pas encore, non plus que moi-même, dix ans révolus. Dans tout ce qu'elle entreprenait, elle envisageait de sang-froid les difficultés et n'en était point découragée. Elle avait voulu apprendre à faire de la dentelle. „C'est un ouvrage trop difficile pour toi“, — lui avait dit sa mère. — „Je le crois“, — répondit la petite Marie. — „Alors pourquoi veux-tu l'essayer?“ — „Pour voir! Si je ne puis y réussir, je gagnerai toujours de me rendre plus faciles les ouvrages qui sont mieux à ma portée“. Adroite et patiente comme elle était, elle avait cependant très-bien réussi.

Aussi, lorsque, ennuyé de l'inutilité de nos efforts vis-à-vis de Grison et de Follet, je m'écriai :

— Décidément ces chiens sont impossibles, nous n'en obtiendrons jamais rien; tu le vois, petite Marie, il faut y renoncer!

— Je ne vois pas cela du tout, — me répondit-elle tranquillement; — nous devons venir à bout de les instruire, ou bien c'est donc que nous ne nous y prenons pas bien.

A la fin elle imagina de se servir de son mouchoir pour soulever en l'air les deux pattes de devant de Grison et par là lui faire comprendre qu'il devait seulement prendre son appui sur celles de derrière. Cela allait très-bien tant qu'elle tenait le mouchoir, mais à peine l'avait-elle lâché que Grison, bien loin de garder la position verticale, s'étendait tout de son long sur le ventre et se traînait ainsi en regardant sa maîtresse d'un air de triomphe; ou bien il saisissait le mouchoir avec ses dents et l'emportait au loin en le secouant de toutes ses forces et en exécutant toutes sortes de gambades intempestives. Le moyen que Marie avait trouvé là n'était pas encore le bon. J'avais voulu l'employer aussi avec Follet, mais celui-ci ne me laissait pas même le temps de lui passer le mouchoir sous les pattes: il me l'arrachait malicieusement des mains dès que je l'avais avancé. et plus d'une fois même, dans sa hâte, il me fit sentir la petite pointe aiguë de ses jeunes dents. Enfin les deux chiens se mirent à jouer ensemble et courir sur la glace en sens inverse. Nous

avons beau les rappeler, ils n'en tenaient compte sinon pour multiplier leurs évolutions et s'écarter de plus en plus.

Tout en riant et sans grand espoir de les atteindre, nous les avons suivis jusqu'au milieu de la rivière. Tout à coup nous entendîmes comme un coup de canon. Grison et Follet, la mine effarée, les oreilles dressées, revinrent tout d'un trait se blottir contre nos jambes. Nous-mêmes, interdits, nous nous étions arrêtés.

— Qu'est-ce que c'est? — dis-je à Marie.— Est-ce qu'on chasse dans la forêt?

— Non,— me répondit-elle,— ce n'est pas un coup de fusil. Ne te semble-t-il pas que la glace tremble et se soulève sous nos pieds?

— Oui, oui,— m'écriai-je.— Allons-nous-en bien vite!

Je la pris par la main pour l'entraîner, mais au même instant une nouvelle détonation retentit, plus terrible que la première, puis une autre, et une autre encore, et des craquements effroyables tout autour de nous... Une violente secousse me jeta à la renverse, ma tête porta sur la glace, et je restai étourdi pendant un moment.

Quand je repris mes sens, je vis la petite Marie qui, agenouillée auprès de moi, me frappait dans les mains pour me faire revenir, tandis que Grison et Follet me léchaient la figure en poussant de petits grognements plaintifs. Au-dessus de ma tête le soleil brillait, le ciel était bleu parsemé seulement de légers nuages blancs qui me semblaient fuir en arrière avec rapidité. Je ne tardai pas cependant à penser que c'était plutôt nous qui devions être emportés en avant. Aussitôt je fus sur mes pieds, et je vis qu'en effet nous voguions sur un énorme glaçon entraîné, en compagnie de beaucoup d'autres, par le courant, libre maintenant, de la rivière. Les eaux luisantes comme de l'acier serpentaient et bruissaient de toutes parts d'un air de courroux joyeux.

— C'est la débâcle qui nous a surpris,— dis-je à Marie.— Qu'allons-nous devenir? La rivière délivrée est contente, mais nous?

En lui parlant je la regardais: sa figure était pâle, un peu contractée comme par un effort intérieur, mais ses yeux étaient pleins de courage, et ce fut d'une voix à peine altérée qu'elle me répondit:

— Ce que nous allons devenir, je n'en sais rien, mais il faut voir, il faut réfléchir à ce que nous pouvons faire pour nous sauver...

— Et que pouvons-nous faire? — m'écriai-je.

J'allai ajouter: «Nous sommes perdus!» mais je me retins, pensant que, s'il en était ainsi, il valait mieux ne pas effrayer d'avance ma pauvre petite compagne. Peut-être dieu, dans sa bonté, ne voudrait-il pas nous laisser périr et nous enverrait-il quelque secours inespéré.

— Pour le moment,— reprit Marie,— nous n'avons qu'à nous tenir tranquilles, ce glaçon qui nous porte est solide, la rivière va vite, nous arriverons bientôt devant un village; alors nous crierons, nous appellerons, on nous verra et on viendra avec un bateau nous délivrer.

— Oui,— lui dis-je,— tu as raison, il ne s'agit que de prendre un peu patience.

Je disais cela, mais je n'en croyais pas un mot. En moi-même j'étais convaincu qu'un peu plus tôt, un peu plus tard, nous ne pouvions manquer d'être engloutis, et à cette idée je sentais un frisson de terreur me parcourir le corps. Pensez aussi, c'était bien affreux. Dire ainsi adieu à tout, à mes parents, à ma vie si heureuse, voir Marie mourir sous mes yeux sans pouvoir la protéger, je ne pouvais m'y résigner, ni envisager de sang-froid notre situation. Je tremblais pour moi, mais plus encore, je crois, pour ma petite amie.

La rivière semblait grossir d'instant en instant. Ses flots bouillonnaient avec une fureur croissante autour des glaçons qu'elle charriait de conserve avec le nôtre, et que nous voyions se heurter entre eux. Dans ces chocs il y en avait qui se brisaient et qui disparaissaient. Parfois aussi, en se pressant les uns contre les autres, ils semblaient vouloir s'arrêter et ne présentaient plus à l'oeil qu'une surface non-interrompue. La pensée me vint de profiter d'un de ces moments d'arrêt pour essayer de gagner le rivage en sautant d'un glaçon à l'autre. Tout téméraire qu'était ce projet, peut-être serais-je venu à bout de le mener à fin si j'avais été seul, mais Marie n'était pas assez forte pour qu'il y eût la moindre chance de réussir en ce qui la concernait. Il ne fallait donc pas y songer. Je n'aurais fait que précipiter la catastrophe que je croyais inévitable. Quant à séparer mon sort de celui de ma petite amie, on croira sans peine que je n'en eus pas un instant la tentation.

Du reste elle avait deviné ce qui m'était passé par l'esprit.

— Tu croyais,— me dit-elle,— que nous aurions pu atteindre le bord tout à l'heure, mais non, nous n'aurions eu assez de temps ni l'un ni l'autre. Voilà déjà les glaçons séparés et qui recommencent à descendre. Attendons, il se présentera peut-être une

occasion plus favorable. Tâche jusque-là de ne pas te décourager.

— Oh! — repartis-je en affectant un air dégagé,— je ne me décourage pas du tout... seulement je trouve cette course sur un glaçon un peu longue à la fin... et puis il y a une chose qui me tourmente, c'est qu'on ne s'inquiète chez toi et chez nous en ne nous voyant pas revenir.

Marie tressaillit et un nuage passa sur ses grands yeux immobiles.

— Ah! oui,— soupira-t-elle,— nos pauvres parents auraient bien de la peine, si la nuit venait avant que nous fussions rentrés, mais il n'y a pas de danger: il n'est pas encore midi et d'ici à ce soir, d'une façon ou d'une autre, nous serons tirés d'affaire.

Je pensai que la façon serait probablement fort triste, mais je n'en témoignai rien. Bonne petite Marie, elle se montrait si rassurée, elle paraissait si peu se douter du péril où nous étions, que non-seulement je me serais fait conscience de l'inquiéter, mais que sa tranquillité et sa confiance finissaient par me gagner moi-même.

Notre navigation continuait cependant. Nous avons été obligés de nous asseoir pour ne pas être renversés dans les chocs que notre glaçon avait aussi à subir de temps en temps, quoique, se trouvant au milieu de la rivière, il y fût moins exposé que ceux qui étaient plus rapprochés des bords. On s'habitue à tout, dit-on. Je commençais vraiment à l'éprouver. Il n'en était pas de même de Grison et de Follet. Blottis entre nous deux, ils soulevaient de temps en temps la tête pour nous jeter un regard lamentable et faire entendre un gémissement de détresse, et se fourraient bien vite le nez dans nos vêtements.

Il n'y avait toujours rien à faire. Marie et moi, nous échangeions quelques paroles tout en regardant les villages défiler de chaque côté de nous avec leurs arbres d'où s'émiettait la neige. Les incidents de la route n'étaient pas très-variés: parfois un village qu'une éclaircie nous montrait dans le lointain, ou bien une hutte de pêcheur déserte avec un batelet à demi submergé amarré auprès, et de temps en temps des enfants venus pour regarder *marcher la glace* et qui, en nous découvrant, levaient des bras étonnés ou poussaient des cris d'épouvante. Moi, je leur répondais par des signes et des paroles propres à les rassurer. Éloignés comme ils étaient de toute habitation, ils ne pouvaient même pas aller chercher au loin le secours qu'ils étaient eux-mêmes incapables de nous donner. «Donc, à quoi

bon les apitoyer? — me disais-je.— Autant leur laisser croire que nous sommes là pour notre agrément».

Enfin nous arrivons en vue d'un hameau, devant lequel la rivière forme une petite anse où les glaçons dévient et semblent tournoyer comme indécis. Marie et moi nous sommes debout, appelant et tendant les mains. Les deux chiens joignent leurs démonstrations aux nôtres. On nous a vus, on nous entend. Voilà des hommes et des femmes, toute la population qui se presse sur le rivage. Est-ce le salut?

— Ils n'ont pas de barques! — me dit Marie en me serrant le bras.

Pas de barques! Rien qu'un méchant batelet, une vraie coque de noix, et encore à demi défoncée. Une jeune femme,— oh! bénie soit-elle! — se jette dedans et essaye bravement de se frayer un passage vers nous à travers les glaçons, mais presque aussitôt la pauvre petite nacelle est renversée, brisée, et la jeune femme a disparu dans l'eau glacée et bouillonnante. Des enfants, les siens peut-être, courent éperdus le long du rivage en poussant des cris d'angoisse. Ah! nous ne pensions plus à nous en ce moment. Quelle joie nous ressentîmes en voyant la jeune femme se relever et atteindre la terre! Bonne et vaillante créature! tout en secouant ses longs cheveux dénoués et ruisselants, elle se retournait encore vers nous, montrant son désespoir de n'avoir pu nous secourir.

Pendant ce temps quelques hommes s'étaient avancés sur la glace avec des perches pour essayer de nous atteindre et de nous arrêter au passage, mais ils n'avaient pas tardé à reconnaître que c'était s'exposer eux-mêmes inutilement: nous étions trop loin déjà pour être à leur portée.

Bientôt le hameau fut dépassé et nous recommençâmes à glisser avec rapidité. Il fallut nous rasseoir. Grison et Follet, déçus comme nous, révinrent à leur abri, après avoir hurlé un adieu désolé.

— Courage encore! — me dit la petite Marie.— Il doit y avoir pas très-loin d'ici un village plus grand. J'y suis allée quelquefois avec papa...

— Et il y a des bateaux? — demandai-je.

— Beaucoup, et de grands bateaux.

— Très-bien alors, nous n'avons plus qu'un peu de patience à prendre.

Oui, ajoutai-je en moi-même, c'est très bien, mais ces bateaux il n'est que trop probable que la débâcle les aura emportés aussi. Pauvre petite Marie, ne lui ôtons pas son illusion. En même

temps je regardais le soleil, il commençait à décliner. Il y avait plusieurs heures déjà que nous étions dans ce terrible danger. Le temps m'y paraissait tantôt long et tantôt court, suivant que la crainte ou l'impatience prédominaient en moi.

— Ayons foi en dieu,— me disait tout bas la petite Marie,— en dieu le père tout-puissant: lui ne nous abandonnera pas.

— Soit faite sa volonté sainte! — répondais-je.

Nous n'étions plus maintenant les seuls êtres animés qui naviguaient sur la rivière. Un glaçon, à une petite distance de nous, portait un groupe de poules qui s'agitaient et gloussaient, sans avoir l'esprit de s'aviser qu'en volant de proche en proche, il leur eût été facile de se tirer d'embarras. Ah! si nous avions eu des ailes, nous aussi, comme nous serions lestement partis!

Plus loin un autre glaçon servait de refuge à un gros chien noir. Celui-ci paraissait prendre la chose philosophiquement, peut-être parce qu'il se sentait de force, quand il le faudrait, à gagner le bord à la nage. Du moins avait-il la sagesse d'attendre le moment où l'entreprise pourrait être tentée sans trop de danger. Assis sur son derrière, la tête tournée de notre côte, il nous regardait d'un air d'intérêt, bâillant et remuant la queue pour répondre aux signes d'amitié que je lui adressais. Nous plaignions ces compagnons de notre infortune, mais il est bien certain aussi que leur présence nous distrait un peu de nos peines.

Tout à coup je me levai.

— Qu'as-tu? — me demanda Marie.

— Il me semble,— lui dis-je,— que nous allons plus lentement. Les glaçons sont moins serrés, la rivière s'est élargie... Ah! — m'écriai-je, — je vois des maisons!..

— C'est sans doute le grand village,— me répondit-elle.— Tiens-toi tranquille, pense à dieu, prie-le pour nos chers parents, nous allons être sauvés...

Sans se lever, elle se prit le front entre ses deux mains et parut s'abîmer dans une méditation ou une prière intérieure. Suivant son bon conseil, je priais avec ferveur.

Je priais pour mon père, pour ma mère bien-aimée, pour Marie et pour tous les siens que sa mort eût désolés. Nos yeux se rencontraient parfois. En se levant vers le ciel, les regards de Marie étaient pleins de confiance dans la bonté divine.

Marie répéta une fois encore: «Oui, dieu nous sauvera», et, comme elle le disait, l'angélique créature, nous fûmes sauvés. Je vis le rivage encombré de monde. J'entendî de grandes rumeurs. Plusieurs hommes s'élancèrent dans une barque qui avait été mise

à flot. Avec des piques de fer dont ils étaient armés ils repoussèrent les glaçons et arrivèrent jusqu'à nous. Comme il est du devoir d'un capitaine de navire, je ne quittai mon bord que le dernier, après avoir fait descendre Marie dans la barque et y avoir jeté Grison et Follet, grelottants et toujours effrayés. Le chien noir vint nous rejoindre à moitié du trajet. Je pensai même aux poules: tous, tous, nous fûmes tous sauvés.

Je n'ai pas besoin de dire de quels soins empressés nous fûmes l'objet en arrivant à terre. Marie y fut reçue dans les bras de son père, oui, de son père qui, ne voyant pas Marie rentrer, avait pressenti ce qui avait pu arriver et qui était accouru à cheval chercher son enfant à l'endroit où il pouvait espérer qu'elle lui serait rendue. La pauvre petite, si forte au milieu du danger, s'était évanouie en revoyant son père, et on eut bien de la peine à la rappeler à elle. Enfin elle rouvrit les yeux.

— Ah! que j'ai eu peur,— me dit-elle languissamment.

— Peur! — m'écriai-je,— tu as eu peur? Eh bien, on ne l'aurait pas dit.

— Ah! — reprit-elle,— c'est que je ne voulais pas te tourmenter, et j'ai fait en sorte de garder pour moi toutes mes terreurs. Ah! que dieu est bon, qui nous a écoutés.

Bonne petite Marie! Ainsi elle avait eu la même pensée que moi, mais bien mieux que moi elle avait su la mettre en action. Son calme ne provenait pas, comme je l'avais cru, de ce qu'elle ignorât l'imminence du péril où nous étions, mais bien de sa force d'âme et de sa bonté de cœur. Je rougis d'avoir pu me sentir moins ferme et moins vaillant qu'elle, et j'appris ainsi que le vrai courage consiste non à ne pas avoir peur,— cela, on n'en est pas libre,— mais à maîtriser sa peur, non à s'aveugler ou s'étourdir sur le danger, mais à lui faire face, sans s'en laisser troubler ni abattre. C'était une assez bonne leçon que je retirais de mon *voyage en glaçon*; elle suffit pour m'empêcher de trop le regretter, mais je ne m'exposai pas à le recommencer.

Il faut dire que nos parents nous laissèrent, à partir de ce jour, un peu moins de liberté, et ils eurent raison. L'enfant sans expérience ne saurait tout prévoir. Il faut que pendant de longues années d'autres pensent pour lui, en attendant que, devenu homme, son tour vienne de penser pour les autres.

Depuis notre voyage sur le glaçon, la petite Marie, au milieu de nos jeux, sur la terre ferme et solide, s'arrêtait parfois de jouer; et me montrant le ciel azuré: «Souvenons-nous que dieu est bon,— disait-elle tout à coup,— et n'attendons pas pour le dire d'être de nouveau sur le glaçon».

Nous grandîmes ainsi côte à côte, notre amitié croissant avec les années, si bien que l'on s'aperçut un jour que la petite Marie était devenue une belle grande jeune fille aux yeux, au parler, au coeur si doux, qu'elle était d'âge à être une très-bonne femme. J'étais devenu, moi aussi, grand et fort, et bon travailleur, je puis le dire. On nous maria. Marie est une bonne mère, comme elle a été une fille dévouée; moi, je suis un heureux père et un très-heureux mari. J'écris cette histoire véridique pour nos chers petits enfants Pierre et Mikaêla. J'espère que de voir comme leur mère, toute petite, était déjà pieuse et bonne, leur servira d'exemple et les touchera.

## МАНДРІВКА НА КРИЖИНІ

Я був у дитинстві щасливим хлопчиком. Ми всією сім'єю жили в дальньому й глухому селі, та проте не сумному й не тихому. Хоч там не було чути гуркоту возів і гомону подорожніх, та зате там чулися могутні голоси вітру, лісу й річки, ніжний шелест трави й листя, вся таємнича гармонія природи.

Не подумайте тільки, що я жартую, бо нема нічого правдивішого, ніж те, що я вам кажу: я був такий простий і наївний, що розмовляв з квітами й деревами, я вслухався в їх відповідь, я сміявся з ними, я любив їх, мов живих й чутливих істот. Я бавився з вітрами, біг проти них, щоб довідатись, хто сильніший з нас, я боровся з сніговими хвилями, мов з товаришами, червоніючи від сильної напруги або сміючись від щастя змагання.

Я був цілком вільний у своїх прогулянках, і для цього щедро користувався дозволом. Кожної пори року, навіть кожного дня були якісь нові розваги, кожна з моїх прогулянок мала свою особливу чарівність. Ні, я не зможу вам навіть розповісти, який я тоді був щасливий, і хоч після цього моє життя було спокійне, ніщо не могло затьмарити спогади про перші хлоп'ячі літа в моєму серці. Коли діти почувають себе щасливими, вони повинні спинитися й сказати: «Не забудьмо про це. Я хочу це запам'ятати!»

Постійний вияв радості, яку я відчував тоді, вважався чималою провинною, на думку добре вихованих осіб, що іноді приїздили провідати нас. Серед інших я згадую гарну, бездоганно вдягнену і добре виховану дівчинку, яка була неприємно вражена моїм веселим виглядом і постійним сміхом з найменшого приводу, без будь-якої уваги до правил етикету.

— Ну, що ви скажете про Івана? — спитав у неї один із наших друзів. — Чи не чудовий він і любий хлопчик?

— Не знаю, — сухо відповіла вона, — можливо, він найкращий з усіх, і все ж він тільки те й робить, що показує зуби. Він завжди сміється.

У відповідь на це я знову показав свої чудові зуби і ще раз засміявся, байдужий до критичних зауважень з приводу моєї особи. Що мені було до цього? Я добре знав, що не робив нікому нічого поганого.

Так тривало й далі моє блаженне існування, коли я в певні години вчився, а вільний час минав у танцях, співах і витівках, як і раніш.

Не задовольняючись звичайними засобами вияву моїх захоплень, я вчився наслідувати співи і крики всіх пташок, яких я чув, свист вітру, плюскіт води, навіть скрип на льоду від полозків саней. Скільки мені було відомо різних мов мало не всіх домашніх тварин — собак, котів, биків, а найбільше молодих стригунців! Я навіть досяг справжньої досконалості в моєму розмаїтому дивертисменті; я не червонію, коли признаюсь, що часто вводив в оману, і коли казали: це осел або це кінь, — це звичайно був я. Тварини, яких я краще вдавав, помилялись перші, — вони бігли на мій голос, щоб подивитись своїми великими здивованими очима, чи це не хтось із їхніх, що вітає їх по дорозі, простуючи в своїх справах.

Почуваючи себе цілком щасливим, я часом мав деякі розчарування, певні омани та маленькі нещастя, які я переживав досить боляче; та це проходило швидко, — з'являлася нова розвага, і ці неприємні хвилини мого життя мало відбивались на моїй вдачі, яку я гартував небезпекою у своїх мріях.

Треба вам сказати, що мої мрії завжди залежали від певної пори року, як висловлювались у нашій сім'ї. Влітку я знаходив суниці та малину завбільшки з грушу і так рясно, що міг рвати їх, не дивлячись, обома руками. Зимом я мріяв про катання на санях з блискавичною швидкістю по кризі, що сяє найдивовижнішими кольорами й ніколи не тане. Восени стиглі плоди звисали з гілок аж до мого рота, а чудові пташки прилітали на мій поклик і сідали мені на руку та співали пісень на всі лади. Весною метелики, квіти, золоте сонце та молода травичка навівали мені святковий сон, наче я ось-ось покинувся.

З цими чудовими радощами на протязі довгих днів перепліталися так само якісь дивні явища — то десь, наче ті ракети, злітали вгору суниці в ту мить, коли я, радіючи, кінчав збирати їх у кошик, то враз насмішкувато підводились вище гілки, коли я мав намір кусати плоди, що звисали з них, то баский кінь під час найвищого стрибка раптово перетворювався на дерев'яного коня. Це були, звісно, неприємні містифікації, але я завжди виходив з честю з них або прокидався і починав сміятися, переконавшись, що я просто мрію. Чим щиріше я сміявся, тим швидше зникали всі мої неприємності. «Минуле горе — наче сон», — як на мене, ця приказка — безперечна правда.

Це було на початку весни... Яка чудова, яка прекрасна весна на нашій Україні! Яка вона завжди розмаїта й вигадлива у своєму льоті й грації, коли вся прикрашається! Інколи тиха, несмілива й ледь-ледь пахуча, вона помалу розкриває свої квітучі й зелені скарби. А інколи нестримна й щедра, вся в теплих випарах і блискучих променях, вона прокидається одразу в усій своїй силі, в барвах і пахошах, у дзюрчанні струмків і в щебетанні пташок...

На початку весни, чи краще кажучи, коли ще тільки передчувався її прихід, одного ранку я гуляв по снігу, який уже розм'як і готовий був розтанути. Я загрузав у сніг часом по коліна і був радий, що він уже не в силі витримати якийсь більший тягар і що він незабаром зникне. Проте за півгодини цих вправ я досить втомився і вирішив, що гуляти доволі й пора вертатися додому. Аж ось я пригадав, що зовсім близько річка і добре було б обстежити її береги, щоб бути певним, що лід, який тримає в полоні воду, так само ось-ось ослабне. Спокуса була непереможна. Я обрав найкоротший шлях і, борсаючись у снігу, побрів до річки.

О, я добре їх пригадую, ці любі береги! Я їх бачу, наче вони в мене й зараз перед очима. Уявіть собі широкі скісні пагорби, вкриті мальовничо розкиданими деревами, гілки яких згинаються під памороззю. Посередині, в улоговині, простяглася величезна скатертина льоду, яка виблискує веселою під сонячним промінням. Часом повіває вітерець, клаптики снігу падають з дерев і розсипаються в повітрі срібною порошею, і в усій цій картині холоду та інею не було нічого надто застиглого і блискучого, а тільки щось прим'якле й ласкаве. Туман розсувався, мов завіса, і не перешкоджав сонцю проливати тепло і світло. Скрізь у полі

було чути могутні й веселі звуки, наче земля радісно вітала теплий подих весни, яка звільняла її від пут.

Я відчув приємне задоволення, коли, йдучи до річки, помітив на кризі невеличку темну кульку, в якій пізнав ту ж мить дівчинку Марійку, дочку лісника, повсякчасну товаришку моїх прогулянок і забав. Вона жила разом з своїм батьком у лісі на деякій відстані звідси, але Марійка часто кидала свою тінисту оселю, щоб піти до річки й побачити, як вона казала, небо й сонце *на весь зріст*. Її ніжки врешті проклали стежку, що вилась між деревами від лісу до річки.

Коли я підійшов, гучно вітаючи її, Марійка в захопленні вчила добре поводитися двох малих, дуже славних собачат, які називались, як про це сказала їх господиня, Сірко і Бровко. Я їх дуже любив. Вони були такі милі, такі ласкаві, що, незважаючи на зло, яке вони завдавали мені, я не міг гримати й сердитися на них, не міг не підійти, щоб обійняти їхні пухнасті голови.

Марія і я, змагаючись, учили їх триматися й ходити на задніх лапах. Марійка особливо піклувалася Сірком, а я був постійним учителем Бровка. Та жоден з нас не дійшов блискучих успіхів з своїми учнями.

Маленька гарна Марійка! Тепер вона трохи змінилася,— та мені здається, що й зараз я бачу її у вбранні з коричневого сукна, її ніжки були в хутряних черевичках з овечої шкіри, її голівка була повита великою хусткою в чорних і рожевих смугах, з якої виглядав тільки маленький носик, злегка почервонілий не тільки від холоду, а й від напруги. Який вираз комічного обурення відбився в її великих карих очах і на її рожевих устах, коли вона підвелась від Сірка, який ще раз виявив себе надто невмілим і непокірним!

Я не знаю нікого, хто б одночасно мав стільки ніжності й упертості, стільки привітності в характері й стільки певності в переконаннях, такої доброти й терпіння до інших і такої влади над собою, як це було в маленької Марійки в її ніжному віці,— адже вона не мала, як і я, ще повних десяти літ. В усьому, що вона робила, вона тверезо сприймала труднощі й ніколи не була збентежена ними. Вона хотіла навчитися плести мереживо. «Це робота надто важка для тебе»,— казала їй мати. «Я знаю»,— відповідала Марійка.— «Тоді для чого ж ти хочеш братися за неї?»— «Щоб побачити, на що здатна. Якщо я не зможу навчитися плести, я завжди встигну взятися за іншу роботу, яка біль-

ше мені підійде». Проворній і терпеливій, їй завжди все вдавалося.

Коли, роздратований марністю наших зусиль навчити Сірка й Бровка, я закричав: «Та ці собаки ні до чого нездатні, ми нічого не зробимо з ними, отже, Марійко, треба відмовитись від цього!» — вона спокійно відповіла: «Не бачу в цьому потреби, ми повинні довести до кінця вправи з ними, ми просто погано навчали їх».

На кінець вона показала, як орудувати хусткою, щоб звелися в повітря дві передні лапи Сірка, щоб дати йому зрозуміти, як повинні служити йому підпорою задні. Все йшло дуже добре, поки вона тримала хусточку, але як тільки вона кидала її, Сірко замість того, щоб зберігати вертикальну позицію, розлягався в усю довжину на череві і повз на ньому, переможно дивлячись на свою хазяйку, або хапав зубами хустку і ніс її далі, з усієї сили трусячи нею і кумедно стрибаючи. Засіб, який Марійка винайшла, ще не був найкращий. Я хотів робити те саме з Бровком, але мені не вистачало навіть часу, щоб просунути хустку під його лапи, — він хитро виривав її з моїх рук ще до того, як я тільки наближав її, і не раз, поспішаючи, він давав мені відчутти маленькі гострі леза своїх молодих зубів. Зрештою собаки почали бавитися вдвох і побігли по льоду далі. Ми довго кликали їх, але вони збільшували свою ходу і бігли все прудкіше.

Сміючись і безнадійно доганяючи їх, ми опинилися посередині річки. Раптом ми почули ніби постріл гармати. Сірко і Бровка, із наляканими мордами й нашорошеними вухами, стрімголов вернулися назад і припали до наших ніг. Здивовані, ми спинилися.

— Що сталося? — спитав я Марію. — Чи не мисливці в лісі?

— Ні, — відповіла вона, — це не постріл рушниці. Чи не здається тобі, що лід тремтить і підіймається під нашими ногами?

— Так, так! — закричав я. — Ходімо швидше звідси!

Я взяв її за руку, щоб потягти за собою, але в цю мить розітнувся новий вибух, ще сильніший, ніж перший, потім другий, і третій, і почався жажливий тріск навколо нас... Шалений струс кинув мене горілиць, я впав головою на лід, і мене на хвилину оглушило.

Коли я опритомнів, я побачив Марійку, яка, схилившись на колінах наді мною, біла мене по руках, щоб я очутивсь,

в той час як Сірко і Бровко лизали мені обличчя і потихеньку жалісливо скиглили. Над моєю головою сяло сонце, небо було синє, всіяне легенькими білими хмарками, які, здавалось мені, швидко бігли назад. Я, проте, подумав, що це скорше ми посуваємося вперед. Тієї ж хвилини я звівся на ноги і побачив, що справді ми пливемо на величезній одірваній крижині, в супроводі інших, за вільною течією річки. Блискуча вода звивалася, мов сталь, і шуміла навкруги в радісному гніві.

— Це захопив нас льодохід,— сказав я Марії.— Що нам робити? Річка увільнилась, а ми?

Розмовляючи з нею, я помітив, що її обличчя зблідло, відбиваючи внутрішнє зусилля дівчинки, але її очі були сповнені мужності, і вона відповіла мені схвильованим голосом:

— Що з нами буде, я не знаю, але треба подумати про те, що ми можемо зробити, щоб врятувати себе...

— Що ж ми маємо робити? — закричав я.

Я хотів додати: «Ми загинули!» — але стримався, гадаючи, що коли таке й трапиться з нами, то все-таки краще не лякати зарані мою бідну маленьку супутницю. Може, бог у своєму милосерді не дасть нам загинути і пошле несподівану допомогу.

— Зараз,— відказала Марія,— ми повинні триматися спокійно. Крижина, на якій ми пливемо, чимала, річка тече швидко, і ми скоро будемо біля села,— тоді ми почнемо кричати й гукати, нас побачать і пошлють човен, щоб врятувати.

— Так,— сказав я,— ти правильно міркуєш, треба тільки мати терпіння.

Я сказав це, проте сам не вірив своїм словам. Я був певен, що рано чи пізно нас поглине вода, і я відчував, як мороз пробігає по тілу від страху. Подумати тільки, це жахливо. Попрошатися з усім, з батьками, з щасливим життям, бачити, як Марійка гине на моїх очах і не мати змоги їй допомогти,— я не міг ні покійно сприйняти це, ні байдуже споглядати наше становище. Я хвилювався за себе, але ще більше, я певен, за свою маленьку подругу.

Вода все прибувала й прибувала. Хвилі вирували, все більше шаленіючи навколо крижин, що пливли разом з нашою і, як ми бачили, стикалися між собою. Від цих ударів деякі з них розбивались і зникали. Іноді вони, ставши одна проти одної, здавалось, хотіли спинитися і злитися в одну

суцільну поверхню. Мені спало на думку скористатися з цього і спробувати дістатися берега, перестрибуючи з крижини на крижину. Цю сміливу думку я, можливо, довів би до кінця, коли б був сам, проте Марія не була достатньо сильна, щоб надіятись на успіх. Отже, про це нічого й мріяти. Я тільки прискорю катастрофу, яку я вважав неминучою. Роз'єднати мою долю з долею моєї маленької подруги — таке мені й на думку не спадало.

А втім, вона, певне, знала про те, що роїлося в моїй голові.

— Ти гадаєш,— сказала вона,— що нам пощастить дістатися берега вже зараз, та нам для цього не стане часу. Ось уже крижини кришаться і починають тонути. Зачекаймо, може, трапиться більш сприятливий випадок. Тільки не треба боятися.

— О! — удавано проказав я з невимушеним виглядом.— Я зовсім не боюсь... Тільки й того, що ця прогулянка на крижині здається мені надто довгою... а що мене справді тривожить,— це те, що і мої, і твої батьки схвилювані нашою відсутністю.

Марія здригнулася, і якась хмарка мигнула в її великих застиглих очах.

— Ох,— зітхнула вона,— наші бідні батьки будуть у великому горі, якщо ми не повернемось до ночі. Та цього нічого боятися,— ще нема й півдня, і до вечора тим чи тим способом ми все ж виберемося з біди.

Я вважав, що спосіб, мабуть, буде дуже сумний, але я про це не казав нічого. Добра маленька Марійка здавалася такою спокійною і безстрашною, так мало відчувала небезпеку, яка нам загрожувала, що я не тільки перестав непокоїтися, а й відчув, що спокій і віра її остаточно перейшли й до мене.

Тим часом ми пливли далі. Ми змушені були присісти, щоб не падати від ударів, які іноді витримувала наша крижина, хоч, перебуваючи посередині річки, вона була в меншій небезпеці, ніж ті, що пливли вздовж берега. Звикають, як кажуть, до всього. Я почав це відчувати на собі. Та не так себе почували Сірко й Бровка. Зіщулившись між нами, вони коли-не-коли підводили голови, жалісливо дивились на нас, сумно зітхали й тикались носами в нашу одіжку.

Нічого було робити. Ми з Марією перекидалися словами, поглядаючи на села, що з'являлися з обох боків, та на дерева, з яких осипався сніг. Враження були досить одно-

манітні,— іноді якесь село, як просвіток, з'являлося вдалині або самотній курінь рибалки, з прикріпленим біля нього напівзатопленим човном, а то часом бігли діти, щоб подивитися, як *іде крига*, і, побачивши нас, здіймали здивовано руки або кричали нам, жахаючись, а я відповідав їм знаками і словами, щоб заспокоїти їх. Бувши далеко від ближньої оселі, вони не могли навіть покликати когось на поміч, якої самі не в силі були подати. «Отже, навіщо їх хвилювати? — сам собі сказав я.— Хай собі думають, що ми тут для власної розваги».

Та ось ми прибули до хутірця, перед яким річка утворює невеличку затоку, де крижини спиняються і крутяться в якійсь непевності. Ми з Марією звелися на ноги і стали гукати й махати руками. Собаки приєдналися до нас. Нас бачили, нас чули. Чоловіки й жінки — всі люди зійшлися до річки. Невже порятунок?

— У них нема човнів! — сказала Марія, стиснувши мою руку.

Нема човнів! Нічого, крім мізерного човника, шкаралупини, та ще й напіврозбитої. Молода жінка, — о, будь благословенна, рятівнице! — скочила в нього і мужньо спробувала пробитися до нас через крижини, але майже ту ж мить утлий малесенький човник перевернувся й розбився, а бідна жінка зникла в крижаній і виручій воді. Діти, можливо її, розгублено бігли вздовж річки з жахливим криком. О, ми не думали більше в цю мить про себе! Яку ж ми відчули радість, коли побачили, як з'явилась жінка і стала на землю! Струшуючи свої розпушені й промоклі коси, добра і мужня рятівниця повернулася до нас у відчаї від того, що не може нам допомогти.

Тим часом кілька людей вийшли на крижину з жердинами, щоб спробувати нас догнати і спинити в течії, але все це було даремно, — ми вже одпливли надто далеко, щоб можна було їм досягти нас.

Незабаром хутірець зник, і ми почали плисти з великою швидкістю. Ми знову присіли. Сірко і Бровко, розчаровані, як і ми, вернулися у свій притулок, завивши з горя на прощання.

— Не бійся! — сказала Марійка. — Недалеко звідціль повинно бути велике село. Я там якось була з татом...

— А чи є там човни? — спитав я.

— Багато, і великі човни.

— Тоді дуже добре, треба тільки набратися терпіння.

«Так,— додав я сам собі,— це дуже добре, але ці човни, цілком імовірно, льодохід так само понесе далі. Бідна Марійка ніяк не звільниться від своїх марних надій». В той же час я дивився на сонце, що вже починало заходити. Уже кілька годин ми були в жахливій небезпеці. Як мені здавалось, час минав то надто довго, то надто швидко, залежно від того, страх чи нетерпіння були в мене на душі.

— Вся надія на бога,— тихо сказала Марійка,— бог всемогутній,— він не покине нас.

— Хай буде його свята воля,— відповів я.

Ми не були тепер єдиними живими душами, що пливли по річці. На крижині, недалеко від нас, було кілька курей, що хвилювались і кудкудакали, не в силі здогадатись, що, перелітаючи з крижини на крижину, їм легко було б уникнути небезпеки. О, коли б ми мали крила, ми б так само легко полетіли!

Десь далі від нас інша крижина стала притулком для великої чорної собаки. Вона все сприймала з філософським спокоєм, можливо, тому, що відчувала досить сили, коли це буде потрібно, досягти берега плавма. Принаймні вона мала намір діждатися тієї хвилини, коли це можна буде зробити з найменшою небезпекою. Сидячи на кризі, повернувши голову в наш бік, вона дивилася на нас з цікавістю, позіхаючи й махаючи хвостом, наче відповідаючи на знаки дружби, які я їй посилав. Ми співчували цим товаришам по нещастю, до того ж це відвертало трохи увагу від наших труднощів.

Раптом я встав.

— Що таке? — спитала Марія.

— Мені здається,— сказав я їй,— що ми пливемо значно повільніше. Крижин стає менше, річка стає ширша... О,— закричав я,— видно будинки!..

— Це, безперечно, велике село,— відповіла Марія.— Будь спокійний, хвалити бога, на щастя наших любих батьків, ми будемо врятовані!..

Не встаючи, вона охопила голову руками і вся поринула в якесь внутрішнє споглядання чи молитву. За її порадою, я теж палко молився.

Я молився за мого тата, за мою кохану маму, за Марію і за всіх ближніх, кому наша смерть завдасть невтішного горя. Наші погляди іноді зустрічались. Зведені до неба очі Марії були повні довіри до божественної доброти.

Марія ще раз промовила: «Бог нас врятує»,— і як вона,

це ангельське створіння, сказала, ми були врятовані. Я побачив берег, весь забитий людьми. Я почув якийсь великий неясний гомін. Кілька чоловік кинулися в човен, спущений на воду. Відштовхуючи залізними гаками крижини, вони наближались до нас. Як належить капітанові корабля, я кинув свій пост останнім, після того, як допоміг Марії сісти в човен і кинув у нього Сірка і Бровка, вкрай замерзлих і наляканих. Чорну собаку ми наженемо при переїзді. Я думав так само і про курей,— ми повинні рятувати всіх.

Нічого говорити про те, з якою увагою нас зустріли, коли ми прибули на землю. Марія опинилася в обіймах свого батька, так, свого батька, який, не діждавшись дочки, все ж передчував, що могло трапитися, і поскакав на коні шукати своє дитя в напрямку, звідки, треба було сподіватись, вона мала повернутися. Бідна Марійка, така сильна під час небезпеки, побачивши свого батька, впала неприємна, і він ледве вернув її до пам'яті. Нарешті вона розплющила очі.

— Я так боялась,— сказала вона в нестямі.

— Боялась! — закричав я.— Ти боялась? Та цього б ніхто не сказав.

— О! — промовила вона,— я не хотіла тебе турбувати, і я намагалась приховати від тебе весь свій страх. О, який добрий бог, що зглянувсь на нас!

Бідна маленька Марійка! У неї було на думці те саме, що і в мене, але вона краще, ніж я, могла зберігати впевненість. Її спокій залежав, як я гадав, не від того, що вона не зважала на всю силу небезпеки, в якій ми опинились, а від величі душі та доброти серця. Я червонію від того, що я менш міцний і хоробрий, ніж вона, і я переконався так само, що справжня хоробрість полягає не в тому, щоб не мати страху,— від цього ніхто не вільний,— але щоб подолати страх,— не в тому, щоб бути осліпленим чи приголомшеним під час небезпеки, а в тому, щоб з одвертим обличчям зустріти її, не дати себе зламати й розгубитися перед нею. Це була добра наука, яку я дістав з мандрівки на крижині,— цього досить, щоб надто шкодувати за нею, та я не хотів би розпочати її знову.

Треба сказати, що з цього дня наші батьки нам давали менше волі, і вони мали рацію. Дитина без досвіду не зможе всього передбачити. Треба на протязі довгих років іншим думати про неї, чекаючи на той час, коли, ставши дорослою, їй доведеться думати про інших.

Після нашої мандрівки на крижині маленька Марійка під час наших забав на твердій і непохитній землі іноді спинялася і, показуючи на блакитне небо, раптом казала: «Пам'ятаймо, що бог добрий, і не чекаймо, поки ми знову згадаємо про це на крижині».

Ми підростали, наша дружба щороку міцніла, аж поки одного дня не стало помітно, що маленька Марія стала чудовою дорослою дівчиною, з ніжними очима й серцем, у віці справжньої красуні жінки. Я так само виріс і став сильним і, можна сказати, добрим робітником. Ми з нею одружилися. Марія — добра мати, так само, як вона колись була вірною дочкою. Я — щасливий батько і вельми щасливий чоловік.

Я розповів цю правдиву історію для наших дорогих маленьких діток Петруся й Михайлика. Я сподіваюсь, що розповідь про їх матір, яка в дитинстві була доброю і набожною, схвилює їх і послужить їм хорошим прикладом.

## L'OURS DE SIBÉRIE ET MADEMOISELLE QUATRE-ÉPINGLES

Monsieur Dieudonné est un très-beau garçon,— quand il est débarbouillé et peigné. Malheureusement Monsieur Dieudonné ne l'est pas tous les jours.

Quand l'envie lui prend de quitter ses leçons sous prétexte d'aller voir à la pendule si l'heure de la récréation n'a pas enfin sonné, il lui arrive de se présenter au salon, ébouriffé comme un toit de chaume après grande pluie et tempête, et si sa petite soeur Sophie, qu'il appelle Mademoiselle Quatre-Épingles, lui fait quelques observations sur le désordre de sa tenue, monsieur Dieudonné prétend que les hommes peuvent se passer de toilette,— qu'ils sont assez beaux comme ils sont, et que *toutes ces choses-là* sont bonnes pour des petites filles coquettes, et en s'exprimant ainsi il ne se gêne pas pour faire savoir par son regard à sa petite soeur que c'est bien d'elle qu'il entend parler.

— Mais tu as l'air d'un ours, toi! — lui dit Mademoiselle Quatre-Épingles, vivement piquée de la légèreté du propos de Monsieur Dieudonné sur les petites filles.

— Eh bien! J'aime mieux être un ours qu'une poupée, — répond Monsieur Dieudonné.

— Une poupée! — s'écrie Mademoiselle Sophie.— Une poupée! Oh, tu peux être tranquille, tu ne seras jamais, jamais, confondu avec nos jolies poupées, tu as bien trop l'air d'un vilain Ours, un vrai, vrai Ours! Et encore de Sibérie! — Ours! Ours!!

— Une poupée, qui n'a qu'une ficelle,— continue Monsieur Dieudonné froidement et avec un calme écrasant.

— Qu'est-ce qui n'a qu'une ficelle? Que signifie cela? — demande Mademoiselle Sophie Quatre-Épingles d'une voix altérée; — c'est bon pour les polichinelles des messieurs, les ficelles, entendez-vous, Monsieur l'Ours. Sans les ficelles, à

L'OURS DE SIBÉRIE

ET

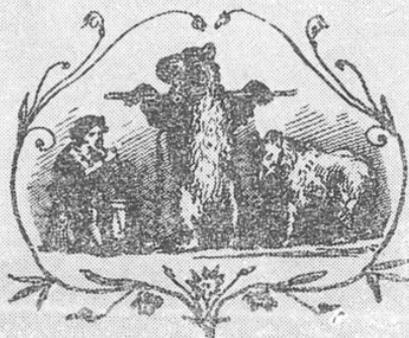
MADemoisELLE

QUATRE-ÉPINGLES

TEXTE PAR STAHL ET MARCO-WOYZOC

VIGNETTES PAR L. FRIELICH

GRAVERHI PAR MATTHIE



BIBLIOTHÈQUE  
D'ÉDUCATION ET DE RÉCRÉATION

J. HETZEL & C<sup>ie</sup>, 18, RUE JACOB

PARIS

Droits de reproduction et de traduction réservés.

Титульна сторінка французького видання твору Марка Вовчка  
«Сибірський ведмідь і Чепурушка».

quoi seraient-ils bons? ils ne pourraient remuer ni bras ni jambes...

— FICELLE signifie,— répond Monsieur Dieudonné, avec le même calme écrasant: "qui ne sait dire qu'un seul mot", deux au plus: "papa, maman".

Mademoiselle Sophie voudrait répondre, mais l'indignation lui ferme la bouche.

— Cela signifie encore: qui ne sait rien faire par elle-même, comme... comme une petite personne que je connais. Me comprenez-vous, Mademoiselle Quatre-Épingles?

— Je sais tout faire, tout! Oh, le méchant! Oh, l'Ours!

Mademoiselle Sophie a retrouvé la parole. Être appelée Quatre-Épingles, s'entendre reprocher comme un défaut d'être soigneuse et bien tenue, cela n'est pas agréable.

— Tout faire, toi! mais tes boucles dont tu es si fière quand tu vas en visite avec maman, c'est ta bonne qui te les arrange!

— C'est que maman ne veut pas encore permettre à ma bonne de me les laisser arranger,— elle dit que je suis trop petite!

Monsieur Dieudonné n'a pas l'habitude d'écouter les raisons des autres; il va son train:

— Tandis que moi,— dit-il,— je puis me peigner et me *dé-peigner*,— regardel

Monsieur Dieudonné prend un peigne et arrange ses cheveux avec beaucoup de goût et d'adresse. Il fait sa raie.

— Vois-tu? Réponds donc? Vois-tu?

— Mais oui, je vois,— répond mademoiselle Sophie.

— Mais c'est égal, tu as beau faire, Paul arrange ses cheveux encore bien mieux... Ah, oui! Paul est gentil!

— Eh bien! tu as vu ça! Maintenant regarde encore!

Monsieur Dieudonné se donne un autre coup de peigne. Défait sa raie et se transforme de nouveau en hérisson.

— Oh! l'horreur! — crie Mademoiselle Sophie.— C'est bien là l'Ours...

— Eh bien oui, eh bien c'est vrai, et j'en suis fier, je suis l'Ours! l'Ours de Sibérie,— grogne Monsieur Dieudonné en se mettant à quatre pattes.— Je dévore tout! Tout-tout-tout! — Et les petites filles par-dessus le marché... et toutes crues encore, sans me donner la peine de les faire cuire.

Et voilà que le grognement devient véritablement terrible. Monsieur Dieudonné gratte le parquet avec ses ongles, il ouvre sa bouche toute grande et menace Mademoiselle Sophie avec ses dents aiguës.

Monsieur Dieudonné disparaît un instant et reparait couvert d'une peau d'ourson qui, après avoir servi de paletot à quelque sauvage, sert maintenant de descente de lit à son papa.

— Oh, je n'ai pas peur! — crie Mademoiselle Sophie.— Non, je n'ai pas peur! c'est toi, c'est toi, je te reconnais bien, tu n'es qu'un vilain faux Ours.

Mademoiselle Sophie a joué bien des fois sur cette peau d'ourson; mais tout en protestant qu'elle n'a pas peur encore, qu'elle sait ce que c'est, que c'est Monsieur Dieudonné qui est là dedans, Mademoiselle Sophie se réfugie sur le grand canapé et tire fiévreusement tous les coussins dans son coin pour s'en faire des remparts capables de la protéger contre les bêtes féroces.

— Je suis l'Ours! l'Ours de Sibérie! — crie Monsieur Dieudonné en grossissant sa voix.

Mademoiselle Sophie, malgré l'excellente fortification des coussins, commence à avoir l'air très-effrayé.

— N'approchez pas, allez-vous-en bien loin, fil la vilaine bête.

La vilaine bête grogne de plus belle...

— Ah, mon Dieu! Quel est cet animal à quatre pattes qui rampe par terre?— demande en rentrant la grande cousine Hélène.

— C'est un Ours de Sibérie!— grogne Monsieur Dieudonné.

— Et moi qui apportais des bonbons et qui croyais avoir affaire à des enfants,— qu'est-ce que je vais faire de mes bonbons à présent? — dit la grande cousine.

— Mais les ours mangent du miel,— murmure Monsieur Dieudonné, en adoucissant son grognement et en se levant un peu à moitié, sur ses deux pattes de derrière.

— Je n'en sais rien,— répond la grande cousine,— mais ce que je sais, c'est que j'ai peur des ours et que je ne consentirai jamais à leur donner mes bonbons.

— Chère Hélène, viens te mettre là, derrière moi! — s'écrie Mademoiselle Sophie.— Viens, je vais te défendre! Je vois que tu as trop peur des ours.

— Oui, j'ai vraiment peur, ma Sophie, je n'aime ni ce qui est laid, ni ce qui a l'air méchant.

— Mais il y a de bons ours,— insinue d'une voix qui voudrait se faire calme Monsieur Dieudonné.

— Les bons ours sont obéissants, de plus ils sont bien élevés, dociles, aimables, instruits, ils savent danser. Danse! — dit Mademoiselle Hélène,— et je croirai que tu es un bon ours,

un ours qui a reçu de l'éducation, un ours savant même. Les bons ours valent à merveille! Voyons, Monsieur l'Ours, montrez vos talents.

— Aurai-je droit à des bonbons si je valse? — s'écrie l'Ours.

— Oui, oui,— dit Héléne.

L'Ours de Sibérie se dresse aussitôt sur ses deux pieds, et, après avoir fait un magnifique entrechat, se met à valser. Mademoiselle Sophie n'a plus peur, elle part d'un grand éclat de rire et bat des mains.— «Ce n'est qu'un ours danseur,— dit-elle à sa cousine Héléne; — tu vois, nous pouvons n'avoir pas peur du tout. Tu sais comme ils sont, ces ours-là! Tu dois te les rappeler. Nous les avons bien vus à la fête de \*\*\*, avec une grande chaîne et une muselière sur leur grande bouche. Ils marchaient sur leurs pieds de derrière comme celui-là, et remuaient leurs bras lourdement, avec un bâton passé derrière leur dos. C'était drôle; malgré cela, le montreur d'ours, au lieu de leur donner des bonbons, leur donnait des coups de bâton et leur disait: „Vous êtes de grosses bêtes, la société rit de vous; vous croyez que vous dansez bien, vous êtes de gros patauds. Oh! Oh!“

Mademoiselle Sophie rit trop. Elle est obligée de se coucher sur le canapé, la face à moitié cachée dans les coussins pour contenir l'excès de sa gaîté.

— Je ne suis pas l'Ours danseur, je suis l'Ours de Sibérie! — s'écrie tout à coup Monsieur Dieudonné très humilié. Il n'entend pas prêter à rire à des dames, et, retombant soudain sur ses quatre pattes, il pousse un rugissement effroyable et s'écrie: "Je me moque de vos bonbons! C'est vous seules, Mesdames et Mesdemoiselles que je veux dévorer, et de vous deux je ne ferai qu'une bouchée».

Cette menace ne faisant aucune impression apparente sur ses futures victimes, l'Ours de Sibérie a l'air décontenancé.

— Une chose me fait de la peine,— dit Héléne, en regardant d'un air de compassion le terrible Ours de Sibérie.

— Laquelle? — demande Mademoiselle Sophie d'une voix caressante.

— C'est ma pauvre tantel la maman à Dieudonné et la tienne! Eh bien, si son fils est un ours, il faut donc qu'elle soit une ourse, elle aussi.

En entendant ce blasphème, sa mère chérie, sa mère si belle et si jolie — une ourse!!! — Monsieur Dieudonné fait un bond, comme si l'ours qu'il était se fut tout d'un coup changé en chat-tigre.

— Quel changement! — s'écrie Mademoiselle Sophie, en ouvrant de grands yeux.

Monsieur Dieudonné ne grogne plus comme un ours; il crie comme un sifflet; il parle comme un orateur:

— Cela n'est pas vrai! Maman n'est pas une ourse; dire cela n'est pas bien. Et d'abord les mamans ne sont jamais dans les jeux où il se dit de vilaines choses.

— Cependant,— dit la cousine avec tristesse,— si son fils est un ours, si son fils n'aime faire que ce que font les ours, il faut bien qu'elle aussi... Ah! ma pauvre tante!!! Qu'est-ce que tout cela prouve, sinon que certains fils ont tort de jouer à certains jeux? Le jeu de l'ours, comme c'est distingué! faire peur à sa petite soeur, comme c'est délicat! Parler aux gens de les manger et sans même les faire cuire! c'est peut-être de bon goût!!

Monsieur Dieudonné se débarrasse de sa peau d'ours et jette un regard superbe sur sa soeur et sa cousine. D'un pas fier et majestueux, il arrive sur le seuil de la porte. Il se retourne et dit: "Je vais vous confondre, attendez-vous allez voir si ma chère maman est la mère d'un ours".

Il reparait bientôt. Pour cette fois il se croit métamorphosé en vrai petit-maître. Monsieur Dieudonné s'était même arrangé une petite boucle en forme d'accroche-coeur sur la tempe gauche, comme fait toujours son oncle Jean — un militaire et un bel homme. C'est vrai qu'une grande mèche de cheveux récalcitrante flotte encore égarée sur sa joue; mais quand on a été, il y a seulement trois minutes, ours de Sibérie, on ne peut pas se transformer si vite en garçon comme il faut, qu'il ne reste rien du tout de son premier état.

— Où est donc l'Ours de Sibérie? — dit la grande cousine,— et qu'avons-nous à sa place? C'est ma foi un petit marquis!

— Ni ours ni marquis, cousine,— répond Monsieur Dieudonné.— Je suis le fils de ma chère maman et je ne veux pas être autre chose. Son fils sage et obéissant, tu verras.

— Alors tu n'aimeras plus à jouer à ce vilain jeu de l'Ours, qui fait peur à Sophie,— dit sa maman en entrant.

— J'y renonce,— dit Dieudonné,— je renonce au jeu de l'ours. Mais c'est égal, c'était tout de même très-amusant quand Mademoiselle Quatre-Épingles commençait à avoir peur.

— Oh le méchant! — dit Sophie, en se jetant dans les bras de son frère.

## СИБІРСЬКИЙ ВЕДМІДЬ І ЧЕПУРУШКА

Богдан — чудовий хлопець, коли він умитий і причісаний.

На нещастя, Богдан не завжди такий.

Коли у нього виникало бажання кинути урок, щоб подивитися на годинник, чи скоро нарешті проб'є час відпочинку, він з'являвся у вітальні, розпатланий, наче солом'яна стріха після зливи й бурі, а коли сестричка Софія, яку прозивали Чепурушкою, якось зробила йому кілька зауважень з приводу його неохайності, Богдан заявив, що чоловіки можуть не зважати на свій зовнішній вигляд, — вони й так досить красиві, що всі ці дрібниці потрібні для дівчат-кокеток, і, висловлюючись так, він кидав недвозначні погляди на сестричку, даючи зрозуміти, що він натякає саме на неї.

— Та ти виглядаєш, як ведмідь! — сказала Чепурушка, вельми вражена легковажністю, з якою Богдан висловився про дівчат.

— Що ж, краще бути ведмедем, ніж лялькою, — відповів Богдан.

— Лялькою! — закричала Софія. — Лялькою! О, ти можеш бути спокійним, тебе аж ніяк не зрівняєш з нашими чудовими ляльками, ти надто подібний до гидкого ведмеда, справжнього ведмеда! Та ще й сибірського! Ведмідь! Ведмідь!

— Лялька, та ще й з мотузкою, — додав холодно й зневажливо-спокійно Богдан.

— Що таке з мотузкою? Що це? — схвильовано спитала Софія Чепурушка. — Мотузки — це добре для блазнів, — чи чуєте ви, Ведмедю? Що б вони робили без мотузків? Вони не могли б рухати ні руками, ні ногами...

— Мотузка — це той, — відповів Богдан так само зневажливо-спокійно, — хто знає тільки одне слово, найбільше двоє — «тато, мама».

Софія хотіла відповісти, але від обурення їй одібрало мову.

— Це ще означає: хто не вміє нічого робити сам, як-от... як-от особа, яку я знаю. Ви розумієте, Чепурушко?

— Я вмію все робити, все! Злюка! Ведмідь!

Софія шукала слово. Чути, як докоряють їй, прозваній Чепурушкою, за те, що вона охайна й витримана,— це було неприємно.

— Ти все робиш? Навіть кучері, якими ти так пишаєшся,— коли йдеш у гості з мамою, їх причісує тобі нянька!

— Це тому, що мама не хоче ще дозволити моїй няні, щоб я причісувала їх сама,— вона каже, що я надто мала!

Богдан не має звички слухати інших,— він зауважує:

— І це тоді, як я,— каже він,— можу причісуватись і розчісуватись,— ось поглянь!

Богдан взяв гребінець і вміло й гарно зачесав свого чуба. Він навіть зробив проділ.

— Бачиш? Відповідай! Бачиш?

— Звичайно, ти це добре робиш. Та Павлик розчісує свого чуба ще краще... О, Павлик — славний хлопець!

— Гаразд! Тепер подивися ще.

Богдан махнув гребінцем. Він знищив проділ і скуйовдив чуба.

— О, жаж! — закричала Софія.— Це справді Ведмідь...

— Це так, це правда, я Ведмідь! Сибірський ведмідь! — загарчав Богдан, стаючи на чотири лапи.— Я пожеру все! Все, все, все! І малих дівчат на додаток... і все ще сирим м'ясом, не завдаючи собі клопоту, щоб зварити його.

І справді, гарчання було дуже жахливе. Богдан дряпав нігтями паркет, відкрив свій великий рот і погрожував Софії гострими зубами.

Богдан на хвилину зник і повернувся, весь укритий шкурою ведмедя, яка після того, як послужила одежею якомусь дикуну, лежала тепер замість килима перед ліжком його батька.

— О, я не боюсь! — кричала Софія.— Ні, я не боюсь! Це ти, це ти, я тебе добре впізнала,— ти тільки вдаєш із себе гидкого ведмедя.

Софія іноді бавилася на цій ведмежій шкурі, але, запевняючи, що вона не боїться, що вона знає все, як воно є, що це Богдан там всередині, Софія все ж обрала собі притулок на канапі й гарячково тягла подушки в свій куток, щоб зробити собі надійний захист проти жорстокого звіра.

— Я — Ведмідь! Сибірський ведмідь! — кричав Богдан на весь голос.

Софія, незважаючи на чудову фортецю з подушок, мала переляканий вигляд.

— Не наближайся сюди, йди геть подалі, гидка тварюко!

Гидка тварюка загарчала ще дужче...

— Боже мій! Що це за тварина на чотирьох лапах повзе по землі? — спитала старша двоюрідна сестра Олена, входячи у вітальню.

— Це Сибірський ведмідь! — загарчав Богдан.

— Я принесла цукерки й гадала їх дати дітям, — що ж тепер я робитиму з ними? — сказала двоюрідна сестра.

— Ведмеді люблять мед, — пробурчав Богдан і, трохі звівшись на задні лапи, став тихіше гарчати.

— Не знаю, — відповіла двоюрідна сестра, — проте знаю, що боюсь ведмедів і ніколи не наважусь дати комусь із них цукерок.

— Люба Оленко, йди сюди до мене, — закричала Софія. — Йди, я тебе обороню! Я бачу, що ти дуже боїшся ведмедів.

— Так, Софіє, я справді боюсь, я не люблю ні потворних істот, ні тих, що мають злий вигляд.

— Та є й добрі ведмеді, — натякнув Богдан, намагаючись говорити якомога ласкавіше.

— Добрі ведмеді слухняні, здебільшого вони добре виховані, покірні, люб'язні, вчені, вони вміють танцювати. Танцюй! — сказала Олена. — І я повірю, що ти гарний ведмідь, ведмідь добре вихований і навіть учений. Гарні ведмеді чудово вміють танцювати вальс! Отже, Ведмедю, покажіть свій хист.

— Чи я матиму цукерки, якщо танцюватиму вальс? — закричав Ведмідь.

— Так, так, — сказала Олена.

Сибірський ведмідь ту ж мить став на дві ноги і після того, як зробив чудовий стрибок, почав танцювати вальс. Софія більше не боялась, вона весело сміялася й плескала в долоні. «Це справжній ведмідь-танцюрист, — говорила вона Олені, — тепер ми можемо не боятись його. Ти знаєш, які вони, ці ведмеді! Ти повинна їх пам'ятати. Ми їх добре бачили на святі у\*\*\*, з великим ланцюгом і з кільцем на губі. Вони ходили на задніх лапах, як і цей, і важко розводили руками з лапицею позаду спини. Це дуже

смійно. Незважаючи на це, хазяїн ведмедів замість того, щоб дати їм цукерки, бив палицею і приказував:

— Ви — незграбні тварини, люди сміються з вас. Ви гадаєте, що добре танцюєте, а насправді ви — великі тюхтії. Он як!»

Софія дуже сміялася. Вона лежала на канапі, уткнувшись обличчям у подушки, щоб стримати надмірний вияв веселощів.

— Я не ведмідь-танцюрист, я Сибірський ведмідь! — закричав ображений Богдан. Він не зважав на сміх дівчат і, враз упавши на всі чотири лапи, з страшним ревом кинувся вперед і загукав: — Не потрібні мені ваші цукерки! Тільки вас, дівчата, я хочу пожерти і одну з вас проковтну одразу.

Ця погроза не справила ніякого помітного враження на його майбутні жертви, і Сибірський ведмідь мав зниковілий вигляд.

— Єдине тільки мене смутить, — сказала Олена, з жалем подивившись на страшного Сибірського ведмедя.

— Що? — спитала Софія ласкаво.

— Бідна моя тіточка, Богданова і твоя мама! Якщо її син ведмідь, то й вона ведмедиця так само.

Його люба мати, його чудова красуня-мати — ведмедиця!!!

Богдан зробив стрибок, начебто ведмідь, яким він був, раптом став тигром.

— Яка зміна! — вигукнула Софія, розкривши свої великі очі.

Богдан більше не ревів, наче той ведмідь, він свистів, наче сюрчок, він промовляв, мов оратор:

— Це неправда! Мама — не ведмедиця, говорити так негарно. До того ж мами ніколи не беруть участі в забавах, де говорять гидкі речі.

— Проте, — сказала з смутком двоюрідна сестра, — якщо її син ведмідь, якщо її син любить робити те, що роблять ведмеді, то й вона так само... Ох, бідна моя тіточка!!! Про що це свідчить, як не про те, що деякі сини мають охоту до шкідливих забав. Гра у ведмедя — як це виховує! Лякати свою сестричку — як це чутливо! Говорити людям, що їх з'їдять, до того ж навіть не варених, — який чудовий смак!

Богдан скинув з себе ведмежу шкуру і кинув зверхній погляд на сестер. Гордим і величним кроком він ступив

через поріг. Повернувся і сказав: «Зараз я вас присоромлю,— стривайте, я покажу, яка моя люба мама — ведмежа мати».

Він швидко знову з'явився. На цей раз він вирішив перетворитися на справжнього франта. Богдан навіть причесав на лівій скроні чубок на зразок розбитого серця, як це завжди робить дядько Іван — військовий і славна людина. Правда, велике пасмо упертого волосся ще розвівалось, звисаючи на щоку, та все ж за якихось три хвилини Сибірський ведмідь так перетворився на чепурного хлопчика, що нічого не лишилося від його попереднього вигляду.

— Де дівся Сибірський ведмідь? — сказала двоюрідна сестра. — І хто це на його місці? Та це ж справжній маленький маркіз!

— Ні ведмідь, ні маркіз, сестро, — відповів Богдан. — Я син своєї любої мами, і я не хочу бути ніким іншим. Її син розумний і слухняний, — ти сама бачиш.

— Отже, ти більше не гратимеш у цю гидку гру, у ведмедя, якого так боїться Софія? — сказала, ввійшовши, мама.

— Я не гратиму, — сказав Богдан, — я не гратиму більше у ведмедя. Але однаково, найвеселіше з усього — це коли Чепурушка починає чогось боятися.

— О, злюка! — сказала Софія, кидаючись в обійми свого брата.

## LA PETITE SOEUR

L'hiver, cette année-là, était très-beau en Ukraine, quoique très-rigoureux. Les cheminées du château flamboyaient du matin au soir, les poêles ronflaient du soir au matin: il ne fallait pas moins pour combattre le froid qui pénétrait de l'extérieur dans les appartements. Un voile épais de givre couvrait les carreaux des fenêtres. Pas un petit coin transparent sur leur surface où on pût apercevoir le ciel bleu, les arbres de la campagne et les maisons du village. Toujours cette même blancheur immobile et sans distraction. C'était très-fatigant à la longue, au point qu'on était obligé de fermer ses yeux de temps en temps pour les reposer un peu.

Par exemple, du côté de l'ouïe, il y avait plus de ressources. Outre les craquements et les petillements des feux, on entendait mille bruits qui arrivaient du dehors avec une netteté et une sonorité extraordinaires. C'étaient des pas et des voix humaines, des piétinements de chevaux, le grincement de la neige sous les socs rapides des traîneaux, un chant de coq, un aboiement de chien: tout cela si distinct et si précis qu'il semblait qu'on en fût tout près.

Ce n'était point le printemps avec ses murmures de feuillage, étouffés et mystérieux, ses échos lointains, ses chuchotements indécis comme dans un rêve. Non, et il n'y avait pas davantage d'allure nonchalante ni d'arrivée tranquille; tous les pas étaient précipités, on rentrait et on sortait vite, les portes s'ouvraient et se fermaient rapidement avec un claquement retentissant, involontairement la parole prenait quelque chose de bref et d'un peu pénible. Si par hasard quelque chant s'élevait dans l'air il ne tardait pas à s'interrompre, comme si le chanteur eût été saisi brusquement à la gorge. Bien qu'on n'eût pas à s'en inquiéter, cela n'était pas fait cependant pour inspirer des idées bien gaies.

Le soir, quand toutes les portes étaient closes, tous les rideaux baissés, le château, à la demi-lumière des lampes, avait un peu l'air d'un château enchanté, tant ses habitants, grands et petits, se montraient d'habitude rêveurs, silencieux et comme engourdis dans leurs attitudes diversement apathiques. Le foyer seul gardait la vie et le mouvement. Les jets brillants des flammes éclairaient tous les objets par en dessous d'une lumière rougeâtre et faisaient monter jusqu'au plafond des ombres bizarres et tremblotantes. Et partout sur le tapis, les tentures, sur les sculptures des meubles, sur les glaces et les tableaux, aussi bien que sur les figures vivantes, des reflets ardents qui les coloraient de leurs clartés factices.

On finissait le plus souvent la journée par se rassembler dans le salon. Pour suppléer au peu d'entrain de la conversation, quelqu'un faisait la lecture à haute voix. Certainement on y prenait intérêt, mais le trop grand silence endort jusqu'à l'attention. Le moindre bruit extérieur nous faisait tous tressaillir comme quelque chose d'inexplicable.

— C'est la gelée qui vient nous faire visite,— disait l'un de nous.

— Ou bien le vent qui nous demande asile,— disait l'autre,— le bonhomme hiver voudrait bien se chauffer.

Les plaisanteries de ce genre trouvaient en général peu d'échos.

Ou bien c'était l'ouragan qui, hurlant et tourbillonnant, faisait trembler la toiture de la maison et les vitres des fenêtres. Nous prêtions l'oreille et nous échangeions des regards muets et attristés, pensant qu'il y avait peut-être dehors de pauvres gens sans asile obligés de braver dans cette saison redoutable le froid intense dont l'idée seule nous faisait frissonner. Une fois il arriva une si terrible rafale qu'une des vitres du salon se brisa; l'épaisse portière de la fenêtre se souleva comme un voile léger et l'air glacial pénétra dans la pièce avec un bruit rauque. On eût dit la respiration d'un géant satisfait d'avoir enfin réussi son oeuvre. Tout le monde fit un cri et se précipita vers la fenêtre. On vit un coin de ciel bleu, quelques étoiles qui flamboyaient au firmament comme de gros diamants, la nappe blanche et rigide de la neige étendue sur le sol, un toit couvert aussi d'une couche de neige, le sommet d'un arbre ployant sous son fardeau de givre, tout cela hérissé d'étincelles-aiguës: c'était si magnifique et si formidable que de ma vie je ne pourrais l'oublier.

Nous attendions cette année-là un frère aîné qui devait ve-

nir pour les fêtes de la nouvelle année. Grave sujet d'agitations et de discussions parmi les jeunes membres de la famille. Les uns, ne consultant que leur désir, tenaient fermement qu'il arriverait au jour fixé. D'autres, non sans quelque apparence de raison, affirmaient que, par la température qu'il faisait et la neige qu'il avait, une telle exactitude n'était pas possible. Et puis à quel moment de la journée arriverait-il? Serait-ce le matin? serait-ce le soir? Il y avait autant et pas plus de raisons pour l'un que pour l'autre. La petite Vera, la plus jeune des soeurs du grand frère Alexis, pensait, elle, qu'il arriverait le matin et le soir tout ensemble. C'était là sa conviction bien arrêtée, et il n'y eut pas de raisonnements ni de plaisanteries qui pussent l'en faire démordre. Et quand le grand frère arriva dans la nuit, elle ne manqua pas de s'écrier: „Vous le voyez, j'avais bien deviné! C'est moi encore qui avais raison!“ Elle avait toujours raison, c'était du moins son opinion bien formelle.

Depuis quelques jours, dans l'attente où l'on était, la veillée se prolongeait plus tard que d'habitude. On venait cependant de se retirer et les préparatifs pour se coucher étaient déjà commencés mais à un bruit de chevaux de poste qui piaffaient et secouaient leurs clochettes devant la porte d'entrée, tout le monde se précipita. En un instant la famille fut de nouveau sur pied et réunie dans le salon. Et nous revîmes notre cher Alexis. Comme il était grandi! Comme il était embelli! Il y avait plusieurs années qu'il n'était venu à la maison. Tout en changeant cependant, il était resté lui-même. Il était encore mieux qu'auparavant, ce que nous n'aurions pas cru possible, mais nous le retrouvions tout entier, sans rien d'étranger. C'était bien lui.

Comment dépeindre l'accueil enthousiaste qui lui fut fait? Un tumulte de joie, d'attendrissement et d'admiration, éclairé par la lumière des bougies apportées par chacun et déposées au hasard sur tous les meubles. Des exclamations, des piétinements, un tournoiment de figures épanouies et de mains tendues, ayant pour centre le bien-aimé frère, bien heureux aussi. Les plus petits se glissent entre les plus grands pour s'attacher à lui et attirer son attention. Et les regards brillants, et les rires, et les chevelures dénouées, et les petites pantoufles semées sur le tapis... D'une pareille scène l'impression est ineffaçable, mais les détails, ému comme on l'était, on ne les a guère vus. Sait-on seulement ce qu'on a dit et fait soi-même?

Il fallut pourtant se décider à se séparer. Le voyageur devait avoir besoin de repos. Ce fut difficile et on s'y reprit

à plus d'une fois. Enfin chacun s'en alla, avec regret mais le cœur content.

Si on eut de la peine à se coucher et à s'endormir, on n'en eut aucune le matin à se lever. La petite Vera fut debout la première. Tout aussitôt elle alla s'installer à la porte d'Alexis, afin de le saisir dès qu'il apparaîtrait. Elle eût bien voulu l'accaparer pour elle toute seule. Dans le courant de la journée elle ne cessa d'avoir quelque chose à lui demander ou à lui confier. Pour ne pas être troublée, elle se barricadait avec lui entre deux fauteuils, et de là elle jetait des regards farouches sur quiconque faisait mine de s'approcher. C'était une petite personne très-absolue et très-décidée.

On ne s'occupa guère ce jour-là du froid, du vent ni de la neige. Tout le monde était joyeux et babillait à l'envi. Plus de questions que de réponses. Personne ne pouvait tenir en place. La veillée fut encore très-animée. On y causa cependant un peu plus raisonnablement et tranquillement. Et l'on fit des projets à remplir dix existences: projets pour le lendemain et les jours suivants, projets pour le printemps, projets pour l'année prochaine et pour toute la vie. N'ôtez à personne cette joie de pouvoir rêver tout ce qu'il désire.

Il y eut un de ces projets qui obtint tout de suite l'assentiment général et qui fut vivement applaudi par Vera en particulier, ce qui était important, ce qui se trouva même être encore beaucoup plus important qu'on ne l'imaginait.

Il ne s'agissait de rien moins que d'une grande course en traîneau à travers les champs et les bois environnants que notre frère longtemps absent, souhaitait vivement de revoir et que nous n'avions pas moins d'envie de lui montrer. Aussi tout d'abord cette excursion fut-elle fixée au lendemain même. Vera avait affirmé qu'il était impossible d'attendre plus longtemps.

On discuta longuement sur le chemin à prendre et les endroits à visiter. Pour finir on ne décida rien à ce sujet, si ce n'est que, n'importe comment on se dirigerait, ce serait toujours ravissant.

Le lendemain le temps était splendide. Quel bonheur! Ah! Les apprêts furent bientôt faits. Les cris de joie redoublèrent quand le grand frère se montra vêtu en cocher pour la circonstance, pelisse, gants et bottes fourrés, le fouet à la main.

— Comme tu es beau! comme tu est beau! — lui répétions-nous. Il en était vraiment confus, mais il riait tout de même, et pour nous faire taire, il nous embrassa tous à la ronde.

— Comment pouvez-vous vous occuper de moi? — dit-il.—  
Regardez plutôt Vera, c'est elle qui est belle!

De fait, elle était très-belle aussi, la petite soeur; plus que belle, éblouissante sous la capeline ouatée et doublée de satin rose qui lui encadrait la figure et d'où ressortait sans cesse quelque boucle indocile de son épaisse chevelure blonde. Avec quel air majestueux elle soulevait les fourrures dont elle était emmitouflée et enfonçait ses petites mains dans son manchon de martre. On pouvait d'ailleurs l'admirer tout à l'aise; cela ne la troublait en aucune façon.

Le chevaux piaffaient déjà devant la porte. Le grand frère donna un coup d'oeil à l'attelage, puis il monta sur le siège et saisit les guides d'une main résolue, en vrai dompteur de coursiers. Vera la première fut installée dans le traîneau. Un petit frère et deux soeurs plus âgées y prirent place après elle. Le père et la mère étaient là, bien entendu, pour veiller au départ et nous faire toutes leurs recommandations. Du reste ils n'étaient pas inquiets; n'étions-nous pas avec Alexis? On ramena sur nos genoux la peau d'ours du traîneau, on nous dit adieu, nous répondîmes à tantôt, et nous voilà partis.

Le village traversé au galop, nous nous trouvâmes en pleine campagne. Le soleil rayonnait, la neige étincelait, l'air nous cinglait le visage et nous ririons de tout coeur de nous sentir ainsi emportés à travers l'espace, au milieu de la poussière argentine soulevée par les pieds des chevaux. Le grand frère n'était pas plus sérieux que nous. Tout en pressant les chevaux, il se retournait vers nous continuellement.

— C'est amusant, n'est-ce pas? — nous disait-il.

— Oui, oui, bien amusant!

— Faut-il aller plus vite?

-- Oui, oui, toujours plus vite! — répondait Vera.

Et les chevaux bondissaient comme les dragons d'un char de fée, au point que nous étions obligés de fermer les yeux par instants et de mettre nos manchons devant notre visage pour ne pas perdre la respiration.

Bientôt on eut assez de la route tracée. Sur la proposition émise par Vera et adoptée aussitôt par tous, le traîneau fut lancé à travers champs, sur la nappe unie et sans limites qu'ils formaient devant nos yeux.

Alexis voulut se donner le plaisir d'y faire tracer par notre traîneau nos chiffres en lettres gigantesques. Il accomplit ce tour d'adresse avec une merveilleuse habileté et un entier succès, à notre grand applaudissement.

En allant devant soi, on arriva sur le bord d'une petite rivière, de l'autre côté de laquelle ondulait, au penchant des collines, une forêt de grands sapins tout chargés de frimats. La glace, on le savait bien, était de force à porter de bien autres fardeaux que notre traîneau.

— Faut-il la traverser? — demanda le grand frère.

— Certainement, — répondit Vera. — Il faut voir ce qu'il y a sous ces grands sapins-là. Peut-être personne n'y est-il encore allé jamais.

C'était une des idées de la petite soeur, de faire des découvertes et de pénétrer dans des lieux inconnus. Les deux soeurs aînées trouvèrent d'abord qu'on s'était assez éloigné, mais on leur fit honte de leur timidité et elles retirèrent leur veto. La rivière fut donc traversée et le bois exploré; puis on revint, en faisant des détours d'un enchevêtrement plus compliqué que celui de tous les labyrinthes.

Pendant qu'on était sous les arbres, on n'avait pu s'apercevoir que le temps était changé. Quand on s'en aperçut en se retrouvant en rase campagne, on ne s'en soucia pas beaucoup. Les premiers flocons de neige furent même accueillis par des bravos, comme un nouveau motif de divertissement. Mais ces flocons, légers d'abord, ne tardèrent pas à s'épaissir et à former des tourbillons dont la violence et l'intensité augmentaient à chaque instant. Il fallut bien alors en prendre souci. On ne voyait plus à dix pas devant soi.

Alexis avait continué à pousser ses chevaux, mais ceux-ci, vaillantes bêtes cependant, s'arrêtaient à chaque pas, malgré lui et malgré eux. Comment avancer à travers les monceaux mous de la neige fraîchement tombée? Et puis comment se diriger, comment trouver son chemin au milieu de ces ténèbres blanches, fermentant avec fureur comme une poussière d'eau en ébullition et qu'il faut avoir vues pour s'en faire une juste idée? Le ciel, l'air, la terre n'existaient plus; tout était neige.

Dans cette situation, le seul parti à prendre était de s'arrêter et d'attendre que la tourmente fût passée. C'est ce qu'on fit. Avec la peau d'ours soutenue sur l'avant et l'arrière du traîneau, le grand frère nous édifia rapidement une tente sous laquelle nous nous blottîmes tous les cinq le plus commodément qu'il nous fût possible. Alexis tenant les deux petits entre ses bras et ayant les deux autres soeurs vis-à-vis de lui. Nous étions trop familiarisés depuis notre naissance avec la neige pour qu'un pareil accident nous effrayât outre mesure. Il nous restait d'ailleurs de la matinée une bonne provision de chaleur et de

contentement qui nous aidait à prendre courage. Si nous avions été d'abord un peu tracassés de l'aventure, c'était à cause des deux petits enfants; mais leurs rires et leur babil nous prouvèrent bientôt qu'ils n'avaient pas la moindre inquiétude. De temps en temps Vera écartait un peu la peau d'ours et tendait une de ses petites mains au dehors: c'était seulement, nous dit-elle, pour s'amuser à toucher le vent. Le petit Eudoxe, à son imitation, en faisait autant, et c'était une grave question entre eux deux de savoir de quel côté le vent était le plus fort. Le grand frère les mit d'accord en leur disant que c'était dans notre dos, au milieu, que cela soufflait le plus. Ce devait être vrai, car il avait eu soin de tourner le traîneau au rebours du vent, de façon à ce que les chevaux eux-mêmes fussent un peu garantis.

Pour nous faire mieux prendre patience, il se mit à nous raconter des histoires. Il nous parla des Indes, de l'Amérique, des palmiers, des cannes à sucre, des aras bleus et rouges, des jolis colibris qui voltigent sur les fleurs comme des papillons, et de toutes sortes d'autres choses merveilleuses de ces pays-là. De temps en temps il s'interrompait pour examiner le temps et pour secouer la neige qui s'allourdissait sur le pavillon de notre tente. Quant à nous, nous étions si intéressés par ses récits, que nous ne nous occupions plus du tout de ce qui se passait hors de notre logis improvisé.

On pensa bien que nous n'aurions pas été de si bonne composition si nos estomacs d'enfant avaient dû rester à jeûn depuis le matin. Heureusement on n'avait pas oublié, à tout hasard, de munir le traîneau de provisions, et nous n'oublîâmes pas d'y faire honneur. Ce repas presque à tâtons, assaisonné d'une foule de difficultés comiques, fut même un des plus gais que nous eussions jamais faits.

La nuit vient vite en cette saison, nous ne l'ignorions pas: toutefois, lorsque enfin Alexis rejeta la peau d'ours de dessus nos têtes, nous fûmes un peu étonnés à l'aspect du ciel déjà tout brillant d'étoiles. La tempête était finie. Quelques nuages épars s'enfuyaient à l'horizon. La lune, presque dans son plein, éclairait doucement l'immense tapis de la neige immaculée et déjà prise par la gelée.

— Il faut partir, — s'écria-t-on en chœur, — partir bien vite! Papa et maman ne doivent pas savoir ce que nous sommes devenus.

— Je ne pense pas qu'ils soient inquiets, — répondit Alexis: — j'avais dit que nous irions probablement jusque

chez le parrain de Vera. C'était aussi mon idée, puis je me suis rappelé en chemin qu'il devait être absent; mais nous allons rentrer.

Il nous embrassa et rétablit avec soin notre installation. Il secoua aussi les couvertures des chevaux. Pour mettre le traîneau en marche, il fut obligé de les prendre par la bride. Après quoi, il sauta de nouveau sur le siège, et l'attelage partit à fond de train. Aucun chemin n'était visible, mais il n'y avait qu'à s'en rapporter aux chevaux et les laisser se diriger eux-mêmes. Bientôt, à la facilité, à la régularité avec laquelle le traîneau glissait, nous reconnûmes que nous devions être sur une route, et sur la bonne, sans aucun doute.

Par exemple, étions-nous loin? étions-nous près? c'est ce que nous ignorions totalement, et le grand frère n'était pas mieux renseigné que nous. Mais la nuit était magnifique, l'air s'était calmé, et sous nos fourrures nous n'avions pas à craindre la moindre sensation de froid. Que nous importait, par conséquent, une heure de route de plus ou de moins?

Les rires et les babillages avaient donc recommencé de plus belle. Vera avait retrouvé avec une joyeuse surprise, dans la poche de son surtout, un cornet de bonbons que sa mère y avait placés sans la prévenir, et ces bonbons, distribué entre tous, avaient encore accru la bonne humeur de chacun. Tout à coup nous longions une forêt assez touffue, les chevaux, les oreilles dressées, hennirent sourdement et, comme pris de folie, bondirent en avant avec une impétuosité à défier la plus fougueuse locomotive.

Ils semblaient voler plutôt que courir. Eudoxe et Vera applaudissaient de leurs deux mains à cette ardeur désordonnée. Les grandes soeurs elle-mêmes étaient ravies d'abord de se sentir si rapidement emportées, mais bientôt elles ne furent plus si contentes. Leur conducteur paraissait inquiet, elles s'en aperçurent. Après d'inutiles efforts pour modérer l'allure des chevaux, il leur avait lâché les rênes, et elles le voyaient se dresser sur son siège pour explorer du regard la surface unie de la neige.

— Qu'y a-t-il? — lui demandèrent-elles.

— Rien, — répondit-il, — je ne vois rien.

— Ah! ah! — s'écria la petite soeur, — je vois quelque chose, moi: des étoiles, des étoiles tout plein, qui se promènent et courent même dans la forêt!

— Oui, je vois, — dit à son tour le petit Eudoxe, — mais je crois plutôt, moi, que ce sont des lanternes, parce qu'on sera

venu de la maison pour nous chercher... Oh! non, il y en a trop...

Il y en avait beaucoup trop en effet: partout sous les branches des arbres scintillaient deux à deux les étranges lumières. Les deux soeurs aînées les voyaient bien aussi maintenant, mais elles ne croyaient ni aux étoiles ni aux lanternes.

— Qu'est-ce que c'est, Alexis? — demandèrent-elles d'une voix tremblante.

— Je ne sais,—répondit-il;— rien, je pense... la lune sur le givre... dans le bois...

Mais au lieu de chercher maintenant à retenir ses chevaux, il les excita encore par un vigoureux coup de fouet. Ils n'en avaient pas besoin. Nous allions comme le vent. Il n'y avait pas de danger que le traîneau versât, mais nous pressentions vaguement d'autres dangers. Les yeux étaient ouverts, les coeurs oppressés.

— Frère,— dit Vera au bout de quelques minutes,— ces lumières, est-ce que ce ne seraient pas des loups? J'ai entendu dire que leurs yeux brillent comme cela pendant la nuit.

— Bah! — répondit Alexis,— des loups, nous nous moquons d'eux. Ils ne sont pas capables de nous attraper, et dans un quart d'heure nous serons arrivés.

Le village ne se montrait pas encore cependant. Toutes les têtes, d'un commun mouvement, s'étaient tournées en arrière. C'étaient bien des loups. La bande avait quitté la forêt et s'était mise à notre poursuite. Sur l'éclatante blancheur qui nous environnait de toutes parts, nous distinguions parfaitement leurs silhouettes sauvages et les bonds féroces par lesquels ils s'efforçaient d'atteindre le traîneau.

On ne dit plus un mot, on ne fit plus un mouvement. Les chevaux ne faiblissaient pas, notre course était toujours aussi rapide; malgré cela, les loups gagnaient peu à peu du terrain. Dans la nuit morne, au milieu de ce vaste désert de neige, nous entendions le grouillement de la meute acharnée après nous, et ses hurlements sinistres faisant écho aux hennissements plaintifs des chevaux et aux grincements des fers de notre traîneau. Les coeurs souffraient une angoisse inexprimable.

Mais quel redoublement de terreur quand nous vîmes de chaque côté du traîneau s'allonger une tête hérissée aux yeux flamboyants, à la gueule pleine de dents menaçantes! Deux autres loups se joignirent bientôt à ceux-là, puis deux autres, suivis par toute la bande. Déjà de leurs dents aiguës ils essayaient de mordre l'arrière du traîneau. A l'horizon on apercevait bien quelque chose qui ressemblait aux toits inégaux du

village, mais c'était loin, bien loin encore. Les chevaux pourraient-ils aller jusque-là? Si l'un d'eux s'abattait, nous étions perdus. Ils le savaient aussi bien que nous: aussi continuaient-ils à galoper avec fureur, avec désespoir. Alexis les soutenait vigoureusement des guides et du fouet.

De nous tous, les moins effrayés étaient, certes, les petits enfants. Ils regardaient les loups, ils leur parlaient même.

— Voulez-vous bien vous en aller et nous laisser tranquilles! — leur disait Vera.

— Nous ne voulons pas être mangés, d'abord,— ajoutait Eudoxe; — et prenez garde, il y aura bientôt des coups de fusil pour vous.

Le malheur est qu'Alexis était sans armes d'aucun genre.

Un loup, plus agile et plus enragé que les autres, parvint à devancer les chevaux. Il se retourna et se précipita à leur tête, mais il fut renversé, culbuté sous leur sabots ferrés à glace, et roula sur la neige avec un rugissement affreux. Dans le choc, le chapeau d'Alexis tomba à terre. Les loups se jetèrent dessus et le mirent en pièces en se le disputant. Cet incident ne fut pas perdu pour Vera. Ses grands yeux voyaient tout.

Ce ne fut qu'une seconde de répit. Bientôt les horribles animaux, qu'une si maigre proie n'a pu satisfaire, sont de nouveau à notre poursuite. Au moment où ils arrivent contre le traîneau, Vera, instruite par l'effet qu'avait produit le chapeau tombé, lance son manchon au milieu d'eux. Encore quelques instants de gagnés. Les loups reviennent, un second manchon les arrête. Les deux autres manchons leur sont jetés ainsi successivement, mais le dernier, les loups y font à peine attention. Toute la bande, exaspérée par les déceptions qu'on lui a fait subir, reste autour de nous, haletante, implacable. Elle prépare évidemment une attaque décisive... et plus rien à leur jeter. Vera alors fit un bond comme si elle eût voulu se jeter hors du traîneau; et elle le voulait en effet, et elle l'eût fait comme elle le voulait, la chère enfant, si, prompt comme la pensée, Alexis, de son bras robuste, ne l'eût ramenée et fixée à sa place.

— Ah! Vera! — s'écria-t-il.

— Ils n'auraient mangé que moi,— dit l'héroïque enfant,— et pendant ce temps-là — et bien, pendant ce temps-là vous seriez arrivés au village — tous, tous...

Nous nous serrâmes tous les uns contre les autres, Vera retenue au milieu; est-ce que rien devait jamais nous séparer?

Alexis, désespéré, faisait voler la mèche de son fouet

autour du traîneau; — de la voix, du geste, il enlevait par un suprême effort ses chevaux affolés:— la course reprit effrénée, vertigineuse...

Nous fermions les yeux, croyant déjà sentir les terribles morsures; mais soudain des aboiements de chiens nous les firent rouvrir, et presque aussitôt des lumières brillèrent autour de nous... Nous étions dans le village, sauvés, grâce à dieu et un peu aussi à la présence d'esprit qu'avait eu notre chère petite Vera de faire la première aux loups le sacrifice de son manchon... et quand on pense à celui qu'elle avait failli faire encore! Tout mon sang se fige mes veines quand la pensée m'en revient.

La bande des loups s'était arrêtée. Elle avait été forcée de battre en retraite en poussant des cris de rage que longtemps après nous entendîmes encore dans nos rêves. Un seul tint bon jusqu'au milieu des maisons. Il ne s'enfuit que devant la charge impétueuse des chiens de garde, qui étaient de taille à le mettre en pièces.

Inutile de dire dans quelles alarmes on était au château par suite de notre absence prolongée. On avait envoyé à notre recherche, mais du côté où nous étions partis et par lequel on supposait tout naturellement que nous reviendrions. Le malheur voulut qu'après tous nos circuits nous fussions ramenés par le côté opposé. On n'avait donc pu nous rencontrer.

Aucun reproche ne fut adressé à Alexis. Sa pâleur, son sérieux montraient qu'il s'en faisait assez lui-même, et qu'une autre fois il aurait pour nous et pour lui aussi plus de prudence et de raison. A vrai dire, il n'eut pas à en donner la preuve. Ce fut le père lui-même qui, pendant le reste des vacances, se chargea de régler et de conduire nos excursions.

Tous les honneurs de la soirée furent pour les deux petits enfants. Ils avaient été si braves, si raisonnables! Ils n'avaient ni crié ni pleuré. Vera fut couverte des larmes de sa mère, et en l'embrassant son père la serra sur son cœur avec fierté.

Tant que durèrent les récits de notre malencontreuse expédition, l'héroïque petite soeur resta calme et souriante; mais à un moment où l'on commençaient enfin à parler d'autre chose, elle se mit tout à coup à fondre en larmes.

— Qu'as-tu? — lui demanda-t-on avec inquiétude.

— Oh! rien, — répondit-elle, — je suis contente, bien contente; mais je pense au chagrin qu'auraient eu papa et maman...

Elle s'interrompit en voyant pâlir de nouveau le visage d'Alexis. Après avoir fait quelques tours dans le salon, elle revint vers lui, et, le prenant par la main, elle le conduisait devant une jardinière remplie de fleurs venues en serre.

— Tiens, frère,— lui dit-elle d'une voix caressante,— tu vois bien ce petit rosier. Quand il a donné ses roses, il est content, n'est-ce pas? mais cela doit aussi un peu le fatiguer. Eh bien, je suis comme lui en ce moment-ci, très-heureuse, et un peu lasse. Voilà pourquoi j'ai pleuré.

Chère petite Vera! Aussi bonne que courageuse, et elle n'a jamais changé. C'est ainsi: de même que la pusillanimité et l'égoïsme ne vont guère l'un sans l'autre, de même le courage et le dévouement sont inséparables des grandes affections.

## СЕСТРИЧКА

Зима цього року на Україні була чудова, хоч і дуже сувора. Димарі палахкотіли з ранку до вечора, печі гули з вечора до ранку. Треба було якось перемогти холод, який проникав до житла. Густий шар інею заслав шибки у вікнах. На їхній поверхні не просвічувало жодного куточка, звідки б можна було побачити синє небо, віти дерев чи сільські оселі. Все було вкрите непорушною й суцільною білою пеленою. Усе це дуже втомлювало, і треба було час від часу заплющувати очі, щоб дати їм відпочити.

А людський слух багато чого переймав навколо. Серед тріску й блимання вогню вчувалися тисячі звуків, які линули знадвору з надзвичайною ясністю й силою. Це були кроки і голоси людські, тупіт коней, рипіння снігу під гінкими полозками саней, спів когута, гавкіт собаки — і все таке виразне та ясне, що, здавалося, було зовсім близько.

Це нічим не нагадувало весни з її шелестом листя, задушливим і таємничим, з її далекими лунами, з неясним шепотом, мов у сні. Ні, тут не відчувалось недбалого руху чи спокійної ходи; кроки були прискорені, люди з'являлись і зникали швидко, двері відчинялись і зачинялись хутко, з голосним гуркотом, мимоволі з уст злітали слова якось уривчасто й важко. Якщо випадково злинала в повітрі пісня, вона тяглася не довго і скоро замовкала, — наче у співця раптом захлиналось горло. Хоч не було чого хвилюватися, проте співалося не для того, щоб стало веселіше на душі.

Ввечері, коли всі двері були замкнуті, всі завіси на вікнах спущені, господа у тьмяному світлі ламп мала вигляд майже зачарованої, а її мешканці, великі й малі, здавалися якимись мрійниками, мовчазними й байдужими в своїх по-різному зацікавлених позах. Тільки хатне вогнище вияв-

ляло рух і життя. Блискучі спалахи полум'я осявали знизу навколишні речі червонуватим світлом і кидали геть до стелі химерні й тремтячі тіні. І всюди на килимах, на шпалерах, на меблях, на дзеркалах і картинах, так само як і на живих постатях, спалахував гарячий відблиск, який забарвлював їх своїм примхливим світлом.

День здебільшого кінчався тим, що всі сходилися у вітальні. На зміну жвавій розмові часом дехто читав вголос. Звичайно це було цікаво, але надто довге мовчання якось присипляло увагу. Від найменшого шуму знадвору ми здригалися наче від якоїсь несподіванки.

— Це, певне, гуляє мороз,— казав один з нас.

— Або скоріше вітер шукає притулку,— казав інший,— добродійка зима хотіла б погрітися.

Такі жарти не знаходили відгуку.

Та інколи це була буря, яка вила й гриміла, і від того тремтіла покрівля на будинку й шибки у вікнах. Ми уважно прислухалися, перекидаючись німими й сумними поглядами, думаючи, що, можливо, десь є бідні люди без притулку, які змушені терпіти в цю страшну пору лютий холод, і від згадки про нього ми самі тремтіли. Якось налетів такий жахливий вітрище, що одно з вікон у вітальні геть розбилося,— важка віконна завіса замаяла, мов легенька вуаль, і крижане повітря ввірвалося в кімнату з хрипким свистом. Наче це був справжній подих велетня, задоволеного з того, що зрештою дійшов своєї мети. Всі голосно скрикнули й кинулися до вікна. З нього було видно синє небо, кілька зірок, що блищали вгорі, мов великі діаманти, білу й непорушну скатертину снігу, що прослалась на землі, а також покрівлю, так само вкриту снігом, верхів'я дерев, що зігнулись під інеєм,— все це вельми яскраво іскрилося і мало такий величний і грізний вигляд, якого я не можу забути все життя.

Цього року ми чекали старшого брата, що мав приїхати на новорічне свято. Це було причиною хвилювань і розмов молодших членів сім'ї. Дехто твердо вважав, що він прибуде, як того їм хотілось, у призначений день. Інші запевняли не без підстав, що через холод і сніг ця точність неможлива. До того ж в яку пору дня прибуде він? Чи вранці, чи ввечері? Як ті, так і інші були по-своєму праві. Маленька Віра, наймолодша сестра найстаршого брата Олексія, гадала, що він приїде вранці і ввечері разом. В цьому вона була цілком переконана і ніякі докази й глу-

зування не могли примусити її відступитися, а коли старший брат прибув уночі, вона тут же закричала: «От бачите, я вгадала! Я була цілком права!» — Сестричка завжди була права, вона в цьому була переконана.

Кілька днів, у чеканні приїзду брата нічні сходи́ни тяглися довше, ніж звичайно. Цього разу вже почали розходитися і готуватися до того, щоб лягти спати. Та ось почувся тупіт поштових коней, що били копитами і гриміли дзвониками перед вхідними дверми, і всі кинулися вниз. За мить вся сім'я була на ногах і знову зійшлась у вітальні. Ми побачили нашого коханого Олексія. Як він виріс! Який він гарний! Уже кілька років як його не було вдома. Хоч він зовні й змінився, та все ж залишився той самий. Він став ще кращий, ніж був раніш. І хоч це здавалось неможливим, проте ми зустріли його цілком тим самим, нічого в ньому не було чужого. Це був він.

Як змалювати захоплення, з яким його зустріли? Скільки бурхливих радощів, розчулення й піднесення під сьайвом свічок, принесених кожним з нас і розставлених навгад по всіх меблях! Під радісні вигуки метушилися зворушені постаті й простягали руки, а всередині був улюблений брат, так само дуже щасливий. Найменші з нас шмигали між старшими, щоб пробитися до нього й привернути його увагу. І блискучі погляди, і сміх, і скуйовджене волосся, і пантофельки, загублені на килимі... Враження від такої сцени незабутнє, але хвилюючих подробиць майже не пам'ятаєш. Хіба можна згадати, що тоді говорив і робив?

Проте настав час розлучатися. Братові потрібний був відпочинок. Це було дуже важко зробити, і ми знов сходились не раз. Та врешті всі розійшлися, хоч і з жалем, але і з задоволенням.

Хоч важко було лягти спати і заснути, зате легко було вранці встати. Маленька Віра підвелася першою. Ту ж мить вона побігла до дверей Олексія, щоб зустріти його, як тільки він з'явиться. Вона хотіла побачитися з ним наодинці. Цілий день вона не переставала щось розпитувати й розповідати йому. Щоб їх не потурбували, вона причаїлася з ним між двома кріслами і звідти кидала суворі погляди на кожного, хто наближався до них. Ця мала особа була цілком самостійна і рішуча.

В цей день ніхто не звертав уваги на холод, вітер і сніг. Всі були веселі й гомоніли навперебій. Більше розпитували,

ніж відповідали. Ніхто не міг всидіти на місці. Вечірні розмови були особливо жваві. Проте розмовляли трохи розсудливіше й спокійніше. Різних планів вистачило б на десять людських віків: гадки на завтра й на дальші дні, гадки на весну, гадки на майбутній рік і на все життя. Ніхто не збавляв себе втіхи помріяти про все, що він бажав.

Один із цих планів дістав загальне схвалення, і йому особливо захоплено плескала в долоні Віра, що було важливо. Це виявилось значно важливішим, ніж можна було уявити.

Мова йшла про тривалу прогулянку на санях по полях і навколишніх лісах. Наш брат, якого довго не було з нами, дуже бажав знову побачити їх, а ми з неменшою охотою мали намір йому їх показати. Всі одразу призначили цю прогулянку на завтра. Віра всіх запевняла, що чекати більше, як до завтра, аж ніяк не можна.

Довго сперечалися про шлях, який треба обрати, і про околиці, які слід відвідати. Зрештою з цього приводу нічого не вирішили, крім того, що куди б не поїхати, прогулянка все одно буде славною.

Наступного дня погода була чудова. Яке щастя! Всі миттю були готові. Всі радісно закричали, коли старший брат з'явився, відповідно до обставин зодягнений кучером, у хутрі, в рукавицях і в чоботях та з батоном у руках.

— Який ти гарний! Який ти гарний! — гукали ми всі йому. Хоч брат і зніяковів, та все ж сміявся разом з нами і, щоб примусити нас замовкнути, став обіймати всіх гуртом.

— Як ви можете звертати увагу на мене? — сказав він. — Гляньте краще на Віру, — це вона чудова.

Справді, вона була вельми чудова, менша наша сестричка; більше ніж чудова, чарівна в капорі, підбитім ватою і підшитім рожевим сатином, який наче обрамляв її личко і звідки безперестанку витикалися неслухняні кучері її густого білявого волосся. З яким величним виглядом вона куталася в шубку і ховала свої рученята в муфту з куниці! Нею можна було милуватися досхочу, — це її аж ніяк не турбувало.

Коні вже били копитами біля дверей. Брат оглянув упряж, сів на козли і рішуче взяв віжки в руку, мов справжній приборкувач коней. Віра першою сіла в сани. Менший брат і дві старші сестри сіли за нею. Тато і мама були з нами, щоб стежити за нашим від'їздом, і давали нам

напутні поради. А втім, вони були спокійні — адже з нами був Олексій. Ось нам закутали ведмежим хутром коліна в саях, попрощалися з нами, ми відповіли «до побачення» і, нарешті, поїхали.

Швидко проїхавши через село, ми опинилися в чистому полі. Сяяло сонце, блищав сніг, повітря било нам в обличчя, і ми сміялися від щирого серця, коли летіли вперед у сріблястому пилу, який здіймався з-під кінських копит. Старший брат не був розважливіший за нас. Поганяючи коней, він весь час обертався назад.

— Правда ж, цікаво? — гукав він.

— Так-так, дуже цікаво!

— Може, поїдемо швидше?

— Так-так, безперечно швидше! — відповідала Віра.

І коні, мов дракони в чарівній колісниці, мчали так, що ми часом змушені були заплющувати очі й закривати муфтами обличчя, щоб не забивало дихання.

Незабаром ми звернули з битого шляху. На бажання Віри, ту ж мить підтримане всіма нами, санки помчали через поля, по їхній гладкій і безбережній скатертині, що розгорнулася перед нами.

Олексій захотів зробити приємність і став креслити полозками наші вензелі велетенськими літерами. Він робив по снігу круті кола з надзвичайною спритністю і з цілковитим успіхом, під наші гучні оплески. На краю маленької річки, другий берег якої був повитий хвилястою млою, встаючи перед нами на схилі горбів, з'явився великий сосновий ліс, весь укритий інеєм. Міцна крига була в силі витримати більший тягар, аніж наші сани.

— Поїдемо туди? — запитав старший брат.

— Звичайно, — відповіла Віра. — Треба ж побачити, що криється під цими величезними соснами. Можливо, там ще ніколи не було нікого.

Це була одна з мрій найменшої сестри — розкривати й проникати в невідоме. Дві старші сестри спочатку вважали, що це досить далеко, та їх присоромили за їхній страх, і вони не стали перечити. Отже, річку переїхали і ліс оглянули. А потім повернули назад, роблячи гаки й петлі, складніші, аніж у всіх лабіринтах.

Поки були в лісі, ми не помічали, як міняється погода. Коли ж помітили це, повернувшись у чисте поле, ми особливо не хвилювались. Перший лапатий сніг навіть зустріли з захопленням, як нову розвагу. Та цей сніг, спершу

ніби легенький, незабаром став густішим і почав кружляти вихором, що збільшувався кожної хвилини. Нас тоді поймав неспокій. Більш як за десять кроків не видно було нічого.

Олексій весь час поганяв коней, але ці хоробрі тварини мимоволі спинялись на кожному кроці. Як бігти вперед через купи свіжого вологого снігу? До того ж чим керуватися, як знайти дорогу серед цієї білої пільми, яка так шалено вирує, мов пара над окропом, і яку треба бачити, щоб мати правдиву уяву про неї? Неба, повітря, землі більше не існувало,— був тільки сніг.

За таких обставин єдине, що можна було зробити,— це спинитися і зачекати, поки перестане буря. Так і зробили. З ведмежого хутра, що звисало спереду і ззаду саней, старший брат швидко спорудив намет, під яким всі п'ятеро скорчились якомога зручніш. Олексій двох найменших огорнув своїми руками, а дві інші сестриці сиділи навпроти нього. Ми звикли до снігу з малих літ, і цей випадок не міг налякати нас над міру. До того ж у нас зранку залишився великий запас тепла й сили, і це допомагало нам бути сміливими. Якщо ми спочатку були трохи стурбовані цією пригодою, так це через неспокій за долю двох малих дітей. Але вони весело сміялися і гомоніли між собою, і ми скоро переконалися, що нічого за них хвилюватися. Іноді Віра підіймала трохи ведмеже хутро і висувала свої рученята, щоб побавитися, як вона казала, з вітром. Братик Євдосик, наслідуючи її, робив те саме, і, таким чином, вони вдвох вирішували важливе питання, з якого боку вітер сильніший. Старший брат мирив їх, кажучи, що найдужче вітер дме нам у спину, тобто посередині. Це була правда, і довелося сани повернути проти вітру, але так, щоб трохи захистити й коней.

Щоб розважити нас, брат почав оповідати. Він розповів нам про Індію, про Америку, про пальми, про цукрову тростину, про синіх і червоних папуг, про красивих колібрі, що літають по квітах, мов метелики, і про багато інших чудових речей у цих країнах. Іноді він спинявся, щоб звірити час і щоб струсити сніг, що нападав на верх нашого намету. Ми так зацікавилися його розповідями, що вже більше не звертали уваги на те, що діялось поза нашим імпровізованим житлом.

Ми себе почували б добре від цих оповідок, якби наші дитячі шлунки не лишилися натщесерце з самого ранку. На щастя, нам не забули про всяк випадок покласти в сани

харчі, і ми згадали про них. Цей обід майже напомацки, приправлений багатьма смішними труднощами, був разом з тим найвеселішим з тих, які нам будь-коли довелося споживати.

Ніч настає швидко в цю пору,— ми знали про це: і все ж, коли зрештою Олексій відкинув ведмеже хутро з наших голів, ми були трохи здивовані, побачивши в небі блискучі зірки. Буря стихла. Кілька розкиданих хмарок зникали за обрієм. Майже повновидий місяць тихо освітлював чистий і безкрай сніговий килим, уже вкритий інеєм.

— Треба їхати,— загукали всі гуртом,— їхати якнайшвидше! Тато і мама не повинні знати, що з нами трапилось.

— Мабуть, вони й не хвилювалися,— відповів Олексій.— Я сказав, що ми, можливо, заїдемо до хрещеного батька Віри. Це була так само моя ідея, та дорогою я пригадав, що його, мабуть, немає дома. Проте нам пора вертатися.

Він нас обійняв і посадив якомога зручніш. Він струсив також попони на конях. Щоб коні рушили, він натяг поводі. А як сів на козли, вони пішли вскач. Як слід не було видно будь-якої дороги, і тому треба було покластися на коней, давши їм змогу обирати шлях. Незабаром з легкої і впевненої ходи, з якою сани летіли вперед, ми цілком переконалися, що безперечно їдемо по доброму шляху.

Чи далеко ми їдемо, а чи близько? — цього ми зовсім не знали, і старший наш брат був обізнаний не краще за нас. Ніч була велична, повітря було спокійне, і ми в своїх хутрах аж ніяк не боялися морозу. Хіба нас цікавило, далека чи близька дорога?

Ми стали сміятися і пустувати ще більше. Віра з приємним здивуванням знайшла в кишені свого пальта мішечок цукерок, який поклала мама, не попередивши нікого, і ці поділені між нами цукерки ще більше посилили веселій настроїв кожного з нас. Аж ось ми поїхали вздовж досить густого лісу, коні, нащуливши вуха, глухо заіржали і мов скажені кинулися вперед з такою силою, що могли б позмагатися з найшвидшим локомотивом.

Здавалося, коні не бігли, а летіли. Євдосик і Віра плескали в долоні цій шаленій гонитві. Старші сестри так само спочатку були зачаровані блискавичним бігом, але скоро вони вже не відчували захвату. Олексій був неспокійний, і вони це помітили. Після даремних зусиль спинити швид-

кий біг коней, він попустив віжки, і сестри лиш бачили, як він підвівся і застиг на козлах, втопивши погляд у безмежжя суцільного снігу.

— Що там таке? — спитали вони його.

— Нічого, — відповів брат, — я не бачу нічого.

— Стривай! — закричала найменша сестричка. — А я щось бачу: зорі, повно зірок, що гуляють і бігають самі в лісі!

— Так-так, я теж бачу, — сказав і собі маленький Євдосик, — але, мабуть, це просто ліхтарі, з якими вийшли з дому, щоб розшукати нас... О ні! Їх надто багато.

Справді, їх було надто багато: скрізь під гілками дерев блищали подвійні вогники. Дві старші сестри теж майже одразу помітили їх, та вони розуміли, що це не зірки і не ліхтарі.

— Що це таке, Олексію? — спитали вони тремтячими голосами.

— Не знаю, — відповів він, — пусте, я гадаю... місяць на інеї... в лісі...

Але замість того, щоб стримати коней, він раптом щосили оперішив їх батогом. Та в цьому не було ніякої потреби. Ми мчали, мов вітер. Нічого було боятися, що перекинуться сани, і все ж ми неясно відчували якусь іншу небезпеку. Очі були відкриті, серця наші пригнічені.

— Братуку, — сказала Віра через кілька хвилин, — ці вогні, чи вони часом не вовки? Я чула, що так блищать їхні очі вночі.

— Он як! — відповів Олексій. — Вовки... начхать нам на них! Вони не здатні нас догнати, і за чверть години ми будемо дома.

Проте села ще не було видно. Всі ми як один дивилися назад. Там справді були вовки. Зграя покинула ліс і гналася за нами. На блискучім білім просторі, що оточував нас з усіх боків, ми ясно бачили їхні дикі постаті, які шалено скакали, намагаючись догнати сани.

Всі ми одразу замовкли, всі ми наче застигли. Коні не приставали ще, наш біг був досить швидкий, проте вовки помалу наближались. Похмурої ночі, серед безмежної снігової пустелі, ми чули гонитву жорстокої зграї за нами, і зловісне виття вовків зливалось із жалібним ржанням коней і скрипінням полозків саней. Наші серця взялися невимовною тугою.

Та ще вдвічі більший пойняв страх, коли ми побачили

обабіч саней по звірячій голові з палаючими очима і з пащеками, повними вишкірених зубів. Спочатку два інших вовки приєднались до них, потім ще двоє, а за ними й уся зграя. Уже їхні гострі зуби ось-ось торкнуться задка саней. На обрії з'явилося щось, що нагадувало невиразні покрівлі сільських осель, та тільки туди далеко, ще дуже далеко. Чи коні зможуть доскакати до них? Якщо хоч один пристане, ми всі загинемо. Вони це знають краще за нас,— вони мчать мов скажені, в якомусь одчаї. Олексій шалено поганяє їх віжками і батогом.

З усіх нас найменше злякались малі діти. Вони розглядали вовків, вони навіть розмовляли з ними.

— Біжіть собі геть і лишіть нас у спокої! — казала їм Віра.

— Ми не хочемо, щоб нас з'їли,— додав Євдосик,— бережіться, а то вас постріляють.

Та, на нещастя, Олексій був без будь-якої зброї.

Вовкові, що здавався проворнішим і лютішим за інших, удалося обігнати коней. Він повернув і кинувся до них, але перевернувся, збитий підкованими копитами, і покотився на сніг з жахливим виттям. Від поштовху Олексійова шапка впала на землю. Вовки кинулися на неї і роздерли, змагаючись, на шматки. Це не пройшло повз увагу Віри. Її великі очі бачили все.

Та минула тільки мить. І жахливі тварини, не задоволені такою мізерною здобиччю, знову кинулися навздогін. Як тільки вони з'явилися біля саней, Віра, взявши до уваги, яке враження справила на вовків загублена шапка, кинула в них свою муфту. Минуло ще кілька виграних секунд. Вовки знов помчали вперед, спинила їх друга муфта. Дві інші муфти теж були кинуті одна за одною, але остання ледве викликала їхню увагу. Вся зграя, роздратована оманно, лишалася навколо нас, захекана й невмолима. Вона готувалася, мабуть, до рішучої атаки... та більше нічого було кинути. Тоді Віра скочила, наче вона сама хотіла кинутися з саней. І вона справді хотіла це зробити, і вона зробила б, як хотіла, люба наша дитинка, якби Олексій блискавично, як сама думка, не схопив її сильною рукою і не посадив на місце.

— Віро! — закричав він.

— Вони з'їли б тільки мене,— сказало хоробре дитя,— а за цей час,— справді, за цей час ви доїдете до оселі — всі, всі...

Ми щільно притислись одне до одного, Віра була всередині,— здавалося, ніщо нас ніколи не роз'єднає.

Олексій в одчай розмахував батоном навколо саней,— голосом і жестом він гнав в останнім зусиллі збожеволілих коней,— гонитва була нестримна і безоглядна...

Ми заплющили очі, гадаючи, що ось-ось відчуємо, як нас кусають вовки. Та раптом загавкали собаки, і ми розплющили очі, і майже ту ж мить засяяло світло навколо нас... Ми були в селищі, врятовані, завдяки богові, а також трохи завдяки винахідливості нашої любої сестрички Віри, яка першою принесла в жертву вовкам свою муфту... І коли помислити, що вона могла б вдіяти ще! Кров холоне в моїх жилах, коли я згадую це.

Вовча згряя зупинилась. Вона поспішно втекла з шаленим виттям, яке ми згодом ще довго чули в своїх снах. Один вовк уперто гнався аж до самих будинків. Він утік тільки тоді, коли на нього навально кинулись вартові собаки, які могли його розірвати на шматки.

Дарма розповідати, як хвилювались дома під час нашої тривалої відсутності. За нами посилали на розшуки у той бік, куди ми поїхали і звідки, природно, чекали нашого повернення. На нещастя, після всіх наших мандрів ми прибули з цілком протилежного боку. Отже, зустріти нас не могли.

Ніяких докорів не було на адресу Олексія. Його блідість і серйозність свідчили про те, що він зробив висновки для себе і що іншим разом він буде обережнішим і розсудливішим. Хоч, правду кажучи, він не зміг дати доказів. Батько ж до кінця вакацій обтяжив себе влаштуванням і розпорядком наших прогулянок.

Ввечері вся наша увага була зосереджена навколо двох найменших дітей. Вони були такі славні й розумні! Вони не кричали й не плакали. Віра була вкрита слізьми своєї матері, а батько, обіймаючи, притискав її до серця з гордістю.

Поки тривала розповідь про нашу злощасну подорож, героїчна сестричка була спокійна й усміхалася, та коли почали говорити про щось інше, вона раптом пустилася в сльози.

— Що з тобою? — запитали її з тривогою.

— Та нічого,— відповіла вона,— я рада, дуже рада! Але я подумала, як сумували б тато й мама...

Та, побачивши, як знову зблід Олексій, вона тут же

заговкала. Зробивши кілька кроків по вітальні, вона підійшла до нього і, взявши за руку, повела до жардиньєрки, де було повно квітів, зірваних в оранжереї.

— Глянь, братику,— ласкаво сказала вона йому,— бачиш цей кущик троянд? Коли на ньому троянди, він радий,— чи не правда? Та він разом з тим трохи стомлений. Отож я, як він у цю мить, дуже щаслива і трохи стомлена. Ось тому я й плачу.

Люба дитинка Віра добра й смілива, і вона ніколи не змінилася. Як боягузтво і егоїзм аж ніяк не можуть обійтись один без одного, так само й сміливість і самопожертва — це нерозлучні між собою високі почуття.



# Мрачные картины

*Статья*





(„*Gaslight and Daylight*“ by G. A. Sala, „*Paved with Gold*“ by A. Mayhem, „*Unsentimental Journeys*“ by J. Greenwood) <sup>1</sup>.

## I

Русская читающая публика восхищалась беспощадно злым юмором и неприкрашенную правдою в умных произведениях Теккерея; талантливый Диккенс забавлял ее своим тонким остроумием, растрогивал до слез удивительно задушевностью; она читала свежие и дельные произведения Джорджа Элиота и даже знакома с «женщиною в белом» г. Уильки Коллинса и с разными «мертвыми» плодами мисс Брэддон; но, если мы не ошибаемся, произведения Джорджа Саля, Августа Мегью и Джемса Гринвуда ей до сих пор еще неизвестны. Мы считаем нелишним познакомить русскую публику с этими писателями, так как они, на наш взгляд, отличаются довольно замечательными особенностями от прочих своих собратьев.

Произведения каждого из помянутых трех писателей наделали довольно шума в Лондоне и, что гораздо существеннее, настолько потревожили величавых граждан Великобритании, что они сочли нужным обратить внимание на общественные благотворительные, смирительные и воспитательные учреждения и произвести в них кое-какие изменения. Заботливые издатели, ревнующие о распространении просвещения преимущественно посредством предпринятых ими изданий, на заглавном листке каждого нового труда этих писателей напоминают, что Джемс Гринвуд — автор «Ночи в рабочем доме», Август Мегью написал

---

<sup>1</sup> «Газовый свет и дневной свет» Д. А. Саля, «Мощено золотом» А. Мегью, «Несентиментальное путешествие» Д. Гринвуда. Ред.

«Мощено золотом» и из-под пера Джорджа Саля вышел «Газовый свет и дневной свет». Подобная мнительная попечительность со стороны издателей понятна, но она бесполезна и излишня: тот, кто читал эти книги, наверно, твердо запомнил имена их авторов, каковы бы ни были его личные взгляды и убеждения. Его одинаково глубоко (хотя различным образом) потрясает прочитанное, отнесется ли он к авторам с горячим сочувствием или явится их ожесточенным порицателем.

Несмотря на все это, ни Джемс Гринвуд, ни Джордж Саля, ни Август Мегью не сделались настольной книгой не только в изящных аристократических салонах или роскошных буржуазных гостиных, где красуются золото-обрезные Теккерей и Диккенс и дается иногда местечко Джорджу Элиоту, Уильки Коллинсу и мисс Брэддон, но они не сделались настольной книгой даже в более подвижных средах общества; у них нет фаланги чувствительных поклонниц, нет толпы восторженных сторонников, и фирма Таухница, поставившая себе задачей цивилизовать род человеческий легким, приятным и образовательным чтением, не пустила и, по всей вероятности, не пустит в ход таких «мрачных, гнетущих» произведений.

Да, произведения эти действительно не имеют свойства успокаивать читателя или приводить его в сладостно-мягкое или беспечно-веселое настроение; и хотя они пропитаны юмором, но, окончив их чтение, читатель почувствует какой-то тяжелый гнет, и многие так называемые «светлые стороны» и «прогрессивные победы» явятся ему в темном цвете.

Все читатели, смеем надеяться, прекрасные люди, но дело в том, что большинство их привыкло, чтобы его щекотали очень легко и этим легоньким щекотаньем вызывали смех или слезу; более резкое прикосновение руки заставляет их нервно вздрагивать и приводит в отвратительное расположение духа.

Разумеется, благонамеренный читатель желает, чтобы ему говорили правду, но он выслушивает эту правду благосклонно только тогда, когда она высказывается ему деликатно и умеренно. Но представьте себе человека, воистину равнодушного к земному величию, человека, который в пылу рвения и усердия забывает отдать почтительный поклон читателю, наступает ему на ноги и оттаптывает мозоли, и подумайте, как эти самые благосклонные уши должны

насторожиться! Несомненно, что с этой же самой минуты наивный вещатель истин будет взят на замечание и безвозвратно причислен к категории тех неблагонадежных волков, которых сколько ни корми, а они все в лес глядят.

Есть изолированные люди, повторяющие слова, которые, по преданию, восклицал пророк Иезекииль: «Горе вам, подкладывающим мягкие подушки под локти человечеству и устраивающим человечеству пуховые изголовья, горе вам, усыпляющим его!» Но эти люди наперечете, и их одинокие голоса заглушаются криками и воплями изнеженного большинства, которое именно требует мягких подушек и пуховых изголовий.

Человек слаб и писатель слаб тоже, и потому он западается, выходя на поприще, именно теми вещами, какие требуются.

Это можно отнести не только к тем писателям, которые, искусно мешая истину с вымыслом, уверяют, что мрак рассеивается и рассеется сам собою, и этим убаюкивают человечество, но и к тем, которые, ясно сознавая необходимость немедленной перестройки «общественного здания», предлагают сделать эту перестройку так, чтоб и дешево, и мило, и родителям приятно.

Подобных писателей мы разделяем на два разряда. Одни, в простоте душевной, сами твердо верят в доброту предлагаемого ими товара; другие, хотя и не имеют этой наивной веры, но по своим расчетам и соображениям предпочитают выступать на арену «высокой деятельности», запасшись таким товаром, какой требуется большинством. Первые, несомненно, очень много вредят, и случается, дюжий детина из их стана швырнет камень так далеко и так глубоко, что десятерым разумным головам приходится долго и мучительно обдумывать и соображать, как бы этот камень вытащить; но вторые вредят неизмеримо больше и неизмеримо прочнее, потому что не бросают наотмашь камнями, а действуют расчетливо и осмотрительно и никогда почти не дают промаха. Они обладают в высшей степени искусством в меру припугнуть, в пору ободрить; умеют кстати нахмуриться и побичевать, кстати сказать теплое слово и приласкать; они знают, как и когда взяться за дело, и носят такую личину, что при нервом на них взгляде всякий простодушный голову готов прозакладывать, что видит перед собою людей, чуждых всякой земной корысти и расчетливости и движимых единственно

чувством любви к ближнему. Под этой личиной они нередко втираются в честную, но близорукую среду и с холодной бессовестностью сбивают с толку свежие силы.

Джордж Саля, Август Мегью и Джемс Гринвуд принадлежат к особому, самому малочисленному разряду тех писателей, которые являются перед публикою без всяких поклонов и уловок, не отличаются вкрадчивою мягкостью, не умеют или не желают петь Лазаря, а скорее относятся к ней деловым образом и вообще предпочитают обращаться с своим ближним не как с чувствительным, а как с разумным существом. Подобные неделикатные авторы для благонамеренных читателей хуже ножа острого; они бегут от них, как от огня, обзывают их холодными циниками, не признающими ничего высокого и святого на земле, и стараются внушить всем, что с такими срамниками и изуверами не следует и соприкасаться добрым людям.

Сословие благонамеренных читателей очень многочисленно, они очень крикливы, однако, при всей своей многочисленности и крикливости, они не в силах подавить меньшинства людей иного закала, тех людей, которые не боятся взглянуть прямо в лицо существующему злу, не бегут прочь при виде общественных язв. Эти здоровые, свежие, крепкие люди сразу узнают в вышеупомянутых авторах честных деятелей и встретят их с уважением и сочувствием.

## II

«Достоверно известно, что в Лондоне существует 70 000 человек, которые просыпаются каждое утро в совершеннейшем неведении насчет того, где им преклонить голову на ночь. Быть может, таких людей немного больше или немного меньше 70 000, но несомненен тот факт, что огромное количество народа ежедневно находится в упомянутом недоумении и что для большинства из них недоумения эти разрешаются самым неприятным образом, т. е. они вовсе остаются без приюта на ночь».

Этими словами начинается книга г. Джорджа Саля «Газовый свет и дневной свет, и некоторые сцены лондонской жизни, на которые падает это освещение».

Подобное вступление само по себе такая задача, что заставляет призадуматься человека, исполненного самых отчаянных упований, которому настоящее и будущее пред-

ставляется в переливах самых радужных цветов. Следующее затем описание ночи, случайно проведенной автором беспомощно на улице, вводит, так сказать, в самую сущность дела.

«Полночь. Об этом докладывают мне часы св. Дунстана, когда я, бесприютный, стою около Темпл-Бара. Я изрядно походил в продолжение дня, и меня беспокоит неприятное ощущение в ногах, как будто бы подошвы моих сапогов сделаны из пережженного мелкого кирпича. Меня томит жажда (на дворе июль месяц и душно); как раз при последнем ударе часов св. Дунстана я вхожу в пивную лавочку, выпиваю полпинты портера, и девятая часть моего девятипенсового капитала оставляет меня навеки. Пивная лавочка, снабжающая меня портером, принадлежит к числу «ранних», и хозяин, подавая мне полпинты, зевает и сонным голосом приказывает своему мальчику запирать ставни и двери, потому что «пора в постель». Счастливый хозяин! Тут же доканчивает свою последнюю пинту сильно упившийся щетинистобородый портной и тоже объявляет намерение пойти «завалиться». Трижды счастливый портной!

Я с свирепою завистью провожаю его глазами, хотя, быть может, у него спальня где-нибудь на грязном чердаке и вся постель состоит из засаленного мешка в заплатках, и вместо одеяла будет служить матросская куртка.

Я наблюдаю с особым родом ленивого любопытства весь процесс закрыванья ставен и замыканья дверей в Бертонском пивном заведении, начиная от огромного хлопанья ставенными половинками, визготни задвижек и вплоть до прилаживанья болтов и железных затворов. Затем я направляю шаги к западу, останавливаюсь на углу улицы Веллингтона и погружаюсь в созерцание находящейся тут извозчичьей биржи.

Выбивайся из сил, усталый, измученный ум! Истощайся в ухищрениях, искусная находчивость! Изнемогай в томлении, талантливая изобретательность! Все вы, вместе взятые, напрасно изворачиваетесь и не приобретете мне презренного местечка для приюта и ночлега!

Обладай я восхитительным бесстыдством, спокойной дерзостью моего приятеля Больта, я бы пяти минут не остался без постели. На моем месте Больт, я уверен, без малейшего колебания отправился бы в самый лучший отель на Альбмерль-стрите или на Джермин-стрите, потребовал

бы себе ужин, позвал слугу, приказал хорошенько нагреть себе постель и затем, с верою в провидение и свою счастливую способность падать, подобно коту, на все четыре лапы, спокойно заснул бы до утра. Но мне в этом случае так же легко подражать Больту, как плясать на канате.

Вот и Спендж тоже — он всегда, в благодарность за оказанную помощь, грубит вам и не просит, а грозно требует, чтоб вы делились с ним съестными припасами или ссудили ему полкроны,— Спендж, будь он на моем месте, ворвался бы к знакомому и, если бы не согнал этого знакомого с постели, то, по крайней мере, завладел бы на ночь его диваном и каким-нибудь плащом, а на утро с буйной пылкостью потребовал бы завтрака. Если бы я мог быть хотя Спенджем!

Что мне делать? Теперь ровно четверть первого; как же это бродить до завтрашнего утра? Положим, я могу исходить три мили в час,— неужто мне придется сделать тридцать пять миль по этим ужасным лондонским улицам? Положим, пойдет дождь,— неужто мне простоять двенадцать битых часов где-нибудь под воротами?

Я слышал о темных арках в Адельфи и о бездомных горемыках, которые там ищут ночного приюта, но я тоже читал, что полицейским внушается каждую ночь отправляться туда, отыскивать помянутых горемык и выгонять их из жалкого убежища. Я слышал еще о сухих арках у Ватерлоского моста и об арках при железной дороге, но я оставляю всякую мысль искать приюта там, потому что я робок и боязлив от природы и не могу заглушить в себе тревожных мыслей о *хлороформе* и о *спасительном снаряде*, которые тесно связаны с этими местностями.

Я слышал тоже о постоянных дворах «для бродяг» и о «двухпенсовой веревке». Я не могу положительно утверждать, что не воспользуюсь этим родом ночлега: я жестоко устал и совсем разбит на ноги. Но я не знаю, где мне отыскивать такой постоянный двор, где найти двухпенсовую веревку, а спрашивать о таких местах я стыжусь.

Если бы мне где-нибудь прилечь. Я стараюсь угадать, благосклонно ли примет вон этот кучер, если я предложу ему кружку портера взамен позволения отдохнуть в его экипаже, пока его никто не требует, или он сочтет подобное предложение оскорбительным для своего кучерского достоинства? Я знаю, что некоторым кучерам случается иногда простоять целую ночь на месте, и я мог бы пре-

отлично выспаться в карете № 2022. Но кучер, который разводит речи с водоносом о пиве и демократической политике, не внушает мне благонадежного о себе мнения; ни он, ни остальные находящиеся тут его собратия не похожи на людей, к которым можно обратиться с доверчивою просьбою.

Нынешним вечером дают оперу, как я случайно узнаю из замечания проходящего мимо полисмена. Пойду поглазею на разъезжающиеся после оперы экипажи; это зрелище, наверное, развлечет меня и поможет мне скоротать томительное время.

И я направляюсь к Ковентгарденскому театру с каким-то, похожим на надежду, чувством.

Я сразу попадаю в самую толпу. Толкотня, суматоха, крик и гам страшные; топот ретивых коней и укоризны взволнованных полисменов оглушительны. Вот экипаж мистрисс Фиц заступил дорогу, а вот мистер Смит стоит, совершенно растерянный, в хаосе мелькающих экипажей, с двумя леди на каждой руке и беспомощно восклицает: «Кеб!» Вот забавный эпизод в образе полисмена, преследующего увертливого карманщика между лошадиными мордами и под колесами; а вот трогательный эпизод в лице пожилой девственной леди, которая потеряла свою компанию во всеобщей давке и башмак в грязи и подпрыгивает около подъезда, как воробей в агонии.

Скоро, однако, все это кончается. Экипажи с громом катятся, и кебы разъезжаются. Важный люд, лорды из Ломбард-стрита и владыки из Корнгилля, исчезают в великолепных каретах, сзади и спереди украшенных гербами; герцоги и маркизы уносятся в крошечных колясочках и микроскопических кабриолетах. Самая высокая особа страны отъезжает в простой, незатейливой карете с двумя лакеями в черном, и джентльмен из провинции, стоящий около меня, с негодованием восклицает, что скорее подумаешь — это едет доктор, а не королева Великобритании. Мистер Смит нашел экипаж, а воробьеподобная леди свою компанию и башмак. Почти все разошлись и разъехались. Нет, не все еще. Вот показывается у выхода джентльмен, заботливо исправляя громадный бант своего белого галстука и завертываясь во что-то среднее между лошадиною попоною и балахоном, именуемое «оперною накидкой». Джентльмен считает «благородным» препровождением времени посещать оперу; он пойдет теперь домой в Клеркенуэль, с футляром своей театральной трубки в руках,

выставляя на вид белые лайковые перчатки, чтобы дать почувствовать всякому встречному, что он идет из оперы. Без сомнения, это покажется назидательным следящим за порядком полисменам и ночным скитальцам. Следом за джентльменом выходит «обычный» посетитель всех опер, вероятно, большой любитель музыки. Сложив аккуратно свои перчатки, он прячет их в боковой карман, складывает лорнет и застегивает пальто. Затем он неспеша отправляется в Альбион, где, я вижу, важно принимается за пинту крепкого пива. Ну, теперь все, пешие и конные, исчезли. Тяжелые, массивные двери закрыты, и королевская итальянская опера предоставлена пожарному, ночному мраку и мне.

Пока все это вертелось перед глазами, вопрос о постели был временно отодвинут в сторону. Разрешение его еще немного отложено забавой и поучением, которые я извлекаю, наблюдая за деятельною торговлею ветчиной и говядиной в мелочной лавочке на углу Боу-стрита.

Тут целые толпы изморенных и голодных покупателей, прямо из Лисеума или Джери-Лена, громогласно требуют «ломтиков». Ломтики с ветчиной, ломтики с говядиной, ломтики с немецкой колбасою — целые легионы ломтиков нарезаются и истребляются. Раздается крик: «Горчицы!» Медь гремит, протягивается плата и берется сдача. Потом приходит народ, который покупает и несет домой полфунта «холодной тряхухи» или трехпенсовую порцию «грудины»; я пылливо наблюдаю за этим народом, за покупаемым ими материалом и за их грошами. Я с живейшим вниманием гляжу на весы и жду с трепещущим интересом, чем окончится томительная борьба: перетянет вот этот последний кусочек жира или полуунцевая гирька. Полуунцевая гирька перевесила, и хозяин лавочки бойко ударяет лезвием ножа по куску мяса и с торжеством гремит полученною платою. Я так увлекся всем этим движением, что не заметил, сколько прошло времени; когда покупатели начали сбывать, я взглядываю на часы и с приятным удивлением убеждаюсь, что уже десять минут второго.

Много еще впереди тяжелых, томительных ночных часов. Улицы не совершенно еще опустели, попадаетесь довольно людей, но «почтенные» прохожие и проезжие личности постепенно исчезают, а число «непочтенных» увеличивается с ужасающей быстротой. Полисмены, закутанные в плащи, дрожащие ирландские бродяги и какие-то

мелькающие как будто женские тени завладели Боу-стри-том и Лонг-Акром. Они остались бы единственными хозяевами Джери-Лена, если бы не высыпали молоденькие воры и не шаталось несколько пьяных каменщиков.

Я блуждал по этой неблагоприятной улице и останавливался, рассматривая ее с безотрадным чувством. Меня теперь поражают в ней углы улиц. На самой улице почти нет ни души, но на всех углах непременно устроен столб и почти у каждого столба видишь прислоненные фигуры: здесь два дюжих полисмена ведут гражданские речи, здесь две женщины, а вон там кучка бледнолицых парней, с длинными, замасленными волосами и с короткими трубками. Воры, мой друг (если есть у меня друг), несомненно воры!

Промысловых, настоящих нищих теперь не видать — с какой стати им теперь выходить на улицу! *Попрошайки-нищенки* отправились домой ужинать и спать, *попрошайки-нищие* тоже ушли ужинать и спать. У всех у них есть постели!

Около некоторых ворот виднеются какие-то свернувшиеся кучи; время от времени подходит к этим кучам полисмен и ворочает их своим жезлом или, вернее, своим сапогом. Тогда вы видите беспорядочное движение рук и ног и слышите тоскливое стенание с ирландским акцентом. Если блюститель ночного порядка станет настаивать на своем «прочь убирайся», ноги и руки сделают несколько усилий, протащутся шаг-другой, и как только полисмен отвернется, закрадутся под другие ворота, — и, быть может, через четверть часа снова будут выгнаны отсюда другим жезлом или другим сапогом.

На часах св. Марии половина второго, и я нахожусь в Чарльз-стрите, в Джери-Лене. Это очень грязная, маленькая, узенькая улица; она в этом отношении может тягаться с Черчь-Леном или с Бекридж-стри-том. Однако неопределенное, но сильное чувство влечет меня вперед по ее гнусным извилинам и заставляет пройти еще сотню шагов. Тут я останавливаюсь.

«Квартиры для холостых мужчин за четыре пенса в ночь». Мои глаза встречают это приятное объявление на оконном стекле, освещенном изнутри. Я отступаю на средину улицы, чтобы лучше охватить взором здание, предлагающее ночлег за четыре пенса. Это отвратительный, грязный дом, похожий на какой-то разбойничий вертеп, — но всего четыре пенса! Возьмите это во внимание, господин

неженка! Бесчисленное множество писанных объявлений наклеплено на дверных косяках, и при свете ближней уличной лампы я могу их читать. Я разбираю льстивое сказание об отдельных постелях, о всяком снисхождении в стряпне и о всегда готовой к услугам теплой воде. Я вразумлен, что здесь неподражаемый постоялый двор и, кроме того, наслаждаюсь островами насмешливых куплетов насчет Спитальфильдского большого постоялого двора, который в этих куплетах обзывается «Бастилией». Я невольно начинаю ловить в кармане свои восемь пенсов. Господь ведает, в какую компанию мне придется попасть! Но ведь всего четыре пенса, а ноги у меня так устали! *Iasta est alea*<sup>1</sup>. Я отважусь попробовать четырехпенсовой постели.

Меня встречает так называемый выборный, или помощник заведения, коротко остриженный, низколобий, отупевший олух, который, говорят, бывает временами крутеек с чересчур пытливыми и любопытными гостями. Но так как я прихожу спать, а не любопытствовать, то меня не обижают, а только осматривают с головы до ног и впускают. Я узнаю, что в заведении осталось одно свободное место, которое предоставляется мне занять. Я плачу четыре пенса и тогда — никак не прежде — меня вводят в смрадный коридор. Выборный замыкает двери и, помахиывая железным подсвечником, как будто бы он был античным скипетром, приглашает меня следовать за ним.

Но когда, взобравшись по заскорузлым ступеням, я очутился в спальне и выборный с волчьей миной пожелал мне доброй ночи, что же заставляет меня стремглав бежать с лестницы и мчаться по коридору, умоляя выборного выпустить меня, во имя всего святого, на улицу? Когда выборный отмыкает двери и выпускает меня, обзывая кое-какими нелестными именами и задерживая мои четыре пенса, я стою в каком-то полуобмороке на улице, покуда меня не приводит в чувство и не заставляет опомниться едва не сваливший с ног толчок, которым попотчевала меня шайка бродячих пьяниц, оглашающая окрестность пьяною хоровою песнею.

Я не был поражен подозрительною наружностью выборного, ни разбойничьим видом заведения. Меня даже не поразил вид грязных и оборванных горемык, с которыми приходилось вместе ночевать. Меня просто-напросто

---

<sup>1</sup> Жребий брошен (лат.). Ред.

ошеломила вонь от клопов. Ух! Они так и кишели тут! Они ползали по полу, падали с потолка, перегоняли друг друга по стенам!

На улицу! На улицу!

Но дойдя до Броат-стрита, в Сент-Джилльсе, я уже начинаю думать, что поступил опрометчиво. Я чувствую себя таким усталым, таким измученным, таким сонным и мне приходит мысль, что останься я в заведении, я бы заснул в ту же минуту, как убитый, и не мог бы чувствовать, как клопы меня пожирают. Теперь уже поздно. Четыре пенса утрачены, и я не посмею взглянуть в лицо выборному.

Два часа утра, но на дворе черная, непроглядная, непроницаемая ночь; я повертываю в Оксфорд-стрит. Мелькающие женские тени попадаютя реже на глаза. Четверть третьего. Я дошел до Реджента и могу выбрать, что мне угодно: прогуляться в окрестностях Реджент-парка или спокойно побродить около клубов. Совершенная роскошь! Я выбираю клубы и тащусь вниз по Реджент-стриту, к Пиккадилли.

Я чувствую, как с каждою минутою влезаю, так сказать, в кожу настоящего ночного бродяги — бездомного, отчаянного, горемычного бродяги. Я чувствую, ноги мои заплетаются нога за ногу, плечи поднимаются к ушам, я держу руки, поджав их под мышки; я уже не хожу, а ползаю; хотя на дворе июль месяц, я дрожу, как лист. Когда я стою на углу Кондвит-стрита, проходящая фигура в атласе и в черных кружевах бросает мне пенни. Как могла она узнать, что я бесприютен и беспомощен? Я не гляжу оборванцем, но моя беда, должно полагать, все-таки очевидна. Я принимаю брошенный мне пенни.

Меня удивляет, куда это подевались все полисмены? Я прогуливаюсь взад и вперед по середине великолепнейшей улицы и не встречаю ни души. Погодите, вот из-за стены Тенисонс-Чепель показывается юный, светлоголовый британец. Все его одеяние состоит собственно из одних панталон в ломотьях, потому что об остальных частях костюма не стоит и поминать. Он буйно обращается ко мне, требуя позволения перекувырнуться передо мной и прокатиться колесом три раза сряду, — все это за пенни. Я отдаю ему пенни, полученное мною от фигуры в атласе и черных кружевах, и прошу его не затруднять себя кувырканьем и катаньем колесом. Но строгая честность не позволяет ему отступить от предложенного раз условия и,

заложив за скулу пенни, он кувыркается, катится колесом и в колесообразном виде исчезает у меня из глаз.

На углу Квадранта ко мне присоединяется собака, не чистокровной, а смешанной породы собака. Я тотчас узнаю, что эта собака, подобно мне, бесприютная. У нее нет той решительной, сильной рыси, которыми отличаются домовитые, пристроенные собаки; она нерешительно и бесцельно блуждает, с притворным, деловым видом завертывает во все закоулки и с опущенной головой возвращается оттуда на улицу; она останавливается и задумывается над сигарными окурками и капустными кочерыжками, чего не стала бы делать ни одна собака, имеющая определенное жилище. Но даже эта собака счастливее меня, потому что она может лечь на каком-нибудь пороге и отдохнуть — никакой полисмен не запретит ей сделать это; но «новый полицейский акт» не позволяет так поступать мне и угрюмо говорит, что я должен «идти прочь».

У! Вдали слышен шум — ближе-ближе, громче и громче! Пожарная труба несется во всю прыть, и в одно мгновение улица наполняется народом.

Откуда вдруг взялся этот народ — я не могу сказать, но он тут, — тут сотни людей, которые все кричат и шумят. Труба едет дальше, шумная толпа следует за ней, с завыванием ночного ветра смешивается страшный крик: «Пожар!»

Я, разумеется, тоже бегу следом за толпой. Мчащаяся во весь опор пожарная труба представляет для ночного бродяги такую же неотразимую прелесть, как большая свора собак для лейчестершейрского фермера. Пожар в узкой улице Сога, в овощной лавке. Пожар силен, и это, я полагаю, приятно толпе; но в доме никто не живет, что, конечно, производит некоторое разочарование, потому — вы знаете — сильные ощущения на пожаре составляют всю его прелесть. В виде вознаграждения за это подле обитает не менее трех семейств с маленькими детьми; толпа чрезвычайно восхищается, когда их, в ночных одеждах, проворно выносит пожарная команда.

Еще сильные ощущения! Дом на противоположной стороне захвачен огнем. Толпа в восторге, а между тем воры делают единодушное нападение на все возможные карманы, какие только есть поблизости. Не скажу, чтоб мне было приятно, но я заинтересован, чрезвычайно заинтересован. Я стал бы качать воду, но не имею достаточ-

ной силы в руках. Я вижу, что те, которые качают, получают пиво.

Я так долго смотрел на пылающее здание и, как бы греясь среди шума, криков и смятения, слушал сиплый стук орудий, восклицания толпы, глухой треск пожара, что вопрос о ночлеге совершенно отклонился и я вовсе забыл о нем в это время. Но огонь погашен или, по крайней мере, с ним удалось, наконец, справиться, и когда языки пламени и снопы летящих искр сменились столбами дыма, сильные ощущения, естественно, начинают несколько ослабевать и удивление толпы уменьшается; отвернувшись от обуглившейся и разбитой овощной лавки, я слышу, что часы в церкви св. Анны в Сого бьют четыре, и вижу, что уже наступил белый день.

Еще предстоит блуждать четыре тяжелые часа, пока начнется настоящий лондонский день; для довершения моего безутешного положения, крайней усталости и неумолимой беды, которая тяготеет надо мною, начинает идти дождь, и притом не сильный, пробивающий насквозь ливень, а дождь, медленно, однообразно, отвратительно моросящий,— дождь, который мочит, не смачивая, который то обманчиво наводит вас на мысль, что сейчас пройдет, то внезапным брызгом прямо в лицо насмешливо дает знать, что вовсе не имел подобного намерения. Я пробираюсь по узким маленьким улицам около Сого поистине в самом жалком положении, не встречая никого, кроме какого-нибудь кота, возвращающегося из своего ночного собрания, и угрюмого полисмена, который с сердитым видом ощупывает болты у ставней и дергает за дверные скобки домов, как бы опасаясь, чтобы какой-нибудь неосмотрительный обыватель не оставил ни малейшего искушения для хитрых воров.

Встречаю в Гольден-сквере другого полисмена, мрачного и недовольного; вероятно, ему не удалось воспользоваться обществом должностного лица, которое стережет спасительные пожарные снаряды в этом модном краю города и еще не возвратилось с пожара. Когда я прохожу мимо, полисмен достаивает меня долгим взглядом.

— Доброе утро! — говорит он.

Я отвечаю таким же приветствием.

— Идете домой спать? — спрашивает он.

— Д-д-да,— отвечаю я.

Он повертывается на каблуках и больше ничего не

говорит; но я замечаю иронию в его бычачьих глазах, презрительное недоверие в его навощенном воротнике! Не нужно даже того долгого тихого свиста, до которого он снисходит, чтоб дать мне понять, как он хорошо знает, что у меня нет ни дома, ни постели.

Я осторожно прокрадываюсь по Шеррард-стриту. Не знаю почему, но я начинаю бояться полисменов. Я никогда не нарушал закона и, однако ж, избегаю его «охранителей». Звук их тяжелых каблуков со шпорами отнимает у меня спокойствие. Один из них стоит у дверей заведения гг. Суана и Эдгара, и, чтоб избежать встречи с ним, я даже оставляю решение пройти по Реджент-стриту и, вместо того, возвращаюсь по Геймаркету.

Вот трое молодцов, которые, очевидно, имеют постели для ночлега, хоть и запоздали несколько отправиться на покой. Я знаю, что у них есть ключи от квартир, знаю по их решительному виду, по их дерзкой, смелой речи. Они только что вышли или были выпровожены из устричной лавки. Они все трое очень пьяны, переменялись по ошибке шляпами, а у одного в платке завязано несколько морских раков.

Эти многообещающие джентльмены вышли с «пирушки». Двери трактиров и гостиниц выпускают целые отряды таких молодцов по всему Геймаркету; некоторые из них самого благородного вида, с смело закрученными усами и бакенбардами; мне кажется, что я их видел прежде и, вероятно, увижу опять,— увижу их, украшенных ботфортами и золотыми шнурками, гарцюющих на огромных вороных лошадях подле экипажа ее величества, когда она поедет открывать парламент. Джентльмены или, скорее, посетители «пирушек» называют их «душой общества». Они, вероятно, будут спать в нынешнее утро в полицейской караульне и будут оштрафованы различными денежными суммами за распутное поведение. Могу сказать, что эти люди в течение трех лет будут пьяны по триста раз в год. В эти три года они проведут несколько десятков полисменов, сломают несколько сотен газовых ламп, сотни раз «утекут» из рук охранителей порядка и произведут очень много шума. Они поедут по железной дороге в Эпсон и будут заводить беспорядки в пути. Они будут посещать за полцены Адельфи, а потом отправляться в ночные пристанища. Растратив свое жалованье на разврат, они получат новые денежные запасы от людей, дисконтирующих вексе-

ля, но и эти деньги у них будут ловко вытянуты содержателями игорных домов. Настанет день, когда и здоровье, и деньги этих джентльменов будут израсходованы, когда все векселя у них будут выпрошены, когда они будут достаточно обобраны всякого рода промышленниками: тогда они должны будут оставить занимаемые теперь места и будут отвергнуты своими друзьями. Тогда они переселятся в улицу Белого Креста, предстанут пред суд несостоятельных должников и, бог знает, должно быть, плачевно кончат жизнь: быть может, перед смертью дойдут до *delirium tremens*<sup>1</sup>.

Мне пришла фантазия прогуляться по Сент-Джемскому парку; я уже готов спуститься по огромным ступеням каменной лестницы, ведущей в Малль, и встречаю толпу служителей Марса, состоящую из гренадера в сюртуке, с зажженным фонарем (хотя уже светло, как в полдень), офицера в плаще и четырех или пяти гренадеров, одетых также в сюртуках; все они имеют донельзя смешной вид в этих безобразных серых костюмах. Офицер, по-видимому, смотрит на все с чувством неподдельного отвращения и обязанность, к которой призван, считает истинным наказанием. Если не ошибаюсь, описанные люди составляют «дозор» или что-то в этом роде. Когда офицер, при виде часового у памятника герцога Йоркского, обращает к нему какой-то непонятный вопрос, офицеру дается ответное, но столь же непонятное мычание. Тогда передовой гренадер вертит бессмысленно своим фонарем, вроде того, как король Лир играл соломинкой, а офицер размахивает шпагой; теперь я полагаю, «дозор», насколько дело касалось герцога Йоркского, кончен, потому что вся команда важной поступью направляется по Палль-Маллю, к памятнику герцогини Кентской.

Я оставляю этих людей с их затеями и печально начинаю шататься по Палль-Маллю. Теперь еще только три четверти пятого; я так измучен и утомлен, что едва могу волочить ноги. Дождь прекратился, но утренний воздух сыр и холоден, и эта сырость, кажется, проникает до мозга моих костей. Волосы у меня мокры и грязными прядями падают на щеки. Ноги мои, кажется, разрослись до нелепых размеров, а сапоги — до нелепости сузились. Я желал бы быть собакой или полевой крысой! Как бы я хотел, чтоб тут был стог сена или груда мешков, или что-

<sup>1</sup> Буйное помешательство (лат.). Ред.

нибудь подобное? Думаю, теперь я нашел бы отдых даже на тех ужасных покатых досках, которые видал в Париже приготовленными в сторожке на набережной для найденных утопленников. Я имею поползновение разбить фонарь — пусть бы меня взяли в полицейскую караульную! Или броситься с Вестминстерского моста? Должно быть, я трушу, потому что не делаю ни того, ни другого. Заметив под деревом скамейку, я бросаюсь на нее; и как это ложе ни жестко и как ни преисполнено горбами и желваками — я все-таки свертываюсь наподобие комка и стараюсь заснуть. Но, тщетная мечта! Я ужасно, мучительно бодрствую. Чтоб до краев наполнить горькую чашу своих страданий, я встаю и делаю круг или два; тогда я чувствую такое изнурение, что, кажется, могу спать стоя; но как только, улучив благоприятное, по моему мнению, для дремоты мгновение, снова бросаюсь на скамью — чувствую, что сон также далек от меня, как и прежде!

Тут, кроме меня, есть еще один бесприютный бродяга лет восемнадцати; он быстро заснул и храпит с возмутительным упорством. Он — полунагой, у него нет ни сапогов, ни чулок. И однако же он спит, и спит, по всем признакам, очень крепко. Когда громозвучные часы конной гвардии пробили пять, он просыпается, смотрит с минуту на меня и, пробормотав: «Тяжеленько житье, товарищ», — поворачивается и снова засыпает. Побуждаемый сознанием таинственного братства бедняков, он называет меня «товарищем». Должно быть, я наконец заимствовал от него частицу бродячей способности спать в трудных обстоятельствах, потому что покорчившись и повертевшись на неудобном деревянном ложе до тех пор, пока не заболели каждая кость и каждый мускул, я впадаю в глубокий-глубокий сон, такой глубокий, что он похож на смерть.

Сон так глубок, что я не слышу, как на этих беспокойных для ночлежников парка часах конной гвардии звонят четверти часа, и только вдруг вскакиваю, когда бьет шесть часов. Мой бесприютный приятель уже ушел; я сам, опасаясь допроса от приближающегося полисмена (не зная еще, какое ужасное преступление составляет сон в Сент-Джемском парке), прихрамывая удаляюсь, совсем измученный, но немного освеженный часовым сном. Я прохожу мимо места, где доят коров и продают творог и сыворотку в летние вечера, и вступаю в Чаринг-Кросс, чрез длинный Спринггарденский переулок.

Несколько раз в течение ночи я слышал, что в это утро должен происходить торг в Ковент-Гардене. Я видел, как по молчаливым улицам пробирались телеги, нагруженные целыми горами корзин с зеленью. Я встретил несколько ранних мелочных торговцев с тележками, и их юные помощники поглумились над моей унылою, убитою фигурою. Я смотрел на Ковентгарденский рынок, как на попутный ветер для моего путешествия, потому что слышал и читал, какое обилие и разнообразие представляет этот рынок на забаву и поучение наблюдателя.

Признаюсь, я обманулся в ожидании. Ковент-Гарден кажется мне не более, как огромным скоплением капусты. Я осыпан этим растением, когда его бросают с вершин нагруженных телег к стоящим внизу зеленщикам. Проходя, я попадаюсь в капусту и спотыкаюсь на капусту; короче, и вверху, и внизу, и со всех сторон капуста преобладает.

Можно, впрочем, сказать, что имей я терпение, я увидел бы что-нибудь, кроме капусты. Но я так ею забросан, меня так толкают в ту и другую сторону, со мной так мало церемонятся грубые лавочники, что я выбираюсь с рынка и прокрадываюсь на площадь.

Здесь я встречаю моего бесприютного бродягу, товарища по парку; он дешево и питательно завтракает в кофейной. Эта кофейная сама по себе представляет какое-то неудобоописываемое здание, что-то среднее между цыганским шатром и будкой часового; для полноты сравнения, леди, приготавливающая кофе, очень походит лицом на цыганку, и на ней надето такое точно верхнее платье, какое бывает у часовых. Ароматическое питье (если я могу назвать этим именем смесь жженных бобов, жареной лошадиной печени и негодного цикория, из которых составлено «кофе») разливают горячее, как кипяток, из котла (какие бывали у волшебниц) в целый строй стоящих подле него чашек и блюдец; а для более основательного подкрепления желающих рядом с чашками поставлены блюда с огромными кучами толстых ломтей хлеба с маслом и какого-то двусмысленного вещества, называемого «пирожным». Кроме моего приятеля-бродяги, два мальчика из числа «мелочных» помощников пользуются гостеприимством кофейной, а толстый садовник, усевшись верхом на кучу картофельных мешков, лежащую поблизости, достал хлеба, масла и кофе и уплетает все это с такою жадностью, что при каждом глотке из глаз его выступают слезы.

Я вспомнил о существовании в моем кармане некоторой четырехпенсовой монетки и два или три раза покушался издержать ее, но, обдумав, счел лучшим приобрести на эти деньги настоящий завтрак и отправиться в настоящую кофейную. Между тем, в это время быстро рассветает и лондонский шум становится слышнее. Глухой стук колес не прекращался, впрочем, целую ночь, но теперь нагруженные кареты бешено мчатся к станции железной дороги. Ночные полисмены постепенно исчезают, медленно показывается сонная прислуга трактиров, зевая у дверей; выходят сонные слуги кофейных домов и читальных зал. Есть трактиры и кофейные, которые были открыты целую ночь. На рынке трактир «Разбойничье оружие» никогда не запирается. Молодой лорд Стультус с капитаном Азинусом сегодня утром в четыре часа пытались перевернуть там вверх дном все конторки, но по настоятельному желанию трактирщика Фрума оставили это намерение и вслед за тем рыцарски предложили всем окружающим стаканы «Старого Тома», что и было принято с такою же рыцарскою готовностью. Так как «все окружающие» составляли до тридцати человек леди и джентльменов, то для Фрума это было дельце хорошее; как ловкий торговец, он вполне воспользовался золотым случаем, распорядившись подавать тем членам общества, которые были пьяны (а таких было три четверти всего собрания), стаканы с водой вместо джина; такая операция, с одной стороны, способствовала обузданию невоздержанных, а с другой — очень заметным и чувствительным образом улучшила состояние его собственного кошелька. Как было в «Разбойничьем оружии», так и в других трактирах, посещаемых продавцами зелени и ночными извозчиками; нечего и говорить о том известном, уютном маленьком домике близ Джери-Лена, называемом «Синяя дубина», который, как известно, служит местом свидания знаменитого Тома Сега с его шайкой: подвиги их по части давлений посредством шелкового платка и спасительного снаряда, употребляемого в виде колеса, заслужили всеобщее удивление со стороны солидных защитников системы отпускных билетов. Во время моих блужданий я заглядывал в некоторые из этих известных заведений. С наступлением дня они принимают вид более степенный, мрачный и сонный и до полуночи останутся в этом виде. В них не загорится жизнь и веселость, не начнутся грабежи и насилия до наступления «темных» часов.

То же самое и в кофейных. Я вхожу в одну из них, чтоб превратить свою четырехпенсовую монету в завтрак, состоящий из кофе, хлеба и масла; эта кофейная также была открыта всю ночь; но теперь там единственные посетители, кроме грязного слуги, находящегося в жалком состоянии дремоты, состоят из полдюжины бездомных горемык, которые получили право сидеть за отвратительными столами благодаря тому, что заплатили за чашку кофе; склонив головы на руки, они жадно пользуются боязливым сном, из которого скоро — увы! слишком скоро! — пробуждает их слуга, расталкивая спящих и говоря: «Проснитесь, вы!» По-видимому, он имеет приказание не позволять засыпать в кофейной.

Я сажусь и стараюсь не спать над столбцами старого номера газеты «Солнце», но безуспешно. Я чувствую такую слабость и утомление, я донельзя измучен и устал, как собака, и впадаю в усыпление; потому ли, что слуга также заснул, или — что расход на четыре пенса гарантирует мне исключение из общего правила, мне позволено дремать.

Я вижу сны. В этих ужасных видениях мне представляются и клопы, и капуста, и делающие обход солдаты, и — по временам — пожар в овощной лавке. Проснувшись, я вижу, к величайшей радости, что уже десять минут девятого, оборванный мальчик, разносчик газет, приносит сырой экземпляр «Times», и в этой газете я нахожу половину столбца, занятую статьей под заглавием «Страшный пожар в Сого».

Если бы усталость не обесмыслила меня, то, без сомнения, я предался бы по поводу этой ночи нравоучительным рассуждениям; но теперь у меня в голове только два предмета, только два предмета существуют для меня на целом свете — *дом и постель*».

В очерке этой одной бесприютной ночи очень ясно и отчетливо виден весь процесс, которым беспомощная нищета может привести человека к преступлению и падению. Сначала он весь подавлен чувством совершенного одиночества и его мучительно душит сознание собственного бессилия. Он пытается найти какой-нибудь выход из жалкого положения, но напрасно ломает себе голову: необыкновенные замыслы для него недоступны, великие — недостижимы, даже обыденная, часто не совсем чистая, находчивость, ловкая изобретательность, гибкая изворотливость бесполезны;

является сильная горечь и мелькает мысль, что гораздо удобнее жить на свете таким наглым людям, как знакомый Болт, и таким бессовестным, как вот другой знакомый Спендж.

Мысль эта не нова; он слышал ее нередко от других, и ему самому приходит она в голову не в первый раз, но дело в том, что до поры до времени всякие мысли только скользят, задевая иногда и за живое, но так сказать, со стороны. Мы все, например, повторяем на разные печальные и шуточные, трусливые и насмешливые лады и тоны, что мы смертны и что, следственно, жизнь наша может очень легко угаснуть завтра, или нынче, или через полчаса; но когда смерть является, мы только тогда хорошо почувствуем все ее значение, власть и силу. Нам известно, что голод мучителен и затемняет рассудок, но надо испытать муки голода, чтобы вполне узнать, как терзает он и до чего помрачает мышление. Давно известная истина, что наглые и бессовестные люди лучше и удобнее устраиваются на белом свете, чем люди совестливые и честные, возбуждает в беспомощном человеке, не обладающем особенными нравственными и умственными силами, не решимость бороться, а горькое раздражительное сожаление, зачем он не наглец и к чему сохранил неудобную деликатность и тонкость чувств? Раз как подобная мысль вкрадывается, хотя бы и в минуту отчаяния, можно почти наверно сказать, что если благоприятные обстоятельства или счастливый случай не помогут, человек быстро или потихоньку, рано или поздно, а уж скатится со своей нравственной высоты.

Г. Саля, представляя бесприютного и беспомощного человека, рассказывает, что этот человек встречает и видит, и как холод, голод и изнеможение дают ему себя чувствовать, но не распространяется о том, какие мысли его точат и какие чувства у него накапливаются: читающий рассказ угадывает их сам как нельзя лучше и вполне понимает, что хотя злодеяние то или другое в эту минуту и не свершается, но что всякое может, даже должно случиться там, где 70 000 человек постоянно находятся в беспомощном положении.

Цифры в иных случаях убедительнее всевозможных доводов, рассуждений и доказательств, а верное, без прикрас и смягчений, представление обыденной жизни поразительнее всяких красноречивых воззваний и чувствительных возгласов. Дело в том, что в наше время все слова утратили

прежнее значение и потеряли прежнюю цену и силу. Все теперь выучились говорить красно и благородно, грозно и трогательно; всякий, по пословице, высоко летает, что вовсе не мешает ему низко садиться.

Кто теперь не громит, например, светской пошлости и не позорит праздного существования? Кто не требует эмансипации женщин и не разрывается по поводу пролетариата? Дама, обнажившая плечи на вершок меньше, чем ее соседка, с негодованием указывает пальцем на последнюю; обеспеченный господин, которого неприятности с начальством довели до сознания, что образованный ум украшает человека больше эполет или вышитого воротника, с презрением смотрит на те эполеты и воротники, которые еще не подверглись начальнической немилости и не пришли к заключению о преимуществе ума над мундирами; целые сонмы людей обоего пола поставили себе единственной деятельностью ходить по знакомым и выражать свое изумление и негодование, как это может кто-нибудь погрязнуть в праздности и сделаться коптителем неба? Шум словесный великий, говор и ропот постоянные; но бессодержательный гам уже прислушался, вздрагивать никого не заставляет, не шевелит заглушенных сил, не возбуждает притихших стремлений...

70 000 — цифра бесприютных людей, приведенная г. Салля,— действует как сильнейший удар хлыста по изнеженному лицу и производит очень болезненное и горькое, но отрезвляющее впечатление. Эта — 70 000 — цифра крепко заседает в голову, становится между всем, на что ни обращаются глаза, к чему ни прислушиваются уши, и решительно на все набрасывает самый мрачный колорит. Те «прекрасные, но тщетные» стремления и «несбыточные мечты, рассеянные суровой действительностью», те «улегшиеся вопросы» и «усмиренные житейскою опытностью требования», с которыми многие люди, казалось, совершенно покончили, опять начинают мутить и уничтожают весь запас трусливых примирений с окружающей жизнью и с самим собою. Утешительные выводы и успокоительные рассуждения, подобранные долгими стараниями и трудным искусством, рассыпаются в прах, и налицо остаются знаменательные 70 000 бесприютных и беспомощных людей, голодных, измученных холодом или духотою и падающих от изнеможения на улицах просвещенной столицы великого государства.

Представляя статистические цифры и существующие факты, г. Саля не показывает «злоупотреблений», не выводит на свежую воду «злоупотребителей», что очень важно и придает всему особый оттенок и особое значение.

Большинство людей, как известно, склонно к неге и обладает в замечательной степени способностью со всем на свете быстро осваиваться, счастливым даром надеяться на лучшее, уметь морочить себя всевозможными иллюзиями и тешить себя нелепою уверенностью, что дорогие вещи по случаю приобретаются по дешевой цене. При таких свойствах понятно, что большинство людей стоит горой за полумеры. Нанести удар тому или другому существующему злу у них не поднимается рука. Они ходят около него, пробуют его пальцем, советуются, качают головами, вздыхают, призадумываются; вдруг им бросается какой-нибудь нарост на чудовище, и они, забывая о самом чудовище, с жадностью кидаются на него и кричат: «Вот где самый яд! Вот где самая беда!» Через долгое или короткое время, смотря по обстоятельствам, нарост кое-как вытравляется,— все рады, торжествуют победу и спокойно обращаются к обычным занятиям. Такое завидное состояние продолжается или до какого-нибудь сильно чувствительного толчка, или до той поры, когда чудовище не в меру тяжелее придавит. Тогда снова начинается то же нерешительное хождение вокруг, пробование пальцем, советы, вздохи, задумчивость, и снова дело ограничится только (в самом лучшем случае) вытравлением нароста, покуда на помощь не явятся личности иного закала, которых, если им повезет удача, именуют великими людьми, а если постигнет поражение, обзывают сумасбродами. Но так как подобные личности никогда не являются дюжинами, то люди чаще всего хватаются за мелкие детали и лезут из кожи, сокрушая частности.

Благонамеренный человек, готовый покарать какого-нибудь Ивана или Петра за его нехорошее поведение, не будет вызван на это похвальное, хотя и недостаточное дело, рассказами г. Саля. У г. Саля все Ивановы и Петры — люди милые, добрые, старательные и грешат разве только несообразительностью, что, как известно, свершается не по собственной доброй воле, а по неисповедимым путям провидения, награждающего кого одним, кого десятью талан-

тами. У него все исправно на своих местах, начиная с ее величества королевы Виктории, добродетельнейшей семьянинки, кроткой и набожной женщины, которая любит простоту, ездит в оперу в черной, непоказной карете, всего с двумя лакеями на запятках, старается о всеобщем благоденствии и издает свои «размышления», до почтенного полисмана, который предан весь своему долгу и скрепя сердце гонит бродяг из-под ворот общественных зданий.

Нет ни единого Петра или Ивана, которого следовало бы покарать. Напротив, являются Иваны и Петры, к которым чувствуется живейшая признательность, как, например, к учредителям общества для доставления ночного крова бесприютным и к их чиновникам и чиновницам. Мы почти целиком приводим этот знаменательный рассказ, озаглавленный у г. Саля «Бесприютные и голодные».

«Я отправился, в ненастный зимний вечер, к Заставе Увечных, с целью посетить убежище, основанное обществом доставления ночного крова бесприютным.

Позвольте мне, прежде всего, доложить вкратце, как это общество объясняет свою деятельность. По словам отчета общества, главная цель и основное начало этого благотворительного учреждения заключаются в доставлении ночного приюта и помощи людям, которые в суровую зимнюю пору остаются совершенно бесприютными и беспомощными, и в доставлении им возможности приостановить на время, вследствие суровой погоды, свою работу, производящуюся на открытом воздухе. Для осуществления этого намерения общество распорядилось, чтоб приют был открыт и доступен в каждый час ночи, без требования от ищущих убежища какого бы то ни было входного билета или другого паспорта или удостоверения, кроме его или ее собственных слов о своей беспомощной нужде. Доставляемая здесь помощь ограничивается порцией хлеба в таком количестве, которое достаточно для поддержания жизни, теплым кровом и покоем. Таким образом, людям, весьма недалеко отстоящим от полной беспомощности, представляется мало побуждений пользоваться кровом исключительно для того, чтоб воспользоваться пищей. Но, в случаях изнеможения или слабости, происходящей от голода или холода, выдаются, под надзором медика, приличные подкрепительные средства, как, например, каша, вино, водка, суп и лекарство. «Многие были, таким образом, спасены,— говорит отчет,— из когтей смерти».

У меня есть два приятеля, которые не одобряют учреждений, основанных на изложенном начале. Мой добрый друг Прагмос считает их бесполезными. Он доказывал мне цифрами, таблицами, отчетами прозорливых начальств, что в Лондоне нет причин, порождающих лишения, — что, говоря на основании статистических данных таблиц, сведений почетных советов, — в Лондоне совсем нет беспомощности. Как может там быть какая бы то ни было беспомощность, когда подается и домашняя, и уличная помощь, когда существуют богаделенные испытания, — должностные лица, обязанные помогать бедным, и временные госпитали? Сверх того, для всех есть места. Есть госпитали и лечебницы для больных, богадельни для дряхлых. Благополучие постоянно увеличивается. Бесприютным и голодным не может быть никто, кроме людей праздных и развратных; если такие и существуют, то должны, для своего спасения, соединяться в союзы, и, следовательно, убежища для неприютных не ведут ни к какой благодетельной цели, напротив, отводят благотворительные пожертвования от должного направления, питают праздность и порок и выставляют напоказ, пред глазами публики, бедность, которая, в действительности, не существует. Так рассуждает Прагмос. Он не жестокосерд; но просто спокойно сознает (вследствие верования в арабские цифры и в девяносто девятый отчет попечительного комитета о бедных), что беспомощных людей быть не может. Едва он кончил цитировать ведомость под лит(ерой) Д, как мой другой, более веселый, друг Шарплинкс делает мне шуточный, остроумный выговор. Он смеется надо мной. «Беспомощность, дружище, — говорит Шарплинкс фамильярно, — пустяки! Как можете вы, остроумный светский человек (я краснею), опытный хитрец (я кланяюсь), обманываться таким прозрачным вздором? Разве вы не читали «Times»? Разве вы не читали «Веселых нищих»? Разве вы никогда не слышали о «Пешеходах», о так называемых «серебрящиках», о «мелкотравчатых»? Так, сэръ, любой оборванец, который слоняется кругом, одержимый притворным параличем, нынешнею ночью будет иметь на ужин телятину, почечную часть филея с начинкой, облитую лимонным соком. Нищая женщина, стоящая у дверного порога, взяла напрокат двух маленьких детей по четыре пенса в день и будет иметь полторы пинты джина перед тем, как ложиться спать. Этот, по-видимому, чахоточный румянец — не что иное, как разрисовка лица красною крас-

кою; это дрожание членов — притворное; эта спокойная, молчаливая покорность — лукавство. Не говорите мне, что они бесприютны и голодны! Обманщики, которые притворяются такими, пируют по ночам в темных погребах. У них есть и индейка, и колбасы, и жареная свинина, и горячий пунш, любовники и любовницы, колоды карт и громкие песни. Бесприютные,— как бы не так! Я дал бы им ночлег — в полицейской караульне, а утром отправил бы их на рабочую мельницу». Сказав это, Шарплинкс отходит, ворча что-то о добром старом времени, и о кандалах для преступников, и о позорном столбе.

Так рассуждают они оба — Прагмос и Шарплинкс,— и я не могу порицать их. Это все старая история о большинстве, наказываемом за грехи меньшинства. Вы, я, тысячи других людей — стеснены, ограничены в своих удовольствиях, удобствах, забавах, свободе, правах; нас бесславят и поносят, как пьяниц и мошенников потому только, что один какой-нибудь толстогубый, угрюмый глупец, с бычачьей шеей, упивается до безумия алкоголем, бьет свою жену, ломает окна и блуждает около Джери-Лена со спасительным снарядам. Тысячи людей, единственное преступление которых состоит в неимении ни денег, ни друзей, ни платья, ни убежища, хотя бы даже похожего на норы, какие имеют лисицы в обширном божьем мире,— эти тысячи видят, что рука благотворительности отвергается от них и дверь милосердия запирается пред ними потому только, что Алиса Грей обманщица, а Бэмфильд-Мур Кэрю — плут, и потому что существовали такие места, как «Двор чудес» и «Замок крыс». «Ступай туда и веселись, плут»,— шутливо говорит мистер Шарплинкс. Таким образом, беспомощные должны идти на улицу и умирать. Они умирают — вы можете себе продолжать рассуждать и составлять свои выкладки до дня страшного суда,— они умирают. Я не думаю унижать дома призрения, сострадательных чиновников, больниц, богаделен, полицейских караулен, комиссий, записок и росписей, обществ для вспоможения нищим и «Гильдгалльских Соломонов». Но все-таки говорю с Галилеем: «*Si tuove!*»<sup>1</sup>— и утверждаю, что в городе, *вымощенном золотом*, есть люди совершенно беспомощные, умирающие у порога домов, на улицах, на лестницах, под

---

<sup>1</sup> Двигается! (итал.) Ред.

темными сводами, в канавах и у защищенной от ветра стороны стен. Полиция это знает. Когда-нибудь, быть может, правительство также снизойдет до признания этого явления и поручит какому-нибудь джентльмену принять на себя заведывание им за тысячу фунтов в год.

Думая о Прагмосе и Шарплинксе, я шел вечером в прошедший вторник по Смитфильду и дошел до Барбикена. Это путешествие — очень непривлекательное даже в самую лучшую погоду, но в сырую февральскую ночь, когда погода колеблется между цепенящим морозом и морозящею оттепелью и, не переходя решительно ни в то, ни в другое, дает вам почувствовать качества обоих, — путешествие пешком до улицы Белого Креста просто мучительно. Вся окрестность проникнута миазмами бедности, скрежущей зубами, нездоровой, угрюмой и часто порочной. Здесь все дешево и гадко; продавцы смотрят такими же бедняками, как и покупатели. Тут есть лавки, весь торговый запас которых не стоит полдюжины шиллингов. Есть прохожие, все платье которых слишком дорого оценить в девять пенсов. Свечные лавки, морские склады, заемные банки и публичные дома поражают глаза. Морозная ржавчина лежит на оконных стеклах и на газовых лампах. Хлеб продается самый черствый, плохой; в мясных лавках, с их блистающими газовыми рожками, не выставлено ничего, кроме объедков и обглодков мяса. Помещенная внизу зеленая лавка заграждает вам дорогу своими корзинами; но она имеет такой непривлекательный вид, что хочется эти продукты свалить в дождевой желоб или отдать законным владельцам их — свиньям. Воздух заражен запахом зловонного табака, лежалых сельдей, старого платья и мастерских различных вредных производств. Перед вами проносят из прихода гроб, перед вами проходит полисмен, неповоротливый и мрачный, полисмен, совершенно не похожий на проворного № 67. На сыром ночном ветре долетают до ваших ушей божба и выкрикивание гнилого товара, и плач оставленных без призора детей, и хоровое пение развратных песен. Каждый крытый экипаж, какой вам встречается на пути, от разносчицье тележки до Пикфордской телеги, кажется, везет в тюрьму какого-нибудь неисправного должника.

Пробиваясь, сколько хватало сил, чрез всю эту гадость, скользя по грязной мостовой и часто спотыкаясь, я дошел, наконец, до улицы Белого Креста и нырнул (это единствен-

ный способ, которым можно туда проникнуть) в ужасающий, грязный, тусклый проход, который был рубежом моего странствия,— в театральный двор. У меня нет под рукой Питера Куннингама, и я не настолько хороший антикварий, чтоб сказать, когда или где именно существовал театр в этих печальных местах. Теперь здесь разыгрывается скорбная драма.

Мне нетрудно было найти приют. Над входом висела лампа с проволочным колпаком, на котором намалевано было название приюта. Я прошел к открытой двери, откуда исходил поток света и перед которой обширным полукругом расположилась толпа прижавшихся к земле существ,— мужчин, женщин и детей, терпеливо ожидавших, когда настанет их очередь войти. Это именно была дверь в дом для бедных.

Нет надобности объяснять, что цель моего посещения была скоро понята начальствующими в этом заведении лицами и что мне доставили всевозможные удобства, чтоб видеть, как подается помощь бедным. Впрочем, с показной стороны распорядители общества могли выставить предомной немногое; у них нет ни аппаратов для приготовления пищи паром, ни роскошных ванн, ни железной прачечной, ни коридоров со сводами, ни осьмиугольных комнат, ярко выбеленных известкой и ослепительно сверкающих медными украшениями, ни изящных келий, снабженных умывальниками и шкафами и различными удобствами новейших привилегированных изобретений. Напротив, все было самого простого и самого сурового качества; но все, по моему мнению, удивительно соответствовало цели, для которой было назначено.

Прежде всего я вошел в контору, где стояло несколько огромных корзин, наполненных кусками хлеба, где за бюро сидел человек, записывавший в большую книгу лиц, которые желали быть принятыми; это совершалось по мере того, как они являлись на его спрос, останавливаясь в дверях или у перил. Люди эти подходили поодиночке, чередуясь мужчины с женщинами, по мере того, как их вызывали из полукруга, который был на дворе. Тут был и мальчик-матрос в гернсейском кафтане, и измученный работой земледелец, и хлебный ремесленник, и изнуренная оборванная женщина с кучею детей, и — зрелище самое жалкое из всех — какая-нибудь удрученная горем, согнутая в дугу швея, еще молодая, но от бедности так постаревшая, что на

вид ей лет сто, недурная собою, но совершенно иссушенная и изможденная голодом. Ответы пришельцев были почти все одинаковы: они пришли из провинций искать работы, или были уроженцы Лондона и не могли достать работы, или — что союз рабочих уже был полон и они не могли добиться приема, или-что у них не было денег, или им нечего было есть, или они не знали — куда идти. Все это говорилось не бегло, не умоляющим тоном, без всяких жалоб и лишь с немногими прибавками против моих слов, с утомленным видом, коротко, почти нехотя. Да и что им было говорить? Что от них было нужно, кроме имени, числа, места? В их жалкой одежде, в мертвенных голосах, искаженных лицах заключалось достаточно немного красноречия, чтоб наполнить пятьсот больших книг, подобных той, которая лежала на конторке. Я не выдаю себя за физиономиста, но думаю, что обладаю достаточным знанием уличного мира и могу различить нищего по ремеслу от голодного человека; я могу утвердительно сказать, что в эту ночь чрез дверь приюта не прошел на моих глазах ни один человек, на лице которого нельзя бы было прочитать: «Оборванный и измученный, забитый до смерти, совершенно беспомощный, неприютный и голодный». Распорядитель записывал имя каждого проходящего, возраст и место рождения, также — где он спал в прошлую ночь, какие были его занятия, по какой причине он пришел. Книга для этой цели была разделена на столбцы. Я взглянул на нее. В столбце о причинах прихода был один неизменный ответ: беспомощность. Под вопросом: «Где спал прошлую ночь?» — стояли ответы: «У Сент-Люка, в Уайт-Чепеле, на улице, в Степни, на улице, на улице,» — опять и опять «на улице,» пока, наконец, у меня замелькало в глазах это повторение. На свете есть много дунов, мы это знаем, и в числе пятисот несчастных, искавших здесь крова, мог быть известный процент обманщиков, — я этого не думаю оспаривать, — могли быть немногие, собственное дурное поведение и неосмотрительность которых довели их до самого жалкого и затруднительного положения; но я все-таки держусь того мнения, что эта печальная книга содержала в себе в несколько тысяч раз более правды, чем ее находится в целой библиотеке отчетов парламентских комитетов.

Воспользовавшись перерывом приема, я спросил — есть ли тут ирландцы, когда распорядитель велел придвернику «вызвать первую женщину из толпы». Случилось так, что

«первая женщина» именно была ирландка. Это была очень маленькая женщина в самой крошечной шляпке, какую только я видел. Шляпка эта была, положительно, не что иное, как черная заплата на задней части ее головы, с обдерганными концами, которые были отчаянно стянуты к подбородку, обнажая уши сквозь разодранный тюль. Платье ее смотрело так, как будто бы какой-нибудь искусный паук свид эту ткань из грязи или будто бы это был разный сор, кое-как сплоченный и заштопанный. Ног ее я не видел, но слышал шлепанье по полу при ее движениях и угадывал, какого рода башмаки она должна была носить. Эта маленькая женщина принадлежала к числу тех, у которых бывают круглые, пухленькие розовые лица, и у нее были черные, как агат, глаза, но эти глаза и все лицо были как бы раздавлены и разгромлены нуждой и страданиями. Даже кожа ее висела лохмотьями. Бедная маленькая женщина постоянно делала гримасы, придавая лицу искусственно-спокойное выражение, которое было бы смешно, если бы — в связи с тем, что ее окружало и что на ней было надето, в связи с ее отважною решимостью не плакать — этот вид не разрывал сердце. Да, она была ирландка (она сказала это в виде оправдания), но долгое время жила в Ливерпуле. Муж бежал и оставил ее, детей у нее не было. Если б были, то она, по ее словам, лучше бы переносила такую жизнь. Одну ночь она спала в «заведении» (она несколько гордилась этим словом и употребляла его довольно часто), но ей стыдно было прийти туда опять, и потому она спала потом одну ночь в богадельне и после того три ночи на улице.

Надзиратель ласково сказал ей, что она может остаться в приюте еще на одну или две ночи, но что потом всего лучше сделает, если отправится опять в Ливерпуль. «Но я, право, не могу идти туда, — вскрикнула маленькая женщина. — Я никогда не буду в состоянии туда пойти. О господи! О боже!» Мужественно-напряженное лицо ее сразу как бы надломилось, когда она отошла со своим билетом, и я слышал из коридора ее шлепающие шаги и смиренные рыдания. Она не навязывала нам своей истории. Она не выплакивала себе сочувствия; она, по-видимому, стыдилась своего горя. Хотел бы я знать, неужели эта женщина была обманщицей?

Потом выступил длинный худощавый человек, в черном, грязном платье; выражение его глаз, казалось, коле-

балось между таким, которое должно быть у несомненно «оборванного и утомленного», и зловещим выражением человека «оборванного и дошедшего до отчаяния». Я никогда не забуду его рук, скрестив которые он стоял на пороге: это были длинные, чахлые куски костей, обтянутые кожей. Это были именно такие руки, которыми человек может сделать самому себе или кому-нибудь другому зло, о котором после он будет сам жалеть. Я никогда не забуду также того быстрого жгучего взгляда, которым он смотрел или почти пожирал огонь в каминной решетке. На предлагаемые вопросы он отвечал как бы механически, не глядя на вопрошающего; все его внимание, все желания, мысли были сосредоточены на пламени угольях. Казалось, он заранее упивался наслаждением тепла; он жадно стремился к нему. Лучше огонь здесь, чем вода холодной мрачной реки. Мне стало легче, когда он получил свой билет и, все смотря через плечо на огонь, переваливаясь, отошел прочь. Он меня пугал.

Смотритель (словоохотливый военный человек, потерявший ногу в войне с кафрами) сообщил мне, что у них установлено, в виде общего правила, чтобы приют, даваемый обществом лондонским жителям, ограничивался тремя ночами, а иногородным — семью. В особых случаях, однако ж, делаются исключения.

Принимаются все меры, чтобы подавать помощь этим усталым путникам, и стараются оказывать им возможное снисхождение и обращаться с ними так хорошо, как только позволяет справедливость к другим. Каждому принятому дается при входе порция в 8 унций хлеба; другая порция дается при выходе, на следующее утро между восемью и девятью часами.

Затем, в сопровождении секретаря и смотрителя, я осмотрел спальни. Сперва мы посетили мужскую половину. Пройдя ряд умывальниц, где каждый ночлежник должен вымыть себе лицо, шею и руки (для этой цели заготовлена горячая вода), мы поднялись по деревянной лестнице и вступили в целый ряд длинных, высоких комнат (вроде тех, какие бывают в хлебных ригах), разделенных деревянными столбами на отделения. Посредине стояла громадная печь, отгороженная маленькими кольями; и я мог представить себе, как у ее заманчивого, гостеприимного огня жадно грелись человек в черном и еще десятка два других бедных братьев. По одной стороне расположены были длин-

ные ряды корытообразных, похожих на могилы, постелей, каждая для одного ночлежника. В первое время существования общества (оно существует уже более 30-ти лет) ночлежники спали на соломе; но так как это во многих отношениях невыгодно отражалось на здоровье и заводило нечистоту, а кроме того, представляло опасность от огня, то заведены были матрацы, набитые сеном и покрытые непромокаемыми крышками, которые легко моются и проветриваются. Вместо одеял, в которых заводятся насекомые и которые, сверх того, менее прочны, там приняты широкие покрывала из овечьей кожи, теплые и прочные. С этими предметами, с порцией хлеба, с благотворной теплотой цель заведения достигается. Здесь нужно не то, что в гостинице. Малейшая доля роскоши подтвердила бы слова Прагмоса и послужила бы одобрением для людей недостойных, праздных и развратных. Приют не конкурирует ни с какой гостиницей, ни с воровской кухней, ни с погребом, в котором укрываются бродяги; он — место для удовлетворения самой крайней жизненной необходимости, самым простым жизненным требованиям. Кров, постель, тепло, кусок хлеба — вот что предлагают здесь людям, которые буквально ничего не имеют.

При свете газа, который горит всю ночь, я стоял, прислонясь к одному из деревянных столбов, и смотрел на эту печальную сцену. Постели быстро наполнялись. Многие из утомленных скитальцев уже погрузились в сон; другие, сидя на постелях, чинили свои бедные лохмотья; многие не спали, но лежали, безмолвно отдыхая. Насколько мог заметить глаз, рядом корыт соответствовали груды лохмотьев. Нервным движением я переменял свое место, увидев, что, куда ни обращусь, все стою под взглядом бесчисленных глаз — глаз спокойных, неподвижных, задумчивых, безнадежных. Кто не испытал этого чувства, проходя чрез больницу, дом умалишенных, тюрьму? Вы сознаете, что на вас обращены угрюмые, печальные, упрекающие глаза. Вы почти чувствуете, что явились сюда незванным гостем. Вы не доктор, который приходит лечить, не священник, который утешает, не благодетельная леди, пришедшая помогать страждущим. Какое право имеете вы тут быть, извлекая пользу из людских несчастий, заноса вздохи и слезы в свою записную книжку?

У огня за конторкой я нашел доктора. Его только что призвали для помощи одному заболевшему; это случается,

впрочем, довольно часто. Несчастливого сейчас перенесли со скамьи на постель. Он вошел, и потом вдруг ему сделалось дурно, он заболел не холерой, не лихорадкой, не расстройством желудка, но болезнью, называемую — мой приятель, Шарплинкс, этому не поверит — «изнеможением». Он просто был при смерти от изнурения и истощения. Он опьянел от голода, был пресыщен стужей, обмер от усталости. Ему не нужны были ни ампутации, ни кровососные банки, ни хинин, ни сассапарель<sup>1</sup>: он просто нуждался в небольшом количестве вина и каши, в тепле, ужине и постели. Стоимость всего этого, вероятно, не превышала шести пенсов; но интересно то, что, по недостатку этих шестипенсовых пищи и покоя, на дверях полицейской караульни возможно было на следующее утро появление билета, начинающегося словами: «Найдено мертвое тело».

Я спросил доктора: «Часто ли встречаются подобные случаи?»

— Да,— отвечал он.

— Всегда ли они имеют роковой исход?

— Случается. Не дальше как в прошлую ночь полицейский принес человека, которого нашел втихомолку оцепеневшим от голода за телегой. Пока полицейский рассказывал о его положении, он внезапно упал головой вперед на пол — мертвый! Он не был болен, а только умер с голода.

Осведомляясь, каково вообще ведут себя ночлежники, я узнал, что хорошее поведение составляет правило, а беспорядочные поступки или строптивость — исключение.

— Если бы вы были здесь в восемь часов, сэр,— сказал смотритель (теперь была половина восьмого),— вы не услышали бы ни звука. Бедные создания! Они слишком утомлены, чтобы поднимать шум. Мальчики, конечно, немного поболтают между собою; но они легко успокаиваются. Как только у нас появится беспорядочная личность, мы ее выпроваживаем, и тем дело кончается.

Мне говорили, кроме того, что кротким обхождением можно было почти все сделать с этой пестрой колонией и что все они выражали и, по-видимому, чувствовали искреннюю благодарность за оказываемую им помощь. Смотритель сказал, что между ночными товарищами редко заводится дружба. Они приходят, едят, согреваются и ухо-

---

<sup>1</sup> Растение семейства лилейных, употребляется в медицине. *Ред.*

дят утром каждый своей дорогой — поодиночке. Горе их слишком велико для товарищества.

Что же касается до мальчиков, то эта молодежь отсылалась в отдельную колонию «корыт», куда они ныряли и там валялись с обычной манерою городских бедуинов. Я узнал, что «заведение» (употребляя это простое выражение) относится к мальчикам несколько недоверчиво. Они часто бывают беспокойны, и потому, когда есть возможность, их отсылают в спальни «школ для лохмотников», в которых, по словам моего проводника, их заставляют прежде учиться, а потом уже кладут спать, что им очень не нравится. Бывает еще и так, что иные родители, желая избавиться от хлопот доставления своим детям ужина и постели, посылают одного или нескольких из них в приют; там, где свободное место имеет такую высокую цену, понятно, что неправильное введение хотя бы одного лишнего лица должно тщательно устраняться.

Приют открывается после пяти часов вечера, и швейцар находится на своем месте всю ночь для посетителей, требующих безотлагательного приема. Огонь в печке и газ также не потухают целую ночь, и смотритель со смотрительницей сидят тут, на случай какой-нибудь надобности. Пришедшие в приют на ночлег в субботу пользуются правом оставаться там в течение целого воскресенья. Им дается лишняя порция хлеба с тремя унциями сыра; утром и после полудня совершается божественная служба. В Лондоне существует много праздничных дней покоя, или так называемых суббот: суббота уксуса, суббота бархата и атласа, суббота раскаленной кочерги, суббота экипажей, мрачноленивая суббота, суббота трубок и горшков; но я сомневаюсь, чтобы которая-нибудь из них могла сравниться с днем покоя, проводимым в этом жалком «театральном дворе», с истинной субботой покоя, мира и милосердия.

После этого мы пошли на женскую половину. Расположение точно такое, как и на мужской половине, с тою разницею, что одна комната назначена для женщин с семействами; там перегородки между кроватями сняты, чтоб дети могли спать вместе со своими матерями. Мы прошли между рядами постелей, заметив и здесь почти неизменно такое же угрюмое, утомленное, бдительное молчание, хотя, как мне говорили, невынужденное. Единственное запрещение — это запрещение курить. По временам какая-нибудь худошавая девушка, распустив свои черные волосы, при-

поднималась на постели и смотрела на нас; где-нибудь оборванная фигура из числа тех, которые сидели в ожидании. Когда комната внизу освободится для их принятия, поднималась со скамейки и отпускала нам поклон, но общая тишина была глубокая и неизменная. Тут же хлопотала без шума приличная женщина со своей помощницей, которая смотрела странно среди всех этих лохмотьев; это была хорошенькая девушка в локонах и в лентах. Каждый забывал бы здесь, что подобное существо возможно. Я заговорил с некоторыми из женщин, сидевших на скамейках. Это все была та же старая история. Работа иголкой за ничтожную цену, невозможность заплатить два пенни за квартиру, друзей никого, полная беспомощность; или это, или смерть.

Было несколько (и число их, как я слышал, постоянно увеличивается) жен милиционных солдат, или людей из сухопутного перевозочного и армейского рабочего корпусов. Мужья были отправлены на войну, жены не имели никакого права обратиться в постоянное «общество для помощи воинским чинам», не получали никакой части из жалованья своих мужей, оставались без приюта и голодали.

Я остановился и долго смотрел на комнату, где были женщины и дети. Они улеглись, несчастные, беспорядочно: один прикорнул головою у ног другого, поперек постели, как попало, чтоб было теплее; все лежали свернувшись, скорчившись под покрывалами, по временам тихо плакали. При виде этого торжественного, безмолвного, ужасного зрелища вы содрогаетесь. Задайте себе вопрос — по какому праву вы согреты, счастливы, сыты, хорошо одеты, а эти несчастные создания, ваши братья и сестры, не имеют лучшей пищи и лучшего жилища, кроме этого? Если бы не мраморный пол и не чаны с водой, то это место могло бы быть конурой для собак; если бы не лохмотья и не этот ряд глаз, то можно бы было подумать, что тут помещается овчарня баранов со Смитфильдского рынка.

Наконец, я сошел с лестницы; больше нечего было смотреть. Из дальнейшего разговора с секретарем я узнал, что среднее число людей, не имеющих пристанища, которые принимаются здесь на ночь, составляет 550, но что помещение рассчитано на 600. Взглянув на баланс расходов общества, я нашел, что итог издержек на приют (кроме уплаты ренты) менее тысячи фунтов. Тысяча фунтов! Мы сжигаем их на порохе; мы тратим их на дурацкие колпаки дипломатии; мы даем их каждый месяц достопочтенным джентль-

менам за то, что они ничего не делают или портят дело, которое люди дельные исполнили бы лучше. Тысяча фунтов! Ее недостаточно на жалованье помощнику какого-нибудь военного начальника; ее едва достаточно для пенсии помощнику протонотариуса. Тысяча фунтов! Должностное лицо отнеслось бы к ним с пренебрежением, если б ему предложили эту сумму в виде вознаграждения за потерю должности. Тысяча фунтов! Цифра эта раздавалась у меня в ушах, когда я шел обратно чрез Смитфильд. По крайней мере, общество покровительства бесприютных, за свои десять сотен фунтов, спасет в год несколько тысяч человеческих жизней.

Я остаюсь при том убеждении, что мужчины и женщины умирают ночью в наших позолоченных улицах *потому, что у них нет куска хлеба*, нет крова, куда бы они могли преклонить свои жалкие головы. Факт, хотя и оставляемый без внимания людьми, наглядно показывает, что в обществе, где подобные явления возможны, существуют элементы совершенно негодные и гнездится гниль и порча».

Окончив этот рассказ, разумеется, каждый, прежде всего, принесет должную дань уважения и благодарности чело-веколюбивым учредителям этого благотельного общества и пожелает основания подобных заведений и во всех других столицах, но вслед за тем во всякой светлой голове должны родиться крайне безотрадные мысли и, соглашаясь вполне с последними словами рассказа г. Саля, каждый неизбежно выведет заключение, что общественная «гниль и порча» не излечиваются даже и самым высоким милосердием.

#### IV

В каждой стране есть центр сравнительно большого света, куда люди стремятся со всех сторон и о котором в народе ходят слухи необыкновенные и пленительные. В былые времена там полагали фантастические кисельные берега, молочно-медовые реки и место соединения неба с землей. Разумеется, теперь уже не полагают, даже в самых отдаленных захолустьях России, что в Петербурге сходится небо с землей, но все, что есть в российских пределах живого и свежего, стремится в Петербург. Не только стремятся чистокровные русские, начиная с дворянских и священ-

нических детей более или менее сытых и хоть в чем-нибудь мало-мальски сведущих до голодных и совершенно неразвитых работников и работниц крестьянского сословия, но и латыши, эсты, немцы, поляки, украинцы, белорусы, имеющие, как известно, сильные местные предубеждения против «ледяного» Петербурга. Напрасно рассудительная, ослабевшая старость страшит пагубным климатом и развращенными нравами жителей, напрасно ушедшие с поля битвы инвалиды, истерзанные и озлобленные, показывают свои раны, напрасно любящие родители, родственники и близкие стонут: «Что с тобою будет, и что меня постигнет!» — ничто не запугивает, ничто не удерживает; даже самая отчаянная, горькая нужда не заставляет здорового человека покинуть неприветную, безучастную столицу и воротиться на прежний подножный корм в душном родимом уголке.

— А между тем, никто ведь не обретает здесь ни кисельных берегов, ни лесенки на небо! — заметит с грустной иронией прогрессивный, но умеренный и обоюдомягкий читатель.

Конечно, нет. Но дело тут собственно не в кисельных берегах и не в лесенке на небо, а в возможности (сравнительной) живой умственной деятельности. Нельзя ничем угасить мысли и нельзя заменить жизнь прозябаньем. Несмотря на общую вялость и уныние, порожденные силою возможных отношений, несмотря на бессилие и неспособность всецело предаться какому-нибудь делу жизни, темное сознание прав человеческой личности существует и подавленная жажда вырваться из-под гнета и дохнуть свежим воздухом дает о себе знать: человек до тех только пор усидит в темноте, пока не блеснет где-нибудь какой-нибудь луч света.

— Но, — с ужасом опять заметит прогрессивный добродетельный читатель, — ведь в Петербурге центр тщеславия, любостяжания и всякой скверны! Нигде так люди не бедствуют и не развратничают, как в Петербурге!

Мы опять ответим добродетельному читателю, что это он восклицает не без основания, но тем не менее помянутый порочный центр светлее всего остального и потому притягивает, что совершенно естественно и законно. Кроме того, подорвано поклонение сельской безыскусственности и простоте, и есть сильное основание предполагать, что там существуют точно такие же грязные омуты, но только они менее известны, потому что совершенная забитость одних

не может выводить наружу, даже часто не сознает произвола других, если только этот произвол не сопровождается явным разбоем; значит, все-таки самое лучшее и честное дело — спешить туда, где главная свалка, а не коптеть и не прятаться по углам. Теперь, так сказать, время военное и всякий дезертир наказывается нравственной смертью за бегство с поля брани.

То, что притягивает юную Россию в Петербург, притягивает юную Францию в Париж, «город фей и чудесников», а юную Англию в Лондон, «мощный чистым золотом».

В этот «золотой» Лондон г. Мегью ведет читателя и, оставляя в стороне зеленые луга, пасущиеся стада, незабудки и прозрачные потоки зеркальных вод, забирается в самые неприглядные закоулки столицы и показывает смятых и попранных в грязь при свалке.

Мы постараемся вкратце передать читателям самые любопытные и характерные черты этого романа.

Герой г. Мегью рождается в тюрьме, куда умышленно попала его мать, бежавшая от родителей с любимым человеком, брошенная потом мужем и оставшаяся буквально без куска хлеба и без пристанища. Мать умирает. Тюремное начальство пересылает мальчика в детское отделение рабочего дома и сдает его на руки одной из кормилиц. Кормилица эта оказывается добрейшей женщиной; она выкармливает мальчика вместе с своей собственной дочерью и сильно к нему привязывается.

Детство Филиппа Мертона самое безмятежное и благополучное. Кормилица в нем души не чает; он очень любит свою молочную сестру и любим ею взаимно. Даже посторонние женщины глядят его по шелковистой головке и наделяют лакомствами за прекрасные голубые глаза и нежную розовую кожу. Первое огорчение в жизни он испытывает при разлуке с кормилицей, когда начальство переселяет его из рабочего дома на ферму, в промысловую школу св. Лазаря.

Было время, говорит г. Мегью, когда нищенские школы были немногим лучше нищенских закут для нищенского скота, когда там изготовлялись и хранились до известного возраста нищие, пробиравшиеся потом, хотя не всегда быстро, но всегда верно, в тюрьму. Открылись поварьные болезни и зараза распространилась во все стороны, так что пострадало здоровье многих вышеставленных лиц;

стали совершаться беспрестанные преступления и начали мало-помалу входить в такое же обыкновение, как, например, потребление картофеля, так что для помянутых выше-поставленных лиц вышли неприятности; наконец, смрад так сильно ударил в нос, что подумали об улучшениях и завели отличные сельские промысловые школы.

Филипп Мертон родился в счастливое время; школа, в которую он поступает,— школа образцовая во всех отношениях. Детей там содержат отлично и учат всевозможным ремеслам. Они сами плотники, прачки, башмачники, сапожники, швеи, слесаря, они сами пашут и засевают землю, разводят скот, стряпают, строят, красят, чинят, ткут; 700 маленьких существ мужского и женского пола приучается тут жить так же экономно, правильно и трудолюбиво, как пчелы в улье. Кроме того, умственное образование не заброшено и ученье идет так успешно, что многие впоследствии занимают в школе св. Лазаря или другой подобной должности наставников и наставниц.

Огорченный Филипп, конечно, скоро осваивается и привыкает к новому помещению и новым лицам. Мало-помалу он забывает кормилицу или, лучше сказать, помнит о ней настолько, насколько ему приятно, и обращает всю свою живую дружбу на молочную сестру Берти, переселенную вместе с ним в школу св. Лазаря.

Незаметно проходит несколько однообразных лет, в продолжение которых Филипп пользуется хорошим здоровьем, с аппетитом ест кашу, учится грамоте, водит дружбу с сестрицей Берти, уважает доброе начальство. Наступает время перехода из детской в старшее рабочее отделение. Сестрица Берти начинает горько плакать при известии об этой разлуке. Филиппу самому очень горько и очень страшно отправляться в среду больших мальчиков, однако он старается ее утешить, как умеет.

— Коли уж нельзя вместе играть,— говорит он,— то все-таки мы будем видаться за обедом и в капелле; коли уж нельзя разговаривать, то все-таки мы будем друг на друга взглядывать и другу кланяться издали.

При появлении Филиппа, разумеется, все большое отделение накидывается на «новичка». Охваченный тем чувством беспомощности, которое неизбежно является следствием чувства бессилия, Филипп особенно чутко и живо отзывается на каждую шутку и даже на каждое простое слово.

— Вы какого прихода? — спрашивают его.

Это первый вопрос, который раздается в нищенской школе и соответствует вопросу: «Откуда вы?» — предлагаемому в аристократических учебных заведениях.

Конечно, Филипп не видит ничего обидного в этом вопросе, однако он не может вымолвить слова в ответ, боясь не сдержать слез, которые, он знает по прежним опытам, ни к чему не ведут, кроме пуших издеваний и пушей строгости. Как объяснить такую болезненную чуткость в ребенке, привыкшем с пеленок слепо исполнять начальническую волю, не вникая в нее и не рассуждая о ней? Он знает, что существенного зла ему сделать не могут, что бдительное начальническое око следит за порядком; он не боится ни пинков, ни мучительных притеснений, ни особенно наглого помыканья. С чего вдруг такая щекотливость?

С того, по нашему разумению, что всякий раб, будь он даже бессознательный ребенок, так держится за ту частичку своей личности, которая еще остается в его распоряжении, что при первом на нее посягательстве в нем рождаются всякие горькие чувства и, привыкший безропотно и даже беспечно подставлять лицо одной руке, он с негодованием и ужасом старается оттолкнуть всякое постороннее *непривычное* прикосновение.

— Что вы, сирота, что ли? — спрашивает Филиппа один мальчик, который *не* сирота и чванится этим, как большим отличием.

Филипп может только кивнуть головой в ответ.

Но от него непременно требуют прямого и точного показания, есть ли у него отец или мать.

— Кормилица Газльвуд, — бормочет Филипп.

Раздается общий хохот.

— Да ведь Газльвуд рабочая кормилица! — слышатся восклицания. — Ах вы, простофиля!

Хромой мальчик с костылем, видимо, желая ободрить Филиппа, говорит:

— Может, она его выкормила и...

— Ну, что вы тут знаете! — кричат на хромого мальчика. — Ведь вы доставлены не оттуда, а из мученика Иова — прикусите язык!

Здесь, как и в других заведениях, делятся на партии. Мальчики, доставленные из одного прихода, живут дружнее и поддерживают честь своего прихода очень запальчиво. И в этом можно выследить ту же ревнивую охрану своей

личности, о которой мы уже упоминали, как, впрочем, ее можно выследить и во всем, что ни проявляется в жизни.

— Ну, что вы, найденыш, что ли? Вас подкинули? — спрашивают Филиппа.— Смелей, мальчуган! Нечего этим стесняться! Здесь у нас довольно вашего сорта людей!

Филипп раз слышал, кормилица Газльвуд рассказывала попечителю, приезжавшему осматривать заведение, что мать Филя была леди и умерла в тюрьме; он особенно запомнил этот факт потому, что джентльмен погладил его по головке и дал ему полпенни.

— Ну, не стыдитесь! — кричит один бойкий мальчик.— Вот этот молодец так был привешен в рыбной корзинке к дверной ручке!

— Неправда! — отвечает обвиненный.— Моя мать прачка и получает два шиллинга и шесть пенсов в неделю, и получает еще за свой ревматизм два хлеба...

— Не бойтесь! — прерывает хромой мальчик.— Скажите товарищам все, чисто-начисто. Они хорошие товарищи. Вас подкинули и у вас никого нет?

— У меня есть кормилица Газльвуд, — отвечает Филипп, глотая слезы.

— Да это не то совсем! У вас нет родных, которые бы вам подарили красный шарф, вот как у нас? — говорит ему мальчик в красном шарфе.

Цветной шарф служил главным показным различием между имеющими какое-нибудь родство и совершенно заброшенными и безродными. Начальство снабжало всех одинаковыми черными ленточками на галстук, и при первом взгляде на толпу мальчиков сейчас можно было отличить «счастливых», у которых был родной или близкий человек: цветные шейные платки и шарфы немедленно бросались в глаза.

— Так вы сами не знаете, как попали в св. Лазаря? — продолжается допрос.

Филипп отрицательно качает головой.

— Ну, а это знаете, на «каком основании» вас приняли, а? Какое у вас было право? Кто ваш отец? Может, он был «расслабленный?»

— Я слышал, кормилица Газльвуд говорила, что моя мать была леди, — отвечает Филипп.

Все раздражаются хохотом.

— Хо! Хо! Ох-хо-хо! Вот еще один джентльмен! — кричат со всех сторон.— Биль Фортшен! Биль Фортшен!

Подите-ка, покумитесь с этим джентльменом! Это земляк! Ваш отец, вы говорите, был ключником у принцев, а вот у него мать, должно быть, служила там же поварихою!

Филипп не может дольше сдерживать слез и, отвернувшись к стене, принимается горько плакать.

Внимание жестокосердных товарищей отвлечено бумажным змеем, и около Филиппа остается только один хромой мальчик. Хромой мальчик садится около него и сидит тихонько, не мешая ему выплакаться. Когда, по его мнению, настала пора перестать, он треплет Филиппа легонько по плечу и говорит:

— Вы не плачьте, а то все товарищи сейчас прозовут вас «нюнею», и «плаксою», и «слезокапкою»...

Филипп старается сдерживать слезы. Хромой мальчик, преждав с минуту, продолжает:

— Коли вы хотите быть моим приятелем, так я буду вашим тоже; у меня нет приятелей, потому что я хромой и не могу с ними играть. Меня зовут Нед Перчез. Моя мать померла в госпитале, и я приписан к св. Витусу в Полях. Я не помню отца, но он содержал пивную лавочку в Ньюкестле на Туайне и много лет платил подати. Меня прозвали «гусенком», потому что у меня только одна нога.

— Вы так и родились без ноги? — спрашивает Филипп.

— Нет. Ее отрезал в госпитале доктор Шарп. Кто были ваши родители?

— Очень было больно, как резали?

— Я не помню. Мне было тогда четыре года. Вы помните своего отца?

— Вы без ноги ничего не можете делать?

— О! Я очень могу! Я не то, что Том Лотт, у которого нет правой руки! Я могу заняться всякими ремеслами! Вот тоже Мин Соундерс бедняга — у него спинной хребет поврежден — никогда не может ничего делать; весь век свой тут останется, пока умрет.

Нед Перчез ведет нового товарища и показывает ему все рабочие. Филипп ко всему приглядывается и после общего осмотра выражает мнение, что лучше всего работать на ферме или на поле.

К вечеру они окончательно дружатся, доверяются друг другу и вместе начинают строить планы будущей жизни.

— А я бы желал разбогатеть, как попечитель! — говорит Филипп. — О, если бы я мог разбогатеть, как он!

— Бог не дает всем богатства,— отвечает Нед поучительным тоном,— хотя капеллан говорит, что бог всех одинаково любит и что богатые ли, бедные ли — ему все равно.

— За что же это бог любит богатых больше нас? Я не понимаю! Все он им дает... много всего, а бедным...

— Не знаю, право, Филь. Капеллан говорит, что мы все будем очень награждены, когда помрем, и тоже он говорит, что богатому так же трудно попасть в царство небесное, как все равно пролезть в игольное ушко.

— Коли только все туда бедные пойдут, вот будет там народу-то! Ну что ж, там кто будет о нас заботиться?

— Сам бог, Филь; вы ведь знаете, он все может. Он сотворил и мир, и деньги, и все-все на свете, тысячи и тысячи лет тому назад.

— Тысячи и тысячи лет назад! — повторяет Филипп.— Меня тогда еще не было на свете!

В дисциплинированном, попечительно и добропорядочно содержанном стаде детей является неугасимая пытливость, тонкое и бойкое понимание окружающих отношений и хотя смутное, неясненное, но глубокое убеждение в неравноправности смертных.

Нет худа без добра, говорит пословица. Сына обеспеченных великих и средних мира сего баюкают поблажки и ласки, жизнь представляется ему, так сказать, в очищенном, облагороженном виде, и он (если только не одарен какими-нибудь необычайными, из ряда вон выходящими чуткими способностями) хорошенько продерет глаза лет в двадцать и, наконец, смекнет, что многое было говорено папашей и мамашей превратно. (Мы оставляем в стороне прекрасные исключения, а берем общие положения). Смекнув это, он, по свежести своей, огорчится, но дальше огорчения не двинется. Чтоб двинуться, надо отказаться от нравственной неги и от физической, а он к неге привык, сжился с ней, она вошла, так сказать, в его плоть и кровь. Заботливая опека убила в нем силу, но многосторонние вершки образования развили в нем искусство все примирять. И он начинает с примирений, пока со временем не выйдет на родительскую дорожку. (Мы опять оставляем в стороне прекрасные исключения).

Одинокого убогого рабочего мальчика, правда, не пригревает мягкое родное крыло, но зато оно и не мешает ему дышать вольным воздухом, не закрывает ему света божьего, не налегает на него, как пуховик. У него с десяти лет уже

вырабатывается взгляд, что в мире плохо, и является вопрос: «За что же?» И так как ему дается выработка вопросов не путем утех и удобств, а путем лишений и горя, то он начинает метаться из стороны в сторону, ища выхода. Если он этого выхода и не находит, то по крайней мере прокладывает другим, будущим искателям, тропинки и пути.

— Что же это? Значит, надо бросать детей?! — заступают читатели, страстные родители. — Значит, надо подкидывать детей в нищенские школы???

Как можно бросать! Бросать — зверство. Никто не советует тоже подкидывать их в нищенскую школу. Мы желаем только сказать, что нет худа без добра и нет пока у нас такого добра, в котором не было бы худа.

Из-под крылышка родителей (опять оставляя в стороне прекрасные исключения) выходят тонко-развитые, но нравственно-расслабленные люди; из нищенских школ (или просто не школ, а конур) выходят люди более закаленные, прочные, но неотесанные и грубые. Первые слабонервные, на добро и на зло идут нерешительно, прямо сильных ударов никому и ничему не наносят, а больше из-за угла, прикрывшись какой-нибудь благовидной добродетелью; вторые, где можно, лезут напролом, где могут, с похвальбой вымещают на других свою напасть; из первых образуются благородные офицеры и чиновники, благонамеренные профессора и писатели, либеральные банкиры и искусные администраторы; из вторых выходят карманные воровы, придорожные грабители, горькие пьяницы, ожесточенные звери, приживальщики, идиоты и необыкновенные люди.

— Я это предчувствовал! — прерывает читатель. — Я предчувствовал, что вы под конец найдете между грабителями и ворами необыкновенных людей! Помилуйте! Да я вам могу привести примеры, что люди с громадным богатством были двигателями... будто здесь нет живой струи!..

— Читатель! Позвольте снова напомнить вам, что мы оставляем в стороне редкости, а берем общие выводы! Живая струя есть, но она едва сочится между тиной, илом и всякой грязью; в семье не без урода, и между поколениями изнеженных лежебоков и сидней выдаются люди или, если вам это больше нравится, герои, но у этих благородных героев не изболели кости, не ноют старье, незаживающие раны — на их долю приходится показная сторона

страдания, а не чернорабочая; воздавая им великую честь и славу, мы, однако, не можем поставить их рядом с теми работниками, которые, несмотря на заедавшую их нужду, горе, сиротство и безвыходность, не только себе пробили дорогу, но и другим показали путь.

## V

Незаметно проходит еще четыре однообразных года. Рассказать один день этой жизни, значит, рассказать целую неделю. Самым ярким различием были изменения в столе, и у мальчиков вторник и четверг назывались «мясными», воскресенье, среда и пятница «сальными», а суббота «похлебкой».

Каждое утро, ровно в шесть часов, раздается во дворе колокол, и при первом его ударе в дортуарах начинается движение и суета. Через пять минут постели убраны и все ждут приказания: «На колени!» Еще через пять минут справлена молитва, все выстраиваются в ряд и отправляются в умывальную; после умыванья слышен свисток, мальчики опять выстраиваются и проходят перед испытующим начальническим оком. Затем общая молитва и завтрак. Истребляется 700 чашек молока с водою и 700 ломтей хлеба с маслом. По окончании завтрака раздается три удара по столу, все вскакивают и начинают нараспев благодарственную молитву. Затем маршировка и разные военные экзерциции<sup>1</sup>; затем ученье в классах, рекреация<sup>2</sup>, опять классы, обед, рекреация, класс, ужин — все, кроме рекреации, с приличными случаям молитвами; наконец, постель и сон.

Филипп осваивается с новыми товарищами, и скоро начинает считаться даже молодцом и воеводою между ними, но у наставников он на плохом счету. Едва скомандуют: «В класс!» — он приходит в какое-то не то оцепенение, не то изнеможение; он не может себя принудить быть внимательным к скучному уроку и начинает, например, следить по карте за извилами дорог, по которым странствовал святой апостол Петр, или мысленно бродит по «обетованной земле после покорения ее израильтянами».

---

<sup>1</sup> Упражнения. *Ред.*

<sup>2</sup> Перемены между занятиями. *Ред.*

— Можете вы отвечать на предложенный вопрос, Филипп Мертон? — раздается усиленно громкий голос преподавателя.

— Могу, — отвечает Филипп, очнувшись.

— Так отвечайте!

Но оказывается, что Филипп не знает, о чем идет речь: он был занят своими размышлениями, похожа ли Азия на то, чем она изображена на карте, и во сколько времени мог бы он туда пробраться и каким образом можно туда пробраться?

Посещения близких, родных людей производили великое впечатление в школе. Все дети веселы, играют, смеются — вдруг раздается: «Годжа зовут!» — или: «К Кемберу пришли!» — и все игры в одно мгновение прекращены; счастливый Годж или Кембер стремится в приемную, а все остальные прокрадываются к двери и стараются хоть одним глазком взглянуть на эту редкость — на близкого человека, и затем тихо удаляются и начинают толковать о том, что помнят о своих отце, матери или о том, что знают о них по слухам или по своим догадкам.

Но особенно ныли и терзались маленькие сердца, когда «счастливый» снова появлялся между ними с покрасневшим сияющим лицом и с волчком или с апельсином в руках. Все окружали его и все спрашивали: «Кто был и что дал?» Некоторые долго ходили следом за «счастливым» и выпрашивали «хоть чуточный кусочек корочки» попробовать, другие мрачно расходились по углам; на всех целый день после того тяготело какое-то свинцовое уныние.

Филиппа посещали две особы: кормилица Газльвуд и мисс Перримен, начальница тюремного отделения, где он родился.

Посещения кормилицы Газльвуд не считались большой важностью; все знали, что она «рабочая кормилица» и что Филипп был только любимым питомцем из десяти прочих, которых она вызывала в приемную и между которыми делила горсточку орехов.

Посещения мисс Перримен производили несравненно больший эффект. Она являлась раз в год, тщательно скрывая, откуда она, гладила по головке Филиппа, вздыхала и давала ему 6 пенсов. Изошренная наблюдательность мальчиков скоро открыла, что это не «близкий», не «родной» человек, не друг, а что-то вроде тех же попечителей

и благодетелей на жалованьи, какими они окружены в школе. Тем не менее это была важная посетительница, и появление ее всякий раз возбуждало волнение, зависть и едкую печаль между совершенно одинокими и заброшенными.

Под влиянием монотонной рутины и под гнетом благонамеренно-равнодушной силы, положившей себе правилом всякого пригонять на одинаковую нравственную колодку, Филиппа все неотступнее начинает волновать мысль, кто его отец, кто мать? Точно ли мать умерла? А отец где?

При первом свидании с кормилицей Газльвуд он старается выпытать у нее все, что только ей известно.

— Не спрашивайте об этом, дитя мое, — отвечает кормилица. — Я что могла, то уже давно сказала вам; ваша мама была хорошая, добрая, и теперь она на небе.

— Да Нед мне сказывал, что только виноватых сажают в тюрьму. Значит, мать была тоже виноватая?

— Господи боже мой! Филь! Как можно говорить такие вещи о покойной матери!

— Нед говорит, что она не леди, коли умерла в тюрьме. Но ведь она леди, да?

— Скажите вы Неду, чтоб он лучше не рассуждал о чужих матерях!

— Кормилица, милая, кто вам сказал, что она леди? Не качайте головой, скажите мне — вспомните все и скажите! Если меня любите — скажите! Ну, уж если теперь не скажете, скажете в другой раз, а?

Является мисс Перримен в свой годово́й срок, Филипп выпытывает от нее, что может, и с торжеством сообщает товарищам, что «эта леди» знала его мать, — они были приятельницы, друзья...

— Приятельницы? Ну, может, и вправду ваша мать была леди! — говорит один товарищ.

— Да! Она мне сказывала, мать одно время у нее жила и...

— К чему вздумали вы нас дурачить? — прерывает другой, менее доверчивый товарищ. — Коли она такой друг вашей матери, так зачем же вас записали на приход, ну?

Со всех сторон раздается насмешливый хохот.

Подобный хохот не раздался бы между мальчиками с общественным положением, и этому бы помешала не высшая благовоспитанность и не утонченное образование, а привычка к всевозможным общепринятым суррогатам

дружбы, любви, уважения, честности, гуманности и т. п. дорогим вещам. В благовоспитанном семействе ребенок каждый день видит разлад слова с делом; он видит, как улыбаются, жмут руки и говорят веселые слова тем, к кому совершенно равнодушны, а иногда даже тем, к кому чувствуют вражду или отвращение; его не удивит, если самые восторженные протестации оканчиваются ничем, и ему не покажется дико, если человек отступит пред чем-нибудь, что он в силах сделать для друга. Но здесь, среди бесприютных и одиноких, слово «друг» имеет все свое значение; при первых словах проницательного товарища увлекшиеся рассказом Филиппа мальчики сейчас же соображают, что леди не годится в друзья. И Филипп не спорит: он сам с ними согласен.

— Однако она все-таки знала мать, Нед,— говорит он своему другу Перчезу,— у нее есть письма матери; она виделась с ней перед ее смертью.

— И она точно умерла в тюрьме? За что она попала туда? Вы бы расспросили об этом хорошенько, Филь.

— Я расспрашивал, Нед! Она только и сказала, что мать была очень обижена и несчастна и что это ее довело до тюрьмы.

Смущенный Филипп не в силах отрешиться от заманчивых мечтаний об отце и матери. Он перестает высказывать свои надежды и упования, но также усердно занимается постройкой всевозможных воздушных замков, как и прежде.

Приходит пора избрать какой-нибудь род занятий, и начальство определяет Филиппа, вследствие его малого прилежания к наукам и крепкого здоровья, на земледельческие работы.

Филипп вместе с другими мальчиками работает на поле под присмотром начальства; его освежает вольный воздух и, занятый новой работой, он меньше предается своим мечтам.

Но незаметно фантастические мечты заменяются более определенным стремлением к воле и самостоятельности. Недалеке от места их работы пролегает полотно железной дороги, и стук невидимого поезда, летящего между двумя холмами, каждый раз сильно действует на Филиппа; следя глазами за исчезающей струей дыма, он с тоскою спрашивает себя, когда же, наконец, он куда-нибудь помчится на этой удивительной машине,— вот другие люди летают туда и сюда — завидная их участь!

Это стремление к свободе и самостоятельности усиливается, растет с каждым днем и, наконец, превращается во что-то вроде болезни; он дрожит при одной мысли о возможности вырваться из заведения и бежать. Куда бежать — это для него все равно, лишь бы только бежать. Зачем бежать? И на это он не может толково ответить.

Вместе с Филиппом работает Билли Фертшен, один из самых старших мальчиков в школе. Его сверстники, занимавшиеся различными ремеслами, давно повыходили из «заведения», а он все продолжает возделывать расплаиваемые нивки под присмотром начальства, и это ему начинает постылеть.

— Коли бы только мне найти товарища, убежал бы я сейчас отсюда, и пустился бы я по морю, — говорит он Филиппу. — Что это за жизнь такая? Работаешь все на других да на других, а на себя никогда! Я хочу себе что-нибудь заработать, и коли они мне не прищут где-нибудь места, так я им сам помогу: возьму да и сбегу!

Затем у них начинаются втихомолку, отрывками разговоры о морских плаваниях и всех его прелестях. Филиппа начинают манить далекие странствия, и он почти решается сделаться мореплавателем; ему только жалко Неда и сестрицу Берти.

Но сестрица Берти за свое примерное благонравие делается любимицей начальниц и наставниц, и капеллан, которому она тоже угодила скромностью и кротостью, отыскивает ей место у одной своей знакомой.

Берти уезжает, и ее отъезд сильно огорчает Филиппа. Уезжая, она обещает ему как можно скорее выхлопотать место для него, если можно, в том самом доме, куда ее помещают, а если там нельзя, то в другом, где-нибудь поблизости. Филипп нетерпеливо ждет исполнения обещания, но дни идут за днями, недели за неделями, а желанного известия от Берти нет. Филипп часто поджидает прохода капеллана и осведомляется о Берти; капеллан отвечает ему, что Берти «добрая девочка и ведет себя удовлетворительно», что «ее поведение заслужило ей расположение ее госпожи». Иногда он ведет Филиппа в свою комнату и показывает ему свои отметки о Берти.

— Видите, Мертон, Берта Газльвуд — примерная девочка, — говорит он, трепля Филиппа легонько по голове, — поведение ее отличное, видите: встает рано, слушает-

ся охотно, работает усердно, регулярна в молитве. Это чрезвычайно утешительно! Чрезвычайно утешительно!

Огорчение по поводу отъезда любимой Берти и по поводу неисполнения обещания выискать место подливает масла в огонь. Жгучее нетерпение вырваться из школы и «делать что-нибудь самому для себя» охватывает Филиппа. Каждый раз, как школьный портной или башмачник выпускается «в свет», Филипп терзается, нарекает на земледелие, привязывающее его к школе, и говорит Билли, что он намерен скоро покончить с своей каторгой; Билли ему вполне сочувствует.

Раз, возвратившись с работы, Филипп и Билли видят, что все товарищи собрались около Неда Перчеза и горячо рассуждают. Они узнают, что Нед назначен для отправки в другую школу.

Начальство св. Витуса в Полях открыло, что Нед Перчез незаконно приписан к их приходу, и сделало отношение препроводить помянутого ученика в другое заведение, где, по закону, он имеет право числиться.

На другой день, во время отдыха, Филипп и Нед сидят в уголке и таинственно шепчутся с Билли.

— Я говорю вам,— шепчет Билли,— я сам читал! Вот в той старой газете, из которой клеили змея, так и напечатано: «Поехал бедным мальчиком из Портсмута и доплыл до самой Индии, а теперь оттуда воротился на своих кораблях и навез видимо-невидимо золота и попал в члены парламента». Коли не верите, подите сами прочитайте,— недалеко от змеиного хвоста этот листок; прочтите-ка, как его там поздравляют разные джентльмены и пьют за его здоровье на обеде; и обед этот в честь его сделали!

— А в какой стороне Портсмут? — спрашивает Филипп.— Где это?

— О, недалеко! — отвечает Билли, который имеет смутное представление, что Портсмут находится где-то поблизости Лондонского моста.— Мы отлично доберемся туда и сейчас там найдем корабль.

— Я хотел бы прямо плыть в Индию,— говорит Филипп.— И хотел бы там ездить на слонах и охотиться за тиграми — знаете, как в той книжке описано?

— А как на корабле меня не примут в моряки? А? — тоскливо спрашивает хромой Нед.

— Это ж почему, гусенок? — возражает Билли.— А! То есть это вы насчет хромоты? Пфа! Мне часто расска-

зывали, что старые моряки в Гринвиче совсем без ног, и лорд Нельсон написан на портретах об одной руке.

Остальное время дня три заговорщика все забивались по углам и совещались.

— Лучше всего бежать в субботу,— советует Филипп,— после переключки, когда отпустят погулять. В воскресенье долго не хватятся — переключка будет только после церкви.

— Мы пойдем,— говорит Нед,— в поле, как будто пускать змея, и проберемся по-за скотным двором к мосту, а через мост в лес...

— А что мы есть будем в лесу? — спрашивает Билли.

— Как что есть? Уж коли Робинзон мог прокормиться на необитаемом острове, так мы не пропадем с голода в лесу! Там, в лесу, пропасть ягод, самая отличная ежевика... О, ежевика! — вскрикивает весело возбужденный Филипп и треплет себя с наслаждением по животу.

На окончательном совещании было постановлено запастись, насколько возможно, хлебом на дорогу, бежать после обеда в субботу, пробраться на берег Темзы и идти берегом до Портсмута, который, уверял Билли, находится где-то в окрестностях.

В субботу, под вечер, беглецы, придерживая карманы, набитые корочками хлеба, незамеченные пробрались в лес и забились, как испуганные зайцы, в самую лесную чащу.

Очень скоро все их веселые представления о бродячей жизни рассеялись, как дым. Опыт показал им, что Робин Гуд не был таким счастливецом, каким они его воображали, и они поняли, что он променял бы охотно, если бы мог, «зеленую сеть ветвей» на более прочную и уютную кровлю.

С час они бежали по лесу, пробираясь между терновником, шиповником и всякими лесными зарослями, исцарапали себе лица и руки, изморились и решились остановиться и заночевать. Но трава была мокрая после утреннего дождя, и едва они прилегли, как показалась вода из земли, словно из придавленной губки.

— Билли,— говорит Филипп,— вы уверяли, что тут везде сухой мягкий мох!

— Так что ж, разве неправда? Дайте ему высохнуть, и будет сухой и мягкий! Эх вы, привередник!

— Зашли мы туда, где, может, такие напасти, что еще хуже... — начал было Нед.

— Можете воротиться, коли желаете! — перебивает Билли.— Только ведь теперь уж все дело вышло наружу и вас не поглядят по головке, могу заверить! Зададут такого перца бесподобного, что чудо! И нашу долю скушаете на здоровье!

Нед умолкает.

Они стараются развести огонь, но понапрасну изводят запас спичек, зажигая сырые ветки и листья. Продрогшие и очень обескураженные, они умащиваются на повалившемся дереве и начинают утешать себя постройкой великолепнейшей будущности. Но ожидание будущих благ не насыщает, и скоро голодная действительность прогоняет мечты. Корочки, взятые про запас, только пуше раздражают аппетит.

— Ох, как здесь болит и ноет! — говорит Билли, схватывая себя за живот.— Отроду мне так есть не хотелось.

— Вы жуйте вот листья,— предлагает Нед,— они похожи на шпинат.

— Вы уверяли, что найдем ежевику и птичьи яйца,— говорит укорительно Филипп.

Наконец, Билли объявляет, что он не в силах дальше выносить голода; он уверяет, что чувствует уже приближение смерти; он читал где-то, что смерть с голода — смерть самая ужасная; он будет искать спасения!

Дав слово вернуться через час, он, несмотря на все упрашиванья, отправляется обратно в «заведение» запастись провизией.

— А ведь он нас выдаст, если попадетсЯ, а? — говорит Филипп Неду.

— Выдаст,— отвечает Нед.

Долго они сидели в темноте, не говоря ни слова. Вдруг Нед вскрикивает:

— Филь! Слышите? Видите?

Вдали по лесу показались приближавшиеся огоньки и раздавался хорошо известный свисток.

Филипп вскакивает.

— Он предал нас, Нед. Бежим! Скорей!

— Я не могу подняться, Филь; у меня онемела нога. Бегите! Прощайте! Когда-нибудь свидимся!

Филипп приподнимает хромого и старается поставить его на ноги.

— Как же я вас брошу им, Нед! Пойдем! Ну, перемогитесь! Ну, попробуйте! Ну!

— Нет, Филь, не могу! — говорит Нед, заливаясь слезами.— Бегите хоть одни! Что ж толку, если и вас поймают? Скорей бегите! Они с собаками! Бегите!

— Прощайте, Нед! — говорит Филипп и бросается бежать.

## VI

Желая пробраться в Портсмут, Филипп пробирается в Лондон и с первого же шага попадает в компанию воров, упражняющихся в этом ремесле под командой Билля Ван-Димена.

Г. Мегью не представляет этих воров шайкой неисправимых негодяев, по собственному вкусу и влечению избирающих кривые, грязные пути, а людьми, сбитыми с дороги в грязь. Он не выводит ни одного лица, упивающегося своим мошенничеством и окончательно порешившего с совестью. Молодежь, правда, еще выказывает некоторую удаль, шутит и бодрится, но старый Ван-Димен, несмотря на свое прославленное молодечество, доставившее ему почетное место и чин предводителя и командира, тих, угрюм и печален.

Судя по тому, что уцелело в старике Билле, он в молодости обладал значительною долей сметливости, предприимчивости, энергии и был не последним бойцом в борьбе за существование. Но напор противных сил сломил его, и помянутые добрые качества вывернулись, так сказать, наизнанку и препроводили его в ссылку за моря (в честь этого путешествия он и получил прозвище ван-дименовского Билля), воротили обратно на родину и поставили главой воровской компании. Может, ему по временам приходила мысль и желание (хотя бы вследствие страданий и неудач воровской жизни) выйти на другую дорогу; может, он и искал выхода, но без особенно счастливого случая это невозможно, а счастливого случая ему не выпало. Мало-помалу, беспрестанно раздражаемый постоянным немилосердным (хотя законным) преследованием, он втянулся в ежечасную, мелкую лихорадочную войну из-за угла и в ней состарился. Пришла старость, наступило то время, когда у трусливых грешников, вместе с отяжелением тела, является раскаяние в прежних компрометирующих проступках и когда они начинают искать примирения с совестью и теплого уголка для отдыха.

Старый каторжник, потративший свои лучшие, свежие молодые силы на подрыв установленных общественных порядков и добродетелей, не несет оскорбленному обществу немощного раскаяния, дающего право на теплый угол и сытую пищу в какой-нибудь богадельне.

Ван-Димен — вор и мошенник, когда дело идет о кошельках, часах и карманных платках, но он человек простой в других отношениях и не умеет изготавливать всепримиряющих доводов и убажачающих компромиссов; он с удивительною ловкостью пустит в ход фальшивую золотую монету, но пустить в ход нравственную фальшивую монету он не в состоянии, как бы круто ему не приходилось. Он сидит в смрадной воровской конуре, потому что «нет никакой другой работы, а если бы даже и была, то теперь не под силу», и перебивается кое-как сбором старого тряпья да костей по улицам и пожертвованиями своей молодежи, которая еще считает его своею главою, в силу его прежней удали.

Ван-Димен перевязывает свои загноенные ноги сухими лохмотьями, когда молодой Бьюк вводит в притон Филиппа.

— Товарищи! — восклицает Бьюк. — Поглядите, какая рыбка попалась мне на удочку, просто чудо! Что за мягкость и нежность руки! Что за гибкость пальчиков! Прелесть! Гляжу, стоит, словно ошеломленный, и глядит на лампы. Ничего, говорит, не знаю и не понимаю. Ну, говорю, пойдем со мной, я заведу в хорошее место. Не перечил ни единым словом — пошел за мной, как теленок за матерью! Какова находка, а?

Билль Ван-Димен не дает ему дальше продолжать.

— Замолчите! — говорит он мрачно. — Замолчите вы! Я не позволю закабалить этого ребенка в наше ремесло! Зачем вам хочется его втянуть в наше собачье житье? Оставьте его! Отойдите!

И, наклоняясь к Филиппу, он говорит ему, смягчая, насколько может, свой голос:

— Пойдем, птенчик; здесь вам не место. Крепитесь, пока можете! Крепитесь, пока сил хватит!

Он схватывает Филиппа за руку и быстро уводит из притона, не обращая внимания на удивление своей братии и на испуг мальчика.

— Прежде всего поешьте, птенчик, — говорит старый каторжник, — вы, небось, отощали? У меня в кармане имеется кое-что про запас, и я куплю вам кружку пива.

Вы меня не бойтесь; я хоть вор, а я пальцем до вас не дотронусь; я вам не сделаю вреда, мальчик.

Он вводит Филиппа в темную убогую харчевню, развертывает перед ним тряпицу с объедками и спрашивает для него пива. Ободренный Филипп рассказывает ему всю свою историю, заканчивая ее громкими рыданиями.

— Полно, мальчик, полно! — говорит Ван-Димен. — Никогда не надо отчаиваться. Послушайте, что я вам скажу. Я вот могу вам дать шесть пенсов. Хорошо. За два пенса вы переночуете, а за остальные четыре вы начнете торговать. Вы, может, удивляетесь, как это за четыре пенса торговать? Э! Иные торгуют на пенни и живут, не заглядывая ни в рабочий дом, ни в тюрьму. На два пенса мальчик, как вы, может продержаться целый год, а то и два года. Другие держались даже больше двух лет... Так вот что: я вас снаряжу на базар, — знаете крессовый<sup>1</sup> базар? Куплю вам деревянный лоточек или подносик и торгуйте себе! Только, сохрани бог, коли вы растратите хоть немножко денег, — вы тогда пропали. Послушайтесь моего совета, мальчик, я видал на веку горя, может, больше, чем всякий другой, — крепитесь, не давайте себе поблажки ни в чем. Испробуйте все, что можно! Крепитесь!

На базар, куда Ван-Димен снаряжает Филиппа, стекаются беднейшие из бедных уличных торговцев и разносчиков, торговков и разносчиц; дети, брошенные родителями или осиротевшие, изувеченные, искалеченные, потерявшие силы старики и старухи, все те, кто боится рабочего дома и не попал (или еще не попал) в какое-нибудь сомнительное братство.

На постоялом дворе, где Ван-Димен поместил Филиппа на ночь, мальчик знакомится со старухой-торговкой.

— Вы, кажется, по части кресса, юнец? — спрашивает она, увидя Филиппа с оловянным подносом под мышкой. — Хорошо торговали сегодня? Я ведь тоже по этой части.

— Я еще никогда не торговал, — отвечает Филипп и вслед затем рассказывает ей подробно всю свою историю.

— Добрая душа, должно быть, этот Ван-Димен! — говорит старуха, выслушав повествование. — Пусть его бог благословит! Так дал он вам шесть пенсов, вы говорите, да? Ну, с этими деньгами вы можете пойти далеко! Вы за че-

---

<sup>1</sup> Кресс — овощное растение, которое употребляется в пищу как салат. *Ред.*

тыре-то пенса купите такой пучок, что чудо! Можете на нем заработать больше шиллинга!

— Так я, значит, много денег сберу? — спрашивает Филипп, проясняясь.

— Ну, мой дружок, не так-то легко пропитать свою душу, как вы полагаете! Я частенько брожу по улицам да питаюсь корками, что выбрасывают для воробьев. Да, трудно подчас приходится, дружок. Кроме того, что счастье, надо еще и уметь выбрать товар. Мне, например, не подсунут лежалого, уж это вы будьте спокойны! Тоже если неполный пучок дают, так я говорю: «Извините, а я уже лучше пойду к вашему соседу», а соседа иду стращаю тем же, и так обхожу всех их. Вы тоже учитесь с ними хитрить таким манером, а то ничего из ваших хлопот не выйдет.

— О, меня не проведут! — замечает уверенно Филипп.

— А вы рано встаете? Я вот встаю, когда еще совсем темно на дворе, и несу сейчас товар под помпу, освежить водой. Ух! Какой холодище бывает на рассвете! Руки застывают и так тебя и ест! Вы мальчик здоровый, вас это не так проберет, как нас, стариков, или как маленьких хиленьких детей. Вот тоже горемычные бедняжки! Выползут это босые, посинеют все и начнут плакать с холода. Просто сердце разрывается, глядя на них.

— Я думал, мало кто торгует крессом...

— Мало кто торгует! Да на рынке их за раз наберется пятьсот; а схлынут одни, набегут другие пятьсот. Больше тысячи нас, малых и старых, занимается крессом.

— Больше тысячи! Так где же мне торговать, коли так их много!

— Трудно, а все-таки следует попытаться счастья, мальчик. Я вам покажу такие места, где хороший сбыт. Надо пробираться туда, где что-нибудь строится — плотники и каменщики очень покупают к завтраку; тоже по переулкам недурной сбыт, а лучше всего так это около извозничьей биржи — кучера очень любят кресс, очень.

— Кресс все, должно быть, любят, — говорит Филипп, который отроду его не пробовал и даже в глаза не видал.

— Слава богу, он имеет-таки свою привлекательность. Говорят, он очищает кровь. Слава богу!

На следующее утро Филипп и старая торговка вышли, когда еще на сизом небе мерцали звезды. Все улицы были пусты, и им встречались только полисмены с фонарями;

на извозничьей бирже стояло только два кеба; лошади дремали, поникнув головами, кучера спали внутри экипажа; затем попался навстречу разносчик горячего кофе с своей походной утварью, прогремела телега мясника, полетевшая на мясной рынок, прошло несколько человек, служащих при пивоварне, там и сям показались тряпичники с своими корзинками за плечами и с фонариками в руках. Филипп слышал издали крик трубочиста, предлагающего свои услуги.

Базарные ворота еще были заперты, но скоро со всех сторон начали собираться люди, или, лучше сказать, охапки лохмотьев. В ожидании они ходили взад и вперед перед запертыми дверями, стараясь согреть ноги, и хлопали руками, и потирали их; кто явился со старой корзиной, кто с лотком, кто с подносом, и все это старое и все грязное, все кое-как скреплено веревочками или ржавой проволокой, или заплатой из грубого тряпья. Одна маленькая девочка, в ветхой юбочке, на которой лохмотья образовали причудливую бахрому, стояла, дрожа всем телом, в больших суконных заплесневелых туфлях и держала согнутый заржавленный чайный поднос в посиневших руках. Некоторые горемыки подладились к продавцу кофе и получили от него позволение погреть немножко пальцы над жаровней; чуть тепло касалось их, они начинали чувствовать дремоту и зевать.

Едва пробило на церковных часах пять, отворились ворота и базар начался. Покупатели ласкательным тоном заговаривают с продавцами, дети вскрикивают от толчков, получаемых в общей суматохе. «Как поживаете, как ваше здоровье, мистрисс Доленд? — слышится льстивый старушечий голос. — Каков холод — жжет как кипяток!» — «Купил я у вас пучок, не поглядел, поверил на слово, а он совсем никуда не годился — как есть вялый!» — доносится укорительная жалоба.

Толпа расходится, когда еще не совсем рассвело; остаются самые горемычные из горемычных. Болезненный на вид мальчик, лет пяти, у которого светится тело сквозь просетившиеся лохмотья, подходит к продавщице, переступая посиневшими ногами, как кошка по грязи.

— Дайте мне негодящего, Джинни, — просит он, — который уж вам не нужен!

С базара отправляются все «освежать» купленную зелень, а затем выбирают где-нибудь в уголке пустого рынка место, усаживаются и принимаются связывать зелень

в пучки. Тогда завязываются разговоры. Старые толкуют о своих болезнях, несчастиях, лишениях, дети толкуют о том, каков будет сегодня сбыт и где дают большие куски пудинга за пенни.

В первые дни Филипп едва зарабатывал на сухой хлеб и спал с другими мальчиками в неоконченном строении. Он не раз, лежа на твердой холодной земле, пожалел о постели в школе св. Лазаря.

Восьмилетняя девочка научила его искусству сбывать товар. Это была удивительно смышленная продавщица, но такая хилая, что прочие, завидуя ее успеху, выгнали ее из своих «участков».

Филипп за нее заступился и ее отстоял; с этого у них началось знакомство и дружба. У нее было худое, белое, как мел, личико с морщинами, вместо ямочек, и она постоянно вздыхала, словно удрученная заботами и тревогами. Говоря о напастях и горе в жизни, она пугала Филиппа своей серьезностью и спокойствием.

— Вы смотрите, как я буду продавать, и учитесь,— говорит она ему и отправляется подавать ему пример.

И она начинает просить, и кланяться, и приставать так, что почти всякий у нее покупает, лишь бы отвязаться.

— Ну, трудная эта работа! — говорил Филипп.

— А! Теперь ничего; а вот среди зимы, так гораздо хуже. Все говорят: «Убирайтесь с вашим крессом! И без него мерзнем!» Я раз так долго голодала, что как подошла к съестной лавочке да услышала запах кушанья, так и упала.

— Господи, Элен! Как это вы всегда покойно говорите! Просто вы меня пугаете! И хоть бы раз вы рассмеялись!

— С какой радости смеяться?

— И никогда вы не играете, и ничего такого...

— Я иногда играю, только мне это невесело и незанимательно. После кресса этого очень всегда изморишься — двигаться не хочется.

— Так вы бы спать легли, как изморитесь!

— Нельзя. Дома есть работа ввечеру.

— Ведь вы себя уморите!

— О, нет, не уморю. Прошлой зимой было хуже, а видите, я жива.

Филипп скоро изловчается и начинает сбывать товар не хуже других, но, несмотря на всю ловкость, он только может сохранить оборотный капитал; он питается сухими

корками и зазеленевшими объедками, ночует в недостроенных домах; ему ни разу не удастся поесть досыта, ни отогреться.

Измученный, голодный, иззябший он бродит по улицам.

— Не бросить ли все это сразу, — думает он, — чем терзать себя понемножку? Как ни терзайся и как ни крепись, ведь ничего из этого не выйдет! Ну, еще раз попробую загадаю: коли упадет монета направо, так попытаю еще счастья.

Монета падает направо и Филипп с новой энергией начинает выкрикивать свой товар.

Но гаданье бессовестно его обмануло. Удачи нет.

— Лучше бы не родиться мне на свет! — говорит он, выбрасывает товар в канаву и отправляется к окну съестной лавочки.

— Посмотрю я на еду, — думает он, — понюхаю. Если бы услышать запах кушанья! Может, от запаха я упаду, как Элен, и, может, умру, или хоть обо всем забуду.

Он долго смотрит в окно, следит за покупателями, мучится голодом и завистью; наконец, бросается в лавочку и проедает оборотный капитал.

## VII

Растратив оборотный капитал, Филипп решает, что показываться на глаза Ван-Димену, так настоятельно советовавшему *крепиться*, не следует, а надо искать другой работы собственными соображениями и средствами.

Переночевав в телеге с сеном, откуда на рассвете его выгоняют кнутом, Филипп бродит часа четыре по пустым улицам, дожидаясь пробужденья города; чтобы сколько-нибудь разнообразить эту прогулку, он, время от времени, прислоняется к фонарным столбам и насвистывает все песенки, какие только знает.

Эти четыре часа, как они тяжелы ни были, конечно, не закалили мальчика, и он не вынес из них ничего такого, что бы помогло ему укрепиться. По всей вероятности, Филипп, отрезав себе возврат к торговле опостылевшим креслом, был так этим доволен, что это довольство смягчало даже его огорчение бесприютностью и беспомощным одиночеством; очень может быть, что в печальном насвистывании песенок проскальзывала даже по временам живая

и веселая нотка и что он построил не один заманчивый воздушный замок, вроде тех, какие сооружал в промысловой школе, в то время, когда собирался бежать в Индию и кататься там на слонах с позолоченными хоботами.

Наконец, начинают отворяться лавки, открываются ставни домов, город просыпается,— тот город, который выкидывает корки и кости от вчерашнего обеда на пропитание меньших братий и снабжает этих братий мелкою, черною работою.

За чистку дощечки и медных украшений на дверях аптеки Филипп получает от аптекарского слуги кусок хлеба с маслом.

После завтрака он еще больше ободряется, садится около статуи Карла I, на солнышке, и бросает вокруг себя спокойный и наблюдательный взгляд.

Старый уличный метельщик возился в соре, прометая тропинку к статуе.

— Вы чего на меня выпучили глаза,— гневно спрашивает он у Филиппа.— Чего вы тут сидите без дела, словно принц какой? Ленивое этакое насекомое!

— Я не ленивый,— мягко отвечает ему Филипп.— У меня нет работы. Коли хотите, я вам помогу месть.

Этот кроткий ответ смягчил старого метельщика.

— Ну, возьмите, пометите,— отвечает он.— Поглядим, каково ваше искусство! Посмотрим, умеете вы трудиться или только форсить горазды.

Филипп усердно принимается за метенье и исполняет это дело как нельзя удовлетворительнее.

— Ну,— говорит старый метельщик,— я приятно удивлен. Вы можете работать. А есть у вас деньги на почин?

Филипп отвечает, что у него нет ни пенни за душой.

— Так на что же вы купите метлу или щетку? Или вы полагаете, что эти вещи растут у нас на улицах, как цветки на поле? Ах, юноша! Юноша! Ну, так и быть, я дам вам свою метлу на подержанье, пока пойду в харчевню заморить червяка. Да помните главное, мальчик: если вы не будете лезть в глаза проходящим, вы ни гроша не заработаете. Цепляйтесь за всякого, как репейник,— вот правило, и вы держитесь его; и если вы с этого правила собьетесь, то это все одно, как если вы собьетесь с пути добродетели: пропадете. Все они уверяют всегда, что нет мелочи, но вы не верьте, идите по пятам и канючите; коли легко можете плакать, то плачьте,— это очень хорошо действует. Женщины

податливее мужчин — вы привязывайтесь к женщинам; стоните и вопите, божитесь, что у вас мать схватила какая-нибудь болезнь или что-нибудь такое же чувствительное. Говорите, что у матери пропало молоко от голода и что младенец-брат помирает от жажды,— на это вы непременно получите, по крайности, пенни.

Дав вышеприведенное наставление с той же заботливостью и желанием добра, с каким великосветский дедушка дает внуку практический совет относительно ловкого шарканья в гостиной значительной и нужной особы, старый метельщик повернул было к харчевне, когда из-за угла выбежал мальчик-оборвыш и, бросившись к нему, проговорил:

— Дедушка Стемпи, отдайте мне ваше метенье; я вам заплачу пенни.

— Вы опоздали, Джим,— отвечает дедушка Стемпи.— Я уже ему отдал.

Он указывает на Филиппа и уходит в харчевню.

— Вы сколько ему дали? — спрашивает Джим, свирепо глядя на Филиппа.

— Я ничего ему не давал,— отвечает Филипп.— Он даром позволил мне попользоваться.

— Ничего! Даром! — вскрикивает Джим.— Не советую вам морочить меня таким нелепым враньем, а то вам достанется на орехи!

Джим, однако, драки не заводит; он усаживается неподалеку и наблюдает за Филиппом.

Филипп, следуя наставлениям дедушки Стемпи, становится на тротуаре и кланяется каждому проходящему. Но никто не обращает внимания ни на его поклоны, ни на просьбы, и беспечно все проходят мимо. Джим катается со смеха от удовольствия. Наконец, подходит к Филиппу и, ударив его по плечу, говорит:

— Ну, вы совсем, я вижу, новичок! Нешто так надо к ним приставать?

— Не знаю, отчего они мне ничего не дают! — бормочет смущенный и обескураженный Филипп.

— Да вы ничего не смыслите! Хотите барыши пополам? Так я вам пособлю и научу.

Филипп с радостью соглашается.

Джим принимается за дело. Он вдруг весь преображается. Едва кто появляется на улице, он ко всякому кидается под ноги, с бешеным усердием начинает прометать

перед ним, разбрызгивая грязь или вздымая пыль, заглядывает в глаза, воеет, вопит; спотыкается и заставляет спотыкаться, корчит всевозможные гримасы и сыплет жалкими словами.

Филипп с завистью смотрит на такое блестящее исполнение дела и, увлеченный честолюбием, с жаром принимает-ся подражать Джиму как умеет.

Успех превосходит все его ожидания. Филипп был красивый мальчик, к тому же волнение разурмянило его и придало особенный блеск глазам; все это вместе действовало удивительно на дам.

Дедушка Стемпи, возвратившись из харчевни, почувствовал и удовольствие и маленькую зависть, узнав об успехе своего питомца.

— Вы так и работайте вместе,— посоветовал он Филиппу.— Джим продувной парнишка. У него столько хитростей, и каверзов, и фокусов, что ежели бы английский банк задумал их всех у него скупить по пенни за штуку, то лопнул бы, не скупивши и половины. Учитесь у него.

Филипп, разумеется, очень охотно принимает этот совет; Джим тоже соглашается.

— Я заработал пять пенсов,— говорит Филипп, когда дедушка Стемпи сам принялся мести,— вот ваши два пенса с половиной. А вы сколько заработали, Джим?

— Два пенса. Ей-богу, два.

— Мне показалось, вы больше заработали?

— Обыщите меня, коли не верите,— отвечает Джим, в то же время искусно пропуская два утаенных пенса в дырку грязного рукава, служившего ему секретным ящиком.

Затем Джим продает втридорога свою старую метлу Филиппу и выманивает у него куртку.

Усевшись на ступеньках церковного крыльца, он посвящает Филиппа в таинства своего братства.

— Я работаю не один,— говорит он,— нас целая шайка и у нас все метенье, вот отсюда вплоть до самой Ватерло-ской площади. Джек Дрек наш капитан, а Тедди Флейта мы поставили своим королем, потому что он самый лучший кувыркун. Так он кувыркается и катается колесом, что я и рассказать вам не могу. В нашу артель чужих не пускают. Когда мы теперь с вами покажемся, так сейчас все на вас накинута, только вы не бойтесь: я уж все улажу. Впрочем, есть еще одна в этом деле заковычка.

— Какая?

— А вот такая: вы должны мне давать третью часть из вашего заработка. Коли вы не согласны, так я не хочу с вами знаться и вы устраивайте сами свои дела.

Филипп беспрекословно соглашается платить дань юному живодеру, и они отправляются на место общей работы.

Филиппа встречают очень недружелюбно.

— Вы это сюда работать пришли? — спрашивает у него один маленький отрепыш очень надменным тоном.

— Не придирайтесь, Тедди, — отвечает Джим, — это мой приятель.

— Нас и так уж много, самим мало работы! — возражает король Тедди.

С этими словами его величество наносит Филиппу удар метлой по голове и отбегает.

— Джек! — кричит вся компания. — Где Джек?

— Вы чего это затеяли скандал? — спрашивает Джек, появляясь из-за угла улицы. — Видите, уж толпа собирается, и вон полисмен идет. Марш все в судилище!

По дороге к судилищу, т. е. к крыльцу церкви св. Мартина, Джим шепнул капитану Джеку, что новоприбывший заплатит за свое посвящение в братство сумму в два пенса; на это капитан снисходительно улыбнулся и кивнул головой.

Торжественное заседание в судилище окончилось общим гамом и криком; надо было употребить все влияние капитана, чтобы укротить взбунтовавшихся подчиненных и уговорить короля не отречься от престола. Впрочем, волнение не скоро бы утихло, если бы Джим не провозгласил, что новоприбывший обязуется заплатить компании сумму в девять пенсов из своих будущих заработков.

Благополучно устроив эти дела, Филипп принимается за работу вместе с Джимом. К девяти часам вечера они зарабатывают два шиллинга шесть пенсов. Они заработали бы еще больше, но пошел дождь и Джим позволяет себе посибаритничать.

— Мы всегда около этого времени идем на Гей-Маркет; кувыркаемся и побираемся там до двух и до трех часов утра, — говорит он Филиппу, — ну, да сегодня я не пойду. Куплю фунт хлеба, — сегодня можно развернуться, заработок был важный, — и куплю на фартинг подливки пожирнее

и немножко чая да сахара. У нас, где ночуем, дают посуду без залога.

— А вы мясное едите? — спрашивает Филипп, имеющий особое пристрастие к мясным блюдам.

— Едим раз или два в неделю. Мы делаем складчину, отправляемся на Ньюгетский базар и закупаем там мясо, а варим его дома сами. Потом мы кидаем жребий, кому достанется самый большой кусок мяса, а похлебку делим чашечками поровну. Ну, пойдете ночевать. Вы не обращайтесь внимания на старуху, на хозяйку, где ночуем; она как не пьяна, так и не злая старуха. Главное, не платите ей, коли видите, что она хмельная, потому она все позабудет и поднимет крик: «Плати!» — и не втолкуешь ей, что уже заплатил. А ночевать у нее славно! Бывает, так согрешься, что даже весело станет!

Филипп, как мальчик смысленый и проворный, очень скоро перенимает искусство кувырканья колесом и побиршничества. Скоро он отказывается платить дань Джиму и перестает ссужать капитану пенсы; равным образом он свергает с себя обязательство уплатить обществу положенную королем Тедди сумму; ему даже ничего не стоит развенчать этого монарха и разжаловать капитана Дрека; необыкновенный успех в работе поднял Филиппа высоко в общем мнении, и десятки приверженцев по первому его слову готовы исполнить все, что он прикажет.

Законы, управляющие обществом метельщиков, несложны: наблюдать строгую честность между своими членами и плутовать всевозможным образом со всем остальным миром. Чем искуснее член общества дурачит и обирает постороннего, тем он больше возвышается во мнении, но за малейшую недобросовестность с «своими» он подвергается презрению и преследованию.

С полудня и до девяти часов вечера общество проводит на улицах, работая в границах присвоенных им владений; в девять часов отправляется на Гей-Маркет, где бывает главная пожива.

До трех часов утра общество посвящает себя на службу и забаву толпе развратных джентльменов, гуляющих в это время по Гей-Маркету: бегают за огнем для потухшей сигары, отворяют дверцы карет, бросает по их указанию грязью в проходящих женщин.

Однако даже эти щедрые полупьяные подачки нисколько не обеспечивают. Общество зачастую остается без обеда.

В одну ночь — Филипп уже год прожил уличным побирашкой — общество, шатаясь около Гей-Маркета в ожидании работы, завидело двух джентльменов на углу улицы, у фонарей; эти джентльмены лениво и бесцельно посматривали по сторонам. По длинным усам и коротко остриженным волосам общество сейчас же признало их за сынов Марса, находящихся на службе ее величества королевы Виктории.

В одну секунду общество окружило их; капитан Дрек выразил желание стать на нос и выбить подошвами мелодию романса «Окончена битва» за ничтожную сумму — за пенни, король Флейт предложил перекувырнуться за полпенни, а Филипп просил позволения кататься колесом до тех пор, пока весь почернеет, за один фартинг.

— Ну, начинайте все вместе! — приказал один офицер.

Мальчики кувыркаются и вертятся до тошноты; офицеры смеются; наконец, выбившись из сил, мальчики прекращают кувыркание и просят обещанной платы, а офицеры все смеются, жалуются, что кувыркание неудовлетворительно, и объявляют, что до тех пор не дадут денег, пока им не покажут чего-нибудь позанимательнее.

Один офицер вынимает из кармана коробочку пилюль и заставляет Дрека проглотить три пилюли, другой ведет в пирожную лавочку Тедди, ставит его на прилавок и заставляет, как обезьяну, кувыркаться и гримасничать, потом приказывает прокатиться колесом по лавочке и утешается, видя, как зонтики и палки посетителей хлопают его по ногам, голове и рукам.

— Ну, теперь марш вон туда! Видите пьяного? Поваляйте его в грязь! — командуют офицеры.

Оборвыши летят и валят.

— Слишком скоро исполнили! Ну, теперь бегите, облепите грязью вот эту женщину. Видите? Тогда получите шесть пенсов.

Дрек захватил метлой грязи и ловко залепил женщину. Она со страхом и изумлением оглянулась.

Филипп узнает кормилицу Газльвуд.

Внезапное появление доброй старой кормилицы, единственного существа, которое любило и ласкало его в жизни, во всякое время подействовало бы сильно на Филиппа, но после только что совершившегося наглого и беспощадного

издеванья офицеров это появление подействовало еще сильнее.

Он идет за ней следом, замирая от волнения и печали. Два раза он окликает ее, но так тихо, что она не слышит. Наконец, он схватывает ее за шаль и, когда она обертывается, бросается к ней на грудь и говорит: «Это я!»

Она сейчас же узнает его голос, берет его за голову руками, поворачивает к фонарю, смотрит на него и шепчет: «Господи! Это Филь!»

— Нечего терзать меня,— говорит Филипп,— что было, того не воротить и не поправишь.

Старая кормилица начинает расспрашивать его, ужасаться и ахать.

— Какая польза плакать, кормилица! — говорит Филипп.— Коли б от слез лучше было, а то ведь лучше от слез не будет.

— Боже мой! Боже мой! — плачет кормилица.— Выходила, вскормила, любила, как родного сына, а теперь вижу... Господи! В грязных лохмотьях! Небось, голодный?

— Уж ежели мальчик в такой беде, кормилица, так лучше о том не поминать; зачем поминать? Где теперь Берти, кормилица?

— С Берти видаться вам не следует, Филь,— отвечает со страхом кормилица.— Нет, нет!

— Отчего же мне с ней не видаться?

— Нет, Филь! Вы ее не учите худому! Если вы пропали, то пусть хоть она останется честной и доброй. Я говорю вам, вы ее не увидите!

— Иной подумает, я нивесть уж какой мошенник! — возражает Филипп.

— Бог вам судья, Филь! — стонет кормилица.— И он вас пусть судит, а не я! Только Берти вы оставьте!

— Послушайте, кормилица,— говорит Филипп, глотая, как будто горло у него пересохло,— вы, кажется, думаете, что я теперь пропащий? Только я вовсе не хуже прежнего. Ну, что же я такого сделал? Я побирался, я даже не воровал, а что же делать, коли нечего есть? Отчего мне нельзя повидаться с Берти? Я ее люблю. Я сколько раз, сколько раз об ней вспоминал.

Он заплакал.

— А! Я в лохмотьях, и потому вы теперь сторонитесь меня! Ну, кормилица, коли я не увижу Берти, так знайте, что я попаду в тюрьму,— может, даже нынешнюю ночь.

Только вас да Берти я люблю. Вот что, коли Берти мне скажет: «Брось все это», — я брошу. Скажите мне, где живет Берти, скажите! Поведите меня к ней и я все-все сделаю, что вы только ни пожелаете!

Филипп, в порыве страстной горести, заливается слезами.

Кормилица сдается и устраивает ему свидание с Берти, живущей по-прежнему у знакомой школьного капеллана.

Берти по-прежнему набожная и добропорядочная девушка, любящая пристойность во всем. Вид грязного, отрепанного Филиппа приводит ее в крайний ужас.

— Вы так на меня не глядите, Берти! — говорит Филипп. — От такого взгляда можно совсем ошалеть и отчаяться.

— Я давно все ждала вас, Филь, — отвечает Берти, запинаясь, — только...

— Я знаю, что значит ваше *только!* Вот что оно значит! — говорит Филипп, потрясая свои лохмотья. — А! Берти! Вы меня не любите, как я вас! Я знал, что вы, как увидите меня, так застыдитесь, и я все-таки пришел; я бы пришел, хоть бы тут меня смерть дождала. Вы совсем не переменились, Берти, ни капельки! Только я переменялся, да?

Она молчала.

— Берти! — молит Филипп. — Ну, скажите хоть одно слово! Я целую ночь не спал, все ждал, что вас увижу и что услышу, как вы говорите, а вы не хотите говорить! Я не прошу, чтоб вы меня поцеловали или что такое, только вы меня не мучьте!

Наконец, Берти растрогивается, целует его и прощает.

— Вы бросьте эту жизнь, Филь, — говорит она, — бросьте, а то погибнете.

— Да я и то почти погибаю, Берти. Зарботка теперь почти совсем нет. Да что ж мне делать, Берти? Куда идти? К кому? Я бы рад пойти работать, да кто меня примет?

Но дело устраивается очень скоро и благополучно. Бертина госпожа пьет ослиное молоко, и в самое утро свидания Берти удается определить Филиппа к поставщику этого молока, который тоже держит ослов для катанья по окрестностям. Добрая и аккуратная девушка шьет на свои деньги грешному другу детства приличное платье, благословляет его в погонщики ослов и, поставив его таким

образом на путь «честного» добывания хлеба, свободно вздыхает и успокаивается.

Первые дни Филипп очень доволен своим новым положением, но очень скоро он начинает тосковать и томиться. Он, правда, более или менее теперь всегда сыт и у него есть уголок, где переночевать, но за то он теперь раб хозяина.

«Прежде я хоть сам себе господин был! — думает он с горестью. — И чем теперь лучше?»

В самом деле, что же он выиграл? Чем в сущности честнее эта новая, так именуемая честная работа? Прежде он кувыркался по улицам и пускал в ход жалобные гримасы, чтобы добыть кусок хлеба для утоления мучившего его голода; теперь он строит умильные гримасы и отвешивает льстивые поклоны для того, чтобы заманить кого-нибудь покататься на хозяйском осле. Другой, неиспытанный жизнью невинный мальчик, затвердивший самым наилучшим, твердым образом, что плутовство гнусно и унижительно во «всех» случаях, и не признающий его лица в очень многих, никогда, быть может, сам не дошел бы до этого вопроса: чем теперь лучше? Но Филипп, искушенный бедой и привыкший в свое оправдание выслеживать дела житейские глубже, очень скоро до него добирается и смекает, что голодный, пускающий в ход лицемерие из-за куса насущного хлеба, ничуть не бесчестнее сытого хозяина, промышляющего семью ослами и несколькими мальчиками-погонщиками; он чувствует, что эта новая «честная» работа, так возрадовавшая кормилицу и сестрицу Берти, нисколько не поднимает и что он только променял кукушку на ястреба.

Он, однако, крепится и остается у хозяина во имя дорогой ему Берти, тщательно бережет все получаемое от катальщиков и катальщиц на водку, копит известную сумму, затраченную на него Берти, и, наконец, является платить ей долг.

— Вот долг, Берти, — говорит он, — денежные дела теперь у нас покончены; а того, что вы мне помогли, я никогда-никогда не забуду.

Берти чрезвычайно удивлена и растрогана этим благородным поступком.

— Вы никогда не воображали, что я отдам вам долг, Берти? — говорит Филипп, угадывая мысли добродетельной девушки. — Ну, что ж! Я очень понимаю, что вы не

ожидали этого. Я вас не осуждаю, а только вы знаете, что я лучше украду пенни у слепого нищего с тарелочки, чем у вас.

— Да ведь это кражей разве можно назвать, Филь? Я ведь дала вам эти деньги сама.

— С чего вам давать мне деньги в подарок, Берти? Я крепче и здоровее вас и могу больше работать. Если кому след делать подарки, так мне вам, а не вам мне.

Берти начинает экзаменовать, в каком положении его нравственность, и Филипп дает о себе отчет самый удовлетворительный. Когда Берти его за это очень ласково целует на прощанье, у него сжимается сердце; ее похвалы, обрадовавшие его сначала, становятся тягостными, и он раскаивается, зачем лукавил, утаивая грешки и плутни. Однако он оставляет Берти в приятном заблуждении.

От уплаты долга у него остается полкроны, и он решает отыскать прежних уличных товарищей и угостить их пивом и пудингом.

Мы не будем подробно рассказывать дальнейших приключений Филиппа; скажем только, что из-за своего отца, ловкого и дерзкого плута-француза, Филипп невинно попадает в тюрьму, что его, наконец, оправдывают и выпускают, что он поступает к другому «честному» хозяину, где его обязанность состоит в том, чтобы зазывать проходящих леди и джентльменов выстрелить в цель, что скоро ссорится с новым хозяином, бросает его и делается бродягой по ремеслу. Упражняясь в этом занятии, он в девятнадцать лет достигает звания капитана шайки, удивляющей полицию своей ловкостью и дерзостью.

Однажды, являсь на представление в цирке по собственным делам, то есть за поживою, Филипп попадает на глаза своему отцу, который давно его знает и имеет в виду для достижения своих целей касательно наследства и который, по своим соображениям, находит удобным в данную минуту сойтись с ним, что и исполняет.

Верующие в «голос крови», говорит г. Мегью, чрезвычайно удивятся, узнав, что Филипп не почувствовал никакого особого волнения, очутившись перед незнакомым родителем. Ему просто было неловко, как со всяким другим неизвестным господином, и он глядел на него недоверчиво и подозрительно, как глядел на всякого не принадлежавшего к своей компании.

Вот их первый разговор.

Отец. Садитесь ближе. Я хочу поговорить о деле. Я слышал, вы вели плохую жизнь. Правда это?

Сын (угрюмо и раздражительно). Я жил так, как мог.

Отец. Знаю я эту жизнь. Круглый год лохмотья, голод и холод. Знаю!

Сын (со злобой). Ну, что ж от того прибудет, что вы знаете?

Отец. Ваша жизнь ни к чему и не приведет, кроме лохмотьев и голодной смерти. Бросьте ее, живите, как я живу.

Сын. А вы как живете? Какой работой занимаетесь?

Отец. Я занимаюсь той же работой, что и вы,— добываю деньги. Только вы рискуете попасть в тюрьму из-за нескольких пенсов, а я рискую тем же из-за сотен фунтов. Имея средства, я могу исполнять работу искуснее и чище. Я полагаю, вам выгодно пристать ко мне. Пристаете?

Сын (после некоторого размышления). Я так и думал, что вы по этой части. Только ваше дело хуже моего. Я маленькая рыбка и проскальзываю сквозь плетенки сети, а вы рыба большая; за вами гонятся, а за мной гоняться не стоит. Благодарю вас за предложение, но я уж лучше останусь при своем.

Отец. Вы отказываетесь? Хорошо. Только есть еще одно важное обстоятельство, которое, надеюсь заставит вас изменить решение.

Сын. Что это за обстоятельство?

Отец. Вы мой сын.

Сын (пристально глядя на отца). Это еще что за пуля? Скажите, как звали мою мать?

Отец (недовольный эффектом открытия). Говорю вам, что я ваш отец. Ваша мать, Катерина Мертон, умерла в тюрьме в бытность мою во Франции.

Сын (с яростью). Вы ее довели до тюрьмы! Вы меня бросили там! Я прежде желал вас видеть, теперь не хочу. Пустите. Я иду!

Отец (спокойно). Я могу представить вам доказательства, что я сколько раз хлопотал о вас. Не я виноват, а Натаниэль Крозье, отец вашей матери.

Сын. Ага! Может, тут есть доля правды! Он предлагал мне эмигрировать и давал мне денег на проезд. Теперь я понимаю, с чего эта его доброта. Отчего вы не судитесь с ним?

Отец. Я не могу явиться к суду — он знает это. Но вас полиция не знает, и вы можете. Что ж, еще теперь вы станете раздумывать, пристать ли ко мне или нет?

Сын. Я скажу вам через два дня. Я подумаю.

Поразмыслив, Филипп решается работать вместе с отцом и делается «большую рыбою».

## IX

В романе г. Мегью есть еще один герой, родной брат покойной матери Филиппа, воспитанный в холе и неге любящими родителями, капитан полка ее британского величества Крозье-Мертон.

Капитан — статный большой офицер и, несмотря на томное выражение лица, возбуждающее у всякого желание положить его в постель выспаться, очень хорош собой. Зубы у него ровны и белы, как фортепианные клавиши, нос самый орлиный, баки густоты необычайной; он одет изящно и с благородством носит стеклышко в глазу.

Г. Мегью не рассказывает нам детства прекрасного капитана, но и без рассказа совершенно ясно, что это было обыкновенное детство богатых людей с прививкой возвышенных чувств и дрянных привычек, с внушением строгой нравственности по общепринятой методе и с поблажкой мелким гадостям.

Читатель знакомится с капитаном Мертоном-Крозье, когда он уже человек сложившийся и ведет счастливую жизнь, получая от отца прекрасное содержание и находясь в отпуску «по болезни».

Около двенадцати часов дня капитан, накинув на себя шлафрок, бросается на софу и, зевая, ожидает, не вернет ли кто из приятелей. Приятели завертывают. Один требует горького элю, другой чистого воротничка взаймы; закуриваются сигары и начинается дружеская беседа.

— Ну, как вы вчера справились с Аоксом после моего ухода? — спрашивает капитан.

— Свалили его в кеб и отправили домой, — отвечает приятель. — Отроду я не видывал до такой степени пьяного человека!

— Что сделалось с Томом? Где он девался? — спрашивает один из присутствующих.

— Укатил в Булонь или еще куда-нибудь,— отвечает другой.— А вы где сегодня пропадали, полковник?

— Мы до завтрака проиграли в карты,— отвечает полковник.

— Так вы и не ложились, значит? — спрашивает капитан.

— И не думали! По мне хоть никогда не спать!

И полковник улыбается, будто желая сказать: что я за необыкновенный человек!

У него спрашивают, выиграл ли он; он в ответ пожимает плечами.

— А я записку получил от Аскота,— говорит капитан, внутренне гордый тем, что приятельствует и получает записки от аристократа Аскота,— он уведомляет, что не может быть на бою в понедельник. Слушайте, что пишет:

«Любезный Крозье, тысячу раз благодарю, но я уже приглашен. Дал бы порядочную сумму, чтобы отправиться с вами» и т. п.

— Кто из вас идет на вечер к Кресси? — спрашивает один офицер.

— Премного благодарен! Я не выношу их вин! — отвечает другой.

— А девочки у Кресси премиленькие! — замечает третий.

— Мне особенно нравится Юлия,— говорит капитан.— Этот дьяволенок пожал мне руку в вальсе!

— Фред! Что вы там высматриваете? — спрашивает кто-то из компании.

Оказывается, что Фред высматривает хорошенькую девушку у окна противоположного дома.

— Экая собака! — говорит один офицер, хлопая по спине Фреда.— Я так и думал, что он напал на след!

Затем все подходят к Фреду: кто весело толкает его под бок, кто обзывает мошенником, кто честит негодяем, но все это таким тоном, каким говорятся самые восторженные похвалы.

Эту девушку, Берти, капитан Крозье-Мертон давно уже заметил и давно старался завести с ней знакомство, но без всякого успеха. Когда товарищи начинают рассматривать ее в подзорную трубу и разбирать по ниточке ее красоту, он не без наслаждения слушает их восклицания и видит их восторг.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ

# ЗАПИСКИ

1868

№ 11 НОЯБРЬ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

Въ типографіи А. А. Краевского (Литейна, № 35)

Титульна сторінка журналу «Отечественные записки», в якому була опублікована стаття Марка Вовчка «Мрачные картины».

— Ну,— говорит Фред,— я займусь ею. Жаль было бы упустить такую прелесть.

— Прошу извинить, Фред! — вскрикивает капитан.— В чужой огород не годится лазить.

— Это мне нравится! — возражает Фред.— Я ее открыл и она мне принадлежит по праву!

— Вы ее открыли? Вы? — заорал капитан.— Да я ее знаю вот уже шесть месяцев! Нет! Нет! Между ворами наблюдается тоже честность! Вы не грабьте меня! Не крадьте у человека его сокровища!

Доводы и доказательства, кому принадлежит Берти, превращаются в жаркий спор и, наконец, почти в ссору:

— Вы только время даром потратите,— говорит Фред.— Вы тут ничего не смыслите, как вести дело.

— Хотите пари? — кричит взбешенный капитан.— На пятьдесят хотите?

— Ну, а как вы докажете? — спрашивает один офицер.

— А вот как,— говорит другой,— пусть Крозье позовет нас всех обедать в Ричмонд и приведет ее туда. Сроку ему дается шесть месяцев.

— Идет! — говорит капитан Крозье.— И кто проиграет, тот пусть, кроме пари, заплатит и за обед.

В этих толках они проводят время до шести часов вечера.

После этого пари Берти получает двойную цену в глазах прекрасного капитана. Он пускает в ход всевозможные уловки и хитрости, но Берти принадлежит к тем умеренным натурам, с которыми сладить всего труднее. Учителя у нее были строгие, она боялась их и так твердо затвердила их уроки, что ей немислимо сделать какое бы то ни было отступление от раз означенной рамки. Мысль у нее неповоротливая, терпение огромное и сильное упование попасть в рай, где ей с огромными процентами уплатится за все, понесенные на земле, страдания. Любовь, как известно, получает настоящий смысл и дает настоящие наслаждения только при полном доверии к любимому человеку и при безусловной преданности, но Берти и в любви робка, осторожна и недоверчива. Плененная блестящим капитаном, она, однако, ни на секунду не забывает о слышанных ею примерах обольщения и гибели и доверяется ему не прежде, как оградив себя от могущих встретиться бед законным браком. Правда, она тут попадется в ловушку, потому что венчанье устроено подложное, но это не относит-

ся к неосмотрительности, а только к неведению подобных проделок. Подозревая она возможность подложного исполнителя обряда венчания, она не преминула бы кротко потребовать доказательства подлинности лица, от которого с трепетом и благоговением будет принимать благословение на новую жизнь. Эта-то сдержанность и увлекает капитана за пределы благоразумия. Напрасно он мучится стыдом и раскаянием, напрасно говорит себе: «Я мог бы на эти деньги, положенные на обольщение Берти, лучше жить, завести отличные знакомства, выгодно жениться и быть, наконец, свободным от папашиной скупости и тирании!» Он не в силах оторваться от нее, и всякое препятствие только пуще его дразнит и завлекает.

Роман г. Мегью очень длинен и в нем появляется и исчезает много лиц, не имеющих даже ничего общего с ходом рассказа, но каждое лицо бросает свой свет на все окружающее героев, и оба они выходят очень ярко очерченными фигурами. Прочитав роман, вы невольно их сравниваете. Филипп Мертон и капитан Крозье воспитались и развивались при совершенно различных обстоятельствах и условиях, но они похожи друг на друга по природе: та же впечатлительность, бойкость, жажда наслаждений и неуменье справиться с собой. Один попал в среду воров, другой в круг богатой саранчи. Общество воров обезображивает Филиппа, но не убивает в нем всего человеческого, но избранный кружок растлевает капитана Крозье до мозга костей.

(Читатель, не примите это за намек на то, что надо быть вором!)

У воров есть борьба, раскаяние, желание сделаться лучше. «Ах, если бы мне такой дворец! — говорит Филипп. — Каким отличным мальчиком можно быть в таком дворце!» И в самом деле, при первой возможности он бросает воровскую жизнь. Капитан никогда не желает выйти из грязного разврата и бессмыслия, он доволен собою, будь только у него деньги.

У Филиппа есть кое-какая целостность, кое-какие хорошие стремления; он будет стоять за товарища, не выдаст того, кто ему доверится; он может жертвовать своими выгодами, сильно привязаться; у капитана ничего этого и в заводе нет; он — распушенное, обжорливое, изнеженное животное, и больше ничего.

Выводя этих двух героев, мы полагаем, г. Мегью хотел

сказать: 1) что никакие нравственные карантинны, будь то родительский кров или прекрасно содержанная школа, не действительны, если при первом шаге из карантина встречают выпущенного самые пагубные влияния; 2) что самое растлевающее начало находится не в горьком воровстве, а в том праздном, утонченном кругу, где блистают капитаны Мертоны. Мысль эта не нова, читатель, и мы ее, пожалуй, не раз с вами выражали, но она не мешала нам принимать визиты Мертонов-Крозье и с отвращением отвертываться от Филиппов. Если будет побольше таких писателей, как г. Мегью, быть может, если не мы, то другие мало-помалу от отвлеченностей перейдут в действительность и постараются устроить жизнь на другой лад.

В следующей статье мы познакомим читателей с очерками Джемса Гринвуда.

## Х

В «Серой действительности» и «Несентиментальном путешествии» Гринвуда нет ни героев, ни героинь, даже нет сколько-нибудь выдающихся характеров, но вы здесь видите то, что обыкновенно называется «толпой», и вам с большею ясностью и отчетливостью представляется то горнило, в котором перерабатываются, тонут или всплывают отдельные личности. Происшествий особенных тоже нет в этих рассказах; это просто изображение обыденного течения обыденной жизни в ее тинистых, топких, неприглядных берегах.

В противоположность утешительным авторам, всегда вдали показывающим где-нибудь какую-нибудь светлую точку и подстрекающим вас любоваться этой точкой и возлагать на нее всякие надежды и упования, Гринвуд заставляет вас убедиться, что точки, даже самые светлые, собственно немного значат, что они далеко недостаточны и что ими ограничиться нельзя.

Рассказы отличаются юмором и спокойствием; представленные сцены большей частью самые мирные и наименее печальные из разыгрывающихся в «серой действительности» «нового Вавилона».

Например, в рассказе «Сорный двор мистера Додда» десятки описываемых автором женщин, проводящих всю

жизнь в раскапывании сора, занимаются своим делом без всяких трагических признаков; они, искусно и проворно возясь в соре, покуривают трубочки и напевают. Автор даже прибавляет, что, по свидетельству докторов, работницы по «сорной» части пользуются, сравнительно с прочими работницами, лучшим здоровьем и что они дольше живут.

А между тем, после этого скромного, делового, так сказать, описания вам глубоко понятны слова разбитной Полли в рассказе «Ночная кофейня и ее посетители»:

— Вы бы предпочли, если б здесь вместо кофе продавали джин, а, Полли? — спрашивает какой-то шутник.

— Я бы желала, чтобы здесь продавали лауданум, — отвечает Полли, — и чтоб его мне всунули в глотку целую четверть фунта!

— Ах, какое грешное желание, мисс! — возражает хозяин кофейной, благочестивый старичок.

— Чтоб вам подавиться словами, старый вы дурак! — отвечает Полли. — Вы что тут смыслите? Я бы нашему брату, отрепышу, от первого до последнего камень на шею — и в воду!

В «Несентиментальном путешествии» благонамеренный читатель не встретит людей, изнывающих от сознания своего падения, жертв порока, мучимых совестью, а видит людей дюжинных, воров простых, не залетающих дальше изощрения своего ремесла и занимающихся этим ремеслом с таким же спокойствием совести, если не с таким удовольствием, с каким благонамеренный читатель кушает ранний персик из своей оранжереи.

Гринвуд — человек вовсе не сентиментальный. Он берет вопросы самого деликатного свойства и грубо повертывает их во все стороны и постукивает по ним с невозмутимой жестокостью. Например, рождественский праздник, о котором с такой любовью и трогательной признательностью писали другие талантливые английские авторы, наводит г. Гринвуда на иные мысли, — вовсе не умиленные.

В Англии, как известно, праздник рождества чтится больше всех других праздников. Англичане проводят его особенно торжественно умирительно, этому празднику приписывается особенная сила: смягчающее влияние на закоснелые в злодействе души, обращение черствых эго-

истов в любвеобильные сосуды и проч. К этому дню делаются денежные сборы для неимущих, раздаются коллективные милостыни и рассыпаются частные благодеяния.

— Все это так отрадно! — говорит читатель, любящий порадовать вдов рублем, сирот пирожком и слуг «на водку». — Что ж Гринвуд может тут карать?

Гринвуд и не карает. Он только берет семейство, — настоящее буржуазное семейство, благочестивое и зажиточное, именно такое, какими должны поддерживаться торжества рождественских праздничных обедов, нежные родственные связи и умеренные вспомоществования меньшей братии, — и описывает без прикрас и без желчи, как это семейство проводит «великий день».

— Пожалуй, все можно осмеять, — говорит, волнуясь читатель, — и самые высокие порывы... «Критиканом» быть легко, если нет в душе...

Гринвуд не «критикует», а только «изображает», и вы чувствуете, что в этом изображении нет ни единой, умышленно или неумышленно приведенной, неверной черточки. Перед вами именно те люди, которых ваша память привыкла вызывать с умилением, описания которых всегда заставляли вас улыбаться, вздыхать и вообще трогаться и в то же время чувствовать какое-то особое довольство миром и собою; перед вами те самые люди — старый воин-рубака, скрывающий под грубой воинской наружностью голубиное сердце, добрая, милая хозяйка, вносящая мир и довольство в семью, радующая взор молодежь с начинающимися волнениями любви, веселые дети, приятные аксессуарные лица-гости, — те самые люди, глядя на которых, или слыша, или читая о которых вы шептали: «Вот каких бы людей побольше! Побольше! Побольше!»

Отчего же по прочтении рассказа Гринвуда вы делаетесь угрюмы, испытываете, так сказать, род нравственного томления и за что-то сердитесь на г. Гринвуда? За что?

За то... за то... что он умеет все это так горько исказить, отравить, за то, что самые светлые проявления человеческого духа... и т. д.?

Но на что же собственно так тлетворно действует Гринвуд? Что он искажает? Что отравляет?

Мы представляем этот рассказ на суждение тех, кто его еще не знает.

## РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ЛОНДОНСКОГО ЖИТЕЛЯ

Зовут меня Джоб Блент. Вы, вероятно, уже слышали обо мне; если слышали — значит, знаете, что я человек не сентиментальный. «Простота» — мой девиз, и девиз вполне верный, так как я требую от других лишь то, что сам им даю. Я прост, как дубовый столб, как он, я груб и прям и, по истине могу сказать, так же тверд, как он. Я не стыжусь наготы своих рук, и будь у меня тысяча годового дохода, я не стану носить перчаток. Без помощи очков иду я своим путем и вполне довольствуюсь указанием своего носа. Это — здоровый, разумный и смышленный орган, и если его чутье до сих пор не довело меня до земель, которыми обладает Том Тидлер, оно, в то же время, отвело меня от многих соблазнительных дорожек.

Я не делаю ничего «на веру» или «на авось». Если я на своем пути встречаю мрак, я останавливаюсь и жду, чтоб кто-нибудь осветил его. Если чего не понимаешь, не лучше ли прямо в этом признаться и попросить, чтоб тебя поучили?

Рождественские праздники именно такая вещь, в которой я ровно ничего не понимаю. Не перетолкуйте моих слов в дурном смысле: для меня это такая же христианская радость, как и для всякого христианина, пекущегося о спасении своей души; но не более. Или я бестолковый болван, или другие лицемерят, понимая это торжество совершенно иначе. Посмотрите на старика Джобблинга. Я, бедняк, живу в бедной части города; Джобблинг торгует свининой в лавке, на углу улицы. Прошлого года он торговал гусями; он член общества снабжения бедных; в сочельник вечером, проходя мимо его лавки, я слышал, как он бранился с бедной женщиной, которая внесла только половину следуемых с нее по подписке денег и теперь просила отпустить ей в кредит на четыре шиллинга ветчины, так как иначе она не имеет возможности приготовить что-либо мясное завтра — в день праздника! Джобблинг на это не соглашался, ссылаясь на устав общества, и грубо объявил ей, что если она сейчас же не уйдет вон из лавки и не перестанет шуметь, то он ее куда-нибудь запрет. На следующее утро, в день рождества, во время обеден, я встретил Джобблинга, и на лице у него было такое вы-

ражение кротости, благодушия и святости! Можно было предположить, что мир и любовь, осенив его, как сосуд, наиболее достойный, преисполнили его собою по самые края; или, что тот, новорожденный царь, празднуемый с полуночи веселым благовестом, еще так мал, что не может знать всех греховных проделок мистера Джобблинга за прошлый и за многие прошлые годы, вследствие чего мистер Джобблинг может надуть его, надев маску добродетели и плотнее придерживая ее на себе. Да будь я нехрист, если это не маска. Кроме мистера Джобблинга, я могу насчитать десятки других джентльменов, придерживающихся такого же образа действий; они как будто откупили свою жизнь на срок от рождества до рождества, и для того, чтоб возобновить откуп, им стоит только 25-го декабря выставить со своей стороны как можно более смирения, раскаяния и душеспасительных пожеланий всякого блага врагам, отстоящим от них на далекие пространства. Возобновив, таким образом, откуп, на второй день праздника джентльмен вступает уже в обычный мир весов, аршинов, обмериваний и надувательств. Святой блеск, который виднелся вчера в его глазах, сегодня исчезает, и края его губ образуют угол, присущий им. Со второго дня рождества на целый год контракт куда-то далеко запрятан, забыт, похоронен.

Итак допустим, что образ действия мистера Джобблинга не что иное, как лицемерие; теперь нам предстоит решить вопрос: он ли виноват в этом, или виноваты те, кто его сделали таким? Кто эти люди? На ком лежит ответственность за весь этот водянистый, сентиментальный сумбур, которым преисполняются головы людей в день годовщины рождества христового? Гг. писатели, гг. литераторы. Лишь только начинается декабрь месяц, они принимаются пичкать всякий журнал, всякое обозрение всех трех соединенных королевств рассказами, преисполненными таинственности, суеверия, разного рода небылицами — а все это на человека непросвещенного производит действие хлороформа. Я ничуть не вооружаюсь против вымысла: я, как и всякий другой, сам наслаждаюсь кудреватым, бойким, хорошо веденным рассказом; но то, что поставляют нам писатели рождественских рассказов, далеко не в этом роде. Все эти рассказы выдаются за личные впечатления автора или за впечатления, переданные его знакомым, который никогда бы не решился сообщить ему

это трагическое событие, если б не уступил «тайнственному влиянию» рождественского праздника. Цель пишущего не повеселить читателя, а заставить его вздрогнуть. Он прикидывается невинным, когда рассказывает о тайнах кладбищ, о блуждающих бестелесных духах; он весьма доволен, если ему удастся довести робкого человека до ужаса, запугать его до того, что он начинает бояться своей тени, даже огня в своем камине, который до сих пор светил ему так отрадно, но в котором ему теперь начинают мерещиться «образы» и «образины».

По этому поводу я могу только выразить свое мнение: я думаю, что литератор, сочиняющий рождественские рассказы, лжет. Конечно, я говорю не наверное. Может быть, действительно в огне бывают видны «образы» и «образины»; может быть, в рождественское утро мороз рисует на окнах более фантастические узоры, чем во всякий другой день; может быть, и призраки являются. Если мне придется увидеть их, то я, конечно, буду в них верить. Может быть, Ф. более, чем Р., одарен способностью видеть такие вещи; в таком случае он имеет полное право о них писать. Впрочем, я мало в этом смысле, поэтому и не стану об этом много говорить.

Но я хорошо понимаю, когда автор рождественских рассказов толкует о праздновании этого дня в семейном кругу. По этому поводу я смело скажу, что он или ничего об этом не знает, или же он, не могу прибрать более мягкого выражения,— лжец отъявленный. Я знаю двадцать три семейных кружка, не говоря уже о двадцати шести несемейных, знаю, как они проводят праздник, поэтому считаю своей обязанностью заявить, что если бы всех их выжать под прессом, то и тогда не удалось бы извлечь из них четвертой доли той сентиментальности, романтичности и патетичности ощущений, внушаемых будто бы «мистическим влиянием» дня, какие помещены в каждом из пятидесяти семейных рождественских рассказов, которые вы сегодня можете купить у торговца. Зовут меня Джоб Блент; вы можете назвать меня грубияном, но я вам прямо скажу, что семейные сцены, описываемые в рождественских рассказах никогда не были взяты из действительности; это не что иное, как сущая выдумка.

Мне можно поверить: я говорю не на ветер. Я впечатлителен не менее другого, и если бы в одном из рождественских семейных кружков, которых я когда-либо

был членом, чувствительное настроение, или пафос, или нечто подобное овладели кем-нибудь из присутствовавших, это от меня не укрылось бы. В таком случае почему же я не ощутил бы того «мистического влияния», которым так все переполнено в этот день? Я готов его испытать; я не трус и не испугаюсь этого. Пусть оно сойдет на меня, или парит надо мною, или действует на меня каким бы то ни было образом; а когда я его на себе испытаю, я встану и скажу об этом прямо, как подобает человеку.

Если не я, то отчего не ощутил его ни один из членов моей семьи? Семья моя именно одна из таких, какие преимущественно описываются в рождественских рассказах: есть в ней и мальчики и девочки — всех их числом девять, и когда они встанут в ряд, то от старшего Томаса, который уже служит рассыльным при модном магазине, до младшего — маленькой Джесси, они образуют настоящую лестницу, о чем также нередко упоминается в рождественских рассказах. Жена моя довольно полная женщина, небольшого роста; таких именно невысоких и полных женщин, матерей многочисленного семейства, и любит описывать рождественская литература; у жены моей веселые, карие глаза, которые, как известно, предпочитают всяким другим рождественскими литераторами. Отец мой — старик с белыми, редкими волосами, с согнутой спиной и костылем (самым необыкновенным, какого вы когда-либо видели: он сделан из железного дерева, выточен из челнока островитянина Южного океана и сверху донизу испещрен резными изображениями кораблей, китов, канибальских пиршеств: отец мой был моряк); он славный, веселый старик, и детки мои не нарадуются, когда он приходит к нам. В первый день рождества он всегда у нас. Потом есть еще у меня дядя, солдат с деревянной ногой и серебряной бляхой на шляпе; и то и другое он стяжал в войне с китайцами; есть и племянник, мичман на службе у Грина; и еще племянник, который состоит сторожем при лондонской тюрьме. Список этот может быть значительно удлинен, но это не поведет ни к чему, так как моя главная цель — доказать лишь то, что на этот довольно обширный кружок, собирающийся на рождество в нашей гостиной, «мистическое влияние», если бы оно существовало, могло бы несомненно оказать свое действие.

Но как бы то ни было, нам весело и без него. Если меня приглашают на вечер, я отправляюсь с целью

провести весело время и уверен, что хозяин дома не забудет ничего, что бы могло мне доставить удовольствие. Я сам держусь этого правила. Мои гости в день рождества найдут у меня хорошее жаркое, хорошую водку и камин, который будет топиться, сколько им будет угодно. В пудинге будет воткнута ветка остролистника, а середина потолка будет украшена букетом. Сын мой Том будет им аккомпанировать на флейте, если они пожелают петь. Если они курят, я угощу их табаком и пахитосами. Не найдут они у меня, как я уже говорил, только «мистическое влияние» и сами не принесут его с собой.

— Однако ж оно найдется и у вас, вероятно,— возразит мне мистер Джобблинг.— Какой вы глупец! Разве оно имеет какую-нибудь форму? Вы его не можете ухватить; оно, как воздух, неуловимо; это воздух; ваш дом им полон; вы им дышите и вы сами им полны, и вы, и все ваше семейство. Ведь вам весело? Это мистическое влияние и делает вас веселым; сердце ваше наполняется, язык развязывается, рука протягивается радушно. Это-то самое влияние и придает такой вкусный запах вашему жаркому, такой приятный аромат пудингу из слив, такой хмель вашему элю, такой блеск и живость огню камелька! Что значили бы без этого мистического влияния старинные наши легенды и песни? Что, как не оно, связывает узами любви ваш родственный кружок, оживляет отуманенный печалью взгляд, изощряет устарелую память, заставляет вас говорить и поступать так, как вы говорите и делаете лишь сегодня, лишь раз в году?

Основываясь на рождественских рассказах, мистер Джобблинг непременно сказал бы мне это. Он бы мог еще прибавить:

— Проверьте в будущей праздник рождества ваши чувства к ближним и их отношения к вам и скажите мне, был ли я прав или нет.

Я, мистер Джобблинг, уже делал это. Я проверял это не далее, как в прошлом году, и весьма доволен, что могу вам представить результат моих наблюдений. Кроме отца моего и дяди Хаддока (того самого, который стяжал себе в Китае деревянную ногу и серебряную бляху), были у нас в гостях: тюремный смотритель со своей молодою женой, племянник, что служит у Грина, мой помощник с дока (я бочар, как вам известно) с женою и дочерью Ребеккою (которая, по догадкам моей супруги, пленилась нашим

Томом). Восемь человек, кроме нашего собственного семейства. Прибавлю еще то, что гостей не я подбирал: кроме отца и дяди Хаддока, которых я позвал, все прочие были приглашены женой, все до одного; так как я имел в виду сделать опыт над «мистическим влиянием», то был очень рад, что это так устроилось.

Если кто вообразит, что я предубежден, тот ошибется: постоянным моим правилом было «полная свобода во всем», и в этом случае я от своего правила не отступил. Накануне я лег спать до двенадцати, совершенно спокойный, и мысленно готовился поддаться тому настроению, которое доставит мне рождественское утро. Случилось, однако же, что мне не пришлось дожидаться утра для произведения опыта над вопросом о «мистическом влиянии»; около двенадцати послышались невдалеке звуки музыки. Не знаю, какие тут были инструменты, я только разобрал рожок, флейту и концертин. Всем известно, какими обворожительными красками рождественские литераторы описывают музыку, которая предшествует, по обычаю, полуночному благовесту; а музыканты стояли именно на таком расстоянии, что игра их действовала приятно и успокоительно на человека, уже засыпавшего. В приятном полужабытьи я прослушал «Последнюю летнюю грозу», и они сыграли ее так хорошо, что я пожалел, когда они кончили. Вскоре, однако же, концерт снова начался: я узнал песню «Свет иных дней». Мистрисс Блент пела ее еще до нашей свадьбы, и мне было всегда приятно услышать эти любимые звуки где бы то ни было. Не могу не сознаться в том, что когда я слышу этот знакомый старинный мотив, то задумываюсь. Мне показалось, что и жена моя в эту минуту прислушивается и погружается в воспоминания.

— Слышите, Сара? — спросил я ее.

— Да.

— Помните?

— Молчите. Как же я могу слушать, когда вы разговариваете?

Я удивился. Она ужасная соня и терпеть не может, когда ей мешают спать; вдруг теперь — лежит и слушает. Не навевает ли на нее музыка того влияния, какое, по словам рождественских литераторов, неминуемо приспосабливает каждого? Не подействует ли она и на меня? Если бы еще минуты две подумать на эту тему, может быть, меня

и постиг бы желаемый результат; но Сара прервала мои думы так же быстро, как бы продавала яйцо кирпичом.

— Ну, вот и соврал,— сказала она.

— Кто соврал, Сара?

— Да флейтист! Вставляет какие-то новые вариации в песню: это меня бесит. Наш Том играет во сто раз лучше этого дурака.

С этими словами она опустила голову на подушку и через минуту ее ровное дыхание убедило меня, что она уже спит.

На следующее утро нас разбудил Том — разбудил мать стуком в дверь, а она, крикнув: «Что тебе нужно, Том?» — разбудила меня.

— Да вот эти несносные сапоги,— отвечал Том.— С полчаса натягиваю их и не могу надеть. Черт бы их побрал!

И Том, у которого нога, вероятно, была наполовину в сапоге (эту новую пару купили лишь вчера вечером), так стукнул каблуком о косяк, что удар разбудил бы глухого.

Том встал чуть свет, потому что обещал Ребекке прийти в Ротергит к семейному завтраку и потом с ними вернуться домой к обеду. Было едва ли шесть часов и еще совсем темно. Стук сапогом рассердил меня.

— Поделом тебе! — крикнул я.— Поменьше бы щеголял и не покупал бы себе таких узких сапогов, что не лезут на ногу!

— Когда я их примерял, они налезали,— отвечал Том с досадой,— они бы и теперь налезли, если бы у меня носки были как у людей, а у меня они все исштопаны, все в швах!

— Исштопаны, все в швах! Ах ты, враль-мальчишка!

И пошло. Но об этом я распространяться не буду. Сапоги и носки Тома — это наше частное дело и никого не касается, кроме нас. Я бы и не упомянул о них, если бы не обязался записывать все свои впечатления с самого того момента, как проснулся. Если бы Том не нашумел по поводу носков и если бы сапоги ему беспрепятственно нашли на ногу, я бы, может быть, проснулся в тихом, мирном настроении духа. Впрочем, я обещался не делать предположений, но излагать факты; а факт был тот, что я проснулся не в мирном настроении; вставая, я имел намерение

строго поговорить с Томом, если только ему не удалось напялить сапогов и улепетнуть в Ротергит до моего появления.

Таким образом я проснулся в день рождества христова. За завтраком не произошло ничего замечательного, кроме разве того, что младшим детям налили кофе покрепче обыкновенного и каждому дали по яйцу. Потом они ушли в воскресную школу, как и в простое воскресенье; а две девочки принялись убирать комнаты и помогать на кухне — что они делают и в обыкновенное воскресенье, с той только разницею, что сегодня дела было больше. Поэтому и я принялся помогать: почистил рамки картин, вытер зеркало над камином, подвязал к потолку омелу и, не будучи уверен, что укрепил ее как раз насередине, позвал жену посмотреть (у нее удивительно верный глаз). Я не сказал, зачем ее зову, и потому, когда она подошла к двери и взглянула на указываемый мною пучок, то я заметил на ее лице тень неудовольствия; но потом она засмеялась и сказала:

— Господи помилуй! Отзывает меня от дела и зовет за таким вздором — вот старый дурак!

— Ты обольешь гусиным жиром свой черный атласный жилет! — сказала мне потом Сара. И это со мной действительно случилось. Ром стоял приготовленный на буфете, и мы с нею выпили по капельке.

Вот все, что случилось необычайного до тех пор, как пришли к нам старики. Беловолосый дедушка, с карманами, полными игрушек, так же любим внучатами, как любима вечерняя музыка накануне рождества — по уверению рождественской литературы. Отец семейства, говорит эта литература, по обыкновению, встречает старика-отца у входа, даже у ворот; дети кидаются к нему толпой, лезут ему в карманы, давят его шляпу и чуть не душат его в объятиях. Я знал, однако же, что этого у нас случиться не может, как бы ни было сильно действие «мистического влияния», потому что отец мой не любит суматохи. К тому же дети еще не возвратились из воскресной школы. Жена моя отворила ему дверь, две старшие внучки приветствовали его у входа.

— Дедушка, здравствуйте! Здоровы ли вы?

— Слава богу! Если б только не старая эта боль, знаете? Желая повеселиться на праздниках, девочка, и вам всем, милые. Где же Джоб?

— Я здесь, батюшка. Когда перецелуете их всех, пойдете наверх.

— Ну, как дело, милый? А как Салли-то хорошеет!

— Да, она, кажется, выравнивается. Отчего это у вас такие холодные руки?

— Холодные! Я еще удивляюсь, как я совсем не замерз; сидел наверху, а этот проклятый камденский омнибус еле тащится. Желая вам всем счастья и удачи! Отличный ром, Джоб, я такого не пил почти с тех пор, как воротился со службы.

Потом мы перекинулись несколькими словами по поводу холодных и теплых рождественских праздников; старик вернулся к вопросу о своей поездке на холодной вышке омнибуса, затем перешли к разговору о железных дорогах, пароходах, об американской войне — в том же самом порядке, как это у нас делалось в чистый понедельник, и в страстную пятницу, и в простой вторник или среду. Никакого сомнения не могло быть в том, что «мистическое влияние» не осенило моего отца.

— Не Северу с ними сладить,— сказал он, стукнув кулаком по столу, как делал обыкновенно, разговаривая о войне.— Юг сожмет их в кулак, сэр! Это уже давно бы и случилось, если бы со стороны Юга не замешались в дело женоподобная мягкость и малодушие и проч. и проч. Надо «идти и косить», сэр, как это бывало в мое время. Разве можно привести такими мерами войну к скорому окончанию? Посмотрели бы вы, как наш маленький эскадрон резался с малайскими пиратами! «Иди и коси!» было нашим девизом, сэр, и...

Так разглагольствовал старый воин — добрейший и смиреннейший из смертных. Он продолжал в этом роде, пока не пришли к обеду дядя Хаддок и Джо Хаддок, тюремный смотритель с Елизаветою, молоденькой своей женой, мистер и мистрисс Коль из Ротергита с дочкою Ребеккою и моим Томом (у которого сапоги разносились, и все шло как нельзя лучше). Обед был подан.

То был важный, редкий обед! Если приготовлению его сколько-нибудь содействовало «мистическое влияние», то, разумеется, я очень ему благодарен; но, вместе с тем, не могу не заметить, что обед и без этого влияния должен был выйти хороший: за кусок говядины с ребрами заплачено было десять пенсов с полупенни, это цена изрядная; а когда платят за гуся четырнадцать шиллингов, то неудивительно,

что он оказывается вкусным, жирным и нежным. К тому же моя жена — повар, настоящий повар, заметьте; она получила шестнадцать фунтов стерлингов в год и готовила за повара, когда не была еще замужем; следовательно, можно смело сказать, что не одно «мистическое влияние» влияло на приготовление обеда. А обед был отличный; все в один голос это признали и всякий глядел таким счастливым и довольным, что жалко было убирать блюда со стола!

Писатели рождественских рассказов редко поминают о после обеда и я, со своей стороны, не имею ничего особенного о нем сказать. Леди уходят в одну сторону, молодые люди в другую, а дядя Хаддок, отец и я притворяем за ними двери, придвигаемся к камину и начинаем покуривать трубочки, прихлебывать из стаканчика и, наконец, один за другим погружаемся в дремоту.

Точно так же писатели рождественских рассказов умалчивают о питье чая — и я этому не удивляюсь: я всегда ужасно рад, когда выберусь из-за чайного стола. Всякая благодать, я полагаю, отлетает горе на это время, представляя англичан самим себе.

Теперь наступает главное, всевенчающее время. Мелюзга уложена в постель (они к вечеру становятся очень неприятными: лезут на колени, киснут, капризничают, и если вы настолько безумны, что позволите им подобраться к себе, они устраивают себе изголовье на ваших новых панталонах или на свеженьком шелковом платье), свечи зажжены, камин пылает, кресла придвинуты к камину и грог приготовлен. Ну, вот мы налицо и все как следует: именно такая обстановка, такой кружок, какие любит изображать писатель рождественских рассказов, с той разницею, что отличные уэльсендские уголья исправляют должность рождественских полен — полена эти, правду говоря, топливо курное и неприятное, и, я полагаю, его больше употребляют в рождественских рассказах, чем на каминных решетках, — и что грог не в чаше, а разлит по стаканам. Ну, что ж дальше? Вот мистрисс Коль и моя жена шепотом толкуют о том, как странно у маленького Чарльза Коль прорезываются глазные зубы; вот Биль Коль и мой племянник, сторож, говорят о способе трепать пеньку и делать сети; дядя Хаддок попивает свой грог и объясняет отцу и мне, как он боится пить хмельное, потому что у него серебряная пластинка на черепе; Джо Перкинс, Елизавета и мои старшие дочери хихикают, под-

мечая за моим первенцем Томом и его Ребеккою, которые представляют из себя чрезвычайно жеманную группу и уцепились друг другу за руки, словно опасаясь, что их вот сейчас кто-нибудь разлучит навсегда. Вдруг Том замечает хихиканья, встает и осведомляется, не желает ли кто-нибудь спеть.

Начинается пение. Мистрисс Коль поет «Всесокрушающего белого сержанта», затем следует веселая старинная песенка «Когда я жил в бабушкиной хижинке», пропетая моей миссис, а затем «Волк», исполненный Джо Перкинсом в угоду Елизавете, которая пожелала слышать эту музыку. Я не пою; дядя Хаддок тоже не поет, но мой отец поет — поет бравые морские песни. Он начинает «Гарри Гаузера», потом поет «Смерть Нельсона», потом «Сердцá из дуба» и выказывает при этом изумительную для такого старого человека живость и юркость: он вскакивает на ноги и своим костылем обозначает на полу или в воздухе неприятельскую позицию и подробности различных случаев и катастроф, — и все это с такою размашистою энергией, что семейный кружок, при конце первой песни, оттеснен и разбит в разные углы и только при начале второй песни снова прилично сгруппировывается. Старый моряк оскорбил несколько чувства Тома и его матери. Том, по доброте сердечной, хотел помочь дедушке аккомпанементом, и когда старый джентльмен, топнув ногой, заревел: «Это случилось в Трафальгарском заливе», Том стал тютюкать в свою флейточку. Старый прервал тотчас пение.

— К черту эту свистульку, Том,— сказал он.— Я пою про битву, где стреляли ядрами из пушек, дружок, а не из перушек горохом! Бросьте эту пищалку!

С наивеличайшими трудностями мы уговорили потом Тома спеть «Молодца из деревни», хотя он разучивал эту песню с самого октября. Когда, наконец, Тома уломали, отец добродушно полил бальзамом нанесенную им рану, присоединив свой голос к этой глупенькой песне.

Когда мы достаточно угостились пением, кто-то предложил какую-то новую глупую загадку, но все ее знали. После нескольких старых загадок, из которых в последней дело шло о смирительной куртке, Джо Перкинс рассказал нам историю об одном бешеном человеке, как этот человек, одержимый *delirium tremens*, бушевал у них в темничной больнице и какова с ним была работа и мука всем служащим при заведении.

Затем мы разбились на пары и по трос — Джо Перкинс уютился с Елизаветою, Том со своей Ребеккою, мистрисс Коль с моей миссис,— все они шептались, смеялись и шутили, а я и Коль рассуждали о доках, старый же моряк и солдат о своих пенсиях. Все мы находились в отличнейшем настроении духа.

Затем были предложены карты, и все увлеклись шансами веселой и интересной игры, которая продолжалась до самого ужина, завершившего праздничный вечер.

Что это вечер приятный и удовлетворительный, могущий утешить всякого гражданина, в том спору нет, но хоть повесьте меня, я все-таки не вижу тут ни малейшего признака «мистического влияния».

## XII

И в самом деле, читатель, казните мысленно Гринвуда, вы все-таки вынуждены будете признать, что он прав. Больше вина к обеду, больше хлопот на кухне, больше суматохи в доме — и только. Ясно как день, что никто от того не сделается лучше и что никому из голодных не облегчает.

— О господи! Мир, конечно, греховен и люди слабы и порочны,— говорит всеумиротворяющий читатель,— но зачем же вы хотите сделать еще хуже? Вы подкапываетесь под самые... самые... благородные обычаи! Разрушайте все низкое, жестокое — в добрый час! — но не трогайте того, что служит светочем во мраке, что шепчет человечеству о любви и правде!

Есть вещи, которые, если смотреть на них с одной только точки, кажутся удивительно и трогательными, и полезными, но если взглянуть на них поглубже, покажутся возмутительными и даже вредными.

Есть тоже вещи сами по себе очень похвальные, даже когда-то благотворные, но до того потерявшие всю свежесть, до того забросанные всякой тиной, прахом и плесенью, что уже в них ничего живого не осталось.

Праздновать канун или день великой радости, дарованной человечеству, само по себе прекрасное дело и никто против этого спорить не будет, но эксплуатировать эту радость и обратить ее в выгодную спекуляцию — это уж совсем другой вопрос.

Празднество рождества христова в Англии именно обратилось в эксплуатацию.

Великобританские граждане затыкают глотку своему пролетариату «великим празднеством общечеловеческой радости», и вся вина Гринвуда в том, что он видит это шило в мешке и, видя его, указывает и другим. Он даже не пускается в большие рассуждения, а только смиренно приподнимает уголок розовой завесы и открывает перед вами глубь сцены, и освещает ее — глядите и судите сами.

Да разве можно утаить шило в мешке? Нельзя, читатель! Напрасно благонамеренные писатели, напрасно писатели благодушные и наивные стараются прикрыть его розовыми флерами и дымками; усилия их, как и усилия благородных меценатов, тщетны. О читатель! «Меньший брат» растет! Растет болезненно, трудно — смертность огромная — но все-таки растет и с каждым днем становится пытливей и беспокойней. Давно ли он всему верил, всем утешался, со всем примирялся, на все уповал? Давно ли, например, превращение скряги Скрогга<sup>1</sup> в самого милого старшего брата наполняло его душу ликованием? Давно ли он так признателен бывал меценатам за всевозможные ласковые подачки? Помните, какой эффект производила на него «крупная слеза, скатывающаяся на седые усы честного рубаки?» Помните, как пленяла его эта молодежь со своей расцветающей друг к дружке любовью, беззаботные дети, утешенные игрушками и пряниками, мирные отцы и матери семейств, прожившие всю жизнь, «не утратив жара юности», вспоминающие в праздник своих бедных родственников и носящие на всем своем существе «печать чистоты душевной и ясность любящего сердца»? Помните, читатель?

Теперь не то. Теперь младший брат говорит: перерождение Скроггов в самоотверженных ревнителей общественного блага бывает только в святочных рассказах. Наконец, положим, что это так и случилось — но это все-таки только случайность, а зависеть от случайности не особенная благодать. Неудобно жить, уповая на причуды такого старшего брата, как Скрогг. Вид пресловутого благородного рубаки с умилением, симпатией и катящейся слезой в седые усы напоминает других воинов, другие седины и другие слезы. Молодость с расцветающей любовью напоминает

---

<sup>1</sup> Святочный рассказ г. Диккенса.

другую, голодную и преждевременно хиреющую, беспечные дети с пряником в руках — других детей, изможденных и зачахших. «Меньшой» брат идет все дальше и дальше, читатель, по ниточке до клубочка и, размотав этот клубочек, многому любопытному научается.

### ХIII

Одной из величайших неприятностей, говорит г. Гринвуд в своей «Серой действительности», одной из величайших неприятностей, выпадающих на долю человека, который поставил себе делом разоблачать всякие обманы и плутни и обнажать всякие язвы и раны, подъедающие общество, можно назвать необходимость являться иногда вышеупомянутому человеку в роли лицемера и шпиона. Это неизбежно, и увернуться от этого нельзя. Есть места, куда, во имя общественной пользы, крайне желательно проникнуть и куда проникнуть без фальши так же невозможно, как невозможно неприятельскому военному кораблю спокойно войти и бросить якорь в Портсмутской гавани.

Для успокоения совести постараемся взглянуть на вещи с точки зрения остроумной и дальновидной особы, впервые пустившей в ход афоризм, что «в деле любви и в деле войны все позволительно».

Насколько я понимаю, изобретатель этой благородной мысли вовсе не думал заключить ее приложение в узкие границы успешного воркования, лобызания и последующих торжеств любовника или в менее узкие границы успешной молотбы, растерзывания и истребления ближних посредством бомб, штыков и других смертоносных орудий. Я полагаю, что он подразумевал более широкое поле действия. Без сомнения, он понимал, что любовь — страсть слишком многосторонняя и не может вся сосредоточиться на одном месте, на узкой дорожке, ведущей к брачному союзу; что половое влечение составляет только одну из фаз всеобъемлющего чувства и что существует двадцать родов любви, несравненно возвышеннее той, которая только браком сочетает себялюбивое человечество. Без сомнения, он понимал так же хорошо, как я или вы, дорогой читатель, что нам нечего бегать за чужеземными врагами, интригующими против благоденствия нашего отечества или злоумышляющими против спокойствия нашей повелительницы и ее

добрых верноподданных, и что самые опасные неприятели — дѣма, кишат среди нас. Это изворотливые, трусливые, отчаянные неприятели, которые не вызовут вас на открытый бой лицом к лицу, но которые не задумаются напасть на вас сзади, или поразить из-за угла, или в темноте устроить вашу погибель.

Против подобных неприятелей человек должен вести войну и может считать все средства позволительными. Таково мое искреннее убеждение. Если я ошибаюсь, то мне остается только просить добрых людей помолиться об отпущении моих грехов, потому что я в этом отношении грешник.

Прошу позволения рассказать читателю о самых свежих моих грехах.

В последнее время общественное внимание было обращено на новое ремесло, изобретенное голодною нищетою. Многие из «домашних» неприятелей за ничтожную сумму или за дешевую плату понедельно и помесечно начали принимать на «усыновление» или на «воспитание» маленьких детей, извлекая для себя все выгоды и удобства из страданий и лишений беспомощного детства. Мне показалось нелишним вникнуть хорошенько в это дело.

Ежедневная газета «Клеркенуэльские ведомости» расходуется во всех уголках и закоулках Лондона, и преимущественно через эту газету «усыновляющее» братство рассылает свои объявления и отыскивает клиентов. Каждое утро в «Клеркенуэльских ведомостях» появляется средним числом по крайней мере полдюжины подобных объявлений о желании «усыновить» или «взять на воспитание». В пятницу, 13-го декабря, было пять объявлений; в субботу, 14-го декабря, — восемь; в понедельник, 16-го декабря, — семь. Как я уже заметил выше, средним числом шесть объявлений в день; значит, тридцать шесть в неделю.

Правда, в этом числе много *настоящих* объявлений. Если у меня прежде были на этот счет сомнения, то теперь они совершенно рассеялись. На столе передо мной лежат два вороха писем, полученных мной в ответ на мои коварные и фальшивые послания; из них один ворох побольше, другой поменьше, и я утвердительно могу сказать, что больший ворох состоит из ответов честных людей. Но я должен признаться, что для меня остается неразгаданною тайною, каким образом эти честные люди, за требуемую ими ничтожную плату, могут исполнять свои

обязанности в отношении взятых на воспитание или усыновленных детей?

Привожу пример:

«Желают принять дитя на воспитание. В каком угодно возрасте. Довольствуются малою платою, с условием аккуратного получения. Всевозможные удобства как для ребенка, так и для ненарушимого сохранения тайны. И. З. Пекгем».

Обещание «удобств» для ненарушимого сохранения тайны возбудило мои подозрения. Я тотчас же отправил к И. З. письмо от имени М. Д. Это письмо уведомляло, что М. Д. бог благословил двумя детьми, которых он желал бы поместить в удобной квартире, под присмотром верных и надежных людей. Одному ребенку шесть лет, другому три года. К несчастью, один ребенок больной и требует самого тщательного и постоянного ухода. М. Д. покорнейше просит уведомить, могут ли принять больного ребенка и какая сумма за это потребуется в неделю.

На вышеприведенные запросы последовал такой ответ:

«И. З. имеет честь уведомить М. Д., что болезнь ребенка не будет служить препятствием для его принятия. И. З. живет с дочерью, и обе не имеют никаких других занятий. В нашем распоряжении находится прекрасная колясочка, в которой моя дочь может возить больное дитя на прогулку. Плата за обоих детей восемь шиллингов и шесть пенсов в неделю. Платится за месяц вперед».

В этом ответе не было ничего подозрительного, но чтобы окончательно разъяснить дело, я отправился немедленно по адресу и скоро собрал на месте достоверные сведения, что И. З. и ее дочь известны за достойных людей, что они недавно потеряли отца и брата и остались без всяких средств.

Каким образом эти достойные женщины брались воспитывать двух детей, одного шестилетнего и другого трехлетнего, и вдобавок больного, за семь с половиною пенсов в день? Какую пищу и сколько пищи можно доставить больному ребенку за семь с половиною пенсов? Я верю в чистоту намерений И. З., но легко понять, каково будет содержание и воспитание детей при подобных условиях.

Возьмем теперь другой пример:

«Усыновление. Желая заменить недавно понесенную утрату, объявительница сего хотела бы усыновить дитя и воспиты-

вать его как свое родное. Плата тридцать фунтов. Христианские правила. Адресовать А., Сомерс-Тоун».

В ответ на это М. Д. уведомлял А., что у него имеется маленький мальчик для помещения, и если обещанные условия будут в точности исполнены, то он согласен уплатить сумму в тридцать фунтов. Конечно, А. может представить за себя поручительство каких-нибудь известных почтенных лиц. Может ли М. Д. лично увидаться с А.? Если личное свидание может устроиться, то М. Д. покорнейше просит немедленного ответа, желая сколь возможно скорее привести это дело к окончанию.

Через день получен следующий ответ:

«А. бесконечно признательна М. Д., но сомневается, хорошо ли он понял ее желание. Она желает, чтобы ребенок был отдан совершенно в ее распоряжение без всяких поручительств и справок, которые могут только повести к недоразумениям и неприятностям. Покорно прошу отвечать по прежнему адресу. А. с величайшим удовольствием готова явиться к М. Д.»

С поспешностью, показывающей, насколько интересуется это дело, М. Д. отвечал следующее:

«М. Д. согласен отдать ребенка в полное распоряжение А.; но чтобы окончательно решить это дело, необходимо личное свидание, и так как свидание это не может иметь места в квартире М. Д., ни в почтовой конторе, ни на улице, то М. Д. желал бы видаться с А. в ее собственном жилище. Хотя раз отдавши дитя, М. Д. не будет настаивать на том, чтобы посещать его, однако М. Д. поставляет непременно условием видеть дом и помещение особы, которой доверяет ребенка».

Это послание повело к очень скорому исходу: со следующей почтой пришел краткий, но красноречивый ответ:

«А. уже приняла питомца и потому должна отказать М. Д.»

По всем вероятностям, питомца у нее еще не было, и она просто боялась иметь дело с человеком, требующим поручительств и личных свиданий в ее доме.

В одно время с объявлением А. было напечатано другое в том же роде. Оно гласило, что объявительница, вследствие совершенно особенных обстоятельств, желает взять на воспитание здорового ребенка, девочку или мальчика, все равно. Ребенок должен быть отдан в полное ее распоряжение. Хотя возраст не будет препятствием, но она пред-

почла бы взять маленького ребенка. Согласна принять новорожденного или даже немного подождать, если еще не родился. Местность замечательно здоровая. Нежность и заботливость истинно материнские. Плата умеренная. Адресовать на имя Б. О.» и т. д.

Немедленно М. Д. отправил послание к Б. О. М. Д. желал отдать на воспитание десятимесячного мальчика. К несчастью, мальчик страдал английской болезнью и, кроме того, другими недугами, часто пагубными для маленьких детей. М. Д. откровенно обращался к Б. О. и смел надеяться на такую же откровенность с ее стороны. Если болезнь ребенка не будет препятствием к его принятию на воспитание, то М. Д. покорно просит уведомить, какая сумма за это потребуется.

Через восемь часов М. Д. получил следующий ответ: «Сэр, Б. О., руководимая материнскими чувствами, не отказывается принять больного ребенка. Что касается до платы, то она, конечно, должна соответствовать тем страданиям и огорчениям, которые доставляют детские болезни. Если ребенок будет снабжен в достаточном количестве бельем и платьем, то Б. О. согласна удовлетвориться суммой в двадцать пять фунтов, в противном случае не может взять менее тридцати фунтов. Вся сумма, разумеется, платится вперед. Ненарушимая тайна будет сохранена.

Р. С. Если М. Д. имеет серьезные намерения, то не должен медлить и откладывать это дело, ибо Б. О. получила уже два другие предложения. Адресовать: Б. О. (франкировать), П-улица, Гокстон».

Теперь давался не тот адрес, который был помещен в первом объявлении. Я знал П-улицу, Гокстон, и отроду не подозревал, что ее кто-либо считает замечательно здоровою местностью. Это была узкая, вечно грязная улица, где имели пристанище люди, занимающиеся клееварением, жареньем рыбы и другими подобными пахучими ремеслами. Я был несколько удивлен тем, что Б. О. так скоро дала мне свой настоящий адрес. Конечно, я просил об откровенности, но никогда не ожидал, чтобы просьба моя была так легко исполнена. Очевидно, что Б. О. поверила каждому моему слову и намерена была дружелюбно обделать выгодное дело.

Я не отвечал письмом, я отправился сам в П-улицу, в Гокстон. Во время дороги я тщетно старался разрешить удовлетворительно проблему, каким образом отыскать Б. О.

в доме, где, вероятно, множество жильцов. Но моя «счастливая звезда» помогла мне и на этот раз самым неожиданным образом. Я был занят отыскиванием номера, означенного в адресе, когда заметил подходящего почтальона. Его-то мне и было надо!

— Зайдите с другой стороны дома, — отвечал он и, перевертывая в руках письма, прибавил, — я тоже иду туда.

Я взглянул на адрес письма, которое он держал, и сейчас же узнал заглавные буквы Б. О.

Мой путь был теперь найден. Я последовал за почтальоном и выждал, пока он постучался в двери Б. О. официально-почтовым образом

— Б. О.? — крикнул почтальон, когда дверь отворилась.

— Здесь, — ответила оборванная девочка, принимая письмо; потом, поднимаясь вверх по лестнице, она визгливо вскрикнула:

— Мистрисс Окслик!..

— Что вам угодно, сэр? — спросила оборванная девочка, заметив, что я иду за нею следом.

— Мистрисс Окслик, — ответил я.

— Кажется, ее нет дома. Ушла в совет.

— Куда ушла?

— Ушла по делу в совет, ей что-то платить надо в совете.

Я хотел продолжать разговор с словоохотливою оборвannoю девочкою дальше, но в это время сверху, из-за лестничных перил, свесилась голова человека с короткой трубкой в зубах и в грязных носках; он спросил: «Кто желает видеть мистрисс Окслик?»

— Вот письмо и джентльмен к ней, — ответила оборванная девочка.

— А! Это доктор. Пожалуйста наверх, сэр, потому что я не могу к вам спуститься. Я вот нянчу пискуна, и он совершенно голый. Отдайте письмо доктору, Тильда; доктор, вероятно, будет так обязателен, что принесет его сюда.

Я был так обязателен и поднялся по лестнице, внутренне утешаясь тем, как ловко мистер Окслик попался в ловушку.

Я без всякого колебания вошел в комнату.

Комната эта была скудно меблирована, но в ней не замечалось признаков бедности; напротив того, большой огонь был разведен в камине, и в горячей золе грелись две тарелки и блюдо с какими-то кушаньями; тут же, поближе

к огню, стояла сковорода с очень аппетитно поджаренными свиными колбасами.

С первого взгляда можно было разгадать, что за человек хозяин. Волосы у него были нечесаны, лицо грязное и борода всклоченная. Около камина виднелось на стене сальное пятно, обозначающее место, где прислонялась его голова.

Войдя в комнату, он вынул изо рта грязную, короткую трубку и положил ее на каминную доску, где находилась бутылка от пива, куча табачной золы и негодный старый чубучок. Он ходил в одних носках по неопрятности, потому что около камина лежала пара теплых, стоптанных туфель. При взгляде на ребенка, которого он нянчил, у всякой женщины перевернулось бы сердце.

Несчастный, бледнолицый, запущенный крошка лежал у него на коленях, касаясь лицом грязных фланелевых панталон, завернутый в засаленные лохмотья, на которых остались следы пролитых лекарств; глаза у ребенка глубоко впали и были обведены черными кругами; бледные, сморщенные губы были сжаты, и казалось, что его клонит тяжелый болезненный сон.

— Прошу садиться, сэр,— сказал хозяин, учтиво обращаясь ко мне и принимая от меня письмо, доверенное мне оборванной девочкою.— Моя хозяйка, уходя, сказала мне, что вы, быть может, пожелаете. Да, пора его полечить, бедняка; он очень плох. Я думаю, он отправится вслед за товаркою.

— За какую товаркою? — спросил я.

— А за своею сестрою. Разве вы не знаете? Ах, я забыл! Ее лечил другой доктор. Вы ее не знали, сэр.

Мне следовало бы продолжать начатую роль, но терпение мое вдруг лопнуло, и я не выдержал. Вот вам усыновление! Вот вам здоровое помещение для больного десятимесячного мальчика! Вот вам истинно-материнская нежность и заботливость! Передо мною сидел развращенный, грязный ленивый плут, и стоило только взглянуть на обстановку, стоило только послушать его разговор, чтобы убедиться в том, что это один из шайки людоедов, жиреющих на счет жизни детей и ведущих торговлю медленным убийством.

— Я с вами согласен,— заметил я очень резко.— Давно пора полечить ребенка. Чей это ребенок, могу я знать?

Он бросил на меня быстрый взгляд.

— Чей это ребенок? — повторил он.— Как чей? Наш, конечно.

— Вы станете меня уверять, что этот несчастный ребенок ваш? Нет, он отдан вам на воспитание.

— Это собственный наш ребенок,— ответил он очень грубо.— Почему вы воображаете, что он чужой, доктор?

— Я не доктор.

— Вы не доктор? Так кто же вы? Зачем вы сюда пришли?

— Я пришел потому, что меня приглашали прийти,— ответил я мягче, чувствуя, что сделал фальшивый шаг, и стараясь поправить дело.

Но его подозрения были уже сильно возбуждены.

— Я вас не приглашал,— сказал он, качая головою.— Вы мне совершенно незнакомый человек; я отроду вас не видывал.

— Вы лично со мною незнакомы, конечно,— сказал я, пытаюсь воротить его доверие,— но вам нечего тревожиться. Я — М. Д., я два раза писал вам и получил от вас ответы.

Но он снова покачал головою, закурил трубку и пустил клуб дыма, заставший совершенно его лицо.

— Это не здесь,— сказал он.— Вы не туда зашли.

— Что за пустяки! Ошибки тут быть не могло! Ведь ваше имя Окслик? Да или нет? Я с вами переписывался об усыновлении ребенка? Вот оба ваши письма. Вы это писали? Или ваша жена?

— Я не понимаю ни аза! Я ничего не знаю! — ответил он.— Пойдите! Вот идет жена! Может, она что-нибудь знает.

В эту минуту в комнату вошла жирная, прилично одетая женщина; у нее было неприятное, грубое лицо и нетрезвые глаза. Она, казалось, вовсе не была удивлена, увидя меня в своей комнате. Вероятно, оборванная девочка уже уведомила ее о моем посещении.

— Можете вы объяснить нам, что все это значит? — крикнул хозяин, моргая ей самым бесстыдным образом.— Вот джентльмен пришел и утверждает, что мы какие-то Т. О., или П. О., или что-то подобное и что мы ему писали письма.

— Здесь нет никаких П. О.,— ответила очень поспешно женщина.— Это ошибка.

— Я говорю Б. О., сударыня,— сказал я.— Б. О. здесь, я в этом совершенно уверен. Сюда, полчаса тому назад,

почтальон принес письмо на буквы Б. О., и я сам передал это письмо вашему мужу.

— Сказано вам, что все это ошибка! — вскрикнул хозяин. — Вы не туда попали. Желаем вам доброго вечера, сэр!

— Так вы отказываетесь, что писали ко мне два письма и подписывались Б. О.?

— Сказано вам, что это ошибка! Вы не туда зашли. Как мог я доказать, что тут не было ошибки? И если бы я даже успел доказать это, что бы я выиграл?

Я ничего не мог сделать, он это знал и с насмешливой grimасою посветил мне с лестницы и пожелал мне спокойной ночи.

## XIV

### ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА БЛЕСТЯЩЕГО МАГАЗИНА

Поистине отвратительный вечер. Черная, жидкая грязь течет по канавкам вдоль улицы, дождь с глухим шумом поливает мостовую. Восемь часов только что пробило, и бой этот разнесся так беззвучно, как будто бы решетка церковной колокольни была обвернута в шерстяной войлок для предохранения от сырости и тумана. В этот отвратительный вечер, в восемь часов, я шел по Реджент-стрит.

Скромный читатель, любящий проводить вечера, греясь у огонька домашнего камина, чрезвычайно удивится, услышав, что эта великолепная улица, веселая, шумная, людная, к восьми часам зимнего вечера превращается в невыразимо-унылое и мрачное место. Причина такого превращения как нельзя более понятна. Благоденствие содержателей магазинов на Реджент-стрит и подобных улицах зависит не от местных обитателей, а от фешенебельных особ, имеющих резиденции за городом, в стороне от беспокойного городского шума и гама. Они, эти фешенебельные особы, приезжают в собственных или нанятых экипажах, делают нужные покупки и снова уезжают. Если вы пройдете по улице в десять часов утра, вы увидите, как дворники ревностно чистят дверные ручки и всякие медные наружные украшения магазинов и как молодые приказчики устраивают выставку товаров на окнах; если вы пройдете тем же самым путем в восемь часов вечера, вы, при бледном свете редко поставленных уличных ламп, различите только ряды запертых ставен и дверей.

Если принять в соображение только эти два факта — позднее открытие и раннее запирање роскошных модных магазинов,— то можно вывести приятное заключение, что швеи при этих магазинах не должны жаловаться на свою судьбу и что тут никак нельзя применить известные возмутительные слова, обратившиеся почти в поговорку: «Иголка ежегодно отправляет большее число людей на тот свет, чем штык». Быть может, в таких неопрятных местах, как Беснель-Грин или Поплер, швейная работа неразлучна с лохмотьями, и с холодом, и с голодом, но здесь, в этих прекрасных местах, такая вещь немыслима. Во-первых, какая разница между рабочими комнатами! Хозяин злополучной уайтчепельской работницы, занимающейся шитьем матросского белья, спокойно питается кровью и потом рабочего люда; у него швея сидит в душной каморке, служащей и рабочей, и спальнею, и кухнею, и вечно, без отдыха, спит слабые глаза над коленкором, но стоит только взглянуть на великолепие модных магазинов, хотя бы, например, господ Скаллопа и Текера, чтобы успокоиться: ничего подобного тут не может быть. Войдите в рабочую господ Скаллопа и Текера и вы убедитесь, что многообещающая великолепная наружность не вводит в обман. Чистый воздух, простор, тепло, сытная, вкусная пища — одним словом, тут все придумано и устроено для удобства работниц, и общее довольство царит заодно с порядком и трудолюбием.

То же самое и в отношении заработка. Мистер Абрагамс, владетель грязной лавчонки в захолустье, может оттягивать по полупенсу у своих злополучных работниц, но совершенно невероятно, чтобы подобное скряжническое кровопийство могло обитать в блестящих и сияющих магазинах господ Скаллопа и Текера. Взгляните на мистера Скаллопа: он разодет, он изящен, как лорд, у него на пальце сверкает алмазный перстень и рука его играет лорнетом в чистой золотой оправе. Посмотрите на этого безмятежно улыбающегося человека, как он, так сказать, парит над своим прилавком, за которым его юные приказчики загребают золото и серебро покупателей. Может ли этот человек оттягивать у бедной швеи каких-нибудь два презренных пенса с половиною? Какая дикая мысль!

И прошу вас не упускать из виду, что в этих местах все торговцы так же богаты, как господа Скаллоп и Текер, и все магазины так же процветают. Подобным людям не воз-

дают должной справедливости — я говорю о хозяевах, которые доставляют работу швеям. Во всякой отрасли труда есть свои степени благоденствия, как есть степени в военной и морской службе ее величества королевы Виктории. Должны быть простые матросы и рядовые солдаты, точно так же как офицеры и полковники, но ни один чувствительный человек не должен сомневаться в справедливости слов великого Наполеона: «Каждый солдат имеет маршальский жезл в своем ранце». Место в первом ряду ремесла открыто всякой белошвейке, которую господь наградил искусством, смышленостью. Разве мала награда, которая ожидает прилежную и предприимчивую труженицу? Представьте только, какая неизмеримая разница между шитьем матросских рубашек в каком-нибудь проулке около Каугросс-стрит и прибыльною, легкою и, так сказать, барскою работою в великолепном заведении господ Скаллопа и Текера на Реджент-стрите. Я воображаю, с какою отрадою великодушный глава этого заведения смотрит на веселую и довольную толпу рабочего люда, стремящуюся в девять часов утра к его дверям! С какою честною гордостью он провожает их ввечеру, как только пробьет восемь! Глаза у них весело блестят, они свежи и бодры и приседают перед ним, от души желая ему покойной ночи, и, конечно, нет нужды напоминать им, что завтра надо снова вовремя явиться на работу. Поистине, это должно быть приятнейшее в мире зрелище! Приятнейшее и трогательнейшее.

В темный дождливый вечер, в восемь часов, когда ветер свистит и визжит в уши, не особенно удобно наслаждаться каким бы то ни было зрелищем, но так как мы уже на улице, то подождать несколько лишних минут немного значит. Вот дверь, из которой сейчас выбежит веселый рой счастливых работниц господ Скаллопа и Текера. Станем в сторонке и притаимся так, чтобы они нас не заметили.

Вот они, вот они, счастливицы!

Но что же это такое? Это не могут быть работницы великолепного заведения господ Скаллопа и Текера! Это печальная толпа женщин и девушек, истомленных и измученных, с потухшими глазами, по большей части плохо и бедно одетых и поражающих своим жалким видом! Тут, вероятно, какая-нибудь ошибка или недоразумение.

Очень возможное дело. Однако, как бы там ни было, я не боюсь, что меня обвинят в ложном показании. Я еще прежде не раз приходил к заключению, что ни за что нель-

зя ручаться на свете, ни за какое «верное» дело, пока его сам, своими собственными глазами не осмотришь. Оказывается, что мои предположения о благоденствии работниц при заведении господ Скаллопа и Текера были основаны только на видимом великолепии их магазинов и на безмятежном спокойствии их лиц. Я, судя по наружности, вывел поверхностное заключение, какое выводит бóльшая часть публики, какое выводят важные покупатели и покупательницы, подъезжающие к великолепным дверям магазинов в колясках и каретах. Если мои выводы оказались несостоятельны, я каюсь в этом и прошу, не судите меня слишком строго. Не забудьте, что я сам пришел сюда, чтобы удостовериться в истине моих предположений, и что вы тоже приняли мое предложение и остановились взглянуть на дело собственными глазами. И все-таки позвольте, не будем решать слишком поспешно и опрометчиво. Без всякого сомнения, видимые признаки разбивают совершенно мои предположения о довольстве и благоденствии работниц господ Скаллопа и Текера, но, как вы сами заметили, тут могла вкрасться какая-нибудь ошибка или недоразумение. Быть может, это вовсе не швеи. Быть может, в теперешнее суровое, немилосердное время года мягкосердечный Скаллоп и Текер преобразил какую-нибудь заднюю часть своих владений во временную столовую и кухню, где раздается даровой суп беднякам, и это выходят не швеи, а жалкая толпа признательных горемык, которых питает и поддерживает благодетельная рука с сверкающим алмазным перстнем. Позвольте, мы получше приглядимся и порасспросим.

Вот они выходят; тут и молоденькие пятнадцатилетние девочки, и женщины средних лет, и седые старухи. Я, должен признаться, вижу ясно, что они сюда приходили не за супом для своих голодных семейств, потому что ни у одной нет в руках горшочка, или чашки, или какой бы то ни было посуды. Нет, это, должно быть, в самом деле поденные работницы. Последние сомнения на этот счет уничтожает замечание дебелой дамы в локонах и с грудью, густо утыканной иголками, которая вдруг выскакивает из магазина. Это закройщица. Выскочив из комнаты, она кричит одной из работниц: «Вы должны непременно принести завтра оба эти платья, Чипуин, слышите? Непременно! И вы тоже, мистрисс Грин, помните это!» И не ожидая ответа, она спешит назад в комнату, съезжив свои жирные плечи от пронзительного холода, пахнувшего с улицы.

Да, это работницы; многие из них с узелками в руках, и в этих узелках, очевидно, завязана неоконченная работа; в настоящую минуту они толпятся у выхода, и слышно, как многие голоса поручают одной девушке купить катушку швейной бумаги в какой-то лавочке, пользующейся хорошей репутацией, и видно, как многие руки протягивают ей свои полпенсы.

Правды деть некуда. Да, это работницы, поденщицы при великолепных, фешенебельных магазинах господ Скаллопа и Текера; как ни желательно успокоить себя какими-нибудь иллюзиями, но иллюзии разлетаются при первом взгляде на эти изможденные жалкие фигуры. Судя по их тощим, усталым лицам, кажется, они давно, очень давно не ели и не спали досыта. Теперь идет дождь и не переставал идти с самого раннего утра. Они шли на поденную работу под неприятным, проникающим до костей ливнем; я полагаю, они не забыли бы взять с собой дождевые зонтики, если бы дождевые зонтики у них были. Моя догадка переходит в уверенность, когда я вижу несколько распускающихся крохотных, линялых, ветхих парасолей, которыми их обладательницы тщатся прикрыть свои горемычные головы.

Тяжело видеть этих бедных женщин, когда они, измороженные после суетливой и спешной работы в просторной комнате, освещенной газом, выходят и приостанавливаются, вглядываясь с содроганием в темноту и в проливной дождь, и обдергивают свои убогие накидки и платки, и стараются прикрыть концом узенькой шали поношенную шляпку от дождя. Платья у них подобраны и обувь на виду; положительно можно сказать, что такой стоптанной, заплатанной обуви нигде не найдешь, кроме лоскутного ряда. Грязь и слякоть от утренней ходьбы засохла на дырявом старье и красноречиво повествует о промоченных ногах, кашлях, насморках, лихорадках и всяких простудах.

В толпе работниц господ Скаллопа и Текера наберется с дюжину женщин, одетых понарядней; это, по большей части, молодые девушки от шестнадцати до двадцати лет. В их наряде, впрочем, нет ничего, так сказать, существенного, прочного. У них какая-нибудь яркая ленточка или цветок на шляпке, и они отличаются отчаянным, хотя жалким покушением одеваться «по моде»; теперь, за неимением дождевого зонтика, они покрыли свои драгоценные шляпки бумажными носовыми платками, и их подобранные подошвы изменнически обнаружили старые, разбитые ботинки, та-

кие же старые и разбитые, какие прикрывают ноги самых жалких работниц. Еще тяжелее смотреть на этих молодых и часто красивых, еще неутративших живости и бодрости женщин. Вышед из дверей магазина, они не пошли прямо по какой-нибудь дороге, — по определенной дороге домой, — нет, они, казалось, не знали куда идти лучше и глядели вверх то на один конец темной улицы, то на другой, то в одну сторону, то в другую, или мешкали и шатались около магазина, или тихо и медленно шли, как бы поджидая кого-то встретить. Я еще прежде замечал особый разряд двуногих хищников, являющихся в этих местах с наступлением вечера, но не обращал на них особого внимания и не старался вникнуть, с какой целью они тут шныряют; существование этого рода хищных зверей, рыскающих здесь по вечерам, до сих пор не сосредоточивало на себе моих мыслей, но теперь для меня многое освещается внезапным светом. Как только жалкие подобия легкокрылых бабочек выпорхнут из дверей господ Скаллопа и Текера и начнут кружиться и приостанавливаться на улице, в ту же секунду вышеупомянутые хищные животные выскакивают из своих засад. На вид эти животные изящны и великолепны в той степени, в какой этого возможно достигнуть посредством гаундсдичского портного искусства и бирмингемских алмазов и драгоценных камней. При газовом освещении они поражают своею блестящею наружностью, покручивают усы, играют своими тросточками и показывают свои бесцветные зубы, стараясь всунуть и утвердить в глазу стеклышко так, как это устраивают «настоящие джентльмены». Их нельзя назвать темными и неизвестными личностями. Они стоят в списке всех лондонских концертных учреждений и так хорошо знакомы с кассиром в казино и с продавцом билетов при входе в увеселительные вечерние собрания, что при встрече дружески подмигивают им глазами. Но именно эти-то преимущества и заставляют жалких бабочек искать их общества и дорожить им. Если вы видите брюммеджемского франта и жалкую бабочку, идущих в паре, будьте уверены, что они направляют свои стопы в то или другое публичное увеселительное заведение. Провались он, этот брюммеджемский наглец! Я так взбешен, так жажду схватить его за горло и выставить на позор, что у меня является дикое желание вломиться в типографию и опрокинуть все набранные строки прекрасных статей, долженствующих прославить

развитых авторов и человеколюбивого издателя. Но я этого, конечно, не сделаю. Я с самого начала решил, что заставляю говорить маленькую хромую старушку и что она определит характер негодяя и выведет его на чистоту. Как я решил, так оно и будет.

Любезный читатель! Признайтесь, вам кажется, что я начинаю заговариваться? Что это за маленькая хромая старушка, которую я, не предупредив вас ни одним словом, бесцеремонно выталкиваю на сцену?

Смотрите, вот она выходит из дверей господ Скаллопа и Текера. Она принадлежит к числу работниц магазина, отстала от них по причине своей хромоты и выходит последняя. У нее в руках пара галош на железных кольцах, и она, спустившись с лестницы господ Скаллопа и Текера, по которой ходить в такой обуви воспрещается, наденет их внизу, при выходе. Моя хромая старушка имеет вид бесхитростной, резкой, честной женщины, и от подобной особы мы лучше всего можем собрать желаемые сведения. Теперь затруднение в том, как подойти к ней и как начать расспросы?

Но «счастье» помогает мне, и маленькая хромая старушка сама подает повод обратиться к ней с разговором.

— Проклятый ремешок оборвался! — восклицает она с внезапною раздражительностью и живостью. — Ну, что теперь делагь?

— Прошу извинения, сударыня, вам, кажется, нужен ремешок? Не годится ли вам вот эта бечевочка?

Я подал ей конец бечевки, которая хранилась у меня в кармане; это была мерка величины кухонных мехов, которую я нес по просьбе жены лудильщику с должным объяснением.

— Как раз годится! Премного вам благодарна, сэр! Признаюсь, ковылять отсюда до Уальдорс-Рода и каждую секунду ожидать, что вот-вот перекувырнешься в грязь — не очень приятно!

И маленькая хромая старушка, придя снова в хорошее расположение духа, проворно надела свои галоши, укрепила их и двинулась вперед.

— Неужели вам придется идти до самого Уальдорс-Рода сегодня вечером?

— Непременно придется. А забравшись туда, придется еще проработать добрых часа четыре. Впрочем, мне это нипочем. Я к этому привыкла.

— Не сочтете ли вы меня нескромным и навязчивым, если я спрошу вас, какую работою вы будете заниматься, придя домой?

— Отчего ж не спросить! Это ведь не секрет! — засмеялась маленькая хромая старушка. — Я занимаюсь швейною работою; шью белье для магазина. Когда случится спешная работа, мы берем ее на дом и, скажу вам, очень этому рады. В нынешние тяжкие времена четыре пенса не безделица.

— Вы хотите сказать, что вы выработаете четыре пенса в четыре часа работы?

Разговаривая таким образом, мы шли рядом и, по-видимому, маленькой хромою старушке мое общество было приятно, что я не смею приписывать собственным моим достоинствам, а скромно припишу доброкачественности моего дождевого зонтика, защищавшего ее от холодного ливня.

— Четыре пенса с половиною, но ведь надо положить полпенса на швейную бумагу да на иголки.

— Значит, в целый день вы можете заработать немного больше шиллинга в магазине?

— Немного больше шиллинга? Я бы желала столько зарабатывать! Нет, добрейший молодой человек, нет, столько мы не зарабатываем! Если взять в расчет нездоровье, да перерыв в работе, да ходьбу туда и сюда, так заработка будет не больше девяти пенсов в день.

— Это очень мало. Я видел, сегодня из магазина выходило много молодых женщин и девушек прежде вас; они, конечно, больше зарабатывают?

— Они зарабатывают ничуть не больше. Я известна за хорошую и проворную мастерицу. Почему вы думали, что они зарабатывают больше?

— Да многие из них одеты довольно нарядно. На девять пенсов в день немного модных уборов закупишь. Может быть, они живут тут поблизости и ходят обедать домой, на родительские хлеба?

— Вы, я вижу, немного смыслите в этом деле, сэр, — отвечала маленькая хромая старушка, взглядывая на меня с состраданием из-под навеса своей старомодной ветхой креповой шляпки. — Ходят домой к родителям обедать! Как бы не так! Таких роскошей при нашем магазине не допускается, да и при всех других магазинах тоже не заве-

дено. Хозяева не позволяют нам выходить, да и не могут позволить, потому что мы очень плохо одеты. Поутру нас выпускают, когда магазин еще не открыт, и проводят прямо в рабочую, и там мы должны оставаться,— конечно, если не приключится болезни,— до вечера, до того времени, когда магазин закрывается на ночь,— тогда нас выпускают. Я боюсь, что вас задерживаю, сэр; вам, может, не по дороге.

— Совершенно по дороге: мне надо идти к Блекфриарскому мосту.

— Ну, для меня это подлинно счастье, если вы позволите мне идти вместе с вами. Я хрома, так со мной идти не очень весело.

— Такой меня иногда смех берет,— продолжала хромая старушонка, после того, как я ее успокоил уверением, что она как нельзя лучше идет со мною в шаг и следовательно нисколько меня не стесняет,— такой меня иногда смех берет, когда я слышу, как закройщица величает нас «сударыни»: «Сударыни! Мистер Текер приказывает вам оставаться и непременно окончить заказанную работу!» — или: «Мистер Скаллоп свидетельствует свое почтение той леди, которая принесла лук, и уведомляет ее, что если еще раз это повторится, то она немедленно будет удалена из магазина».

— Принесла лук?

— Ну, да, принесла лука, чтобы приправить им хлеб и сыр в обеденное время, разве вы не понимаете? А духу от лука они не выносят; не потому, чтобы этот дух им был противен, а потому, что покупатели почуют его; знаете, покупатели знатные особы и не могут... Говорят, они уже потеряли одну герцогиню по милости ломтика ветчины. Впрочем, я этому не совсем верю, потому что наша рабочая в задней части дома и от магазина далеко.

— Так вы обедаете в рабочей?

— О, да! «Леди» обедают в рабочей, сэр. Мне очень нравится это слово «обедают»! Это почти такое же удачное слово, как хозяйское «леди». О, да, мы обедаем в рабочей. Старая поденщица Бекка услуживает нам. Она берет большую корзину, ее выпускают по черной лестнице и она закупает и приносит нам обеды. То-то бы удивились леди и джентльмены, кабы послушали, как тут высчитывают по полупенсу на обед! Работницы не могут выбирать себе еды по вкусу, сэр. Они должны соображаться со вкусом

хозяев. Я уже говорила вам, что хозяева не позволяют покупать ничего такого, что сильно пахнет; например, о кусочке чинской свинины нечего и думать, то же о горячей жареной рыбе, что продается на углу улицы; ничего тоже нельзя купить с мясной жижей, потому что Бекка не соглашается, говорит, что это разливается по корзине и портит ее. Ну, и пробиваемся больше всего жареным картофелем, или гороховым пудингом, или вареным пудингом, или печеным, или горячею мозговою колбасою, или какими-нибудь пирожками. «Леди» редко могут положить больше пенни на обед; хлеб они приносят с собою. Я знала трех работниц, которые часто делали складчину, чтобы купить четверть фунта вареной говядины, потому что купить порознь по две унции на каждую не хватало капиталов. Они однако же не унывали. Нынче Бекка была в хорошем расположении духа, и кое-кто из наших девушек и женщин сложились и попросили ее купить добрую порцию горячего горохового пудинга. Бекка сказала, что если не дадут на три чашки, то она не намерена и поминать о мясной жиже... Есть у нас одна девушка, зовут ее Фляйт, вот уж настоящая утешительница! Когда все сели и принялись за еду, вдруг мисс Фляйт как вскрикнет: «Занятная была бы штука, кабы эта стена вдруг исчезла и покупатели увидали, как за нею кормятся рабочие животные! Я полагаю, это бы им понравилось лучше всякого представления».

— Что до меня касается,— продолжала маленькая хромая старушка,— то у меня язык не повертывается осуждать этих молодых женщин и девушек; у них, так сказать, аппетит сильнее, ну, и неугомоннее, чем у пожилых особ. Ничему они не учены, ничего не знают, а терпеть приходится ежечасно всякую напасть. Если нам не есть, когда мы голодны, говорят они, то когда же нам и есть?

— Да и по-моему, на такой вопрос может быть только один ответ,— решил я заметить.

— Без сомнения. Ну, вот вы, например: как вы можете, не имея ни малейшей опытности — как вы можете судить о подобных делах? Мой добрый сэр, если бы вы жили с мое, да если б нужда вас всю жизнь тискала, как меня, вы бы запели иную песенку. Вы как думаете, до чего бы дошли тысячи бедных созданий, которые бьются как рыба об лед, чтобы заработать в день несколько пенсов, если бы они дали себе волю да не сдерживали бы своей стра-

сти к пудингам и всему такому? Создатель мой! Страшно подумать! Совсем бы они пропали! Знаете, что говорил мой старый хозяин,— он теперь в могиле и я рада за него,— знаете, что он говорил? У бедного человека аппетит точь-в-точь ретивая дикая лошадь! Смотрите! Укротите его и взнуздайте прежде, чем пуститесь в дорогу! Помните, если вы не обуздаете этого коня и побалуете его хоть безделицею, он понесет вас во всю прыть и никакие шлагбаумы не остановят его на пути к гибели! Поразмыслите минутку, молодой человек, и вы сами увидите, как справедливы эти слова. Предположим, у вас такой аппетит, что потребуется на целый шиллинг еды, чтобы его заморить, а в распоряжении вашем всего шесть или семь пенсов; ну, понятно, что при такой оказии одно что-нибудь перевешивает: или хорошие правила, или — чего боже сохрани! — аппетит... Конечно, с аппетитом справиться можно; только нужна осмотрительность и настойчивость. Но наша молодежь мало что смыслит в этих делах.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— А то хочу сказать, что если бы они были поумнее, они поступали бы, как поступают старые люди: они не обращали бы внимания на обеденное время, пропускали бы его и сберегали бы весь капитал на чай. Это, я скажу вам, самое лучшее средство насытить голодную душу малым продовольствием. Пропустить без еды обеденное время вовсе не так тяжело, как вы воображаете. Разумеется, когда это время приходит, вас червяк сосет за сердце,— ну, перетерпите! Перестанет сосать и тогда все устроится претотлично! Вы почувствуете, что никакое мясо,— даже самое жирное и роскошное в мире мясо,— не манит вас и что вы ничего не желаете, кроме чашки чая. Мы делаем, видите, в этом случае складчину; каждая дает на четверть унции чаю,— значит, это три фартинга, да еще прибавляем кое-что на молоко и на сахар; и за это каждая из нас выгадывает почти три чашки чаю, и такого чаю, что сама королева не отказалась бы хлебнуть. Мы платим Бекке два пенса в неделю и за это она дает нам горячую воду и посуду.

— Ваш муж умер, значит, вы живете теперь одни? — спросил я.

— Нет, после его смерти я жила вместе с одною девушкою, Софи Пюллингджер, да вот ее, бедную, теперь отвезли в Броштон, в чахоточную больницу.

— Так эта Софи жила с вами? Она тоже занималась швейною работою?

— О, да, она долго работала при нашем магазине. Мы вместе нанимали комнатку...

— Она была, значит, чахоточная уже в то время, как вы ее узнали?

— Господь с вами, что вы это говорите! Когда она в первый раз пришла в магазин, она была такая живая и бодрая, что любо поглядеть! Я полагаю, ее уходили худые башмаки! Чтобы они пропали, эти худые башмаки! Подумаешь, сколько рабочих душ они погубили! И все молодых! Все молодых подкашивает! С нами, безобразными старухами, дело другое; с меня, примерно сказать, взятки гладки; я на моду внимания не обращаю и о наружности не забочусь; кому я не нравлюсь в этих кованых галошах, тот может погодить со своим расположением, пока я их сниму; но молодежь любит принарядиться и пофрантить. Я вам скажу, они *должны* так поступать, если бы даже не были пристрастны к нарядам, потому что явись они в грязной старой шляпке или в дырявой шали, они во веки веков не получают работы: дескать, очень уж вы на вид мизерны, стыдно вас впустить в богатый магазин! Ну, а обувь-то не видна. Никто не станет рассматривать дырки на башмаках, и потому никто о них не заботится. Я полагаю, что в зимнее время худые башмаки хуже всего прочего губят здоровье. Да, худые башмаки не приведи бог какая скверная штука! Напитается это старье грязью и слякотью, а гордость мешает снять посушить; да если бы и гордость отложить в сторону, так все равно главная закройщица не позволила бы расставлять всякие отрепья. Ну, вот и сидят так целый день с мокрыми ногами, а ввечеру отправляются домой тем же порядком и зачерпывают новой грязи в башмаки, а поутру те же мокрые башмаки опять напяливают на ноги!

— По какой же причине работницы, которые работают в Реджент-стрит, живут так далеко, как вот вы, например? — спросил я.

— По какой причине? Я сама часто думала, по какой причине... Я совсем другое дело. Я, видите, обзавелась кое-какой мебелью, ну, и не могу решиться перевезти ее через мост, через воду — мне это кажется все равно, что переправиться в заморские страны. Кроме того, мой хозяин похоронен в Кемберуэле и мне не хочется тоже его поки-

нуть... Да, я не понимаю, почему это целые тысячи женщин и девушек круглый год работают в этих местах, а квартируют на Сюррейской стороне. Поутру видишь, идут они по Лондонскому и Блекфриарскому мосту целыми полками, а ввечеру тем же путем назад пробираются. Я, впрочем, полагаю, что они квартируют на Сюррейской стороне не потому, что она им больше нравится, а потому, что квартиры там дешевле.

— Что же потом сделалось с Софи Пюллинджер? — спросил я, внутренне принимая решение не отвлекать внимания хромо́й старушки посторонними рассуждениями.

— Ах, бедная девушка! тяжело ей приходилось, скажу вам! Перед тем, как ее совсем скрутила эта болезнь, мы жили с ней на одной улице. Она жила тогда вместе с другою девушкою, постарше, и они всегда вместе ходили на работу. Надо вам знать, что у хозяев такое положение: если вы не пришли к девяти часам утра, то можете воротиться домой, потому что вас уже не впустят в магазин. Такое уж положение: как только девять пробило, то работница, хоть умри перед дверями, ее ни под каким видом не впустят. Когда Софи захворала, она вдруг совсем ослабла. Прежде она была хороший ходок и ей нипочем было какое угодно дальнейе расстояние, но когда болезнь отняла у нее силы, так она едва могла двигаться: хочет поспешить, пойдет пошибче, сделает несколько шагов, да и остановится, и стоит, пока опять соберется с силами. От Уолуорса до Реджент-стрита не близко, и Софи с товаркою всегда выходили из дому в восемь часов. Ну, когда Софи ослабела от болезни, они перестали выходить вместе, потому что Софи не могла поспевать за нею. В эту пору мы с Софи и познакомились. Я, по своей хромоте, не могу в один час дойти до магазина и выхожу из дому без четверти восемь. Софи стала выходить тоже в это время — встретились, разговорились и начали вместе пробираться на работу. Хромо́й человек не разрезвится, и Софи не отставала от меня, как и от прежней длинноногой товарки. Я полагаю, эта товарка была не из добрых. Она не выходила никогда прежде восьми, а глядишь всегда обгонит нас прежде, чем мы доберемся до Блекфриарского моста; несется, как рысак, бывало, точно приз хочет выиграть! И еще обертывается, оглядывается на нас и кивает нам головой! Раз я говорю Софи: «Амелия,— говорю,— что-то начала теперь спесивиться; совсем иначе обходится». — «Я не могу ее осуждать», — ответила

бедная девушка,— она от меня натерпелась за это время: я поминутно бужу ее по ночам своим кашлем». — «Переходите жить со мной, моя милая,— говорю я ей,— меня вы будить не будете; меня, как я хорошо засну, никакой кашель в мире не разбудит. Переходите!» — говорю. Ну, она и перешла, и стали мы жить с ней вместе.

Но со дня на день она ослабевала все больше. Ах, мой добрый юноша! Сохрани вас господь от такой беды! Мне нипочем было вставать еще раньше, ну и начали мы с нею выходить из дому в половине восьмого, но все-таки два раза мы опоздали в магазин, значит два дня у нас пропало без работы. Вы в целом мире не найдете другой такой совестливой и благодарной девушки, сэр; никогда она не забывала о других и ни за что не хотела собою стеснять или обременять. После того, как эти два дня у нас пропали даром, я уговорила ее переждать еще день и отдохнуть дома; она меня послушалась и осталась, а я пошла на работу. Вечером прихожу я домой — сырой, холодный вечер был, точь-в-точь как вот теперь — прихожу и уж, разумеется, на ужин никак не рассчитывала; и что же бы вы думали? Она заложила свою последнюю фланелевую кофту и на эти деньги приготовила мне кусок горячего тушеного мяса! Это было как раз перед прошлогодними февральскими холодами; вы, верно, помните эти холода, сэр? Ей все становилось хуже. Бывало, на дворе мороз, холод лютый, а она, слышу, поднимается чем свет, размочит полфунта хлеба горячею водою, посолит да посыплет перцем и этим позавтракает, и в семь часов потащится на работу, чтобы успеть к девяти. Ну, как утро ясное да тихое, так ей и удастся вовремя дотащиться. А сколько раз я, бывало, иду и вижу, она сидит на мосту и притворяется, будто глядит куда-нибудь, а на деле потихоньку плачет, не может дальше двинуться. Или встречу ее, ворочается, бедняжка, домой, еле переступает и держит платок у рта, потому что от сырости и тумана пуще кашель и перхота в горле. Вот уже пять месяцев, как она умерла, горемычная, и слава богу! Я думаю, вы согласны, сэр, что лучше всего ей было умереть?

— Ее взяли в больницу, и она там умерла?

— Да, в чахоточной больнице, в Бромтоне.

— У нее не было родителей? Или друзей?

— Родители у нее очень бедные; ее отец, кажется, каменщик. Они живут где-то по Кильборнской дороге.

— Разве они не могли ее взять домой?

— У них места не было; там всего две крохотные каморки, а кроме Софи еще есть трое маленьких детей.

— Да ведь она пришла на работу в город из дому?

— Да, из дому пришла и поступила прежде в горничные; немного послужила, не понравилось ей. В это время она познакомилась с швеями: буду, сказала она себе, лучше зарабатывать хлеб швейною работою, гораздо мне будет вольнее! Ну, и пристала к швеям. Известная история! Из десяти девять наверно точно так же начинают. Глупенькие простушки!

— Да если мисс Пюллинджер прежде жила с родителями, отчего же во время болезни они не могли опять потесниться для нее?

— Ну, разумеется, кто знает бедных людей только по книжкам, да по слуху, тому это покажется очень странным, а дело очень ясно. Вы представьте, отец и мать сами едва перебиваются. Нанимают они две каморки и, положим, этого сначала было для них достаточно, но потом пошли ребята, один вдгонку за другим, ну, и каждый меньшей теснит старшего все больше да больше, пока старшему приходится уступить место и идти на все четыре стороны, и добывать себе пропитание, как сам знает. Коли раз старшие дети распрощаются с отцовским домом, так не видано, чтобы они туда ворочались. Разумеется, дом все тот же, да младшие повзросли; на месте Бобби в кроватку уже кладут Полли, а Бобби уже спит на той постели, что осталась после старшего брата или сестры, которые пошли искать себе счастья. Вы понимаете, сэр? Кто уходит раз из дому, тому уже дом не годится, тот уже вырастает из него, так сказать, как вот вырастает ребенок из платья: и коротко, и узко, и совсем не в пору, совсем не приходится. Я, знаете, старая женщина, и понимаю эти вещи, сэр.

— Вы хотите сказать, что в таких случаях молодой девушке ничего не остается, и она волей-неволей должна жить с чужими людьми?

— Так точно, мой добрый сэр, так точно. И вы не воображайте, что эти случаи редки,— они сплошь да рядом. Сплошь да рядом. Я могу вам поименно назвать десять или даже дюжину девушек при нашем магазине, которые в таком самом положении. И какая это напасть, если б вы знали! Надо вам сказать, что везде, где работницы нанимают квартиру, хозяева очень строги. Снисходительные хозяева — большая редкость, как я заметила. Ну, это бы

еще ничего. Наши девушки не могут много платить за квартиру и всегда почти складываются и нанимают вдвоем каморку и спят там вместе, и каждая платит за это около пятнадцати пенсов в неделю. За полкроны в неделю вы, разумеется, не получите роскошной спальни, дадут вам какой-нибудь задний чуланчик. Но спать там можно, и они спят. Но вот в чем зло, мой добрый сэр: хозяева отдают эти квартиры только для спанья. Хозяйка так и уславливается: «Я отдаю в наем только для спанья. Вы будете здесь спать, и больше ничего, а на день оставаться не позволено. Здесь только и приспособлено для спанья». И это точно так, сэр: кровать, умывальник, прибор какой-нибудь, столик, зеркальце да случается пара стульев — вот и все. Иногда даже и каминной решетки нет. «Я желала бы завтракать дома, мам», — просит девушка. «Можете завтракать дома, разумеется, — говорит хозяйка. — Вот тут в шкафе кофейник, можете им пользоваться. Только вы не забывайте, что я не позволю вам долго засиживаться здесь и целый день тут угощаться кофеями да разными разностями».

— Ну, в рабочие дни им и нельзя засиживаться дома, а в воскресенье как быть? Разумеется, между ними есть такие, что идут по праздникам к родителям и у родителей проводят целый день, ну, а куда деваться в воскресенье безродным и бесприютным, сэр? Хоть хозяева и очень строги, однако в воскресенье позволяют пробыть в комнате целое утро — уж этого нельзя не позволить, а после куда деваться? Если бы они и могли оставаться дома целый день, так они бы не остались: кому охота выставлять на вид свою горькую нужду, сэр? Потому что если оставаться дома, то нельзя утаить бедности от прочих жильцов. Ну, вот бедняжки приоденутся, как только могут лучше, и примут на себя самый веселый вид, и притворяются, что спешат на прогулку, а сами сунут в карман какой-нибудь сухарь или ломоть хлеба с маслом и идут куда глаза глядят и маются до вечера где попало. Они не все худые девушки, сэр, и у многих есть женихи, и они очень постоянны в любви, а что многие из них пропадают, так это потому, что уж очень трудно им приходится; хочешь не хочешь, ступай на улицу, броди целый день — идет она, ну, и ищет, как бы заглушить тоску и развеселить себя. Я думаю, сэр, это понятно? Они и бегут туда, где есть общество, и хоть сами невеселы и нерадостны, по край-

ности глядят, как другие веселятся и радуются, и стараются забыть свои муки и беды. Я полагаю, сэр, что у них нет никаких худых замыслов, только участь их несчастная. Скоро приходит напасть. Чему другому и прийти, как не напасти, сэр? Подумайте, каждое воскресенье по улицам бродят целые дюжины бесприютных девушек и дюжинами же шатаются молодые и старые, и пожилые мужчины; сами можете понять, какие это мужчины. В том свою жизнь проводят, что потешаются, и какие есть деньжонки, тратят на забаву. Девушки рады всякому, кто подойдет к ним и занятно поговорит, а когда им предлагают какое-нибудь удовольствие — поехать за город, или там в Гринвич, или в Кью, у них не хватает духу отказаться. «Зачем я буду отказываться, — думает девушка, — он на вид такой порядочный молодой человек, и мне нечего стыдиться, если кто-нибудь меня встретит с ним. Соглашусь я, поеду. Увижу зелень, воду — глаза мои немножко отдохнут, вздохну свободнее, сегодня такой жаркий вечер! Беды от этого никакой не приключится и время незаметно пройдет до ночи». Оно точно, беда не всегда приключается; бывает и то, что встретится хороший человек и привяжется потом не шутя. Ну, а подвернется негодяй? Я старая женщина, сэр, и давно живу между работницами, и довольно наслушалась их историй. Печальные эти истории, сэр. Я полагаю, что мужчины не понимают того, какие они злодеи, вы извините меня, сэр, то есть, я хочу сказать, какие есть между ними злодеи.

Негодование до такой степени взволновало маленькую хромую старушку, что она с минуту не могла выговорить слова и шла рядом со мною, с такою силою и решимостью напирая своими коваными галошами, как будто мысленно нападала на вышепомянутых «злодеев», и приняв твердое намерение уничтожить их без всякого милосердия.

— Так вы полагаете, что такой злодей опасен только по воскресеньям? — заметил я. — А в будни разве он не может пристать на улице, ввечеру...

— Разумеется, может! — ответила хромая старушка. — Он знает, низкий трус, что избидь он девушку, как ему угодно, за нее некому заступиться; ни отца, ни брата, ни друга — никого у нее нет. Выходит девушка ввечеру из магазина, уж он где-нибудь за углом подстерегает. Кабы вы умели различать этих гадин по виду, вы бы их сегодня увидели — они каждый вечер шныряют по Реджент-стриту и по Оксфорд-стриту. Я читала в газетах, что полиция заби-

рает развратных женщин, которые шатаются по этим улицам; я, конечно, в законах не знаю толку, но думаю, кабы я была судьей, я бы прежде всего дала полиции приказ похватать тех разбойников, от которых пошло все зло, вот что! Поднялась бы тогда большая тревога: ведь все эти негодяи — точные джентльмены на вид.

— Я полагаю, сметливый полисмен сумеет раскусить их, мам? — заметил я.

— Да не только полисмен, пусть ребенок побудет в их компании одну минуту, так и тот их раскусит! — ответила гневно хромая старушка. — Я наслушалась про них довольно рассказов и все они одинаковы. Вы знаете, у них заведено угощать только напитками, а съестного и понюхать никогда не дадут. Они очень хорошо знают, что работницы почти всегда голодны; они знают, что кабы они весь заработок тратили на еду, так и то не были бы сыты, знают, что половина заработка все-таки идет на разные модные глупости, шиньоны да кринолины. Негодяй знает, что бедная девушка питается целую неделю одними бутербродами из-за цветка на шляпку или из-за пары подержанных перчаток. Он это знает, когда приведет ее в какое-нибудь увеселительное заведение и угощает джином; он понимает, что ее во сто раз больше джина манит съестное, но не даст ей ни корочки хлеба. «Мы ведь пришли сюда не объедаться, а повеселиться», — вот ответ джентльмена, если бедная девушка решится намекнуть ему, что голодна. Я часто слышу, как наши работницы разговаривают между собою. Бедные простушки! «Прошлым вечером я бы отдала все на свете за сухарь, только мой Гарри такой джентльмен, что никогда даже не помыслит об еде в обществе». Или: «Как у меня голова болит! Когда я долго голодаю да выпью хоть немного водки, у меня всегда голова разболится. Если бы я сказала Фердинанду, он бы угостил меня, пожалуй, хоть жареной курицей, только я не сказала ему: я знаю, он считает, что это неблагородно и грубо, все есть да есть». Я знаю, очень часто иная спрячет в карман ломоть хлеба и съест его украдкой в тех веселых местах, где поют и танцуют. У меня никогда не было дочери, но если бы у меня была дочь, я бы скорее ее пристроила куда-нибудь на черную работу, чем при магазине. Теперь я должна с вами проститься, сэр; спокойной ночи вам желаю; я живу вот тут. Прощайте, сэр.

И мы простились с маленькой хромой старушкой.

Прочитав эти рассказы, благонамеренный читатель тщетно старается натянуть какую-нибудь розовую дымку на «серую действительность». Он крайне огорчен и расстроен.

— Свет всегда был светом,— произносит он с грустью.— Я знал, что зло существует, но... но невозможно, чтобы развращение нравов дошло до такого цинизма! Положим, есть люди глубоко, безвозвратно павшие, как, например, Окслик, но я никогда не поверю, чтобы такая прекрасная старушка, сохранившая себя чистой среди грязи, могла говорить вещи, приводимые от ее лица Гринвудом! Судя по ее словам, и она, будь помоложе, пожалуй, тоже дала бы волю «коню-аппетиту» и тоже отложила бы в сторону «правила»! И что ж! Она, прожившая жизнь честно и мирно и следовательно не имеющая надобности оправдывать чужие грехи для смягчения своих, говорит: «Поживите с мое, поймете, что осуждать голодных, бросающихся на хлеб, несправедливо»!?

— Какие времена! Какие нравы! — восклицает читатель.

Да, читатель, иные времена — иные нравы; иные понятия — иные и стремления — таков закон жизни, и ничего с этим не поделаешь.

Благочестивые люди совершенно справедливо сокрушаются о том, что «добрые старые времена» проходят. Да, добрые старые времена проходят, а с ними изнашиваются и «добрые старые предания», а с добрыми старыми преданиями исчезают и «добрые старые обычаи». Многое, очень многое «доброе старое» видимо разрушается, многое уже разрушено и осталось только как воспоминание, заставляющее стариков вздыхать, а молодых улыбаться.

В «добрые старые времена», например, достоинство и сила женского характера доказывались единственно покорностью. Выйти замуж за нелюбимого или даже ненавистного человека для чьего-то успокоения и обеспечения считалось великим подвигом, достойным сочувствия и подражания. Теперь всякая порядочная женщина сочтет это за сделку, и никакие жалкие слова и слезные мольбы не заставят ее смотреть на дело иначе.

Когда-то «храбрый воин» должен был как в свирепости, так и в великодушии соображаться со львом, «великому

поэту» позволялось не иметь определенных убеждений, а только требовались «возвышенные стремления» и разрешалось воспевать все на свете с одинаковым умилением, начиная от ножек красавицы до пророков, от шипящего кубка до громовых укоризн толпе за ее пошлость. И какое приволье было для благородных покровителей наук и искусств! Теперь не то: теперь и воины должны соображаться с нравами людей, а не львов, и поэтам не разрешается лавировать между выпранными мечтаниями и вакхическими песнями — а благородные покровители наук и искусств имеют еще кое-какое значение только в Москве.

Мы не хотим сказать, что теперешние женщины сильнее и умеют лучше выдерживать грозы житейские или что перевелись воины-львы, поэты-юпитеры, благородные покровители искусств,— люди все те же слабые создания, но времена другие. Мы не поручимся, что человечество стало лучше (многие положительно утверждают, что оно сделалось несравненно хуже), но несомненно то, что оно не совсем даром перешло огонь и воду и что у него вследствие этого явилась некоторая опытность, бóльшая сметливость и разборчивость. Явилось сомнение, как известно, начало премудрости.

Струя этого сомнения — струя освещающая, потому что она смывает с окружающего нас мира фальшивые краски и дает нам возможность называть вещи по именам, не заблуждаясь насчет их действительных качеств. Эта струя мало-помалу проникает и в литературу, составляя самое существенное достоинство лучших ее деятелей.

Одним из главных представителей этого здорового направления в Англии можно, без сомнения, назвать Гринвуда.

# *Додатку*





## НОВАЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ЛАБУЛЕ

(LE PRINCE-CANICHE)<sup>1</sup>

Г. Эдуард Лабуле достаточно известен как французской, так и нашей читающей публике в качестве даровитого профессора и блестящего публициста либеральной орлеанистской оппозиции. Лекции его живы, остроумны и эффектны; журнальные статьи бойки и дельны; но лучше лекций и статей, лучше серьезных сочинений и легких политических брошюр ему удаются произведения совершенно особого рода, того рода, который можно назвать политической сказкой. У Лабуле хватает фантазии и творческой силы как раз настолько, насколько это нужно, чтобы набросать вереницу легких, живых и ярких, пестрых и разнообразных арабесков, в которые облачается задорная мысль автора и из-за которых она с полным успехом бьет в глаза самым недогадливым и смиренным читателям.

Фантастический рассказ Лабуле «Париж в Америке» года три тому назад привел в восторг читающую публику и выдержал в самое короткое время баснословное число изданий. На моем экземпляре выставлено *четыренадцатое издание* и очень может быть, что оно не было последним.

С ноября прошлого года в еженедельном журнале «Revue Nationale» начала печататься другая политическая сказка Лабуле «Le prince-caniche» — «Принц-пудель». Эту сказку мы теперь сообщаем читателям отчасти в переводе,

---

<sup>1</sup> Принц-пудель (франц.). Ред.

отчасти в извлечении. Она еще не кончена в подлиннике, и нам придется печатать ее в нескольких номерах нашего журнала, если только продолжение и окончание ее по занимательности содержания и по живости изложения не уступят началу.

И «Париж в Америке» и «Принц-пудель» очень тонко, очень остроумно и главное — очень живо и удобопонятно выставляют на вид и осмеивают крупные неудобства современных французских порядков и те жалкие слабости в характере великой нации, благодаря которым эти порядки со всеми своими неудобствами могли укорениться и до настоящей минуты пользуются если не восторженным сочувствием, то, по крайней мере, благосклонною терпимостью пассивного большинства.

Критика Лабуле не стремится блистать глубиной захвата. Лабуле критикует то, что своим безобразием мозолит глаза всякому, и критикует так, что самый грусливый проприетер не назовет его ни коммунистом, ни проповедником анархии. Он нападает постоянно на суетливость и излишнюю заботливость правительства, на его вмешательство в такие дела, которые шли бы гораздо успешнее, если бы были предоставлены своему естественному течению, на вредное обилие чиновников, на административный произвол, на мелочную и стеснительную регламентацию, при которой плодотворная инициатива и смелая предприимчивость частных лиц становятся почти невозможными. Он нападает далее на тщеславие французов, на их близорукое самодовольство, на их пристрастие к военной славе, на их разорительную любовь к шуму и блеску великолепных празднеств и на их плачевную способность удовлетворяться громкими словами и эффектными политическими выходками. Именно то обстоятельство, что Лабуле обгоняет недалеко сознание своих читателей, именно оно-то и содействует в значительной степени успеху его лекций, статей и политических сказок. Всякому французу приятно смотреть в то зеркало, которое держит Лабуле, потому что всякий смеялся над собою, самым фактом своего смеха убеждает себя в том, что он смеется над соседом, оппонирует правительству и сам несколько ни в чем не повинен.

Для нашей публики политические сказки Лабуле могут быть интересны в трех отношениях: во-первых, как живые и остроумные литературные произведения, как образцы

бойкого, веселого и блестящего рассказа; во-вторых, как симптомы оживляющегося общественного самосознания современной Франции и, наконец, в-третьих, как тонкое персифлирование<sup>1</sup> таких слабостей, которыми в большей или в меньшей степени страдают все народы цивилизованного мира.

---

<sup>1</sup> Лесть со скрытой насмешкой. *Ред.*

## СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ

РАССКАЗ

[...]большая поляна, усеянная цветами, просторный лужок, прекрасная рощица, наконец, небольшое озеро с искусственным леском на его окраинах; одним словом,— здесь не было ни в чем недостатка: ни в лучах солнца, ни в тени, ни в приятных для глаз видах, ни в уютных местах для отдохновения. Этот сад был так полон благоуханий, так освежителен, легкий ветерок так тихо ласкал вас, щебетанье птиц доставляло вам такую искреннюю веселость, что едва успели войти в него, как вам хотелось сказать: «Должно быть, очень хорошо жить в этом саду; что касается до меня, то, кажется, никогда не вышел бы отсюда». То там, то здесь раздавались в нем молодые, веселые голоса, из чащи леса, а подчас и неизвестно откуда, подобно тому, как в некоторых домах слышится шум запирающихся и отворяющихся дверей. Это заставляло думать, что сад этот не необитаем, что, напротив, в нем живут прелюбезные люди, но где же могло бы быть их жилище? Оно было так хорошо скрыто, что заметить его было крайне трудно.

Вдруг на лужайке показался маленький, хорошенький мальчик, нетерпеливо раздвигая пересекавшие ему дорогу ветви кустарников, он кричал провожавшей его даме: «Я погуляю, милая мамочка, поиграю немного здесь, в саду. Будь покойна, я буду хорошо вести себя».

Этот прекрасный ребенок, по-видимому, имел около девяти лет, с блестящими, как звездочки, глазами, с розовыми щечками, с густыми каштановыми волосами, с алыми, как розанчик, губами. Взглянув на его платье, на его тщательно причесанные волосы, которые не успели еще растрепаться от ветра и беготни, не трудно было догадаться, что

заботливая, нежная рука так красиво нарядила и охорошила его.

Столь довольный, столь веселый, бегая, прыгая и распевая, маленький Ганри казался счастливейшим ребенком в мире, однако на самом деле он был далеко не без недостатков! По мере того, как удалялся он в глубину сада, он делался задумчив, веселые нотки его песенки пропадали одна за другой. Он продолжал идти все дальше, и взгляд его делался все мрачнее. Выбранная им аллея с каждым шагом делалась все тенистее, деревья и кустарники становились все гуще, с каждым поворотом дорога делалась уже. Уже давно бдительный глаз и беспокойное ухо его матери не могли более следить за ним. Не имея более необходимости скрывать свою печаль, он дал ей полную свободу. Наконец, он пришел в самую глубину маленького леса. Сюда едва проходили лучи солнца, которые можно было заметить только по маленьким золотым искоркам, пробивающимся здесь и там сквозь колеблющиеся листья деревьев. Все было тихо и спокойно под сводом переплетавшихся ветвей. Хотя и сильно понизив голос до входа в лес, ребенок все-таки продолжал петь, но здесь его песня вдруг смолкла, он замолчал и сделался как бы сильно озабочен, охваченный каким-то беспокойством.

Он, видимо, старался освободиться от мрачной мысли, которая так настойчиво его преследовала, и снова стал веселым с беззаботностью его лет. Глядя вверх, он тщательно искал чего-то на вершинах деревьев, быть может, гнезд; раза два-три наклонялся он к земле, чтобы поближе рассмотреть цветок земляники, ярко белеющий на густой зелени мха, который обещал в будущем вкусную ягоду; но не этим занята была душа его, — чтобы изменить грустное настроение своих мыслей, он стал думать о своей маленькой кухне, которую он еще не знал лично, но о которой уже много хорошего он слышал от своей матери и полученное утром письмо от которой извещало о прибытии ее в конце недели, затем он говорил себе, что время обещанных ему каникул кончается, что еще несколько месяцев — и он будет принужден уехать далеко от этого чудного сада, от дома, где он родился и вырос, для того, чтобы учиться, трудиться во все время продолжительного отсутствия; быстро шли его мысли одна за другой, и он перенесся уже в незнакомую сторону, где находилось училище. Он говорил себе, что там, без сомнения, придется ему встретить все

чужие лица. Это пугало Ганри, который не видал никого, кроме своих друзей.

Но ничто, ничто не могло оторвать его окончательно от осаждавшей его мысли. Что бы он ни делал — она вечно преследовала его, постоянно терзая его сердце, и это было всегда, когда Ганри оставался один; он был очень несчастлив, когда и в объятиях матери мысль, вечно та же, овладевала им к досаде его нравственного самообладания. Да, когда мать Ганри брала своего маленького мальчика на колени, чтобы приласкать и благословить, прежде чем отнести в его маленькую постель, даже тогда опытный глаз мог заметить, что и в тени материнского сердца вечно мучающая его мысль не покидала его. Однако никогда не сжималось его сердце так жестоко, как в этот день, а как спокойно было все вокруг него! Какая чудная глубокая тишина царствовала под сенью этого дорогого маленького леса! Как, казалось бы, было хорошо иметь возможность быть здесь на месте цветка, кустика или даже стебелька травки, не имея других забот, как цвести, расти, зеленеть, не зная угрызений совести.

Но понятно, что тяжело было у Ганри на сердце — как будто камень лежал на нем, в этом не могло быть сомненья, потому что вдруг его печаль сделалась еще сильнее, и слезы брызнули из глаз, как вода из скрытого источника. Долго плакал он, но слезы не облегчили его. Скоро, душительный рыданиями, он упал на траву и там в порыве горя, закрыв свое опечаленное лицо руками, продолжал плакать, припоминая снова причины своего огорчения.

Никто никогда не позволил бы себе сделать что-либо дурное, если бы было известно, какие ужасные последствия влекут за собою подобного рода поступки.

Прошло уже полгода с того рокового дня, когда провинился Ганри, сделав ужасную ошибку, он хорошо помнил ее, она была там, на его совести, воспоминание о ней было так свежо в его памяти, как будто он сделал ее вчера или даже сегодня утром.

## ГЛАВА II

Казалось, он снова видел, как и в этот роковой день, множество зажженных свечей, обливавших ярким светом большой старинный зал его тети со старинною лепною мебелью, с тяжелыми мягкими портьерами из старинной

материи. Посреди этой комфортабельной комнаты, на большом, толстом восточном ковре, прыгает, смеется и болтает расположившаяся толпа детей.

Приглашенные были давно собраны. Они съехались из всех окрестных местечек. Тетя Аврора имела обыкновение собирать каждый год весь этот маленький веселый кружок за несколько дней до рождественских праздников, чтобы праздновать вместе эти великие дни. Все ждали этого времени с нетерпением. Тетя была так добра, радушна, ее дом был так удобен, обширные комнаты представляли столько удобств для всевозможных игр! Лишиться приглашения тети Авроры было величайшим несчастьем для каждого ребенка.

Еще три дня — и зал будет освещен! Еще три дня отделили детей от столь долго ожидаемой минуты раздачи подарков. Нельзя не сознаться, что этот срок казался мучительно долгим маленькому, нетерпеливому обществу, эти три дня ожиданий, по общему признанию, были самыми долгими в году. Тетя уверяла, что провести это время, имея возможность развлекаться столь разнообразными играми, вовсе не трудно, детям же казалось, что легче выпить море воды, чем пережить эти три бесконечно долгие дня.

Большой зал, столь солидный, спокойный еще накануне, отчасти даже скучный, теперь был переполнен веселыми розовыми личиками, загроможден мячиками, ружьями, саблями, куклами, скрипками, охотничьими рогами, цымбалами и тамбуринами. Нет необходимости добавлять, что все эти инструменты играли сразу: бренчали сабли, пушки и ружья стреляли в одно и то же время. Наверно, если только не глухой попал бы туда в это время, то подвергался сильному риску оглохнуть среди этого содома, и добрая старушка Анна, гувернантка дома, заткнув уши руками, не раз кричала, уверяя, что дети ее времени были менее шаловливы и шумливы. Должно заметить, что эта буйная толпа, занимавшая зал, веселилась, быть может, и не вполне искренно: подарки, ожидаемые к рождеству, нарушали настоящую веселость, если же и продолжали играть и болтать, как бы с охотою, то это было лихорадочное желание, имевшее целью заглушить общее нетерпение.

В зале была дверь, один вид которой производил серьезное впечатление на самых ветреных. Ее портьеры были таинственно опущены и тщательно оправлены.

К этим-то портьерам, ревнивым стражам богатейших сокровищ, обращались все взгляды, стремились все желания. Тетя сказала им, что там была разложена чудесная коллекция подарков к празднику, назначенных каждому из маленьких гостей. Но еще три дня, три вечных дня должны пройти раньше, чем узнает каждый, что ему назначено. Не правда ли, ужасно, тем более, если допустить, что даже не плотно притворенная дверь, а простая матерчатая портьера одна скрывала этот секрет от заинтересованных им глаз и что, не более как приподняв только один угол ее, любопытство всех могло бы быть удовлетворено?

Но нечего было и думать об этом. Маленькое резвое общество торжественно обещало тете, что не будет сделано ни одной попытки проникнуть в таинственную комнату. Каждый ручался за себя, и многие ручались за всех, обещание было священо.

— А если от ветра или вообще как-нибудь случайно портьера немного приподымеется? — спросила робко маленькая блондинка шаловливой наружности.

— То следует отвернуться, Нанси, — отвечала, улыбаясь, тетя. — Так что же? Разве это трудно? — прибавила она, заметив на многих лицах появившееся изумление.

— Да, это трудно, но мы отвернемся, — отвечали уверенно более храбрые. За ними и прочие, вздохнув, дали тот же ответ.

— Значит, решено, — вы согласны, — сказала тетя. — Наконец, будьте покойны, портьеры довольно тяжелы, хорошо задернуты и не откроются сами, чтобы искушать вас, и это зависит только от вас, чтобы никто их не трогал. Я оставляю их под охрану вашей чести, ваше слово для меня стоит более замка. Итак, прощайте, забавляйтесь хорошенько, мои милые.

И тетя удалилась, предоставив большой зал в полное распоряжение маленького кружка. Отцы и матери приглашенных детей и несколько старых друзей, сверстников тети, ожидали ее в огромной гостиной. В этой комнате на почетном месте можно было заметить портрет маленького бледного, болезненного мальчика, единственного ребенка бедной тети, которого она уже давно потеряла. Давно, но, нет, подобные печали всегда свежи в памяти, что было нетрудно заметить, когда влажные глаза тети были обращены к драгоценному изображению ребенка, которого она не имела более.

Бедная тетья в воспоминании о своем сыне любила соби- рать вокруг себя своих маленьких племянников и племян- ниц, а равно и детей своих друзей. Их игры, даже их шум, напоминая ей детство дорогого малютки, которого она так любила, без сомнения, возбуждали в ней грустное воспоми- нание, но вместе как будто возвращали ей образ дорогого Карла.

### ГЛАВА III

Маленькие обладатели большого зала были в сильном оживлении. Так как все это были честные, неиспорченные души, то они советовались — как сохранить, по возмож- ности, данное ими слово. После долгих споров было решено: во-первых, из предосторожности поместиться в другом, противоположном, конце зала, подальше от портьеры-иску- сительницы, и, чтобы не переходить границы, они устроили нечто вроде заставы, которая обозначалась рядом мячи- ков, изображающих собою как бы пушечные ядра или гранаты. Скрещенные крестообразно сабли изображали гарнизон, и так как в расположении детей находился пре- красный воин, который при помощи удивительного меха- низма поднимал и опускал ружье, как настоящий часовой, то его поставили в качестве начальника гарнизона впереди сторожевой линии и в виде адъютанта к нему приставили прекрасную болонку, которая показывала зубы и при слу- чае, если к ней приближались особенно близко, даже лаяла.

Предприняв эти предосторожности, они снова начали забавляться, стараясь провести время по возможности весе- лее; маленькие мальчики устроили искусственное сражение и бились холодным оружием и артиллерией. Они водили батальоны оловянных солдатиков в битву; превосходная картонная крепость несколько раз была взята и снова от- бита и, в конце концов, окончательно разрушена и сглажена с землей. Девочки со своей стороны с любопытством осматривали друг у друга принесенные ими куклы: каждая имела свои недостатки и свои хорошие качества, которые выставлялись маленькими матерями с возможным бес- пристрастием. После окончательной рекомендации был дан бал, чтобы скорее ознакомить их между собою. Некоторые сбивались во время танцев, путали фигуры, за что одних наказывали, другим делали строгие выговоры за их не- умение держать себя прилично; было даже несколько слу-

чаев слез, но, после обещания провинившихся вести себя вперед лучше, все было прощено, и они были снова допущены к участию в игре.

Но и эти забавы имели также свою опасность, которой подвергались принимавшие в них участие: опасность нарушить данное слово. В пылу сражения, например, возможно ли соразмерить шаги или во время танцев между девочками? Малейшее увлечение — и храбрый воин или пылкая вальсерка уносились за означенную границу, совсем близко к этой грозной портюре, один вид которой был — целая опасность, ежеминутный соблазн.

Некоторые выразили желание читать или рассматривать картинки, сидя спиной к опасности, но это было предпринято только со стороны меньшинства: благоразумные, как и всегда, были немногочисленны, большинство же оставалось в лихорадочном нетерпении. Наконец, по общему согласию, было решено всем без исключения разместиться вокруг большого стола и чтобы каждый поочередно рассказал какую-нибудь хорошенькую историйку.

Несколько голосов выделялись, чтобы было сначала рассказано что-нибудь страшное или ужасное, это очень интересно испытывать страх во время рассказа, но остальные были против этого предложения. «Нет, нет,— говорили они,— будем рассказывать что-нибудь веселое или даже забавное, что могло бы заставить нас посмеяться».

После долгих колебаний прекрасный стройный мальчик, лет одиннадцати, с серьезным выражением лица, со строгими, но прекрасными глазами, опираясь на руку, предложил рассказать что-нибудь полезное, которое в то же время было бы приятным и интересным. Он объявил, что можно было бы выбрать что-нибудь из истории. Виножник этого предложения имел, очевидно, по своему характеру влияние на своих товарищей, почему оно и было немедленно принято. Однако остановились в выборе, потому что в области истории есть всего: не мало вещей прекрасных, много и дурных, много периодов занимательных и не мало нестоящих внимания. Маленькая сестра будущего рассказчика, вскарабкавшись к нему на колени и наклонившись к его уху, ласково проговорила ему: «Ты им расскажешь какой-нибудь отрывок, но мне ты расскажешь всю историю, не правда ли, милый братец? Я не люблю недосказанного».

Брат улыбнулся, отвечал: «Хорошо» — и удержал на коленях любознательную сестрицу.

— Я желаю, чтобы было рассказано о самом умном и добродетельном лице в истории,— прибавила маленькая особа, столь прелестная, что легко бы могла занять место одной из тех волшебниц, которые прогуливаются в ореховой скорлупке, везомой бабочками.

Это предложение было неожиданностью со стороны очень беспокойной обыкновенно девочки, в глазах которой постоянно светилась какая-нибудь шалость, необузданный смех которой можно было слышать при малейшей причине. Многие спрашивали: будет ли история самую благоразумною и добродетельною, которая всего более понравилась бы мадемуазель Эмме?

— Да, наверно,— отвечала она без малейшего смущения,— без сомнения, что мне более всего понравился бы умный и самый умный добродетельный рассказ. Конечно, так!

Много смеялись, шутили, но остановились все-таки на самой умной и добродетельной истории.

— Ну, что же, начинай, Жак! — вскричало несколько нетерпеливых голосов.

И Жак, подумав немного, как бы пробежав мысленно несколько страниц невидимой книги, начал рассказывать о жизни Катона.

По мере того, как его приятный и твердый голос звучал в зале, его слушатели делались все более и более внимательны. Выражение лиц было весьма разнообразно. Вглядевшись повнимательнее, можно было предсказать, что один, увлеченный рассказом, уже был или старался сделаться Катоном, между тем как другой продолжал оставаться самим собою — внимательные к рассказу, они удивлялись этой строгой добродетели, но не увлекались ею, как первые. По одному этому признаку можно было узнать, что такое твердое, мужественное сердце не изменится в несчастии, тогда как прочие легко разобьются или подпадут под влияние других при первой неудаче в жизни.

Оратор не мог пожаловаться на своих слушателей, внимание было общее. Кажется, было только одно исключение и, странная вещь, оно было со стороны мальчиков, а не девочек, чем доказывается, что ошибочно было бы составлять мнение о последних, как о менее любознательных и более легкомысленных, чем мальчики. Справедливость этого подтверждается и тем, что один из слушателей не был расположен слушать внимательно. Он чувствовал как бы голово-

кружение, сердце его билось так сильно, что, кажется, готово было разорваться в груди, этот несчастный был Ганри, тот самый, который плакал теперь, закрыв лицо руками в глубине маленького леса. Он не мог слушать, нет! Желание проникнуть в эту чудесную закрытую комнату, свято охраняемую общею клятвою, это желание жгло его, как раскаленное железо, у него не хватало ни сил, ни мужества овладеть собою. Весь трепещущий, сидел он в своем углу, колеблясь между долгом и искушением, устремив глаза на дверь, которая неумолимо приковывала к себе его взгляд, как какое-нибудь очарование.

История о благороднейшем и добродетельнейшем муже близилась к концу. Все были увлечены рассказом. Свечи горели только на столе, вокруг которого, собравшись, сидели все дети; все освещение зала сосредоточилось в этом месте, так как свеча, поставленная около запрещенной двери, догорела, и в этом конце зала царствовал полумрак. Высокие кресла, в беспорядке расставленные во время игр, бросали дрожащие тени на стены и гардины большими темными пятнами.

Один Ганри заметил, когда догорела свеча около запрещенной двери, вместе с чем являлась возможность нарушить запрещение. Дух соблазна тихо шептал ему на ухо, что нетрудно было бы, пользуясь тем, что общее внимание обращено в противную сторону, проскользнуть незамеченным около стен благодаря высоким креслам и этим путем добраться до желаемой портьеры. Раз очутившись там, оставалось только приподнять край, и тогда... Тогда он был бы один обладателем неоцененной тайны, которую заключала в себе эта комната.

Тут он заметил, что в его холодных, дрожащих от волнения руках была маленькая спичечница со спичками, которая за несколько минут раньше была на камине...

Конец рассказа он слушал еще менее, чем начало. Как бы охваченный лихорадкою, он чувствовал, казалось, что какие-то роковые руки толкают его к проклятой портьере и что напрасно внутренний голос его совести заставлял его бороться.

Вдруг все зашевелилось вокруг Ганри, и это как бы разбудило его от сна. Все кинулись вон из зала, крича: «Мы здесь, тетя, мы здесь! Мы были благородны, мы сдержали наше слово, портьера не была тронута, никто не коснулся ее». В одно мгновение Ганри остался в большом зале

один; отсюда он слышал шум стульев из соседней столовой комнаты, которые пододвигались к столу, затем звон тарелок, вилок, но никто не замечал его отсутствия.

Тогда, как бы охваченный припадком бешенства, он без жалости заглушил в себе последние упреки совести, одним прыжком очутился у закрытой двери, приподнял портьеру и, как вор, проскользнул в комнату, где лежали подарки; попав туда, он чиркнул об паркет спичку и при ее дрожащем свете жадно смотрел на то, желание видеть что так сильно мучило его.

#### ГЛАВА IV

Сколько прекрасных вещей, сложенных там в кучу, представилось его глазам! Как охотно рассмотрел бы он каждую из них, если бы мог спокойно оставаться в этой комнате! Ах, не скоро ушел бы он отсюда! Но теперь, едва успел он окинуть быстрым, преступным, смущенным взглядом всю эту выставку замечательных вещей, с такою любовью устроенную тетей для детей, как взгляд его вдруг омрачился. Вдруг почувствовал он охватившее его жестокое угрызение совести; в одно мгновение он понял весь позор только что совершенного им проступка; ему хотелось крикнуть, позвать на помощь, он чувствовал, как будто ему был нанесен удар ножом в сердце.

Несчастный! Это был последний порыв его совести, но он не последовал ему. Не поздно еще, если он приходит во время самого проступка, лишь бы было при этом полное раскаяние. Но у человека со слабым сердцем одна ошибка ведет постоянно за собою другие. Он не думал ни о чем более, как бежать скорее, оставить этот дом, который был свидетелем его бессовестности, и скрыть свой проступок от глаз всех.

Но сколько преступников хотели поступить так же, как и Ганри в настоящем случае, но которых бесхарактерность приковывала к месту! Он чувствовал, что не в силах сдвинуться с места, его ноги как бы приросли к полу.

Но вот спичка потухла, и он остался один со своим проступком в глубоком мраке.

В эту минуту из столовой донесся до него веселый взрыв хохота, вызванный, вероятно, какою-нибудь остротою одного из маленьких приглашенных.

Если бы он минутою раньше оставил эту проклятую комнату, то и он принимал бы участие в этом общем веселье. Он сделал ужасное усилие над собою и весь трепещущий от стыда и угрызений совести кинулся в зал и, перепрыгивая по нем, как подстреленная птица, бледный, как привидение, остановился у входа столовой.

Остановившись у порога, он стал прислушиваться к общему разговору, сдерживая руками биение своего сердца; он силился успокоить возбуждение души своей. В столовой продолжали смеяться, болтать и кушать. Он не слышал ничего, кроме веселого разговора общества, о нем не было и речи. Как удалось проскользнуть ему незамеченным своими товарищами, он сам никогда не мог понять этого. Как удалось ему занять свободное место за общим столом, объяснить невозможно иначе, как тем, что маленькое, шумное общество, вполне довольное собою, вовсе и не заметило отсутствия, сравнительно непродолжительного, одного между столь многими, занятыми своими интересами.

Несколько минут спустя, уверившись окончательно, что его проступок никем не замечен, он мало-помалу вмешался в общий разговор. Он также охотно смеялся, силясь умалять значение своей ошибки. Но его веселость была только наружною: трудно было обмануть ею других, а тем более не мог он обмануть себя. Чего бы только, кажется, не отдал он, только бы смех его был так же естествен, как и прочих сидящих за столом! Но нет, как будто отравленная игла вошла в его сердце.

Ужин кончился, все весело вернулись в зал, но скоро раздался общий крик удивления, перешедший затем в крики негодования и досады. Нужно ли говорить причину? Нет. Угол портьеры был отдернут; кто-то нарушил данное слово. Несколько спичек были рассыпаны около запрещенных дверей, что скоро было замечено наиболее нетерпеливыми, чем еще раз подтверждалось, что проступок был совершен. Ганри, видевший все это, чувствовал, что силы покидают его.

В эту минуту в зал вошла тетя. При виде общего волнения ее глаза быстро обратились в сторону запрещенной двери, и все стало ей ясно. Ее наружность, столь спокойная, столь ясная обыкновенно, приняла какое-то грустное выражение; когда она заговорила, то все едва переводили дыхание, и когда, с трудом скрывая волнение, она сказала:

— Дети, кто не сдержал из вас данного слова?

О! сколько искренних голосов раздавалось в защиту своей невиновности! Сколько взглядов было брошено одним на другого, отыскивая виновника! Сколько вовсе невиноватых было в подозрении! «Сознайся,— говорил Ганри голос его совести.— Раскайся в твоей ошибке, несчастный, не допусти обвинить кого-нибудь другого — ценою твоего раскаяния ты заплатишь за твое прощение». Но нет, Ганри молчал, если только не говорил вместе с другими: «Нет, это не я!»

Вдруг маленькая девочка, совершенно никем не замеченная до сих пор, как бы потерявшаяся в большом кресле, на котором она уснула, встала и приблизилась к возбужденной толпе детей. С удивлением протирала она глаза и спрашивала: «Что такое случилось?»

Это была маленькая, жалкая, несчастная девочка; она недавно потеряла мать, одетая еще в траур, с кротким, постоянно бледным лицом. Ее отец почти насильно привел ее на праздник, надеясь рассеять ее горе, но бедное маленькое сердце было слишком сильно опечалено и ни разу в течение целого дня нельзя было в ней заметить хотя малейшего проблеска удовольствия. Когда все дети оставили зал, чтобы идти ужинать, она не ушла вместе со всеми, но уселась в большом кресле, чтобы вдали от общей радости подумать о своем горе. Она припомнила, что говорил Жак о Катоне, она хотела пересилить свое горе, но есть ли возможность утешить себя в такой ужасной потере! Горячие слезы побежали из ее глаз; все утраченное прошедшее снова было перед ней, она ничего не видела, не слышала и, погруженная в свои горькие воспоминания, кончила тем, что уснула, рыдая, в большом кресле. Ни шум в столовой, ни проникновение Ганри в комнату подарков — ничего не дошло до ее слуха. Только общий шум при возвращении детей в зал разбудил ее от тяжелого, горестного сна.

Ее красные еще от слез глаза еще более, чем она, спрашивали: «Что случилось?»

При виде ее грустного выражения лица, еще влажных глаз у всех вырвался общий крик:

— Это она, это Мари! К тому же она не была за столом с нами!

— Жак, это она, это Мари? — закричали некоторые из ее друзей голосом полного удивления и неожиданности.

— Это я,— проговорила Мари, не понимая, что ей говорят,— ну, да, конечно, я, разве вы не узнаете меня? Что вы хотите сказать мне?

Этот роковой, столь естественный ответ на вопрос, которого она не поняла, приняли за признание, и единодушный крик вырвался у всех: «Это она!»

— То, что вы сделали, очень дурно, дитя мое, — сказала Мари серьезно тетя, — это очень меня опечалило. Я никогда не считала вас на это способной. Вы были одна из последних, которую я могла подозревать. — И, обращаясь к другим детям, прибавила: — То, что сделала Мари, касается только меня и ее отца; вы же можете позабыть об этом. Начинайте снова ваши игры и не следуйте этому дурному примеру, будьте благоразумны. Вы, без сомнения, знаете, что я не прощаю вам вашего слова.

После этих слов она поправила портьеру, впопыхах откинутую Ганри в сторону во время его бегства, и очень опечаленная удалилась, еще раз дав тихонько совет каждому из детей — не особенно преследовать виноватую. Когда дошла очередь до Ганри выслушать это предостережение о снисходительности к виновной, то, полумертвый от внутренних страданий, он с трудом удержался, чтобы не упасть перед тетей на колени. Как мог не понять он, что к его первой ошибке теперь прибавляется вторая — его низкое молчание было более, чем ошибкой, — оно было почти преступлением. Однако он сделал этот второй проступок, чтобы скрыть первый, — вот доказательства, насколько один порок вызывает другие следующие; после пальца — рука, за руку — все существо охватывается всецело у того, у кого не хватает мужества пожертвовать большим пальцем, отрубив его поскорее, чтобы спасти все тело.

Видя, как тетя поправляла приведенную в беспорядок портьеру, маленькая обвиняемая, наконец, поняла, что было причиною общего оживления, и она удовольствовалась проговорить тихо, но с уверенностью, как могут говорить только вполне убежденные в своей невинности:

— Неужели же вы серьезно думаете, что я входила в комнату?

— Нет, это была маленькая мышь! — отвечал насмешливо детский голос.

И все удалились от нее прочь.

— Как! Так вы на самом деле допускаете меня виновною? — спросила еще раз бедная малютка.

Ее голос оборвался, и две слезы скатились по ее бледным щекам. Наиболее гордые и вспыльчивые из детей отвечали ей, что вперед между ними и ею не может быть

не только дружбы, но и простого знакомства; другие же, более сдержанные и более кроткие, не сказали ей ничего, но самое молчание их хорошо объяснило их чувства. Мари несколько раз подходила то к тем, то к другим, но не встречая нигде ничего, кроме упреков или холодного молчания, она уселась в углу и не трогалась более со своего места. В этом мрачном углу, при слабом освещении зала, она представляла маленькое, но верное изображение страдания и покорности. Ей так много пришлось выстрадать, что она уже умела переносить свои печали, не жалуясь, не ища сочувствия!

Все продолжали играть, забавляться, но никто не приглашал ее. Наконец, пошли ложиться спать. Все обнимали друг друга, прощаясь, но никто не пожелал ей даже покойной ночи. Один Жак, рассказывавший историю Катона, был, по-видимому, более опечален, чем рассержен на нее, и, проходя мимо, жалостно поглядел на нее. Но как прошел настоящий виновник мимо жертвы своей ошибки? Он прошел, как и прочие, отвернувшись от нее, принимая озлобленный, презрительный вид. Но, минуто спустя, в нем проснулось как будто отчаяние, он тихо вернулся и потерянным, дрожащим мольбою голосом проговорил ей:

«Покойной ночи, Мари».

Но разве это все, что должен был сказать он ей?

Бедный ребенок в порыве признательности, она соскочила с кресла, где сидела, и смотрела во все глаза на того, который один из всех осмелился выразить ей свое сочувствие, затем, охватив его шею руками, она заплакала, и между ее рыданиями было возможно разобрать, как она говорила — насколько добр он, дорог для нее и что за это она никогда не забудет его, не перестанет вечно любить его.

Затем, услышав какой-то шум, она оттолкнула его от себя, торопливо прибавив:

«Уйди, уйди, Ганри! На тебя рассердятся, если увидят, что ты разговариваешь со мной, с той, которую все считают виновною».

Но так как он не отходил от нее, мучимый стыдом и угрызением совести, то Мари, не обращая внимания на его волнение, еще раз обняла его, и ее маленькие губки, трепещущие, как лепестки розы, колеблемой ветерком, еще раз проговорили ему — как сильно обожает она его. И, оттолкнув в последний раз его от себя, она удалилась.

Великий боже, может ли быть что-нибудь мучительнее ночи человека, сделавшего какой-нибудь проступок! Не имея возможности уснуть, Ганри встал, подошел к окну и, несмотря на холодное зимнее время, отворил форточку.

Превосходный лунный свет разливался по земле и небесам, чудные звезды мерцали на лазури облаков. Все было так тихо, так спокойно, как будто ни одна душа в мире не была встревожена угрызениями совести,— это чудное спокойствие, этот ясный свет звездного неба составляли такую резкую противоположность с возбужденным состоянием Ганри, что ему лучше хотелось бы, чтоб разразилась гроза.

Тот, кто никогда не испытывал этих мучений, кто никогда не чувствовал, как они, подобно отвратительным гадам, скользят по сердцу во время отдохновения прекрасной ночи, то да хранит бог того от чего-нибудь подобного и на будущее время... Наконец, миновала долгая ночь, и розовая заря обещала ясный день. Мало-помалу стали просыпаться в доме. Этот знакомый шум, рассеявший несколько грустное настроение Ганри, сначала показался ему облегчением, но скоро в нем явилась мысль, что ему следует или отказаться от общего доверия, которого он более уже не заслуживал, или же потерять его поздним сознанием в своем проступке, и теперь Ганри понял, что день будет так же мучителен, как и ночь.

Маленький, бледный, заплаканный образ нежной Мари, столь благодарной за его малейшую ласку, этой невинной жертвы его проступка, так часто представлялся ему в тишине этой мучительной ночи... Как-то посмотрит ей он в лицо теперь, при ярких лучах солнца? Хватит ли у него духа вынести ее нежный взгляд? Ах! Лучше хотел бы он видеть ее раздраженною, клеймящею его достойным презрением. Нет, нет, у него не хватит низости позволить обнимать, благодарить себя той, которая так жестоко страдает из-за него.

И, несмотря на то что ни в чем не виноватая Мари уже страдала, он, истинно виновный, не мог избежать заслуженных им мучений. Он должен был в свою очередь перенести презрение, насмешки или выслушать от своих друзей, насколько был низким его поступок, но при этом он не мог, как Мари, найти успокоение в своей совести.

При одной этой мысли все его добрые намерения разлетались, как дым, его слабое сердце уже было далеко — при одной мысли о подобных мучениях. Ему казалось это ужасным, но разве он не заслуживал этого?

Ах! Как дурно подчас рассуждает самолюбие! Зачем скрывается оно от людской добродетели, разве ему не известно, что как перед людьми, так и перед богом согрешить и раскаяться — значит быть наполовину прощенным, в то же время каждый лишний день, который пройдет между проступком и возмездием, вырывает целую пропасть и увеличивает ее до того, что она делается почти незабываемой.

Добрая Анна, заметя болезненный вид Ганри, потрогала его лоб, имея свой взгляд узнавать болезнь, причем всегда улыбалась, когда видела, что доктора, желая определить состояние больного, щупают пульс. Положив руку на лоб, место, где по ее мнению, должны сосредоточиваться все болезни, — как души, так и тела, она осведомилась у него, чем он болен, затем, приласкав его с заботливостью бабушки, она предложила ему чашку теплого молока с сахаром и с несколькими каплями поморанцевых капель, которые должны были успокоить его волнение. Тронутый ее заботливостью, Ганри имел намерение броситься, рыдая, к ней на шею и попросить позвать тетю, но и теперь он воспротивился этому доброму побуждению — и, поблагодарив ее, вышел.

Все утро пробродил он по отдаленным закоулкам дома, избегая расспросов своей матери, которая хорошо заметила его расстройство; со смущением принимал он изъявление дружбы своих товарищей, с лихорадочным нетерпением ожидая появления бледного образа маленькой Мари и чувствуя себя бессильным при одной мысли встретиться с ее взглядом.

Однако она не показывалась все утро. У него не хватило духа спросить кого-либо о ней, и он благословлял в душе различные игры, которые, занимая как маленьких, так и взрослых, давали ему возможность оставаться в уединении. Наступило время идти к обеду, но Мари не являлась. Он искал глазами ее отца, думая, что от него он может узнать, где она... Но нет, в лице его он увидел самого ужасного судью своей ошибки. К счастью, он не встретил его.

Наступил вечер, но ее все не было. Тогда, охваченный беспокойством, он чувствовал, что его презренное сердце

сжимается, как в тисках. «Что с ней, где она, безвинная?» — тихо шептал он.

Это положение было невыносимо, он решил на все, чтобы узнать о судьбе ее.

Несколько человек детей, старых друзей Мари, уставши играть, отдыхали в углу залы. Он подошел к ним — и, на его счастье, первые слова, что он услышал, были:

— О, да! Я никогда не подумала бы этого! Она казалась такою умною, доброю девочкой!

— Кто это? — спросил он, стараясь спокойно смотреть в открытые глаза маленькой девочки, которая только что высказала свое мнение о Мари.

— Да я же! Кто бы мог узнать всю недостойность души ее! — отвечала она. — О! лицемерка! Еще имеет смелость прийти плакать и уверять всех в своей невинности, когда так ясно, что только она одна виновата.

— Где же она, эта Мари? — спросил он по возможности твердым голосом, стараясь скрыть свое волнение под видом равнодушия.

— Слава богу, уехала! Разве ты не знаешь этого?

— Да нет же... Я не видел ее, когда она уезжала. Я был очень нездоров сегодня. Я принужден был оставаться в постели дольше, чем мне хотелось, потому что мне запретили вставать, угрожая в противном случае доктором... Да разве тебе это не известно?..

Он не мог более владеть собою. Он чувствовал, как капли холодного пота выступали на лбу его. Он чувствовал, что голос выдает его волнение.

— Ах! — вскричала маленькая девочка. — Так ты ничего не видел? В таком случае я тебе расскажу все. Послушай, это было преинтересно. Представь себе, сегодня утром мы застаем м-ль Мари, у которой хватило смелости дожидать нас в зале, как будто между нами ничего не произошло, мало того, у нее хватило дерзости объявить нам всем в глаза, что мы несправедливо обвиняем ее, что она так же безвинна, как и каждый из нас. При этой выходке мы все покраснели за нее, что же касается до ее наружности, то она была невозмутима, она говорила с удивительным хладнокровием, надеясь или по крайней мере желая всеми силами разубедить нас. И только тогда, когда она увидела, что ей не удастся обмануть нас, ее уверенность покинула ее и крупные слезы, слезы досады, без сомнения, побежали

из глаз ее. Но еще раз, обращаясь к нам, она повторила с удвоенною вспыльчивостью:

— Вы несправедливы и жестоки!.. Наступит день, и вы пожалеете, что обвиняли меня в проступке, которого я и не думала делать. Я без сожаления покидаю друзей, которые не имеют ко мне доверия и которые, вместо того чтобы защищать, обвиняют меня. Я не желаю больше видеться с вами. Прощайте.

Она пошла искать своего отца и что-то долго говорила с ним. Я уверена, что ему вряд ли удалось выпытать у нее малейшее признание и что скорее она успела убедить его в своей невинности, потому что мы видели, как он нежно сжимал ее в своих объятиях. Конечно, она сумела заставить его немедленно решиться уехать отсюда. Уходя, она проходила близ нас и как будто желала еще раз заговорить с нами, но мы сделали вид, как бы вовсе не замечаем ее.

## ГЛАВА VI

Итак, бедная девочка уехала, уехала жертвою наглости Ганри! Только что выслушанный им рассказ произвел такое потрясающее действие на несчастного мальчика, что он почувствовал, как силы изменяют ему, и воспользовался первым удобным случаем, чтобы удалиться. Желая сделать свое бегство по возможности незаметным, он подошел к столу, заваленному куклами, и с притворным вниманием принялся их рассматривать. Машинально передвигая эти груды полишинелей, кукол, домашних и диких животных, оружия, музыкальных инструментов, он невольно взглянул на свою любимую игрушку: это был превосходно сделанный охотник в зеленом бархатном охотничьем параде, в высоких сапогах, в круглой, отделанной позументом шляпе, с безукоризненной сумкой для дичи чрез плечо. Один бог, читающий в сердцах наших, может понять, с какою грустью смотрел он на него — он думал о том дне, когда этот охотник был принесен ему его дядею, прекрасным, немного сварливым, но очень великодушным мужчиной. Он вспоминал, что и Мари была в то время с ним. Она и тогда была такою же доброю, кроткою, но ее личико было несколько оживленнее, веселее, чем теперь; она не носила тогда еще траурного платья сироты: на ней было тогда прекрасное кашемировое белое платье, в котором она была восхитительна, как малснький ангел в светлых утрен-

них облаках. Он припомнил также, что когда дядя вынул этого охотника из дюжины разноцветных листов оберточной бумаги, в которую он завернул его, желая испытать терпение своего племянника, Мари с удивлением рассматривала этого разряженного барина и вскричала, смеясь, что сумка столь прекрасного охотника никогда не будет пуста. Он не мог оторвать глаз от игрушки, которая напоминала ему Мари... Как вдруг он заметил, что в сумке охотника лежит нечто белое, что не входило в состав его обыкновенного наряда. Это нечто был маленький кусочек бумаги, сложенной, как видно, на живую руку, он развернул его и увидел, что там, видимо взволнованною, еще непривычною к переписке рукою крупными буквами было написано:

«Ганри, дорогой мой Ганри,— гласило письмо,— обнимаю тебя и никогда не забуду тебя, как не забуду никогда мою мамашу. Ты был так добр ко мне тогда, когда все оскорбили меня так жестоко, что я хочу вечно помнить о тебе. Ах! дорогой, добрый Ганри, ты явился ко мне с утешением тогда, как все обвиняли меня. Ты один не поверил их злым предположениям. Нет необходимости говорить тебе, добрый Ганри, что это не я входила в комнату подарков. Но будь уверен, что, несмотря на несправедливость моих старых друзей, я не сержусь на них. Я не хочу оплачивать злом за зло. Я не стала отыскивать тебя, чтобы обнять перед моим отъездом, как мне ни хотелось сделать это, но пусть твое доброе сердце, твое сочувствие ко мне не будет причиною неприятности для тебя; тебе бы, наверное, не извинили, что ты остался моим другом. Найди эту записку, милый Ганри, я вечно буду любить тебя. Прощай. Мари».

Всякое слово этого маленького трогательного посланья входило в его сердце. Не успев прийти в себя, он побежал, чтобы затвориться в своей комнате,— и там, кинувшись на постель, он разразился рыданиями. В эти минуты он хотел умереть...

Он как бы обезумел от мучений в течение нескольких часов. Его все еще считали за больного и сильно беспокоились о нем. Мать его, видя его слезы, думала, что он сильно страдает, чем была в высшей степени опечалена. Его товарищи приходили посещать его чаще, чем он даже желал бы этого. Все они были так далеки от мысли подозревать всю испорченность его природы, что старались утешить его, рисуя пред ним перспективу предстоящих празд-

ников рождества. Но что значил для него теперь этот праздник? Он не думал, он не мог думать ни о чем более, как о маленьком клочке бумаги Мари, который он хранил у себя под подушкой.

Когда он остался один, еще много раз перечитал он записку до последнего слова, так, что знал уже наизусть, затем он сжег ее, но и сожженная, обращенная в пепел, она оставила свое содержание как бы навсегда вырезанным на его сердце.

Мало-помалу, однако, сон сомкнул его утомленные от пролитых слез глаза, но это не был тот благотворный сон, который царствует после хорошо проведенного дня, нет, это был сон беспокойный, который не освобождает вас от неприятного, возбужденного состояния, под впечатлением которого вы заснули. Его мать, осторожно войдя в комнату, заметила лихорадочное состояние его пульса. Поспешно вызванный доктор запретил будить его. Как ни неприятно было, но следовало покориться этой необходимости, а в этот именно вечер была назначена раздача рождественских подарков,— и она охотно отказалась от праздника для своих материнских обязанностей.

Поздно проснулся Ганри, уже начинало смеркаться. У него была лихорадка. Доктор явился снова и, к величайшему его удовольствию, запретил ему вставать в этот вечер. Одна мысль об этом празднике, откуда была изгнана Мари благодаря его проступку, была гнусна для него. Он благословлял свою болезнь, которая не позволяла и ему по крайней мере там присутствовать. С каким видом мог он принимать подарки перед всеми, приготовленные ему тетей? Каково было ему перенести ту минуту, когда великолепная кукла с приданным, предназначенная сначала для Мари, была разыграна между остальными? Как трудно было бы ему не вскричать в ту минуту, когда эта драгоценная кукла, только благодаря его проступку, попала в другие руки: «Пошлите эту куклу Мари, она вполне заслужила ее, потому что я один виноват во всем».

Но разве мог он при своей беспомощной слабости, при низости своей души сделать это ужасное заявление! Хорошо сознавая эту слабость, он предпочел, как и раньше, лучше мучиться в неизвестности, чем перенести вполне заслуженное наказание.

А эти откладывания постоянно увеличивали затруднительное признание и грозили с каждым днем ухудшить его

положение до невозможности. Должен ли был он останавливаться у этой бездны? Куда бы привела она его? Мог ли он рассчитывать миновать ее?

Ночь провел Ганри в ужасном кошмаре.

Однако лихорадка к утру значительно ослабела. С радостью узнал он от женщины, которая за ним ухаживала, что все дети уже уехали. Ему казалось, с его слабым сердцем, что, оставшись один, вдали от свидетелей своей ошибки, столь ужасных для него, даже несмотря на то, что они не знали истинно виновного, он будет в силах позабыть о ней. Узнав, что в доме пусто, он почувствовал себя как бы облегченным от огромной тяжести и уснул спокойно.

Был уже полдень, когда он проснулся. Ему слышался голос его матери. Чувствуя себя оправившимся, он быстро вскочил и увидел ее на самом деле, подходившую к нему с распростертыми объятиями.

Боже мой! Как трудно было ему переносить ее незаслуженные ласки: ему казалось, что он крал ее поцелуи и что только довольно одного слова, одного намека на истину, чтобы уничтожить спокойствие этих чудных, добрых глаз, с таким счастьем, с такою заботливостью смотревших на него.

Но так как он не заслуживал вполне счастья наслаждаться, как прежде, выражением этого нежного участия, в нем еще раз мелькнула мысль сделать признание в своей недостойности. И кто бы, кажется, мог лучше, как не мать, помочь ему исправить свою ошибку или облегчить тяжесть его угрызений совести. Но он вспомнил при этом, что она раз чуть не умерла, услышав неприятное известие, и отложил свою мысль при этом воспоминании. Да разве разочаровать ее в ее сыне не значит лишить ее всякого счастья? И он молчал, еще сильнее терзаемый внутренними страданиями. Но от матери не скрылось его беспокойство.

— Что с тобой, Ганри,— спросила она его.— Разве ты еще болен? Однако доктор говорил мне, что ты уже поправился.

— Нет, мамочка, нет! — отвечал он поспешно.— Я не болен, уверяю тебя. У меня только как будто ноет немного рука, вот и все.

— Рука! Матерь божия! Да что же это значит?

Довольно любимому ребенку оцарапать палец, чтобы взволновать сердце матери, это истина давно известная. Однако она придавала такое громадное значение этому, так

испугалась, что добрая Анна думала, что она упадет к ней на руки.

Сколько беспокойства для нее! «Но что же было бы, если бы ей открыть все!» — думал он.

— Да успокойся же, мамочка, — сказал он, — это пустяки, уверяю тебя. Я лег по ошибке на правую руку и отлежал ее, — вот уже она и проходит, не волнуйся же, моя милая.

## ГЛАВА VII

Но это далеко еще не все.

Как уже известно из начала нашего рассказа, шесть месяцев прошло со дня праздников рождества, когда Ганри совершил первый проступок, допустив подозрение относительно Мари в том, в чем виноват был только сам. Его настроение стало постоянно мрачным от беспрестанных угрызений совести; его здоровье расстроилось; мать, видя его постоянно задумчивым, что не соответствовало его годам, терялась в недоумении. Она употребляла всевозможные ласки, чтобы вызвать улыбку на устах обожаемого сына, но не всегда ей удавалось это. Ганри употреблял со своей стороны все усилия в борьбе со своим несчастьем, исключая самого естественного для успокоения своей души — исключая признания, столь спасительного для исправления. Он много занимался, отыскивая в науке развлечения от своей жестокой заботы, но ничего не удавалось ему вполне.

Прошла зима; летнее солнце, радость для всех, не радовало Ганри. Едва он оставался один, как становился мрачным и молчаливым; его веселость в обществе других была неестественна, в ней было заметно напряжение, у него была только одна цель — скрыть, по возможности, настоящее положение души своей от матери. Однажды, войдя в его комнату, она вся сияла от радости, — она пришла сообщить ему прекрасную новость. Объясняя себе болезненность Ганри его чрезвычайным одиночеством, она радовалась, что представлялся счастливый случай положить ему конец.

— Поторопись, Ганри, — говорила она, сжимая его в своих объятиях. — Маленькая Жюли, твоя кузина, приехала; это премиленькая, предобрая, превеселая, презабавная девочка, ты увидишь — и она, конечно, понравится

тебе; ты, наверно, будешь любезен с нею, Ганри, не так ли? Вы, без сомнения, будете хорошими друзьями. Бог тебе посылает в лице ее как бы сестру, мой дорогой.

Видя свою мать столь счастливою, Ганри притворился сильно обрадованным:

— Бежим скорее посмотреть маленькую кузину,— сказал он.

Через коридор по лестнице они вошли в зал, где уже сидела маленькая кузина со своей матерью, еще молодою женщиною, с ласковой улыбкою на лице, что приятно было видеть ее племяннику. Она ему представила свою дочь, говоря, что уверена, что они будут хорошими друзьями между собою, она просила его считать ее, как родную сестру, прибавив, что, будучи принуждена уехать надолго, она очень довольна, оставляя свою дочь в новой столь прекрасной семье. Затем она предложила Ганри множество вопросов, расспрашивая его о его ученье, вкусах и удовольствиях — и, по-видимому, осталась очень довольна его ответами. Затем обе матери послали их играть на лужок перед окнами зала.

## ГЛАВА VIII

Маленькая кузина рука об руку с Ганри ходила сначала рядом, мерно выступая нога в ногу, как маленькие, хорошо дисциплинированные солдаты. Он с любопытством осматривал свою новую подругу. Он скоро заметил ее большие синие глаза с равнодушным, несколько серьезным выражением. Затем, любуясь ее розовенькими губками, он остановился с удивлением на несколько мгновений, рассматривая ее столь маленький ротик, что было странно, как могла она кушать конфеты, которые она держала в левой руке. На ней было надето пышное платье, открывавшее столь маленькие, прекрасные ножки, что, казалось, было бы возможно их обути в лепестки цветка из рода диких лилий, которые называются в некоторых странах «птичьими сапожками». Яркая лента радужного цвета, завязанная на голове, удерживала ее роскошные вьющиеся волосы; множество локонов, как живые, заигрывали с ее маленькими незаметными розовыми ушками.

— Я очень счастлив, что вижу тебя, маленькая кузина,— сказал Ганри, чувствуя, что его обязанностью было сказать какую-нибудь любезность.

— Я также очень довольна, что вижу тебя, Ганри,— отвечала она с достоинством.

— Какие игры предпочитаешь ты обыкновенно, и какую выбрала бы ты для сегодняшнего дня? — спросил он, решившись отогнать от себя свои заботы и сделав по возможности хороший прием маленькой кузине, доставить ей тем удовольствие.

— Какую хочешь, Ганри,— отвечала она с одинаковым достоинством, несколько польщенная на этот раз предоставленным ей выбором.

Тогда он пересчитал ей множество игр, спрашивая всякий раз, предлагая ей каждую: не нравится ли ей она более, чем прочие, на что маленькая кузина с прежним достоинством продолжала отвечать: «Как ты хочешь, Ганри».

Однако при предложении бегать по берегу пруда ее голубые глазки ярко заблестали — улыбка озарила ее маленький ротик, но она скоро овладела собою, став по-прежнему сдержанною. Тем не менее он нашел способ уничтожить ее холодность:

— Если мы пойдем к пруду этим путем, то дорога, ведущая туда, очень прекрасна,— там мы найдем бездну цветов, бабочек и птиц. Любишь ли ты, кузина, подобного рода встречи?

— Да, Ганри,— отвечала она.

И при этом она сделала такое движение, которым показала, что не всегда могла быть особенно покойною! Однако и на этот раз прибавила:

— Если только мама позволит.

Но мать уже давно разрешила им это — и, не теряя времени, они отправились в путешествие делать открытия. Миновав дорожки, которые вели от лужка к долине, маленькая кузина сделала несколько прыжков, которые укрепили Ганри в предположении, что, вероятно, м-ль Жюли далеко не так равнодушна к удовольствиям и играм этого мира, как хотела казаться.

Он не ошибся: едва вышли они на тропинку, как она принялась скакать, бегать и выделывать такие чудесные прыжки, что он готов был допустить мысль, что какая-нибудь волшебница внезапно превратила ее в дикую козочку. Она пела таким веселым, звонким голосом, что удивила всех птиц; она смеялась таким свежим, искренним смехом, который не имеет близкого сравнения, потому что только немногие дети могут так смеяться. Язык кузины также

развязался; она начала рассказывать ему бездну вещей, и не успели они дойти до глубины сада, как она уже успела сообщить ему все свои надежды и соображения относительно своего будущего. Все ее предположения могут быть приведены к следующему заключению: она решила быть самою умною и самою прекрасною девушкою, какую возможно только вообразить себе. Ее благоразумие вызывало такое же удивление, как и красота. Она знала, что ее мать желала, чтобы она была примером для других девочек, и всеми силами стремилась удовлетворить этому желанию. Не успели они дойти еще до липовой аллеи, как уже были старыми друзьями, и маленькая кузина с горящими глазами, с оживленным лицом говорила ему без стеснения:

— Веди же меня скорее в фруктовый сад! Я хочу видеть большое вишневое дерево.

— Но кто же сказал тебе, милая кузина, что у нас есть большие вишневые деревья?

— Кто? Никто! У меня есть на то глаза, чтобы видеть, я уже издали заметила вишневое дерево у забора! Ах, какое оно большое и все покрыто прекрасными вишнями.

Налюбовавшись на прекрасное дерево, маленькая кузина хлопала в ладоши в невыразимом восторге, при виде столь совершенных даров природы, но вдруг лицо ее омрачилось, она сделалась задумчивой, тяжелый вздох вырвался из ее полуоткрытого ротика.

— Что с тобой, милая кузина? Что с тобой? — спрашивал ее Ганри.

— Ах, какие прекрасные вишни, — отвечала кузина, не имея возможности оторвать своих голубых глаз от соблазнительного дерева.

— Так не хочешь ли их попробовать, моя милая?

— Конечно, хочу! Но обещала мамаше ничего не трогать без ее позволения... Ах! а какие они должны быть вкусные.

И она снова обратила на них свой молящий, нерешительный взгляд.

Хорошо известные нам, тяжелые воспоминания Ганри зашевелились при этом в душе его; так же, как он во время праздника рождества, маленькая кузина находилась в борьбе между запрещением матери и страшным желанием.

— Как же ты намерена поступить? — спросил он Жюли неуверенным голосом.

— Я хочу во что бы то ни стало поесть вишен, — отве-

чала она с дикою решимостью, которая была более забавна, чем серьезна, если бы не имела болсе глубокого значения.

Затем ее глаза сделались еще больше и совершенно округлились, сжатые губы сделали ее ротик почти незаметным, и казалось, что эта внутренняя борьба должна окончиться слезами.

— Итак, милая кузина,— проговорил Ганри, все более и более расстрогиваемый, глядя на ее волнение.— Итак?

Она еще раз испуганно посмотрела на своего кузена, и в то же время рука ее поднялась к ветке с вишнями. Неужели искушение преодолело долг? Но вдруг как бы вдохновение свыше явилось на помощь Жюли, и она бросилась бежать по направлению к дому, как испуганный заяц. Ганри с трудом успевал за ней. Напрасно кричал он ей, чтобы она остановилась, спрашивая о причине ее безумного бегства; она не слышала его и продолжала бежать далее. Наконец, она миновала балкон и комнаты, пролетев, как стрела, и вся трепещущая от внутреннего волнения, она кинулась в объятия матери, вскричав:

— Мамочка, я не нарушила данного вам мною слова, но мне ужасно хочется вишен с большого дерева.

Успокоив ее волнение и поняв после небольшого объяснения, в чем дело, она поздравила ее с умением управлять своими желаниями и позволила ей сорвать двенадцать вишен; при этом ее лицо осветилось сильною радостью. Ганри и она вернулись снова к большому дереву и, сорвав аккуратно двенадцать вишен, ни более, ни менее — хоть на штуку, принялись их кушать.

— Все равно я не допустила себя до проступка, и как мне ни было трудно, Ганри, но я осталась благоразумною; а была уже минута, когда я сильно опасалась сделаться непослушною. Что за вкусные вишни, какая прекрасная вещь послушание; будь всегда благоразумен, Ганри, и ты убедишься, как приятно испытывать такое состояние.

И маленькая кузина снова принялась бегать, прыгать и забавляться, вполне довольная собою, постоянно повторяя:

— Как приятно быть послушной!

Ганри старался принять веселый вид и отвечал ей: «Да, да, ты права, милая кузина».

Он силился задушить в себе вызванные этим случаем грустные воспоминания. Эта маленькая резвушка умела лучше управлять собою, чем он.

Вся сияющая от удовольствия, она повторяла рассказ о своем умении управлять собою, обращаясь то к нему, то к своей кукле, то к прекрасной болонке Пуфф, которая сопровождала их в фруктовый сад, она не замечала, что происходило в душе Ганри.

День прошел очень весело для маленькой кузины, но он был полон тяжелых упреков для Ганри. Эта беспечность Жюли каждую минуту показывала ему, что она имеет более характера, чем он, сравнительно уже взрослый мальчик: он не мог овладеть собою во время вечера у тети, он начал презирать себя за это. Во время вечернего чая маленькая кузина забавляла всех, исключая его, своею веселою, оживленною болтовнею. Она уснула в объятиях своей матери, постоянно изъявляя желание, чтобы вечер никогда не кончился, и даже ее последним словом было, что она вовсе не хотела бы ложиться спать. Ее отнесли в кроватку уже уснувшую, с улыбкой на губах, с опущенными ручками, с грациозно откинутою головкою, причем длинные ресницы ее чудесных глаз бросали тень на ее розовые щечки.

Ганри медлил уходить в свою комнату ложиться спать, где его ждали в уединении новые слезы. Он весь отдался своему горю, как вдруг услышал легкий шум шуршанья платья. Это была его мать, которая нередко приходила посмотреть, хорошо ли он спит. Войдя осторожно в его комнату, она склонилась над его кроваткой и несколько минут оставалась в таком положении, не сводя с него глаз. Затем, подойдя еще ближе, она хотела поцеловать его, но удержалась, боясь разбудить его. Услыхав ее шаги, Ганри притворился спящим. Скоро она вышла из комнаты так же тихо, как и вошла.

Едва успела она удалиться, как горе Ганри удвоилось. Он вспомнил свое прошедшее, то счастливое время, когда подчас, засыпая уже на самом деле, он вдруг протягивал руки к своей матери, когда она, принимая его за спящего, была готова уже оставить его комнату. Как сладки были те поцелуи, поцелуи того счастливого времени, когда он не знал, что значит быть виноватым. В то время он все без разбора передавал своей матери, что, бывало, только приходило ему в голову. Каким благословенным часом было тогда время приближения ко сну, время вечерних прощаний, общей молитвы, и как хорошо спалось ему в те дни!

Но теперь, великий боже, теперь которую ночь проводил он, напрасно призывая сон, стараясь отогнать ни на минуту не покидавшие его мысли; напрасно вызывал он в своем воображении приятные ему образы, они бежали от него, напрасно силился он избавиться или хотя облегчить себя от овладевающих им страданий; никогда не приходилось ему так долго ворочаться в постели, никогда не плакал он так горько, как теперь.

Наконец, наступило утро; он встал утомленный и обескураженный, чуть ли еще не более, как лег с вечера. Что касается маленькой кузины, то она, как птичка, проснулась с пением; она была столь весела, что зяблики, порхающие в саду, в сравнении с ней казались задумчивыми. Наступил вечер, и она не хотела ложиться спать, недовольная тем, что день кончился и опять наступила несносная ночь.

Так прошла целая неделя, и маленькая кузина была по-прежнему весела и беззаботна, в то время как Ганри с каждым днем делался все печальнее и беспокойнее. Вид этого прекрасного ребенка, чуждого всяких пороков, был для него образом потерянного счастья, а также и напоминанием, что он лишился этого покоя и другую, эту милую Мари. Как беспечна, как весела была его кузина, как легко было у нее на душе; она играла с утра до вечера, она была способна бегать по целым часам совершенно одна, порхая, как бабочка, с цветка на цветок, не чувствуя ни на минуту ни усталости, ни скуки. То она играла, бросая простой картонный кружок, или вдруг начинала кружиться на месте, отчего развевалось ее платьице, и затем быстро опускалась на пол, отчего образовывался прекрасный шар. В эти минуты она напоминала бегающего, кружащегося на месте, ловя свой хвостик, котенка.

Правда, она плакала иногда, но ее слезы скоро высыхали! И какие пустые причины вызывали ее скоро проходящие печали! Потерянная или разбитая игрушка или даже просто минутные капризы, от которых она еще не совсем освободилась, в чем должно признаться, несмотря на ее предположения, которые она сообщила Ганри, быть самую прекрасною и самую благоразумною из всех девочек; этот день безупречного поведения еще не наступил окончательно; у нее были свои маленькие недостатки; время от времени ей приходили на ум презабавные желания, как например: то она заявляла, что никогда не должно бить десять часов всчера,— еще в девять часов или в половине

десятого, даже в три четверти десятого, она сама объявляла, что маленькие дети должны ложиться спать около десяти часов, но, как только били эти несчастные десять часов, она жаловалась на это, как на жестокую несправедливость, и с трудом удерживалась от слез! Или, еще лучше, случилось, что ни с того ни с сего она умирала от желания видеть внутренность часов или засунуть туда пальчик; то, захватив спицы старушки Анны, она прятала их от нее; то ей приходила вдруг фантазия устроить в своей чашке чая теплую ножную ванну для своей куклы, у которой, по ее мнению, невыносимо болела голова. И замечательно, что все эти странные причуды являлись у нее постоянно около десяти часов. Но огорчения, вызванные отказом, которым ей обыкновенно отвечали на ее капризы, продолжались несколько минут: убежденная в нелепости своих требований, она скоро успокоилась и сама первая удивлялась, как это могло прийти ей на ум такое дикое желание, и при этом с огорчением говорила своей матери:

— Это престранно, отчего это всегда около 10 часов вечера мне хочется делать что-нибудь невозможное?

Но она не знала истинного горя, она даже и не подозревала о существовании чего-либо подобного! И когда однажды Ганри, не имея сил сдержать желание открыть ей свои душевные страдания, сказал, что он не мог спать ночь, она спросила, глядя на него широко открытыми глазами:

— Кто же мешал тебе, Ганри? Я сплю всегда отлично.

— Ах, у меня горе, моя милая,— отвечал он.

— Горе? — повторила она с беззаботностью, как будто речь шла о пустяках.— Прекрасно, так тебе тем более необходимо уснуть хорошенько! Ты знаешь, что сном все проходит...

— Ах, милая, это не пройдет так скоро!

— Ну, полно, пройдет!

В эту минуту маленькая кузина казалась ему очень бесчувственной, но скоро он узнал, что его мнение было ошибочно, это не было равнодушием с ее стороны, что она не утешила его лучше, но прямо потому, что она не была знакома с подобными страданиями: только те могут понять всю глубину мучений, которые сами испытали их.

Не раз Ганри пытался еще разъяснить ей, что так сильно тяготило его, но он всегда встречал только удивленный взгляд, и единственным утешением, которое она могла ему предложить, так это то, что ее маленькая щедрая ручка

предлагала ему или игрушку, или конфет, как лучшее средство против всех постоянных мучений его горя. Раз или два ему удавалось, однако, смутить ее спокойствие, но тогда ее большие глаза так испуганно смотрели на него, и она или уходила от него, или же хотя и приближалась к нему, но, по-видимому, с таким страхом, что он старался по возможности скорее успокоить ее, а чтобы рассеять, предлагал ей какую-нибудь игру. И как только игра состоялась, маленькая Жюли снова делалась тою веселою хохотушкой, как и обыкновенно.

## ГЛАВА X

Однажды, когда они были в саду, недалеко от маленького озера, и красавица кузина забавлялась со своею куклою и Пуффом, а Ганри сидел под впечатлением никогда не покидавшей его мысли, им пришли сказать, что приехал Жак, и скоро на самом деле Жак лично появился в конце садовой аллеи.

Кузина быстро изменилась, приняв серьезный, не лишенный сознания собственного достоинства вид; она прибегала всегда к этим приемам, как бы переменяя наряд для встречи официальных гостей, но Ганри окончательно растерялся и стоял, как окаменелый. Он не видел Жака с того рокового дня и не знал теперь, как его встретить, его сердце сильно билось, терзанья его совести усилились.

— Что ты, забыл меня, Ганри, или не узнаешь, неужели я настолько переменялся? — спросил Жак, подходя к нему и подавая руку.

— Вовсе нет! — отвечал Ганри. — Ты все такой же! Я очень рад видеть тебя.

И чувствуя, что, против желания, смущенное выражение лица его говорило совсем противоположное, он, собрав последние усилия, чтобы вполне овладеть своим голосом, прибавил:

— Ну, как поживаешь? Как твои занятия, далеко ли прошел ты в науках с тех пор, как мы не встречались? Что касается до меня, так я подвигаюсь, мой милый... друг.

Слово «друг» он с трудом решился выговорить. Внутренний голос говорил ему, что он не заслуживает более дружбы столь достойного мальчика, как Жак. После этого ответа, подняв глаза, он встретился с открытым честным

взглядом Жака: его волнение усилилось, и он не мог прибавить более ни слова.

— Эта барышня, вероятно, твоя кузина? — спросил его Жак, снисходительно смотря на маленькую особу, закованную, как средневековый рыцарь в латы, в сознание своего достоинства.

— Да, это моя кузина Жюли, — отвечал Ганри.

Она стала тяготиться своим неестественным состоянием, когда Жак, обращаясь к ней со своею доброю улыбкою, спросил ее с комичною серьезностью: «Что новенького у госпожи ее куклы?» Маленькая кузина в свою очередь не могла удержаться от полуулыбки, которая внезапно превратилась в веселый откровенный смех. Затем она представила Жаку свою куклу, говоря:

— Честь имею представить любезную м-ль Мими ученому господину Жаку: что касается до нее, она считает за честь приветствовать вас.

И, взяв свою куклу, она насколько возможно лучше заставила ее сделать великосветский реверанс. Жак отвечал почтительным поклоном и, с любопытством окинув взглядом м-ль Мими, прибавил:

— Что же с нею это случилось? Не была ли она нездорова?

И в самом деле, бедная Мими имела прежалкий вид. Маленькой кузине вздумалось выкупать ее в прохладной воде маленького озера, но, по-видимому, купанье было ей во вред: ее восковое личико сильно побледнело после этой холодной ванны, так что маленькая кузина уже начинала бояться, что ее прекрасный цвет лица, по которому она не имела соперниц до сих пор, исчез навсегда. М-ль Жюли объяснила г-ну Жаку причину болезненного вида своей куклы.

— Это купанье было большою неосторожностью с вашей стороны, — заметил Жак, — восковые особы вообще не терпят воды, и я сильно опасаюсь, что м-ль Мими вряд ли поправится.

— Я также боюсь этого, — трогательно проговорила м-ль Жюли. — Намерение у меня было доброе, но, сделав его, я убедилась, что это купанье было ужасною глупостью.

Жак вежливо заметил, что называть это глупостью немного строго, но кузина не соглашалась взять своего слова назад.

Затем Жак предложил ей положить м-ль Мими на мох, под большой розовый куст, и прикрыть ее платком, чтобы предохранить от лучей солнца, чтобы резкий переход от холода к жару не ухудшил ее положения. Маленькая кузина охотно приняла это предложение, немедленно исполнив его.

Это участие, принятое в беспомощном состоянии бедной м-ль Мими, незаметно сблизило их и скоро укрепило между ними самые дружеские отношения. Ганри видел, как маленькая кузина ни на шаг не отходила от Жака, она прыгала, бегала с ним рука об руку, сообщая ему свои положительные надежды относительно того, что сегодня за обедом будет сливочный пирог, и в заключение сообщила ему свое мнение о малоценности в ее глазах книг без картинок. Одним словом, он видел, что кузина обращалась с Жаком как со своим старым товарищем, и несмотря на то, что она ежеминутно приглашала его принять участие в их играх, а равно и Жак обращался с ним очень дружелюбно, он не мог избавиться от неприятного настроения и скоро под предлогом усталости он отказался от их компании и удалился в чашу леса.

Там, спрятавшись в кустарниках, он завистливо смотрел на их забавы, на их болтовню, как будто они были брат с сестрой.

Он хорошо понимал, что поступает несправедливо, ведя себя подобным образом, но его сердце было разбито, он уже начинал находить удовольствие мучить себя, доказывая, что только он один причина своего одиночества, что та неблагодарность, та досада, которыми он оплачивает за их любезность к нему, непростительны, но эти рассуждения не облегчали его.

Несколько времени спустя маленькая кузина приходила к нему, приглашая играть с ними или просто обнять его, но он, вместо того чтобы присоединиться к ним, просил только оставить его в покое. Жак также в свою очередь обращался к нему с любезностями, но он не знал, что отвечать ему, причем смущение его увеличивалось и он делался еще холоднее. Наконец, воспользовавшись удобною минутою, когда на него не обращали внимания, и проскользнув тайком между деревьями, спрятался в кустарники, откуда продолжал все видеть, оставаясь незамеченным.

Недалеко от его засады была беседка, густо обсаженная жасминами, выходящая одною стороною на озеро, где м-ль Мими против своего желания брала холодную ванну. Он

скоро увидел, как туда вошел Жак со своими книгами, сел около стола и, облокотившись по привычке на руку, стал читать с видимым удовольствием. Луч солнца, прорываясь между переплетшимися ветвями жасмина, которые образовали как бы живую изгородь, слегка освещал задумчивую головку Жака. Как прекрасна, спокойна, светла была эта головка.

Ганри не отрывал от нее глаз, он глубоко всматривался в того, кого так сильно любил, до тех пор, пока слезы не затуманили его глаз.

«И я был таким же,— говорил он себе.— И на моем лице, в моих глазах некогда можно было также читать чистоту души моей. Ах! зачем это время так далеко, так далеко от меня»!

## ГЛАВА XI

Затем Ганри, услышав голос маленькой кузины, увидел, как она пробежала туда, она звала его и Жака. Что касается до него, он не отвечал на ее зов, но Жак скоро откликнулся, и маленькая кузина, поспешно прибежав в беседку, немного покружившись, как ласточка, на одном месте, уселась около него и просила позволения рассматривать вместе с ним картинки его книг.

— Но здесь нет картинок,— отвечал Жак.

— Что же в них такое есть? — спросила маленькая кузина.— Что же может быть в них хорошего, когда они без картинок? В «Журнале воспитания» их очень много.

— Да, в этом журнале,— отвечал Жак,— действительно, немало отлично выполненных, хорошеньких картинок, чтобы привлечь внимание таких маленьких девочек, как ты, но наряду с картинками есть и превосходный текст небесполезный каждому. Да, кстати, разве м-ль Жюли не умеет читать?

Жюли слегка покраснела, хорошо сознавая, что получила вполне заслуженный урок в замечании Жака — и не отвечала ему. Чтобы не смутить ее еще более, добрый Жак продолжал:

— Книга, которую я читаю, заключает в себе историю народов.

— Прекрасно! Я хочу читать ее вместе с тобою,— живо проговорила маленькая кузина.

— Хорошо! Но я расскажу тебе сначала, что я успел уже прочесть до тебя.

И Жак начал ей рассказывать то, в чем Ганри скоро узнал один из эпизодов войн республики в Греции.

Жак любил историю, к тому же он умел отлично рассказывать, вкладывая в свои слова много чувства, много ума, почти несвойственного его годам. Но маленькая кузина, по-видимому, не увлекалась его рассказом. Она скоро оставила его, вскричав:

— Но это вовсе не история народов, это история каких-то войн. О! Как противны мне эти войны! Не рассказывай мне больше про них, я не люблю, когда люди убивают друг друга, как, например, рассказывается в этой истории. Я люблю видеть солдат, когда они проходят по улице с музыкантами во главе, отправляясь на прогулку или на смерть вместе со своими начальниками, но едва я подумаю, что они идут на войну, это так печалит меня, что я готова закрыть глаза, чтобы не видеть их более. Расскажи мне лучше о жизни народов, как ты обещал. Ну, что же, после этих ужасных битв все стали благоразумны, не правда ли? Ну, что же они стали делать? Мириться?..

— Я не спорю,— отвечал Жак,— что война есть зло для народов, но трудно избежать его. И так как я считаю долгом говорить тебе одну только правду, то должен прибавить, что после этой битвы было еще много других и еще кровопролитнее!

— О! Я не хочу этого,— вскричала маленькая кузина,— нет, нет, не хочу! Я желала бы слушать историю таких народов, которые никогда не воевали. Я хочу, чтобы во всем твоём рассказе не встречалось ни одной битвы.

Напрасно Жак старался доказать ей, что столь жестокие на самом деле войны иногда неизбежны и что во всяком случае невозможно изменить того, что уже совершилось, что не от него зависит положить конец войнам, что они встречаются почти что в каждом периоде истории; она не хотела ничего слышать и очень недовольная ушла играть на лужок, объявив ему, что никогда не любила и не может полюбить тех жестоких людей, которые всю свою жизнь проводят лишь в том, что дерутся, убивают других до тех пор, пока не убьют их самих.

Выходя из беседки, маленькая кузина прошла так близко около засады Ганри, что он хорошо мог рассмотреть, как сильно омрачилось ее прекрасное личико от вынесенного впечатления только что выслушанных ею воинственных

рассказов Жака, но скоро он заметил, что после первых же прыжков она развеселилась, подобно тому, как разъясняется легкое облачко от лучей солнца на лазурном небосклоне! Несколько минут спустя она была снова весела по-прежнему и ее маленькая фигура мелькала то здесь, то там на лугу. Красивая сама, как цветок, она склонялась к цветам, расхваливая и лаская их. Скоро раздавался звонкий голос ее песни, в которой говорилось, что цветы лучше людей, потому что никогда не дерутся, не убивают друг друга, мирно цветя на поляне.

Эта импровизация, переложенная на тысячи тонов со множеством рулад и трелей, окончилась, когда Жак ушел из беседки. Ганри видел его, как с книгою в руках углубился он в чащу сада, не желая, должно быть, чтобы его прерывали во время чтения.

Тогда маленькая кузина снова принялась воспевать мирную жизнь цветов; Ганри же, несмотря на постоянно усиливающуюся боль в своем сердце, не покидал своей засады. Наконец, не имея более сил владеть собою, он вышел и направился к беседке, где в это время никого не было. Здесь, найдя на столе несколько книг, оставленных Жаком, он стал перелистывать их, надеясь, что это сколько-нибудь развеет его. Но нет, он не мог читать! Всякий намек на характер, честность, энергию, умение управлять своею волею — были упреком для него, и, напротив, всякое описание какого-нибудь постыдного случая, казалось, было верным отражением его проступка и как нельзя более соответствовало его положению.

В отчаянии он оттолкнул от себя книги и, облокотившись на окно, вдыхал нежный запах цветущих жасминов, надеясь, что это облегчит его печаль.

Но маленькая кузина успевала повсюду, она скоро заметила его и с радостью кинулась к нему с букетом маргариток в руках.

— Наконец, вот и ты, Ганри, где ты был? В какой берлоге завалился ты, этакой медвежонок? — И в одно мгновение она была уже в беседке около Ганри, весело взбираясь на скамью, стоявшую около стола.

— Что ты тут делал? Надеюсь, ты не читал этих противных книжек Жака, в которых ничего нет, кроме описаний битв. О, фи! Не нужно никогда читать их.

И ее маленькие розовые ручки с раздражением захлопали по разбросанным вокруг нее книгам.

— Тем не менее, тебе придется когда-нибудь читать их, если ты пожелаешь учиться истории.

— Ах! Нет! — отвечала она. — Я буду изучать одни хорошие предметы, но отнюдь не дурные.

При этом она приняла столь решительный вид, который довольно ясно показывал, что, кажется, она сама готова принять сражение, чтобы доказать свое отвращение к войне.

Между разбросанными по столу книгами одна была особенно красива, по-видимому, подаренная кем-нибудь Жаку, потому что на переплете было оттиснено его имя и затем шла надпись, в которой, между прочим, говорилось, чтобы он сохранил ее как воспоминание об искренно любившем его друге. Теперь Ганри припомнил, что он не раз видел эту книгу в руках Жака, который немало, казалось, дорожил ею.

Вдруг в его голове мелькнула мысль столь ужасная, что он сам даже испугался ее.

— Вот эту-то красивую книгу описаний битв читал Жак! — вскричала маленькая кузина.

— Конечно, это дурная книга, моя милая! — проговорил глухо Ганри, сам не понимая хорошенько, что говорит. Его голова кружилась. — Не правда ли, — продолжал он, — что эта книга очень безнравственна и поэтому очень опасна?

— О! Я уверена в этом и особенно на той странице, где ты открыл, этот полководец, вечно ведущий войны... — проговорила маленькая кузина, закрыв его изображение рукою.

— Да, милая кузина, это именно здесь.

И затем он прибавил тихо:

— Что бы сделала ты с этим полководцем, если бы он был в твоей власти?..

— О! — отвечала она в раздражении. — Я бы подвергла его ужасному наказанию. Я бы победила его.

— Но как?

— А что бы ты сделал с ним, Ганри?

— Не знаю, — отвечал Ганри, — как мне кажется, залив чернилами рассказ о его похождениях, навсегда его имя можно вычеркнуть из истории.

Говоря эти слова, Ганри с трудом переводил дыхание, его трудно было узнать в эту минуту, он был бледен, как мертвец.

И хотя он тотчас же раскаялся, но было уже поздно, его слова имели уже свое действие. Делая свое предложение, он бросил взгляд на стоявшую на столе чернильницу недалеко от книги Жака, причем в глазах маленькой кухни заиграл дурной огонек. Не успел он окончить своей речи, как она опустила два розовенькие пальчика своей маленькой ручки в чернила и прокрасила ими страницу ненавистной книги, крича с безумным хохотом:

— Я выиграла битву, я уничтожила полководца и вычеркнула навсегда память о его постыдных победах!

— Жюли! — вскричал Ганри. — Что ты наделала? Ты не знаешь, как опечалит это Жака! Он, наверно, будет плакать!

— Да нет же, — отвечала она спокойно. — Жак слишком благоразумен, чтобы оплакивать судьбу этого злого полководца; он должен будет понять, что нужно же было наказать и что он получил только вполне заслуженное.

И, продолжая рассуждать с неумолимостью строгого судьи, вполне убежденная в справедливости своего правосудия, она продолжала старательно водить своими выпачканными пальчиками, оставляя круглые и овальные пятна и другие кабалистические знаки в этом роде по всей странице.

Ганри, видя это истребление, очнулся. Он схватил маленькие невинные ручки Жюли и вскричал в отчаянии:

— Ах! кухня, ты не знаешь, как дурно поступила ты относительно Жака!

Но, очевидно, маленькая ветреница не видела ничего дурного в своем поступке и потому продолжала смеяться своим добродушным, веселым смехом, хваля себя, что ей пришла такая прекрасная мысль, в то время как Ганри стоял, как окаменелый.

Однако ее красивая головка умела рассуждать здраво, когда ей удавалось сначала подумать, и ее большие глаза умели сразу узнавать истину, всмотревшись повнимательнее в дело. Она начинала понимать, что поддалась необдуманному влиянию минуты, отдавая себе отчет в несправедливости, с какою поступила относительно прекрасной книги Жака. И, по мере того, как она уясняла себе это, впечатление ужаса разливалось по ее лицу, ее щеки покрылись бледностью, взгляд помутился от слез, и ее маленькие, выпачканные ручки, нервно вздрагивая, походили ско-

рее на каких-то черненьких зверьков. Прошло еще мгновение, и вошел Жак; увидя его, маленькая кузина вскрикнула и зарыдала.

## ГЛАВА XII

Первые минуты Жак не видел ничего, кроме огорчения маленькой кузины и убитого грустью своего друга Ганри. Употребив все усилия, чтобы успокоить их, он расспрашивал, что привело их в такое отчаяние, и, заклиная успокоиться, спрашивал, не может ли чем помочь им.

Его усилия относительно маленькой кузины не остались тщетными; положив головку на плечо своего взрослого друга, она стала понемногу приходить в себя. Но ничто не могло утешить Ганри, потому что ничто не могло оправдать его в его собственных глазах.

— Уверяю тебя, Жак,— говорила, полуплача и полусмеясь, маленькая кузина,— уверяю тебя... что я не думала, что... губя полководца, я могла бы испортить всю книгу.

Тут только Жак заметил свою прекрасную книгу, насколько она была выпачкана, иначе — окончательно испорчена. Его волнение было столь сильно, что в одно мгновение губы его побледнели.

— Ах! эта книга, эта дорогая книга! — вскричал он. — Лучше бы все остальные, чем эту! Эта была единственная память у меня от моего бедного друга Поля.

Видя столь великое огорчение Жака, маленькая кузина стала рыдать еще сильнее, чем когда-нибудь. Она так плакала, тяжелые рыдания так сильно давили грудь ее, все ее тело так дрожало от волнения, что она заслуживала полного сожаления. С каким стыдом прятала она свое опечаленное лицо в руках, еще выпачканных чернилами, так, что Жак, тронутый ее раскаянием, преодолел свое собственное горе, чтобы утешить ту, которая была его причиною. По доброте своей, смочив свой платок из графина, он начал смывать пятна с лица бедной Жюли, которое из розовенького сделалось столь же грязным, как и руки.

Что касается Ганри, что оставалось ему делать? Он не мог успокоить себя, он знал слишком хорошо, что настоящим виновником и на этот раз был он. И, опять спрятавшись в свою засаду, в маленьком лесочке, он там снова разразился теми напрасными слезами, которые не облегчают, не заглаживают проступка.

Он слышал, как звал его Жак, но не откликнулся. Он видел свою маленькую кузину, как она, еще с заплаканными глазами, но уже успокоившаяся, ходила, не замечая его, взад и вперед около, как она назвала, его берлоги. И она звала его в свою очередь на помощь к Жаку.

— Ганри, иди же сюда, все кончилось. Добрый Жак простил меня!..

И, собрав насколько хватало сил ее голоса, закричала: — Да где же ты? Иди же... Я больше не плачу.

Она и не понимала, бедная девочка, что только вероломные слова ее кузена натолкнули ее на только что сделанный ею проступок.

Но Ганри не показывался: маленькая кузина ушла; все успокоилось вокруг его, — он остался один со своим новым еще более ужасным преступлением, презирая, досадуя на себя.

### ГЛАВА XIII

Он начинал засыпать как бы в лихорадочном полубытьи, когда легкий шорох платья, цепляющегося за пни, разбудил его. Он слышал также чье-то порывистое дыхание, торопливые шаги под тяжестью непосильной ноши делали походку крайне тяжелою. Заинтересованный странностью этого шума, он раздвинул слегка листья и увидел маленькую кузину, которая, вся покрасневшись, с трудом переводя дух, тащила в руках большую книгу. В ней без труда узнал он великолепное издание «Истории путешествий», украшенное превосходными гравюрами, которое досталось ему от покойного отца. Что намеревалась она сделать с этою драгоценною книгою, которую никогда не представлял он в ее распоряжение? Куда тащила она ее? Скоро ему стало все понятно...

С трудом дошла она до маленького озера, остановившись тут, она окинула беспокойным взглядом вокруг себя, не желая, по-видимому, быть застигнутою врасплох во время исполнения своего дурного замысла.

Боже! Как изменилось ее лицо. Ее трудно было узнать. Это были те же глаза, тот же маленький ротик, тот же носик, но как исказилось все это! Вместо приятного впечатления, которое испытывалось, глядя на это личико, в нем было теперь какое-то озлобление, которое портило ее до отращения.

Что же касается до маленькой кузины, то, считая себя в безопасности, что ни один взгляд не устремлен на нее, она взяла прекрасную книгу за обе половинки переплета и стала опускать в воду...

Это движение было столь неожиданно, что Ганри не мог удержаться, чтобы не вскрикнуть. Но в это же мгновение Жак появился позади ее. Быстрым движением он схватил и книгу, и маленькую кузину и оттащил эту двойную ношу в сторону от озера.

— Что ты задумала, Жюли? — строго спросил ее Жак, усадив на землю.

Маленькая кузина слишком растерялась, чтобы отвечать ему что-нибудь; ее щечки побагровели, глаза округлились, как у кошки, накрытой во время преступления.

— Что ты хотела сделать? — повторил Жак.

— О! Жак, — отвечала она, наконец, — я хотела... бросить в воду эту толстую книгу... Я хотела узнать, будет ли она плавать в этом переплете...

Едва очутилась она в сообществе с Жаком, как лицо ее приняло обыкновенное выражение. Ганри заметил в ее чертах чистосердечное раскаяние, которое приходилось ему столько раз видеть, когда, сделав какую-нибудь шалость, она давала слово быть благоразумной.

— Но ведь ты очень огорчила бы этим Ганри, — возразил Жак, — испортив его прекрасную книгу. Разве мало того, что моя уже испорчена?

— О, Жак, Жак! — перебила кузина.

По-видимому, она ничего не могла сказать более. Но вскоре прибавила:

— Ганри, быть может, не особенно опечалился бы, когда узнал бы, что его книга утонула. Ведь не было же ему жаль, когда я пачкала чернилами воинственные изображения твоей книги!

— Хорошо, Жюли, — сказал Жак, — однако поговорим серьезнее.

И, усевшись на дерновую скамейку, он посадил ее к себе на колени и с редким спокойствием и ясностью объяснил ей, что напрасно старалась она обмануть себя в настоящем значении ее замысла.

— Тебе было хорошо известно, — говорил он ей, — что ты делаешь дурно, иначе ты не пряталась бы. Делая что-нибудь хорошее, не бояться быть замеченными кем-либо из посторонних.

С изумлением слушала маленькая кузина Жака, который так ясно читал в ее мыслях,— он, по-видимому, понимал лучше ее только что случившееся. Жак обнял ее, заметив, что из глаз ее катились крупные слезы. Ему хотелось, не обескураживая ее, не приводя в отчаяние, показать ей по возможности ясней границу между добром и злом и восстановить ее душу.

Что более всего трогало маленькую кузину, когда Жак даже порицал ее, так это та доброта, которая проглядывала в каждом его слове. Быть может, даже более строгий выговор не так глубоко врезался бы в ее сердце.

— Жюли,— продолжал Жак, разъяснив ей по возможности яснее ее ошибку,— желательно было бы, чтобы ты торжественно обещала мне отучить себя от капризов и всегда бороться с теми наклонностями, которые наталкивают тебя на проступок.

Растроганным от внутреннего волнения голосом маленькая кузина дала обещание в том, чего требовал от нее Жак.

— Знаешь ли, что я читал где-то однажды? — сказал ей Жак.

— Скажи — и я буду знать,— скромно отвечала ему маленькая кузина.

И, обвинив рукою его шею, она приготовилась внимательно слушать его рассказ.

— Я читал, моя милая Жюли,— продолжал Жак,— что, вступая на жизненный путь, человек встречает два пути: один ведет к добру, другой — ко злу. Дорога, ведущая к добру, очень часто сначала бывает неровна, трудна, оттого что она налагает на человека слишком много обязанностей. Она ведет, хотя и медленно, но верно к цели, когда человек, получив образование, живет в согласии с чистой совестью, не делая никогда другим того, чего не желает себе... Другая, ведущая ко злу, шире и, кажется, доступнее, ибо идет отложее, но, когда ступишь на нее, тут только узнаешь, как скользок этот путь, как легко на нем попасть в пропасть. Я думаю, ты знаешь, что, когда скользишь, то одинаково трудно двигаться как вперед, так и назад, и что опасность упасть угрожает на каждом шагу. Надо быть очень осторожным, чтобы не принять этот дурной путь за хороший, потому что достаточно поскользнуться раз, что весьма нетрудно, как уже удержаться не будет никакой возможности, и знаешь ли, что затем бывает? Человек

катится с уступа на уступ и, разбитый окончательно, падает в глубину бездны.

— Я должна удержаться, милый Жак! — вскричала маленькая кузина, обнимая его обеими руками. — Я не хочу скользнуть. Я не хочу пасть разбитою на дно бездны.

— Для этого не нужно ничьей помощи, — возражал Жак, — нужно иметь только твердость и волю, потому что иногда случается быть одному... чтобы и тогда уметь владеть собою.

— Да, но ведь ты всегда будешь со мною, Жак, не правда ли? — спрашивала умоляющим голосом маленькая кузина. — Ты меня никогда не покинешь?

— Я не могу быть всегда с тобою, — говорил Жак, — но разве, когда меня не будет здесь, тебе не будет приятно чувствовать себя твердою без чужой помощи, что еще достойнее?

— Конечно, да! — вскричала она с оживлением. — Да, я буду уверена в себе самой! Но что же нужно для этого, Жак?

— Надо уметь управлять собою, — продолжал Жак. — Слушай внимательно: когда ты будешь близка, чтобы совершить какой-нибудь проступок, ты должна сказать себе: «Нет, я не позволю себе сделать этого!» И надо быть твердою и не делать. В таком случае дурное желание будет побеждено и ты будешь тверда душою; только такие люди пользуются уважением и дружбою людей честных.

— О, да, да, Жак! — отвечала маленькая кузина с искренностью. — Да, я преодолею все капризы и буду тверда душою!

При этих словах Жак унес ее домой. И оба, довольные друг другом и счастливые тем добрым поступком, который удалось им совершить, они скрылись из виду.

#### ГЛАВА XIV

Уметь управлять собою!!!

Эти слова глубоко запали в сердце Ганри.

— Я не знал этого! — вскричал он. — Я не знал этого! Теперь же уже слишком поздно для того, чтобы научиться когда-нибудь этому! Ах, какого глубокого сожаления заслуживают те, которые, вступив раз на скользкий путь, стали виновными во многих проступках.

Вернувшись домой один, Ганри с трудом мог пожелать покойной ночи своей матери.

Взгляды этой дорогой матери так часто с беспокойством останавливались на нем, что он дрожал при мысли, что она узнала его тайну.

Сколько трудов стоило ему обманывать окружающих! Но что хуже всего, так это то, что он был принужден с той минуты, когда у него не хватило духа сознаться в своем проступке, постоянно сохранять довольный спокойный вид.

Жак провел еще несколько времени в семействе Ганри. Маленькая кузина не забывала данного ею ему обещания: часто, блистающая довольством, с торжествующим видом, как стрела, бежала она, отыскивая своего друга, и кричала ему: «Победа, Жак! Я победила еще один из своих капризов!»

И Жак, улыбаясь, поощрял ее взглядом.

Но ни разу не останавливалась она с этим известием перед Ганри, несмотря на то что он нередко выходил к ней навстречу. Но она не ошибалась: тайное чувство говорило ей, что не стоит обращаться к Ганри с подобными словами. Однако раз как-то в рассеянности она обратилась к Ганри, чтобы передать ему, что ей еще раз удалось преодолеть одну из своих прихотей,— он уже покраснел от стыда,— но она одумалась и прибавила:

— Позволь, Ганри, я думала, что говорю с Жаком.

Жак уехал, Ганри остался один со своей маленькой кузиной, и тогда он с ужасом, с замиранием сердца заметил: бог знает отчего, но только одно его присутствие было уже роковым, гибельным для бедного ребенка! Да, достаточно было быть ему с ней в одной комнате, дышать одним воздухом — и это уже было пагубой для маленькой кузины! Казалось, без слов, одним взглядом он мог побудить ее на какой-нибудь проступок. Так, однажды, когда Ганри сидел молча и его взгляд, блуждая по комнате, вдруг остановился на вязаньи старушки Анны, так же, как некогда — на чернильнице, выпачкавшей книгу Жака,— этого было довольно... Почти мгновенно маленькая кузина выдернула спицы из начатого вязанья, и несколько дней трудной работы для слабой глазами Анны, с дрожавшими от старости руками, пропали безвозвратно.

Она не жаловалась, но слеза невольно скатилась из ее глаз при мысли, что ее племянник, весьма слабый здо-

ровьем, будет иметь тремя днями позже столь необходимый ему шарф.

Но что особенно приводило его в отчаянье, так это то, что его присутствие стало пыткой для маленькой кузины; ее обращение с ним утратило прежнюю искренность, она смущалась, смотря на него, он не видал уже более того спокойного взгляда, каким смотрела она на него прежде, ее детский веселый смех делался каким-то недоверчивым при его приближении.

Редко проходил день, чтобы бедная маленькая кузина не наделала каких-нибудь проказ, и пораженная затем ужасом, терзаемая раскаянием, замечая свое падение, она говорила:

— Ах! Если бы Жак был здесь! Я не вела бы себя так дурно!

При одном воспоминании о Жаке она снова овладевала собой. Достаточно было упомянуть ее друга, чтобы остановить ее от какого-нибудь дурного намерения, после чего она тихо просила прощения у отсутствующего Жака.

Ганри готов был пожертвовать жизнью, чтобы иметь право обратиться к Жюли с теми укрепляющими душу тихими, добрыми речами, тайна которых так хорошо была известна Жаку, но как мог сделать он это?

Могут ли уста преступника говорить с убедительностью о добродетели? Может ли трус воодушевить упавшего духом человека?

Он так страдал в родном доме, который был свидетелем его проступков, что ждал с нетерпением дня, когда будет нужно отправляться в пансион. Он утешал себя мыслью, что с переменою места, вдали от своих родственников, он избавится от угрызения своей совести. Каждый взгляд его матери приводил его в трепет, каждое ласковое слово ее давило ему сердце вместо того, чтобы облегчать его!

Все, начиная от стен этого дорогого дома, где он родился и вырос, все, казалось, давило его, как свинцовая гора.

Но едва сознавал он необходимость этого отъезда, как сердце его мучительно сжималось, при одной мысли сказать надолго прости своей матери, столь нежной, столь ласковой постоянно к нему и постоянно им обманываемой. Он отчаивался, что его совесть не вынесет того, как он за столько забот, любви и доброты оплатил лицемерием и наглостью.

Наконец, этот день отъезда наступил. Было условлено, что дядя Жан заедет за ним, чтобы отвезти его в пансион, и действительно, он прибыл с аккуратностью старого солдата рано утром, вечно свежий, в отличном расположении духа, с готовою для каждого шуткою на устах, постоянно насвистывающий сквозь зубы свой любимый военный марш, постоянно извиняющийся перед дамами за эту походную привычку.

Все готово.

Мать Ганри была бледна, как лилия, кажется, вся кровь прилила у ней к сердцу; она ничего не говорила своему сыну, она только обнимала его, ежеминутно целовала. Старушка Анна укладывала разные коробочки мимоходом, говоря в утешение своему молодому барину, что он найдет в них немало прекрасных вещей. Маленькая кузина, как немая, стояла в своем углу между разными разбросанными игрушками; в эти минуты она походила на ту маленькую сказочную принцессу, которая была околдована злою волшебницею, со всем ее окружающим. Дядя Жан время от времени делал замечания о прелестных местоположениях, какие встречал он по дороге, об удовольствии путешествовать, о преимуществах образования и познаний.

Наконец, стали прощаться. Бедная дорогая мать, она улыбалась сыну, благословляя его, но слезы бежали по ее впалым щекам. Что касается до бедной маленькой кузины, то в последнюю минуту, быть может, от того, что она слишком долго сдерживала себя, с ней сделался как бы нервный припадок и среди рыданий она повторяла, что ничего бы в мире не желала более, как остаться навсегда с Ганри, если бы только было возможно быть с ним благоразумною.

Насколько приятно чувствовать, что вас любят, настолько же ужасно чувствовать, что вы недостойны этой любви и потеряли бы немедленно это расположение, если бы стало известным, каков вы есть на самом деле: это одно из ужаснейших мучений в мире...

## ГЛАВА XV

Они быстро подвигались вперед. Дядя Жан был человек в высшей степени добрый. Надо было видеть его, когда, проходя городом, палимый лучами солнца, он торопливо оглядывался по сторонам площади, ища глазами торговца с апельсинами, чтобы угостить Ганри, изнемогающего от

жары; этот освежающий плод в настоящем случае был чуть не золотым гесперидским яблоком. Или когда, покручивая усы, он смеялся самым искренним образом, карабкаясь с Ганри по тропинкам, там, где карета по случаю сильной крутизны не могла ехать иначе, как шагом. Они шли как будто бы на приступ. С каким заметным удовольствием окидывал он взглядом обширные поля, которые, как изумрудные скатерти, расстилались перед ним по окраинам дороги. С какою материнскою заботливостью относительно своего племянника забегал он вперед поискать земляники в небольшом леску, лежащем в стороне от дороги; и надо было видеть, как он был счастлив, когда приносил на листке несколько ягод.

— Я тебя балую, маленький шалун,— говорил он ему,— ну, да уж все равно, куда ни шло, один раз не беда. На этот раз я не лучше твоей матери, мальчуган!

Наконец, они прибыли к месту своего назначения — и дядя Жан, крепко пожав руку своему племяннику, с непривычною быстротою покрутив свои усы и смигнув слезу, ушел, насвистывая свой веселый марш несколько ускоренным темпом.

Очутившись первый раз в жизни так неожиданно в чужом доме, между незнакомыми лицами, Ганри далеко не нашел того облегчения, на которое рассчитывал. О! родные лица, что может заставить забыть, что заменит вас? Разве старые друзья заменимы?

Пансион, куда явился Ганри, занимал обширный дом с просторными классическими комнатами и был окружен большим двором с тенистым садом, усаженным густыми аллеями каштановых деревьев.

Посреди неопределенного говора, слышавшегося со всех концов дома, Ганри не мог понять хорошенько ничего, кроме приветствия, с которым обратился к нему воспитатель училища, проходя по рекреационному залу. Он стоял, облокотившись на подоконник, рассеянно глядя на этот громадный питомник, как вдруг раздался глухой шум как бы от бушующей вдали морской волны. Скоро этот шум стал явственнее — и, вместо морских волн, появились волны молодых головок из отворявшихся классных дверей. Они бросились на двор, рассыпаясь и захватывая в одно мгновение все пространство.

По всем вероятностям, уже было известно о прибытии новичка, потому что, как он заметил, почти все взгляды

с любопытством искали чего-то. Скоро заметили его у окна, и вдруг около него загудели крики, замечания, даже насмешки на его счет. Вся эта живая, шумная толпа очутилась у окна; ему протягивали издали руки, задавали вопросы, предлагали играть, бороться, некоторые движения показались ему шутливою угрозою, некоторые гримасы чересчур забавными. Но он не был твердо уверен в этом, потому что как бы испугался, был оглушен тысячами звуков звонких, веселых голосов, как бы ослеплен блеском горящих насмешливых глаз.

Учитель подошел к нему также в свою очередь и пригласил его знаком идти играть с его новыми товарищами. Когда он сошел в сад, он ввел в их среду и представил некоторым, выражая надежду, что они скоро будут друзьями.

Знакомство между воспитанниками восстанавливается нетрудно. Это время было бы приятным воспоминанием в жизни Ганри, если бы тайный голос в его сердце не говорил ему: «Если бы эти дети знали о твоём проступке, знали бы, какой ты изменчивый друг, то вместо столь радушного приветствия они оттолкнули бы тебя! Они считают тебя за доброго, чистосердечного мальчика. Таков ли ты?» Тут еще раз он почувствовал, что ему не заглушить голоса своей совести, что он одинаково слышен повсюду. После этого первого дня, проведенного посреди столь нового для него общества, когда весь этот оживленный мирок погрузился в глубокий, спокойный сон, когда после дня наступила совершенная тишина ночи, в обширной спальней комнате, посреди других опрятных кроватей, где отдыхало столько беззаботных головок, погруженных в свои детские грезы, он чувствовал себя столь же несчастным, как и в родительском доме, — и эта ночь не была ни спокойнее, ни отраднее тех, которые он проводил дома в своей комнате после совершенных им проступков.

Возле его кровати спал маленький мальчик, столь счастливый, что не переставал болтать даже и во сне. Время от времени он начинал даже смеяться. Выдернув из-под одеяла руки, он весело шевелил ими, как бы аплодируя неизвестно какому случаю его бесконечно веселого сновидения.

Долго наблюдал Ганри своего счастливого маленького спящего соседа, охотно соглашаясь отдать все свои будущие богатства, чтобы только уснуть, хоть на четверть часа, столь спокойным сном.

На следующий день при входе в класс первый, кто встретил его, был его старый друг Жак. Он так обрадовался, встречая в нем первое знакомое лицо, что, бросившись к нему на шею, на минуту забыл все свои печали, но скоро он оставил его в смущении, вспомнив, что Жак был свидетелем его прошлого. Хотя он и сильно ошибался относительно его, но все-таки не мог забыть, что Жак присутствовал в тот роковой вечер... Теперь, я думаю, становится ясным, почему его радость так скоро обратилась в печаль,— это потому, что он не загладил еще своих проступков и что минутное удовольствие при встрече с ним послужило только к тому, чтобы разбудить в нем старые угрызения совести.

Несколько дней прошло в занятиях, прерываемых небольшими промежутками для отдыха и забав, но и самые занятия и игры омрачались жалким состоянием души его. Как товарищи, так и учителя очень любили Жака, даже можно сказать, что первые питали к нему в некоторой степени уважение, тогда как последние высоко ценили его прилежание и способности. Не раз, когда возникала ссора или загорался какой-нибудь спор между воспитанниками, Жака всегда избирали посредником в этих случаях и не было примера, чтобы остались недовольны его разбирательствами. Не раз за его отсутствием отменяли решение какого-нибудь спорного вопроса или произнесения приговора о наказании или награде кого-нибудь из воспитанников. Даже в тех случаях, когда дело касалось общих интересов, любили нередко принимать его мнение за окончательное, без дальнейших обсуждений. При его приходе и уходе, так как Жак жил у старого друга своего отца и был приходившим в пансионе, около него устраивались восторженные демонстрации.

Одним словом, положение Жака не заставляло ничего желать лучшего, чего, впрочем, он вполне и заслуживал, как своим поведением, так и характером.

Однажды, когда Ганри был более чем обыкновенно погружен в свое горе, к нему подошло несколько человек воспитанников и, сосредоточенно смотря на него, спросили его: почему, как им кажется, избегает он присутствия Жака, несмотря на то что этот последний приближает его к себе более, чем кого-либо другого?

Этот неожиданный вопрос так поразил его, что несколько времени он не знал, что ему ответить.

— Объяснись же,— вскричал один из его товарищей по классу, который, как только начинал сердиться, что случилось нередко, тотчас хмурил свои черные брови и, откинув назад покрытую роскошными волосами голову, принимал такую грозную позу, что его прозвали маленьким Марсом.

— Я не могу отвечать вам...— проговорил оробевший Ганри.

— Ты не можешь! — вскричал маленький потомок бога войны.— А! Так ты не можешь!..

И, приблизившись к нему с вытянутым вперед кулаком, прибавил:

— Так скажи, по крайней мере, почему?

Ганри, полумертвый от страха, пробормотал:

— Нет, я не посмею никогда отвечать вам.

И чтобы придать уважительную причину своему отказу, прибавил:

— Я дал слово молчать.

Несчастный не знал, что он говорит.

— Ты дал слово! — вскричал тут другой ученик, удивленный этим ответом.— Как! Жак сделал проступок, столь важный, что даже нельзя назвать его! Какой прискорбный случай дал ему право сомневаться в тебе или в нас?

Слабое сердце Ганри ухватилось за эти слова, как за спасительный шест, и, потеряв в испуге всякое чувство справедливости и последнюю долю порядочности, еще оставшейся в нем, он продолжал предательским голосом:

— Я не могу ничего открыть вам. Вы сами знаете, что, когда даешь слово...

Никто не расспрашивал его более; все сильно взволнованные ушли от него, маленький Марс шел во главе их, он имел вид, как будто ему удалось открыть жестокую, совсем неожиданную ошибку.

Ганри остался один в своем углу, не веря сначала самому себе, что он совершил еще новое, ужасное преступление. Это было уже самое опасное падение на скользком пути, на который он вступил. Его голова горела, все тело билось и дрожало, как ветви дерева, потрясенного сильною бурей. Это случилось в воскресенье, когда Жака в пансионе не было. Огорчение было общее и глубоко запало у всех в сердце. В большинстве воспитанников, даже в числе самых малень-

ких, прекратились и смех, и игры. Имя Жака повторялось тихо оскорбленными мальчиками. Жак, пример для всех, не был ли он не более как негодным обманщиком, овладевшим общим уважением и признательностью, которых не заслуживал? И могущество клеветы было столь сильно, что эти наивные души, к тому ни чуть не подозревавшие ужасной гнусности совершенного Ганри поступка, что никто не посмел сказать что-либо в защиту Жака, никто не сомневался в справедливости слов Ганри.

В ночь после сделанного им заявления бессонница до утра преследовала не одного его. Напрасно многие озабоченные головки искали обыденного сна в пансионских кроватках.

Проснулись все очень рано и все утро в пансионе царило чрезвычайное оживление, превратившееся в холодное, молчаливое спокойствие при появлении Жака.

Жак, далекий от всякого подозрения, что он так скоро упал в глазах своих товарищей, что его популярность, основанная на уважении и услугах, оказалась столь непостоянною, явился, как и всегда, спокойный, с улыбкою, готовый выслушать каждого из своих товарищей, затруднившегося в чем-нибудь, готовый оказать возможную помощь, кто только нуждался в ней.

Необыкновенная тишина, с которою его встретили, однако, удивила его.

Он с беспокойством спрашивал, что случилось во время его отсутствия, и обводил глазами по сторонам, как бы отыскивая на лицах своих товарищей причину столь неожиданного охлаждения.

Видя, что никто не расположен отвечать ему, он отвел в сторону маленького Марса, чистосердечие которого хорошо было ему известно.

Но в это время вошел учитель и объявил, что наступает час занятий. Вспыльчивый Марс был доволен этим; он был не в состоянии отвечать ему в эту минуту, — так что он не сердился на этот случай, который избавил его от столь трудной задачи. Сердце Ганри замерло, когда он входил с толпою товарищей в класс. Но возможно ли допустить, что он пал так низко, что решился оклеветать лучшего из своих товарищей, чтобы избавиться себя от минутного затруднительного положения? Слова Жака, сказанные им маленькой кузине, когда он объяснял ей, что порочный путь скользок и что с уступа на уступ он приводит к бездне, пришли

ему тут на память. Он почувствовал всю непоколебимую справедливость их и сказал себе: «Однако, необходимо остановиться; если я энергичным усилием не стану снова на путь добродетели, то погибну окончательно!»

Теперь он думал только о том, как бы ему избавиться какую угодно ценою от последствий его ошибок. Но его решимость не была великодушна, потому что он думал только, как бы избавиться ему от своих пороков, но не заботился о том, как загладить те огорчения, которые он причинил Жаку; его решимость, говорю я, была внушена одним самосохранением — и тем только ухудшила его положение.

Едва пробил час рекреации, как он, прежде чем выйти из класса, отвел несколько человек из наиболее уважаемых своих товарищей в сторону, и еще раз у него хватило низости напомнить им, что сделанное им сообщение принадлежит к числу тех, которые не позволяет честь делать общеизвестными, и что он берет еще раз с них слово, что ни один из них не сообщит Жаку, что он имел слабость доверить им; что после того, как он почти выдал Жака, по их требованию, он думает, что они не употребят во зло его доверие к ним, выдав его в свою очередь, и что, одним словом, они должны понять, что ему очень было бы неприятно, если Жак когда-нибудь узнает, что он не сохранил его грустной тайны.

У него был такой смущенный вид, он говорил с такою искренностью, что никто не мог сомневаться в справедливости его заявления. Ему торжественно обещали, что его просьба будет вполне уважена; даже если бы Жак изъявил на него подозрение, то и тогда его не выдали бы.

Первым словом Жака, когда пришли на большой двор, было снова требование объяснения.

— Вам лучше нас известно, — отвечали ему, — что могли бы мы вам ответить, так что вы, наверно, не будете настаивать, чтобы вам давали объяснение. Вам, без сомнения, случалось не раз в жизни упрашивать кого-нибудь быть скромным, точно так же и мы обязались клятвою не говорить вам причин нашего поведения относительно вас. И мы сумеем сдержать наше слово: так, ваши усилия заставить нас говорить будут напрасны.

— Но это вздор! — вскричал Жак. — Здесь непременно должно существовать какое-нибудь недоразумение или просто какая-нибудь нелепость.

— Объясните как вам угодно ваше поведение! — вскричал с негодованием маленький Марс, становясь перед Жаком, чего и не думал накануне.— Для нас это решительно все равно, только потрудитесь исполнить, что от вас потребуют, господин Жак, а именно: с этого дня мы просим вас не вмешиваться ни в наши игры, ни в наши разговоры. Это решено всеми воспитанниками; между вами и нами все кончено.

Жак сильно побледнел, но оставался спокоен и непоколебим, как человек, вполне уверенный, что душа его незапятнана никаким проступком.

— Я не унижусь более, чтобы защищаться перед вами,— грустно заметил он,— судьи, объявляющие свой приговор подсудимому, не объяснив ему его вины, нежелающие выслушать его, не суть судьи; их осуждение обесчестит только их самих; я не имел бы права презирать вас, вас, которые сделались моими врагами, врагами того, который всегда любил вас и жил с вами в постоянной дружбе, я только сожалею вас; с этой минуты на вашей совести ляжет упреком ужаснейшая из ошибок, вопиющая несправедливость!

Сказавши это, Жак неторопливо, с достоинством вернулся в класс.

Связав свои книги, он написал записку начальнику пансиона, в которой благодарил его за хорошее обхождение с ним и удовольствовался, прибавив, что семейные обстоятельства заставляют его немедленно вернуться к своим родителям. Сделав это, он прошел двором без смущения, но и без задорства. Сторож отворил калитку, и он скрылся.

## ГЛАВА XVII

Все глубоко изумились, когда увидели, что Жак решительно оставил пансион. Была ли это победа или поражение? Каждый чувствовал, что, по крайней мере, слишком поторопились так строго поступить относительно своего товарища, но, однако, истолковывали столь достойное удаление из пансиона не в пользу Жака.

«Он оплатил нам дерзостью; в нем всегда было немало самоуверенности! Но, наконец, разве можно допустить, что если бы он не был виноват, то разве обратился бы он в столь поспешное бегство. Его исчезновение есть уже сознание».

Что же делал в это время маленький предатель, укрываемый своими товарищами, когда невинный изгнанник страдал за него? Да, что же он делал? Удалившись в спальню, чтобы скрыть свой стыд и свое отчаяние, он бросился на колени и молил всемогущего бога, одним движением обращающего в прах злодеев, он молил наказать его за проступок. Он плакал, рыдал, конвульсивно ломая себе руки в порыве раскаяния; он придумывал, но не мог найти какое-нибудь ужасное наказание, которым бы он имел возможность загладить совершенный им проступок.

В сознании своей беспомощности он дошел до мысли разбить себе голову об стену — и окровянить себе лоб и лицо.

Не замечая его во время обеда, маленький Марс, очень удивленный его отсутствием, искал его повсюду; наконец, он нашел его в самом жалком положении, он лежал, вытянувшись на постели.

Не имея возможности окончательно прийти в себя, Ганри объяснил ему свое отсутствие в классе тем, что упал на лестнице и разбился.

В одно мгновение пылкий маленький Марс уже был в лазарете и привел оттуда фельдшера, который положил на лоб Ганри компресс и перевязал его.

— У него маленькая лихорадка, — сказал он маленькому Марсу, — ему надо дать немного успокоиться, к завтраму это пройдет.

Маленький Марс, как воин, уж имевший не раз на лбу шишки, сошел на двор и объявил своим товарищам, что случилось с Ганри. Это объяснение было достаточно уважительною причиною его отсутствия в столь важное время, так прошел день, за ним миновала и ночь.

Но на другой день друг родителей Жака, его попечитель в городе, явился в пансион, чтобы узнать от начальника, какие причины могли понудить Жака принять столь неожиданное решение оставить его заведение.

Обыкновенно Жак был так рассудителен, что он не может объяснить себе настоящего случая. От него самого он не мог ровно ничего добиться, потому что на все его доводы он отвечал только одно:

— Нет, нет, простите меня, но моя нога не будет более там.

Но это еще не так важно, а что хуже всего, так это то, что в эту же ночь у них произошло ужасное волнение. Жак,

обыкновенно очень здоровый мальчик, вдруг заболел — и доктор объявил, что, по-видимому, у него обнаружится опасное воспаление мозга. Жак сделал над собой столь ужасное усилие, чтобы сдержать свое волнение, при столь неожиданном испытании, что его натура не вынесла, взяла свое.

Напрасно начальник училища расспрашивал учеников, к которым он имел большое доверие; все объявили, что не могут разъяснить ему причин, побудивших Жака к подобному решению.

Ганри почти немедленно узнал все эти подробности от своего нового друга, маленького Марса. Этот, будучи допрошен первым, по-видимому, не имел ничего важнее, как сбегать поскорее в спальню и известить обо всем Ганри.

Пока передавал маленький Марс эти подробности Ганри, в его глазах видно было какое-то изумление, что делало его взгляд похожим на взгляд полупомешанного. И не успел он окончить, как Ганри был уже на ногах, совсем одетый. Охваченный на этот раз искреннею решимостью, с сердцем, полным благородного мужества, он спустился немедленно на двор еще с обвязанною компрессом головою и только сказал маленькому Марсу, ничего не понимавшему, в охватившем его оживлении:

— Я сделал зло ему, я его и поправлю. Пока скажи всем воспитанникам от меня, что Жак достойнейший в мире мальчик и что это я, уходя, сказал тебе.

С решимостью, которой почти всегда не хватало у него до сих пор, Ганри, воспользовавшись минутным отсутствием сторожа передней пансиона, отодвинул задвижку, запиравшую выходную дверь, и, как стрела, понесся по направлению к дому, где жил Жак. Позвонить, войти, пройти в комнату Жака, объяснить его попечителю, что он не покинет больного, пока не минет опасность, все это было делом минуты. Попечитель Жака, друг матери Ганри, охотно принял его предложение и, показывая ему маленькую комнату около комнаты больного, прибавил:

— Вы будете спать здесь, на этой маленькой постели.

— Мне не нужно постели,— отвечал Ганри,— я не буду спать.

Доктор не ошибся: в течение шести недель Жак был на краю могилы, в течение шести недель Ганри не покидал его изголовья. Когда ему говорили, что он может сам за-

болеть, то он отвечал: «Ведь Жак же болен, разве не мне следовало бы быть на его месте?»

Это много, ежели в течение недели он позволял себе уснуть несколько часов. Его заботливость постоянно возрастала, и доктор с удивлением объявил, что лучшего ухода за больным невозможно желать.

К концу шестой недели Жак почувствовал облегчение; ему объявили, что он обязан этим чрезвычайной преданности его маленького друга. Со слезами умиления передавали ему о его неутомимой заботливости и крайней внимательности.

— Пойдите, — возразил Ганри, — не расхваливайте меня так Жаку! Да и сами перестаньте об этом думать так много; вы узнаете впоследствии, что я далеко не заслуживаю ни одной из ваших похвал.

Воспитатель пансиона, извещенный о болезни Жака маленьким Марсом, часто посылал справляться о его здоровье и однажды даже явился сам в сопровождении маленького бога войны, который выпросил у него, как величайшей милости, позволение ему сопутствовать.

Ах! Какую ужасную перемену заметили они оба в Жаке. Как впали его, еще горящие лихорадочным блеском глаза, его похудевшие щеки! Как наставнику, так и ученику передавали о благородном поведении Ганри, и маленький Марс в порыве великодушия бросился к нему на шею обнимать его.

— Не обнимай меня, — вскричал Ганри, тихо отстраняя его от себя, — если ты должен обнять, так это доброго Жака, если ты умеешь обнимать так, чтобы только не задушить.

Сын Марса смотрел на Ганри, внимательно слушая его.

— Что с тобою? — говорил он ему. — Ты сделался совсем другим, тебя скоро будет окончательно трудно узнать, ты смотрел раньше какую-то встревоженную, опечаленную девушкой; сегодня же ты выглядишь каким-то героем, побывавшим в бою. Да простит меня бог, ведь я презирал тебя, Ганри. Но с сегодняшнего дня я уверен, что ежели бы между нами загорелся спор, я бы сделал тебе вызов, считая тебя достойным противником.

— Нет, ты еще ошибаешься, дорогой маленький Марс, — отвечал скромно Ганри, но с уверенностью в голосе, — нет, я еще не достоин иметь такого соперника, как ты. Твоя честная натура совершенно основательно презирала

меня... Но отложим это до будущего времени, когда Жак окончательно поправится и будет на ногах. И тогда,— продолжал он с необыкновенною твердостью,— моею первою обязанностью будет пасть к вашим ногам — как к твоим, так и Жака.

Маленький Марс не понимал ничего. Он был совсем сбит с толку.

— Что за странный мальчик! — вскричал он.— Но это все равно, я люблю его теперь более, чем когда он был каким-то школьником.

Наконец, так давно ожидаемый день, на наступление которого Ганри стал было терять надежду, день полного выздоровления Жака, наступал. Ганри написал своей матери, чтобы она приехала к этому счастливому дню, и умолял ее привезти с собою не только маленькую кузину, но и Мари, которую упрашивал ее отпросить у отца ее на неделю по крайней мере. Отец и мать Жака уже несколько дней как были в городе; видя и понимая, чем был Ганри для их сына во время долгих дней и мучительных ночей его жестокой болезни, они полюбили его, как сына, и часто мать Жака говорила ему:

— Ганри, ты также мой сын.

— Вы обманываетесь,— отвечал Ганри.— Нет, нет, не любите меня, потому что наступит день — и, увы, уже скоро!.. когда вы не будете любить меня более.

— Как грустно, что он такой странный,— говорила мать Жака,— но он предобрый мальчик.

— Так добр,— говорил попечитель,— что это просто ангел, которому нет подобного; я не могу себе представить даже в раю, чтобы кто-либо мог быть более предан, чем этот маленький добряк.

В последние дни, когда Жак уже был настолько в силах, что мог говорить, он не раз обращался к Ганри с следующими словами:

— Да обними же меня, ведь ты — брат мой! Мамаша полюбила тебя, как сына.

— Потом, потом,— говорил Ганри,— быть может, потом, когда тебе будет все, все известно, быть может, тогда, дорогой Жак, я с радостью приму от тебя этот поцелуй, которого пока еще я не заслуживаю и которого поэтому не хочу похищать у тебя теперь.

— Когда же я узнаю все,— возразил Жак,— да что же это, наконец, такое?

Ганри зажимал ему при этом рот, повторяя:

— Погоди, погоди!..

Жак несколько раз расспрашивал своего странного маленького друга про тот случай, который побудил его оставить пансион и затем вызвал его настоящую болезнь.

Ганри опять, сжимая голову, молил его не расспрашивать: «Когда ты окончательно поправишься,— говорил он,— я объясню тебе это странное событие; я один знаю все, но говорить про это, пока ты еще болен, невозможно, и все твои расспросы раньше времени причиняют мне только ужасные мученья».

В эти минуты Ганри становился таким бледным, его лицо так изменялось от внутреннего страдания, что Жак не настаивал более и отвечал ему тихо:

— Успокойся, Ганри, и прости меня. Я буду ждать.

## ГЛАВА XVIII

— Твоя мать, Жюли и Мари там, в саду,— объявил однажды Ганри попечитель Жака.

В это время Ганри против обыкновения отдыхал в креслах. Бессонные ночи, усталость, а еще более возвратившиеся волнения его души повергли его в какое-то бессилие, против которого приходилось теперь бороться его ослабевшим нервам, его измученным нравственным силам... Но при этих словах: «Мать твоя там», несмотря на то, что он ожидал ее каждый день, при этом известии... он зарыдал. Это были первые слезы с тех пор, как он взял на себя обязанность ходить за больным Жаком. И, казалось, эти слезы не были так горьки, как те, которые приходилось проливать ему так часто раньше, потому что теперь он почувствовал от них облегчение; те же только жгли ему глаза, не облегчая его внутренних страданий.

— Дайте мне поплакать еще немножко,— говорил он.— Теперь я готов верить, что можно плакать от удовольствия.

Скоро он был уже в саду. Что за встречи, что за радость была его матери, как гордилась она своим Ганри, который так хорошо зарекомендовал себя своею добротою, преданностью относительно Жака, которого она уже давно любила и полюбила еще сильнее, когда, благодаря ему, ей приходилось слышать так много хорошего об ее сыне! Ганри тихо отстранил ее от себя:

— Погоди, мамочка,— говорил он,— погоди, моя дорогая... Погоди,— говорил он порывистой маленькой кузине, которая объявила, что готова просто проглотить его за то, что он был спасителем ее Жака.— Погоди,— проговорил он, наконец, и тихой, скромной Мари.— Ах! Бедная Мари, ты и не подозреваешь, что придется тебе узнать, но когда тебе будет известно, ты поймешь, почему говорю я тебе это «погоди!»

Желанный час Ганри наступил. Все приглашенные им собрались на круглой площадке в саду, в тени старых деревьев. Это был один из лучших дней в году; кажется, сама природа являлась ему на помощь в столь трудном случае. И Жак, еще слабый, но уже окончательно оправившийся, с улыбкою на лице сидел также тут, на кресле, тщательно поставленном в тени; вся прислуга дома была также тут. Ганри начал:

— Я хочу говорить перед вами и покорнейше прошу всех выслушать меня до конца.

Что скажет он? Его мать, Жак, Мари, все с беспокойством, с любопытством спрашивали друг друга, что могло бы быть у него столь важного, у него — столь доброго, столь любезного, чтобы могло требовать стольких свидетелей и такой торжественности?..

Бог Марс, также приглашенный к этому случаю, присутствовал, сидя верхом на скамье, на этом памятном сеансе и сгорал от нетерпения, спрашивал себя, уже не потерпел ли Ганри поражение от кого-нибудь,— это было его главной мыслью.

Да, но что же сказал Ганри собравшимся друзьям своим?

Он говорил, этот так изменившийся Ганри, он рассказывал свою жизнь за последние два года, свои ошибки, свои проступки, свои преступления. Он рассказал все без пропусков, с точностью самого неумолимого, строгого историка, всю ту длинную историю, которую только что прочитали вы.

Его сначала дрожащий голос скоро окреп, сильное, но благородное волнение оживляло его.

Он рассказал все, все — это была полная исповедь. Его мать, скромная Мари, маленькая кузина, даже Жак, насколько можно заметить, слушали его не без волнения. Правда, Ганри не допустил ничего, чтобы смягчить мрачные краски картины его прошлого; даже напротив, он так

сильно отделил их, его проникающий в душу голос с такою смелостью передавал все, что было в эти два ужасные года в его испорченном сердце, что присутствующие нередко бледнели, слушая, и на многих лицах не раз появлялись слезы сожаления.

Ганри, взяв слово, что его выслушают до конца, не перебивая, встал, когда кончил:

— Я сознался в своих ошибках,— сказал он,— но я не загладил их, и поэтому я не заслуживаю еще вашего прощения, я и не прошу его ни у кого, даже у матушки, потому что я убедился в течение этих двух долгих лет, что, насколько бы далеко не зашел кто-либо на скользком пути, если есть воля сойти с него и твердое намерение стать снова достойным любви окружающих, то это всегда возможно.

Вы видели, насколько я был, а быть может, даже таков и до сих пор, слабым ребенком, наглым эгоистом, лицемерным другом, сыном-обманщиком, недостойным нежной любви своей матери?..

— Ах! Бедный Ганри! — проговорила его мать, наполовину потерявшая сознание.

— Как вы видели,— продолжал Ганри,— одной мужественной, преданной жизни еще мало для того, чтобы загладить недостойность прошедшего. Я прошу мою мать именем всех, кого я оскорбил, кого предал, недостойно обманывал, которые страдали за меня, я прошу позволить мне избрать такую карьеру, где каждый час приходится бороться; эта жизнь разовьет во мне недостающие качества. Я хочу быть моряком. Я должен покинуть все дорогое мне, чтобы терпеливо переносить ветры и бури, чтобы разделять суровую жизнь наших бедных матросов, отправившись, в качестве юнги, чтобы быть уверенным, что, когда я вернусь, это не будет рука создания, недостойного звания человека, которую я буду иметь право подать вам, окончательно исправившись, с обновленным сердцем и головою.

Его мать вскрикнула при этой просьбе Ганри.

Он опустился перед нею на колени.

— Матушка,— продолжал он,— позволь твоему сыну восстановить свое честное имя и стать тем, кем он не был доселе, стать честным человеком. Матушка, имей достаточно мужества в свою очередь, будь тверда после того, как ты была, быть может, слишком слабою. Кто знает, быть может, твоя доброта, которую я так злоупотреблял, была

причиною некоторых из моих пороков. Позволь же мне быть строгим к самому себе, пока еще зло поправимо!..

— Он прав,— сказал Жак.

И, подойдя к Ганри, он пожал ему руку и прибавил:

— Теперь ты вполне достойный мальчик.

— Он прав,— проговорил бог Марс.

— Он прав,— прибавил отец Мари.

— Он прав,— сказал дядя, который во все время рассказа Ганри позабыл насвистывать свой любимый марш,— он наделал глупостей и должен их загладить.

— О! мой дорогой Ганри,— проговорила Мари, бросаясь к нему в объятия,— ты прав. Ты хорошо знаешь, что я тебя прощаю, но я чувствую, что этого мало, необходимо, чтобы ты сам мог простить себя.

— Что же касается до меня,— сказала маленькая кузина, которую и не спрашивали,— я очень люблю кататься на лодке, я понимаю желание Ганри отправиться в дальнее плавание,— и, как только он сделается адмиралом, то, если он пожелает покатать меня на озере, это доставит мне большое удовольствие.

Что же касается до проступков Ганри, она прибавила:

— Ганри был очень злой мальчик, это правда, но ведь и я не всегда бываю благоразумною; надобно забывать зло, чтобы никогда не видеть ничего, кроме добра.

Ганри был прав на самом деле, и маленькая кузина также не ошиблась, говоря, что не следует помнить зла, и не ошиблась бы даже, прибавив: если виновный сделает все со своей стороны, чтобы загладить его.

Но в чем она была почти окончательно права, так это, говоря: «Когда Ганри будет адмиралом...» — потому, что, милые дети, вот пример, к чему приводит мужество после малодушия: одна сила воли может изменить все... потому что ее двоюродный брат, пройдя все чины, своим хорошим поведением, прилежанием, образованностью и несколькими блестящими подвигами, которые поставили его на почетное место в общественном мнении, ее двоюродный брат, хотя еще не адмирал, но уже командир корабля и на дороге к дальнейшим повышением. Если же ему не удалось до сих пор пробраться на своем броненосном корабле в маленькое озеро, где маленькая кузина хотела утопить его книгу «Истории путешествий», так это потому, что он очень велик. Наконец, маленькая кузина в то время, как вы читаете этот рассказ, как кажется, не думает более о маленьком озере;

она уже давно замужем за своим дорогим другом Жаком, который сделался одним из замечательнейших писателей по истории во Франции. Жена его, например, и теперь более, чем когда-либо, советует ему не особенно распространяться в его описаниях о войнах, и я твердо уверен, что она не заслуживает за это порицания. Не раз подробные описания сражений вовлекали не одну легкомысленную нацию, не одного тщеславного короля в бой ради жажды военной славы; насколько можно гордиться этой славой, если она приобретается, защищая отечество, настолько же она позорна, когда заслужена разорением чужих земель, ради одной жажды завоеваний.

Что касается до скромной Мари, то она плавает на корабле Ганри; этой чести удостоиваются только жены командиров кораблей.

Бог Марс в чине полковника или чуть уже не генерала управляет провинцией в одной из наших колоний; он до сих пор очень дружен с капитаном Ганри. Они сделали вместе несколько кампаний. Мать Ганри примирилась с опасностью морской службы; ее лицо не покрывается уже бледностью при разговорах о бурях, но все-таки, если при этом ей известно, что сын ее в это время на берегу.

Бедный дядя, который отводил Ганри в пансион, еще долго насвистывал свой любимый марш. Но вот уже несколько лет, к сожалению, как он замолчал, тихо передав свою добрую душу богу; его последними словами было:

— Я был уверен, что этот маленький Ганри исправится. Если у человека не испорчена душа, то всегда можно надеяться на его исправление; моя бедная сестра дала ему слишком женское воспитание, что сделало его чересчур малодушным, но, к счастью, он сумел избавиться от этого.

Я забыл прибавить, каким образом эта история сделалась известна публике.

Тотчас же после своего раскаяния Ганри при помощи дяди решил немедленно отпечатать в двухстах экземплярах всю его исповедь и разослать:

Во-первых. Всем друзьям Мари, которые были на рождественском празднике и, благодаря его проступку, отвергли дружбу этого ангельски кроткого создання;

Во-вторых. Всем взрослым, бывшим также на этом празднике;

В-третьих. Всем воспитанникам и всем преподавателям пансиона, который он оставил, но где было известно его предательство.

Уже несколько лет спустя, один из издателей выпустил в свет эту историю «Скользкий путь».

Ганри не был в претензии, что этот случай из его жизни стал общеизвестным, рассуждая, что рассказ о его ошибках и тех огорчениях, которые были их последствием, наконец, зло, причиненное ими, как ему самому, так и другим, послужит хорошим примером для тех детей, которые готовы вступить на этот опасный, скользкий путь.



*Спримітку*





## ОТДЫХ В ДЕРЕВНЕ

Перші розділи роману написані й надруковані під назвою «Лето в деревне» у газ. «Молва», 1876, № 1—10. У повному обсязі цей твір вийшов з друку 1899 р. у журн. «Русская мысль», кн. I—IV.

В основу нашого видання покладено текст, опублікований в журн. «Русская мысль».

Понтій Пілат — римський прокуратор (намісник) Іудеї (26—36).

Ламартін Альфонс де (1790—1869) — французький реакційний поет-романтик, політичний діяч, історик.

## КАЗКИ І ПОВІСТЬ

### ЧОРТОВА ПРИГОДА

Вперше надруковано в журн. «Киевская старина», 1902, кн. X, стор. 141—156.

Публікацію цього оповідання-казки редакція «Киевской старины» супроводила такою приміткою:

«Помещая на страницах нашего журнала настоящую сказку г-жи Марко Вовчок, полагаем, что читателям небезынтересно будет знать, почему автор обратился к обработке сказочного сюжета. Рассказываем со слов самого автора, позволившего нам сделать это небольшое предисловие к сказке.

В мае 1859 (в кінці квітня 1859 р.—Ред.) или 1860 г. перед выездом г-жи Марко Вовчок за границу Т. Г. Шевченко завещал автору непременно заняться обработкой сказок. «Гляди ж, доню,— просил поэт его,— щоб ти мені написала копу-дві або п'ять, а то й сім кіп казок...» Выполнив волю поэта и данное ему слово, г-жа Марко Вовчок обработала несколько народных сказок. Настоящая сказка и есть именно одна из тех, которые были написаны по завещанию поэта. Передавая ее в редакцию нашего журнала, г-жа Марко Вовчок дала любезное обещание и на будущее время делиться с читателями имеющим у нее материалом по мере обработки его».

Можливо, що казка написана незабаром після того, як Шевченко висловив письменниці своє побажання, тобто десь на початку 60-х років, а остаточно викінчена наприкінці 90-х або на початку 900-х років.

У мові й стилі казки є певна відмінність від українських оповідань та повістей Марка Вовчка, написаних й опублікованих у 50-х та

на початку 60-х років XIX ст. Не випадково І. Франко писав: «Сей твір («Чортова пригода». — Ред.), писаний гарною мовою, хоч і не такою поетично блискучою, як давніші оповідання, грає одначе широку українським дотепом і гумором і творить зовсім доладне закінчення її українського писання» (Іван Франко, Твори в двадцяти томах, т. 17, Держлітвидав України, К., 1955, стор. 446).

Подається за текстом першодруку.

### ЯК ХАПКО СОЛОДУ ВІДРІКСЯ

Очевидно, саме це оповідання мала на увазі письменниця, коли незабаром після публікації в «Киевской старине» «Чортової пригоди» писала до редакції журналу: «Вторую сказку вышлю, как только перепишется, что в глухом углу, где я живу, сопряжено с немалыми трудностями» (лист від 9 лютого 1903 р.).

Вперше надруковано за копією з автографа в «Літературно-науковому віснику», 1908, кн. IV, з такою приміткою Марка Вовчка: «Хапко малоопытен, но талантлив. Черти ужасно много трудятся, придумывая сложные соблазны, а дядько — быстро и совсем просто, наглостью: «Дивися у вічі та бреши, а свій упоминач занедбай, будь воно тричі німцеве!»

За автографом вперше опубліковано в книзі «Марко Вовчок. По смертні оповідання», К., 1910, з такими міркуваннями видавців щодо дати написання: «...«Хапко» і «Гайдамаки» йдуть з останніх літ життя і творчості покійної авторки, або принаймні ними займалася вона тоді, в 1900-х роках».

Вдруге за автографом, але на основі докладнішого його опрацювання, зокрема з використанням його варіантів, казка надрукована в книзі «Оповідання Марка Вовчка, видані по смерті письменниці з варіантами її рукописей», Київ — Львів, 1913, стор. 90—115.

Подається за цим виданням.

### ГАЙДАМАКИ

Про початок роботи над повістю письменниця згадує у вересні 1857 р. в листі до О. В. Марковича: «Скінчу «Гайдамаку» (здається, буде по-іншому) та і тобі перешлю одного екземпляра».

До повісті Марко Вовчок звернулася, очевидно, і в останні роки життя, але не закінчила її.

Вперше надруковано за копією з автографа в журн. «Літературно-науковий вісник», 1908, кн. XI та XII.

За автографом вперше опубліковано в книзі «Марко Вовчок. По смертні оповідання», К., 1910.

Друкується за текстом, опублікованим на основі автографа у книзі «Оповідання Марка Вовчка, видані по смерті письменниці з варіантами її рукописей», Київ — Львів, 1913, стор. 116—171.

### ТВОРИ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ

Перебуваючи з квітня 1859 до лютого 1867 р. за кордоном, Марко Вовчок найдовше жила в Парижі (з літа 1860 р.). Тут вона з допомогою І. С. Тургенева познайомилась з багатьма діячами французької культури (з родиною відомої співачки Поліни Віардо, з В. Гюго, Жюлем Верном, Елізе Реклю, Еркманом, Шатріаном та ін.). Тоді ж

у неї встановились дружні зв'язки з прогресивним французьким письменником і видавцем П.-Ж. Етцелем (Сталем), який відіграв помітну роль у творчій біографії письменниці. Саме завдяки Етцелю Марко Вовчок змогла взяти безпосередню участь у французькому літературному процесі другої половини 60-х — першої половини 70-х років.

1864 р. Етцель розпочав видання журналу для дітей і юнацтва «Magazin d'éducation et de récréation» («Журнал виховання і розваги»), в якому популяризував досягнення з різних галузей науки і найвизначніші твори французької та світової літератури. Марко Вовчок стала діяльним співробітником журналу і увійшла до складу редакційної колегії. Починаючи з 1865 р. і до кінця існування журналу (1906) ім'я Марко Вовчок постійно друкувалося на титульній сторінці серед імен найактивніших співробітників та найбільш поважаних авторів.

У «Журналі виховання і розваги» Марко Вовчок опублікувала кілька творів цілком оригінальних, написаних французькою мовою (якою письменниця, до речі, бездоганно володіла) спеціально для журналу — «Dure-Epine et Bonne-Rose», «Le voyage en glacon», «La petite soeur»; створену у співавторстві з Етцелем повість «Le chemin glissant» («Слизький шлях»); новий варіант казки «Королевна Я» — «Mademoiselle Moi» та переклади оповідання «Ведмідь» («Melassia») і повісті «Маруся» («Marussia»).

Крім того, деякі перекладні і оригінальні твори Марка Вовчка були опубліковані в інших французьких журналах і газетах або окремими виданнями: в «Revue contemporaine» 1870 р. друкувався переклад повісті «Лихой человек» під назвою «Un amour fatal» («Фатальне кохання»), в «Le Temps» — «Записки причетника» («Popes et popesses» — «Батюшки і матушки»). Окремим виданням вийшов переклад «Совершенной курицы» («Fingal et Poulette» — «Фінгал і курочка», видання Оллендоффа, 1906), оповідання для малечі «L'ours de Sibérie» («Сибірський ведмідь») та «Cerf agile» («Прудкий олень») — видання з серії «Альбоми П.-Ж. Сталя».

Ми подаємо лише п'ять оригінальних творів Марка Вовчка. Щодо шостого твору — невеличкого оповідання «Прудкий олень», то спроби відшукати його не увінчались успіхом.

Українські переклади творів французькою мовою зроблені спеціально для нашого видання письменником Миколою Терещенком.

DURE-EPINE ET BONNE-ROSE  
(ЗЛА КОЛЮЧКА І ДОБРА ТРОЯНДА)

Вперше опубліковано в журн. «Magazin d'éducation et de récréation», 1866—1867, т. VI, стор. 53—57.

У перекладі українською мовою «Злючка-Колючка і Добра Троянда» (переклад О. Білявської) надрукована в журн. «Піонерія», 1961, № 5, та окремим виданням — «Про Злючку-Колючку і Добру Троянду» (переклад О. Білявської), Дитвидав, К., 1962.

Казка «Зла Колючка і Добра Троянда» є цікавим зразком літературної обробки народного твору. В основі — поширена серед слов'янських народів казка про злих мачуху й її дочку, про добру та щирі пачерку і дванадцять місяців-братів. Дослідник творчості Марка Вовчка О. Є. Засенко вважає, що зміст казки особливо близький до словацького варіанта і що письменниця запозичила цей варіант з відо-

мої збірки «Словацькі казки» класика чеської літератури Божени Немцовой (див. Олекса Засенко, Марко Вовчок і зарубіжні літератури, Вид-во АН УРСР, К., 1959, стор. 10—11).

Подається за першодруком.

#### MADEMOISELLE MOI

(ПАНЯНКА Я)

Вперше надруковано в журн. «Magazin d'éducation et de récréation», 1868—1869, т. X, стор. 274—279.

Казка в деякій мірі є дуже скороченим і спрощеним варіантом російської казки Марка Вовчка «Королевна Я».

Подається за першодруком.

#### LE VOYAGE EN GLAÇON

(МАНДРІВКА НА КРИЖИНІ)

Вперше надруковано в журн. «Magazin d'éducation et de récréation», 1868—1869, т. X, стор. 338—345.

У журналі після підпису «Marko Wovzok» зазначено: «Imité du russe par P. J. Stahl» («З російської переклав П.-Ж. Сталь»). Проте російською мовою твір не відомий.

Подається за першодруком.

#### L'OURS DE SIBÉRIE ET MADEMOISELLE QUATRE-ÉPINGLES

(СИБІРСЬКИЙ ВЕДМІДЬ І ЧЕПУРУШКА)

Вперше надруковано у виданні: «L'ours de Sibérie et mademoiselle Quatre-Épingles. Texte par Stahl et Marco Wovzoc. Vignettes par L. Froelich. Graverhi par Matthie». Bibliothèque d'éducation et de récréation... Paris, 1869, стор. I—XXI.

Як свідчить заголовок, твір написаний письменницею разом з Етцелем (Сталем). Цим обумовлюється його загальна дидактична спрямованість, зовсім не властива творчості Марка Вовчка.

Подається за першодруком.

#### LA PETITE SOEUR

(СЕСТРИЧКА)

Вперше надруковано в журн. «Magazin d'éducation et de récréation», 1870, т. XI, стор. 310—318.

Частково це оповідання споріднене з українським твором «Ведмідь» або з французьким перекладом його «Melassia» («Мелася»).

Подається за першодруком.

### МРАЧНЫЕ КАРТИНЫ

Критична розвідка «Мрачные картины» анонімно опублікована в журн. «Отечественные записки», № 11 за 1868 р. та № 1, 2, 5 за 1869 р. Про авторство Марка Вовчка щодо цієї статті писали: О. Дорошкевич в «Бібліографії» до IV тома «Творів Марка Вовчка» (Державне вид-во України, 1928); Є. Брандіс в рецензії «Собрание сочинений Марко Вовчок» («Вопросы литературы», 1957, № 9);

О. Засенко в дослідженні «Марко Вовчок і зарубіжні літератури» (К., 1959).

Стаття «Мрачные картины» друкується за текстом журналу «Отечественные записки».

Теккерей Уільям-Мейкпіс (1811—1863) — видатний англійський письменник-реаліст.

Діккенс Чарлз (1812—1870) — великий англійський письменник-реаліст.

Еліот Джордж — псевдонім англійської письменниці Мері-Анн Еванс (1819—1880).

Коллінз Уільям-Уїлкі (1824—1889) — англійський письменник, один із зачинателів детективного роману в Англії.

Бра(е)ддон Мері-Єлисавета (п. 1837) — англійська романистка.

Саля Джордж — англійський письменник середини ХІХ ст.

Мегю Август — англійський письменник минулого століття.

Грінвуд Джеймс — псевдонім англійської письменниці Ліпінкотт Сарі-Джен (1833—1929).

## ДОДАТКИ

### НОВАЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ЛАБУЛЕ

#### (LE PRINCE-CANICHE)

Анонімно опублікована в журн. «Отечественные записки», 1868, № 2, 3, 4.

Казку «Принц-пудель» перекладено в уривках. Пропущені місця майстерно переказані перекладачем. До перекладу додано коротку статтю про автора цієї казки Едуарда Лабуле (1811—1883) — відомого французького публіциста, белетриста, політичного діяча.

Є підстави вважати, що вступ до казки і переклад її здійснені Марком Вовчком. Але остаточно це питання ще не з'ясовано. Можливо, вступна стаття до казки Е. Лабуле «Принц-пудель» була написана Марком Вовчком у співавторстві з Д. І. Писаревим (див. Олександр Засенко, Марко Вовчок, Життя, творчість, місце в історії літератури, К., 1964, стор. 516—520).

Публікуємо вступ до казки Лабуле.

Подається за першодруком.

### СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ

Повість для юнацтва «Скользкий путь» («Le chemin glissant»), написана Марком Вовчком у співавторстві з Етцелем (П.-Ж. Сталем), вперше опублікована в «Журналі виховання та розваги» («Magazin d'éducation et récréation»), 1871, т. 14.

У 1876 р. повість була видана російською мовою в недосконалому перекладі невідомої особи.

Друкується за виданням: Скользкий путь. Рассказ Сталь и Марко Вовчка. Перевод с французского, с рисунками, С.-Петербург, 1876.

У примірнику, з якого публікується текст оповідання, немає перших трьох сторінок.



## ЗМІСТ

ОТДЫХ В ДЕРЕВНЕ (Из недавнего прошлого)	5
--	---

### КАЗКИ І ПОВІСТЬ

Чортова пригода . . . . .	217
Як Хапко солоду відрікся . . . . .	230
Гайдамаки . . . . .	253

### ТВОРИ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ

Dure-Épine et Bonne-Rose . . . . .	301
Зла Колючка і Добра Троянда . . . . .	309
Mademoiselle Moi . . . . .	316
Панянка Я . . . . .	325
Le voyage en glaçon . . . . .	333
Мандрівка на крижині . . . . .	345
L'ours de Sibérie et mademoiselle Quatre-Épingles . . . . .	356
Сибірський ведмідь і Чепурушка . . . . .	362
La petite soeur . . . . .	367
Сестричка . . . . .	379

### МРАЧНЫЕ КАРТИНЫ

(Статья)	391
----------	-----

### ДОДАТКИ

Новая волшебная сказка Лабуре (Le prince-caniche)	513
Скользкий путь . . . . .	516
Примітки . . . . .	579

**МАРКО ВОВЧОК**  
**Сочинения в семи томах**  
Том шестой  
(На украинском языке)

Редактор *В. А. Зіпа*  
Художне оформлення *К. К. Калужіна*  
Художній редактор *В. М. Тепляков*  
Технічний редактор *Н. П. Рахліна*  
Коректор *В. О. Булкіна*

Зам. № 957. Видавн. № 332. Тираж 15 000. Формат паперу  
84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Друк. фіз. арк. 18,375+1 вкл. Умовн. друк. арк. 30,93.  
Облік.-видавн. арк. 31,72. Підписано до друку 9/VIII 1966 р.  
Ціна 1 крб. 30 коп.

Видавництво «Наукова думка», Київ, Репіна, 3.

Надруковано з матриць Київської фабрики набору на книжковій  
фабриці «Жовтень» Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР,  
Київ, Артема, 23-а.



